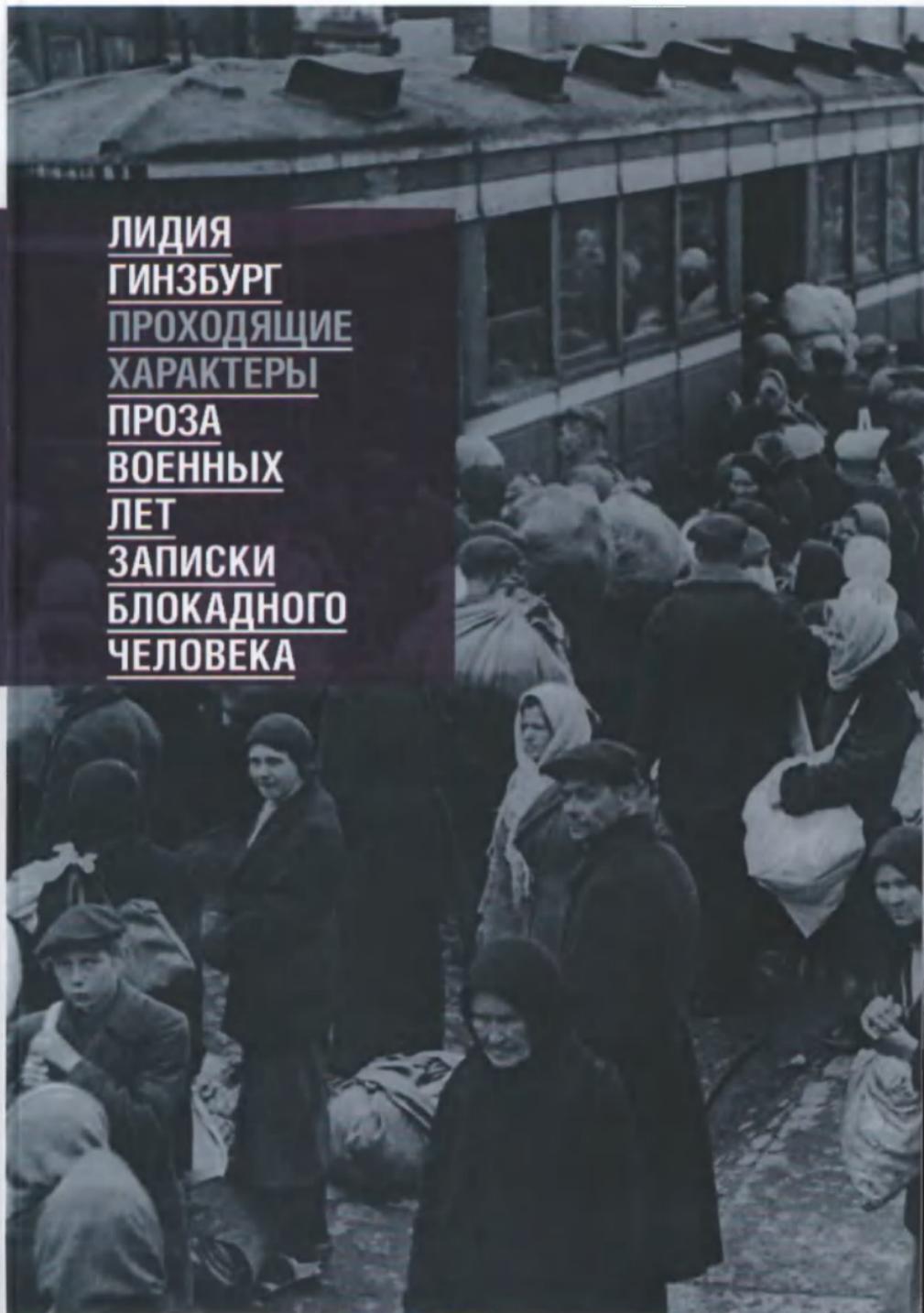


ЛИДИЯ
ГИНЗБУРГ
ПРОХОДЯЩИЕ
ХАРАКТЕРЫ
ПРОЗА
ВОЕННЫХ
ЛЕТ
ЗАПИСКИ
БЛОКАДНОГО
ЧЕЛОВЕКА



**ЛИДИЯ
ГИНЗБУРГ
ПРОХОДЯЩИЕ
ХАРАКТЕРЫ**



ЛИДИЯ
ГИНЗБУРГ
ПРОХОДЯЩИЕ
ХАРАКТЕРЫ
ПРОЗА
ВОЕННЫХ
ЛЕТ
ЗАПИСКИ
БЛОКАДНОГО
ЧЕЛОВЕКА

**СОСТАВЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, ПРИМЕЧАНИЯ И СТАТЬИ
ЭМИЛИ ВАН БАСКИРК И АНДРЕЯ ЗОРИНА**

Составление, подготовка текста, примечания и статьи

Андрей Зорин, Эмили Ван Баскирк

Редактор

Елена Шумилова

Издатель

Андрей Курилкин

Дизайн

Анатолий Гусев

Фотография на обложке

Кировский район Ленинграда 18 сентября 1941 года, неизвестный фотограф

Фотография на фронтиспесе

Л.Я. Гинзбург в конце 1930-х годов, неизвестный фотограф

Гинзбург Л.Я.

Г49 Проходящие характеры:

Проза военных лет. Записки блокадного человека

М.: Новое издательство, 2011. — 600 с.

ISBN 978-5-98379-143-5

«Проходящие характеры» — первое научное издание прозы Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–1990), выдающегося русского писателя, мыслителя и историка литературы. В сборник вошли ее «повествования», эссе и записные книжки военных лет, ставших самым плодотворным периодом ее литературной деятельности. Большая часть собранных здесь произведений публикуется впервые, включая рассказ о блокадной смерти, почти семьдесят лет оставшийся неизвестным даже самым близким автору людям, ранний вариант «Записок блокадного человека», размышления о советской литературе, статью о самосознании русского интеллигента еврейского происхождения в условиях нарастающей антисемитской кампании и многое другое. Нет сомнения, если бы проза Гинзбург военных лет стала достоянием читателя тогда, когда она была написана, наши представления об истории русской литературы второй половины XX века были бы радикально иными.

УДК 94(47).084.8

ББК 63.3(2)622.72

ISBN 978-5-98379-143-5

© Александр Кушнер, наследник, 2011

© Новое издательство, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей 9

1

ПРОЗА ВОЕННЫХ ЛЕТ

<РАССКАЗ О ЖАЛОСТИ И О ЖЕСТОКОСТИ> 17

СЛОВО <(ТЕТРАДЬ 1943–1944 ГОДОВ)> 60

ПРОХОДЯЩИЕ ХАРАКТЕРЫ 60

<РАЗГОВОР У ЗУБНОГО ВРАЧА> 77

РАЗГОВОРЫ О<ЛЬГИ>Б<ЕРГГОЛЬЦ> И МАК<ОГОНЕНКО> 80

РАЗГОВОР У НИХ ВЧЕТВЕРОМ (ОНИ, КАТЯ М<АЛКИНА>, Я) 81

РАЗГОВОР Б<ЕРГГОЛЬЦ>–М<АКОГОНЕНКО> О «СБОРНИКЕ» 83

ЗАСЕДАНИЕ НА ИСХОДЕ ВОЙНЫ 85

СОСТОЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИСХОДЕ ВОЙНЫ 100

<ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕТРАДЬЮ «СЛОВО»> 114

<РАЗГОВОР С ТЕТКОЙ> 114

РАЗГОВОР С Н.Л. 115

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ, СДЕЛАННОЕ У ТАТ. 121

Т. 128

Л<ОГИ>КА ОТСУТСТВИЯ СТРАХА 130

<ЗАПИСИ 1943–1945 ГОДОВ> 132

ЭТИКА ЦЕННОСТЕЙ. ТОТАЛИТАРНОСТЬ И ЭГОИЗМ 132

КАЗЕННЫЙ ОПТИМИЗМ 134

<ЗАПИСЬ НА ОБОРОТЕ «КАЗЕННОГО ОПТИМИЗМА»> 135

<ЗАМЕТКИ О ПАЦИФИЗМЕ> 135

ЧЕЛОВЕК С РАЗМАХОМ 137

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭГОИСТЫ, ПЕРЕСТАВШИЕ ДУМАТЬ 139

5

1943 <(ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1943–1946 ГОДОВ)> 148

- <1 Проблемы поставленные и разрешенные> 148
- <2 Гении и великие державы> 148
- <3 Станкевич и Покорский> 148
- <4 Два ненужных дела> 148
- <5 Не бояться старости> 148
- <6 Синонимика самоутверждения> 149
- <7 Инстанции утверждения бытия> 149
- <8 Бабье царство> 153
- <9 Пошлость — к культуре символизма> 153
- <10 Хороший человек> 154
- <11 Рационалистический импрессионизм> 155
- <12 Почему великих писателей не понимают> 155
- <13 Итоги неудач> 164
- <14 Толстой — если бы люди понимали жизнь так,
как они говорят, что понимают> 174
- <15 Поведение> 175
- <16 Процесс образования привилегированных> 178
- <17 Толстой об умственном и физическом труде> 187
- <18 Групповое сознание ленинградцев> 187
- <19 В человеке этом уже нет ничего> 191
- <20 Еврейский вопрос> 191
- <21 Сосуществование двух тенденций> 194
- <22 Герцен об отличниках> 195
- <23 А. А.> 195
- <24 Об иерархии> 195
- <25 Старики дикие и старики веселящиеся> 197
- <26 Еще одно совещание о критике> 197
- <27 Соотношение души и тела> 200
- <28 Парикмахер> 200
- <29 Одна смерть и много смертей> 200
- <30> 201

6

<ЗАПИСИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ «1943»> 203

Постепенное, поочередное уничтожение> разных
видов искусства> 203

<О морали> 205

<ДЕНЬ ОТТЕРА> 208

ЧАСТЬ I 208

Раздел 1. Пробуждение 208

Раздел <2>. Тело 212

Раздел <3>. Домашние дела 218

Раздел <4>. Первое сокровище> с городом и едой 226

ЧАСТЬ II 258

Раздел 1. Сборы 258

Раздел 2. Учреждение 259

Раздел 3. Торопливость 263

Раздел 4. Трамвай 265

Раздел 5. Обед 267

Раздел 6. Промежуток 269

Раздел 7. Промежуток 274

Раздел 8. Круг 275

ЧАСТЬ III 278

Раздел 2. Последнее возвращение домой 278

Раздел 3. Ужин 279

Раздел 4. Порыв 280

Раздел 5. Отход ко сну 281

<ОЦЕПЕНИЕ> 283

<ЗАПИСИ И ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С «ДНЕМ ОТТЕРА»> 292

1. <ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ> 292

2. <САМЫМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ДЛЯ ВОЙНЫ...> 302

3. ОПЯТЬ ИСТОРИЯ СУБЪЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ 303

4. <ЭТО ИМЕННО ОЩУЩЕНИЕ БУКВАЛЬНОСТИ> 303

5. СТРАХ И НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЕГО ГОЛОД И ПРОЧ. УСТАЛОСТЬ 305

6. НЕ ТОЛЬКО ГОЛОД, НО И РАСКАЯНИЕ 307

2

ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА 311

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 311

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 359

ВОКРУГ «ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА» 423

ЗАПИСИ В ДНИ БЛОКАДЫ 423

ОЦЕПЕНЕНИЕ (ПРИЗНАНИЯ УЦЕЛЕВШЕГО ДИСТРОФИКА) 433

ОТРЕЗКИ БЛОКАДНОГО ДНЯ 438

«ФРАГМЕНТЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ

В «ВОКРУГ „ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА“»» 445

«ЗАПИСИ 1940-Х ГОДОВ В РЕДАКЦИИ 1980-Х» 454

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРА В ПОИСКАХ РЕАЛЬНОСТИ» (1987) 454

ИЗ КНИГИ «ЧЕЛОВЕК ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ» (1989) 460

ИЗ КНИГИ «ПРЕТВОРЕНИЕ ОПЫТА» (1991) 462

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ И ОФИЦИАЛЬНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ Л.Я. ГИНЗБУРГ 501

Эмили Ван Баскирк. ЛИЧНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В БЛОКАДНОЙ ПРОЗЕ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ 506

Андрей Зорин. «...ДОДЕЛАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ» 531

Эмили Ван Баскирк, Андрей Зорин. «ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА»:

ИСТОРИЯ ТЕКСТА 545

Комментарии 557

Список сокращений 575

Указатель имен, инициалов и псевдонимных обозначений 576

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Работа Лидии Яковлевны Гинзбург над литературным воплощением ее блокадного опыта продолжалась почти полвека, с 1942 года до смерти автора в 1990 году, и так не получила своего окончательного завершения. Попытка составителей настоящей книги проследить основные этапы этого процесса, если и не потребовала таких библейских сроков, то, по крайней мере, затянулась на время, существенно превышавшее продолжительность блокады.

Нашей первоначальной целью было подготовить текстологически выверенное издание «Записок блокадного человека» и, по возможности, отыскать и ввести в оборот значимые фрагменты текста, не вошедшие в окончательную редакцию. Однако изучение рукописей Гинзбург, хранившихся в ее фонде в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) и, в особенности, в личном архиве А.С. Кушнера (в 2006 году также переданы в ОР РНБ), заставило нас не только пересмотреть свои представления о творческой истории «Записок...», но и полностью изменить замысел будущего издания.

Как известно, при публикации «Записок блокадного человека» Гинзбург поставила под текстом тройную дату: «1942–1962–1983». Оставалось, однако, неясным, как именно соотносилась эта сложная датировка с опубликованным текстом «Записок...», когда именно были написаны те или иные его фрагменты, что, возможно, оказалось отброшенным, какие этапы прошло само произведение на пути к печатному оформлению.

Нам удалось установить, что основной массив текста — подробное описание дня блокадника, очерк о голодном оцепенении, комментированные расшифровки блокадных разговоров, рассуждения о социальной природе моральных ценностей и пр. — был начерно написан уже в военное время. Позднее Гинзбург дважды, в 60-е и в 80-е годы, подвергла этот текст глубокой композиционной и редакционной переработке (подробней об этом см. в статье «„Записки блокадного человека“: история текста»).

Кроме того, среди бумаг Гинзбург обнаружены повествование о блокадной смерти, полный текст ее последней записной книжки «1943» (частично опубликована в 1991 году в составе сборника «Претворение опыта», готовившегося в последние месяцы жизни Лидии Яковлевны и вышедшего после ее смерти) и никогда не публиковавшаяся тетрадь «Слово», содержащая значительное число зарисовок блокадной жизни, а также россыпь отдельных очерков, фрагментов и набросков. В свете этих находок исходный замысел составителей этой книги претерпел кардинальные изменения — самой важной и первоочередной задачей стало сделать этот историко-

литературный клад достоянием читателей и поклонников творчества Гинзбург, представить читателям облик Гинзбург-прозаика таким, как он сложился в 1940-е годы, и тем самым показать дальнейшую эволюцию, которую было суждено пройти и самому автору, и ее произведениям. Отметим, кстати, что в архиве Гинзбург сохранилось также значительное число остающихся пока неизвестных читателям записей и материалов, относящихся к другим периодам ее творческой деятельности. Мы надеемся, что эта книга положит начало систематической публикации наследия Гинзбург.

Помимо очевидных сложностей, связанных с расшифровкой черновиков, писавшихся в условиях блокады, состояние рукописей Гинзбург создавало для публикаторов еще и совершенно специфические проблемы. Дело в том, что Лидия Яковлевна на протяжении всей жизни стремилась сохранить свои бумаги с максимально возможной полнотой, но при этом отнюдь не содержала их в образцовом порядке. Напротив того, дорабатывая и перерабатывая свои произведения, она регулярно перемещала отдельные листы из одного сочинения в другое, разрезала их на части, усеивала поля перекрестными ссылками.

В результате многие фрагменты одних и тех же произведений оказывались в различных местах, а многие вообще попали в развалы, где были собраны разрозненные страницы. Тексты целого ряда произведений приходилось составлять по кусочкам буквально как пазл, причем довести эту работу до конца стало возможным, только когда обе части архива оказались в одном месте, т.е. после передачи А.С. Кушнером бумаг Гинзбург в ОР РНБ. К настоящему моменту большую часть текстов удалось восстановить полностью, вместе с тем кое-какие лакуны так и остались незаполненными, и, невзирая на все усилия составителей, начисто исключить возможность того, что утраченные страницы и обрывки могут быть еще обнаружены, невозможно. Опыт работы приучил нас к самым неожиданным находкам. Тем не менее едва ли было бы целесообразно бесконечно оттягивать знакомство читателей с наследием Гинзбург, исходя из тающих упований на очередное чудо. В настоящий сборник тексты вошли в том виде, в который мы смогли их привести к началу 2010 года.

Изменившаяся концепция этой книги определила и ее композицию. Первую часть, озаглавленную «Проза военных лет», составили произведения, написанные в 1942–1945 годах (один из фрагментов записной книжки «1943» был, возможно, завершен в 1946 году). Все они печатаются в первоначальной редакции по рукописям 1940-х годов. Эти произведения относятся к тому роду словесности, который Гинзбург позднее назвала «промежуточной литературой», поскольку он одновременно объединяет в себе и документальное, и художественное начало. Теория «промежуточной литературы», над которой Гинзбург работала многие десятилетия, получила наиболее полное развитие в ее книге «О психологической прозе» (1971).

Два из впервые публикуемых в первой части текстов относятся к жанру, которому Гинзбург в 80-е годы дала исключительно емкое жанровое определение — «повествование», отделив тем самым крупные, целостные и, так сказать, «сюжетные» опыты в промежуточной литературе от записных книжек, очерков и эссе. Одно из них никогда прежде не печаталось даже фрагментами, хотя оно и упомянуто в «Записках блокадного человека» и охарактеризовано там как «рассказ о жалости и о жестокости». Мы сочли возможным использовать это позднейшее автоописание в качестве заглавия произведения. Другое «повествование», названное «День Оттера», составило позднее основу текста «Записок...» и своего рода приложения к ним, изданного под заглавием «Вокруг „Записок блокадного человека“». В текст «Записок...» был также интегрирован целый ряд записей и набросков, не вошедших в состав «Дня Оттера», а также очерк «Оцепенение», первоначально представлявший собой отдельное произведение.

Разумеется, читатель, знакомый с «Записками...», обнаружит здесь обширные фрагменты уже известного ему текста, однако мы приняли решение пойти на неминуемые повторы и напечатать эти «повествования» и наброски полностью в первоначальном виде. Как убедится читатель, это качественно иные, сравнительно с окончательным текстом, произведения, помогающие по-новому увидеть не только творческую эволюцию Гинзбург или литературу блокадного времени, но и историю русской прозы середины XX века в целом.

Помимо законченных «повествований», в первую часть вошли записи Гинзбург 1943–1945 годов. Большинство их было композиционно объединено автором в тетрадь «Слово» и записную книжку «1943». Тетрадь «Слово» публикуется впервые. Она состоит из записей разговоров Гинзбург с людьми, входившими в ее окружение в блокадные годы, размышлений о характерах и судьбах этих людей и записей, статей и эссе о литературной жизни Ленинграда в последние годы войны. Часть этих записей составляет раздел «Проходящие характеры», давший название и всей книге. Скорее всего, по первоначальному замыслу Гинзбург, этот раздел должен был стать основой отдельного «повествования» или частью большого «повествования», так или иначе связанного с «Днем Оттера». Его персонажи формируют ту историческую среду, в которой разворачивается судьба героя.

Часть записной книжки «1943» была в последние годы жизни подготовлена автором для печати. В соответствии с замыслом нашей книги, в ее первой части мы печатаем эту записную книжку так, как она была написана. Кроме того, в состав первой части входят отдельные записи, сделанные Гинзбург в 1943–1945 годах, не вошедшие в упомянутые выше тетради. Творческие отчеты Гинзбург 1940-х годов и официальная автобиография, написанная в 1955-м, печатаются в приложении к книге. Эти документы позволяют обогатить наши представления о биографии Гинзбург новыми данными.

Во вторую часть книги вошли «Записки блокадного человека» в том виде, в котором они были оформлены Гинзбург во второй половине

1980-х годов: первая часть «Записок...» и «Вокруг „Записок блокадного человека“» — в ее последнем прижизненном сборнике «Человек за письменным столом» (1989), вторая часть — в «Претворении опыта». Текст «Записок...» во второй части дополнен наиболее значимыми вариантами по рукописям и машинописям, над которыми Гинзбург работала в 1960-е годы, когда она готовила вторую редакцию своего «повествования», получившего промежуточное название «Блокада». Сюда также вошли записи из записной книжки «1943» в окончательной редакции конца 1980-х годов из сборников «Литература в поисках реальности» (1987), «Человек за письменным столом» и «Претворение опыта».

О приводимых «вариантах и разночтениях» следует сказать особо. Мы стремились, насколько возможно без ущерба для репрезентативности текста, облегчить читателю знакомство с прозой Гинзбург и потому вынуждены были отказаться от исчерпывающе полного свода вариантов. В книгу вошли только значимые фрагменты текста, не попавшие в итоговые редакции, и разночтения, документирующие творческую эволюцию автора. Правка стилистического и редакционного характера в сборнике не отражена. В этих же целях две редакции записей из записной книжки «1943» публикуются не в виде свода вариантов, но два раза, отдельно друг от друга, в обеих частях книги. Мы вполне отдаем себе отчет в неизбежно субъективном и даже произвольном характере всех принятых нами текстологических решений и готовы принять упреки, которые всегда вызывает любой компромисс.

Впервые публикуемые тексты Гинзбург и варианты к ним печатаются по материалам фонда 1377 (Лидия Яковлевна Гинзбург. Фонд находится в обработке) ОР РНБ без указаний номеров единиц хранения и листов. Исключение составляют несколько цитат, приведенных по материалам архива племянницы Гинзбург Н.В. Соколовой (Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 3270). Все эти случаи оговорены специально.

Эта книга не могла бы выйти в свет без многолетней, широкой и разнообразной поддержки, которая неизменно оказывалась нашей работе. Прежде всего мы хотели бы выразить глубокую и искреннюю признательность хранителю наследия Л.Я. Гинзбург Александру Семеновичу Кушнеру за возможность работать с рукописями и неизменно терпеливое и доброжелательное внимание к нашему проекту. На всех этапах работы мы могли опереться на профессиональную и компетентную помощь сотрудников ОР РНБ и заведующей отделом Марины Юрьевны Любимовой.

Мы благодарим Дэвис-центр российских и евразийских исследований Гарвардского университета, Фонд Фредерика Шелдона Гарвардского университета и Исследовательский совет по общественным наукам (SSRC, США) за финансовую поддержку, позволившую одному из составителей более года проработать с бумагами Л.Я. Гинзбург в Санкт-Петербурге.

Мы очень многим обязаны коллегам, поддерживавшим нас советами и замечаниями, друзьям и знакомым Л.Я. Гинзбург, охотно откликавшимся на наши, иногда назойливые, расспросы, работникам архивохранилищ, содействовавшим нам в наших разысканиях, и всем тем, чью помощь мы ощущали все эти годы. Нет никаких слов, достаточных для того, чтобы выразить нашу благодарность Ксении Кумпан, принявшей непосредственное участие в расшифровке и сверке рукописей и все эти годы щедро делившейся с нами своими знаниями и воспоминаниями об общении с Лидией Яковлевной. Мы горячо признательны Ирине Паперно за ее заинтересованное и деятельное внимание к нашей работе. Мы бы хотели также искренне поблагодарить за помощь Я.Ю. Богрова, Н.П. Буданову, А.М. Конечного, Н.М. Кононова, Е.А. Кумпан, Л.С. Мархасева, Г.Д. Муравьеву, Е.В. Невзгладову, И.И. Подольскую, А.В. Полищука, Е.Г. Рабинович, С. Сандлер, С.А. Савицкого, М.К. Свиченскую, Л.Г. Семенову, Н.П. Снеткову, С.Ю. Спирину, У. Тодда, Дж. Уэйра и многих других. Невозможно переоценить вклад, который внесли в эту книгу Ирина Зорина, проделавшая большую работу над именным указателем, и Джозеф Бурхол, составивший таблицу перемещений фрагментов текста между редакциями «Записок».

Мы благодарны «Новому издательству» и его главному редактору Андрею Курилкину, выступившему в качестве инициатора всего проекта и проявившему терпение, превзошедшее все степени, на которые мы могли рассчитывать в своих самых дерзких надеждах.

1

ПРОЗА

ВОЕННЫХ

ЛЕТ

<РАССКАЗ О ЖАЛОСТИ И О ЖЕСТОКОСТИ>

Она любила говорить: я заметила — у меня в жизни все повторяется два раза (это было одно из ее обобщений). И тетка* все время вспоминала об этом, когда она умирала. Потому что это было очень похоже на смерть ее мужа. Так что для тетки это было как дурной сон, когда среди сна думаешь о том, что уже видел его однажды. Это было похоже самой последовательностью симптомов. Но в особенности преобладанием раскаяния и боязни, раскаяния над всеми другими чувствами. И в особенности тем, что забота пришла слишком поздно, что для тела, уже бесчувственного, было сделано то, в чем так нуждалось тело, еще живое. Потому что тяготы, которые нам кажутся невозможным поднять в перспективе бесконечной стабильности и повторяемости, — они же становятся неизбежными, само собой разумеющимися как единовременное последнее усилие. Это было похоже и в то же время это неизмеримо дальше ушло в смысле буквальности. Обстоятельства, сопровождавшие смерть старика, так же как обстоятельства многих других бедствий — давно уже поразили Оттера** буквальностью. Откровенное социальное зло реализовало переносные метафизические смыслы, связанные с комплексом нищеты, заброшенности, унижения. Но все это оказалось далеко позади, по сравнению с той ужасающей прямоотой и буквальностью значений, которую пришлось пережить сейчас. Если существовала формула — «делиться со своими ближними куском хлеба», — то, оказалось, это означает, разделить ли хлеб, полученный по рабочей и по иждивенческой карточке пополам или оставить себе на 100 или на 200 грамм больше. Это означало усилие, которое надо было сделать над собой, чтобы остановиться и разрезать пополам дурандовую конфету¹. И если существовала формула, что беспомощные старики-паразиты заедают жизнь молодого человека (получающего рабочую карточку), то эта формула приобретает новую этимологию — заедает, ест — съедает то, что тот мог бы съесть сам, — и совершенно новую буквальность. Что знали об одиночестве и заброшенности люди, повторявшие пустую формулу: живу, как в пустыне. Что они знали о жизни без телефона, с пространствами города, чудовищно раздвинутыми тридцатипятиградусными морозами и отсутствием трамваев. С людьми, когда-то существовавшими рядом, а теперь, может быть, существующими, а может быть, умершими где-то на Васильевском, на Петроградской, за ледяными рубежами рек. С невозможностью и, главное, полным нежеланием (к чему бы это?) встретиться с этими знакомыми людьми. Потом эти люди уезжали один за другим. И когда прекратился мороз и пошли трамваи —

* [В рукописи здесь Т.
По тексту чередуются
написания Т. и тетка.]

** [В рукописи всюду От.]

не осталось уже никого, к кому можно было бы зайти посидеть; и сама эта привычка и потребность была утрачена.

Пустынные квартиры с запертými или — что еще хуже — незапертыми комнатами умерших, эвакуировавшихся, сражающихся на фронте. Тишина, шумящая в голове, связывающая движение, затрудняющая дыхание тишина. Вот что означало теперь — живу, как в пустыне.

Будьте ж довольны жизнью своей.

Тише воды, ниже травы —

О, если б знали, дети, вы,

Холод и мрак грядущих дней².

Если б вы знали, что такое холод и мрак, когда они не метафора. Мы, как дети, твердившие, что каждая бытовая мелочь разрастается в неразрешимую задачу, — что мы знали о *неразрешимости*, если она не метафора. Уборная замерзла. Люки во дворе не действуют. Управхоз запрещает сливать в помойку — вы заморозили отлив, теперь отогревайте, как хотите.

Мало того — ведро дало течь. Никакими силами, никакими средствами (даже за хлеб) нельзя найти человека, который его запаяет. Все это в целом неразрешимо. Бани не работают, или это дело требует многочасового выстаивания в очереди, непосильного. Дома — стужа. Ведер нет. Задача мытья — неразрешима. Остается жить в диком оцепенении, пропуская эти задачи мимо себя. Все переносные значения, из которых составлялись наши формулы трудностей и лишений, — стали абсолютно буквальными. И эта буквальность отяготела над старым, беспомощным, слабеющим человеком. Он покрывается лохмотьями, он покрывается вшами, он почти не выползает уже из-под груды постельного тряпья (тут же в старой своей комнате, где по вечерам пили чай и болтали). Все, что терзает его тело, все, что скапливается вокруг его тела, — неразрешимо. К этому даже лучше не прикасаться, потому что прикосновение может его только разбередить. И в тот момент, когда неразрешимость достигает крайнего, отчаянного предела, — все разрешает смерть.

Это было очень похоже, но это ушло далеко вперед в смысле упрощения, откровенности, буквальности.

И вина, материал вины тоже оставил далеко за собой все предыдущее. Он почти перестал быть психологическим и с ужасающей грубостью воплотился в словах, в жестах, в расчетах на граммы и куски.

И соответственно разросшейся, увеличившейся вине — сократилось раскаяние. Может быть потому, что вина была уже слишком велика, чтобы можно было осознать ее в полном объеме, или потому, что дважды человек не продельывает один и тот же внутренний опыт, или просто от усталости.

Но как бы то ни было, разговор с самим собой по этому поводу начался сразу и продолжался с малодушными уклонениями, с откладываниями и изворотами, но продолжался. И он знал, что придется договорить его до конца.

Напрасно, кстати, мы безоговорочно упрекаем людей в том, что они сентиментальничают над своими покойниками, отравив предварительно жизнь живым. Это не просто недомыслие, рассеявшееся от факта смерти; это мгновенное изменение всех импульсов поведения и оценки. Отпали импульсы раздражения, озлобления и отчаяния от неразрешимости всех жизненных задач. И, освобожденные, вступили в работу иные положительные импульсы, и прежде существовавшие в подавленном виде. Жизнь близкого человека обрекала нас на столь непрерывные и жестокие страдания, что первый момент после его смерти с неизбежностью приносил чувство облегчения, главное — разрешения всех неразрешимостей бытия этого самого человека. Нужна была именно эта смерть, принесшая освобождение от нестерпимых тяготей и страданий, для того, чтобы оправившееся сознание через какой-то промежуток времени могло воспринять психологический ужас этой смерти. Так смерть оказалась условием и предпосылкой человеческого отношения к самой себе. Она, прежде всего, оказалась предпосылкой того чисто физического облегчения и успокоения организма, даже той относительной сытости, которые только и дали место трудной душевной работе раскаяния, боли, освободили место для тоски.

В первые дни все болело, и ни к чему нельзя было прикоснуться. Его мучила неистребимая тоска; ужаснее всего она была в послеобеденные переломные часы дня. Куски жизни теснились в памяти. То он перебирал их, то вытеснял — ища облегчения. Но он знал — в конце концов придется это все систематизировать. Придется систематизировать, иначе с этим не справиться никогда. В ответ на его телеграмму V. прислал ему нехорошую открытку. Там были выражения «наша голубка», «наша золотая старушка», которые удручающе подействовали на Оттера. И потому, что он не считал ни себя, ни V. вправе произносить такие слова. И потому, что эти слова, несмотря на их неоправданность, все же разбередили его как упрек. На самом деле идиллии не было. Но слова «золотая старушка» были так ужасающе похожи на то, что происходило, на все, что он делал. Если <бы> они хоть немного, хоть немного были правдой...

V. писал: «Должно быть, я в чем-то виноват перед нею, но сейчас не могу в этом разобраться». Как это было все похоже на V. с его хорошим характером. V. ощутил боль и чувство вины, неизбежно возникающие у каждого из нас при известии о смерти близкого человека. V. — остряк, очень умный и квалифицированный остряк. Но человек устной речи. Письменно он отставал от самого себя, был провинциальнее, в чем сказывался недостаток культуры. И он написал напрямик слова, которые боль подымает и гонит со дна сознания, но которые все-таки остаются под запретом. У него все скоро пройдет, и, конечно, он никогда в этом не разберется и не будет пробовать разобраться. Он оставил младшему брату, человеку с дурным характером, не только всю тяжесть забот, но и все муки раскаяния и самообвинений.

Он-то действительно разберется...

Здесь есть несколько разных сторон, разных линий. Они мучительно смешиваются. Может быть, будет легче, если их разделить. Одно — это жалость к себе. Другое — жалость к ней. Тут есть жалость к этой несчастной жизни последних месяцев и — еще другая сторона — сожаление о том, что она умерла. И — отдельно — подробное воспоминание процесса смерти. И, наконец, — основное — вина и раскаяние. Все это надо разобрать отдельно. Разобрать с самой суровой стороны, но, может быть, и со смягчающей стороны, и найти отношение. Все равно — чем бы это ни было, даже если оно было большим злодеянием, даже убийством — все равно его жизнь и работа будут продолжаться. Это естественный закон. Это все равно произойдет, непрекаемо. И потому, вместо того чтобы вгонять себе иголки под ногти вслепую, лучше систематизировать...

Первое — это жалость к себе. Проблема собственной потери. С этим, все-таки кажется, справиться легче всего. Да, его мучит тоска, без передышки. Доводящая до беспомощности. Тоска, от которой все время хочется менять положение, потому что во всяком положении плохо. Так что дома кажется, что будет гораздо легче на работе, а на работе он сразу начинает истерически торопиться домой, где можно лечь под одеяло. Но на самом деле дома слишком холодно и слишком тихо. Он вспоминает каких-то малознакомых, почему-то не уехавших людей. Он торопливо, не щадя усилий, разыскивает их в маниакальной уверенности, что с ними сразу станет легче. Но эти чужие люди оказываются невозможной нагрузкой для нервов; от нее нужно поскорее избавиться. Никогда ни одна из его неудач, ни одна из его любовных потерь, причинявших тяжелое страдание, не приносила ему этой особой ностальгической тоски. Нечто подобное он испытал только раз в жизни, почти подростком, когда в первый раз из дома уехал в чужой город. Это было сразу после гражданской войны, во времена разрухи, когда пространства и связи были страшно затруднены, и дом казался почти невозвратимым. И тогда долго — пока не привык — его угнетала беспредметная, беспомощная тоска.

Нынешняя тоска тоже была беспредметна. В ней не было целеустремленности, не было тщетного желания вернуть ушедшее. Нельзя было, в самом деле, хотеть вернуть неразрешимую тягость и мрак истекшего года. Нельзя было хотеть вернуть страшное коловращение. Но от внезапной остановки его мутило. Организм не мог сразу приспособиться к тому, что с него сняли присосху к нему тяжесть. Он тосковал не о человеке, которого давно уже почти не было, но о привычках, выросших в муках и сложившихся в единственно возможную форму существования; о мотивировках ежедневно возобновляемого цикла движений. Существование потеряло ту принудительную форму, которая делала его возможным; предстояло найти новую — это требовало времени. Пока от легкости мутило.

Это был верхний пласт тоски. А под ним залегали более глубокие. С этой смертью он потерял последний остаток молодости. Он потерял постоянную основу быта, тягот<ившую> его, раздражавшую его, но твер-

дую пребывающую частицу семейственности, которая переживала любовные связи и разрывы и сохранила за бытом форму. Он потерял последнее из трудных и неотвратимых человеческих обязательств, и потому последнюю свою человечность. Он стал социально легок до невесомости, когда ушло все, что весят слова, — глава семьи. Равнодушие грозило стать абсолютным. Так в более глубоких пластах тоска была тоской по своей человечности.

Иногда, вырастая, усиливаясь, — она приводила безумное желание возвращения. Он хотел сидения у печки, одуряющей возни с едой, тела, отяжелешего от хряпы³ (это проходили лучшие воспоминания), сытой папиросы и стандартного вопроса: — Ты еще не курил? Как я раньше не любила, когда ты курил. А теперь я полюбила это. Ты тогда очень милый.

Все это казалось ему полным утраченных человеческих значений. Это был быт, мучительный и скудный, но быт — связь вещей, в котором помойное ведро, и коптилка, и разной величины сковородки — все имели свое значение.

Этот быт был циклом вечно возобновляющихся физических трудностей и страданий, но в нем были психологические возможности отдыха, выключения. Помешивание в кастрюле, набитый хряпой живот, ленивая папироса, спотыкающийся, неуловимо-беспредметный разговор с теткой, даже грызня и раздражение — это был отдых, потому что все это было мотивировкой прекращения трудной душевной работы. Предлог для праздности.

И вырывая из страшного контекста отдельные представления, он хотел их с тоской. Но страшный контекст прояснялся, и тогда эти представления почти незаметно подменялись другими, заимствованными из прошлой жизни. Прошлая жизнь отодвинулась, и он не хотел людей прошлой жизни. Он представлял мысленно, как он сидит в гостях у тех или у других, и почти всякий раз ему делалось не нужно и скучно, и даже противно. Он этого не хотел. Лучше бы взять то, что стоит на столе, и перенести домой. Вот этого он хотел. Он хотел маленькую комнату тетки (с мещанскими претензиями, на которые он сердился), чтобы горела лампа, чтобы за столом сидел кто-нибудь случайно зашедший в гости, лучше всего соседи по комнатам, чтобы непременно сидела, вернее, вертелась по комнате тетка, веселая от гостей и разговоров (он сердился, когда она много вмешивалась в разговоры). Ему так хотелось этого, что он даже не давал себе труда представить, что именно стоит на столе и как они это едят. Вот это было то, что он хотел из прошлой жизни. Человечности. Сознания, что это он, глава семьи, доставил беспомощному существу хорошую легкую жизнь. Люди болтали, курили, закусывали у стола. Тетка разливала чай. Жизнь тетки была его производением, которое в это мгновение казалось ему удачным (бывали и совсем другие мгновения). Это было хорошо, правильно. Из прошлой жизни именно это представление сопутствовало ему теперь и возбуждало желание. Этого он хотел. Но ведь это никогда не могло вернуться. Хотеть же другого, только что пережитого было безумием и затмением.

И вот тут он пытается, наконец, прояснить вопрос о жалости к себе и о своей потере. Да, он потерял остатки молодости и остатки человечности, быт и дом. Но ведь все, что вспоминал, — хряпа, и папироса, и вечерние разговоры — все это было из периода передышки. То, что предстояло бы пережить зимой, собственно, нельзя было пережить. Это был бы предел всех бытовых неразрешимостей, грозящий смертельным исходом. Замерзшие ведра с нечистотами, вода из подвала, недостижимые дрова, прекращающиеся физические страдания. Опять истощение, неспособность, тело, изменяющее на каждом шагу. Жалеть себя, жалеть о потере человечности и быта — это почти лицемерие или дурная sentimentalность. Это душевная роскошь, на которую жестокое бытие не дает ему права. И вообще, если начать жалеть себя... Это надо отставить. Здесь же надо сказать прямо: эта смерть сохранила ему здоровье, работоспособность, может быть жизнь... И именно потому эта смерть несет в себе особенно плодотворный зачаток раскаяния. А раскаяние пока еще не душевная роскошь... Только не следует делать из него предлог для умственной праздности. Но к вопросу о раскаянии он еще вернется.

Что же касается согревающих, тянущих к себе представлений из прошлой жизни, то ведь это то, что уже не могло быть. Эти люди, болтающие и закусывающие под лампой, — такими, как он их хочет, — они больше не могли быть. Не потому, что не будет больше лампы, и людей, и закуски. Но потому, что уже не могло быть никогда той тетки, которая и была центром всего представления — оживленной, суевающейся, немножко всем мешающей, но, в общем, всем приятной, удачного дела его рук. Вместо того уже навсегда осталась бы страшная старуха, ковыляющая, полуглухая. Это было трудно, но необходимо понять. В жизни с теткой ни к чему хорошему уже не было возврата. Только тягость. Но он бы нес и нес эту тягость; он хотел бы бесконечно долго ее нести, рискуя жизнью, рискуя всеми страданиями. Не из любви, но из эгоистического страха раскаяния.

Вопрос о себе надо было отвести, вывести. Он был недостаточно значителен. И в нем все равно невозможно было отделить боль утраты от сосущей муки раскаяния. Трудно сказать, что осталось бы от утраты, если бы элиминировать эту муку. Во всяком случае, все эти образы, тревожившие память, в значительной мере были только кажущимися образами желания, желания возврата; в значительной мере они были фикциями желания, порожденными раскаянием. Они существовали для того, чтобы как можно дольше растревать и поддерживать ощущение неправильно совершенных действий.

Вопрос о себе и своих утратах был темным, фальшивым и явно второстепенным. В центре оставался вопрос о другом человеке. О человеке, лишившемся жизни. Оттер не думал, что тот разгул смерти, те миллионы смертей, среди которых мы существовали тогда, — чтобы это что-либо принципиально меняло в отношении к факту. Оно вырабатывало, конечно, равнодушие, привычку, притупление эмоции, но на оценке факта вовсе не

должно было отразиться. У врача тоже профессионально притуплены эмоции по отношению к человеческим страданиям и смерти. Из этого не следует, что он должен считать смерть своего пациента фактом, не имеющим значения. Миллионы смертей (фактор количественный) ужасны только, если ужасна смерть каждого отдельного человека. Если она не имеет особого значения, то не имеют особого значения и миллионы смертей. И тогда, тем более, миллионы смертей не могут изменить отношение к факту.

Притом Оттеру присуще глубокое внутреннее сопротивление против ходовой формулы: сейчас, когда вокруг погибает столько молодых цветущих жизней, — стоит ли... Или столько ценных, нужных жизней...

В качестве органического скептика Оттер не знал в точности, что такое ценная и нужная жизнь. И для кого *нужная*. Только на абсолюты опирающееся неколебимое представление об иерархии ценностей могло бы помочь ответить на этот вопрос. Но этого представления у Оттера не было. А вне этого, по совести говоря, Оттер знал только ощущение каждого человека на свое право на существование и его интуитивно понятное право на это ощущение. Оттер был сравнительно еще молод, у него было призвание написать; у него была воля осуществить это призвание, пока еще ничем не сломленная. Тетка была старухой; она никогда в жизни ничего не делала и, в сущности, мало любила. Сейчас она была бесполезна, была обузой. Но ведь Оттер скептик, и, сводя свои трудные внутренние счета с покойницей, он в утешение себе даже не может сказать: моя жизнь нужнее, и потому твою жизнь нужно было принести в жертву. Кому нужнее? — тем, кто прочтет то, что он напишет... А *почему* (для чего) нужно, чтобы им это было нужно? Потому что у него есть непосредственное, эмпирически данное чувство ценности объективного воплощения своих мыслей. Но точно так же у тетки было непосредственное чувство своего права на существование. И у него было непосредственное чувство кровного своего обязательства поддерживать никому не нужную жизнь тетки, хотя бы <в> ущерб своей объективно ценной жизни. И всякое отклонение от этого обязательства немедленно наказывалось раскаянием. С помощью каких критериев может скептик установить иерархию всех этих интуиций и непосредственных моральных данностей? Он может только сказать, что жизнь человека нужна ему самому и что в своем праве на существование люди равноправны. В последние месяцы своей жизни тетка каждое утро возвращалась к жизни с тем, чтобы получить за день некоторое количество вкусовых ощущений. Оттер, помимо вкусовых наслаждений, получал еще некоторые интеллектуальные наслаждения, больше, впрочем, похожие на трудную работу. Вопрос об объективной ценности и нужности оставался неразрешимым, оперировать им было бессмысленно.

Тетка же, несомненно, имела право на существование, не хуже других. Вопрос, следовательно, сводился к тому, каково было это существование. Здесь также открывались возможности для всяческого лукавства. Оттер всегда относился отрицательно к разговорам о том, что человек

вовремя умер, что смерть его спасла от больших страданий и т.д. В этих разговорах всегда много тайного желания близких облегчить себе жизнь утратой, а утрату подобными разговорами. Оттер полагал, что человеку, вообще говоря, виднее, и что если он живет, значит, в нем не иссякла воля к жизни. Он знал уже, что волю к жизни редко убивают страдания (разве что в порядке скоропреходящего аффекта с покусениями на самоубийство). Но что существует постепенное затухание, улечучивание этой воли, жизнь, стремящаяся к минимуму, потом почти сводящаяся к нулю. Дистрофия научила нас зрелищу постепенного, неуклонного и, в конечном счете, легкого уничтожения человека, процесса, в котором последний акт уже не имеет особого значения. И смущающая душу загадочность этого процесса — постепенного распада человека — состоит в том, что мы даже не знаем, в какой именно момент нам следует оплакивать наших близких. Может быть, их следовало оплакать 22 июня. Что же представляло собой предсмертное существование тетки, и на сколько в ней оставалось жизни, утверждаемой волей к ее продолжению.

И тут опять, чтобы не путаться, чтобы систематизировать и одолеть этот давящий гнет, нужно было ясно расчленить три момента. Ее существование в прежней жизни; существование, сложившееся в период передышки. И третье — существование ее, как оно стало определяться в самое последнее время и каким ему предстояло окончательно определиться зимой. Все это нужно было расчленить в путанице наплывающих тревожащих память образов (представлений).

Первый момент в целом был положительный. Вот старик, человек слабого напора, был такой, что с тех пор, как его жизнь стала затрудненной, — вспомнить из этой жизни хорошее стало очень трудно. С теткой, напротив того, вспоминать хорошее, забавное, легкое, можно было сколько угодно. Хотя все это было обращено к поверхности. А другим своим пределом все это легкое, легкомысленное и неразумное тяжело тяготело на жизни Оттера. Во всяком случае, тетка с ее напором, сопротивляемостью, с ее неизменяющим хотением получать удовольствие и отстранять неприятное — умела получать от жизни радость, и потому ее жизнь можно было устроить, располагая ограниченными средствами. И Оттер устроил это. Жизнь эта шла с перебоями. Не хватало денег, Оттер был раздражен и тяжел. Но, в общем, это было то, что ей нужно. Это была жизнь несколько богемная, с развлечениями, с минимумом обязательств. Обязательства и деятельность ее были игровые, фиктивные. Она настаивала на них, потому что они ее занимали, но все это можно было делать и можно было не делать. Жизнь была устроена так, что ей не нужно было вкладывать в нее труд. Она вкладывала труд настолько, насколько это доставляло ей удовольствие. Она ходила в гости и в литературный клуб на концерты. Оттеру это нравилось. Ему нравилось, когда ему говорили, что тетка — чудо жизнеспособности и молоджавости. Легкомысленный уклад ее жизни — это было дело его рук.

И вот нужно было твердо усвоить — этот уклад кончился невозвратно. И потому, что восстановление подобного уклада вообще было делом отдаленного и неземного будущего, и, главным образом, потому, что кончился человек, приспособленный для этого уклада. Дистрофия уничтожила его гораздо раньше, чем смерть. В этом смысле тетку нужно было оплакивать не тогда, когда она мертвая лежала на письменном столе Оттера; а гораздо раньше, в некий трудноуловимый момент. Но Оттер, как и большинство людей блокады, не умел оплакивать живых. Слишком много времени, усилий, злости и горя поглощало поддержание их жизни.

Второй момент — это быт, который сложился в период передышки. В нем было много ужасного — все углублявшийся развал и хаос вещей, грязь, которая все плотней облепляла ее (прежде она была очень чистоплотна), дни в молчании и одиночестве. Но были «свои маленькие радости», как прямо говорила тетка. Человек при всех обстоятельствах сохраняет какие-то свои исконные свойства, и она по-прежнему отцеживала радость. Понятно, что при данных обстоятельствах маленькие радости свелись к еде (к еде она была прежде скорее равнодушна). Ей пришлось пережить много голодных страданий, но и радости действительно были. Это Оттер умел устраивать. Каждый день у нее было ожидание чего-то. А для человека этого склада не все ли равно, чему ребячески радоваться, — тому ли, что она пойдет в гости, или тому, что вечером предстоит какао с конфетой. Манья еды, владевшая тогда Оттером, помогала ей жить с каким-то интересом. Он возился с приготовлением пищи, сидел ради этого дома, обсуждал с ней меню. На этой почве они дружили. В остальном ей было свойственно говорить на раздражавшие его темы. Как-то она вдруг сказала: «С тобой можно говорить только о еде. Тогда ты добродушный. Иначе ты все злишься». Он не возражал; ему стало стыдно за себя. Все, что он готовил, она находила «вкусным?». Бывали едовые праздники (посылки). И почти каждый день он что-нибудь приносил с торжеством. Тетка радовалась, и тогда он бывал добродушен. Потому что ее благополучие смягчало его (благополучие было его произведением — и он любовался им), тогда как ее страдания, которые он не мог прекратить, — приводили его в бессильную злость.

Но этот как-то устоявшийся быт (тут начинается третий момент, подлежащий расчленению) был бытом летней передышки. К зиме все должно было страшным образом измениться. По своему легкомыслию она не понимала всего, что ее ожидает. Она полагалась на то, что он что-то устроит. И он холодел от страха. Но уже заранее, заблаговременно она сама начала страшным образом изменяться, становиться все более непригодной для какого бы то ни было быта. Она теряла память, глохла, постепенно отнимались ноги. Уже нельзя было бы вернуться не только к тому человеку, который существовал в прошлой жизни, но и к человеку летней передышки. Начиналось нечто третье. Что еще могло бы быть. Протащить ее через все страдания к новому лету. Получить уже нечто третье — человека, в котором все отмирало постепенно, и параллельно отмирали сопротивляемость и воля к жизни.

Вернуть ее уже нельзя было ни к чему. Можно было бы только вымыть ее, переодеть в чистое, избавить от всего трудного, уложить, кормить вкусными вещами. Он хотел бы этого, вот это он в самом деле хотел бы; это одна из немногих вещей, какие он хотел бы. И этого не будет. Но он ведь взялся систематизировать материал, накопившийся в памяти материал. Он должен систематизировать, а не повторять: бедная, ох, моя бедная, бедная, бедная...

Вымыть, успокоить, кормить вкусными вещами — это была бы победа, одна из миллионов человеческих побед над мировым злом, которые придут еще для миллионов людей, сумевших сохранить тех, кто поручен был их ответственности. Но еще когда это пришло бы, и что удалось бы до той поры от нее сохранить.

И сейчас Оттер ни за что не повторит слова, которыми его утешали, — смерть избавила ее от больших страданий и проч. ... Жизнь есть жизнь со всеми своими правами. Но жизнь, которой она лишилась, несомненно, была уже жизнью предельно ограниченных возможностей, уже стремившаяся к нулю. И это упростило и облегчило смерть.

Оттер гордился тем, что тетка пережила зиму. Что тоже было его произведением. Он любил, когда ему говорили об этом и удивлялись тому, что удалось ее сохранить. И сейчас, когда случилось несчастье, он чувствовал себя униженным, он этого стеснялся. И замечательно, что тетка, любившая переживание превосходства над другими, сама гордилась тем, что она жива, и испытывала это чувство превосходства по отношению к людям — особенно пожилым людям, которых она могла сопоставлять с собой, — выслушивая рассказы об их смерти.

В тетке было столько жизнеспособности, что Оттер был уверен — ей предстоит еще долгая жизнь. Но эта вечная молодость не могла в самом деле продолжаться вечно. И Оттер мучительно боялся для нее двух вещей — он боялся для нее осознанного умирания, которое должно было быть сплошным ужасом и цеплянием за уходящую жизнь; и он боялся переломного момента, который должен же был когда-нибудь наступить, — момента перехода к дряхлости, к такому состоянию, когда уже никакое легкомыслие не могло бы помочь не замечать совершающегося. А ведь до сих пор она удерживала позицию. В 75 лет ее удивляло и задевало, когда ее называли бабушкой (хотя она была уже прабабушкой). Какая-то женщина уступила ей место в трамвае (о таких вещах она любила рассказывать) и сказала при этом: «садитесь, бабушка». Стесняясь, она объяснила: «Ну, знаешь, простая женщина...» В 75 лет она жаловалась, что в последнее время сильно седеет. Оттер со страхом представлял себе — как же она переживет наступление дряхлости. Он допускал обычную в таких случаях ошибку — просчет того, что психическое отмирание идет параллельно физическому. Что первые седины и морщины могут быть трагедией для женщины, но вряд ли может быть трагедией наступление дряхлости. Но в тетке была столь исключительно сильная воля к жизни, что в данном случае процесс мог оказаться очень болезненным.

На самом же деле все произошло совершенно иначе, чем должно было произойти. Впрочем, смерть, вероятно, всегда или почти всегда приходит иначе.

Воля к жизни отмирала постепенно, соответственно развитию дистрофического процесса. Жалуясь, в частности жалуясь на грубость Оттера, она говорила: «Как я раньше боялась всего. И этих бомбежек. А теперь не боюсь. Я все равно не дорожу такой жизнью». Она действительно не боялась. Но объяснение было неверным. Не страдания уничтожали рефлексы самосохранения, а усталость. Уже непреоборимая потребность истощенного тела в покое, в неподвижности.

Тело вырождалось, и она по привычке стеснялась этого. Она избегала смотреть в зеркало, но иногда смотрела и говорила тогда — Какая я стала страшная, даже уши у меня, как у собаки, стали длинные и прозрачные. Или — почему-то у меня совсем волосы вылезли. Совсем мало осталось волос. По привычке она стеснялась; томила в одиночестве, но стеснялась людей. Ей было бы жутковато встретиться со своими друзьями. Отчасти ее утешало, что всем этим друзьям тоже пришлось очень плохо. Что они в плохом виде. В ее упорном нежелании эвакуироваться к своим многое шло от этого чувства стеснения. Там была почти глухая сестра, над которой она всегда чувствовала неизмеримое превосходство. А теперь она сама придет туда полуглухая, беспомощная. Весь этот комплекс она выражала только вскользь, фразой: «Наши бы теперь меня не узнали». — Гораздо меньше она стеснялась того, что почти уже не владеет ногами, но глухоты стеснялась как социальной деградации, как утраченной возможности равноправного общения с людьми. И тут воспоминание о презираемой всю жизнь неполноценной сестре (ее даже никак нельзя было выдать замуж) имело решающее значение. По привычке она стеснялась и вытеснялась <так!>, она еще не соглашалась на глухоту. Она говорила Оттеру — «ты говоришь так, что нельзя разобрать. Что-то ты бормочешь. — И когда Оттер с грубым раздражением повышал голос, чтобы она услышала, она оскорблялась этим как никакой другой его грубостью. — Зачем ты кричишь. Я тогда ничего не слышу (это была хитрость — она тогда слышала), говори, только ясно».

Заходила соседка. При других обстоятельствах это было бы большим развлечением. Но равноправный разговор был для нее уже невозможен. После ухода соседки она спрашивала — что тут А<нна>М<ихайловна> рассказывала. Она, когда к тебе обращается, говорит так тихо, что ничего нельзя разобрать.

В сущности, она могла разговаривать только с Оттером, который говорил специально. И он думал — теперь так сложился быт, но если ей придется вернуться к общению с людьми — что это будет.

Она стеснялась по привычке, и все-таки это уже не было трагедией. Главное, ей помогала подмена мотивировок. То, что происходило, она осознавала не как естественное наступление дряхлости, на что она не соглашалась, но как дистрофию, болезнь, нечто временное и проходящее с ее

точки зрения. Ведь то, что происходило с ней (и даже худшее), происходило вокруг с молодыми здоровыми людьми. Значит, дело не в том, что она старуха. От этого ей было легче. И легче ей было от всеобщности явления. Так, например, во время революции люди спокойно относились к потере своего состояния; те самые люди, для которых в обыденной обстановке это было бы страшной катастрофой.

Так она вошла в дряхлость с подменой мотивировок, помогавшей ей не понимать, что для нее совершающийся процесс был непоправимым и окончательным. Она вошла в дряхлость преждевременно и объективно катастрофическим, ужасным образом, но внутренне, субъективно облегченным образом. Так же, с постепенно выветривающейся волей к существованию, она подошла к смерти. И смерть эта была бессознательной. Хотя были некоторые симптомы, некоторые моменты, внушавшие Оттеру мучительное сомнение. Что, если все-таки она понимала, когда уже не могла говорить... Он напряженно перебирал симптомы, он приводил доводы за и против, и не мог разрешить...

Во всяком случае, это было то, что принято называть бессознательной смертью, легкой смертью. Во всяком случае, не было предсмертного крика и цепляния за жизнь. Это была дистрофическая смерть, без излишнего шума. Было много мрачных деталей вокруг — вши, тряпье, могила за водку, тележка. (Оттер, кстати, считал, что, по сравнению с главным, с развязкой человеческой судьбы, — посмертные детали не имеют никакого значения.) Но сама смерть не была ужасной. Она была сама по себе менее ужасна, чем многое другое. Чем то, что он делал и чего он <не> делал, чем все, в чем он был виноват.

И опять, пройдя круг накопленных памятью представлений, — Оттер упирается в тот же предел, в вечный предел всех эгоистов, потерявших своих близких, — в вопрос о своей вине и раскаянии.

Это опять был узел, от которого нити шли в разные стороны. Следя и следуя за ними, разматывая этот узел, можно было опять уйти далеко, глубоко. Можно было опять дойти до коренных противоречий жизни и смерти, до понятий времени, связи, наслаждения и страдания. Но не имело смысла вторично описывать этот круг⁴.

Кое-что было теперь заранее ясно. Так, он знал уже теперь, что несправедливо обвинять людей в том, что они, не дорожа живыми, оплакивают мертвых. Дело не в непонятном недомыслии, а в коренном изменении импульсов. В большинстве случаев люди не испытывают по отношению к своим близким по-настоящему дурных чувств. Владеещее ими дурное чувство — это скоропреходящее и постоянно возрождающееся на той же основе чувство раздражения. В отсутствие близкого человека раздражение бездействует, и тогда без всякой помехи вступают в действие обращенные на него добрые чувства, в том числе раскаяние, сожаление о своей грубости, для которой в данный момент нет импульсов и которая поэтому уже внутренне непонятна. И вот отсутствие стало вечным. Раздражение

прекратилось навсегда; сожаление и раскаяние стали непоправимыми. Весь комплекс до бесконечности разрастается.

И еще одно теперь было ясно заранее — вопрос о конце, о последнем впечатлении. Оттер знал уже — главное терзание близкого и несущего вину человека — это мысль о печальном конце; о последнем, что нельзя уже снять и стереть никакими последующими впечатлениями. В жизни тет-ки бывали трудные периоды (не такие, конечно), и Оттер относился к этому и тогда и теперь довольно хладнокровно. Они были сняты последующим. А вот это никогда, ничем не будет снято. Но Оттер знал уже, это терзание для сознания, лишненного ясного принципа связи, — аберрация. Для умершего, особенно бессознательно умершего (сознательно умирающий как бы рассматривает себя со стороны), порядок жизненных опытов безразличен. Один из очередных его жизненных опытов оказался последним. Но рядом стоящий и несущий на себе вину и ответственность непрерывно конструирует эту чужую жизнь. И для него последний, непоправимый момент (завершение, развязка) исполнен ужасной значительности.

Теперь это заранее данные предпосылки. В остальном же нужно разобраться.

Тетка умерла от истощения. Ее доконали наступление холода, работа, становившаяся непосильной, множество отдельных жестоких фактов существования. Эта жизнь была на его ответственности, он ее устраивал и не смог ее сберечь. Следовательно, эта смерть была его виной, его слабостью и унижением. Сберечь при данных обстоятельствах было очень трудно, но, вероятно, не невозможно. Оттер, с его глубокой верой в неограниченные возможности человеческого хотения, — вообще не мог ответить на подобный вопрос отрицательно. Надо было действительно хотеть, надо было думать и трудиться над сохранением этой жизни. И тогда это было <бы> не невозможно. Но все, что происходило, — происходило в мире гиперболических буквальностей. Сберечь чужую жизнь нужно было делаясь, делаясь куском хлеба, *буквально* делаясь куском хлеба. Одним граммом больше туда — одним граммом меньше себе. Каждая калория, прибавлявшаяся туда, — уходила из его жизни. Это был точный расчет.

Материально, физически, он сделал немало. Больше всего он отдавал в самое крутое время — в эпоху 125 и 200 грамм⁵. Тогда он делил единственный обед, часто довольствуясь только супом. Тогда жадность еще не проникла в него, и ему это было легче. Потом наступила эпоха расширенных возможностей, когда человеческое хотение могло уже не только слепо жертвовать собой, но могло многого достигнуть. И он достигал многого. Он стоял в очередях и готовил, он носил судки и банки и получал что-то льготное и добавочное (чем тетка, кроме всего прочего, могла гордиться как фактором превосходства над другими). Во все периоды этого года он был главой семьи, устройте-лем жизни. Тем, кто со своей тарелки перекладывал в пластмассовую коробочку единственную кашу; тем, кто потом тасил в наволочке тяжелую московскую посылку — давалась не всем, только активу — с шоколадом,

сухарями, маслом, консервами. Тащил, захлебываясь от нетерпения, — скорее показать, поразить; и думал при этом: как глупо будет, если меня сейчас убьет снарядом. Он был тем, кто с торжеством разворачивал взятую в столовой по мясным талонам смету. — А еще говорят, что ленинградцы голодают...

Все это было своего рода реализацией и занимало его. Кроме того, это было нечто само собой разумеющееся. Вначале он даже не осознавал, что отдает *свое*; он просто распределял то, что в общей сложности приходилось на единицу семьи. Гораздо позднее уже у него был случайный разговор с П.Ф., женщиной, одаренной прекрасными способностями к самохранению. Он рассказывал ей о своем хозяйстве. Она вдруг сказала — Не понимаю я этих судорожных усилий, чтобы спасти жизнь семидесятипятилетнему человеку. — То есть как? а что же с ним делать? — Ну, не знаю. Но ведь это все за ваш счет...

Они распрощались, и Оттер с неудовольствием почувствовал, что этот разговор дошел до него, навел его на какие-то новые оценки. Он вдруг впервые ясно увидел, что занимается не распределением, а перераспределением. Что семейная единица включает две неравные величины — рабочую и иждивенческую карточки. Что талоны рабочей карточки означают его крупу, его жир, которые он мог бы съесть, но которые он перераспределяет. Так этот дурацкий разговор положил начало внутреннему протесту, и Оттеру всегда было потом неприятно встречаться с П.Ф. Особенно неприятно сейчас. На ней какая-то часть его вины. На этой самодовольной бабе, которая даже не похудела во время блокады.

Все же он, в общем, продолжал делать, что надо, держался на обязательном уровне главы семьи. Это была действующая норма поведения, и ниже он не спускался. Он делил, хотя делил не до конца. Он оставлял себе больше хлеба (по норме), хотя тетке всегда так хотелось хлеба. Но он тоже страдал хлебным психозом. Ему казалось, что без этого он не сможет жить и работать. Вообще он съедал больше. Тетка любила повторять — тебе больше нужно. В самом деле — он работал умственно, и он бежал по кругу, и таскал ведра, и колот дрова. Все так, и все-таки, очевидно, ей было нужно больше, ведь она умерла. Кроме того, у него были лукавые, недобросовестные поступки, он позволял себе маленькие мошенничества. В эпоху расширенных возможностей он, при домашнем дележе, часто скрывал, что съел уже в столовой лишнюю кашу, и все-таки брал себе больше. Конфету, которую ему давали за обедом, он делил. Но иногда, не утерпев, съедал всю и врал, что сегодня не выдали. Иногда, на другой день, он опять врал, что для возмещения выдали вдвойне, и отдавал ей конфету целиком, иногда же зажуливал. А ей так детски хотелось этой конфеты, она ее разрезала ножом на маленькие кусочки. С конфетами — это была жестокость. Он кричал на тетку, что она слишком много пьет, что это для нее вредно, губительно. Но иногда уступал, приносил много супа или кофе, которых ей хотелось, с тайной недобросовестной мыслью, что она съест много супа (она это любит), и ему легче будет оставить себе лишней каши или хлеба.

Можно было сделать больше. Быть может, можно было спасти. Но в мире страшных буквальных, в котором все это совершалось, — это была ставка собственной жизнью. Талоны, переходившие от одного члена семьи к другому, — это был опасный и наглядный процесс, подобный переливанию крови. Где-то находился предел — смертельный или непоправимо разрушительный для отдающего кровь.

То же было с работой, с тем, чтобы взять на себя еще какую-то часть домашней работы. У него фактически, физически нет времени, потому что он загнан теми же домашними делами; если он будет тратить на них времени еще больше, то он не сможет работать, зарабатывать — и они погибнут. Это была аргументация не ложная, но лежавшая на поверхности. В глубине же было все то же — переливание крови. Взять на себя еще — а тогда нужно было брать все больше и больше — значило подойти к пределу, за которым начиналась уже прямая жертва жизнью. И этого Оттер не хотел. Не то, чтобы он мог утверждать, что его жизнь объективно ценнее и проч. Но прямой жертвы жизнью он не хотел; он не чувствовал этого обязательства. Он был непоследователен, потому что к моменту гибели тетки сам он был физически очень плох. И все, что происходило, было, в сущности, процессом постепенного саморазрушения, случайно прерванного гибелью тетки. Но это был именно постепенный, не особенно заметный процесс, складывавшийся из множества мелких привычных действий, которые исподволь заняли свое место в ежедневном пробеге по кругу, так что отменить их или заменить было уже невозможно. Все это складывалось постепенно из само собой разумеющихся, неотъемлемых мелочей и в конце концов оказалось тем, чем оно было, — саморазрушением. Все это совершалось без малейшей героики. Напротив того, с чувством постоянного стыда за свои грубость и жестокую распущенность; с чувством, что все это не до конца и что он все-таки жульничает в свою пользу. На прямую же жертву жизнью, с заранее обдуманном намерением, он не шел и не чувствовал обязательства идти.

Вот почему главная тяжесть вины была не в том, что он сделал или чего он не сделал за этот год. Но в том, как это все совершалось.

В мире буквальных, в мире прямых смыслов, заменявших все переносные смыслы, — зависимость этой жизни от него стала тоже абсолютно буквальной. Она была беспомощна, стоило ему два дня не принести ей обеда — и она бы умерла. Никогда ответственность за чужую жизнь не была так велика. Это была ответственность матери за грудного ребенка. Оттер знает, что он спас эту жизнь — отчасти за счет себя, — но он же отравил ее и, может быть, погубил. Все было страшно вещественно — граммы, калории, капли крови. Все решали очень конкретные и очень частные вещи. Это было как в пустыне, где, дав глоток воды человеку, можно спасти жизнь, и можно убить, отняв глоток воды.

И он отравил эту жизнь — не какими-нибудь психологически тонкостями, а просто ужасной грубостью и злобой.

Как могло это все случиться?

Это было как в продолжение их старого спора между собой. Тетка обладала всеми свойствами, раздражавшими Оттера, и удивительным неумением с ним обращаться. Его как раз очень легко было смягчить уступчивостью, но она не уступала никогда. Словом, это был старый спор, в котором он всегда был груб и распушен. Но ведь тогда беспомощность и зависимость еще не имели буквального смысла. В блокадном существовании спор этот должен был принять жутковатый оттенок, и он принял жутковатый оттенок; по существу, как и все вокруг, это был уже спор о жизни и смерти.

Оттер был несчастен, болен, озлоблен. Главное, он был загнан, он бежал по кругу. Все люди были в таком же состоянии, и все чудовищно распустились и распоясались. На улице нельзя было спросить, который час, или как пройти туда-то. В ответ следовала ругань. В особенности страшны были женщины в очередях. Они с нетерпением, со сладострастием ждали, чтобы кто-нибудь обратился с вопросом и чтобы за это можно было его как следует измордовать. У всех людей, как прежде у пьяных, была мотивировка для непристойного поведения. Они всячески злоупотребляли мотивировкой дистрофии, ибо снятие социальных запретов облегчало давивший их груз.

Оттер поступал как все. Кроме того, он вообще был склонен к распушенности. Вся его волевая сила, все способности к самоуправлению уходили в одну область — в работу. В остальном он был ленив и равнодушен и, предпочитая затрачивать на остальное поменьше душевных сил, — предоставлял ему идти, как придется.

Оттер был озлоблен, потому что он вообще был несчастен, и, в частности, потому, что он был несчастен из-за тетки. Он был несчастен в силу самого ее существования, обусловившего ту западную быта, в которую он попал. И он был несчастен, потому что она была несчастна, и он не мог этому помочь.

Ему испортили ее жизнь — его удачное произведение, и он бесильно страдал от этого. Он не выносил все, что ему об этом напоминало. И когда она жаловалась — она начала жаловаться, это было признаком деградации, это было совершенно ново, и потому особенно ощутимо, — он выходил из себя и кричал, что она неблагодарна, распушенна, что она имеет то, что мало кто имеет, то, чего и не заслуживает. Ее жалобы были для него оскорблением, отрицанием его стараний и достижений. Этот крик должен был заглушать чувство отчаянной беспомощности. Он озлоблялся, потому что со злобой было легче жить, чем с жалостью. Он мог к ней хорошо относиться, когда она была веселой, молодящейся, ничегонеделающей — удачным произведением его рук. К тому, что было сейчас, трудно было хорошо относиться. Для этого нужна была либо любовь, которая постепенно затерялась в его равнодушии, либо принципиальность, твердое чувство долга, которых у него отродясь не бывало. Все это он заменил эмпирическим состраданием и чувством кровной связи, и непроясненной инерцией некоего среднего уровня поведения. Любовь или осознанный долг — это реали-

зация, и в этих пределах жертвы имели смысл. Но в пределах инерционно-го уровня поведения жертвы только тяготили и озлобляли.

Окончательное словесное выражение этого озлобления могло подвергнуться обычным запретам деликатности. Но деликатность, уже в значительной мере уничтоженную всем происходящим, окончательно доконало необычайно упорное — роковое для нее — сопротивление, которое тетка оказывала всем хотениям Оттера. Это старое противодействие (отсылка к прежде написанному)⁶ в данных обстоятельствах стало трагическим.

Из последних сил* Оттер начал свою борьбу с хаосом, борьбу за разумно-осознающее существование и творчество. Чем удачнее складывалась эта борьба, тем больше появлялось для нее возможностей, — тем больше он злобил на все, что ему мешало. В самую страшную 125-граммовую эпоху Оттер был сравнительно кроток и терпелив. Тогда речь шла только об инстинктивных попытках спасения своей жизни и заодно этой рядом стоящей жизни. И хотя это были задачи, в сущности, взаимно противоречащие, но на практике они тогда сливались в единое усилие. Все противоречия выступили, когда речь зашла о творчестве, т.е. об освобожденном времени. Домашний быт вырывал у него время с мясом, и он злился. Он боролся с хаосом теперь целеустремленно. Он разрешал проблемы рационализации и режима. И всем его усилиям противостояла тетка, воплощение хаоса, персонализация нерационального, бестолкового, нелепого. Каждое лишнее движение стоило ему ужасных душевных и физических усилий, и он приходил в неопишное отчаяние от того, что она заставляла его зря делать эти усилия. Коренная нелепость состояла в том, что это делалось при желании ему добра, что злая воля отсутствовала. Это была нелепость, коренная нерациональность, и это приводило к предельному озлоблению. Он выходил из себя, когда она била посуду, проливала и просыпала драгоценные крупички и капли еды, немедленно после того, как он настойчиво просил ее не переливать и не пересыпать что-либо и т.п. и т.п. — Он приходил в бешенство не только от дистрофической жадности, но и от того, что рушилось все его вынужденное, тщательное построение наиболее рационального использования времени и ресурсов. Время вырывали у него с мясом. Жалуясь, тетка говорила: зимой, когда было так трудно, ты не был такой злой. Когда я говорила, что тебе тяжело таскать эти банки, ты говорил: было бы что таскать... А теперь ты все злишься...

Это была правда. Но тогда, зимой, он не пытался работать, и думать, и освобождать время. Тогда он только инстинктивно спасал две жизни, и его радовало все, что могло служить этой единственной цели. А теперь он враждовал с хаосом; тетка же оказалась авангардом хаоса. Она была живой, одушевленной частицей хаоса, и потому именно на ней можно было срывать всю враждебность и злобу. Он вступил в открытую борьбу с авангардом хаоса и враждебного мира. Он встретил беспредельное, ничем непреодолимое упорство тетки. Полную непоколебимость по отношению к его просьбам, уговорам, объяснениям,

* [Зачеркнуто:] С ужасным напряжением душевных сил

брани, угрозам — он знал, что ничто не поможет, хоть бы он разбился об эту стену на мелкие куски. И великое упорство хаоса, в данных обстоятельствах гибельное для обоих, довело его до крайней степени уже почти непреодолимого озлобления и разрешило его от запретов, от всех задержек жалости, деликатности, приличия, просто даже цивилизованных привычек (навыки цивилизации вообще трещали вокруг).

Он боролся. И тут он опять допустил ошибку. На самом деле бороться было не с чем. Переупрямить, изменить, исправить нельзя было ничего. Уйти, бросить нельзя было, потому что существовала ответственность и кровная связь. Мстить было некому, потому что мстить можно только враждебности, злой воле, которая может унижить. Но злой воли не было, и ничто не могло унижить, что исходило от существа, абсолютно от него независимого. Словом, бороться было не для чего и *не с кем*. Получалось нечто вроде бессмысленных наших расправ с неодушевленными предметами, причиняющими нам зло при отсутствии злой воли. Нечто вроде того, как человек швыряет ногой стул, об который он ушибся, или бросает с силой телефонную трубку, когда долго не отвечает телефон. Эти действия бессмысленны, но от них трудно отказаться, потому что они дают эмоциональную разрядку. Здесь происходило то же самое. Словесное выражение злости — облегло. Снятие запретов было огромным облегчением. Потому что в дистрофическом моральном обиходе запреты были особенно тягостны. И в этом расшатанном обиходе стоило только разрешить себя от запретов, чтобы сразу вступить на путь ничем не ограниченной, совершенно безудержной распушенности.

Раз запреты в принципе были сняты, то их можно было снимать все дальше и дальше. Чем больше отпадало запретов, тем большая получалась разрядка и облегчение. Все, что людям известного уровня цивилизации приходится держать при себе и там подавлять и перерабатывать — раздражение, попреки, — все получило разрядку. Особенное, исключительное облегчение доставляют человеку попреки, так как молчать о своей жертвенности особенно трудно. Так случилось, что постепенно были сказаны (и это уже вошло в обыкновение) самые страшные слова. Страшные слова всех видов — брань, попреки, угрозы, пожелания и проклятия. В его речи отстоялись теперь два бранных термина, которые как бы все характеризовали, и он применял их постоянно. Это был уже стандарт, которым он механически реагировал на все то нелепое, хаотическое, противное здравому смыслу и принятой норме поведения, что от нее исходило. От брани был естественный переход к попрекам. — И вот ради такой дешевки* я положил свое здоровье и жизнь. Кстати, когда он говорил о своем здоровье и жизни, ему казалось, что он говорит это в порядке формулы попреков и злости, но на самом деле это было довольно близко к действительности. Испытывая при

этом тупое животное облегчение от давивших его запретов, он перечислял все, чем он пожертвовал, и все, чего из-за нее лишился (возможности уехать, стационара, усиленного питания —

* [Поверх этого слова карандашом нрзб:] <женщины?>

он не мог оставить ее одну и не мог оставить ее при иждивенческой карточке). В свое время он довольно равнодушно отказывался от всех этих благ, но теперь он жадно выискивал все это, ища чем бы еще разрядить свою обиду. Во всех направлениях он искал самые страшные и грубые формулировки, такие, что дальше некуда, как будто бы только предельная грубость могла успокоить его и уравновесить тяжесть, которая его давила. Он называл ее паразитом (Ты все разбазариваешь, что я добываю своей кровью. Чай ты высыпала в помойное ведро, приняв его за что-то такое. Потому что ты всюду должна соваться, куда тебя не просят. Я не позволяю себе съесть лишний кусочек жира. Приношу домой. А он, растоптанный, на полу. Когда я тебя умолял не трогать его и не перекладывать. И, главное, ты относишься к этому совершенно спокойно. Это же отношение паразита, который всю жизнь привык, что ему все подносят готовеньким). Он не скрывал раздражения, которое у него вызывала ее глухота или то, что она плохо владела ногами (А, брось! Мне проще тебе подать, чем видеть, как ты ковыляешь. — Двух шагов не можешь ступить, а за все хватаешься и суешься. В результате всё на полу). С неимоверной грубостью он грозил: Вот я дня два тебе не принесу обеда, тогда ты будешь со мной считаться. Я тебя научу считаться. Я этого добьюсь. Тебя надо ударить по желудку. Потому что никакого человеческого разговора ты не понимаешь.

На этом пути он договорился до того, до чего он должен был договориться, снимая запрет за запретом, — до самого страшного, до разговора о ее смерти. Когда она произносила стандартную формулу: я уж не долго буду тебе обузой. — Он отвечал: Ну, это, знаешь, еще неизвестно. Я думаю, раньше ты меня в гроб загонишь. Судя по тому, как я себя чувствую от этой жизни, которую ты мне устроила. И вот тогда-то, когда я издохну, тогда тебе туго придется. Тогда ты почувствуешь с твоей иждивенческой карточкой. — Или он говорил: я за тебя очень спокоен (это была неправда, он за нее не был спокоен). Такие не погибают. Это хорошие люди умирают (неимоверно, непостижимо, что он мог это говорить). И наконец он достиг предела. Он, кажется, сказал... Это уж так неимоверно, что даже есть надежда, что, может быть, он это все-таки не сказал. — Хоть бы ты кончилась*, наконец, в самом деле; больше так жить невозможно. — И это за несколько дней до ее смерти. По-видимому, он все-таки это сказал. Но при этом он так оглушительно кричал, что, кажется, она этого не слышала. Значит, *никто* этого не слышал. И тогда это равносильно тому, как если бы это совсем не было сказано, как если бы это осталось только дурной мыслью. Но это выверт. А суть в том, что он сказал все самое страшное. Он, человек, переживавший действительность в слове, боявшийся слов, хранивший словесное целомудрие.

Как могло это все-таки случиться? Он был равнодушным, раздраженным, распушенным. Но ведь не был же он зверски-жестоким. Ему всегда было трудно причинять боль. Его воля мгновенно сгибалась о чужое страдание. Тетка говорила ему — ты со всеми хорошо, * [Стерто:] кончила жить

только не со мной. — Это вообще свойство слабых и распущенных людей, дома слагающих с себя запреты. Но здесь дело было не только в этом. Он отвечал ей (это была правда): От всех других я могу избавиться, и избавляюсь мгновенно, как только они мне станут противны. А от тебя не могу. — В самом деле, от всех других он был вполне защищен равнодушием. А здесь равнодушие не могло быть полным, потому что имела ответственность. Он искал других способов самозащиты, и находил самые безобразные.

Он не был зверски жесток, и для того, чтобы все это могло случиться, всего перечисленного было еще недостаточно. Тут вмешались еще два момента, две несчастных aberrации.

Первое — в нем по инерции сохранялось давно сложившееся убеждение, что сопротивляемость тетки, ее жизненный напор, ее реализация несокрушима. Это ничего общего не имело, скажем, с хрупкой реализацией старика, которую можно было повредить каждым неосторожным движением. У Оттера давно вошло в обыкновение оказывать противодействие (чинить препятствия) реализации тетки. Во-первых, потому, что в этом находило себе выход его раздражение ее упорством и довольством собой; во-вторых, потому, что в этом он видел средство самозащиты против империалистических тенденций этой реализации, которая грозила захлестнуть окружающее. Поэтому он всегда (не только в состоянии бешенства) говорил ей вещи, вообще запрещенные законами деликатности. Он считал это правильным воспитательным приемом и средством самозащиты против этого захлестывавшего его жизненного напора. Он, например, охотно внушал ей, что при наилучшем к ней отношении и проч. он несколько в ней не нуждается. Что в его хозяйстве ей, собственно, делать нечего, что заботиться о нем не нужно, и она должна жить по возможности в свое удовольствие, чему он всячески хочет содействовать. — Между тем одно из любимейших игровых представлений тетки было представление о том, что она живет не для себя, а для них, для племянников. Это была реализация, и он уничтожал ее без всяких угрызений, потому что считал, что все равно никакими силами не уничтожить те игровые представления, которые она — для своего удовольствия — захочет оставить за собой.

В новых условиях он продолжал борьбу с ее реализацией. И в мире страшных буквальностей эта борьба, как и все, приобрела чудовищный характер. Ему по-прежнему казалось необходимым продолжать эту жестокую борьбу, даже в особенности необходимым, потому что сейчас ее упрямство и довольство собой, ее нежелание считаться и слушаться разумных советов — теперь это было разбитой посудой, опрокинутой на пол едой, пролитым керосином — окончательным развалом жалкого быта. Если бы она расстраивалась, раскаивалась, он бы, конечно, разжалобился, может быть, сам стал бы ее утешать. Но замечательно, что ее мало занимали утраты, от которых она же страдала физически. Это была действительно психология человека, который не добывает и никогда в жизни ничего не добывал, который уверен, что свою долю (хоть ничтожную) получит при любых об-

стоятельствах. Ее занимало только — как не оказаться неправой, как будто в вопросе о ее вине или правоте была вся суть. Против всякой очевидности она утверждала, что вовсе не бьет посуду. То есть одно время это с ней случалось, когда очень ослабели руки, теперь же руки опять немного окрепли. Ну, а какое-то количество посуды всегда бьется, у каждой хозяйки. — Ты бы видел, сколько посуды перебила М.Л., пока я у них жила. Каждый раз что-нибудь. И так она спокойно к этому относилась. — Если речь шла о просыпанной крупе и т.п., то приводилась точная, развернутая аргументация, почему это так случилось. Получалось, что иначе, собственно, и быть не могло. В особое исступление привела Оттера аргументация по поводу истории с кусочком жира (принесенного из столовой), который он искал, а потом нашел на полу растоптанным. Он просил тетку не вынимать его из жестяной коробочки, в которой он был принесен. Но она почему-то решила, что нужно это сделать, и, конечно, сделала это, как только он ушел. Не заметила, как выронила на пол, искала, потом забыла. По этому поводу был страшный скандал с криком (добываю своей кровью... разбазариваешь...). Но тетка объяснила, что все произошло потому, что она хотела оставить этот кусочек ему, Оттеру, — непонятно, почему для этого нужно было его вынимать из коробочки. Она сказала: все материнство проклятое.

Нет, она не хотела сдавать свою реализацию. И он считал, что жалкий, висящий на волоске быт нужно защищать, хотя, конечно, в его реакциях было гораздо больше непосредственного раздражения, нежели расчета.

И он страшным образом расправлялся с ее реализацией. Он подыскивал все, с разных сторон, что только могло уничтожить в ней чувство собственной ценности. Он нашел слово *паразит*. Он не боялся слов — инвалид, калека (стала калекой на мою голову, чтобы окончательно загнать меня в гроб). Он подобрал два уничижительных, грубых слова, которые, по его мнению, лучше всего выражали происходящее, — «разбазаривать» и «гадить». Он применял их беспрестанно в разных контекстах. Он говорил — гадить — по поводу того, что она пачкала стоявшее в комнате ведро, потому что не могла додержать до уборной; и по поводу дурного приготовления пищи; и того, что она облизывала тарелку; и того, что она прибавляла в принесенную из столовой кашу воды, чтобы получилось больше, и вроде супа (На, гадь, делай, что хочешь. Даже противно тебе что-нибудь принести, так как ты все гадишь); и по поводу того, что она не так подсушивала хлеб, и говорила при этом — я его только согреваю. И Оттера переворачивала нелепость этого. Оттер искал больные места, и когда он бывал особенно зол, он говорил о том, что ее любимец В. на нее плюет, что он все свалил на него; что он мерзавец, который даже денег не считает нужным выслать, а швыряет ей, когда у него есть лишние. (Зато у него чудный характер. У меня тоже был бы чудный характер, если бы я был от тебя за тысячу верст.) Тема В. — было удачно найденное больное место; тут она даже почти не возражала. В злобе он рвал и топтал эту реализацию. Он говорил при этом заведомую неправду, преувеличивая все дурное и пряча все доброе, что он

испытывал. Он говорил, что ему наплевать, но что все, что с ней случается, — на его голову, что если он заботится — то спасая свою жизнь. Он скрывал от нее, что она ему все-таки нужна, что она его последняя защита от ночного одиночества, что она дом и живая душа, без которых трудно. Увлеченный борьбой с ее реализацией, он молчал об этом. И в его поведении это умолчание и было самым жестоким. Более жестоким, быть может, чем скандалы и крики.

И во всем этом была допущена ошибка. Непоправимый просчет. Это была абберрация, в силу которой мы не хотим замечать и не замечаем в наших близких роковых предсмертных изменений. Оттер по инерции, по старой памяти считал, что имеет дело все с той же несокрушимой реализацией, которую не надо щадить. Тогда как на самом деле она была уже подорвана своей деградацией, своими ушами, прозрачными, как у собаки. Она уже была близка к тому, чтобы признать себя старухой, чтобы усумниться. Упрямство, противодействие, утверждение своей правоты — все это оставалось еще. Но все это, быть может, была уже только поверхность; может быть, уже самоуговаривание. А под этой поверхностью уже совершались иные трагические процессы и кое-что уже мелькало и пробивалось наружу. А он топтал построения, уже хрупкие и которые она поддерживала, быть может, уже из последних сил, отчаянно оттягивая момент, когда все должно было рухнуть в деградацию, в последнюю потерю самооценности.

Такова была одна из абберраций (несокрушимость ее реализации), которая успокаивала его совесть и позволяла ему снятие запретов.

Другая абберрация была смежной. Она состояла в уверенности, что тетка — ненастоящий человек и все ее жизненные реакции — только игровые фикции. Исключения составляли лишь простейшие физические реакции, которые Оттер и считал своей обязанностью удовлетворять. В остальном, что касалось слов, можно было позволить себе распушенность, потому что слова и представления не вызывали настоящих человеческих реакций. Следовательно, можно было позволить себе наслаждение от снятия запретов, вместе с тем не опасаясь всерьез повредить человеку. Подобное отношение у Оттера было и к Ляле⁷. Он раз навсегда уверил себя в том, что она реагирует игровыми фикциями, и потому был с ней до странного жесток.

Что касается тетки — то для подобной концепции были основания. Она была настолько асоциальна, настолько проникнута моральным паразитизмом, что в ней не работали даже очень личные импульсы, если они требовали некоторого социального оформления. Таким лично-социальным сгустком являлись интересы семьи, которые до удивительного были у нее понижены. Для нее не существовало, что она бабушка и прабабушка (в той только мере, в какой она этого стеснялась); до ее сознания никак не доходило, что муж внучки, очевидно, погиб, и что положение там страшно тяжелое. Она продолжала рассказывать о его невоспитанности и о том, как он солил грибы, как будто бы все это продолжалось по-прежнему. Когда долго не было писем от V., она говорила, что безумно волнуется, но Оттер знал, что

так люди (любящие) не волнуются. Она не могла по-настоящему волноваться, сосредоточиваясь на объекте беспокойства, потому что не могла выйти за пределы момента, мгновенья, которое ведь каждый раз было наполнено *другим*, своим содержанием. Когда Оттер, придя, говорил ей — только что в двух шагах от меня разорвался снаряд, — она отвечала принятой фразой — представь, я все время была сегодня как-то спокойна. Но он видел, что это никак до нее не доходит, потому что мгновение, когда около него разорвался снаряд, и мгновение, когда он об этом рассказывает, — разные мгновения и для нее несвязуемые. Настоящее мгновение имело свое содержание — предвкушение обеда, который Оттер принес. Но однажды, под 1 мая, он пошел в очередь за пивом и простоял почти всю ночь. Он думал, что она, по обыкновению, не будет волноваться, но когда он пришел, она вся дрожала. Она прямо сказала, что думала, что с ним что-нибудь случилось, и думала о том — что же с ней теперь будет. Ибо здесь отрезок времени, мгновение, длившееся ночь, было наполнено непосредственным предметно осязаемым содержанием его отсутствия, отсутствия человека, который в буквальной смысле слова кормит из своих рук (это тоска собаки о хозяине), — совсем другое дело, чем абстрактное отсутствие писем из далекого города. Вообще же Оттеру совершенно не нужно было скрывать и смягчать, если с ним что-нибудь случалось, если он чувствовал себя хуже обычного. Она оставалась хладнокровной. И он не только не скрывал, но подчеркивал всякие такие вещи, превознося тем самым свою жертвенность.

Это отсутствие естественных человеческих реакций служило мотивировкой тотального снятия запретов. Он смутно осознавал, что по отношению к ней не должен только совершать жестоких поступков, материально ее чего-либо лишаящих. И он не совершал эти поступки. Несмотря на угрозы, он продолжал добывать и таскать, и с увлечением придумывать для нее какое-нибудь добавление еды. Она знала, что со стороны поступков она может быть спокойна, и пользовалась этим. Слова же были вынесены в особую категорию, по ту сторону действительности. Таким образом, и с его стороны получалась некая игровая фикция. Некая страшная игра в слова без запретов. Это усугублялось тем, что у него все время было внутреннее чувство, что он, Оттер, не может всерьез говорить эти слова, которые всегда были для него словами самых диких, на низшей степени цивилизации стоящих людей. Он видел этих людей издали — на улице, в пивной, в магазине, он читал про них. Их бесстыдный лексикон был психологическим фактом, в котором интересно было теоретически разобраться, но который ничего общего не мог иметь с его психологическими возможностями. Это чувство как бы театральной отчужденности от собственной речи, как бы стилизации под что-то подтверждалось тем, что он пользовался не своими словами, а готовыми стандартными формулами, заведомо пропитанными всей мерзостью обывательского цинизма. Таковы были все эти сросшиеся формулы — «загонишь в гроб, стала калекой на мою голову, ну, ты-то себя не обидишь». Слова в этих формулах срослись, потому что формулы эти

обладали совершенной законченностью гнусного жизнеощущения, которое все-таки не было же его жизнеощущением. Так с двух сторон должна была получиться игра — не свои, не всамделишные слова и не настоящие реакции. Игра эта должна быть чем-то преходящим, порождением темного участка жизни, чем-то таким, что потом придется загонять вовнутрь или вытеснять из сознания. Пользуясь тем, что игра происходила без свидетелей.

Но на самом деле — все получилось иначе. Игра в страшные слова оказалась последним впечатлением, и потому неистребимой <...>* игры с применением символов другой категории. Поступок — это было лишить ее каких-либо материальных благ, и это он не делал: он делал все обратное. Это не было непосредственным продолжением страшных слов, отрешенных от действительности. Но на самом деле это было поступком и, вероятно, злодеянием. Ибо он не учел, позабыл в затмении медицинскую сторону вопроса. Ведь ей в той жизни предписывали покой.

Может быть, все это было одним из глубоко навсегда спрятанных семейных злодеяний. И, должно быть, это он еще не мог понять во всем объеме, потому что, поняв, очевидно, нужно было как-то иначе реагировать.

Все значение, весь ужас, глубина и весомость происшедшего не дошли до него. Он не чувствует себя заклеянным злодеем и убийцей. Он забывает об этом. Он позволяет себе теперь моральные оценки, нормальные реакции на действительность, добрые чувства, человеческие отношения с людьми. Иногда он вспоминает — а ведь я злодей и на все это навсегда не имею права. Но это переживание скользит по поверхности и ускользает. Воля не может его зафиксировать. Нет сил его зафиксировать. Душевный механизм не освоил это переживание, воспользовавшись отсутствием свидетелей злодеяния, отсутствием морального порицания извне, суда извне, который был бы объективацией вины. И тогда невозможно было бы жить, как если бы ничего не случилось.

Но страшные сцены урывками, от каких-то неуловимых толчков зарождаются в памяти. В бешенстве он опрокидывает ее на диван, она визжит и барахтается, хотя он ее больше не трогает, и помахивает, подергивает жалкими своими ногами, обернутыми в тряпье. Поверх всего тряпья натянуты облезшие и ошестинившиеся тем, что на них осталось, меховые туфли (когда-то его хорошие домашние туфли, привезенные ему из Мурманска), подвязанные тесемками. И он кричит с отвращением: прекрати визжать как св<инья>. Замолчи. Или я за себя не ручаюсь. Не могу слышать твой отвратительный голос. — Таких <сцен> было много.

Отчасти он был прав в своем хамском расчете на отсутствие в ней подлинных человеческих реакций. В каждом отдельном случае реакция оказывалась не подлинной. Но, в конечном счете, он все-таки ошибался. Своим поведением он создал некий общий средний тонус, который был тоном их общей несчастной жизни. И своей общей окраской это доходило до нее. Прежде всего этот тонус создавался для него самого как осадок от множества разорванных и улетающих мгновений.

* [Фрагмент текста утрачен.]

То, что он безответственно, сам не веря содержанию своих слов, выкрикивал в каждое данное мгновение, — улетучивалось вместе с данным припадком, но оставалась непрерывная связь между припадками раздражения, ибо он непрерывно держал себя в атмосфере крика, грубости, настороженной готовности разозлиться на каждое движение и слово.

Только иногда по вечерам (с утра он теперь всегда был зол, потому что утром на свежую голову ему хотелось работать и думать, а был этому мешал), когда он был сыт и знал, что тетка сыта, — он сидел усталый, смягченный и обсуждал с ней меню или перспективы ближайших выдач. И говорил: «теперь ты, ей богу, питаешься не так уж плохо. Пора тебе поправляться. А ты все такая худущая». И тетка вздыхала над тем, что она худущая, и соглашалась, что питается прилично. Последнее было приятно Оттеру и сразу укрощало его. Но это были передышки. Крик же психологически облегчал его как разрядка, но в то же время был губителен для ослабленного организма. От крика у него набухали и пульсировали виски и болело сердце. Он чувствовал, что ему вредно, что он тратит последние драгоценные силы. Тратит бессмысленно, тогда как перед ним стояла задача рационализации жизни. И от этого он еще больше злился, еще злее кричал, так как в том, что ему приходилось кричать, — виновата была она. Прежде ему свойственно было вспыхивать и быстро отходить. Как только он отходил, ему становилось стыдно, жалко, и проч., ибо ему, как и всем вспыльчивым и отходчивым людям, импульсы, двигающие ими во время вспышки, — после вспышки сразу перестают быть *понятными*, и потому сразу замещаются другими, даже противоположными импульсами. Ведь это импульсы чисто аффективные и действительные только во время аффекта. Вне аффекта человек перестает понимать причины и объекты своего раздражения, как он перестает *понимать* зубную боль, когда зуб больше не болит. Тогда он стыдится своей злобы и грубости и обещает себе, что это больше не повторится, потому что ему кажется теперь, что очень легко воздержаться. Стоило только не произносить это первое резкое слово, от которого все пошло и пошло. Но теперь с ним стало происходить нечто новое, что никогда еще в жизни не происходило. Интервалы между вспышками становились так коротки, что в течение этих интервалов он перестал терять понимание импульсов своей злобы.

Он не успевал терять это понимание. Злоба проходила, а понимание импульсов оставалось. От этого получалось некое среднее состояние ожесточения. Что для него было совершенно ново. В течение некоторого времени ему это даже нравилось. Он объяснял себе род удовлетворения, который он при этом испытывал, так: пакостить — и каждый раз каяться — и опять пакостить — довольно недостойное занятие. Напротив того — то, что он сохраняет ожесточение в спокойном состоянии духа, — доказательство его правоты и вины перед ним тетки. К своему удивлению он мог теперь после домашнего скандала дойти почти до самой службы и все еще со злобой вспоминать, что банки опять не были приготовлены и что опять он

тратил на это время, силы, нервы. На самом деле ожесточение стало устойчивым, потому что он всегда был несчастен и подавлен бытом, но в поисках самооправдания ему казалось, что жестокость его поведения доказывает его правоту, и он доходил до такого затмения, что в своей жестокости видел это доказательство, потому де, что не мог он быть до такой степени жестоким зря (в относительно спокойные минуты). Он сохранял иногда злобу и равнодушие, когда тетка жаловалась и плакала, хотя был из числа людей, которые с трудом переносят чужие слезы. И тогда он нарочно словами говорил про себя: «Это специально, чтобы меня разжалобить. Это притворство. И если я так к этому могу относиться, то уж действительно она меня довела...». Он с равнодушием выслушал, когда <...>*

В устойчивом ожесточении он доходил уже до того, что сам считал поступками. Однажды, когда не были приготовлены банки, он чего-то не принес. Собственно, он это сделал не нарочно, а потому что действительно нельзя было взять без банки, но сообщил об этом со злорадством. Однажды они разругались, и он сказал, что идет на работу, хотя ему там делать собственно нечего, и постарается вернуться как можно позднее — чтобы только не слышать твой отвратительный вой (формула «не вой», «выгье» вообще отстоялась у него так же, как «разбазаривать» и «гадить»). Ей не хотелось оставаться одной в темноте. Она стало жалобно умолять его остаться и помириться, хотя она была скорее злопамятна, а он только что был с ней безобразно груб. И все-таки он ушел с торжеством и злобой, хлопнув дверью. И не вернулся с лестницы. Но, правда, вернулся не очень поздно. В его понимании это был уже поступок. И то, что по отношению к тетке он оказался способным на жестокие поступки, было для него неожиданным, удивительным и подтверждающим ее вину.

Но иногда вдруг какие-то непредвиденные вещи доходили до сердца жалостью, болью, стыдом. Он сидел иногда на скамеечке у печки, рассеяно прислушиваясь к тому, что говорила тетка со своего дивана. Она говорила о том, что нет писем от V., или что она хочет в больницу, или что он, Оттер, стал очень злой.

— Ты меня ненавидишь, и это понятно, потому что из-за меня ты приносишь колоссальные жертвы... Я никогда не слышу ласкового слова.

И вдруг то, что она говорила, как бы прорывалось к нему сквозь тяжелый туман быта, доходило до него не предметным своим содержанием, но общим ощущением жизни как дрящегося бедствия (она так умела прежде добывать радость из жизни). Как итог: это ощущение создал он. И тетка даже прямо говорила об этом. «Сейчас пока еще лето. И еда хорошая. Можно было бы жить. Но ты так нервничаешь, так нервничаешь».

Доходили еще отдельные вещи. Однажды он сидел у печки усталый и ему хотелось молчать. А тетка о чем-то заговорила ненужном. И он со своей всегдашней готовностью к раздражению уже резко спросил — Ну

и что, что ты этим хочешь сказать? К чему ты это? — И она вдруг ответила: Просто так. Я ведь целый день молчу, как в тюрьме.

* [Фрагмент текста утрачен.]

Мне просто хочется поговорить. — Среди ее обычных многословных и фальшивых мотивировок — это была вдруг такая ясная правда, что у Оттера вдруг сердце повернулось от печали. Но у него не было уже для нее добрых слов. Он промолчал.

В другой раз после большого скандала он вернулся вечером кроткий. Они хорошо пили вместе чай и разговаривали. И тетка вдруг сказала: Когда ты ушел, я хорошо поплакала... Он в больших, чем обычно, размерах наговорил ей о том, что она паразит, что она испортила его жизнь, и т.п. Когда она в таких случаях говорила — меня убивает то, что ты говоришь, мне после этого жить не хочется и т.п., — он оставался равнодушным. Но это — «хорошо поплакала» — его перевернуло. Это сказано было не для того, чтобы его разжалобить, — он и так был сейчас кроткий. Это была правда. Его перевернуло то, что она могла плакать одна, после его ухода. Не напоказ. Это сразу изменяло значение ее слез. Значит, были у нее настоящие человеческие реакции. Значит, в своем самоуспокоительном отрицании этих реакций он зашел слишком далеко и вообще, может быть, не туда зашел. Так возникали сомнения и печали, быстро смывавшиеся очередным раздражением.

Так иногда ему становилось стыдно. Ему становилось стыдно, когда она благодарила его за заботу, называла ласковыми именами, говорила «золотко». Ему казалось, что после его безобразной и дикой грубости это было уже невозможно. Что это она подольщается к нему, зная полную свою от него зависимость. От этой мысли ему становилось стыдно и тяжело, и он не мог на нее смотреть.

И опять ему мучительно необходимо вспомнить, что же все-таки доводило его до этих отвратительных состояний бешенства. С чего, с какой именно конкретности они всякий раз начинались. И в поисках самооправдания, в стремлении облегчить свою вину, хоть частично свалив ее на покойницу, — он снова анализирует этот характер. Этот характер в разных контекстах уже неоднократно подвергался анализу. Это характер настолько последовательный и завершенный, настолько полно выражающий известные психологические тенденции, что в нем есть некая монументальность. Во всяком случае, он достоин был изучения.

Что же Оттер может сказать в свое оправдание (только оправдание ли это...)? — Что это был дурной человек. Несомненно, это был дурной человек. Абсолютно законченный продукт паразитического бытия (дама) — асоциальный, аморальный (ибо всякая мораль социальна) и даже подвергшийся атрофии элементарных человеческих чувств. Она была дурным человеком, недобрый, жестким, там, где она чувствовала, что можно быть жестким по отношению ко всему, что было слабее ее. Эта жестокость <так!> вызывалась не желанием причинять зло, но тем, что мгновенные эгоистические импульсы не встречали в ее душевном механизме решительно никаких задержек. Она не делала (большого) реального зла только по своей непригодности вообще делать что бы ни было; по непригодности к объективным как-то изменяющим действительность

действиям. Но пассивно она могла хладнокровно причинить много зла. Оттер сам знал всю шкалу дурных и мелких побуждений. Но он с его интуицией добра и ценностей — ужасался откровенности, эпической прямоте их выражения. Как страшной безнравственности, он ужасался тому, что все, что должно было быть спрятанным, вытесненным, запрещенным, все, что жило в нем самом как постыдная тайна, — все это у нее с необыкновенной легкостью подступало к поверхности; естественно и незаметно переходило из мысли в слово, из слова в действия. Тогда как для него между этими этапами прохождения зла — залегали бездны. Все те проявления эгоизма, тщеславия, корысти, зависти, заискивания перед сильными и притеснения слабых, которые для него были трудными и тайными, в ее душевном обиходе протекали с необыкновенной легкостью и прямолинейностью, ибо они были только функцией желания в каждый данный момент получить наибольшие удовольствия от жизни. И эту легкость и прямоту Оттер ощущал как глубоко безнравственные.

Да, это был дурной человек, и в то же время очень обаятельный, очень любимый всеми, кто ее мало знал и не должен был делить с нею существование.

Она была великолепна своей веселостью, своим неуязвимым и несломимым жизнеутверждением, милыми нелепостями и наивностями, которые она пронесла через трудную жизнь и которые были страшно тяжелы для быта, но посторонних людей они занимали, и она знала это и играла на этом. Теперь он вспоминал, что недооценивал этот шарм, которого было очень много, вплоть до физической приятности, сохранявшейся так долго (недаром она имела большой успех, хотя никогда не была хороша собой). И с ней не было скучно, даже ему. То, что его так раздражало, чему он нашел мерзкое наименование — «дура», — собственно, не было глупостью, но нелепостью, происходившей от социальной выхолощенности, от поразительного отсутствия правильных практических представлений. Вообще же ее ум был быстрым, способным к игре и к каким-то занимательным построениям. Поэтому она умела интересно рассказывать истории из своего прошлого (правда, одни и те же). Эти давнишние истории не требовали проверки практикой и здравым смыслом, и потому хорошо получались. Но он ни разу не сказал ей об этом, а это было бы ей приятно. Но ведь он с полуосознанной жестокостью избегал всего, что могло подкрепить в ней чувство самооценности.

Наряду с легкостью и прямоотой проявления зла существовала область лицемерия (для этого у Оттера тоже была найдена постоянная формула — «ханжество»). Это была система приписывания себе добрых, благородных качеств и побуждений. В сущности, она даже не была лицемерием. Во-первых, она слишком бесперебойно сочеталась с системой откровенного зла, то есть откровенной безнравственности. Так могли сосуществовать и превосходно уживались — с одной стороны, утверждение (житейская мудрость): из людей нужно извлекать пользу. Я умею из каждого извлечь пользу. Это хорошо. — С другой стороны, утверждение о своей доброте и бескорыстном доброжелательстве. Это тоже хорошо.

То или другое из этих утверждений выбиралось в зависимости от того, какое из них в данный момент больше подходило для приятного переживания утверждения автоценности (хорошо быть умелой и хорошо быть доброй).

Во-вторых, эта система лицемерия меньше всего претендовала на обман (особенно имеющий практическое значение), на дезориентацию окружающих. Могла еще идти речь о дезориентации посторонних людей, но по отношению к ним система применялась как раз с большей осторожностью. Обрушивалась же она на Оттера, который раздражался, непрерывно разоблачал ее, об обмане которого не могло быть речи. Вот почему это было не лицемерием — с его практической направленностью, — а чистым игровым переживанием, доставлявшим специфическое удовольствие.

Да, это был нехороший характер. Как большая часть характеров в эту эпоху, он сохранил в приложении к новому материалу и гиперболизировал свои основные качества. Если тетка всегда стремилась испытывать чувство превосходства над кем возможно было — например, своей устроенностью над одинокими старыми женщинами и т.п., — то теперь она переживала это чувство в форме, соответствующей обстоятельствам. Она гордилась тем, что не брошена со своей иждивенческой карточкой. Гордилась льготами Оттера или денежными присылками от V. Тогда как на одну ее приятельницу сын наплевал, и вдобавок потом этот самый сын умер от дистрофии. А другая потеряла мужа еще перед войной и теперь осталась при иждивенческой карточке. Правда, у нее было много хороших вещей для продажи, тогда как у тетки ничего не осталось, кроме лохмотьев. Но продажа даже самых лучших вещей давала гораздо меньше оснований для гордости и чувства превосходства, чем льготный обед, который получал Оттер. Ибо в льготном обеде был элемент признания и привилегированности. Она гордилась этим, и даже гордилась тем, что не умерла.

Тетка сохранила свои основные свойства и сохранила свое отношение к Оттеру, то отношение, которое он считал дурным и которое было основным пунктом в самооправдании Оттера. Он мучительно продолжал сводить счеты с мертвой. Она, конечно, была к нему привязана, но в пределах своего эгоизма и своей потребности в действиях и развлечениях. Она всегда пользовалась им для своих игровых фикций или просто для практических целей, когда нужна была мотивировка перед родственниками, для того чтобы уехать или остаться и т.п. Если ей хотелось оставаться в М<оскве>, то оказывалось, что она приносит себя в жертву, потому что он любит жить один, и она не хочет нарушать его покой. Если хотелось обратного, то оказывалось, что Оттер в хозяйственном отношении не может без нее обойтись, и она опять приносила себя в жертву. Никакие протесты не помогали. Она никогда не считалась с ним, с его вкусами, привычками, желаниями, с его работой и отдыхом. Не считалась, потому что он ей не импортировал и потому что она его, со всем его криком, не боялась; то есть не боялась, что он совершит какой-либо *поступок*, приносящий ей ущерб. И ей

не нужно было стараться и завоевывать его, потому что она знала — все, что нужно по части заботы, он сделает сам. И все это полностью приложилось к нынешней ситуации, только в уродливо увеличенной и подчеркнутой форме. Несмотря на то, что ее зависимость от Оттера стала абсолютной и буквальной, она по-прежнему не считалась с ним; несмотря на его бешеное поведение, она не боялась его. Он на это полагался и для него особенно непривычно и отвратительно было подозрение, что она говорит ему ласковые слова нарочно, подделываясь. Вероятно, в этом подозрении он все-таки ошибался. Ведь как-то она сказала ему с той прямолинейностью, с которой вдруг говорила некоторые скользкие вещи среди обычной фальши. — А я тебя совсем не боюсь. Ты вот кричишь и ругаешься и набрасываешься на меня*. Но я тебя не боюсь и не сержусь на тебя. Я не могу на тебя сердиться. Что значит сердце... И дальше пошли уже игровые фикции. Это уже не было важно. Оттер пробормотал — очень жаль, что не боишься; для нас обоих было бы лучше, если бы боялась... Но все-таки его это успокоило.

Принцип своего отношения к Оттеру и все свои исконные качества она перенесла в тот мир страшных буквальностей, в котором они теперь существовали. И качества эти в этом мире стали страшными. Из определенных качеств вытекали, неизменно возобновляясь, определенные коллизии. В них была тупая повторяемость. В стиснутом, сдавленном быту у них образовался точный стандарт ссор и столкновений, несколько типов скандала. В основе лежало несколько комплексов ее качеств. Комплекс упрямства (этот, впрочем, вплетался во все остальные), комплекс легкомыслия, комплекс невнимания, комплекс бестолковости, комплекс лицемерия. Они и связанные с ними скандалы даже были прикреплены к определенным функциям быта, и потому к определенным часам дня. За всеми этими комплексами стояло одно основное — сознание, разорванное на мгновения, довлеющее себе, и из которых каждое рассматривалось сознанием как источник возможного удовольствия, получаемого мгновенно. Это легкомыслие, это невнимание, эта бестолковость (все оформленное социальным паразитизмом). И это предел упрямства, потому что это всегда действие по мгновенному гедонистическому импульсу, без учета связи и соотношения вещей, которых требует разумное убеждение. И потому никакое разумное убеждение не может дойти до этого разорванного сознания.

В мире страшных буквальностей каждый из этих комплексов казался Оттеру катастрофическим, грозящим ему гибелью. И он вел с ними жестокую, грубую, отчаянную, надрывающую его силы — и совершенно тщетную — борьбу. Ибо против него стояло монументальное, иррациональное, стихийное, движимое темной интуицией мгновенного удовлетворения желаний — *упрямство*, против которого были бессильны и убеждение, и мольба, и злоба.

Например, каждый раз, как надо было собираться на работу и заодно брать с собой обеденные банки, — вступал в силу комплекс невнимания. Крышки оказывались неприготовленными,

* [Зачеркнуто:] с кулаками

авоську надо было искать. Это повторялось изо дня в день, несмотря на просьбы, на обещания. Это приводило его в отчаяние*. Человек, который должен был помогать, — мешал. Рационализация рушилась. Начиналось с крышки, лежащей не на месте, и переходило в крик на тему о невнимании. — А я положил свою жизнь и здоровье на такую неблагодарную сволочь. Пустяка не могу домолиться. Как ты всю жизнь думала только о себе, так и сейчас... — Комплекс лицемерия вступал в силу за едой, когда тетка каждый раз отказывалась в пользу Оттера, но крайне неуверенно и неубедительно, или ела с оговорками. И он злился, потому что ему было приятно, когда она ела то, что он приносил. Он считал, что это должно происходить как-то иначе. И он кричал выработавшуюся стандартную формулу: «прекрати ханжеские номера». Этот же комплекс фигурировал по утрам, когда тетке хотелось лежать в постели, и она делала вид, что встанет сейчас... С комплексом лжи Оттер больше всего сталкивался по вечерам, когда при возвращении домой оказывалось, что за день произошли разные непорядки, которые надо было от него скрыть. И он кричал — не ври, только не ври. — Она говорила — почему ты мне не веришь. — И он кричал: тебе верить! Ты за всю свою жизнь еще не сказала ни слова правды. — Упрямство было всегда и во всем; его невозможно было выделить. Бестолковость — это было все то же превратное представление о вещах, свойственное асоциальному, паразитическому сознанию, и разорванность моментов, которые не могут быть соотнесены между собой. Тогда как здравый смысл состоит в правильном соотнесении моментов. Но теперь это была катастрофа — это были мясные консервы, которые она ставила (чтобы согреть их к приходу Оттера) на сковородке на горячую плиту, да еще устраивала термос, и они сгорали до углей. И он кричал о разбазаривании крох, которые он добывает своей кровью, и о том, что он позволил себе съесть только крохотный кусочек этих консервов, и это было так вкусно, так вкусно, а теперь...

Из комплекса легкомыслия выделялась одна наиболее катастрофическая для Оттера сторона. Это была ее неосторожность, которая при заболевании, самом легком, сменялась жесточайшей мнительностью, — это происходило оттого, что в каждый данный момент она жила содержанием только этого момента; в одном случае это содержание было здоровье (и потому непредставимость болезни), в другом случае — болезнь (и потому непредставимость выздоровления). Возможность заболевания тетки висела над Оттером страшной угрозой. Но если ей хотелось мыться холодной водой, он знал, что она все равно будет мыться или подтирать пол около ведер, и потом ходить с мокрыми ногами. Он кричал — Тетя, мало ты меня измучила. Ты должна еще заболеть на мою голову, чтобы окончательно загнать меня в гроб... Больше всего скандалов происходило из-за некипяченной воды. У тетки была откуда-то засевшая к <так!> ней идея, что воду не надо доводить до кипения, а только до 60 градусов, при

* [На двух вложенных в текст обрывках листов другой вариант начала этого абзаца:]
1. Каждый день он умолял при мытье посуды собирать вместе и откладывать банки, крышки, и пр., нужные для обеда. И каждый день он должен был снова извлекать это из хаоса. Это приводило его в иступление. Оно возникло первоначально в порядке практической борьбы с упорным и косным хаосом. Бытовые процессы сейчас до такой степени заострились, что они требовали иногда мгновенного принятия мер против косности, ибо косность, не поддающаяся словесному убеждению, означала погасшую печку, испорченную пищу, вообще неоправимые бедствия.

коих якобы погибают все бактерии (ей нравилась научная постановка вопроса). И как бы Оттер ни бушевал, все равно она пила сама и его поила некипяченой «шестидесятиградусной» водой, уверяя, что чайник сегодня кипел как никогда. И тут можно было изойти кровью, разбиться вдрызг — все оставалось по-прежнему. В ответ на все крики тетка говорила: пока что я ничем не заболела. А вот М.Л., когда я у них жила, как она была помешана на кипячении воды. А у М.Л. одно расстройство желудка было за другим. Так что не в этом дело. Не было ничего, что приводило Оттера в большее исступление. Он кричал — Пойми же, пойми, ты нас погубишь. Раз сойдет, сто раз сойдет. А в сто первый ты заболеешь. Ведь болеть же сейчас нельзя, нельзя... Но он знал, что кричать бесполезно. Что он может изойти криком, но вода будет доводиться до температуры в 60 градусов, убивающей бактерии. И на сорвавшемся, затухающем крике он повторял — «как я тебя ненавижу...».

Он привык к тому, что все бедствия, которые происходили в домашнем быту, происходили по вине тетки; в силу ее упрямства. В частности, разрушение ее здоровья. Если она простуживалась — она была виновата, что не послушалась его совета и вытирала этот пол, вместо того чтобы подождать, когда он придет и вытрет. Но ведь ей нужно изображать жертву и самоотверженную мать, чтобы потом его же вернее замучить. Летом он говорил ей — надо выходить каждый день, иначе ты лишишься употребления ног. Она не слушалась и дождалась погоды, когда уже выходить ей почти невозможно, и ноги у нее не действуют, и теперь все окончательно на него свалилось. С утра до вечера он повторял ей — не пей, не пей лишнего. Но все это — горохом об стенку, и теперь она пухнет и т.д.

Его очень облегчало, что он мог кричать и обвинять ее в ее же страданиях, вместо того, чтобы терзаться жалостью. Главное, эти обвинения были прекрасной мотивировкой и предлогом, чтобы не связывать себя никакими запретами деликатности и по-прежнему оставить свободу для попреков. Она была виновата, и поэтому он мог попрекать ее в том, что она пухнет, глохнет, что у нее не действуют ноги, что она превращается в развалину, и все это потому, что она его не слушалась, и все это на его голову. И по инерции, по привычке и для самооправдания он все еще продолжал ее обвинять дальше и дальше, и обвинял ее в том, что она умерла.

И все-таки ничто не пошло гало. Это была единственная кровная связь. Любовь выветрилась вместе со многим другим человеческим. Но связь осталась, осталась ответственность, и потому — мука жалости. Он не жалел ни добрых, ни сильных. Никого. Он жалел только страшную, замученную старуху, которая отравила и едва не погубила его жизнь. Жизнь которой он спас, а потом, вероятно, погубил. Больше он не жалел никого.

С этой смертью была связана еще одна абберрация, самая главная. Мы всегда во власти абберраций, когда дело касается близких людей, перед которыми мы виноваты. Потому что мы разными душевными уловками пытаемся вытеснить или оправдать эту вину.

Аберрация (это была защитная аберрация, выдвинутая против собственной совести) состояла в том, что поведение тетки Оттер продолжал рассматривать как закономерное — только увеличенное — развитие ее исконных свойств, тогда как на самом деле все это уже переходило в новые предсмертные симптомы.

Она брала посуду, просыпала, проливала. Она брала без всякой надобности большую кастрюлю с кофе. И не успевал Оттер сказать — не трогай, — как кофе уже лилось на пол. Он злился и считал, что это продолжение всегдашней бестолковости, некоординированности движений, — а это были уже костенеющие руки и ноги. Она все забывала и путала, и он считал, что это всегдашняя нелепица, тогда как это была уже потеря памяти и признаки надвигающегося дистрофического и старческого слабоумия.

Он ничего не понял. А между тем появлялись уже новые, ни на что прежнее не похожие симптомы, которые должны были бы раскрыть ему истину, если бы он сколько-нибудь хотел бы увидеть истину. Она стала жаловаться и говорить о своей несчастной жизни — это была потеря сопротивляемости и никогда не изменявшего ей защитного оптимизма. У нее появились вдруг скорбные еврейские интонации. Вообще у нее был совсем не еврейский характер, и Оттер любил повторять придуманную им формулу, что у нее психика — не еврейской дамы, а разоряющейся помещицы. Жалобные интонации он наименовал вытьем — оно оскорбляло и раздражало его как свидетельство о том, что он не может устроить ее жизнь.

Однажды Оттер разогревал для нее на печурке соевое молоко, которое она очень любила. И тетка вдруг сказала со скорбной интонацией: Оои, хоть бы нам давали это молоко... — Оои, — передразнил он, — можно подумать, что ты его никогда не видишь. Слава богу, и дают каждый день. Зачем выть! — И она ответила с внезапной, всегда обезоруживавшей его ясностью понимания, — Я знаю. Это просто теперь у меня такая манера.

Но самым новым, переворачивающим всё симптомом было прекращение суеты, потребность лежать. Это настолько противоречило ее психической сущности, что непременно должно было бы навести Оттера на ужасную истину, если бы вместо того не наводило его на эгоистические соображения о бытовом развале, которыми он был поглощен.

Процесс гибели протекал постепенно, и трудно было поймать его начало. В начале голода тетка полностью сохраняла легкомыслие и ничем не сокрушимый оптимизм. Она переносила легко, потому что у нее были запасы собственного жира и потому, что она всегда ела немного и плохо понимала в еде. Она всегда любила жидкое и сладкое (притом дешевое). Теперь она с интересом простаивала в очередях в каких-то «кафетериях» за подслащенным кофе и сиропом, который дома превращался в кисель. Оттер спокойно предоставлял ей добывать себе пищу по кафетериям. В этот период он не понимал ужас положения для тетки, как не понимал его для себя.

Потом тетка заболела гриппом или ангиной. Оттер злился, потому что она заболела по своей неосторожности — на его голову. Тогда он начал делить свой обед. Это было началом страданий и началом понимания. Болезнь тетки была переломным моментом, потому что после этого уже нельзя было вернуться к наивной идиллии кафетериев. Начался страшный быт. И с чудовищной быстротой кульминировал. Все разрасталось с каждым днем — голод, холод, тьма, одичание, дикая торопливость. Оттер был поглощен борьбой за себя и за тетку. Каждое мгновение непосредственно определялось предыдущим, потребностью и страданием, заложенным в предыдущем мгновении. Ничто не вступало в связь и не суммировалось. Поэтому Оттер не видел происходящих с теткой изменений. Наступала кульминация страшного быта. Когда дров уже вовсе не было, и Оттер бежал из дома, а тетка ютилась у дистрофической соседки, которая ее угнетала. И через несколько дней, к удивлению Оттера, обнаружилось, что тетка лежит в чужой промерзшей комнате под одеялами и пальго и от слабости не может встать. И тогда он вытащил ее (скорее! скорее!) и с трудом дотащил до друзей, где она осталась. Это было нечто вроде передышки, и все стало яснее. Оказалось, что тетка почти не может спускаться по лестнице, не может сама пойти за хлебом. Для Оттера это было удивительно. Он говорил — подумать — тетка, и такое состояние!.. Это она-то... Он считал, что это психическая травма, временное явление.

Однажды М.Л., у которой тетка жила, сказала Оттеру по ходу разговора про тетку, — Очень старый и очень голодный человек. — Оттера это неприятно поразило. Он не был готов к тому, что тетка очень голодный человек (ни даже очень старый). Прежде она довольствовалась малым. Она была довольна, когда он приносил ей половину обеда, и теперь, когда он получал для нее целый обед, ему казалось, что это будет совсем хорошо. Он все еще не привык следить за изменениями. Но, оказалось, что этого уже мало и что нужно будет все больше и больше.

Они переехали домой к весне. Это был период передышки. Седой стало гораздо лучше, и Оттер увлекался своими достижениями. Тетка участвовала в увлечении. Дома она была очень активна, часами обрабатывала зелень, из которой варилась очень сытная каша. Тетка мыла, рубила, варила зелень часами. Все это можно было бы упростить, но, как всегда, <она> не слушала доводов. Работа ее изматывала. Оттер самоутешался тем, что без работы ей было бы тоскливо. На улицу она не хотела выходить. Она отвыкла. На улице для нее неприятным образом обнаруживалась собственная деградация. Она чувствовала себя дряхлой, сгорбившейся, волочащей ноги старухой. Глаза слезились, в непривычно ярком свете выступала несмываемая копоть. Оттер видел все это с внезапной резкостью в тех редких случаях, когда они выходили. И она, если не видела, то чувствовала это на улице. На улице ей было страшно, неуютно, неловко. Кроме того, ей было скучно. Она всегда любила выходить только по делам, с целью. Но пойти просто так в магазин нельзя было, даже кафетериев уже не было, а карточки Оттер грубо отказывался ей доверить.

Оттеру говорили — пусть выходит обязательно, пока тепло. Иначе она лишится употребления ног. Он кричал, но по-настоящему мер не принял. Он боялся, чтобы она уходила одна, и не хотел мучиться страхом, что что-нибудь случится, когда он ничего не успел загладить и исправить. А выходить вместе — это значило тащиться мучительно медленно, шаг за шагом, возиться. Это было слишком томительно. И у него в самом деле не было времени. Тетка же изыскивала предлоги, чтобы не выходить. Вначале это был потерянный ключ, и она все мечтала о ключе. Потом ключ нашелся, но она не выходила. Она придумала формулировку: «карточки ты мне не даешь. Что я буду ходить, как дура? («да и должна ходить, как дура, потому что иначе совсем станешь калекой на мою голову» — но она продолжала, не обращая внимания на крик). Я буду ходить, как дура, когда дома столько работы. Один раз я посидела в садике, так дома такое делалось. И ты так бросался...»

Эта мотивировка приводила Оттера в особое исступление, потому что она была жертвенной мотивировкой и слагала вину на него.

Надвигалась осень. И тетка, и Оттер с одинаковой наивностью считали, что питание улучшилось и что, следовательно, и состояние должно улучшиться. И им казалось, что оно улучшается. Но почему-то попутно вдруг появились совсем другие нехорошие признаки. Появились болячки, которых раньше не было, как не было еврейской скорби в интонациях. Начинались явления, например, геморроидальные. Она испражнялась с мучительной болью. Иногда рассказывала ему, как без него кричала, иногда он сам слышал, как она стонала, сидя на ведре. Он слушал жестко, потому что так был замучен, что не мог допустить для себя еще эту боль.

К болезням тетки он всегда относился панически, обставлял с помпой. Теперь их нельзя было обставлять, и нельзя было прервать пробег по кругу для непредустановленных действий. Всякий раз он долго собирался совершить подобное действие (вызвать врача, сходить в аптеку), и пока собирался, болячка как-то сама собой проходила. Так выработалось у него привычное — сойдет! Так притупилось чувство катастрофы.

Еще ее мучила чесотка, зуд. Он знал причину, и в злые минуты говорил об этом. Но с этой причиной ей не хотелось согласиться. Тогда нужно было принимать меры, а принимать эти меры ей физически было слишком трудно (в свое время она была очень чистоплотна). Поэтому она говорила, что это совсем не то, что у нее крапивница. И никакими силами нельзя было сдвинуть ее с этого убеждения.

Но серьезнее всего были опухание, ноги. Тут они оба должны были бы испугаться, но они не испугались, потому что заняты были другим. Оттер занят был доказательствами того, что тетка сама виновата, так как не слушает его и много пьет. При этом он сам попустительствовал и носил ей щи без выреза⁸ и кофе, потому что это упрощало проблему ее питания. Тетка же была занята доказательствами того, что она не виновата. — Питье тут ни причем. Вот Анна Михайловна пьет по восемь стаканов, и ничего. У меня это старое — подагрические явления. Теперь, наверное, прибавился

ишиас. — Это было как с крапивницей. Успокоительнее оказывалось иметь какие-то старые, знакомые явления. Это были не вши, не дистрофия — порождения страшного нового быта, грозившие неизвестностью и смертью. Крапивница, ишиас — только всего. Так они вели спор, и для обоих в этом споре затемнялась катастрофическая сущность происходящего. Однажды Оттер пришел еще засветло. Тетка лежала, скрючившись, на диване. Она приподняла голову, и он замер, увидев ее лицо, съезженное и в то же время распухшее, примятое лежанием. — С питьем надо кончить! — Он был уверен, что к ней надо применять сильнодействующие средства. Начался крик — Распущенность. Ты же не человек. В тебе же ничего человеческого не осталось. Только налить, налить, налить брюхо. Наплюхаться. Посмотри на себя. Посмотри на свое страшное распухшее лицо. Если хочешь знать, такие лица бывают у людей, которые через два дня умирают. — Она испугалась. После этого она два дня меньше пила и считала, что опухоль уже прошла и что понемножку можно опять начать больше пить.

В предвидении зимы встал вопрос о помещении тетки в больницу. Имелся блат, и тетке это особенно нравилось как момент привилегированности (не на общих основаниях). Со своей асоциальностью она упорно продолжала представлять себе больницу по-старому — нечто вроде частной лечебницы со знакомыми врачами, как она все еще отчасти по старому представляла себе магазин, пребывая в уверенности, что у Елисеева — продукты лучше. Больница была для нее наивной мечтой о комфорте и отдыхе. Ей хотелось этого, и потому она совершенно равнодушно относилась к разговорам о том, что там плохо кормят, что еды будет меньше, чем дома, и придется туда возить. Оттер сам поднял вопрос, но теперь он противодействовал. Впоследствии, к успокоению своей совести, он узнал, что там действительно было очень плохо, но тогда он мог это только предполагать. Он противодействовал — по ряду причин. Он испытывал ужас перед перспективой сверхурочных, непривычных, словом, выпадающих из круга действий, которые надо было произвести, чтобы поместить тетку в больницу. Его отталкивало одиночество (из педагогических соображений он ни за что не сказал бы об этом тетке) и нарушение сложившегося уклада. И больше всего (самое дикое!) его удерживало нежелание прервать совместную жизнь на дурных, незаглаженных впечатлениях. То, почему он всегда не любил ее отъезды, хотя совместная жизнь его тяготила.

Во всем этом невозможно было признаться. И он прикрывал все это самыми дурными эгоистическими мотивировками (как раз не в том было дело). Главное — ему еще придется таскаться черт его знает куда, чтобы ее подкармливать. Тетка отвечала самыми альтруистическими мотивировками. Главная ее цель — избавить его от себя. Никуда не надо таскаться. Так, когда-нибудь раз в неделю. Его приводил в исступление альтруистический тон. Неистребимое легкомыслие. Ей хотелось принять ванну (на самом деле никаких ванн в этих больницах для дистрофиков не было), и потому она не думала о том, что будет голодна, голоднее, чем сейчас. Но ему-то

придется думать об этом и все выносить на себе. И он кричал: «Облегчение! Пока ты существуешь — нет для меня облегчения. Угробить меня окончательно, — вот это да! Когда я еще буду таскаться каждый день на Петроградскую». И отвозить тебе все, что имею. Дурак я, что тебе сказал, теперь ты уже впилась и не отстанешь».

Вопрос о больнице и о том, что обязательно надо как-то заняться здоровьем тетки, откладывался в <...>* многих других дел, откладывавшихся со дня на день. Оттер привык, что болячки как-то рассасываются. Чесотка будто бы тоже прошла (иногда тетка говорила — почему, когда я ем, <у> меня не зудит...). Вероятно, рассосутся и ноги. Оттер в ту пору был особенно раздражителен, потому что он как раз увлекался проблемами рационализации быта. В построяемой им системе тетка могла быть разумно использована на посильной работе. Без дармоедства. Силы и время, которые он затрачивал, блага, которые он отнимал у себя, оправдывались тогда преимуществами домашней еды, сокращением домашних хлопот. Болезнь тетки все опрокинула. Он злился на досадное нарушение своих расчетов. К ее лежанию (она лежала все больше и говорила, что тогда ей тепло и не больно) он относился недоброжелательно. У него зародилось подозрение, что лежание — одна из ее очередных *идей*, вроде смазывания волос сливочным маслом, чтобы они не седали. В затмении злобы и эгоизма он (психолог!) не хотел понять, что это разные вещи. Что смазывание волос маслом не противоречило ее сущности, а лежание — противоречило, и могло быть только вынужденным.

Чувство катастрофы было настолько притуплено, что он (для него самого это звучало дико) требовал от нее работы, а всякая работа уже для нее через силу. — Ты не так уж все-таки больна, — говорил он, — встань и помоги мне сегодня. — По утрам разыгрывалась стандартная сцена. Он выносил ведра, бегал за водой, за хлебом, готовил завтрак; тетка в это время лежала. Он знал, что она не хочет вставать, больше того — что она все равно не встанет. Но каждое утро она считала нужным подымать разговор — встать ли ей, имеет ли это смысл и т.д. Это были очередные «ханжеские номера». И в последнее время Оттер отвечал быстро и грубо — Вставай. Пожалуйста. Только уж тогда поскорее. — Она не вставала.

По отношению к ее новой, такой странной для него, привычке лежать он путался в противоречиях, потому что в нем одновременно действовали разные импульсы. С одной стороны, жалость к ней и в особенности боязнь *поступка*, ибо требование работы переходило уже в поступок, наносящий физический ущерб. С другой стороны, жалость не к себе собственно, а к своему времени, которое он, путем всяких рационализаторских ухищрений, отводил под творчество и которое у него вырывали с мясом. И он кричал то «вставай», то «ложись». И тетка, не без язвительности, обвиняла его в лицемерии. — Вот ты говоришь, что я ханжа. Ты сам лицемеришь, когда ты требуешь, чтобы я лежала, и потом кричишь. — Он молчал. Собственно, это было не лицемерие, это было столкновение разнородных импульсов.

* [Слово пропущено.]

Такое же столкновение импульсов имело место по отношению к ее еде. С одной стороны, действовали остатки человечности и реализация в качестве главы семьи (удовлетворение от того, что он устроил ее жизнь). С другой стороны, раздражение по поводу нерационального поглощения его сил, ресурсов. Все шло перебоем. То он заботливо подкладывал ей на тарелку, выбирая повкуснее. То вдруг прорывался грубостью. — Ну, ты сегодня себя не обидела. — Тебе всего-то в день полагается хлеба 300 грамм. — Распушенность. — Лишь бы сразу все сожрать. — Его раздражала ее система есть масло кусками под тем предлогом, что оно не мажется. Он мотивировал свои протесты тем, что это не разумно, что он стремится к рациональному распределению, но мотивировки прикрывали дурное чувство. По поводу масла каждый раз происходили склочные объяснения, как все объяснения с теткой, не приводившие ни к чему («Что ты так следишь за каждым моим движением. Даже есть противно. — Слежу, потому что опять начинается накладывать масла кусками...»). Оттер считал, что масло кусками и без хлеба — это тоже *идея* (она решила, что это особенно полезно), что повышенный интерес к сладкому (она высчитывала, сколько осталось до выдачи «кондитерских изделий») — это старые привычки лакомки. Он тупо не понимал новой функции явления — умирающий организм инстинктом жадно искал то, что могло его спасти, — жир, сладкое.

Иногда, особенно вечером, в постели, когда затихали коловращения, у Оттера мелькала мысль: А ведь она умирает, этой зимой умрет. Надо изменить установку. — Но мысль о катастрофе вспыхивала и гасла с неуловимой быстротой, поглощаемая текущими себялюбивыми соображениями. Она гасла с такой быстротой, что он даже не в силах <был> восстановить контексты, в которых она возникала, не в силах ее локализовать.

По отношению к этой смерти стоит вопрос, как и по отношению к этой жизни, — что можно было сделать? Быть может, можно было спасти, но предельно дорогой ценой. Но вот надо было утешить, успокоить, обставить умирание. Это требовало тоже огромного напряжения, затраты душевных сил. Для этого надо было *понять*. Понять, что это не бесконечно длящееся состояние. Что это последняя болезнь. Надо было сказать себе это и войти в это как в свою реализацию. Он понял слишком поздно. Или надо было найти в себе любовь. Быть может, любовь и спасение любовью этой жалкой и кровно близкой жизни стоили его жестокого творчества. Этого он не знает и никогда не проверит. Любви не было, ее неоткуда было взять.

Только теперь, когда он может думать, не торопясь, — он понимает, что любовь была нужна. Что не так тетка была вне всего подлинно человеческого, как ему казалось в спешке. Некая душевная жизнь совершалась в этом замученном организме. Может быть, больше во сне, когда сознание освобождалось от суеты и торопливости. Ей снились сложные, связанные, интересные сны, которые она любила рассказывать Оттеру (она говорила, когда утром он выходил с ведром, — вот ты пришел, посиди, у меня для тебя есть сон); она гордилась ими, как гордятся поэтическими про-

изведениями. Оттер же выслушивал их со смущением, потому что в них проступала та внутренняя душевная жизнь тетки, которая требовала внимания и сострадания и которую в спешке он предпочитал отрицать и игнорировать. В особенности тяжело и неловко ему было выслушивать эти сны, потому что в них он ясно видел мысль о смерти, которой она боялась. Однажды он разбудил ее, потому что она стонала. Оказалось, ее мучил чудовищный кошмар. Она умирала; она лежала на полу, и на грудь ее навалился разбитый мраморный стол, и в руке она почему-то сжимала бутылку. Это был прямой кошмар, ужасный для нее, но для Оттера менее страшный, чем ее сны с вытеснением и подразумеваниями. Так, незадолго до конца ей снился ее покойный муж и молодой сосед по квартире, убитый на фронте. Они спорили, кому раньше пройти в квартиру (в эту квартиру), и уступали дорогу друг другу, и их встречала жена соседа, умершая от дистрофии. И муж тетки все-таки уступил тому дорогу, потому что тот ведь пришел, радостный, к своей семье, и должен был войти как можно скорее.

Для Оттера это был очень страшный сон. Тетка лежала теперь часами одна на своем диване и говорила, что ей никогда не скучно, что она думает. — О чем же ты думаешь? — спрашивал Оттер с тем же тягостным чувством смущения. — Так, о тебе, о себе. А больше всего вспоминаю. И мне никогда не скучно.

Это была душевная жизнь. Тут надо было наклониться, присмотреться внимательно, утешить. Оттер только молчал и слушал с неприятным чувством. Он уставал, ему трудно было говорить, особенно громко (тетка ведь теперь плохо слышала), если уж разговаривать, то он предпочитал о еде. Это было просто, привычно и интересно.

Самое последнее время перед концом было дурным временем. Не плохим в смысле еды; но очень дурным по поведению и состоянию Оттера. Его раздражение против хаоса, убивающего время, — все возрастало. В самые последние дни скопились какие-то тяжелые, безобразные сцены. Тетка запрятала куда-то его подтяжки. Он искал, он терял время, то самое время, две трети которого уходило на то, чтобы ей же таскать обед. Он пришел в исступление — не суйся, не суйся. Оставь мои вещи в покое. Я добьюсь, черт возьми. Я заставлю тебя оставить мои вещи в покое. Она отрицала свою вину, но подтяжки действительно запрятала, так как потом он их нашел на видном месте (явно они были подброшены). Но пока что он сделал то, что делал прежде в таких случаях. Как бы в процессе поисков (это была фикция) он систематически вывалил на пол все содержимое шкапов. И ушел взбешенный. Она должна была все это подбирать. Он знал, что каждое движение ей теперь трудно. Это вполне уже был *поступок*.

Эта сцена как-то сливается с другой — по поводу непочиненных брюк. Месяц нельзя добиться. Выйти не в чем на улицу. Невозможно. Встань и сделай это, наконец. Она встала. В комнате холодно. Он вошел и увидел, как она сидит у стола. Трясется в своей зеленой кофте. Держит брюки трясущимися руками. Оттер вдруг с ужасом замечает, как все это страшно.

Она опустила голову — тоже трясущуюся — на стол в каком-то почти забытии. Отчаянный крик Оттера: сейчас же ложись обратно!.. — Нет, уж раз ты меня поднял... Он вырывает брюки. Он дико кричит. Как она смеет не слушаться, как она смеет мешать ему как можно скорее, немедленно, поправить совершенное зло.

После этого он притих. Вечером он лег рано, страшно усталый. Спросил, сможет ли она сама поднять на ночь штору. Тетка пошла подымать штору, возвращаясь, споткнулась о ведро. Оттер вскрикнул от звука падения. Тетка сказала смущенно, что ей не больно, но встать она сама не может. Оттер вскочил, поднял ее (ему странно стало — до чего она легкая), отнес на диван, уложил, укрыл, преодолевая брезгливость к ее дивану и тряпью на диване, к которым он последнее время избегал прикасаться (там были вши). В этот вечер он понял. Он принял факт — тетка серьезно больна. Он переклочился.

Договорились, что тетка будет лежать. Это стало законным, и сразу Оттеру показалось гораздо более легким. На другой день была хорошая еда. Он принес рисовую запеканку. Но у тетки не было аппетита. Это было странно, но в этом было даже что-то положительное, что-то от мирного времени. Она съела перед тем суп из селедочных голов, ржавый. Оттер уговаривал ее не есть. — Вот наделала себе. — Он приписывал селедочному супу засорение желудка. Но были нехорошие признаки. Ее поташнивало, хотелось кислого. Это были признаки с дурными ассоциациями. В этот день в столовой дали сахар (большая редкость!). Он колот сахар на мелкие кусочки и говорил: ешь, ешь побольше. Тебе это нужно как лекарство. А тетка говорила, — Я даже рада, что у меня нет аппетита. Вот тебе больше останется хлеба. — В магазине объявили вино и кильки. Ей очень хотелось вина. Неожиданно оказалось, что вино стоит очень дорого (50 р.) и у Оттера не хватило денег. Он принес кильки и сказал, что завтра получит деньги и возьмет вино (на другой день вина не было, так она и не выпила это последнее вино, которое ей хотелось). Через некоторое время она вдруг сказала: подумай, как дорого стоят кильки — как ты сказал? 50 рублей. (Кильки стоили 1 р. 30 к.) Он спокойно сказал, что это не кильки, а вино, но весь похолодел. Он испугался слабоумия, которое уже надвигалось, которое могло длиться. Он был испуган и кроток. Он сказал, что утром сделаем клизму (она любила клизмы — это тоже была одна из *идей*) и все пройдет. Он спрашивал часто: ну, как себя чувствуешь. Лучше?

Утром он непременно хотел, чтобы она съела кильки. В прошлую выдачу они очень ей нравились. Надо есть, чтобы организм не истощался. И чтобы не пропали даром достижения Оттера. Пока утром Оттер занимался домашними делами, он не присматривался к тетке. Но вот он подал ей на тарелке нарезанный хлеб с кильками, и она стала тыкаться в тарелку трясущейся рукой. Килька соскользнула, он ее подобрал, она опять соскользнула, и тетка ела кильку и хлеб отдельно и смотрела при этом неподвижным, не имеющим отношения к еде взглядом. Это было нестерпимо похоже. Так

старик тогда ел апельсины⁹. И в ту же минуту Оттер понял все. Он заторопился. Он действовал, как дурак и как дикарь. Он заставлял ее есть через силу, чтобы не истощился организм. Теперь он взялся за клизму. Она верила в чудодейственную силу клизм. Оттеру всегда было лень и противно с этим возиться. Он думал, что теперь она обрадуется. Но она сказала вдруг, что не надо, что у нее нет потребности. Она вдруг устала, как человек тяжело отработавший, она не хотела, чтобы ей мешали. Но он настаивал, как дурак и дикарь. И он попытался это сделать. И тут оказалось, что он не может ее повернуть, что у нее холодное, как камень, тяжелое тело с вспученным животом. Она засыпала. И с клизмой ничего не вышло. Он замочил все вокруг. Она засыпала, не обращая внимания. Он не мог ее приподнять, положить сухое. Он знал теперь, что все пропало. И все пошло своим чередом, все убыстряясь. Все было бредово, похоже на ту смерть, но только в убыстренном, свернутом, упрощенном виде. Сразу появилась соседка, как будто существовал такой естественный закон. Хотя раньше ее никак нельзя было дожидаться и допроситься. Сразу началось переодевание костенеющего тела и разные операции, уже ненужные этому телу и такие нужные ему же еще недавно, когда оно было живым и чувствующим. Но тогда его не облегчали, его оставили в грязи, в тряпье, во вшах, и оно *зудело*. Потом Оттер сложным образом добывал врача, зная, что это совершенно ненужный ритуальный акт. И врач все проделывал с необыкновенной быстротой и равнодушием. Но все-таки Оттер еще ходил в аптеку. Сознание угасало. Почему ты не спишь? — говорила она ему среди дня. И когда он наклонился над постелью, она жадно повторяла — Спать, спать... И Оттер внутренне отвечал ей с какой-то почти насмешкой — очень мучительной — ну, ты скоро заснешь, непробудно... Язык костенел. Она говорила невнятное. Она говорила — бу-бу. Но все-таки вдруг сказала — Дай я тебе поцелую... Ему стало легче. Как если бы этими словами она прощала ему вину; свидетельствовала о том, что не уносит с собой обиду и горечь. Сознает ли она. Он больше всего боялся для нее сознания. И мучился сомнениями. В ее лице не было ни страдания, ни напряжения. Он окликал ее, и веки ее со странным автоматизмом дергались в ответ. Он цеплялся за эту связь, и в то же время боялся этих век, откликающихся на звук его голоса. Ведь это было сознание, может быть, были мысли, предсмертные, которые выговорить она уже не могла. Он гладил ее лоб, целовал ее. Он слушал ночью ее дыхание. В комнате было холодно, но после того как он окутал ей голову, дыхание стало спокойным. Он все еще не мог разделаться с глупой мыслью о том, что организм надо поддерживать, он с усилием просовывал ей в рот топленое масло (вот оно — масло без хлеба и кусками). Рот был зажат, но раза два она вдруг с каким-то писком широко его раскрыла. А последний их разговор был все-таки о еде. Вечером он всунул ей в рот маленький кусочек сахара. И спросил, насколько не надеясь на ответ. — Тебе нравится? — И вдруг она ответила очень раздельно, как дети, которые произносят трудные для них слова — Конечно. Дай мне еще кусочек сахара.

Хорошо все-таки, что в последние дни у нее не было аппетита. Что она не умерла, мечтая о лишнем кусочке хлеба.

Лицо ее было спокойно и серьезно. Под рукой Оттера торжественно холодел лоб. Это было совсем непохоже на суетливый ее облик.

Оттер боялся для нее проблесков сознания. Но эгоистически мучился ее бессознательностью, которая не позволяла ему ничего искупить, получить прощение, обставить умирание. Все идет быстро. Он знает, что раз испытанное раскаяние не может повториться. И горе, и раскаяние сейчас макетные, съеденные, и раскаяние несоизмеримо с объемом вины. Оттер в дальнейшем еще будет наказывать себя, запрещая себе отдых и радость. Он будет еще радоваться бытовым неудачам, потому что вот она их избегала, и огорчаться достижениями, потому что вот ее нет, но все это несоизмеримо. Все это была только слабая наметка переживаний, которые должны были бы возникнуть на этом месте.

Но что изменилось сразу, невозстановимо — это функция еды. В последние дни он думал — вот приду домой, застану конец, съем весь хлеб, наемся, и потом останется карточка. Резкого ощущения не получилось, потому что тетка уже постепенно перестала есть, и он постепенно съедал все больше из того, что было рассчитано на двоих. Инерция возни с едой не покидала его. Выдали шоколад и масло. Это было обидно, потому что ее любимое. Он по привычке не хотел терять вкусовые ощущения. Она лежала тут, умирая. А он устроил какую-то смесь из масла и шоколада и намазывал ее на хлеб, которого было много, больше, чем когда бы то ни было. Он ел, и его терзала тоска. Это было самое острое ощущение тоски и горя, которое он испытал в связи с этой смертью. Еда, переживания еды были тесно ассоциированы с ней, и вот это кончилось, и кончился интерес, человеческий интерес еды; осталось что-то мрачное и животное. И в то же время ему казалось, что еда заглушает тоску, физически забывает ее, заплепляет ее эта пища, проходящая вглубь куда-то туда навстречу сосущей тоске. Он жевал и глотал, а тоска подымалась навстречу. Это была печальнейшая минута из всех в эти дни пережитых. Он жевал и глотал и для него кончался выстраданный быт и уклад этого года с его «маленькими радостями», как говорила тетка.

Потом его мучила тоска, и ему все время было так плохо, что все время хотелось переменить положение (как во время бессонницы, когда человек все время ворочается, поворачивается с боку на бок). Из комнаты ему хотелось на улицу, потому что ему казалось, что его развлечет движение. С улицы он до задыхания спешил обратно. Ему казалось тогда, что единственно возможное, наименее болезненное для него положение — это неподвижно, оцепенело осесть за столом, медленно свертывать папиросу. Это не помогало, и ему казалось тогда, что станет легче, если пойти к знакомым людям (их с трудом надо было отыскивать) или если лечь, наконец, в постель, вытянуться, закрыть лицо одеялом, — это, в самом деле, помогало больше, чем что бы то ни было другое.

Среди всего этого получила открытка от V. — ответ на телеграмму. Она была написана с прямою сентиментальности, доходящей до бесстыдства. С точки зрения Оттера, уже самый факт написания открытки по такому поводу и в таком тоне — был бесстыден. Все-все так прямо и писал: «наша золотая старушка, когда я думаю о том, что никогда не увижу нашу голубку...». Этот профессиональный остроумец, бытовой скептик и проч. все-таки не был человеком той интеллектуальной культуры, которая предполагает единство мироотношения (или осознанную диалектику противоречий). Именно профессионализм избавил его от этих проблем. И он оставлял участки серьезного, чувствительного отношения к вещам, где высказывался вполне примитивно. Сказать «золотая старушка, наша голубка...» он бы, пожалуй, все-таки не мог по непривычке к таким оборотам речи. Но написать можно было, удовлетворяя мгновенной эмоциональной потребности.

Оттера же эта открытка не растрогала. Она причинила ему боль и вызвала злобу. В особенности озлобила его фраза: «Я в чем-то перед ней виноват, но сейчас не могу в этом разобраться». Как легко этот легкий человек отделался от неизбежного чувства вины. У него всегда в этом — как вообще в жизни — была легкая позиция. Он жил сам по себе. Тетка у него гостила; он посылал деньги, и то когда это было для него не слишком трудно. Он не разобрался в этом сейчас и, конечно, никогда не разберется. Потому что через неделю у него уже в этом не будет потребности. Оставив Оттеру всю вещественную тяжесть бытия тетки, все физические лишения и страдания, — он теперь оставлял ему и всю тяжесть вины и раскаяния. А слова «голубка, золотая старушка» — звучали такой (невольной для V.) неправдой; они так страшно противоположны были той трагедии зла, грубости, озверения, бытового хаоса, которая слилась с трагедией ее смерти и которую только что пережил Оттер, что, читая эти слова, он застонал от боли. Но эта боль вовсе не была болью умиления.

СЛОВО

<(ТЕТРАДЬ 1943–1944 ГОДОВ)>

ПРОХОДЯЩИЕ ХАРАКТЕРЫ

Посещение В-цов

Сестры В-ц — интеллигенция. Отчасти соприкасалась и пользовалась благами и привилегиями (особенно через принадлежащих к дому мужчин), но в основном сохраняла позицию. Компенсация социальной неполноценности. Благодаря глупости и отсутствию современной культуры — провинциальные культурные претензии — двор<янство>, эстетизм, утонченность и пр. Все это смыто страшным годом. Теперь приходится наново ориентироваться — и искать форм самоутверждения. Человек самоутверждается всегда, за исключением тех случаев, когда страдание или страх настолько сильны, что оставляют ему только волю к избавлению от страдания и страха. Это мы видели, хотя и в сфере голода и насыщения человек находил возможность реализации. Но самая проблема реализации, ее необходимость была приглушена. Для многих это даже служило удобным предлогом к внутренней праздности. Но теперь приходится снова самоопределяться при крайне трудных условиях, когда утрачены все заменители и фикции.

С младшей сестрой Ниной случилась печальная вещь. Она была очень плоха, выжила, но потеряла женскую привлекательность. Она привыкла действовать на мужчин, и это в сочетании с эмоциями и высшими духовными интересами (она глупа) составляло приятную, украшенную ткань жизни. А вот теперь она вышла на новую службу, и никакого эффекта. Раньше всегда бывал эффект. Теперь она одна из многих немолодых и истощенных канцеляристок. Этот страшный для женщин переход совершился не постепенно (в этой постепенности бессознательно прорастает новая жизненная позиция), но с резкой внезапностью, которая требует немедленного осмысления, переориентировки. Между тем ей не за что ухватиться. За тот же период у нее умер муж, с которым, правда, все разладилось, но все-таки муж; она разошлась с любовником (он оказался дистрофич<еским> эгоистом), потеряла постоянного поклонника, литератора, с которым вела эстетические разговоры, быт (красивые вещи) разрушен. Словом, у нее нет психического состояния. Осталась одна дистрофия, и то в виде остатков. И вот за эти остатки она хватается как за единственное содержание жизни и возможность реализации. Это оправ-

дательное понятие для пустоты и для преждевременного женского крушения. Это крушение смягчается тем, что оно болезнь — значит, может быть, и нечто временное? — и притом *всеобщая* болезнь. Это крушение сублимируется тем, что оно социальная трагедия.

А раз так, то дистр<офическое> состояние, перерабатываясь в автоконцепцию, всячески утверждается и подчеркивается. Так как она эстетическая натура, то подчеркивание идет не за счет разговоров о еде и т.п., но за счет того, что дистр<офия> убила в ней высшие духовные потребности, а также интерес к изяществу быта. Все это проникнуто сильнейшим дифференциальным ощущением. Подразумевается: как велика и глубока трагедия, если я, такая возвышенная, дошла до этого состояния. Такова подводная тема ее разговоров.

Речь идет о гибели памятников. Гостья, подруга (тоже эстетическая) скорбит.

— Иногда не хочется дожить до того момента, когда все это окончательно выяснится.

Н.: Ты это умом или сердцем? Я — только умом говорю. А так мне все равно. Раньше — иногда проснешься ночью и вспоминаешь: боже! Мед<ного> всадн<ика> нет! Или еще чего-нибудь. Я ведь жила этим! (провинц<иальное> бесстыдство в употреблении высокого). А теперь — весь Эрм<итаж>, весь Русск<ий> Музей. Не все ли равно... Вот если бы на столе появился сладкий чай с шоколадом — мы бы все оживились.

Ст<аршая> сестра: Мы готовы были за двести грамм масла отдать весь Александровский дворец (у обеих дифференциальное ощущение; самый критерий падения свидетельствует об избранности натуры).

Разговор переходит на то, что и одеваться не хочется.

Подруга: Сейчас только работницы прилавка в таком состоянии, что способны этим интересоваться.

Н.: Подумайте. Мне рассказывали, что дают два кило хлеба за чулки со стрелками! Господи! Не могу себе этого представить. Не все ли равно — со стрелками или не со стрелками.

(Подразумевается — только люди, упорно цепляющиеся за мелкие интересы и притом сохранившие здоровье, благодаря низк<ой> профессии и собств<енной> бесчестности могут этим интересоваться. Они не на высоте трагедии, постигшей настоящих людей.)

Подр<уга>: Да, только бы прилично явиться на службу.

Н.: Чтоб не иметь жалкого вида...

(Она проговорила. Ее преследует страх жалкого вида; унижение нынешней ее женской неполноценности. Сексуальное унижение для нормального человека — самое нестерпимое из всех. И в борьбе с ним он готов вышибать этот клин клином любых других унижений. Так она настаивает на своем дистрофическом вырождении, чтобы доказать, что сфера женских успехов ей уже не нужна, безразлична, что она вовсе не попала в положение женщины, которая хочет, но не может.)

Н. в семье представляла всегда начало эмоциональное и эстетическое. Она была влюблена в красоту и «жила этим!». Тата представляла начало интеллектуальное. Она г<о>м<осексуальна>, поэтому считала это для себя обязательным. Чувство мужского превосходства над женщинами, неспособными рассуждать. У нее в самом деле некоторая способность к обобщению наблюдаемого; и она всегда находила наслаждение и реализацию в беспредметном упражнении этой способности. Жизнь не удалась; с некоторой даже смелостью она пошла служить в магазине (Б <?>)¹, достигла там помзавмага. Это во многих отношениях было удобно и выгодно. Для утешения самолюбия имелись оправдательные понятия — виновата «гадкая действительность» — и острое, до эффекта острое, дифференциальное ощущение. Автоконцепция — красивого неудачничества. Она отлично работала в магазине, а на досуге крутила любовь, азартно играла в карты (проигрывая), читала и в разговорах упражняла мыслительную способность. Жизнь неудавшаяся, но пригодная для самолюбования, хотя бы драматическими контрастами между заслуживаемым и полученным.

Всю эту постройку смело. Надо опять самоопределяться, уже на вторично опустошенном месте. И тут средством реализации оказывается способность размышлять. Осознание и анализ своего состояния оказывается увлекательным творческим процессом (бескорыстное переживание) и фактором преодоления и превосходства.

Она сидит, преждевременно состарившаяся, безвозрастная, беззубая, и жадно, перебивая, говорит.

Она принимает для себя, как временную — на данный момент — автоконцепцию, состояние человека, постепенно выходящего из дистр<офии>, но еще несущего в себе ее трагические травмы. Она реализуется в обобщении и анализе элементов этого состояния.

— Нет, картины я еще не воспринимаю. Без книг, например, сейчас уже жить нельзя. А то нам еще нечем воспринять (мы — это формула обобщения). Это как когда в первый раз выдали масло, после большого перерыва. Помните? Казалось, что такое? Зачем — масло? Лучше бы больше хлеба дали. У вас не было этого чувства? Нам его нечем было воспринять. (Думаю, что у большинства не было этого чувства. Но это нечто, что ей удалось в себе наблюсти, схватить. И оно становится значительнее — возведенное в обобщение.) Также и с мясом. Совсем не хотелось мяса. Мясо было непонятно. Мы хотели только хлеба. И кашу. Каша, которую я в жизни никогда не ела (превосходство), вот была моя основа. А теперь мне уже хочется сливок. Это приходит постепенно. Я уже чувствую красоту города. Я каждый день езжу через мост и смотрю, как это красиво. Это самый лучший момент. Оттого в выходные дни я в кислом настроении. Но очень многое еще нечем воспринимать. Я помню, как вначале мы волновались и все обсуждали — как поведет себя Англия и что и как. Мы с Арсеном, мы, может быть, тем себя и ослабили, мы до трех часов рассуждали и спорили (мужское

отношение). Потом все это стало все больше суживаться и суживаться. И остался один хлеб. И сейчас то, о чем я говорю, — это признаки нашей неполноценности (осознание). Мы неполноценны.

Подруга: Тут огромное значение имеет здоровье.

— Конечно.

— Какие-нибудь работницы прилавка, столовых — у них, конечно, очень ограниченные интересы, но они живут полной жизнью. Они наряжаются, влюбляются, ходят в театр...

Тат<а>: Да, и это настоящая, реальная жизнь. (Дифференциальное > удовольствие собственной широтой взгляда, позволяющей признать подлинность этой низшей жизни.)

Разговор переходит на другое.

<Т.>: Ну, к этому я всегда относилась спокойно. Я даже уверена, что ничего в меня не может попасть. По-моему, каждый в этом уверен. Знаете, вначале я еще работала в магазине. Причем я осталась одна. А народу толклось тогда много. Я очень уставала. Когда начиналась тревога, я запираю магазин и ложилась в задней комнате отдыхать. Так что это ассоциировалось у меня с отдыхом. Так и осталось. Хотя я могла бы относиться иначе, потому что собственно в меня попало.

— На работе?

— Нет, я жила у своей приятельницы тогда. Мы никуда не спустились. Первая бомба попала во двор, нас потрянуло. Мы сидели и прислушивались, куда попадет вторая, мы ведь не думали, что она попадет в нас. Это оказалось совсем не так страшно. То есть мы совсем не поняли, что случилось. Хотя упал шкаф. Ох, как он подпрыгнул, тяжелый зеркальный шкаф с бельем — как перышко! Он образовал угол, только потому не раздавил моей приятельнице голову.

Мне на голову посыпалась штукатурка. Хорошо, что самые большие куски упали на ноги. В общем, это было не страшно. Если вам на голову упадет кирпич, то вам все равно — кирпич ли упал или четырехэтажный дом. Когда это случается с вами, то вы знаете только, что на вас упал кирпич, или шкаф, или штукатурка. А когда вы идете по улице и видите разрушенный дом, вы видите размеры катастрофы. И это ужасно. Но все-таки мы ведем себя ненормально. Разве это нормально, что мы продолжаем пить чай? И ничего в этом нет гер<оического?>. И, знаете, тогда, когда мы обе чуть-чуть не погибли, мы совсем об этом не думали. Мы думали, что у нас две незаконные вещи. У нас включен был электрический уют и топилась буржуйка. Тогда не позволяли топить во время тревоги. А тут в переполохе могут прийти. Вот этого мы испугались сразу. Бросились вынимать, тушить. Разве это нормально?

Этот разговор имеет свои весьма устойчивые типовые формы. Человек рассказывает случай, вовсе неинтересный, но случившийся с ним (иногда — он просто шел по улице и услышал...) и потому требующий обнародования.

Рассказывает с установкой на страшное. Чтобы беречь, прощупывать, разряжать свой страх; чтобы насладиться страхом, следов<атель-но> слабостью собеседника; чтобы почерпнуть чувство превосходства в хладнокровии своего рассказа.

Рассказывает интересное. Рассказывает о собственном мужественном поведении. Иногда прямо; иногда замотивировав объективной интересностью рассказа.

Рассказ Т. комбинированный. Он имеет объективный интерес — фабула. Имеет осязаемую форму — юмор. А у юмора двойная функция — эстетическое переживание и утверждение своей свободы и превосходства. Притом это тема собственного мужества, замотивированная объективной интересностью психологических наблюдений и обобщений. Так, наряду с фактической фабулой, вырастает психологический сюжет. В основу его положен парадокс — это не страшно. И все детали развертывают этот парадокс. Всякий парадокс предназначен удивлять аудиторию; а удивляющий испытывает превосходство. Кроме того, подразумевается, что данный парадокс мог возникнуть только у храброго человека.

Мотив: «Мы ведем себя ненормально» — отчасти это вплетается тема дистр<офии>, важная для нее в другой связи (см. выше), и вместе с тем это расшифровывается: мы ведем себя так здорово, что это уже даже ненормально. Отрицается официальная формула выветрившегося героизма с тем, чтобы заместиться психологизованной, более изощренной.

Характерна — буржуйка. Основной парадокс развертывается парадоксальной деталью — топящаяся буржуйка страшнее. Но за этим стоит еще нечто более глубокое, бессознательное и никак не парадоксальное. Если из всех унижений человеку труднее всего признаться в унижении сексуальном, то из всех страхов ему труднее всего признаться в страхе смерти. Можно признаться, что боишься мил<иции>, гриппа, собак (последнее уже труднее, унижительнее), потерять службу, но нельзя спокойно признаться, что боишься потерять жизнь. То есть люди признаются в этом, но либо абстрактно, без применения к данной ситуации, либо с оговорками. Это внедрено человеку многовековым социальным воспитанием — и составляет одну из важнейших пружин общественной жизни. Это так же нелогично и неистребимо, как потребность прикрывать половые органы. Человек стыдится страха смерти — отступление от этой нормы воспринимается как некая социальная невоспитанность (массовое отступление от этой нормы — паника). Помню, какое странное впечатление произвело, когда Т.Я. (Тина), постепенно слабевшая, вдруг догадалась, что может умереть (она не умерла). Она горевала откровенно, до вытья.

Это казалось удивительным и неприличным. Мы к этому не привыкли. Дистр<офики> умирали бесшумно, не рассуждая по этому поводу.

В рассказе Т. подчеркнуто — чего можно бояться и чего нельзя бояться. Это до наивности проявлено в парадоксе с буржуйкой (парадоксы всегда наивны). Это еще педализируется формулой «Разве это нормально?».

Подруге тоже хочется сделать наблюдение — обобщение. У нее это получается гораздо слабее. Тема — равнодушие. Вытащила из узла свое коверковое пальто. Какое оно мягкое! Надо чистить — гладить. Зачем? Стало противно. Засунула обратно в узел. Пускай лежит. Раз в неделю она ходит в душ. Надо собирать чистое белье. Это всегда скучно, противно. Делается с усилием. (Это к одной из тем от<рывка> «Оцепенение»².) Говорится это тоже в порядке самоанализа, тем более ценного, что он связан со всеобщим интересом.

В соседней комнате Р. Донжуанство как талант и главный интерес всей жизни. У настоящего «высокого» Д<он> Жуана — всегда какой-нибудь идеал, который оправдывает его поведение своей недостижимостью. У Р. заведомо (хотя бессознательно) недостижимый для нее идеал семейственного благолепия. Гуманит<арные> интересы, способности, иллюзии, созданные легкостью институтского успеха. Отсюда — уверенность в своем научном призвании, внутренне нужная как признак мужественного начала, которое она в себе постулирует, но которого нет на самом деле. Донжуанство всю жизнь служило оправдательным понятием для интеллект<уальной> праздности и бесплодности. Это для прошлого, для настоящего — дистр<офия>.

— Подумай, *теперь-то* (когда, по ее мнению, возраст, состояние здоровья и психическое сост<ояние> исключают уже д<он>жуанство) можно было бы работать, и вместо того паутина в мозгу...

— Как, собственно, работать?

— Как угодно. Книги писать...

Как работать — Р. не задумывается. Это наивность человека, который дожил до пятидесяти лет, ничего не писал, кроме ученических работ, и думает, что можно вдруг начать писать книги (научные). Аберрация происходит от того, что Р. всегда казалось, что она продолжает оставаться потенциальным ученым, как это было задумано. И только временные обстоятельства (романы, болезни, служба) каждый раз мешают. Теперь новое превосходное оправдательное понятие — дистрофия. Человек готов признать себя несостоявшимся в этой области, но не несостоятельным. Большая жизненная цепкость.

Приятны служебные успехи. Хотя как человек интелл<игентски>-вольнодумной и формалист<ской> заправки принуждена говорить об этом с иронией и небрежностью. Не к тому была предназначена. Но с мотивировкой *смешного случая* рассказывает, как библиотечная девушка, откомандированная в райсовет, ходит там и говорит: когда вы дадите комнату моей *начальнице*. Всем там ужасно надоела. Фраза с начальницей повторяется два раза.

То же оправ<дательное> понятие пригодились и для безответственности. Это как с научной работой. Было задумано, что она должна поддерживать любимых (атрибут мужественности). Но на практике, по полному неумению Р. зарабатывать, по врожденному аристократизму, умеющему соединять нищету с избалованностью, получалось наоборот. И это тоже рассматривалось как временное и случайное обстоятельство.

А тут вот осиротел ребенок, служивший некогда предметом отчаянной борьбы и раздора. По естественному человеческому движению тут и надо было взять на себя неслагаемую ответственность. Р. даже не интересуется тем, где ребенок и что. Не интересуется, потому что проявление интереса грозило окончиться необходимостью принять ответственность. Оправдание — есть.

— Для меня — это двухлетнее существо. Для нее я — ничего. И все-таки это мой долг перед памятью. Но что я могла тогда. Сама умираю. Бесплезно было спрашивать. А теперь поздно к ним обращаться. Но ты все-таки узнай, как и что, пожалуйста.

В страшный год обнаружилась чрезвычайная воля к жизни. Р. оказалась из тех, кто работал над сохранением себя с интересом и методически.

На этом разошлись с Н. Оказалось, что это не семья, и потому можно было уделять, но не обязательно делить. Оставались при своих карточках. А на этом пути для отношений не было спасения. Это неуклонно вело к обвинениям тяжким и грязным, высказанным или невысказанным — все равно. У Р. сказались целой жизнью выработанные привычки избалованности и эгоизма. А главное, привычка к материальной неотчетственности за любимого человека. Впрочем, на продовольственное основание разрыва были надстроены еще приличные психологические противоречия, довоенные счета ревности и т.п., которые помогали сохранить свою карточку для себя.

Н. вынесла из всего этого граничащее с ненавистью раздражение. Отдельные фразы, направленные во врага.

— Что Тат.?³ — Ничего. Не знаю, когда вы ее застанете. Она, кажется, очень занята своим рационом. («Кажется» — это значит — мы разошлись, не знаю подробностей ее жизни.)

— Никто из нашей семьи так уж особенно не цеплялся за жизнь... (кивок на врага).

Воспоминания о первых тревогах. Смешные рассказы о том, как они все себя легкомысленно вели. Покойный муж, с которым разошлась ради Р., «кричал: „Тревога! Тревога!“ Однако садился в кухне обязательно под полкой, на которой стояла ступка с пестиком, и пил чай» и т.д. Только М.И. и Тат. при первом звуке были уже внизу, Р. неслась по лестнице с палочкой.

Р. сказала бы об этом, что это было разумное отношение к делу, без всякой паники. Р. говорит: «Она презирует меня за то, что я „считаю талончики“. Я ей говорю „ты, может быть, можешь их не считать, когда у вас у всех усиленное питание“». Р., в свою очередь, презирует Н. за то, что та не сумела себя как следует сохранить. В результате — что и требовалось — они испытывают друг перед друг<ом> свое превосходство. Одна как широкая натура над мелочной; др<угая> как сильная духом (сопротивляемость) над слабой (слабость возбуждает нежность, только когда она связана с покровительством и сама ищет опоры).

Р. не скрывает грубой жалости: Мне ее бесконечно жалко. Мне все равно, что у меня нет зубов, а что у нее нет зубов — жалко.

Человек, который может сказать это третьему, — уже совсем не любит, больше того — уже забыл, как любил.

— Слава богу, теперь уж она берет у меня, что ей нужно. Раньше ведь это была такая драма, если я осмел<ивалась> предложить сахар или что-нибудь такое.

А Н. ищет больные места.

— Я никогда уже не сержусь (превосходство), хотя она говорит мне чудовищные вещи. Вдруг говорит, что не считает меня ни особенно умной, ни талантливой, ни образованной (добирается до большого места в реализации. Ведь все эти постулируемые качества Р. остались *не доказанными**). Конечно, ты образованнее меня, образованнее хх (сестры), образованнее Нюры (это уборщица, которая здесь жила), но это ничего ни значит. Я ей говорю — не сомневаюсь, что есть много людей, которые умнее меня, талантливее и образованнее, но зачем это, собственно, говорить.

А говорится это именно потому, что Р. всегда требовала от них, чтобы они признавали ее интеллект<уальные> возможности и превосходство. Они предназначены украшать жизнь, а она (атрибут мужественности) созидать ценности. И они шли на то, чтобы признавать творческую нереализованность Р. — временной задержкой (Р. не может продавать книги, которые нужны для работы). И теперь это говорится в порядке разоблачения. Это месть. <...>**

Все трое, связанные между собой переплетающимися отношениями, стараются сейчас друг перед другом. Н. (Н.К.)⁴ должна показать Т. свою неиссякаемую жизненную энергию и вытекающие отсюда достижения с подражением: вот какую опору ты могла иметь в жизни и что потеряла по собственной вине. Подумай: как я ошибся, как наказан!⁵

Прямо говорить неловко. Испытанный способ довести до сведения свои достижения — это рассказать о них в порядке интересного курьеза. Так она сообщает, что состоит ст<аршим> инженером завода. Изумление! Разъясняется, что так она проведена по штатам на заводе, где пишет его историю. Т. отвечает тем же. Тут речь идет о положении библиотечного начальства, десять человек подчиненных. Подается это в виде курьеза — одна принесла конфетку, другая пачку папирос. Товарищи, так не годится, это что же — «взятка»? Этот анекдот всплывает несколько раз. Из него явствует начальство, и притом пользующееся популярностью. Н. со своей стороны тоже испытывает потребность проявляться. Входит в комнату с сандалетами в руках. «Вот, говорят, что у ленинградцев нет интересов (это-го никто не говорит; это идея последних дистрофиков). А я в таком восхищении, что достала эти сандалеты. Посмотрите, как хорошо» (надевает). Показывает, что в ней живы женские интересы. Что у нее красивые, небольшие ноги (у Н.<К.> — большие). Она всегда носит обувь на номер больше, потому что не любит себя стеснять. Это переизбыток женской уверенности.

* [Зачеркнуто:] социально-непров<еренными>

** [Пробел в рукописи.]

Любопытна. На разговор о будущем Н.<К.> реагирует примерно так же, как Ар. — Будет трудно с работой. Будут предъявлены очень большие требования. Конкуренция свежих людей и т.п. По-видимому, это уже типовая мысль. Мысли служащих людей, не уверенных в своих силах, в своей профессиональной нужности. Проблема уже поворачивается к ним именно этой стороной.

Н.К.

Сочетание исключительного физического и психического здоровья, уравновешенности и проч. с инверсированностью, пассивной, но устойчивой. Нормальные отношения не исключены, но они оказываются неполноценными, отношениями второго сорта. Собств<енное> объяснение — только однородное существо может понять все, во всех тонкостях. М<ужчина> не понимает. Ему *не до того* (интересное наблюдение), и потому он думает только о себе. Между тем тут (при наличии искусства) — полное понимание, полное внимание, можно себя доверить, тонкость, точность и сила воздействия, недостижимая при других условиях. Это требование очень сильной чувственной раздражимости, притом не локализованной, что у женщ<ин> встречается сплошь и рядом и что для г<омосексуальных> вполне нормально. Локализованное, конечное сексуальное переживание для этих периферийно чувственных женск<их> организаций обычно даже неприятно или не нужно. Они эротичны (противоположный тип. — В<ета>, И<рина> Щег<олева>). На этом периферийном эротизме и закрепляется детская и юношеская амбивалентность. Все это нисколько не противоречит психическому здоровью. Напротив того, спасает психическое здоровье, подтверждая утверждение Фр<ейда>, что именно искусственное подавление эротич<еских> потребностей данной организации приводит к комплексам и надрывам.

Физиологич<еский> момент находит себе и психологические подкрепления (вторичные). Сравнительная легкость отношений. Понимание и приспособление в быту, такое же, как в сексуальной жизни. Отсутствие требовательности, грубости и м<ужского> эгоизма. Общность вкусов и интересов. Одновр<емное> удовлетв<орение> потребности в подруге. Меньше ломки, ответственности и опасности (для нежелающих детей). Нет вторжения чуждого, ломающего элемента.

Прочнее всего эти отношения оказываются у женщин (если брать пассивную сторону) энергичных, материально независимых, с хозяйским отношением к жизни, именно психически здоровых и общественно реализующихся настолько, что они обходятся без детей и настоящей семьи. Противоположные характеры скоро начинают тосковать по вторжению чуждого начала со всеми его атрибутами грубости, требовательности и эгоизма, ибо оно представляется им началом силы, умения и понимания, им недостающим.

У Н.<К.>, как это часто бывает в этих случ<аях>, есть свой мужск<ой> идеал с гипертрофированной мужественностью и с троглодитской

ролью в секс<уальных> отношениях. Но в том-то и дело, что этот идеал остается абстракцией, а реализуется другое.

Н.К. — несокрушимое физическое здоровье, чувственность, напор, жадность к жизни, способности. Провинциальная культура (хоть она и петербуржка) и природное безвкусие (туалеты, непонимание кино). Благодаря доброте и сострадательности, благодаря тому, что она обожала отца, человека с принципами, который привил ей неопределенную порядочность и уважение к социальным ценностям, — напор, жадность жизни не втолкнули ее в эгоистическое одичание. Напротив того, она ищет расширения. Она хочет пополниться и украшаться всеми возможными ценностями — социальными (смутно обоснованными, но это ее не смущает), эстетическими, эротическими и проч. и проч. При этом интенсивное ощущение себя, своей реализации и довольства. Женщины, сколько-нибудь успешно подвигающиеся на общественном поприще, вообще склоны к довольству. Это в силу инерции, еще живущей в крови атавистической уверенности в том, что женщина назначена для семейного круга и что, выходя из этого круга, она тем самым уже совершает некий акт, социально ценный, ставящий ее выше других женщин и приобщающий к высшей человеческой категории. Поэтому мужчины гораздо труднее достигнуть удовлетворяющей социальной реализации.

Дело не в том, конечно, чтобы состоять на службе, — все почти женщины сейчас работают, а в том, чтобы при этом побеждать обстоятельства. Н.<К.>, которая до войны была на очень малых ролях, теперь развернулась. Она очень нужный человек. Она научный раб<отник>, поэт-агитатор, которому устраивают вечера в Доме культуры, она работает в редакции, пишет историю завода, работает в райкоме, выезжает на фронт с делегацией возлагать венки, она — потомственная дворянка (это ей тоже очень приятно), теперь — беспартийный большевик, пользующийся полным доверием. Она награждена медалью и, может быть, получит еще одну, она много работает, много зарабатывает и может помогать матери и двум сестрам. Ей сорок лет, но она моложава, несмотря на седеющие волосы. Она нравится (людям не очень понимающим толк в этом деле), а дома у нее уют и тихая прочная привязанность. Все это она создала сама, своими руками. Она избежала дистрофии, хотя ей пришлось тогда очень трудно. Самое худшее, что с ней было, — она иногда вдруг засыпала днем, чего отродясь не делала. Моральной дистрофии она даже не понимает. Она никогда, в самые худшие времена, не понимала этого озверения, когда люди прятали кусок даже от близких. К дистрофикам у нее жалость, невольное презрение, мягкое презрение доброго человека. Реализация в чувстве превосходства. Т.Р., которая ее покинула в свое время, — теперь дистрофична, и те, ради которых ее покинули, тоже дистрофичны. И они, как полагается дистрофикам, перегрызлись между собой. Она не может удержаться от легкой брезгливости, доставляющей ей удовольствие. Приятно, что эта партия выиграна, хотя бы через много лет, хотя бы за счет этих людей, которым она, конечно, желает добра. Восторжествовала жизненная сила и прямота чувств.

Все это, прежде всего, великолепное физическое и психическое здоровье, над которым для переживания ценностей надстраивается автоконцепция (довольно провинциально оформленная).

— Может быть, это смешно. Но я в моем возрасте (цифру она все-таки избегает называть) чувствую такую полноту жизни. Как будто все впереди. И ничего не ушло. Я чувствую себя до сих пор со своими 18-ю годами, 20-ю годами. У других это проходит, а у меня наслаивается одно на другое. Столько еще всяких возможностей.

— Как же вы не боитесь. Не боитесь потерять <разве?> эту жизнь...

— Нисколько. Во-первых, жизнь — это художественное произведение, и смерть в нем необходимое завершение. Я всегда, с самого детства была готова к смерти. И потом я уверена, я знаю, что моя гибель не здесь, не теперь. Я еще проживу, погибну совсем иначе (многозначительность).

— На фронте вы не боялись? — Нисколько. Это не хвастовство. Мы, когда сели с нашими венками в машину, чтобы ехать на могилы, на самый передний край, полковник спросил — не боитесь? Мы спрашивали — А что? — Он говорит — навстречу смерти едем. Видите, пока мы обедали, какую тут гады проковыряли воронку. — А я была уверена, что ничего не случится. У меня ведь страшно развиты эти инстинкты. Помните, когда трамвай подходил, вы удивились, какое зрение. У меня и слух совершенно патологический. Я ведь троглодит. И развито это чувство опасности. Я уверена, что безошибочно знаю, когда что-нибудь может со мной случиться. Нет, я знала — моя гибель не здесь.

Все это возведение своих свойств в автоконцепцию, ценностные надстройки над биологически несомненным фактом — люди большого, жадного жизненного напора и сопротивляемости часто вовсе не боятся смерти, и наоборот.

Страх — вовсе не вывод из объективных данных об опасности или о ценности того, что может быть утрачено. Страх — это эмоция, которая может возникнуть и может не возникнуть, как может возникнуть или не возникнуть эротическая эмоция, независимо от объективных эротических качеств объекта. Чем соблазнительнее объект, тем больше шансов, что возникнет вожделение; чем опаснее ситуация, тем больше шансов, что возникнет страх, но и только. (Я не говорю о моменте, когда на человека уже обрушивается огонь и металл. Это уже не страх как предвидение, но ужас как переживание.)

У людей чувственных и жизнерадостных бывают острые вспышки не столько страха, сколько мучительного протеста, биологического возмущения.

Настоящий страх смерти — депрессирующее, расслабляющее состояние с легкостью проникает в депрессированное, отрицающее радость жизни сознание органических пессимистов, если оно не защищено послед-

ней степенью равнодушия. Страх прекрасно уживается со всеми прочими свойствами этого сознания. (Отсюда, например, страх, в который впала А<нна> А<ндреевна>⁶.)

Напротив того, настоящий, глубокий биологический оптимизм выталкивает эмоцию, которая не подходит ему, мешает ему, грозит его разрушить. Это ему не подходит. Кроме того, людям большого и жадного жизненного напора нужно много всяких вещей, в том числе вещей, добываемых только ценой опасности. Они не любят отказываться от своих вождедений.

Вот почему страстно любящие жизнь часто так легко ею рискуют и, в особенности, так умеют не думать об опасности. Над этим биологическим жизнеутверждением интеллигенты в тех не очень многочисленных случаях, когда оно им дано, надстраивают для интереса и красоты автоконцепции троглодитизма, фатализма и т.п.

Н. Паперная

Аналогичный (случайный на улице) разговор с Н.Н. Пап. Ведь, когда им хочется наслаждаться автоконцепцией, они с необычайной легкостью и нецеремонностью открывают в себе все, кроме того, что им хочется скрыть; в этом они только проговариваются. П. тоже большого напора, жадности, чувственности и сопротивляемости. Но у нее жесткая и злая хватка. У Н.К. этого нет. Она в свое время вовсе не настаивала на карьере и общественной деятельности. Тихо работала в ром<ано>-герм<анском> кабинете и украшала свою жизнь другими ценностями. Только попав в разворот военной общественности, она стала усиленно в нем реализовываться. П. же всегда была из добивающихся и дорывающихся, причем в мелких масштабах, что дает особую жесткость хватки. Она наслаждается автоконцепцией.

— Как живете?

— Великолепно. Я всегда живу лучше всех (неожиданно — смысловой — ответ на бессмысленно-формальный вопрос сразу прокладывает тему).

— Что это вы такое тяжелое тащите?

— Академический паек только что получала (за мужа).

— Вы что, в нашей столовой не обедаете больше?

— Нет. Дома.

— Оно лучше, конечно. Но возня.

— Никакой возни. У меня со всем этим возится приятельница, с которой я живу. Мое дело достать и принести; нарубить, наколоть. Вообще мужичье дело. (Наслаждается чувством превосходства над теми, кто все еще бегает по столовкам. Если бы она обедала в столовой, то наслаждалась бы превосходством над теми, кто возится дома, и говорила бы: ну, чтобы питаться дома, нужно не заниматься в жизни ничем другим. Этого я не могу себе позволить. — Насл<аждается> превосх<одством> над женщинами, неспособными к мужичьему делу.)

— А еще чего делаете?

— Пишу роман.
— О! Интересно!
— Не об осажденном Ленинграде. Не о блокаде (насл<аждает-ся> превосх<одством> над занимающимися темой, по ее мнению, уже затасканной).

— Так это не военная тема?

— Нет.

— Когда же это происходит?

— В 20-м веке. Это разложение мелкобуржуазной семьи.

— Аа! Так это нельзя будет сейчас напечатать.

— Почему?

— Потому что сию секунду возможны только военные темы.

— Нет, это однодневки. Да я сию секунду и не собираюсь печатать. Пока я еще кончу. Я пока что читала в совершенно черновом виде некоторым товарищам, и они мне сделали большой комплимент. Они сказали, что в этом есть один большой недостаток — что это не написано. Главное, времени нет. Мне бы сейчас попасть в условия подмосковного дома отдыха, чтоб никаких забот, ни о чем не думать. Так хочется писать и писать. И так легко идет. Я бы кончила в месяц. А здесь у меня очерки, и инсценировка для театра у микрофона. Страшно торопят. И все-таки эти домашние дела. Ну, это все мы так. Это не оригинально. (В этот момент она гордится тем, что «со всеми сообща» несет общественное бремя.)

— Ну, сейчас, кажется, как будто начинает брезжить конец.

— Дай бог.

— И хороший конец. Но, конечно, это, во-первых, может быть, будет не скоро; во-вторых, до этого можно не дожить, с таким же успехом.

— С таким же успехом! Например, сейчас здесь на повороте, от первого снаряда. Но на это я совершенно не реагирую. Я вообще считаю, что все мы все время не так реагировали.

— На все не реагируешься.

— Совершенно верно. Знаете, когда мне говорят, что на днях на Ф<инляндском> в<окзале> летели руки и ноги и пять вагонов в лепешку — я говорю: Что вы! — собственно по инерции. До меня это не доходит. Очевидно, мозг выработал какую-то такую заслонку. У меня погибла мать, у меня погибла дочь, но я знаю, что я это еще не поняла по-настоящему. Для себя же лично я совершенно не реагирую. Какие бы ни были тревоги, обстрелы, бомбы, — я раздеваюсь вся, обтираюсь холодной водой и сплю. Я хожу по улицам. Вот только теперь мне это мешает, потому что не пропускают. У меня разбивается день. А так мне это все равно, настолько я глубокий фаталист.

— При этом вы любите жизнь.

— Я? Обожаю! Притом я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Я не из тех людей, которые, когда у них болен ребенок, говорят, если мой ребенок выздоровеет, то я верю в бога... Я всегда все любила в жизни, не толь-

ко кататься на автомобилях. Я прожила два очень трудных года. Но я из них не отдам ни одного дня. В каждом положении есть что-то хорошее, если уметь его найти.

— Ну, если человеку оторвет руки и ноги, то уж хорошего останется мало.

— Отчего? Он еще видит, слышит. Может думать. Если ничего не останется, человек еще просто может себя ощущать. Я всегда говорила, что я бы забрала у всех самоубийц все остающееся им время.

— И эту-то жизнь вы не боитесь потерять?

— Так ведь тут я уверена, что это меня не касается. Буду ли я ближе к снаряду или дальше от снаряда, это ничего не меняет. Что я когда-нибудь умру — это я всегда знала и знаю теперь; когда именно я умру — этого я никогда не знала, и не знаю теперь. Что же изменилось...

— Конечно. Только чрезвычайно повысились шансы умереть.

— А вот это для меня не существует. Я же вам говорю — я действительно фаталистка. У меня на столе лежат шесть осколков, которые падали рядом, вот так, так и так... Но все-таки они падали рядом, а не в меня. Так какое мне дело (не было бы дела, не держала бы их на столе). Я на днях шла с композитором Б. Он мне показывает вдруг с краю тучи. Я ему говорю — ты бы лучше посмотрел, какое чудесное голубое небо. Он говорит — но тучи явно напоззуют. Я ему говорю — так вот, когда они напоззуют, тогда будешь огорчаться. Успеешь. Вот вам два характера. Моя приятельница при первой тревоге начинает с ума сходить. Начинается крик — Что ты делаешь? Отойди хоть от окна! А я читаю и даже не слышу, что происходит. Она говорит — может оторвать ногу. А я говорю — но ведь еще не оторвало, зачем же огорчаться заранее.

(Вот это оно и есть. Нежелание огорчаться. Воля к жизни, которая не хочет и не позволяет, чтобы ей мешали. А над этим надстраивается лишенная содержания формула фатализма, нужная для придания своим переживаниям многозначительности.)

— А как супруг⁷ поживает. Бывает он дома?

— Он в «На страже»⁸. Только что мы с ним вместе получали паек.

— Он что же — тоже оптимист или, как все юмористы, — меланхолик?

— Он? Он оголтелый оптимист и лирик, только он это скрывает.

И любопытно, что при всей провинциальности мышления все-таки меньше всего они говорят на старую классическую индивидуалистическую тему о нестерпимой несправедливости самого факта смерти.

А.О.⁹

Усиленная реализация в условиях тыла характерна сейчас для женщин, которые все ощущают себя превышающими исконную предназначенность женщины. Мужчины — в др<угом> положении. Штатский мужчина, если он годеи и призывного возраста, — в большей или меньшей степени

травмирован, чем бы он себя ни утешал — цинизмом или высокими сообщениями о своей нужности в тылу, — все равно ему не уйти от чувства неполноценности. Начинаются надрывы, усиленные поиски оправдательных понятий. Помогает преодолению неполноценности либо исключительное самодовольство (вроде тимофеевского¹⁰), либо весьма ответственная, командная работа, власть.

Вне этого они не обязательно надрываются, но уж тогда ведут себя тихо и избегают обнародования своих концепций. Предпочитают проходить незамеченными. Это чем дальше, тем становится явственнее (этого совсем не было в В-ом<?>), и эта их стесненность (по крайней мере интеллигент>ов) — свидетельство роста общей воли. К таким незаметно ступающим в высшей степени принадлежит Ар.

Бывают не только Вторые рождения и Воскресения¹¹, бывают вторые и повторные смерти. Ар. — человек по крайней мере трех духовных смертей, и ему не подняться. Он начал с того, что в 20-х годах был декадентом, маленьким бытовым декадентом. Тогда это еще было можно, и еще продолжалась инерция русского модернизма. Это была первая духовная смерть. Он человек истерический, слабовольный, с тягой к наслаждению, вероятно, с какими-то сексуальными комплексами, со способностями, достаточно сильными для того, чтобы раздражать чувства и вожеления, и недостаточно сильными для того, чтобы послужить определяющим началом поведения. Он из людей с сильно развитыми жизненными вожелениями, но без активности, без волевой сосредоточенности; такие ищут пассивных наслаждений и в особенности раздражений — они любят азартную игру, они любят часами лежать на пляже, они любят быструю езду и стихи с ритмическими переборами.

Все это вместе взятое давало достаточный материал для декадентской автоконцепции с надрывом, с опустошенностью, с легким цинизмом. Он писал стихи и какие-то фрагментарные дневники и поддерживал запутанные отношения с женщинами.

Прошло соответствующее количество лет и оказалось, что все это решительно не влезает в установившуюся к 30-м годам действительность. Надо было устраиваться иначе. Прежде всего, внешне устраиваться. С его уровнем способностей и знаний он мог бы не хуже — лучше — многих литераторствовать. Но сложилось так, что его занесло на чиновничью должность в издательство. Он много лет проработал в организации с несомненным культурным значением, но такой, что культурное осуществлялось там вопреки аппарату. Аппарат же был грязным, склочным, жестко борющимся за существование. Он пошел на все условия, предъявленные ситуацией, вывалился, где только можно, его захватили разные руки. Культурное начало в своей работе он любил про себя (оно доставляло ему личное удовольствие), но, где нужно, поступался им с легкостью. Декадентский демонизм переформировался в цинизм и осознанную беспринципность. Утешался автоконцепцией неудачника, матерого халтурщика, зарывшего свой талант (эти маленькие та-

ланты очень легко зарываются, оставляя на поверхности предлог для надрывно-истерической автоконцепции); утешался оправдательным понятием ситуации (иначе не проживешь!). Для этого эгоистического, пустого, со сломленной реализацией сознания — мир, действительность, в которой оно действует, — чужда и враждебна (страшный мир). Оно соглашается уступать страшному миру и действовать по его злобным законам, но для себя — если имеет какие-то данные — выгораживает собственный малый мир. Равнодушные и лишённые интенсивных вожделений, те позволяют себя опустошить до конца. Но Ар. человек разнообразных вожделений, и из удовлетворяемых вожделений он выкроил собственный малый мир — мир наслаждения от покупки книг, от стихов, от эротики, от летнего отдыха (проводимого с упоением), от вкусной еды (этим он очень интересовался).

Потом пришло третье опустошение — дистрофия. Он проделал ее в сильнейшей степени. И вплотную познал все, что познавали дистрофики, — ожидание смерти, смертельное равнодушие, смертельный эгоизм. Теперь он полуоправился. Он ступает незаметно, потому что он неполноценный. Он еще неполноценен физически и он не избавился от жадного отношения к еде, от которого избавилось уже большинство людей его окружения. В пис<ательской> столовой знакомые предлагают ему свои шроты¹², и он принимает, хотя знает, что при этом они испытывают невольное и идиотское ощущение превосходства. Он неполноценен, потому что он невоющий мужчина и притом не только не на командной должности, но в этом смысле сильно деградировал по сравнению с мирным временем. Он сидит на очень небольшой и очень подначальной должности и сидит именно для этого. Он сугубый интеллигент и сугубый истерик и потому он и сейчас, несомненно, имеет свою надрывную автоконцепцию (неудачник, сломленный и т.д.), которая позволяет ему и сейчас числить себя среди избранных, наделенных внутренней жизнью, имеющих «психологию». Но эту автоконцепцию приходится теперь старательно прятать. Прятать из самолюбия (надрыв у него не дошел до юродства открытого самоуничтожения) и прятать из соображений практических, социального положения. В наше время кричать о том, что она погибшая душа, может позволить себе девушка вроде Гали, но не 45-летний мужчина, отец семейства. Автоконцепция спрятана, в разговоре его почти никаких следов психологического самоутверждения и самовыявления. Между тем это человек разговорчивый, слабый, боящийся одиночества, с большой потребностью в самообъективации. И вот объективация душевной жизни заменяется обильными информацией из области собственного малого мира, который он сейчас, оправляясь, начинает понемногу восстанавливать. Он много говорит о себе, с немужскими подробностями — о каких-то воспоминаниях детства, о хозяйственных мероприятиях, о карточках и столовой. Но особенно настойчиво о всяких своих пристрастиях и особых вкусах. Спрятав основные черты автоконцепции, обезличившись, он компенсирует себя неким суррогатным комплексом особенностей, индивидуальных вкусов, даже причуд.

Он тщательно культивирует какие-то боковые и вторичные свои пристрастия и свойства, которые дают ему иллюзию особенности. И жадно спешит их объективировать в разговоре. Это его технические способности, умение все делать руками (психологически интересно как парадоксальная необычная черта в гуманитаре), его запасливость, переходящая в бытовое коллекционерство, его способность привязываться к бытовым вещам до невозможности без них обойтись. Его азартность (приоткрываются затаенные страсти) и, конечно, его книжничество, которым он гордится как выходом в высшее и бескорыстное среди цинического бытия. И в самом деле, он — дистрофик — покупал книги в ущерб покупкам еды. О своих книгах, бытовом коллекционерстве, привязанности к вещам он говорит как о маниях. Ему нужна эта маниакальность как признак особенности, некоторой, хоть маленькой, избранности (чужачество), как эрзац утаенной автоконцепции и глухой намек на загнанную в глубину «психологию».

Намек действительно очень глух. Он очень много — не по-мужски много, это делают глупые мужчины, а он, скорее, — умный — рассказывает о себе, своих интересах и обстоятельствах. Но нужно знать его много лет и в прошлом, чтобы догадаться, что за этим есть еще подводная психология.

Разговор с этим человеком о будущем. У него, конечно, наилучшие общегражданские пожелания, но кровно интересуется его другое. Две подводные темы: вождение хорошей жизни, которая и раньше давалась слабо, с большой натугой, потом рухнула, а теперь годы проходят, того и гляди старость, удастся ли еще что-нибудь урвать. Вторая тема — травма участвующего человека.

— Как вы это все себе представляете?

От<тер>¹³ при этом подразумевает то, что его занимает, — проблемы гражданского самосознания, морального становления. Но тот отвечает совсем не в морально-политическом плане.

— Не думаю, чтобы что-нибудь существенно для нас изменилось. С работой будет трудно. Впрочем, вероятно, определится разница между хорошей и плохой работой, жесткая качественная дифференциация (американизм), чего в общем не было. (Оттер про себя удивляется обдуманной практической постановке этой проблемы, которая ему не приходила в голову. Этот человек думает не о будущих формах самосознания, но думает — и с толком — о том, как он будет жить, как ему выйти из того социально-пониженного положения, в котором он очутился.)

Но жизненные наслаждения будут долго еще трудно достижимы, а к ним будет огромная тяга (это обобщение исторического опыта, но главным образом ему хочется, чтобы его вождения были всеобщими вождениями, следовательно, социально узаконенными — не ниже нормы). И вообще все всё захотят забыть. О мертвых будут вспоминать официально, но на самом деле все как можно скорее постараются завести себе все новое — привязанности, семьи, друзей, интересы (психологическое обобщение,

порожденное муч<ительным?> желанием отдыха и хорошей жизни. Проекция своих желаний на всеобщее поведение, оправдывающая эти желания).

Оттеру все-таки хочется знать, как Ар. будет реагировать на разговор о растущем гражданском самосознании и накоплении социальных ценностей. Он завязывает эту тему.

Ар. (невнимательно слушая): Конечно. Это безусловно. Но интересно, какое количество воюющих сейчас мужчин и женщин — вернется? Это будет самый интересный человеческий материал. С психологией во многом испорченной, нарциссической; и все-таки самый ценный, прошедший отбор.

К этому он в ходе разговора возвращается упорно, несколько раз. Видно, что это его лично и практически волнует. Это вторая подводная тема. Это страх человека, физически трусливого, который может попасть <на фронт>, над которым это висит, и он с простодушием испуга, ищущего облегчения, хочет услышать от собеседника, что тот думает о возможных шансах возвращения. Он знает, что, скорее всего, не услышит ничего успокоительного. Но все равно аффект страха ищет разрядки в словах, хотя бы самых косвенных и замаскированных, — ведь признаться нельзя. И в то же время это страх человека, который может не попасть — и хочет не попасть — и боится этих людей, которые вернутся хозяевами и за то, что они видели смерть, захотят как можно больше жизни и оттеснят других, неучаствовавших. Он видит их именно с этой стороны. С такими же, как у него, вождениями, но с гораздо большими возможностями и правом реализации. В этой теме есть эмоциональная взволнованность, но есть и вполне практический подход, удивляющий Оттера, — это проблема конкретного распределения работы и наслаждений. Это конкретность человека, который уже много и унижительно добивался хорошей жизни, все потерял, и теперь практически думает над возможностями восстановления.

<РАЗГОВОР У ЗУБНОГО ВРАЧА>

Сижу. Входит Мирошн<иченко>.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. (Чисто ритуальные реплики.)

Практич<еская реплика>: Вы на который час?

— Я на десять. Не вышло у меня. Теперь хочу узнать (боится, что перебьет очередь).

М.: Погода сегодня какая прекрасная...

(Очевидно, несмотря на свою хамоватость, М. принадлежит к числу людей, стесняющихся молчать в таких случаях. Хотя мог бы и помолчать с почти незнакомым человеком. Бессознательно прибегает к классическому зачину.)

— Да, только холодно все-таки. Резкий ветер.

— На солнце все-таки тает. Зима теплая какая была.

— Да зимы почти не было. Немного в феврале морозы.

(Имманентное движение разговора. Собес<едники> довольны, что есть возможность его продвигать.) (Возможность очень скоро иссякает. Соб<еседник> ищет перехода. Военная природа иер<архии?> наводит на возможность перехода от погоды (вечная тема) ко всеобщей теме момента. Посредствующим звеном служит личная тема собеседника. — Это акт вежливости в говорении соб<еседнику> приятного (той же вековечной импульс разговора, как и говорение неприятного); и приятная уверенность в том, что поск<ольку> задета личная тема соб<еседника>, то движение разговора на некоторое время обеспечено.)

— О неблагоприятном> воздействии теплой зимы на операции.

— Подтверждает, было бы гораздо эффективнее; то же на юге (с удов<ольствием> поддерживает тему как принадлежащую к сфере его реализации и дающую ему возможность авторитетно высказываться).

— Здесь подзадержалось (ассоциативное продолжение возможной темы, но с простиупающим личным желанием узнать. Эмоциональная подоплека — страх, желание его рассеять).

— Нельзя же все время (Ил<люстрация>). — Такого же порядка, как и предыдущий, вопрос о ф<ронте>. — Ответ. (На этом отрезке разговора у собес<едника> личный момент самоут<ерждения> состоит еще в том, что он, такой как есть, беседует наравне на полит<ическо>-патр<иотическую> тему, как одинакомыслящие, с М., парт<ийным> <...>*, в свое время <...>**, ныне <...>*** и т.д. и т.д. холуйские удовольствия.)

(Движение приостанавливается. Очень много об этом расспрашивать неудобно. Соб<еседник> ищет переход. И так же, как с погодой, подворачивается классическая формула перехода — общие знакомые. В данном случае это общие знакомые с почти незнакомым человеком, то есть взятые просто по признаку принадлежности к той же организации. Следовательно, выступают их общие признаки, признаки ситуационные. Это ленинградская ситуация, проблема возвращающихся. В фактическом замечании собеседника уже заранее подразумевается ленинградское осуждение возвращенцев и чувство злорадного превосходства над их ухищрениями в виде командировок и проч. Известно (по публ<ичным> выступлениям), что эта тема волнует М., следов<ательно> он должен клюнуть и повести дальше. Опять холуйское удовольствие от того, что этот политически подразумеваемый окрашенный разговор ведем «мы с М.», мы л<енинград>цы.)

— Здесь сейчас в командировке масса народу — К<аверин>, О., Г<ерман>, Ф<един>¹⁴ (клюнуло).

— Да, К. прилет<ел>, уех<ал>. Неизв<естно>, что делает. Вообще трус (прямое осуждение). Герм<ан>, тот хоть в Сев<ерном> Фл<оте> работает, все-таки кое-что сделал (снисходит<ельное> одобрение с сознанием превосходства). В общем, все они оторвались (ср. публичное выступление на пленуме)¹⁵.

* [Одно слово зачеркнуто.]

** [Три слова нрзб.]

*** [Нрзб.]

Соб<еседник>: (подогревая тему, льстящую ему, «мы л<енинград>цы») наводит на Фед<ина>.

М.: Ведь он ничего за три года не сделал (та же иер<архия>).

— Ну, на него не похоже, чтобы он лично испугался (дальнейшее проталкивание темы. Самоутв<ерждение> в том, что в разговоре «мы с М.» он может оценивать храбрость, притом признанного человека.)

М.: Нет, не то, что лично испугался. Но растерянность. Оторвался. Неужели он за три года не нашел, что сказать о войне. Он тут проездился по ж<елезным> дорогам. Был на заводе. Потом пошел в Мар<инский> театр. Там ремонт. Написал, что там остался какой-то последний резчик или позолотчик, который исправляет плафон. Все это очень хорошо, но ведь он только это увидел (оторвавшаяся интеллигенция).

— А так ничего другого и нельзя увидеть. Я вообще не верю в эти гастроли. Знаменитое собрание материала. Чтобы понять что-нибудь, надо быть, работать в этом месте. Если человек приедет на завод, на корабль, на фронт даже — что он может увидеть?

— Ничего.

— Если вы что-нибудь узнали, то потому что все время с этими летчиками¹⁶.

— Я даже и по разным частям отказался ездить. Я уж этих людей так знаю, какие они. Какие у них где дети есть.

— Точно так же, чтобы понять, что делалось в Ленинграде, надо было тут жить...

— Конечно...

(Соб<еседник> — высказывает свои всамделишные мысли в самой неподходящей, казалось бы, ситуации, во-первых, потому, что активация их всегда соблазнительна. Во-вторых, потому, что они получают здесь дополнит<ельную> направленность. Опять хол<уйское> удов<ольствие> от свободного (либер<ализма>) и вместе с тем глубоко сов<етского> разгов<ора> «мы с М<ирошниченко>». Прямое говорение приятного соб<еседнику> (само как-то слетает с языка, сразу делается стыдно). Наконец, все это подводится к прямому самоутверждению. «Точно так же, чтобы понять, что делалось в Л<енинграде>...». Во всем этом есть и некоторая смутная практическая целеустремленность — полезно утвердиться в глазах этого человека.

Ситуация разговора благоприятствует вечным общим формулам зачина и перехода, дающим возможность продвижения разговора. Но групповая ситуация дает им специфическое содержание и поворот. Так формула погоды тотчас же заполняется содержанием войны. Формула общих знаковых — л<енинград>ских — содержанием проблемы возвращения.)

Приходит Чет<вериков>. Они разговаривают между собой. Мгновенный переход на ту же тему.

Ч.: Кав<ерин>а видел?

— Нет.

— Он тут в команд<ировке>, которую он всю провел в своей квартире.

— *

— Встретил я Дусю Сл<онимскую>. Я ей говорю к слову — вы теперь москвичка. Она обиделась — какая я м<оскви>чка, я эвакуированная. Мне-то что — я ведь не управхоз. Понимаешь, она боится. Один скажет — москвичка, другой скажет. А потом ее не пропишут. Но я-то — не управхоз.

РАЗГОВОРЫ О<ЛЫГИ> Б<ЕРГГОЛЬЦ> И МАК<ОГОНЕНКО>

По поводу того, что надо ликвидировать дистрофические мотивы.

— Это мелкие люди, которые уже все забыли. Они уже все простили немцам. Сию минуту надо писать о другом. Но к этому еще нужно вернуться. Я всю жизнь буду к этому возвращаться (превосходство глубины).

По поводу написанного вместе с М<акогоненко> сценария о Лен<ин>гр<аде>, который они возили в Москву и с которым затруднения по тем же причинам¹⁷.

— Он мне сказал, у вас все-таки слишком много внимания уделено продовольственным трудностям. Я ему сказала, видите, я живу сейчас в гост<инице> «Москва» и не могу достать зубной порошок, и меня каждый день кормят омлетом из яичного порошка... Вот это я называю продовольственными трудностями. А в Лен<ин>гр<аде> продовольственных трудностей не было, а была огромная трагедия. И это надо понимать.

О московском сценарии на тему Ленинграда, который, конечно, прошел без сучка и задоринки. Это сплошь розовая вода. Принцип там такой: если случится что-нибудь печальное — совсем без этого нельзя, — то тут же немедленно происходит что-нибудь радостное. Например, у девочки умирает мать. Но в эту самую минуту появляется какая-то добрая посланница и приносит ей булку и сгущенное молоко. И девочка ест.

(Это прекрасный образец чересчур короткого расстояния между отрицанием и утверждением в первой инстанции¹⁸. Отрицательная система причинила девочке зло, но положительная система немедленно творит ей добро.)

Говоря это — и предыдущее, — она все время интенсивно переживает превосходство своей глубины, душевного благородства, способности мыслить — над бездумными, лакирующими, все забывающими.

— Я получила письмо с фронта, которое страшно поразило меня и взволновало. Пишет младший командир. Он должен был читать мою поэму на вечере самодеятельности. И начальство ему запретило. Сказали, что эта вещь запрещена. Он пишет — мне это было обидно до слез. Я ведь знаю, как на эту вещь реагируют на фронте.

* [Реплика пропущена.]

К<е>т<линская> противопоставляет ущемляющим ее бюрократам благожелательные сферы. О<льга> — только отчасти сферы (в последнее время все меньше, так как в сферах у нее неблагополучно), но главным образом — народ. Народ — высший судия.

По отношению к товарищам по профессии — тон холодного признания или презрения.

— Даже среди этих совершенно запуганных исподхалимничившихся людей кто-то нашелся, кто сказал... До чего дошло...

По отношению к некоторым (редчайший случай) — тон приподнятый, взволнованный, многозначительный. Это та сфера высокого, подлинного искусства, к которой она принадлежит. Для того чтобы принадлежать, нужно, чтобы эта сфера существовала. Лучше, чтобы это были не стихи, а что-нибудь более отдаленное. Так, о сценарии Довженко (кстати, и человек со стороны) с приподнятой многозначительностью:

— Это так здорово. Так страшно. С какой-то символикой, как он умеет. Эти древние мужчины. Вдруг это понятие греха, которое вводится... Здорово.

РАЗГОВОР У НИХ ВЧЕТВЕРОМ **(ОНИ, КАТЯ М<АЛКИНА>, Я)**

О Симонове

К.М. повторяет опять свое открытие, которым она гордится, — последний сборничек С<имонова> — пошлость (тем хуже, что он талантлив). Они соглашаются. — Это даже какое-то уподобничество, — говорит М<а>к<огоненко>. — Он имеет успех у читателей — и имеет основания для успеха — но, кроме того, он имеет успех у писателей, потому что он считается смелым писателем, он имеет смелость сказать...

К.М.: Но ведь это псевдосмелость. Поза откровенности. Об этом нужно сказать. (Интересное свидетельство о том, что писатели упорно стремятся сказать немножко правды, и проблема «смелости» для них сейчас самая актуальная.)

Каждый мыслит себе «смелость» по той линии, по которой ему есть что сказать и хочется сказать, и борется за эту свою линию. Для К<е>т<линской> смелость написать на заграничный манер о том, как она с мужем ела помидоры (старый буржуазный соблазн обнародования своего интимного быта)¹⁹, для Мк. смелость — рассуждать об общих вопросах, с тем, чтобы прийти к заранее предreshенным выводам, но прийти через умные рассуждения.

Для Сим<онова> — смелость в том, чтобы писать грустные стихи. У него мысли совершенно не направлены на общие предметы; они направлены на анализ собственных душевных состояний. В плане общем для него существуют некие, скорее эмоциональные, комплексы — родины, войны, которые он искренне воспекает, но детализировать и дифференцировать

которые не чувствует потребности. Детализировать ему хочется свою душевную жизнь. Он меланхолик и человек острого самоощущения, и ему всегда хотелось написать об этом. За своими скучными и холодными поэмами он и протаскивал ту психологическую лирику, которая единственно его интересовала. И он гордился этим (каждый из них гордится какой-нибудь своей смелостью и свободой). Он говорил мне с наивной гордостью: Вот видите, я написал совсем грустные стихи...

В условиях абсолютной несвободы очень трудно и очень легко быть смелым. Ибо все есть смелость, каждое неотрегулированное дыхание есть смелость.

Осуществлять психологическую лирику приходилось приглушенно, вполголоса, и как бы случайно, между другими героическими делами. В противном случае могло бы обнаружиться, что он не то что пишет иногда грустные стихи, но что он вообще грустный поэт, и тогда бы его быстро прикрыли. А ведь ему хотелось *в то же время* преуспевать, и он уже привык преуспевать.

Война изменила соотношение. Ибо в пределах первой же инстанции нашлась возможность утверждения и диалектического снятия «грусти». Следовательно, оказалось возможным ее развернуть, сделать сюжетным стержнем. Ему хотелось дать не абстрактную, а *свою* любовную психику, и теперь под психику этого любовника (чувственность и грубость, нежность и самозабвение, мнительность, ревность) удалось подвести оправдательную мотивировку. Это психика солдата, человека, который сражается; человек, который отдает жизнь за родину, имеет право быть торопливым, грубым, недоверчивым — это правда об этом человеке, и не надо его заливать, потому что он героичен.

Здесь процесс несколько более сложный и скрытый, но совершенно аналогичный тому, в результате которого образовались стандарты ворчливых мастеров с 35-летним стажем, озорных школьников, несговорчивых ответственных работников и т.п. Отрицательное оказывается функцией или оборотной стороной — положительного, которое непременно подразумевается. То же и с героиней. Героиня, собственно, демоническая женщина, вамп. В мирной обстановке появление подобной героини в советской лирике вызвало бы недоумение, скандал. Но она сразу вводится в военной обстановке как благословляющая героя на брань. И то, что благословляет такая женщина, а не честная комсомолка, это задумано как особенно сильный эффект. Но в сущности, это тот же сюжет, что в стандартной истории о девушке, которая любила туфли и танцы, а потом оказалась замечательной боевой подругой, потому что она — настоящая *советская* женщина. Война дает надрывной любви героя прочность и силу. Хотя он надрывный интеллигент, а она демоничка, но, в конечном счете, оба они хорошие (дети родины), ибо оба принадлежат к хорошей системе.

Где же располагается смелость? — Смелость располагается на относительно расширенном пространстве до границы утверждения (отодвинутой). Смелость наших писателей это — в разных степенях — всегда одно

и то же: подразумеваемое несовпадение с неким заданным стопроцентным образ<ом>. В абсолютной, так сказать, идиотской форме этот образ проникает только в самую уж бесталанную, отпетую литературу, но он неизменно присутствует как предел и как мерило. Любое отклонение от него дает писателю переживание свободы и смелости. Это переживание испытывает поэт, когда пишет «по-женски заплачет навзрыд»²⁰, потому что подразумеваемый стопроцентный образ женщины в таких случаях говорит: «муж мой погиб, но дело его живет» (ср. знаменитые письма родственников²¹). На этом дифференциальном подразумевании держится весь симоновский цикл «С тобой и без тебя»²². Вместо постулируемого стопроцентного героя с крепкой семейной любовью — любовник беспокойный, чувственный, мнительный. Но это потому, что он возводится на высшую ступень утверждения; это потому, что он настоящий мужчина с горячей кровью (ср. ребята — озорники, потому что они настоящие ребята), и потому, что война держит его в состоянии высшего душевного напряжения. Искусство, конечно, всегда любило эти подразумеваемые отступления; всегда любило дать читателю не то, что он ожидает (достаточно сказать — какое значение это имеет у Толстого), но вряд ли это когда-либо бывало так прямолинейно. Так получается непрерывная оглядка на предельный образ и кокетство его нарушением. Игнорировать этот образ как *не действительный* никому из них не приходит в голову, ибо игнорирование его грозит уже настоящей внутренней свободой, которая равносильна невозможности печататься. Но эту кокетливую оглядку они превосходно чувствуют друг в друге, и друг в друге она их раздражает. Это то, что они называют позой и псевдосмелостью. В особенности они обрушиваются на ту игру со стандартом, в которой они лично не заинтересованы, и разглядеть которую им поэтому ничто не мешает. Так Мак<огоненко>, он сам называет себя просветителем, интересуется размышлениями и не интересуется психологической лирикой, поэтому он видит псевдосмелость симоновского героя. Не сомневаюсь в том, что умный человек Симонов со своей стороны прекрасно понимает псевдосмелость размышлений с заранее предерженным выводом.

РАЗГОВОР Б<ЕРГГОЛЬЦ> — **М<АКОГОНЕНКО> О «СБОРНИКЕ»**

М.: Конечно, могут быть статьи исторические, перекликающиеся с актуальным, но в основном должны быть поставлены проблемы современной литературы, современной жизни. Я, например, недавно для одного обзора прочитал 15 пьес. Это страшное дело, товарищи. Это пишут люди, которые не отдают себе отчета в значении происходящих событий. Об этом надо заговорить, потому что иначе у нас скоро будет 60 таких пьес и так далее. В Москве несколько человек понимает значение, понимает Горбатов, Вадим Кожевников, Сурков отчасти...

Б.: Я, например, это так понимаю. Это должна быть публицистика, поднимающая большие вопросы. Каждая статья это собственное произведение, а литература — только материал, и не то, что иллюстративный, а как бы повод. Например, литературовед Екатерина М<алкина> пишет на какую-то тему собственное произведение, только отталкиваясь от литературных произведений.

Они не понимают (их не устраивает понять это), что нет стиля как системы выражения миропонимания — его, кстати, нигде, во всем мире нет, — что поэтому не может быть проблематики искусства. Когда есть стиль, то остроу в этом смысле может представлять даже третьестепенная литература. Когда нет стиля, то нужно, чтобы люди либо агитировали и в этом смысле знали свое место, либо рассказывали о жизни и размышляли о том, что они видят. Но тогда размышляли непредрешенно.

Существуют разные ступени понимания. На той ступени, на которой стоит От<тер> и его круг, — недействительной представляется вся литература, пригодная для печ<ати>, то есть вся литература с обязательным снятием каждого противоречия в первой инстанции.

Люди типа Б. — М. не стоят на этой ступени не потому, что для этого у них не хватает понимания, но потому, что у них другая жизненная практика (печатающихся), и они ограничивают свое понимание. Они стоят на другой ступени, с которой недействительно только то, что делают, скажем, Решетов, Саянов и др<угие>, у которых дистанция между утверждением и отрицанием почти равна нулю.

Проект М. написать статью о бессмертии.

Их сценарий. В вышеописанных пределах — произведение даровитое. Оно приемлемо именно потому, что, будучи произведением словесным, в то же время ориентировано на искусство, по самому существу своему требующее примитива и мелодраматичности.

Оно — характернейший случай утверждения в первой инстанции с раздвинутой дистанцией. Тут двоякое подразумевание. Подразумевание стандартное: суровые лица и отрывистые слова старых рабочих и их жен, грубовато-ласковый (якобы в противовес сюсюканью) разговор комсомолки с сиротевшим мальчуганом, чудачества профессора и пр. И подразумевания полемические (отступления от стопроцентного образа): порывы малодушия, или дистрофич<еского> эгоизма, ужасы, ожесточение. Все это заблуждение, которое тут же так или иначе ликвидируется. Есть и специальный дистанционный герой — комсомолец — эгоист, который под конец отказывается от своего эгоизма.

Есть ли это все психологическая и моральная неправда? — нет. В чем же правда и в чем неправда? Что жить не для себя — это лучшее и высшее состояние, нежели жить для себя, — это безусловная правда. Что под воздействием известных ситуаций и впечатлений люди прозревают это, и в них совершается моральный поворот — это тоже правда, и очень важная правда. Неправда <...>*

* [Окончание фрагмента утрачено.]

ЗАСЕДАНИЕ НА ИСХОДЕ ВОЙНЫ²³

Общие соображения: они находятся в самом фальшивом из возможных положений. Как отдельные и частные люди они участвуют в процессе становления общей воли. Но как профессионалы они находятся в самом ложном положении. Они должны изображать несуществующее. Несмотря на становление общей воли, все продолжает совершаться казенным и бюрократическим порядком. При всех ее недостатках, это выработанная форма, которую не момент сейчас пересматривать, да и неизвестно, будет ли она пересматриваться в сколько-нибудь ближайшем будущем. В этих пределах они работают, надо сказать, очень несовершенно, на низком уровне профессиональной квалификации, но кое-как работают. В качестве организованной бригады агитаторов в беллетристической форме, выполняющих задания, — они могли бы нормально функционировать без всякой фальши. Но они должны и им хочется изображать искусство, а тут начинается полный сумбур. (В технике, военном деле и пр. от человека нужно, чтобы он давал свой макс<имум>, в идеол<огических> областях — нет. Отсюда вся путаница и вся ложность оценок.) В этом месте совпадение осуществилось в меньшей мере, чем в других местах, и потому продолжается все старое. Недействительная фразеология и за ней разгул личных интересов, соображений и самолюбий. Адское самолюбие, свойственное людям, имеющим непосредственно дело с оценивающей их аудиторией.

Момент опасности; по кр<айней> мере в том объеме, в котором она налицо и ничего не меняет. Это уже освоенный принцип, условие существования. (Люди не брезгливы.) Текущая действительность до некоторой степени подновляет фразеологический материал. Давайте вести разговор начистоту. Неужели сейчас, когда над нами рвутся снаряды, мы будем говорить друг другу комплименты. Это, скажем, вместо: сейчас, когда вокруг нас строится социалистическое общество, и т.п. Но когда дело доходит до самолюбий, то героич<еская> фразеология отступает и идет по старинке прямо склочный разговор. Всем это кажется, может быть, надоевшим, но естественным.

Общие предпосылки выступлений. 1. Необходимость (ведомственная) создать видимость принципиального и творческого разговора при полном отсутствии интереса к существу дела, потому что и интересоваться-то нечем.

2. Выкраивание новых идеологич<еских> формул (Крит<ика> с т<очки> зр<ения> проф<ессионального> мастерства) (старые еще иногда сосуществуют в виде реликтов), которые, конечно, стали уже средством заушения и поддержания. Механизм в действии; он пока не изменился, изменилось отчасти содержание, и потом он стал в большей мере исторически действительным.

3. Требование большого искусства, достойного эпохи, народа и его традиций. Требование явно директивное и необходимо связанное

с признанием, что существующая литература — дрянь. Так как ни о каких причинах отсутствия большого искусства не говорится, то получается, что большое искусство не выходит по нерадивости и что отсутствие большого искусства необходимо как можно скорее изжить.

4. Сведение ведомственных счетов и «выяснение отношений» между департаментами (редакции, смежные организации и т.п.).

5. Личные темы, обычно маскируемые той или иной общезначимой формой.

А снаряды действительно рвутся над головой. И с слепного потолка на головы собравшихся тонкими чешуйками падает штукатурка, потому что на днях осколки пробили крышу.

Об этом упоминалось в речах. — Мы на фронте. — Л <енинградский> писатель может сказать: осколки издают в окрестностях моего письменного стола. Это дает лирическую взволнованность и повышает ощущение автоценности и ценности данного коллектива. Кроме того, это сильнейшее оправдательное понятие — для очень многого, в первую очередь, для уклонения от фронта*.

<Вишневский:> <...> формула. Это его если и удивило слегка, то ничуть не смутило, но он чувствует потребность прибавить что-нибудь из нового набора; для эффективности. И он прибавляет — К тому же русской душе свойственна всеобъемлемость (ссылка на Достоевского), которая не допускает национальной исключительности, неуважения к другим национальностям. Он забывает о том, что самому Достоевскому это неуважение было в достаточной мере свойственно. Но в данный момент ему важно приобщить всеобъемлемость Достоевского к официальным установкам, в которые это неуважение пока что не входит.

Вообще от времени до времени наблюдается проскакивание реликтовых формулировок. Одна только что была отмечена. Другая — речь идет о талантах р<усских> п<исателей>. Маркс, который первоначально был очень предубежден против всего русского, впоследствии отдумался и с величайшим уважением и интересом отнесся к фактам русской истории. Это неожиданное применение реликтового авторитета. Оратор пользуется всевозможными способами воздействия на слушателей.

2-е положение. Великой стране нужна великая культура. Развитие официальной установки о том, что литература отстает. Восстановление абсолютной авторитетности не только Толстого, но и Достоевского, как грандиозных факторов мирового воздействия и утверждения русского духа. Великие традиции русской литературы. При этом это была литература как раз такая, как надо, и как следствие принципа — оптимистическая. К сведению присутствующих рецепт для создания великой лит<ературы> на будущее. Она должна отвечать, как всегда отвечала великая русская литература, на все вопросы, которые ставят философия, религия, мораль. Ибо люди нашей страны, прошедшие великие испыта-

* [Пропуск в рукописи.]

ния, ждут и требуют от нее ответов на все великие жизненные вопросы. При упоминании о религии и т.п. — то же удовольствие от собств<енной> широты и свободы, как при упоминании о Достоевском. Ибо это только что были или запретные, или полузапретные ценности. И хотя они уже стали ценностями дозволенными и даже директивными или полудирективными, и только поэтому он здесь о них говорит, но в них еще сохраняется иллюзорный привкус свободы, независимости, и их приятно упоминать.

Итак, извольте ставить вопросы, чтобы было как в лучших культурах и чтобы продолжалась традиция в<еликой> р<усской> лит<ературы>, но попробуйте только ответить на эти вопросы иначе, чем вам приказано. Несмотря на видимую нелепость этого, охотников ставить вопросы при заранее известном ответе найдется гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. И это не худшие люди; это те, у которых есть умственные способности и, следовательно, непреодолимая потребность их упражнять. Это линия Берггольц — Макогоненко и др. Они хотят путем умственных упражнений прийти к тому самому, к чему и без того приказано прийти, и что, следовательно, вовсе не требует этих упражнений. Но они хотят наслаждаться процессом и гордиться собств<енной> интеллектуальностью. Они не понимают необходимости выбора между мыслью и отсутствием мысли. Не понимают того, что безнаказанно украшаться идеями могут только пошляки. Весь вопрос в том, насколько пошлость в них преобладает; это вопрос их душевного благополучия.

3-е положение. Ленинград борется, надо решительно покончить с минором и дистрофическими травмами. Это директива, но в которой он реализует собственную автоконцепцию сильного человека, побеждающего. О.Б., например, напротив того, в «миноре и травмах» реализует собственные душевные глубины.

4-е. Проблема послевоенной расстановки сил и распределения благ. С ходом событий она все больше назревает. Она не только пугает слабых, но занимает сильных, хозяйничающих в жизни. Вишневский декларирует права храбрых и сильных. Угрозы по адресу уклоняющихся, в частности, уехавших. — Когда-нибудь мы еще соберемся и спросим каждого — а что ты сделал за это время? Это будет большой разговор. И тот, кто ничего не сделал, изволь уступить место тому, кто стоял на посту и боролся. Это входит во всю развиваемую им систему, но, кроме того, это и личное заявление человека, увешанного восемью орденами, получающего адмиральский паек и проч. Это заявление о том, что он по-хозяйски расположился в жизни и впредь предполагает располагаться со все возрастающей уверенностью.

Решетов

Многолетнее состояние уязвленности (не удавалось выйти в ведущие) в сочетании с органическим хамством. Благодаря жень-те на крупной литбюрократке²⁴ очутился в своеобразном, но (неофициальном) положении, в силу которого может любому сделать пакость.

С удовольствием пользуется этим положением, считая при этом, что он наводит порядок. Многолетняя поза — добра-молодца, благородного скандалиста, готового хоть в драку и всем режущего правду в лицо. Прежде это было с комсомольским оттенком, теперь с ист<ово?> русским. В нем, так же как и в В<ишневском>, происходит наглядный процесс развязывания инстинктов. Никакая кл<ассовая> б<орьба> не могла дать этой органической потребности в заушательстве такие смачные формы, какие ей дает патр<иотизм>, р<ас>овость и т.п. Здесь открываются просто безграничные возможности для компенсации собств<енной> неполноценности.

В<ера> И<нбер> поступила с ним неосторожно²⁵. Она отнеслась к нему как к молодому человеку, который будет почтительно прислушиваться к голосу зрелого мастера. Она ласково сказала, что напрасно он боится быть лириком, и зачислила его в категорию однообразно твердящих «бей», что уже перестало быть эффективным. Словом, она неосторожно наступила на это патологическое самолюбие, которое все равно взвьется, что бы ни сказали о его носителе, кроме безоговорочной похвалы. Он обозлен и тотчас же реагирует, пользуясь оружием, соответствующим его автоконцепции «добраго молодца», презирающего увертки гнилого интеллигентского либерализма. Он по старой рапповской системе (другие не решаются к этому прибегнуть, ибо рапповскую систему надо прикрыть, а прикрыть ее удобнее всего позой добра-молодца, которой не все располагают), дававшей безграничные исход и удовлетворение всем душевным инстинктам, — все ему недоступное объявляет враждебным, притом политически враждебным. Ему неприятно умение писать. И он говорит о ненужности сейчас филигранной работы (это значит — дамское рукоделие).

О вещах, которые написаны только потому, что поэт умеет писать. Все это складывается в определенный враждебный комплекс, наделенный даже соответствующими физическими признаками. Его разнузданно наглое замечание, что В.И. говорит «томным голосом». Этот комплекс имеет и соц<иально?>-политические, и для него, вероятно, и расовые признаки, о которых вслух все-таки сказать нельзя. Ибо он из тех впадающих в самое искреннее бешенство скандалистов, которые очень хорошо знают, до какой границы дозволен скандал и где должно прекращаться бешенство. Она не понимает, что мы только и можем повторять «бей», что это и есть самое главное, что это и есть наша лирика, и другой нам не надо. В.И. сказала, что поэты находятся только в состоянии «мрачной ненависти» к н<емцам?> — это прекраснейшее из всех состояний, и я был бы счастлив, если бы это можно было применить ко мне. Сейчас нужны слова великой ненависти, а не филигранная работа. Словом, В.И. говорит вредные вещи, подымает руку на ист<инных> патриотов, а сама не понимает ист<инно> р<усских> чувств. Не понимает их как женщина с «томным голосом», как хлипкая интеллигентка с сомнит<ельными> политическими правами, как еврейка.

Форма — демократическая. Она выступает со своими соображениями в ряду других ораторов. Но начальственно-административная установка совершенно откровенна. Так, она сообщает аудитории то, что ауд<итории> и без того известно, что она (в качестве высшего цензурного органа) читает все, что пишется. Другими словами: все вы, товарищи, полностью в моих руках. Цель — распечь и навести порядок в цеху, находящемся в прорыве.

II. Эклектическая смесь. Текущие формулы (в<еликая> р<усская> л<итература>) и реликтовые формулы (м<арксизм>-л<енинизм>), которые выходят глаже вследствие многолетней привычки. В отличие от Виш<невского>, который является одним из оформителей новой государственной фразеологии, она — воспроизводитель. И поэтому, наряду с новыми, будет употреблять и прежние формулы, покуда они имеют хождение. Покуда они не сняты официально. Фразеологический механизм все тот же на старом и на новом материале. Формулы — условные обозначения для комплекса определенных требований, предъявляемых к поведению. Новые формулы — это преимущественно требования работы на в<ой>ну. Старые формулы — это преимущ<ественно> требования идеологической дисциплины, которую пери<од> в<ойны> как раз мог бы расшатать. Поэтому чем бессмысленнее не совпадают они с практикой, тем даже лучше, ибо больше свидетельствуют о требовании нерассуждающей дисциплины. В<оенное> вр<емя> (прежде было соц<иалистическое> стр<оительство>) как формула возведения требований к непрерываемо высокому источнику. И как формула собственной облеченности властью, мудростью и силой. Говорящий как носитель и представитель этой силы.

III. Большев<истская> прямота. Деловой подход. Требование здоровой самокритики. Осуждение склочничества и взаимной амнистии и т.д. Словом, поза идеального советского администратора, прикрепленного к данному участку, но который мог бы так же отчетливо работать и на другом, производственном участке.

IV. Свыше признано, что литература не соответствует грандиозности эпохи. Дольше скрывать это стало невозможно. Кроме того, считают, что здесь критика нужна из тех же соображений, что в производстве, — иначе заленятся, обнаглеют и проч. Исходное положение — надо подтянуть. Данное выступление задумано как одно из бесчисленных необходимых действий в этом направлении.

Пишут плохо по форме. Подраз<умеается> — мы преодолели уже примитивный этап недооценки формы. Приятное сознание собств<енного> культурного либерализма в этом вопросе. Что такое форма — это техника. Следов<ательно>, форма плоха, потому что над ней мало работают. Небрежность. Недостаток усердия. Недобросовестность по отношению к госуд<арству>, которое за это дает деньги, блага, положение. Вывод — немедленно подтянуться. Пишут часто плохо по содержанию. Пример — рассказ Куч<ерова>, в котором враг оказывается умелым, технически подкованным,

предусмотрительным и проч., а свой — растяпой (у К. это произошло потому, что ему захотелось «осветить» материал, дать фикцию мысли). Др<угой> пример — историко-лит<ературная> повесть Катерли о Некрасове²⁶.

Прочла с удовольствием, тогда как приходится читать столько серого и скучного (приятное ощущение собственного либерализма — удовольствие от культурной книги, хотя и не вполне выдержанной). Но в повести, хотя в самой робкой форме, рассказано кое-что о темных сторонах жизни Некр<асова>. К чему это и то ли это, что нужно сейчас знать нашему читателю о великом русском поэте? Может быть, это и нужно в научной биографии, не знаю (приятное ощущение собств<енного> либерализма — и я могу чего-нибудь не знать по части специальной литературы. Больш<ая> скромность. Пл<авным> обр<азом>, это происходит потому, что в данный момент речь идет не о специальной литерат<уре>, и потому можно позволить себе этот жест. Если бы речь шла вплотную о спец<иальной> лит<ературе>, то оказалось бы, что она и там понимает, что надо и чего не надо), — но в рассказе, который должен действовать на чувства читателя, — как это можно.

Произошло же это вот почему, как Куч<еров> на соврем<енном> материале, так Кат<ерли> на историческом, столкнулись с невозможностью построить сюжет на полном благополучии.

Это один из непреложнейших законов, по кр<айней> мере для искусства 19 века, у которого берут форму. Прежде и в текущем, и в историческом были потенции отрицательного. Сейчас они запрещены. И люди оказались перед невозможностью что бы то ни было скроить. Они пользуются целой системой эрзацев неблагополучия. Куч<еров> и Кат<ерли>, как они ни мелки, понимают это, наученные практическими затруднениями, но П. этого не понимает.

Итак, работают плохо. Для того чтобы начали работать хорошо и вышли из прорыва, дается ряд наставлений. Содержание — показывайте величие русского народа. Форма — работайте над стилем, пишите ярко. Работа над собой — повышайте свой политический уровень. Прорабатывайте книги (см. выше об идеол<огической> дисциплине). Самодовольно-начальственно-либеральный анекдот о том, что это <надо> понимать не так, как понимал некто (подр<азумевается> — подхалим), который сказал ей, что Уланова стала лучше танцевать после того, как проработала две главы курса²⁷. Анекдот рассчитан на почтительный понимающий смех подчиненных, и действительно кто-то в задних рядах пустил этот смех, но тотчас же осекся под недоброжелательным молчанием аудитории. Профессиональное поведение — с б<олюневиcтской> прямотой занимайтесь самокритикой и критикуйте друг друга. Долой взаимную амнистию. Иллюстрация — к ней пришел человек с нигде не годными стихами, и когда она ему поставила на вид их негодность, предъявил ей оправдательный документ — одобрительный отзыв одного из наших видных поэтов. Не будем называть имен. Так вот, товарищи, не следует давать такие безответственные отзывы. Наш читатель вырос, его требования повысились. Мы несем перед ним огромную ответствен-

ность — особенно перед фронтовым читателем. Аппелляция к читателю, так же как к другим факторам времени, — это одна из формул распекания.

Подразумеваемый вывод: если вы будете излагать директивное содержание в тщательной и яркой форме. Если вы будете при этом работать над повышением своего политического уровня и оздоровите свою профессионально-бытовую атмосферу, то литература изживет свой прорыв и подымет ся на тот уровень, который сделает ее достойной нашей великой эпохи.

В данный момент литература отстает от требований эпохи благодаря нерадивости писателей, которые не оправдывают производимых на них государственных затрат.

Сам по себе этот разговор о положении с лит<ературой> как о прорыве на производстве — в сущности не неправилен. Положение лит<ературы> и данные литераторов таковы, что лучше, рациональнее всего они могли бы работать как организованная бригада агитаторов, только под более умным и культурным руководством, чем руководство П-ой. В этом смысле весь наш лит<ературный> аппарат для военного времени пригоден гораздо больше, чем для мирного.

При такой постановке — производственное отношение и соответств<ующие> требования — правомерны.

Противоречие возникает от предпосылки великой, настоящей литературы (что нужно для украшения жизни культурными ценностями, как в лучших домах); притом в 19-вечном понимании. И вот тут-то все оказывается сплошь подмененным, и весь разговор фиктивным.

Поэтому директивы, требования*, разговор П-ой адекватен истинному положению дел, но совершенно неадекватен ее же установочной фразеологии. А эта фразеология настоящей литературы как идеологической деятельности, совершенно не соответствуя практике литераторов, соответствует их самолюбивым вожделениям. Поэтому распекания и начальственные указания П. их оскорбляют скорее по форме (умный Ходза), чем по существу. В праве начальства вправлять им мозги они не сомневаются, но хотят, чтобы им вправляли каким-то (каким, они сами не знают) более одухотворенным способом, а не так, как вправляют производственникам, не выполнившим план.

Производственников же такой метод может огорчить, но как метод он их не оскорбляет. Там все адекватно.

V. Переживание своего превосходства — служебного и психологического (б<ольшевицкая> прямота).

Ведомственные выступления

Ходза

I. От смежной организации. Организация не может как следует работать, потому что писатели — уклоняются от работы на нее. Практическая установка выст<упающего> — якобы побудить к лучшей работе. На самом деле знает, что таким путем это невозможно. Подлинная практическая цель — оправдать

* [Два слова вписаны без согласования с дальнейшим текстом.]

организацию и себя тем самым. Кроме того, выступает, потому что так полагается по должности. Кроме того, ему все-таки лестно фигурировать. Кри-тич<еская> установка директивна.

II. Деловая. В этом смысле нейтральная.

III. Больн<евистская> прямота. Беспощадная критика. Старый прием с оттенком использования присущего ему юмора.

IV. Кто для нас писатели? Писатели для нас те, кто работают, — перечисление. Почему, например, Пор. не работает? Она девушка здоровая, не без способностей. Почему она не работает? Зато все очень усердно ходят за получением разных карточек и пайков.

Надо прямо сказать — кто не работает, тому нечего здесь объ-едать государство. (Путаница между двумя официальными и обязательны-ми линиями — героика и самокритика.)

V. Самооправдание (для начальства и руководящих кругов Сою-за). Удовольствие от фигурирования на почве, где с ним раньше не счита-лись. Демонстрация себя в качестве умного и остроумного человека. От сво-его спокойно-скептического тона он вообще всегда испытывает чувство превосходства. Это удовольствие он постоянно доставляет себе на работе, где комбинируется превосходство начальника с превосходством умного и насмешливого скептика; причем скептицизм ограничен несколько раз-двинутыми рамками служебной лояльности.

Левоневский

I. От одной из организ<аций> Союза. Деловое. Ин-формация о деятельности журнала, следов<ательно> и своей. Сведение счетов с Гослитизд<атом> и лично с Папк<овским>, которые препятству-ют альманаху²⁸.

III*. Подразум<евается>: Имею смелость выступить против узких профессионалов (лояльная оговорка: кроме нескольких поэт<иче-ских> имен) за стихийное творчество. (Папк<овский> в своей полемике с Лев<оневским>, наоборот, подразум<евает>: имею смелость выступить против демагогической возни с любителями. Лояльная оговорка: в прин-ципе, конечно, следует относиться с интересом и уважением к стихий-ному творчеству, но жестко отбирать лучшее.) И професс<иональная> литература, и стихийная — это госуд<арственная> ценность. Против цен-ностей как таковых ни та, ни др<угая> сторона не ополчаются, только про-тив их искажения.

IV. Информация об альм<анахе>. Указания на чинимые препят-ствия. Цитаты.

V. Л<евоневскому>, которому на небольших ролях, притом не по-эт, приятно хвалить черноземную силу — в пику раздувшимся професс<ио-налам>, которые вообр<ажают>, что они лучше его, Левоневск<ого>. Судо-вольствием цитирует — во-первых, в пику; во-вторых, по отнош<ению> к этому материалу — бессознательно авторское чувство — без него, без аппарата это бы не существовало!

* [Пункт II пропущен.]

Лих<арев>

I. Выступление по обязанности отв<етственного> секретаря. Но так как в этом качестве он говорит вступ<ительное> и заключ<ительное> слово, то посредине он говорит как редактор того же фронтového сборника, о котором говорил уже Левон<евский>.

У него положение сложнее, потому что он сам поэт, и настолько плохой, что, несмотря на занимаемый им пост, об этом неоднократно намекали на конференции. Он уязвлен, но не находит почву для самозащиты. Удобнее обойти тему и косвенно ответить на удар. Быть может, ему даже кажется, что он пропагандирует редактируемый им материал. Но на самом деле хвалить стихийную литературу — для него личный выход. Подр<азумевается>: Если я говно, то и вы не лучше, а вот нате, выкусите. Выступление состоит главным образом из больших цитат из сборника (он читает их с тем квазиавторским чувством, которое вырабатывается у редакторов молодых или непрофессиональных писателей; происходит как бы бессознательный акт передачи авторской воли). Поклоняться стихийной силе не обидно. Тем более что в глубине все же остается чувство превосходства над этой силой, которая дает собою руководить (если это только не канонизованный классический фольклор).

Но больше, с чувством и квазиавторской гордостью произносимые цитаты свидетельствуют гл<авным> обр<азом> о том, что эта литература отнюдь не стихийная, а как две капли воды похожая на их собственную продукцию и в наиболее гладкой своей части имеющая незаметно в нее влиться. Она не лучше, не хуже. То есть несомненно хуже нескольких человек (Тих<онов>, Прок<офьев>, В. Инб<ер>, Бергг<ольц>...).

Выступления по занимаемому положению

Саянов

В качестве члена правл<ения> уполномочен сделать доклад. Ему неинтересно. Откровенная халтура. В.И. решила блеснуть, а он отбарабанить. Он даже не счел нужным выработать позу, обзавестись личной темой. Если все это имеет какую-нибудь семантику, то наплевать. Подразум<евается>: проза такая, что и говорить всерьез не о чем.

Исходная точка — делают не то, что надо. Топорно составленные рецепты (фразеол<огия> новая)²⁹. Словобл<удие>. Ростопчинские афишки³⁰ и Соболев в качестве образцов.

Прокофьев

I. Выступить должен по положению как один из наиболее авторитетных членов правления.

II–III. Простецки.

IV. Говорит как чл<ен> прав<ления>, тогда как Тих<онов> подчеркнуто говорит только как поэт. Разница: Тих<онов> — закрепился на военном мат<ериале>. Пр<окофьев> знает, что он все это время пишет хлам. Что читатели к нему холодны. Он особенно раздражен этим, потому что сознает в себе возможности. Творческая тема ему неприятна, как колющее напоминание. Первая часть подчеркнуто административная. Не в смысле распекания извне, как П<аюсо>ва, а в смысле попытки рассмотреть некоторые дела.

Разговор о плохо работающих. Не начальственно — идеологический (П-ва), но откровенно административный. К черту. Нам неработающих не надо. Надо, чтобы люди поняли, что они должны проявлять инициативу. Они должны прийти к нам (правлению) и предлагать свою помощь. (Правл<ение> парировало обвинения в бездеятельности.)

Об уехавших. Смысл тот, «что к черту, туда и дорога!» Кстати, людей усиленно уговаривали ехать, чтобы их же потом презирать. У нас была тут обойма, и в этой обойме уж непременно фигурировали Слонимский, Козаков... Теперь они самовыстрелились из обоймы (смех) — и прекрасно!

Нужна сейчас фольклорность, внимание к фольклору, собрание рассыпанных всюду черт фольклора. О мальчике, который написал отцу «И возвращайся, папа, домой — нераненый, неубитый»³¹. — Разве это не фольклор? Вот что мы должны собирать. (Фольклор его сильная сторона, и он охотно об этом говорит. Превосходство фольклора ему не обидно. Стихийная сила, от которой он питается.)

Без особой связи переходит к тому, что вот, мол, В<ера> И<нбер> сказала, что в М<оскве> все-таки пишут лучше, а он утверждает, что в М<оскве> — пишут не лучше, даже еще хуже. Следуют безграмотные цитаты из московского поэта Васильева (смех). Но дело, конечно, не в этих безграмотностях, а в том, что вообще поэзией наших дней форма не найдена.

Это уже подводная личная тема. Его обвиняют, и у него у самого на душе то, что во время войны он пишет много и плохо (обратно Тихонову и гораздо менее лестное).

Оправдательное понятие — форма не найдена. Все (да и в Москве) пишут плохо, даже еще хуже, даже, вот, безграмотно.

Но про себя-то он думает, что он настоящий лирик, один из лучших. И настоящий человек, храбрый, с размахом, с душой, даже с русской слезой под пьяную руку. Об этом на конференции не скажешь. На конф<еренции> он защищает свою уязвленную творческую совесть, свое самолюбие, свою обиду, выступая как член правл<ения>, как подполковник с орденами, как человек, который при случае может хлопнуть по столу (по кафедре) кулаком, как человек с наплевательством, который не будет оправдываться в литературных неудачах (подчеркнутое умолчание о себе). Как человек, забронировавшийся от литературной братии созданным себе положением — не только литературным.

(На др<угой> день разг<овор> о Папк<овском>.)

Выст<упления> с преобладанием личного (подводного) мотива

Кар<асев>

Неприкрытое самооправдание. Попытка отвести взводимые на него обвинения в праздности (зря объедает государство) ссылками на общественную работу. Потом на в<оенную> службу, куда он был взят как раз в тот самый момент, когда он, наконец, разгрузился от обязанностей директора Дома пис<ателей> и собрался приняться за творче-

скую работу. Чрезвычайная примитивность и прямота разговора вызывает нетерпение аудитории и неудовольствие президиума, ибо портит установку на принципиальный разговор. Под воздействием нетерпеливых реплик пр<езидиума> быстро прикрывается туманными соображениями о ленинградской драматургии. И вообще предпочитает поскорее кончить. Ошибка выступления в том, что личный мотив оказался недостаточен подводным, недостаточно приглушенным принятыми формулами.

Кратт

Выст<упление> неопределенно-лирическое. Мотивируется его с<олдатской> формой. Человек мучительно самолюбивый и уязвленный с потребностью при всех случаях и по всем поводам напоминать о себе. Теперь ему хочется показаться в солд<атском> образе, чем он гордится, за неимением возможности гордиться званием, которым гордятся другие и которым гордился бы, если бы его имел. Выступить и показать, что он не деморализован, что он на высоте, — необходимо еще потому, что он дискредитирован высокими инстанциями (история с мед<алью>), с которыми не поспоришь (утешается тем, что эту штуку имеют все домох<озяйки> и что она потеряла цену). Эта подмоченность, уязвимость заставляет его быть осторожным, обходить склоки, споры и сведение счетов. К тому же сквозь иерархию литературную прощупывается иерархия званий. В порядке литерат<орского> либерализма он, как член правления, сидит сейчас рядом со своими товарищами, майорами и полковниками, но не может нарушать иерархию по отношению к ним до конца.

Из соображений иерархии и тактической осторожности он отказывается от линии склочной и вообще полемической. К. обиженный, он воздерживается от бурнопламенных изъяснений. Он избирает тон лирически-героический (выст<упление> написано в лирической форме и читается по бумажке) — о городе-фронте. Тон определяется тем, что он не на настоящем фронте. Но одежда, которая его облекает, должна напоминать присутствующим, что в любой момент он может стать защитником Л<енинграда> в другом, более смертельном смысле, нежели они. Это заостряет эмоцию. И это эмоциональное подразумевание проникает в картину, которую он рисует. Вчера они с Вер<есовым> возвращались отсюда (немножко приятно упомянуть о том, что он, на равных, шел с капитаном, хотя еще недавно по литерат<урно>-ведомственной иерархии он считал себя выше). Шел обстрел, и они у Инженерного замка подбирали сбитые воздушной волной каштаны. Это лирическая деталь, в которую вложено подразумевание трудностей, храбрости, фронта, и того, что он видит все это как писатель, умеющий выделить поэтическую деталь.

Ман<уйлов>

I. Выступление в качестве представителя литературоведческой группы Союза. Группа эта недооценивается, и он считает своим долгом обратить внимание на заслуги своих товарищей. Он в ярких тонах характеризует полезную деятельность отдельных товарищей, протекавшую

в самых трудных условиях, — лекции, преподавание, редакционная работа, статьи, брошюры, радио. По возможности упоминаются крупные имена (хотя бы потом уехавших), чтобы придать больше весу группе, которую он представляет (по собств<енному> почину). Его личные заслуги во всем этом подразумеваются, и подразумевается, что он не считает возможным говорить о них из академической корректности. Это изящное построение разрушает грубая реплика Лих<арева> (она выражает недоброжелательное отношение администрации к человеку, который был снят с редакционного поста по постановлению горкома)³²: «Вы бы лучше рассказали о том, что вы-то собственно сделали?» На это он успевает ответить с достоинством, что очень хотел бы, чтобы был назначен его творческий самоотчет.

III*. Автоконцепция — оценочная форма этого выст<упления> — в защиту подлинной культуры, которая так нужна нашей стране. Кстати, это искренне переживаемая форма, ибо ему приятно ее переживать — чувствовать себя ее носителем. В этом он находит свое превосходство, в отличие от циников, находящих превосх<одство> в цинизме, и от даровитых скептиков, у которых для превосх<одства> есть свои особые ценности, не обязательно практически реализуемые.

V. Но сильнее всего этим выступлением управлял личный практический импульс. Это человек, дискредит<ированный> высокими инстанциями, и который сделал попытку нагнуть себе цену, неск<олько> снизившуюся благ<одаря> недобр<ожелательству> местного нач<альства> к человеку, дискр<едитированному> свыше.

Выступления мастеров

Тим<офеев> <- Еропкин> I. Творческий разговор, потребность в котором так назрела.

II. Фразеология патриота плюс фразеология специалиста и мастера своего дела.

III. Патриотизм не только не исключает этих тонких профессиональных интересов, но он требует их от нас, в порядке всестороннего служения делу нашей поэтической культуры. (Удовольствие от дозволенного либерально-широкого взгляда на вещи и от чувства превосходства над теми, кому, по некультурности, недоступны эти тонкости мастерства и кто поэтому вынужден ограничиваться одним голым патриотизмом.)

IV. Почему у нас в пренебрежении проблема рифмы, ритма. Дальше 4- и 5-стопного ямба искусство и воображение наших поэтов не заходит. Зачем такое обеднение собственных возможностей. Почему, например, мы не культивируем такие великолепные формы, как сонеты, терцины. Кто сейчас может написать триолет? (А ведь многие из здесь сидящих, может быть, даже не слышали о таких штуках.) Конечно, мы наследники Маяковского и должны следовать его заветам. Но зачем обеднять свои возможности и ограничиваться только поэтической системой Маяк<овского>. Почему не совместить Маяк<овского> с триолетом.

* [Пункты II и IV пропущены.]

V. Среди всех собравшихся здесь самолюбий это одно из самых бешеных. Он совмещает наивное самодовольство, искреннее восхищение собственными рифмами (он всем говорил — правда здорово: фашисты — пушистый; рифма эта имеется у Тихонова и у Маяк<овского>³³) с тайной уязвленностью своей жанровой неполноценностью (малые формы). Он предпринимает попытки высокой поэзии. Теперь он один из немногих активных, и надо отыгаться за то, что его держали только за малоформиста. В своей области он теперь самонужнейший человек; его рвут на части. Так пускай же выслушают его разговор во весь голос. Его разговор о высоких тайнах ремесла.

Лифшиц

Голос молодого поэта. Разговор о творчестве, понимаемом как позиция в борьбе. Разговор за товарищей, и только вместе с ними за себя. За тех, кто сражается, не только пером, но и штыком. Штыком они сражаются в гораздо меньшей степени, чем пером. Но все же для фронтовых поэтов пропорция опасности увеличена, и здесь это дает им прочное чувство превосходства. Там, напротив того, превосходство им дает то, что они поэты, но все же находятся там. Эту увеличенную пропорцию они используют и выжмут до конца — будьте уверены. Она оправдывает им тот прямой разговор от имени бойца (в частности, обращенный к любимой женщине), который они все ведут.

В данную минуту это оправдывает в его речи эмоцион<альные> ноты о жертвенном (это подразумевается) поколении, мужающем в борьбе. Он один из носителей ценностей этого поколения.

Это настолько сильная и соблазнительная автоконцепция, что личная, подводная тема действительно почти целиком уходит в нее. Для его автоконцепции ему действительно важнее говорить о себе в ряду товарищей (комплекс — боевая дружба, я один из сражающихся плечом к плечу, из мужающих в борьбе), нежели добиваться похвал своим стихам.

Этот же комплекс дает ему фронтовое превосходство в обращении к тылу. На этом построена вся оценка доклада В.И. Тон уважительный, как ей полагается по иерархии и как требует вежливость молодого человека к заслуженной женщине, но недоброжелательный. Подразумевается: Это все тыл, поглощенный и загипнотизированный своими страданиями. В.И. сама несвободна от травмы, в которой она упрекала Берггольц. Все вы изображаете страдающий Л<енинград>, а где Л<енинград>, обороняющийся и отразивший врага, где героика, то есть где *мы*? А между тем вы позволяете себе недооценивать нас, настоящих, и снисходительно нас поучать. Это подразумевание — говорится же словами, что она недооценила ряд товарищей, которые творчески растут, мужая в боевом опыте. Например, — Дудин, Гитович. О том, что она недооценила его (то есть похвалила снисходительно, указав ряд ошибок, которые указывают начинающим поэтам), — не говорится, но подразумевается. Эта полемика наиболее лично-подводная часть выступления. Момент сведения счетов. Но

не это главное. Преобладает все же наслаждение автоконцепцией поэта-воина, представителя молодых, тех, кто поет, сражаясь.

Папковск-ий> I. Деловое выступление от связанной организации (Гослитиздат). Надо подчеркнуть, в особенности перед присутствующим нач<альством>, что организация плохо работает, потому что плохо работают писатели. Последняя установка нач<альством> поощряется.

II. Последнее слово дня. Все формулы, которыми уже можно бить по голове. В.И. в своем интересном докладе (по чину ей полагается реверанс) забыла самое главное — народность.

III. Большин<евистская> прямота критики и самокрит<ики>. Мы, мол, издаем плохие книги, потому что вы не даете хороших. Смелое говорение правды в глаза маститым писателям, чиновным и орденоносным. Надо писать хорошие книги, потому что плохие не расходятся даже в наших условиях. Например, последние книги Прок<офьева> и Лихарева. О красно-арм<ейском> сборнике — позволяет себе критику делового человека. Лучше меньше да лучше. Он знает, что это т<очка> зр<ения> горкома, и потому полагает, что писателей ему нечего бояться. Может быть, напрасно полагает, судя по сегодняшней реплике Прок<офьева> насчет соления хвоста.

V. Вероятно, демонстр<ация> своей стопроцентности гл<авным> обр<азом> перед начальств<ом>.

Тих<онов> I. Голос поэта. Задумано как большой разговор о творчестве. Он единственный из всех присутствующих, кто был поэтом, не очень крупным, но все же настоящим. Он хочет, чтобы об этом помнили. Сейчас это дело прошлое, но он может вести этот разговор, потому что у него есть опыт и есть биографическое оправдание; и он знает, как говорят о таких вещах.

Внутренней заинтересованности, потребности в этом разговоре у него нет, потому что вести его не с кем, нет атмосферы. Но он умеет его сделать и с помощью его завоевать себе в этом зале позицию особого высокого превосходства. Среди дамской болтовни, среди жалких потуг (Тимоф<еев> с триолетами и проч.), среди плохо замаскированных склок, личных вожделений, ведомственных счетов — выходит поэт и говорит о другом, в другом регистре, другими словами, словами с необычной, творчески преломленной семантикой. Он говорит так не только вопреки всему окружению, но и вопреки себе самому, своей жизненной оболочке — полковника, орденоносца, члена правления, лауреата и т.д., и т.д. Вот как это задумано. На самом деле, если взять реальную весомость этого акта, все получается много мельче. Для такого размаха у него не хватает оправдания; к тому же давление оболочки так могущественно, что в ней должно было бы рассосаться и гораздо более полноценное сильное содержание. Вообще писатель, который печатается, тем самым уже не может вести большой разговор. Но при всем том это настолько другого качества и масштаба, чем все остальное, что для публики без высших требований и критериев, для публики,

которая сама склочничает и вожделеет, потому что в каждом отдельном случае не может воздержаться, но *вообще* осуждает склоки и вожделения, для публики это безошибочное действие. Это как раз по мерке ее требований высокого. Она наслаждается своей способностью переживать высокое. Кроме того, она испытывает еще более острое злорадное удовольствие. Привилегированные, которым она завидует, оказались пошляками. Высокое выступление поэта обнаружило их пошлость. Внешняя и внутренняя ценность Тих<онова> для этой публики слишком несомненна, чтобы имело смысл с этим конкурировать. И Тих<онов> косвенно разоблачил прочих привилегированных, с которыми уже есть смысл тягаться. Публика в восторге. Что касается прив<илегированных>, то одни из них считают, что Тих<онов> настолько далеко ушел в иерархии, что с ним и им, маститым, ни к чему тягаться и что он может себе позволить еще недоступную им роскошь отказать на конференции от участия в борьбе самолюбий и предаться высокому разговору. Другие (вероятно, Прок<офьев>) утешаются тем, что и они могли бы поговорить всерьез, но что не стоит метать бисер, и что разговор, для которого по существу нет данных и нет атмосферы, — это только тихоновская демагогия.

Т<ихонов> говорит, разумеется, без бумажки, негромко, не очень внятно, с запинкой (все это не то что нарочно сделано, но во всяком случае взвешено и осмыслено как признаки взволнованной, искренней речи), внешне некрасноречиво, но с чувством внутренней формы слова.

Он говорит о том, что сейчас писателю главное — определить свою судьбу, найти свою позицию в вихре событий, свое отношение, свой голос — как это сделал Толстой в «Севастопольских рассказах». Т<ихонов> занимает должность крупного поэта. Если человек занимает должность директора, то, независимо от своих данных, он считает, что может управлять предприятием со всеми специалистами и т.д. Точно так же Т<ихонов> поверил (нужна исключительная душевная сила или исключительный цинизм, чтобы не поверить), что он вправе говорить о судьбе поэта (писателя) и ссылаться на высокие имена.

Есть и личная (подводная) тема. Его почтительнейше и льстиво упрекают в том, что он мало пишет сейчас стихи. Хотелось бы больше наслаждаться. Об этом довольно игриво говорила В.И. в докладе. Но за всей льстивостью для него в глубине его творческой совести, которая у него есть, как у всякого сколько-нибудь даровитого человека, стоит вопрос гораздо более большой и серьезный. Об иссякании его поэтических возможностей уже в течение многих и многих лет. Он боится проблемы поэтической продуктивности, потому что как-никак он не механический писака, и для него это проблема.

Он отвечает на это в плане высокого разговора: почему считается, что нужно много писать. 1812 год дал очень мало произведений. Одно — Жуковского, одно — Батюшкова и т.д. А между тем эти люди жили этим и в этом участвовали. Для публики это поразительное открытие; она внутренне делает: «ах!» И опять он вознесен на высоту высокой культуры. Подразумевание — и он из поэтов, говорящих веское слово.

В.И. со своими дамскими напоминаниями о том, что не мешает побольше стихов, — опять в дураках; он еще раз придавил ее своей мужественной монументальностью.

Аналогия порочная. Ведь тогда литература не была организована и никто не говорил поэту — зачем ты объедаешь госуд<арство> или достаточно ли у тебя военной продукции для получения литеры А? Тих<онов> прекрасно это понимает. Он делает вид, что не понимает этого, пользуясь тем, что об этом никто не скажет в свое оправдание, потому что сказать об этом нельзя.

СОСТОЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИСХОДЕ ВОЙНЫ

Условия этой литературы — 1. Все хороши. То есть хороши все, входящие в данную систему, и плохи все, в нее не входящие. Недостатки хороших — производные от их достоинств (рассеянность или беспомощность ученого, озорство ребят, легкомыслие юношей, резкость руководящих работников и т.д.). 2. Все благополучны. С человеком не может случиться ничего действительно дурного. Справедливость — восстанавливается; личные несчастья снимаются в процессе служения общему делу; самая смерть не мешает осуществлению этого главного дела, а иногда способствует ему. Всё, включенное в данную систему, есть благо. Зло может исходить только из враждебной системы (от врагов внешних и внутренних). 3. Всё хорошо. Всё, что может быть включено в данную систему, есть благо. Поэтому начисто снята проблематика выбора и моральной иерархии — основная проблема поведения человека, одна из основных проблем мировой культуры. Моменты иерархии, выбора, отказа — грозят нарушить предпосылку сплошной ценности всего принятого системой. Это уже соблазн, как соблазном было бы выбирать хотя бы между двумя кандидатами, ибо каждый вменяется как безусловно хороший*, так что лучшего уже собственно быть не может. По отношению к низовым организациям это не обязательно, ибо там люди рассматриваются с практической точки зрения, а не в качестве символических, государственных ценностей. Итак, проблема выбора снята, и царит, столь характерное для обывательского мышления, совмещение несовместимого. Пусть человек будет ученым и хорошо одетым, глубокомысленным и жизнерадостным, доблестным и семейственным и проч. и проч. Две добродетели лучше, чем одна, три <лучше> — чем две и т.д. — ведь это простой расчет. Чем больше ценностей, тем лучше. Украшайтесь всем, чем только можно украситься.

Но чтобы образовывался «характер» и развивался сюжет, писатель строит временные барьеры в виде препятствий (преодолеваемых), недостатков (исправляемых), заблуждений (рассеивающихся) — каковые, по ходу действия, снимаются все в той

* [Зачеркнуто:] абсолютная ценность

же инстанции. Но, как это часто бывает, эта вспомогательная система временных препятствий приобрела свою собственную динамику и диалектику и привела к соблазнам.

В свое время временные препятствия построились из материала враждебных систем, столкнувшихся с данной (революция, гражданская война, военный коммунизм); потом главным образом из материала пережитков враждебных и чуждых систем, засоряющих данную систему, и т.п. Все труднее становилось по мере того, как укреплялась установка на завершение мучительных процессов становления и на стабилизацию благополучия (сч<астье> — рав<няется?> жизни). Был период, когда положение стало до невероятия парадоксальным. Происходили вещи, самые страшные из всех когда-либо происходивших с времени рев<олюции> (ст<алин?>), но они были целиком выключены из *печатного поля сознания*. В это поле — совершенно условное — для всеобщего сведения была включена формула благополучия. Препятствия же, необходимые по сюжетно-техническим соображениям, приходилось специально изобретать, с усилием высасывать из пальца.

В конце. У писателей, вернее, у тех, кого следовало бы называть не писателями, а печатающимися, оказалось начисто перерезанным общение между действительностью и писанием. Писание — это область совершенно условных формулировок и материалов, и, вступая в нее, они всякий раз выключали свой жизненный опыт. Все, чем они жили, интересовались, чего боялись и хотели, о чем думали и говорили у себя за столом. Даже самым добросовестным из них (то есть молодым, никогда не работавшим иначе) это казалось совершенно естественным. Это была другая сфера (профессиональная), к которой их реальный жизненный опыт просто не имел отношения.

Надо сказать, что никакая формальная цензура никогда не мешала и не могла помогать настоящим писателям выражать дух времени. Пушкин не имел права писать о декабристах, но он писал о том, что не могло бы существовать без декабристов и без чего декабристы не могли бы существовать. Он писал о том, что было условием, или следствием, или средой и атмосферой декабризма. Так что вынутое формальной цензурой звено могло замещаться подразумеванием, ибо вся цепь исторических обусловленностей не была нарушена. Такого соотношения совершенно достаточно для выражения подлинных и существенных черт действительности. Для того же, чтобы создать совершенно условную, изолированную от реального опыта литературную действительность, необходимо было к формальной цензуре присовокупить внутреннюю цензуру. По принципу — каждый сам себе цензор.

Постепенно все труднее становилось строить сюжетные препятствия и временные фикции неблагополучия. Вся эта литература уперлась в стенку. Изменила положение война. С исключительной силой проявился момент столкновения своей системы с чужой, враждебной, являющейся источником всяческого зла. Зла, препятствий, отрицательного теперь оказалось

безграничное количество. Но оперировать им приходилось с осторожностью. Никаких границ нет для изображения зла, мучений, причиняемых врагом мирному населению. Но есть строгие границы для изображения ужасов войны как таковой. Здесь дело не только в том, что следует избегать всего, что могло бы ослабить мужество, инициативу, но и в том, что за мучения мирного населения отвечает одна только система, враждебная. За войну — обе. Война есть зло как агрессия, но как самозащита народа — она ценность. В изображаемом конкретном событии оба начала переплетаются, но, чтобы быть различимыми в этом клубке, они как бы условно окрашиваются в два разных цвета. Все, что принадлежит положительной системе, не может быть злом, в том числе не может быть абсолютным, не снятым в той же инстанции, страданием. Оно снимается либо благополучным исходом, либо преодолевающим его героическим энтузиазмом. Во всяком случае, *ужасы* оставляются только на долю враждебной системы. В кино и в печати мы изображаем только вражеские трупы, растерзанные и раздавленные гусеницами танков. При этом недостаточно учитывается опасная сила ассоциаций, аналогий и подразумеваемых.

Западная литература, у которой нет предпосылки обязательного оптимизма и благополучия в первой инстанции, шла другими путями. Не только пацифистская, но и героическая (кроме примитивно-патриотической). Там ужас допускается и на свою сторону; он даже повышает ценность героического поступка. Ибо ужас снимается там в других инстанциях — исторической или религиозной. В пацифистской литературе он, разумеется, вообще не снимается.

В последнее время и у нас все больше обнаруживается недостаточность условно-оптимистических разрешений в первой инстанции, и стали смутно нащупывать возможность привлечения к делу агитации и пропаганды — последующих инстанций. В частности, начали ходить вокруг идеи бессмертия, скажем, социального бессмертия. Это очень симптоматичный и очень еще смутный процесс.

Помимо этого все острее ставится вопрос о препятствиях, протекающих из враждебного источника, и о временных препятствиях, возникающих изнутри. И здесь дело уже не только в технических требованиях построения вещи, но и в потребностях реализации, которая есть не только у пишущих, но и у печатающихся.

Ничего невозможно понять в человеке, в поведении человека, если сводить это поведение к заинтересованности в вещественных благах, к корысти в точном смысле слова. Материальные блага имеют для человека решающее значение, только когда он испытывает острые материальные лишения. В других же случаях сильнее действуют в нем импульсы честолюбия, тщеславия, вообще самоутверждения; потребности переживать свою власть, свое превосходство. Переживать свою ценность. Ради этого самый посредственный, самый эгоистичный и жадный человек может поступиться многими удобствами и удовольствиями.

Это в особенности относится к людям искусства, к писателям (в том числе и печатающимся) с их привычной потребностью в успехе и в непосредственном осязательном выражении этого успеха, потребность в котором подобна уже потребности в привычных физиологических раздражениях. А для переживания автоценности им, в силу их профессиональной принадлежности, необходимо ощущать себя в известной мере творящими. Они не могут обойтись без возвышающих иллюзий.

В свое время все у них складывалось в этом смысле удовлетворительно и нормально. В те времена, когда потребность в сюжетном благополучии, в отрицательном начале разрешалась естественным образом на материале революции и предреволюционной эпохи, гражданской войны, военного коммунизма, восстановительного периода (тема пережитков) и т.д., — в те времена разрешалась довольно безболезненно и проблема писательской автоценности. Писатели подразделялись тогда на стопроцентных и попутчиков. И те и другие хотели испытывать чувство превосходства. Попутчики испытывали это чувство, ибо они считали себя культурными, образованными, внутренне свободными, занятыми усложненной проблематикой. Стопроцентные испытывали чувство превосходства, ибо они считали себя власть имущими и носителями духа времени. Они бдили и вправляли мозги, и презирали гнилую интеллигенцию. И тех и других ситуация устраивала.

С годами, однако, положение осложнилось. По мере развития единомыслия в России³⁴, категория попутчиков как таковая вообще прекратила свое существование. Им на смену пришла иная, крайне малочисленная категория людей, пишущих не для печати, со своими совсем особыми судьбами и методами самоутверждения. Процесс отмирания попутничества совершался параллельно процессу все большего затруднения в деле построения сюжетных благополучий (об этом говорилось выше). По мере усовершенствования единомыслия, по мере отмирания попутничества права бывших стопроцентных на чувство превосходства становились все более и более шаткими. В конце концов все оказались более или менее стопроцентными. Во всяком случае все оказались в равном положении. Все стремились сказать одно и то же, и говорили это только с разной степенью ошибок, заблуждений, нечаянных отклонений. Вправлять мозги, в сущности, стало некому, кроме как себе самим. Сегодня мой сосед ошибся, и я вправляю ему, завтра я ошибусь, и он вправит мне. Это стало уже непринципиальным, и они заскучали. Для того чтобы оживить в себе чувство автоценности, чтобы по-прежнему ощущать себя идеологическими деятелями, пришлось отыскивать какую-то иную позицию. Прежде действительность представлялась им материалом полемического действия. Причем они заранее знали, что в этом полемическом действии они победят, ибо за ними, как говорил Шкл<овский>, — армия и флот³⁵. Так вот, действительность перестала быть для них материалом полемического действия, и тогда пришлось начать отыскивать по отношению к ней новую позицию, которая так

же обеспечивала бы переживание автоценности. И тогда им захотелось нечто действительное сказать об этой действительности. Либо такое, что они, в меру своего разума, увидели и испытали в ней, либо такое, что в самом деле может заинтересовать или тронуть читателя. Конечно, все это в самой малой дозволенной мере, совместимой с печатанием и процветанием, но все же... Это был критический момент; особенно потому критический, что он совпал с положением, когда благополучие литературы находилось в отношении, обратном пропорциональном к ужасу действительности. Неизвестно, чем бы этот критический момент разрешился, если бы война не изменила материал, не внесла множество новых возможностей утверждения и отрицания. Но за всеми этими возможностями (они ведь отчасти ощущаются как временные) раз возникшая потребность продолжает созреть. С другой стороны, настоящий момент заостряет эту потребность, потому что многим и многим он принес настоящий жизненный опыт, он повысил их человеческую ценность, и им хочется это реализовать.

Так постепенно и из разных импульсов сложилось поползновение сказать немножко правды. Они развращены печатанием, привилегированностью, поощрением, и ни в коем случае не хотят со всем этим расстаться. Поэтому им кажется, что правду можно сказать немножко, что выражение жизненного опыта можно совместить с выполнением директив. Характернейший случай обывательского совмещения несовместимого. Они хотят, чтобы все кончалось благополучным появлением в печати, но им нравятся, когда вокруг написанного предварительно происходит некоторая мура. Когда некие неумные бюрократы в низовом аппарате приходят в ужас и чинят препятствия, а высшие инстанции, которые, напротив того, все понимают и широко смотрят на вещи, — в конце концов становятся на их сторону и разрешают свыше. Это идеальный ход вещей, и классический («История госуд<арства> Российского», «Ревизор»). При этом они наслаждаются возможностью испытывать чувство превосходства, во-первых, над неумными бюрократами, которым дается щелчок свыше; трепка нервов, через которую приходится пройти, покуда, наконец, этот щелчок будет дан и получен (это иногда происходит очень нескоро, после прохождения через многие инстанции), вполне окупается этим чувством превосходства; во-вторых, они наслаждаются превосходством над прочими своими собратьями, которые не хотят совмещать выражение жизненного опыта с выполнением директив, но ограничиваются одним выполнением директив. Но они не знают при этом, что, в сущности, эти прочие собратья — уже фикция, нечто вроде гипотетического дурака, с которым они напрасно спорят. Что потребность некоего действительного разговора о действительности стала уже типовой и всеобщей, и только поэтому каждый из них в отдельности пришел к этой потребности. Есть, конечно, исключения; есть исключения среди совершенно уже бездарных или безграмотных; среди особенно ленивых, или циничных, или исхалтурившихся, среди состарившихся или до одурения пресыщенных своими достижениями и успехами. Но это исклю-

чение. Типовое же для текущего литературного момента — это нерешительное стремление к разговору о действительности. К негромкому разговору, такому, который бы не испугнул благополучие.

Самое печальное для каждого из них (чего каждый старается не понимать и не замечать) — это то, что презирать, в сущности, некого и не над кем испытывать чувство превосходства. Потому что каждый собрат по профессии точно так же хочет того же самого и точно так же хочет чувствовать себя выше других и испытывать к ним чувство презрения.

В массе текущего материала определились известные участки как наиболее подходящие для реализации их потребностей. Один из таких участков — это тема Л<енингра>да. Особенность этой темы в том, что она в высшей степени героико-патриотическая, и в этом смысле опробованная. Вместе с тем это тема полугражданская, то есть дающая возможность оперировать гораздо более разнообразными, менее стандартными коллизиями, и, наконец, это тема о злодеяниях врага, то есть широко включающая показ отрицательного, начало неблагополучия. Но тут-то и начинаются осложнения. Так как события происходят не на оккупированной территории, то происходящее включено все же в сферу утверждения. Следовательно, зло должно быть ограничено. Во всяком случае оно должно быть отчетливо снято в той же инстанции. На этой почве развернулась борьба между опробованными писателями и органами идеологического контроля. Борьба, в которой и та и другая сторона проявляют иногда большую настойчивость. Нельзя понять перипетии этой борьбы, не поняв той психологической функции, какую приобрела принадлежность к числу защитников Л<енинграда> или попросту к числу оставшихся.

Эта принадлежность сама по себе стала неиссякаемым источником переживания автоценности, источником гордости, оправдательных понятий и в особенности чувства превосходства над уехавшими. Каждый почти наивно и почти честно забыл очень многое — они забыли, как колебались, уезжать или не уезжать, как многие остались по очень личным и случайным причинам, как временами они жалели о том, что остались, как уклонялись от оборонных работ, как они теряли облик человеческий и совершали странные жестокие и бесчестные поступки, как они думали только о еде и ко всему остальному были равнодушны. Они помнят не памятью, отягченной деталями, но каким-то суммарным ощущением помнят, что они остались, что они страдали, что они вытерпели, что они не боялись смерти, что они продолжали работать и участвовать в ходе жизни. И это правда. Никто из них не нарушил хода жизни. Они способствовали ее продолжению, спасая себя, своих близких, продолжая свою повседневную работу, бросив которую, они бы погибли. Это правда. Только то, что было инстинктом самосохранения и темным проявлением общей воли к победе, — сейчас предстает им гораздо более очищенным и сознательным. И предстает им с прибавлением того героического самоощущения, которого тогда у них не было.

Специфическое Л<енинградск>ое переживание автоценности нашло себе любопытное выражение в нашей литературе о Л<енингра>де. Причем у писателей довольно бесстыдная спекуляция чужими и даже своими страданиями как-то сочетается с искренней потребностью реализовать то, что они ощущают как самый высокий и трудный свой жизненный опыт.

Предпосылки у них следующие: проблема третьей инстанции, в сущности, для них вовсе не существует. Во второй инстанции — все, разумеется, благополучно³⁶. Но они хотят, чтобы им позволили сказать, что они страдали, и до известной степени показать то, что происходило, чтобы показать, что они вынесли, чтобы показать героике пережитого. Для них это вопрос реализации. И именно потому, что показать частичку им позволили, им уже трудно удержаться от того, чтобы не продвинуться по этому пути еще и еще немножко. При этом они, разумеется, согласны снять трагизм в той же первой инстанции, показав, что для человека данной сферы (в этом заслуга сферы) нет неразрешимых вопросов и непреодолимых препятствий.

Один из типических случаев — Кетл<инская>. Женщина с бешеным самолюбием и со страстями и романами. В прошлом — сексуальные нравы эпохи военного коммунизма, несколько усложненные полученным воспитанием (адмиральская дочь). Выйти в первые литературные ряды не удалось. Имеется уязвленность. Пошла по партийной линии. В результате во время войны, когда мужчин мобилизовали, неожиданно для себя самой очутилась во главе Союза. Наслаждалась властью. Стой особой остротой, с какою властью наслаждаются женщины, ощущающие свою социальную реализацию не как нечто само собой разумеющееся (мужское отношение), но как нечто уникальное, добытое личным усилием и потому ласкающее гордость вдвойне, — факт власти сам по себе и факт уникальности (ее) достижения. Она стояла у власти в самое трудное время. Ею были недовольны, как были бы недовольны всяким, кто ведал бы в это время распределением благ. Но потом вышло хуже. Ее сняли. Сняли, правда, тихо, без всякой дискриминации. Но тень уже была брошена, и, главное, враги торжествовали. Все это надо выправить.

Еще во времена своего административного расцвета она затеяла выправить свое литературное и, так сказать, моральное положение. Благодаря большому своему жизненному напору и относительно благополучным условиям, она стала писать большой роман³⁷. Это уже само по себе готовая автоконцепция — среди всех обедающих, болеющих и бездельничающих она одна имеет творческое мужество работать над большим полотном, неся при этом ответственные общественные функции.

После ее административного падения функция романа усложнилась; ему пришлось стать доказательством безупречности ее гражданского поведения. Ее обвиняли в самоснабжении, и ей нужно, прежде всего, доказать, что она страдала как все и со всеми. И уже доказав это, установив эту предпосылку, извлечь из этой предпосылки всю автоценность, какую только возможно.

Вообще эта предпосылка страданий со всеми наравне очень занимала всех написавших о Л<е>н<инграде>. Естественно, что написали тогда те, кто находился в наилучшем положении, ибо остальные физически не могли писать. Но у пользовавшихся благами состояние было противоречивое. С одной стороны, они не только хотели этих благ из чувства самосохранения, но они не могли не гордиться ими как признаком социальной избранности, ставившим их выше других людей, и не презирать втайне тех, кто, не имея этих благ, умирали. Это была автоценность одного порядка, порядка социальной избранности, но в то же время им хотелось пользоваться автоценностью всеобщей героики, которая складывалась как раз из противоположных признаков. В тогдашнем своем быту каждый мог найти признаки этого рода. Причем они именно складывались в систему, подлежащую опубликованию, тогда как признаками социальной избранности человек наслаждался про себя.

Припоминаю, как Х-ы в достаточной мере бесстыдно ели жареных куриц, булку, масло, лук и проч., привезенные им из Москвы, на работе (где жили), на глазах у голодных людей. <...> И это осталось литературно невоплощенным, хотя это было, вероятно, одним из очень сильных переживаний того времени.

В<ера> И<нбер> жила настолько явно хорошо, что она не могла этого скрыть, и потому несколько не скрывала чувства превосходства над плохо живущими, то есть не такими ценными и нужными государству, как она и ее муж. Это превосходство выражалось в искреннем желании накормить того, кто к ней заходил; в жалости, в той отчужденной и осторожной жалости, которую испытывают только сытые и которая выглядела тогда странным анахронизмом. Оно выражалось в советах уехать, спастись по возможности. В недоверии к тому, что неизбранный человек может это выдержать, что он не обречен.

Этим недоверием к чужой возможности уцелеть, этим состраданием и снисхождением она оправдывала собственную привилегированность. Это понятно — только тот может без стеснения говорить другому: мужайся, — кто сам несет тяжесть или делает вид, что ее несет. В своих литературных произведениях она сделала вид, что несет. Это право поэта. В быту сделать вид нельзя было, потому что благополучие было слишком явно. Этим она никак не могла гордиться, и потому она гордилась другим — тем, что она не боится бомбежек, тем, что она, невзирая ни на что, работает каждый день регулярно до трех часов, тем, что у нее в Л<е>н<ин>гр<аде> налаженный и комфортабельный быт. Но все-таки и ей хотелось немножко этой бытовой героики, и ей хотелось быть «со всеми сообща». Однажды она кормила за своим столом двух очень голодных людей. Она радушно кормила их супом, кашей с мясом, хлебом. Но когда стали пить чай, оказалось, что у них сахар на исходе. В вазочке подали несколько очень мелко расколотых кусочков.

— Сахару в доме нет, дорогие товарищи, — сказала В<ера> М<ихайловна>, — имейте в виду. Каждый получает ровно по кусочку.

Она жалела и очень охотно кормила голодных людей, и я не сомневаюсь в том, что сахар действительно у них вышел. Кстати, в те времена всем показалось бы более чем естественным и даже превосходным, что каждому дали к чаю по кусочку сахара. Но ей нужно было это подчеркнуть. Она проговорила эту фразу с удовольствием. Эта фраза была для нее актом приобщения к всеобщим лишениям, к героической жизни города. И по ходу чаепития она еще раз два повторила эту фразу.

К<ет>тл<инская> — это случай другой. Там благополучие не было ни столь явным, ни столь законным. В нем приходится оправдываться. Ей нужно внушить, что она страдала, что она стояла на посту и что при этом она имела мужество продолжить творческую работу. Она написала большой роман, с героической героиней, самоотверженно действующей на службе, на крыше, на оборонных работах; с героической матерью героини, самоотверженно действующей в детских домах и т.д. С контрастным мужем героини, который в страхе эвакуируется. Вообще все это проникнуто безапелляционным презрением к уехавшим, какое только может быть у человека, решившего извлечь все возможности — вещественные и не вещественные — из того, что он остался.

Разговор с редактором радиопередач из этого романа. Редактор поражен откровенностью (принимая во внимание героичность и чрезвычайное любование героиней), что произведение — автобиографическое. Еще более он поражен, когда, по ходу разговора, она без запинки произносит фразу: «мы, героические л<енинград>цы» (вроде — мы древние римляне). Он еще не знал, что можно с такой прямолинейной серьезностью произносить подобную фразу. Но, по ходу разговора, он начинает понимать. Это позиция, которую надо вкрутить всем, и она вкрутит, как Берг, который рассказывал о том, как он взял шпагу в левую руку³⁸. Попутно она рассказывает о том, как погибла от дистрофии ее мать (изображенная в романе), и как ей самой было плохо, и как сосед, небезызвестный литератор (не будем называть имена, но через несколько минут имя называется), присвоил дрова, которые ей предназначались. При этом здесь важно не опорочить соседа, давно уехавшего, — это не так уж актуально, а важно сделать лишний упор на то, с каким трудом ей доставались дрова; со всеми наравне. Ведь ее обвиняли в самоснабжении. И вот нужно подавить это обвинение героическим образом. Редактор — человек, стоящий в стороне. Казалось бы, от него мало толку. Но она не брезгует никем. Надо внушать как можно большему количеству людей, пользуясь всяким случаем. Пригодится. Это по системе Берга.

Второй разговор происходит гораздо позже; уже после возвращения К<е>т<линской> из М<осквы>, где она добивалась и добила разрешение на печатание. Долго и с увлечением рассказывает все сначала, казалось бы, мало нужному человеку. Опять та же система и, кроме того, потребность говорить о себе.

— Вам много пришлось переделать?

— Нет. Кое-что я сама переделала. А вот что мне было прямо предложено — это поставить все точки над «и» по вопросу об уехавших. Чтобы было совершенно ясно — в каких случаях это нужно было, в каких не нужно. Наверху этому сейчас придадут большое значение; как раз хотят поднять всячески самочувствие тыла, чтобы тыл тоже чувствовал себя работающим на армию. В связи с этим я кое-что переделала с этим мужем. Помните? (Ей, конечно, это не по душе. Ее внутренняя тенденция — это поднимать цену оставшимся за счет уехавших.)

Она рассказывает очень много и быстро. Она лично говорила с В. И он сказал ей — то, что у нас пишут, невозможно читать, и никто этого не читает и не слушает. Пора переходить на настоящие вещи. (Подр<азумевается> — В. понял, что я это не то, что все.) — Наверху это понимают (установка, что наверху все понимают, — один из методов разрешения противоречий в первой инстанции). Потому что они смотрят с широкой, государственной точки зрения. Наверху все читали. Остался Ол<?>. С., который не будет этим заниматься. Показывает, что она не ослеплена, что она понимает пределы, но что вместе с тем эти пределы для нее очень высоко расположены. А внизу они, конечно, сейчас уже теоретически признали, что, кроме газетных, злободневных вещей, нужны уже большие вещи (прежде в этом сомневались), но беда в том, что они к этим большим вещам продолжают прилагать газетные мерки и требования, сами не отдавая себе в этом отчета.

В М<оскве> она что-то такое сделала для Информбюро. Низшее и среднее начальство запретило, но высшее (бывающее в ЦК) сказало — нет, пусть именно все так останется. Для загр<аницы> надо писать интересно.

Она именно так для них пишет, так, как им надо. Очень лично, иначе они не понимают. Они не понимают, если им вообще написать о положении города. Им надо написать так, как я написала: я, такая-то, вернулась после поездки к ребенку. За это время моему мужу (значит, крепкая сов<етская> семья) удалось выбелить потолки. Я привезла помидоры, которые в Ленинграде редкость, мы устроили торжественный ужин. Потом я описала, как в мое окно виден соседний разбомбленный корпус, и сквозь него вечернее небо и ветви деревьев (мотив — мы беззаветные герои). Потом я написала, что у каждого л<енинград>ца был свой маршрут и что в течение полутора года каждый шаг этого маршрута был чем-нибудь отмечен. Я описала свой маршрут в Д<ом> п<исателей>. Вы все помните это. Вот здесь вы были, когда упала бомба, здесь, когда начался обстрел, и вы не знали, что делать, идти ли быстро дальше или прижаться к стенке. Вот здесь, у этой подворотни, упал человек, и Вам хотелось его поднять, но Вы знали, что не в силах это сделать и, главное, что это ни к чему не поведет.

Я написала, что все это не так страшно (мотив мужества и бессознат<ельного> героизма), потому что ведь это за полтора года. Не каждый ведь день что-нибудь случалось; иногда даже в течение недели особенного ничего не случалось. Я написала — Вы хотите знать наше отношение ко второму фронту? Вот наше отношение. Для меня это вопрос жизни моих

близких, вопрос возвращения моего ребенка, вопрос нормального труда и творчества. Все, что я делаю сейчас, то, как я живу сейчас (подразумевается — беззаветное служение родине), мне лично вовсе не свойственно; не свойственно как женщине, как матери, как писателю (внутренняя свобода и высшая человечность), и я жду и хочу возвращения к моей подлинной жизни. Данное в личной форме, с бытовыми подробностями — это для них убедительно и интересно.

Охотно верю. Там действительно любят такие вещи. Но она умалчивает о том, насколько это до головокружительности, до эротизма увлекательно для нее. Какой это соблазн, особенно для женщины, говорить о себе, экспл<уа>тировать свою частную жизнь, открыто построить свою автоконцепцию. На все это у нас еще наложен запрет (во всяком случае, все это затрудуно) — остаток нашего социалистического ригоризма.

В тот момент, когда она мне рассказывает об этом, мотивы самооправдания, даже фактического самовосхваления (сообщение о себе положительно расцениваемых фактов) отступают назад. Она просто эротически, нарциссически наслаждается возможностью — под предлогом профессионально-интересного рассказа о том, как надо писать для иностр<анцев>, — еще раз воспроизвести и пережить собственный образ, который ей разрешили объектировать.

Стержень этого разговора — мелкие чиновники, которые боятся, как бы чего не вышло, испугались (это материал для гордости — есть чего пугаться, значит, настоящее слово о жизни), но она проявила железное упорство гражданина, уверенного в своей патриотической правоте, и художника, отстаивающего свое творение. И большие люди, до которых дело дошло, с их широким взглядом на вещи, стали на ее сторону. У них не канцелярская точка зрения, а государственная. А те привыкли к лакировке. Они привыкли, что если черная краска, то надо рядом поскорее положить розовую. Каждый из этих пишущее-печатающихся сейчас искренне презирает лакировщиков, искренне, потому что удовлетворяет своей потребности чувствовать себя выше. Каждый говорит «они», не понимая того, что это уже абстракция, что никаких этих презренных «их» нет, потому что он сам плюс еще иксы и игреки и составляли этот самый контингент лакировщиков. И он вместе со всеми другими проделал однородную эволюцию к желанию сказать крупицу правды. И вот теперь одновременно каждый из них испытывает превосходство, и они презирают друг друга, даже не друг друга, а некую абстракцию из самих себя извлеченную.

— А я им сказала (самым высоким людям), что я моих черных красок не уступлю. Я сказала, что я *имею право* об этом писать, заработала это право. Я им сказала, что не уступлю ни одного трупа. — Так, так... А где были ваши черные краски и ваши трупы несколько лет тому назад? Тогда вы не то что все уступили, но вам и в голову не приходило, что есть что уступить или не уступить; настолько это писание не имело отношения к действительности; настолько между ним и действительностью были перерезаны

всякие связи. Тогда не было щели. Теперь, благодаря наличию второй сферы (сфера зла и отрицания), появилась щель, и они стремятся в эту щель поскорее проташить очень громоздкие соковыища, которыми им хочется украсить; например писательскую совесть, о которой они прежде знали только понаслышке. Но проташить в эту щель такие вещи трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко*.

<О. Берггольц> <...> в сильной реакции на впечатления, в способности мыслить (это ум женский, не абстрагирующий, но понимающий многое), в даровитости.

Она женщина, которую много любили, которая много любила и которой многое простится. Она мать, потерявшая ребенка. Она человек, который много мыслил, искал и заблуждался. Она поэт, свидетельствующий о своем времени и о судьбе своего поколения. Принадлежность к мыслящим и внутренне свободным — залог превосходства над прочими. Автоконцепция большого размаха. И она с упорством добивается, чтобы ей позволили хоть частично ее реализовать. Иначе ей уже не интересно.

Она настолько даровита, чтобы интенсивно хотеть сказать то, что она имеет сказать; но дарование ее, хотя несомненное, — не очень большое; поэтому оно допускает границу свободного суждения. Оно готово утверждать в первой инстанции, но только граница утверждения должна быть отодвинута в большей мере, чем это обычно принято. Это знаменитая попытка получить сразу все удовольствия. То есть совместить свободу мысли с печатальностью и по возможности с преуспеванием. Из этого обычно не получается ни того, ни другого. Но кто уже раз хлебнул в какой-нибудь области печатной реализации и какой-то известности, тому нужно поистине гигантское усилие, чтобы впредь от этого воздержаться. Так, например, *историко-литературные* вещи я уже не могу писать в стол. Так или иначе я буду их аранжировать для печати. Преимущество только в том, что история лит<ературы> требует — по крайней мере, требовала — гораздо менее жесткой аранжировки. О<льга> идет совершенно тем же путем, что ее муж. Как это складывалось у нее биографически?

До катастрофы³⁹ у нее были многообразные способы осуществлять свое превосходство. Она была носителем истины и силы. Она могла поражать врагов и вправлять мозги не вполне правоверным. Катастрофа ударила очень больно и, кроме того, лишила хозяйского положения в жизни.

В переводе на сублимированный язык это было названо помрачением абсолютной истины. Я верю, конечно, в идеологические катастрофы и проистекающие из них личные страдания, но не верю, чтобы эти люди, вывалявшиеся в литературной грязи, способны были на чисто идейную катастрофу, хотя, может быть, им искренне так казалось. По существу же здесь было больше личного потрясения, потери хозяйского места, потери людей, изменения всех соотношений, столь радикального, что пришлось заново ориентироваться и самоопределяться.

* [Страница рукописи утрачена.]

И она ориентировалась среди этих страшных обломков. Со своей склонностью и способностью к внутренней жизни, к осознанию переживаемого, она концепировала все это как трагедию и как поэт захотела, во что бы то ни стало захотела ее выразить. Иначе ей уже не интересно. Но как поэт, привыкший печататься, захотела выразить печатно. Так начались мытарства; упорная борьба с органами всех степеней. Органы черкали, вылавливали недозволённые намеки, запрещали отдельные стихи, запретили целую книжку. Она этим гордилась, но обходилось это дорого. А братья-писатели, наиболее благожелательные, говорили с сожалением: все-таки Оля травмированный человек. Они понимают, конечно, что в частной жизни можно быть травмированным человеком, мрачным человеком, истерическим человеком — что угодно. Но они не понимают, какое отношение это может иметь к писанию. В этом отношении они бессознательно мыслят, как писатели доромантической эпохи. Писание отношения к внутреннему опыту не имеет. В том, что Б. настаивает на раскрытии своего внутреннего опыта, — они видят женскую причуду, истерику, психическую неуравновешенность или мстительное упрямство. В частном быту — другое дело; так это все понятно, всем свойственно, там это на месте. Но что за странная идея вливать этот сумбур в готовые формы писания.

Таково было положение вплоть до войны. Как раз перед войной ей зарезали уже сверстанную книгу, сценарий у нее не приняли, потому что там были изображены какие-то порывы масс и не было вождей. Помимо всего, на ней лежала тень политических подозрений. Война вскрыла конфликт. Она, разумеется, осталась и жадно ринулась в героиню. Ленинградство стало для нее отпущением грехов. Правом сказать: вот я, подозреваемая, пострадавшая, стою на посту в числе самых лучших, верных и твердых. В то же время эта тема дала выход назревшей в ней трагической интонации, которая никак не могла выйти наружу, поскольку она прикреплялась к темам запретным. Наконец, эта тема на общем героическом фоне позволила ей создать собственный необычайно привлекательный образ: жена с большой душой (на гроб мертвецу жалко хлеба, живым — не жалко)⁴⁰, умеющая любить, страдать и бороться. Во всем этом много личного, полемически утверждающего себя, компенсаторного за прошлые неудачи, и потому героиня взята на очень истерической ноте и на неудержимом самолюбовании, коллективном и личном. Примирение происходит в первой же инстанции, конечно; но оно отодвинуто и до этой границы располагается трагедийный материал (она не понимает, что в сущности он не трагедийный, поскольку впереди — на близкой дистанции — готовое примирение). В стихотворении «Жена патриота» женщина *сейчас* твердо переносит гибель мужа, но когда другие будут возвращаться, она «по-женски заплачет навзрыд»⁴¹. Сказать об этом — это уже поэтическая вольность, которой гордится автор, впрочем, умеряемая тем, что этой же фразой утверждается крепкая советская семья.

В «Ф<евральском> д<невнике>» все заранее в первой инстанции замирено любовью к Родине и ненавистью к врагу, но в пределах этой гра-

ницы располагается материал ужасного быта, дающий право на личную героическую интонацию; не только на абстрактно героическую военную интонацию, которой удовлетворяется большая часть поэтов-мужчин. Но на личную, без которой с трудом обходятся в искусстве женщины, которым нужно воплощать себя лично, конкретно, физически; воплощать себя как объект эротического любования и самолюбования. Неприятности не замедлили появиться. Сначала был испуг; потом высшие согласились на героикку. Потом успех у публики; настоящий эмоциональный успех у женщин, на фронте и т.д. Но через некоторое время, естественно, появились новые установки. Забыть дистрофию и заняться моральным и материальным восстановлением и, главное, крепить трудовую дисциплину. Тут-то ее и обвинили; не только она написала мрачную вещь (скажем, тогда это было оправдано), но она продолжает держаться за эти мотивы. Намекают на то, что эта склонность к мрачным мотивам связана с ее старой травмой. У. говорит прямо и всерьез: Город очистили, канализацию исправили, и поэма Б<ерггольц> потеряла свое значение.

А ей в самом деле не хочется с этим расставаться. Ведь это ее высокая интонация, ее личный трагический образ. Ей же не интересно писать, как Лена Р<ывина>, просто трам-там. Абстрактно писать о чужих фронтовых подвигах. Ей хочется писать о личном подвиге. А личный подвиг, собственно, состоял в том, что каждый выжил и что тем самым выжили все, то есть город выжил. Именно потому, что это подвиг и личный, и общий, о нем можно писать; ведь нельзя прямо написать о себе: я совершил такой-то героический поступок в бою. Но подвиг выживания обуславливается ужасом условий, поэтому с этим ужасом трудно расстаться. Ей в особенности, потому что для нее это не только случайно свалившееся повышение самооценности, но это закономерное завершение, разрешение трагической линии судьбы. Для нее это сюжетно. Это развивающаяся автотонцепция — женщина и человек, очищающийся от всех ошибок, сомнений, конфликтов — в огне общего высокого страдания. Глава в «Исповеди сына (дочери) века»⁴², и она еще переживает эту главу, а от нее хотят, чтобы она, по случаю исправлений городской канализации, перешла уже на другие темы, не имеющие для нее этого личного волнующего интереса.

<ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕТРАДЬЮ «СЛОВО»>

<РАЗГОВОР С ТЕТКОЙ>

Тетка: Ой, я безумно спать хочу. Мне кажется, если бы я на 15 минут прилегла, я бы ожила. Только на 15 минут, потом я опять буду свежая.

Вообще, ты очень злой стал. Ты по отношению ко мне очень несправедлив. Но все-таки мне с тобой трудно расстаться. Но я бы рассталась. Ты говоришь, что я тебе в тягость, тебя раздражаю. Я бы уехала при самых ужасных условиях. И действительно я тебе в тягость. Но все-таки мне кажется — ты будешь по мне скучать. Ты ко мне привык. Все-таки ты приходишь домой, мы вместе кушаем. Есть свои маленькие радости — сегодня выдают то, завтра — это. Ты приходишь домой. Все готово, ты тоже вкусно готовишь.

— А что будет зимой?

— Ой, зимой я не знаю. Мне хотелось бы две вещи, чтобы было зимой. Чтобы мы остались на месте и чтобы нам было тепло. Но не знаю, будет ли это. А тебе бы что хотелось? Я знаю, что тебе бы хотелось. И я тоже этого хочу. Сплавить меня. Мне это не нужно. Но ты против меня раздражен, и это понятно, ты ради меня приносишь колоссальные жертвы.

Ну вот — немного подмету — и все в порядке. Суп будет. Только жалко, если там будет хороший, пропускать. Мы покупаем по коммерческим ценам и платим такие деньги. А там питание даровое. Ах, вчера был суп чудесный. Я так соскучилась по картошке. И она мягкая была. Только мне не хотелось бы, чтобы ты таскался с супом.

— Все-таки тебе в М<оскве> было бы лучше.

— Ой, оставь. Потом я вечно думала бы о тебе. Ты скажешь, что это притворство. Но мне все равно, что ты скажешь. Я бы очень скучала по тебе, несмотря на все несправедливости. Несправедливость состоит в том, что я не виновата в том, что являюсь тебе помехой.

— <...>*

— А, да ну тебя. Никогда бы лучше не питалась. Не надо мне лучше питаться. Завтра получим молочко. Сколько?

— Полтора литра.

— Всегда нас немножко обижают.

— Обижают — нет.

— Я что-то стала равнодушна. Я только одно — когда ты говоришь, что ты еле тащишь ноги... Это меня пугает. А ко всему остальному я притупилась. У тебя переменялась, совершенно другая фигура. Во-первых, ты стал стройный. Весь этот горб был чисто жи-

* [Строка пропущена.]

ровой. А я думала оттого, что ты всегда за письменным столом. Во-первых, при очень толстом корпусе; ненормально — у тебя были очень тонкие руки и ноги, это было некрасиво. А теперь корпус стал тонкий, а руки и ноги как будто пополнили. Только мне обидно, что ты коричневый костюм все таскаешь. Если бы был Мак<огоненко>, я была бы спокойнее. Он все-таки обещал дать комнату, перевести нас на два месяца. А этот¹ в этом отношении недоступный. Они все поверили вот весной — и проворонили.

— Нет, навряд ли. До сих пор не попадало. Я не думаю, что теперь попадет. В особенности, если нас перетащат в третий этаж или во второй.

— Но жалко — я так просушила эту комнатку. Я так экономлю дрова. И ухаживаю за печечкой. За ними надо ухаживать. Я ее два раза в день щеткой с мылом тру.

Я, когда закрываю глаза, мне все представляется мостик, который мы переходили. И я все не могу вспомнить, где — в Зат<уленье>² или у Вити. Теперь я вспомнила, в Зат<уленье>. Помнишь, там был такой милый мостик.

Как они все-таки возились с этой дачей. Все деньги вложили. А теперь не знаю — будет она их, или ее заберут. Так мне жалко, что ты ее и не повидал. Н. так скорбела об этом, я даже удивляюсь. И <я?> тоже. Почему, почему ваш не едет; неужели ему не интересно.

Бежали утром на огород, сами выкапывали картошку. Это была моя обязанность готовить картошку к завтраку. А грибы лежали исключительно на мне. Я и Н. Ну, Н. приготавливал огромные количества на зиму. А я так, немного, чтобы подкрепиться. Побежали в сад, набрали корзину грибов. Там чудные грибы — красные, подберезники. Но бывали и дни, когда мы с Н. оставались вдвоем и сидели на одной картошке и огурцах.

— Ну, сейчас я бы посидел на картошке и огурцах.

— Да, еще молоком запивали. Какое там чудное молоко. Я с удовольствием думаю о завтрашнем молоке. Ты принесешь кашу. Если бы был желатин, можно было бы желе сделать. В магазине дают лучшее молоко. Там — всегда с кислицей. Вчера дали много каши. Я заметила, когда ему даешь большую банку, он дает больше. А можно так — если они будут давать зелень или что-нибудь, это обременительно — оставить банку для керосина там. И взять на следующий день. Это можно.

РАЗГОВОР С Н.Л.

Целеустремленно разговорная ситуация. Предрешенная тема — Т. и ее состояние, посетитель специально заходит узнать об этом. Но в то же время Н.Л. больна, так что к ситуации прибавляется навешение больного со всеми вытекающими обязательствами.

1. Предрешенная тема. Она такова, что ее неудобно откладывать, а надо пропустить сразу. До этого допустима и даже нужна только интродукция, касающаяся состояния здоровья самой Н.Л.

- Я звонил, мне сказали, что вы на бюллетене.
- Да, со вчерашнего дня, хотя больна уже, собственно, давно.
- Что такое?
- Кто его знает. 38,6.
- Ого!
- Вы знаете, что с Т. (Дальше уже откладывать нельзя.)
- Да. Я и зашел...

Начинается подробный рассказ о новых осложнениях.

Расспросы посетителя, соболезнования (выполнение своей функции). Личная тема Н.Л. в этом секторе разговора — сфера ее деятельности и интереса; к ней все ходят, она в центре этого дела. Кроме того, это сфера моральной реализации, ибо у нее позиция великодушия, женщина, собирающаяся в дальнейшем жертвовать собой, без единой жалобы по этому поводу. Все это знают, интересуются очередным актом этой драмы — сюжетная ситуация. Этот раздел разговора пронизан для нее всякими под-разумеваниями.

Он иссякает (потом, конечно, всплывает все время, но уже отрывочно), и приходится искать переходов для выполнения своих посетительских функций.

Проходят одна за другой все классические разговорные формулы. Об общих знакомых.

Одна линия разговора об общих знакомых отвечает от пред-решенной темы. Подыскивая переход по этой линии, посетитель приходит к Б<орису> Б<ухштабу> по трем ассоциативным импульсам: общий знакомый, которых у них немного, получил от него письмо (удобный зачин); ассоц<иация> с Т., которой Б.Б. написал письмо, возможность развития по этой линии разговора.

— Получил на днях письмо от Б. — Н.Л. тотчас же сообщает о трогательном впечатлении от письма Б. на Т. (вот настоящее дружеское письмо, оно меня поддержало...). Это имманентно-ассоциативная реплика, но в то же время имеющая интерес, так как примыкает ко всему трагическому комплексу, в котором Н.Л. играет активную и благородную роль. Далее от Б. отвечает тема уехавших-возвращающихся как всеобщее личная. Пос<етитель>: у него очень трудное положение с возвр<ащением>, в котором он сам не отдает себе отчета. Обе стороны заинтересованы в продолжении этой темы. Она развивается по всем трафаретам: превосходство над ними и правильность своего поведения (ничего нет хуже бездомности). Мы тут больше страдали, но страдали трагичнее, возвышеннее, не так унижительно.

— Ну да, но оставаться это была лотерея, вот Т... (подч<еркивает> драматизм своей ситуации).

— А вы думаете, Т. уцелела бы, если бы уехала?

О тяжелом положении эвак<уированных> сотр<удников> П<убличной> б<иблиотеки>. Параллельно раздражение и опасение, что они, не страдавши, займут места.

— А некоторые приехали очень благополучные. Рассказ о том, что невозможно ничего заказать в пошивочной мастерской (она уже четыре раза напрасно ходила), потому что все захватили возвращающиеся. Говорят, мы так обносились, что невозможно. Но у всех какие-то обрезы.

— Ну это жены ответственных работников, а вообще их положение было ужасно.

— Да. Разные случаи.

Сразу вступает полярная тенденция к утверждению своего бытового превосходства.

У Н.Л. есть основная травма, определяющая очень многое в разговоре. Это травма избалованной когда-то женщины, которая очень резко, без переходов, потеряла женскую привлекательность. Она проходит теперь через мучительный период привыкания к тому, что на нее не обращают внимания. Позиция гордости; никаких lamentаций; напротив того, предупреждение и пресечение всякой жалости. Легче (потому что трагичнее, ценность трагического) оформить это как катастрофическое следствие пережитого, а не как постарение. Подчеркивание психических и физических разрушений. Те, уехавшие, не испытывавшие этого, конечно, могли сохраниться. Переход в этом направлении от темы (утверждение превосходства) об их непонимании.

— Н. (приехавший) говорит мне о знакомой даме: Она тут ничуть не изменилась, даже поправилась. Потом оказывается, она работала подавальщицей в какой-то офицерской столовой. Можете себе представить! Я ему говорю — так вы бы с этого начали. Что ж удивительного. — Он говорит: Да, но ведь не всякая бы пошла. Представляете себе, не всякая бы пошла тогда в такую столовую! Конечно, они ничего не понимают.

Явная тема тут анекдот об их непонимании (тоже лично окрашенный); скрытая, более существенная тема, тема своей основной травмы. Подразумевается: разве мы могли сохранить привлекательность. Вот кто ее сохранил, не говоря уж о всяких рабских прилавках вульгарных, без всяких запросов. А наша судьба трагична (в этом самоутверждение).

Второй разговор об общих знакомых остается в более тесных пределах. Посетитель подымает его в качестве чистого перехода. Р. — сослуживица Н.Л., значит, дело более или менее верное.

— Ну, как Р. (поживает), видели ее в последние дни?

Тема прекрасно прививается. Она возникает вне личного плана. Для посетителя это чистая возможность и ассоциация. Но для Н.Л. она тут же подвергается личному окрашиванию.

К Р. у нее отношение беспокойное. Обе эти женщины, говоря друг о друге с большой симпатией, всегда друг друга жалеют. Р. — спокойно, с обычным чувством превосходства (одинокая женщина с ребенком, трудная жизнь, потеряла два передних зуба). Н.Л. — беспокойно. Жизненное положение Р. должно ее унижать — женщина, сохранившая обаяние, у которой муж, «интересный мужчина» и человек с большим положением

(высокое начальство Н.Л.) и т.д. Есть любовник, они влюблены оба. Приятно ее жалеть — бедняжка Р., она так плохо себя чувствует, такая беспомощная, осложнения на работе, не знаю, удастся ли ей и дальше приходиться через день и на три часа. — Н.Л. канцеляристка, хотя, казалось бы, и она могла бы быть переводчицей. (Р. это, конечно, удастся — муж.)

Теперь появился новый предмет в конфигурации. Вас., (бежен<ка?>) л<любви>ца мужа Р., им вызванная и временно остановившаяся у них. Р. на это идет сознательно, в силу особых отношений с мужем, с которым они «разошлись», оставшись вместе (он признал в свое время люб<овника>). По отношению к В. у Н.Л. зависть, не затушевываемая симпатией. Красивая, здоровая женщина (из тех, кто сохранились «там»), фаворитка начальника и интересного человека, имеет сверх того мужа, более квалифицированную работу и т.д. Н.Л. убивает двух зайцев, жалея Р. и негодуя на В.

— Не понимаю, как Р. это все-таки терпит. Ей беденькой — так трудно все это большое хозяйство. Подумайте, она, такая слабенькая, сама готовит, стирает (приятно, что такая женщ<ина>, в таком положении сама готовит, стирает). А тут еще лишний человек.

— Ну, у них там в семье особая ситуация (пос<етитель> знает, что это замечание не по существу, но ему интересно затронуть эту скандальную струну и посмотреть, как она отзовется).

(Понимающе улыбаясь): Это можно даже оставить в стороне. Но независимо ни от чего — такая неделикатность. Когда я гостила у родных Л. (покойного мужа), где меня ни до чего не допускали, где мне все были рады, я все-таки старалась все делать, чтобы не обременять... (прямое утв<ерждение> прев<осходства>)... Вы находите ее красивой?

— Во всяком случае, эффектная женщина.

— Конечно. Большая, сильная (подразум<евается> — грубая), но вообще она, как говорит Р. (значит, не выдерживает и говорит), — не нашего профсоюза. (Конек Р. — аристократизм, тут уж безусловное превосходство, в котором объединяются она, Р., и собеседник) (утвержд<ение> по формуле «мы, избранные»).

В порядке подворачивающихся возможностей пос<етитель> от той же темы переходит к ребенку, зная, что дети встречались.

— Славная девочка. Очень, очень славная. Но бедная девочка, она так похожа на отца, она ужасно некрасивая.

— Ну, возраст такой, может быть, выровняется.

— Нет, у нее нет никаких, никаких данных...

(Ее собств<енная> дочь хорошенькая. Прямое превосходство над этой знатной семьей.) — Очень славная, они с Н. так хорошо провели время, у них общие интересы, книги, которые они читают (одного профс<оюза> с этим семейством, хотя случайность сделала ее канц<елярской> служащей). Они даже в буриме играли. — Дочка некстати вмешивается; оказывается, они играли вовсе не в буриме, и она даже не знает, что такое буриме.

— Ну, не буриме, я хотела сказать. А в эту другую игру, со словами...

Дочка подсаживается на кровать. Разговор перебивается. Н.Л., как бы отчасти для дочки, начинает шуточный рассказ. Явная целеустремленность — рассказывание интересного; скрытая целеустремленность — утверждение своего превосходства над не нашим профсоюзом. . . .

Вчера, когда на нее одно за другим обрушивались тяжелые известия (все-таки она не теряет чувство юмора) и, вероятно, была уже высокая температура (она ненавидит врачей и всякую возню с собой, не видит основания дрожать за свою жизнь. Сюда примыкают рассказы о беспечном поведении во время бомб<ежек> и обстрелов), ее затащила к себе соседка посмотреть ребеночка (она умеет внушать к себе доверие самым простым людям). Изобр<ажение> соседки (самоут<верждение> чувством юмора несмотря ни на что и переживание формы) — Ребенок — Толька — а приходил Валька. Как Валька, был же Миша. А Мишка-то был раньше, а теперь Толька. А Мишка кричит — не уйду из комнаты. Но il n'était pas son mari (devant лезинфан)[#], а я женщина, я так не могу. И тут же про радости материнства. А я в это время говорю — какой дивный ребенок, и восторгаюсь, как полагается, ручками, ножками. А в голове у меня все мутится, кто Олька, кто Толька, кто Валька, где сама Маруська. И я прихожу домой, и доктор мне говорит, что, кажется, у меня воспаление легких. . . .

От семейства Р. разговор еще ответвляется на восстановление пригородов (муж Р.)³.

Сравнительное состояние дворцов (рассказывание объективно интересного, наша Л<енинград>ская тема, в которой мы косвенно самоутверждаемся как участники драмы; мы, культурные люди, толкуем о Мар<иинском> т<еатре> и плафонах).

Теперь ей все равно (дистр<офична> — катастрофа). Культурные переживания. Переход к людям. Нехор<ошие> рассказы. Удовольствие от этого. Обесценивание ненавистного.

В порядке чистого перехода пос<етитель> задает дурацкий вопрос:

— Ну как вам сейчас служится — не очень скучно?

— Ужасно. Тоска такая. Регистрирую бумажки.

Рассказ об этой тоске, показывающий абсолютное превосходство над собств<енным> жизненным положением. Машинисткой было интереснее, читаешь какие-то рукописи все-таки. Я ведь все время печатала фр<анцузские> и др.

Пос<етитель>, подтверждая это превосходство (жаль собеседницу): Почему вы все-таки не устроились преподават<елем> языка?

— У меня ведь нет диплома. . . .

— Да. . . .

И вдруг в этот момент неожиданно открывается плотина. Начинается прямая реализация в слове, связанная, неудержная, ничего не стыдящаяся (при девочке, которая сидит с книжкой в стороне). Она не хочет быть жалкой, и страстно и долго говорит об этом.

[#] он не был ее мужем (перед детьми) [лезинфан — les enfants] (фр.).

Пусть будет теперь такая работа. Она прожила интересную жизнь. Ей жалко людей, которые от чего-либо отказывались. У нее было все. Увлечение искусством.

— Я ведь жила Эрмитажем и всем этим. Потом не могла туда ходить, когда все испортилось. Меня много любили. Это хорошо вспомнить. И, главное, интересные люди. Мало у кого в жизни было столько интересных людей, просто друзей (значит, представляла для них интеллект <уальную> ценность). Перечисление этих людей. Муж покойный. Я считаю, что он очень был инт <ересный> человек. С ним можно было без конца говорить. Его во многом можно было упрекнуть, что он играл, что он был легкомысленный, но только не в скуке. До последнего времени он мог прийти в 3 ч <аса> ночи. О чем-то заговорит, и тут сразу ставился чай, и мы говорили, говорили. Когда он умирал, он так о ней говорил, так ценил ее высоко.

Потом Фр., его считали очень неприятным человеком (значит, и такого сумела приручить). Но для меня он был замечательным другом. Необыкновенно тонкой культуры человек. Потом какой-то профессор химии, который открыл ей целый мир.

Наконец Т. У Т. много недостатков. В отличие от всех вас, я не считаю е <е> очень умной (утв <ерждение> собств <енного> свободного отношения к вещам), ни очень образованной. Это говорю я, которая совсем необразов <анная> (автоконц <епция> — загубленная судьба), но не нужно быть художником, чтобы судить о картине. Но она очень многое понимает. Это такое наслаждение, когда все сказано с полуслова.

Тут же излагается вся биография. История загубленной жит <ейскими> обстоятельствами художественной натуры. Девочкой — странный перелом в жизни. Всем тогда, помните, казалось, что это ненадолго. Поэтому не училась. Не нашлось разумного человека, который бы направил на правильный путь. Театральная школа. Дебют в роли Офелии — ею заменили заболевшую актрису (до чего классическая история!) — ведь у этой девушки наружность Офелии. Успех. Жених уговорил бросить сцену. И замуж не вышла, и сцену бросила...

Ну что ж. Потом служба была для заработка, а жизнь была насыщена интересами, искусством, любовью, интересными людьми.

Н. очень хорошая девочка. В этом отношении я счастливая мать. Она относится ко мне с безграничным доверием и любовью (это при дочке). Вот и на смену. Нет, правда, оглядываясь на все, я вижу, что прожила наполненную жизнь и могу спокойно встречать приближающуюся старость (сама говорю о надвигающейся старости; не позволю Вашей жалости себя предупредить).

Это замечательный в своем роде монолог, посвященный борьбе с угрозой оказаться в жалком положении. Она из людей с прямым и интенсивным самоутверждением. Отличие от Г <али> Б <итнер>. Прежде всего отличие женщины сильной эротической позиции. Автоконцепция трагической неудачи, но не от внутренних (как у Г.Б.), а от внешних причин.

Внутреннее только изящное (аристократическое) неумение устраиваться; это предоставляется работн<ицам> прилавка. Наивное неприятие этих внешних причин. Мы и они.

Когда ситуация раскрыта, она этого (Т.) не простит. Все что угодно, но не это. Страшный удар по самоутверждению. Поза великодушия, снисходительного признания, что Т. ост<ается> человеком центра, в кот<орый?> все обращаются по этому делу и т.д. и т.д.

С ней такая дружба, они сейчас так хотят др<уг> друга видеть — идиллия. И все это никому не нужно, насмарку. И она остается одна, никому не нужная, со своим не нашедшим применения великодушием. И, главное, это нельзя будет скрыть от людей, которым она предстояла как главный распорядитель судеб Т. и которые любовалась ее самоотречением. Ужасно, ужасно...

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ, СДЕЛАННОЕ У ТАТ.

Очень определенная разговорная ситуация. Разговор — цель. Навешение больного, притом находящегося в трагическом положении⁴. Тема отчасти предрешенная.

Ход разговора:

1. Посетитель: (Личная тема посет<ителя> — самооправдание) — ему неловко, что был давно, один только раз. Сразу начинает с оправданий. Прихожу за последние дни третий раз, два раза не пустили. Практич<еская> цель самооправдания. — Частью практический, частью инерционный разговор о способах попадания (какие сестры, когда дежурят и т.п.). — По ходу этого разговора всплывает имя Н.Л., которая говорила Т. о приходе к ней пос<етителя>, осведомлявшегося как попасть. Вопросы и ответы о состоянии ее здоровья.

2. Вручение принесенного угощения. В связи с этим сообщ<ение> о лит<ере>⁵. Им<манентный> вопрос — почему не получала до сих пор. Соответств<ующий> ответ. (Переход извне.) Укладывает принесенное. Разговор в связи с этим. — Съешь. Здесь то-то. — Не могу. Сыта. Меня уж тут как-то обкормили, так что это было! Завтра съем. Пирог с чем? — Пирог сладкий, ты хоть пирог съешь сегодня, а то он засохнет. Он вкусный. — Теперь аппетит у меня норм<альный>, а вначале ведь я не ела не только казенное, но и все изысканности, которые мне приносили. (Скрещиваются две подводные личные темы. Пос<етителю> — хочется, чтобы оценили его приношение. Обидно, что еда откладывается. Хвалит пирог с мотивировкой желания, чтобы Т. понравился. — Тебе-то и нужно есть как можно больше. — Личная тема Т. — гордится вниманием, которым окруж<ена>. Гордится небрежным отношением к еде. Преодолением унижительной дистрофической заинтересованности. Сравнялась с самыми привилегированными. Да, вот чем может гордиться человек в таком состоянии и в любом состоянии, пока дышит.)

3. Переход. Посетитель> наблюдает самостоятельные> движения больной, укладывающей принесенную еду. Впечатление дает материал для перехода. Впечатление подходящее, ибо оно связано с самой целевой установкой разговорной ситуации. — Ты что-то очень бойко двигаешься. Давай я. (Удовлетворение и облегчение от правильного выполнения своих посетительских функций. Возможность проявить заботу — предостерегает больного от лишних движений — и возможность сказать больному утешительное.)

— О, ты не знаешь. Я могу сидеть, двигаться. Что угодно. (Самоутверждение> больного, гордящегося своей живучестью. Силой организма, побеждающего смерть. Тип больного — не ламентирующий, а самоутверждающийся.) Отсюда развивается личная тема. Тема преодоления смерти. Все здесь говорят — как поправляетесь, а что было-то — уж не думали видеть в живых. Но старые сослуживцы все говорили — нет, Т.А. не умрет. Она не такая.

Посетитель>: Я тоже был уверен, что выживешь (говорение больному приятного. Подчеркивание> своей близости и душевного понимания. Эмоциональная волна).

Подробности лечения. (Сфера преимущественного интереса.) Посетитель> расспрашивает, выполняя свою основную функцию. У Т. автотоконцепция успешно борющегося за жизнь (все изумляются ходу заживления), и потому оптимистическая окраска того самого, о чем другие рассказывали трагически (вторая нога). Рассказ о том, как ее ставили на полу и как она это вынесла усилием воли.

4. Не хочешь ли покурить? (выполнение> функции: как можно больше внимания). — Спасибо, у меня есть. Что у тебя? — Казбек. — У меня тоже Казбек> (тема: обеспечена> всем, что есть у самых привилегированных>). — Представь, я предпочитаю> «Беломор» (показывает>, что нет парвенюшной погони за более дорогими папиросами. Предпочтение более дешевого — это всегда признак индивидуального> вкуса — один из видов самоутверждения — и свободного отношения к вещам. Превосходство). — Нет, а мне «Казбек» нравится. — Объясняет, что у них в палате запрещено курить. Все смотрят сквозь пальцы на то, что она нарушает запреты (гордость особым положением, которое у нее создалось. Основание — тяжесть случая, личное обаяние, социальный момент). Анекдот: она говорит сестре — как это вы нарушаете порядки и входите в палату с папиросой. Та к ней подходит и видит, что у Т. незажженная папироса в зубах. Нагибается и дает ей прикурить. В другой раз она неожиданно вошла в палату. Думая, что это врач, Т. быстро погасила папиросу. — Что это вы так входите внезапно? Я из-за вас хорошую папиросу загубила. (Свободное обращение с начальством. Неутраченное в трагическом положении чувство юмора. Хорошие папиросы — все это основания для самоутверждения.)

Посетитель> ищет перехода, чтобы не иссякал разговор. Возможный разговор об общих знакомых, притом связанный с данной ситуа-

цией и приятный Т., т<ак> к<ак> это человек, оказавший внимание. — Получила письмо от Б<ориса Бухштаба>. Следует ожидаемая, вызываемая реплика о его письме к ней, о том, что она тронута (есть друзья молодости — это возвышает). В имманентн<ом> порядке следует возмозный, хотя по существу неинтересный для обеих сторон, разговор об обстоятельствах Б<ориса>.

В порядке желая сделать приятное пос<етитель> подчеркивает тяжелое положение уехавших. Приводятся факты этого порядка. Подразумевание — хоть ты и пострадала от того, что осталась, но им зато очень тяжело и унизительно. В этом же плане рассказывается ей о смерти Ш., Тын<янова>. Вот, мол, они, уехавшие, умерли, а ты, несмотря <ни> на что, все-таки жива. Эмоционально ее, конечно, ничто постороннее не трогает. Она говорит, как полагается, — «жалко» (что ж, у нее реакции, как у всех людей, ничем не хуже).

У Т. ассоциативный переход — ты все седеешь. Пос<етитель> — слава богу, я уж с 28 лет седею, все никак не могу поседеть, удивляюсь, что так долго (самоутешение: 1. все-таки не от старости, 2. могло быть хуже. Лучше взять наихудший вариант, а потом от него отступать. Это дает облегчение. Так с возрастом. Приятно, когда можно сказать, что не столько-то лет, а все-таки меньше). — Почему же? (им<манентно>) — Красивее все-таки, а то зеленое что-то. (Автоирония, показывающая превосходство над страшной темой старости.) — Нет, отчего же, у тебя хорошо pepper and salt# (им<манентный> легкий разговор высококультурных людей. И вот она может его вести, несмотря ни <на> что). — Ну, это только так звучит красиво (им<манентно>), но есть здесь и смутное деликатное желание принизить себя физически, в разговоре с физически неполноценным человеком. — А я очень после этой истории поседела (переход на личную тему). Кудри мои развились. Я говорила, что как только у меня дистр<офия> пройдет, кончатся мои кудри. (Им<манентно>: расспросы о влиянии дистр<офии> на завивку волос.) Пос<етитель> удовлетворен легким движением разговора. Б<ольной> удовл<етворен> тем, что может вести этот непринужденный разговор (признак силы духа).

Пос<етитель> ищет перехода, иссякает тема, осматривает палату. Находит случай сказать приятное, подчеркнуть нетягостную, неунизительную обстановку.

— У вас тут легко дышится сегодня. Народу как будто меньше.

Реплика о том, что каждый вечер прогуливают по коридору (имеет, как потом выясн<ается>, скрыто-эмоциональное значение). — А сегодня вывезут? — Меня-то вывезут (подчеркив<анием> Т. хочется навести на тему, и эта подчеркнутая интонация дает надежду на наведение, но пока не удастся). Обязательно вечером. Когда все чистое ложится и все нечистое встает... Пос<етитель> чует эротический и самодовольный оттенок цитаты, но не может понять ее в данной ситуации⁶. В дан<ной> сит<уации> она кажется ему неловкой, и он ее не под- держивает (потом все выясняется).

⁶ перец с солью (англ.).

Возвращение Т к предыдущей отправной точке разговора. Нет, народу здесь много. В порядке рассказывания интересного из сферы своего окружения — некоторые рассказы о людях из освобод<енных> областей и т.д. А тогда здесь были все больше от того обстрела. Огромное количество людей, в разных районах (легче, что не так уж один<ока>, меньше шансов было избежать). — Переход к личной теме, отправная точка для подробного рассказа о катастрофе. Зачин: три снаряда в одном месте. — Как три? (Посетитель все время подает реплики в порядке выполнения функции, и в порядке действительной заинтересованности, дело лично волнующее.) Подробный рассказ с повторением уже отстоявшихся наиболее сильных формулировок, пос<етитель> их слышал уже от других — нога течет. В рассказе прямо подчеркнута жизнеспособность, сила духа. — Ничего не было: ни страха, ни отчаяния, только одно сосредоточ<енное> желание сохранить сознание, сохранить волю. — Что ж мне ждать четвертого <снаряда>, который мне голову оторвет?.. Лежа в подъезде, сказала проходившим — сообщите, что здесь двое раненых (не кричала, а сказала, и не только о себе). Разговор на опер<ационном> столе. — Придется резать. — Спасти нельзя? — Нет. Нет, так режьте. — Отказ от наркоза. Вообще все время отказ от всех наркотов, как акт самоутверждения. Замечания персонала по этому поводу.

Пос<етитель> вставляет реплики из своего аналогичного опыта, для утешения, но и как личную тему. Прод<олжение>: проделала все на высоком душевном напряжении, и потом уже потеряла созн<ание> на четыре дня. Эти четыре дня смакует — они показатель катастрофичности. Все вообще сфера реализации. Гордится своим поведением, гордится отношением окружающих.

Реплика без внешней связи, и потому, очевидно, имеющая внутреннее значение. М.б., уже придерживаемая в течение некоторого времени.

— Ты видел Н.П.?

— Да. (Пос<етитель> смущается за Н.П., боится обиды. При этом к<а>к раз тут хочет избежать личной темы. Мнется.)

— То е<сть> как часто виделись? Недавно?

— Ну да. Она ведь работает в «Лн» (отведение личного плана).

— Передай ей, что я вып<олнила> обещание, которое не давала.

— Вот что?

— Она просила меня когда-то: пож<алуйста>, никогда не умирай. — Так вот я не умерла, хотя и не обещала.

— Хорошо. Передам.

(Красивая эмоц<иональная> формула, выражающая сущность автоконцепции. И желание как-то дотянуться до человека, который один только уклоняется от оказ<ывания> внимания. (На др<угой> день вызвался.))

Пауза.

Посет<итель> ищет перехода. В качестве возможного перехода находит приезд Ст<епанова>. Ст<епанов> — старый знакомый. Возможная тема. Некоторый эмоциональный оттенок, ибо это воспоминание молодого

сти, а у них это главное содержание отношений (есть, впрочем, еще одно содержание). Во всяком случае у пос<етителя> есть надежда, что с этого трамплина дальше разговор некоторое время будет развиваться имманентно.

— Знаешь, кто здесь сейчас — Коля С<тепанов>.

— Ну? Что он делает? (Им<манентно>-инерц<ионная> реплика.)

— Да так. Под видом ком<андировки> приехал сюда смотреть, что с квартирой. Ничего хорошего не усмотрел. (Личная л<енин>г<радская> тема превосх<одства> над уехавш<ими>. Особая ее окраска. Пос<етитель> подраз<умевает>: тебе плохо, но и им в своем роде плохо и унизит<ельно>. А для Т. Л<енинградская>ая тема — тема сугубой реализации.)

— Еще бы.

Далее в качестве возможного материала для продвижения разговора пос<етитель> рассказывает о том, как устроился Ст<епанов> в Москве (работа, две комнаты в центре против Л<енин>ской библиотеки), состав его семьи, живущей в этих комн<атах> и т. д. Все это никому не интересно. Но реплики возникают на своем месте, и раз<говор> движется).

— А что Коля К<оварский>? (Со стороны Т. им<манентно>-ин<нерционная> реплика, может быть, со смутным оттенком действительного интереса. Много с К<олей> К<оварским> эмоциональных ассоциаций. Веселая молодость. Сейчас все это особенно окрашено трагическими подраумеваниями. То есть в этом вопросе есть скрытая личная тема трагизма своей судьбы.)

Пос<етитель> обрадован получением хорошего трамплина, с которого, он предвидит, можно довольно долго двигаться. Рассказывает о судьбе Коли К<оварского>, о его женитьбах, переезде в М<оскву> и т. д. О Ст<епанове> он рассказывал совершенно незаинтересованно, только в порядке продвижения разговора. Здесь есть элемент личной заинтересованности. — Коля говорит, что он очень облез (ему приятно, что человек, который когда-то хотел «учить его жить», — провалился внутренне и внешне; тогда как он, О<ттер>, провалился только внешне).

— Ах, ты ведь не знаешь всего этого. К., после того как так долго был невинным мальчиком и добрым евр<ейским> мужем, сорвался с цепи. Следует рассказ о двух брошенных женах, переезде в М<оскву> из-за кинозвезды и т. д. (Удовлетворение от благополучного выполнения своих посетительских функций — рассказывает занимательное большое. Вместе с тем — смутная личная тема. Это тема запоздалой невинности; вообще подозрений в невинности. То, что ему всегда угрожало неполноценностью. Здесь подводное самоутверждение заключается в том, что запоздалой невинностью страдал бесспорно интересный мужчина, имевший большой успех у женщин. Значит, это ничего, не признак неполноценности. 2-е — он потом вполне вознаградил себя. Значит, можно насладиться и с запозданием. И окружающие тоже должны понимать, что невинная молодость еще не означает, что человек беспомощен в дальнейшем. Тотчас же обратный ход — гордость не позволяет, чтобы его заподозрили в том, что он

в своем возрасте и положении особенно интересуется, вообще гоняется за эротическим.)

Этот внутренний ход тотчас же выходит наружу в форме осуждения ближнего.

— Знаешь, как видно, сказалась женственность Колиной натуры. Так бывает с женщинами. Живут, живут до определенного возраста спокойно, потом вдруг начинают беситься. С мужчинами так не бывает.

— Э, все мы бесимся от колыбели до могилы. (Это жадно подхваченная реплика. Эта нить разговора дает Т. надежду привести ее к той лично-эмоц<иональной> теме, которой она полна, — единств<енный> случай, единств<енный> человек, которому можно сказать. Но сказать без мотивировки стыдно (все-таки есть задержки мужского целомудрия). И вот разговор счастливо наводится.)

Пос<етитель> этого еще не понимает и только удивляется бестактности, в такой ситуации подымающей эротическую тему. Поэтому он не поддерживает, а использует им<манентную> возможность реплики для иронического обобщения:

— Так я против тех, кто от колыбели бесится, ничего не имею. Тогда это натурально. Я против тех, кто вдруг начинает. (Репликой доволен. Во-перв<ых>, она удалась формально, во-вторых, это скрытый разговор о себе, притом самый соблазнительный, самораскрытие. Подразум<евается> — он не из тех, кто бесится от колыбели. И он не унижится до того, чтобы начать беситься, приближаясь к могиле. Он напоминает о своей, известной собеседнику, позиции благородной резиньяции в этих вопросах. Вместе с тем это комплимент, относящийся к прошлому собеседника. Подразум<евается> — ты была из тех, кто бесится от колыбели, и успешно. Этому я отдаю дань признания. Но для Т. в этом разговоре суть вовсе не в том, чтобы принимать печальные комплименты за прошлое. Для нее сейчас все эти реплики имеют только один смысл — это подходы к всепоглощающей личной теме, о которой все больше и больше хочется заговорить. Для окончательного перехода она использует слово «бесится» (им<манентный> ход.)

— Вот у меня-то седина в бороде, а бес в ребро.

Пос<етитель>, все еще не понимая и удивляясь бестактности, неловко молчит.

Но теперь уже русло для темы проложено. Она введена уже с мотивировкой любопытного психологического случая (пример ложной мотивировки рассказыванием интересного), теперь по этой линии можно идти дальше:

— И как я радов<алась> в последние годы, что у меня с этим все счета покончены. Что я тихо живу (самоутв<ерждение> — не я, мол, искал, а ко мне пришло). И вдруг такая история. И в каком положении — на старости лет и с отрезанной ногой (тема ноги все время проходит через разговор. Выражение твердости; отвод сщажений и деликатностей). Нарочно выговаривается полная формула — отрезали ногу, с отр<езанной> ногой. Должно

быть, сначала выговорить ей удавалось, только сделав над собой усилие. Как мучительно трудно и неловко выговорить о близком человеке — умер. Ср. выше рассказ Т. о том, как она истекла кровью. — В таком состоянии меня привезли сюда. (Им<манентно>): Ну здесь они наверное что-нибудь сразу сделали. — Конечно, здесь они сделали. Здесь они сразу отрезали ногу. И так при каждом подходящем повороте разговора. Здесь сложный комплекс — объективация глубоко личной темы; самоутв<ерждение> в твердости; сигнализация собеседнику о том, что с него не спрашивают жалости. В данном эротическом контексте — это предупреждение неловких мыслей собеседника. Сам знаю положение, иронизирую над ним и тем самым становлюсь выше.

— То есть ты не можешь себе представить, что делается. Когда-нибудь я тебе расскажу...

Теперь пос<етитель> наконец понял. Он поражен. Ему интересно. Его побуждающие реплики полны подлинного желания узнать положение вещей. Начинается часть разговора, действительно в высш<ей> степени интересная для обоих. Т. делает связный, хотя еще недоговоренный (мужск<ие> и интеллиг<ентские> запреты, неловкость говорить почти в присутствии) конфиданс — объективация центральной личной темы; самоутв<ерждение> — здесь большие страсти, там женщ<ина> рвется и, очевидно, будет страдать. Как выйти из положения. Позиция сильного, неудобства от того, что слишком многие любят. И это при таком положении, когда каждый рад, если кто-нибудь хоть из жалости с ним свяжет свою судьбу. Апогей самоутверждения. Подъем. — Не знаю, что там будет на Невском⁷. Как только я в себя пришла, я ведь ее увидела. Опять все старые имена нашлись, все слова... Ты ведь знаешь, знаешь, как мне нужна твоя жизнь. — Да вот она такая, что ей не приходится ставить вопрос, так как всем приходится в таких случаях, — не связывайся ты с такой обузой. А она, напротив того, еще должна менажировать других, как более слабых в этом контексте. Здорово! Аффективная сторона разговора, сдержанные, скользкие прикосновения к волнующей теме (запреты). — Все это началось, еще когда меня ворочали два человека. И я не знаю, что говорила. И мне говорили: не го – во – ри – те глупостей. (Аффективное касание; штрихом воссоздается злая эротическая ситуация, которую необычайно приятно воссоздавать. Ведь это первая и, может быть, единственная возможность объективации темы. Теперь ретроспективно становится на место катание по коридору, чистое и нечистое и т.д.)

Посет<итель> с искренним интересом выясняет обстоятельства, что бывает так редко. Во-перв<ых>, это действ<ительно> для него интересный случай; во-вт<орых>, возбуждено его эротическое любопытство по отнош<ению> к этой женщине; теперь ему кажется, что он ее мельком видел и что она красива; он ощущает смутную зависть, и эта зависть подогревает любопытство. В-третьих, значит, может быть, и у него еще многое впереди, если возможны такие удивительные случаи, и хочется уяснить себе этот случай как можно больше. В-четв<ертых>, он испытывает большое облегчение за Т., по-человечески и за себя, что, в сущности, уже можно особенно

не жалеть и не беспокоиться. Это уже непосредственно касается др<угого> человека, там уж они разберут<ся> между собой. И вообще уже не нужно так остро жалеть, а жалеть для него мучительно. В-пятых, — в связи с предыдущим — можно теперь очень хорошо и легко выполнять свои посетительские функции, говоря приятное собеседнику и утешительное больному. И показывая тонкость дружеского и вместе с тем специального понимания дела (самоутв<ерждение>).

— Ну, теперь я все понимаю. То есть почему ты такая. Молодец, ей богу. Это класс. Это уж действительно класс. Дальше некуда.

— В таком-то положении....

— Именно в таком положении. В нормальном положении это всякий дурак может. А вот ты так попробуй (облегчение, возможность свободной шутки и т.д.).

Финал разговора.

— У меня сегодня отвратительное настроение было. Ты меня развеселил. Тут Л.М. <Сиг.??> сидела, сидела, ничем не могла добиться. Сестры меня сегодня все спрашивают: что это с вами сегодня такое? — Я говорю: ничего, голова болит, спала плохо. Не может же человек всегда быть одинаковый. Но ты меня развеселил. (Приятное собеседнику. Ты для меня не то, что все они. Мы-то понимаем друг друга. Автоконцепция всеобщего баловня и любимицы, которая не всегда удостаивает быть в хорошем настроении.)

I.

Вещи можно рассматривать ан бо и ан ле[#]. Анбо — это то, что посетитель написал общему другу про несчастье, которое стерло все неприятные, мелкие черты и выявило лучшее, так что опять мы узнали человека, которого любили когда-то. Анбо — это будет душевная собранность и приподнятость, вызываемая несчастьем в мужественных людях. Анле — это будет эротическое возбуждение, тщеславие, паразитические навыки.

Впрочем, есть и первый момент. Облагораживающее действие больших несчастий — напротив того, малые бедствия действуют принижаяще — состоит в том, что большое несчастье легко становится сферой реализации, из которой человек черпает всевозможные самоутверждения. К тому же большие несчастия обычно находят себе аудиторию, тогда как на малые никто не обращает внимания, они никому не интересны. Но для того, чтобы найти в несчастьи реализацию, действительно нужно мужество. Нужно не рассыпаться психологически. Ибо в противном случае оно станет не сферой реал<изации>, но сферой ламентаций.

Все это, несомненно, имеет здесь место, но преобладает другое. Пос<етитель>, пока не понял, все время испытывал смутное чувство удивления. Он понимал, что тут могут быть основания для собранности, для приподнятости, но он никак не понимал

[#] В лучшую и в худшую сторону [анбо — en beau, анле — en laït] (фр.).

того счастливого (как ни дико) жизнеутверждающего оттенка, который был теперь в этом человеке. Его опыт должен был бы ему подсказать, что этот неповторимый оттенок мог появиться только по одной причине. Но эта причина казалась столь невозможной, что он и не подумал о ней, а только смутно удивлялся.

К концу разговора все сразу стало ясным. Подобная ситуация для каждого оказалась бы возбудителем. На многих (мужчин) она, вероятно, действовала бы трагически. Почему здесь получилось благополучно — это зависит уже от личного характера и судьбы человека. Т. жила только этим, остального было довольно много, но остальное было украшающее (субъективно казалось другое).

Переживание автоценности в основном было не социальное, а сексуальное. Оно было переживанием силы, успеха, избалованности, изысканности. В последние годы эротической атмосферы не было, и с ней вместе кончилось все, самый источник жизни. Это значило никаких интересов, кроме тусклых служебных (там извлекались маленькие, недостаточные радости тщеславия, притом тоже сексуального, мления каких-то сотр<удников>), и в дистрофические годы — интереса еды, который особенно чудовищно, самодовлеюще разрастался у людей, лишенных других интересов. Б. говорил — Т. совсем не узнать, она стала какая-то обидчивая, вечно жалуется, это так странно. — Это было проявлением потери самооценности. Причем замечательно, что эта потеря произошла в период, когда социально (служба) ее положение было гораздо более достойным, чем в блестящие времена, когда Т. фактически жила на счет женщин.

Это совсем особая психика (причем субъективно, в игровом порядке, ей искренне казалось, что у нее джентльменская психология). Б. говорил — м<ужчина> с такими свойствами не мог бы иметь успеха. Но в том то и дело, что это не м<ужчина>, это дифференциальное ощущение, для некоторых женщин (настоящих) совершенно невозможное, для некоторых очень соблазнительное. Это не м<ужчина> и не ж<енщина>, это изыск, штучка, притом с высококачественными человеческими свойствами. Это штучка для них. Им (ненастоящим) это и надо. Такой поглощенности этим делом они не встретят у норм<альных> м<ужчин>. А кроме того, как она ни ершилась, это свое, интимное, понимающее.

Это их и для них. И этот комплекс в сочетании с чисто эротическими соблазнами для них неотразим.

С той же стороны психика специалиста, избалованность, в сочетании с болезнями, с бытовой беспомощностью приводит к паразитизму, к аморализму в сущности, который Т., человеку с хорошими семейными традициями, всегда кажется чем-то случайным и временным. Школа эгоизма и безответственности. Ненастоящие отношения (история с ребенком и предположение <...>*). Внезапное (через катастрофу) возвращение ко всему — эротическая реализация (главное), внимание и любование окружающих (некогда столь привычное), не нужно о себе заботиться.

* [Одно слово нрзб.]

Это возвращение к некогда неотъемлемым психологическим условиям дает такой ренессанс прошлой психики, который заглушил изменения, внесенные катастрофой. Почему это оказалось возможным?

Катастрофа не прервала никакой социальной реализации, никаких интересов, а то, что прервала, — заменила с лихвой другими реализациями. Катастрофа пришла к психике, привычной к долгим болезням, к беспомощности, к безвыходным положениям, из которых, в конце концов, кто-то как-то выводит. К психике паразитической, для которой переход на это положение, особенно если он не сопровождается унижительными впечатлениями, а напротив того, — не так разителен и ужасен.

Теперь ей, вероятно, обещано, что все будет хорошо, и она с радостью доверится этим новым, вероятно сильным, рукам (кстати, и физически сильным, подымающим и укладывающим, что Т. нравится и что ужасало бы мужчину). А ведь до этого все было очень плохо — одиноко, трудно, неустроенно, скучно. И вот катастрофа приобретает странное двойственное и двоящееся значение.

Что потом будет — как знать. Может быть, будет очень трудно привыкать и справляться. Но сейчас (именно сейчас, когда уже нет острых физических страданий) это оказалось передышкой. Передышкой эротического подъема, беззаботности, внимания, тщеславных удовлетворений, обильной и вкусной еды, преодоленных остатков дистрофии и т.д. и т.д. Передышкой от трудной, скучной жизни, в которой обо всем приходилось заботиться самому. Комплекс особенно соблазнительный для человека неактивного, легко переносящего безделье. Все эти впечатления так сильны, что они сейчас вытесняют, мешают сосредоточиться на ужасе положения, на пожизненной непоправимости, на предстоящей старости, на ближайшем периоде унижительного и трудного вставания в новый быт.

Возможно, что это именно передышка, странный оазис беззаботности перед очень трудными временами.

ЛОГИКА ОТСУТСТВИЯ СТРАХА **(К разговорам в учреждении)**

Эти женщины говорят провинциальные, эстетские, самоупоенные <слова>. Но субъективно это жизнеощущение побеждающее. И объективно это то жизнеощущение, которое дало людям возможность в условиях голода и ежедневной смертельной опасности работать и спасти город. Люди в среднем поступают согласно установившейся средней норме поведения. И здесь, по ряду причин, установился средний тонус, не благоприятствующий развитию иррациональной эмоции страха.

Н.К. говорит, что она не боится, потому что она троглодит, звериным чутьем чующий опасность, Н.П. говорит, что она не боится, потому что она фаталист; Нина В. говорит, что она не боится, потому что у нее дистрофическое равнодушие. Галя Битн., напротив того, говорит, что она безум-

но боится, испытывает животный ужас, но когда во время тревоги на нее кричат, чтобы она сейчас же шла в подвал, она раздраженно отвечает, что невозможно бегать вверх и вниз на шестой этаж. Таня Р<обולי> говорит, что она безумно хочет жить и боится умереть, но что в подвале можно сидеть месяц, но нельзя сидеть два года, и потому она ложится спать. Они говорят, что безумно бояться, а я им не верю. Безумно бояться не так, это не тот тонус. Мама, боявшаяся прежде всего на свете, этого не боялась. Она не боялась, потому что видела, что мы всякий раз возвращаемся из убежища, и считала, что в этом и состоит ритуал тревоги — в хождении и благополучном возвращении. Она не боялась из подражательности, потому что привыкла приспособлять свое место и поведение. А если бы вокруг рвали волосы и метались? Что бы тогда было? Объективных оснований для этого было ровно столько же, если не больше. Потому что всё, что происходило, и всё, что могло произойти, было в самом деле ужасно, и поведение могло повернуться и в ту и в другую сторону. И вот, к счастью, нашли тонус, который стал уже средней, принудительной нормой поведения, ниже которой уже — неполноценные. Это тонус отношения к опасности примерно (в малой степени) как на фронте. Опасность — это данность, настолько в данных условиях необходимая и постоянная, что с ней нужно продолжать функционировать настолько нормально, насколько она позволяет.

Вздорность слов, мелочность поступков, наивный эгоизм импульсов. Да. И притом правильность сверхличная, от себя не зависящая правильность социального поведения. Это уже проблема исторической ситуации человека. Это уже брезжит возможность социальной реализации.

ЭТИКА ЦЕННОСТЕЙ. ТОТАЛИТАРНОСТЬ И ЭГОИЗМ

Рационализм хорош в качестве метода познания мира, но только не в качестве регулятора человеческого поведения, на что он в истории неоднократно претендовал. Рационалисты от французских просветителей и до наших дней всегда хотели человеческие вождения заменить разумными побуждениями (разумный эгоизм). Между тем мудрое общественное устройство не стремится отменить неотменимое, а стремится направить и использовать его так, чтобы сделать возможным достижение общих целей.

Без этих промежуточных звеньев происходит катастрофический разрыв между общими и личными целями. Общее отрывается от личного и существует в виде бессодержательной официальной фразеологии. А поведение человека становится эгоистически-эмпирическим со всеми страшными последствиями эгоизма — пустотой, беззащитностью перед «страшным миром», параличом воли. И тогда человеку остается выбирать между животным отупением или пессимизмом.

В этом смысле рационализм совершает такую же практическую, тактическую ошибку, какую совершали противоположные ему идеалистические учения, которые предписывают человеку недоступную ему степень добра и тем самым открывают дорогу злу. Об этой попытке христианства и о поправках, вносимых официальной церковью (организацией), говорит Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе».

Рационалистическая мораль — это мораль утилитарная. Она апеллировала к представлениям человека о собственной пользе, то есть к одному из наименее эффективных двигателей человеческого поведения. Когда Диккенс совершал поездку по Америке¹, рабовладельцы пытались ему внушить, что они оклеветаны европейским общественным мнением. Какой-де смысл им дурно обращаться с рабами, то есть со своей собственностью, когда прямая их польза требует, чтобы они с ними обращались хорошо. На это Диккенс ответил, что это бесспорно так, но что опыт показывает, что поведение человека далеко не всегда определяется его пользой. Пьянство, разврат, расточительность, азарт — безусловно вредны для человека, но они встречаются на каждом шагу, точно так же там, где имеется соблазн неограниченной власти одного человека над другим, — никакие соображения пользы и материальной выгоды не могут служить сдерживающим началом.

Люди постоянно и притом сознательно действуют себе во вред. Недаром противостояние приятного и полезного стало обывательской аксиомой. Страшно может просчитаться тот, кто рассчитывает на трусость и на материальную корысть человека. На самом деле эгоизм располагает гораздо более мощными силами. Злоба и любовь сильнее страха, властолюбие, тщеславие сильнее материального расчета.

Человек, движимый религиозного порядка самоотречением, — явление психологически более нормальное, нежели человек, движимый голой логической идеей собственной пользы (кстати, очень трудно установить, в чем именно она состоит).

На утилитарных принципах может строиться общественное поведение (общая воля). Но в переживании отдельного человека его поведение предстает как ряд волеустремлений — как любовь, ненависть, властолюбие, творческая потребность... Основная задача общественного руководства в том, чтобы дать этим волеустремлениям общезначимое и внеположное содержание, сохраняя их личную заинтересованность и интенсивность. Это значит сублимировать, идеологизировать волеустремления так, чтобы идеология стала действительностью, то есть чтобы она стала переживанием, стала волей. Жизнеспособный государственный организм обеспечивает тот обмен, в силу которого общая ценность становится личной ценностью, переживаемой со всей интенсивностью личного волеустремления. Рождение автоценности из этих лично переживаемых общих ценностей — это есть основной (длящийся и непрерывно возобновляющийся) акт социального бытия человека, его реализации.

Волеустремления, вождедения человека, включенные в этот акт, — сублимируются, идеологизируются.

Самый высокий гедонизм не может убедить человека в том, что он должен идти на войну, потому что это даст ему особо изощренное удовольствие. Никакой утилитаризм не может доказать человеку, что он должен идти на войну, потому что ему это выгодно, полезно, потому что каждый здравомыслящий человек понимает, что это нелепость. Но он может добровольно пойти на войну, движимый любовью, ненавистью, честолюбием, интересом, стремлением быть не хуже других, стремлением быть лучше других, потребностью переживать автоценность (скажем, быть *настоящим мужчиной*). Дело государственного организма дать этим устремлениям и содержание, и связь, прикрепить их к устойчивым идейным комплексам. Мы знаем могущественные комплексы, в которых человеческое вождедение стимулируется так, что обращается в жертву как в свою противоположность. Первое образование в этом ряду — семья, крайнее образование — Родина. В сущности, в этом ряду оно предельное. Понятия человечества, класса становятся конкретными только в качестве революционных понятий, девизов борьбы. Тогда они приобретают выраженные конкретные признаки, заимствуемые ими из конкретной революционной ситуации. Поэтому классовые мотивировки свойственны только борющимся классам.

Понятие родины обладает устойчивыми конкретными признаками, из которых каждый может стать ценностью, питающей автоценность. Комплекс родины развязывает первичные, неистребимые инстинкты и волеустремления человека — ненависть, любовь, властолюбие, стремление к превосходству, собственничество — но при этом лишает их солипсической замкнутости, угрожающей человеку пустотой и вырождением. Все дело в том, что это понятие стало *действительным*, реально переживаемым. Мы присутствуем сейчас при сложном и противоречивом процессе рождения такого понятия.

На улице у газеты стоит какой-то пожилой человек рабочего вида с лицом довольно тупым. И рядом с ним актриса Ябл<онская> — баба нах<альная> и рвач. Мужчина водит загрубелым пальцем по газете и с наслаждением читает вслух о том, что итальянским кораблям, находящимся в Черном море, приказано зайти в русские порты. Он читает с некоторым усилием, несколько запинаясь, и вставляет от времени до времени слово «видимо». Ябл<онская> оборачивается ко мне; глаза у нее блестят, нос и рот подергиваются. «Должны явиться в наши порты. Здорово как!». Это день капитуляции Италии. В газете много разных фактов, неизмеримо более важных для общего хода войны, для нас. Но именно эта деталь доставляет особое наслаждение. И во мне то же злое, жадное, восторженное чувство расширяет на мгновение сердце, подступает к горлу.

КАЗЕННЫЙ ОПТИМИЗМ

Сейчас мы перед опасностью совершенно уже выходящего из берегов оптимизма. Горячка накопления национальных и прочих ценностей — как можно больше, как можно ценнее. Все хорошо не только, как раньше, в настоящем, но и в прошлом; все хорошо не только у нас, но и на дружественном, демократическом Западе. Если это на сегодняшний день, если это военная агитация, то все в порядке. Но если оно удержится, то будет иметь для культуры последствия более разительные, чем все предыдущее. Ибо даже соц<иологизм> был тупым и обуженным, но все-таки методом мысли. С его помощью нельзя было сделать большого, но кое-что можно было сделать. В этом же случае мысль будет исключена во всех ее методологических формах, в применении к любому материалу, в том числе историческому и иноземному. Припоминаю, как мы потешались, когда некогда некий мелкий рецензент написал о Тынянове (по поводу Грибоедова) — Он все изображает людей, протестующих против своего социального окружения. И Тын<янов> говорил: хорош бы я был, если бы я изобразил, как Грибоедов в восторге от своего социального окружения. А рецензент-то был с чутьем... Русских же классиков, объявленных одной из самых высших ценностей, придется давать читать, как Библию читали у пуритан — с запрещением понимать то, что там написано. И все-таки

иногда мне кажется, что так не будет. Просто потому, что окажется очевидным, что одним повторением слов: гениальное, родное, великое, народное — совсем уж решительно ничего нельзя сделать. Кроме как вести военную агитацию (и то тут следовало бы прибавить мысли), что и делают сейчас.

<ЗАПИСЬ НА ОБОРОТЕ «КАЗЕННОГО ОПТИМИЗМА»>

<...> не возникло (самое большое из того, что я знаю — Хемингуэй). Во всяком случае, это игра не стоила своей цены. Не стоила, например, того, чтобы попасть в рабство к Гитлеру, как это случилось с Францией. Разумеется, не из-за своей литературы попала Франция в рабство, но вследствие предпосылок, производным из которых была и литература.

Та война² могла вызвать такой взрыв пацифистской литературы, такую индивидуалистическую реакцию, потому что она была лишена народных идей. Ею двигали те закулисные интересы, которые правительства скрывают от собственных народов. Общезначимые идеи (вроде борьбы за демократию) предлагали, конечно, народу, но они были натянуты, необязательны. Нынешняя война должна нести совершенно иные идеологические последствия. Ибо она богата общезначимым, общенародными идеями и импульсами. Начиная от борьбы несовместимых политических структур, которым, как это очевидно для всех, не ужиться вместе на земле, кончая простейшими импульсами самозащиты, стремлением не терпеть врагов в своем доме, не видеть гибели своих детей, не быть уведенным на веревке в немецкое рабство. Страшные силы развязала против себя Германия, вернувшаяся к формам войны рабовладельческого общества.

<ЗАМЕТКИ О ПАЦИФИЗМЕ>

<...> русской культуры. Он именно это и выразил.

Процесс продолжается, стремясь к своему пределу. Оказывается, эгоистическое (изолированное) сознание только по инерции может осознавать себя индивидуалистическим, то есть безусловно ценным. Индивидуалистическое самосознание отпадает.

Снятие противоречия. (Смерть ему не противоречит.)

Эгоистическое и неиндивидуалистическое сознание.

Его нежизнеспособность.

Оно должно перерождаться в новое гражданское (тот<альное>) сознание.

Симптоматична эволюция отношения к войне.

Неэгоистический индивидуализм на всех своих этапах, со всеми своими кризисами — оперировал общими ценностями как достойным полноценной личности и признавал жертву как условие полноценности. Отсюда вытекает его отношение к войне, если он признавал данную войну справедливой.

Пацифизм как развернутое миропонимание принадлежит периоду эгоистического индивидуализма.

Революционный гуманизм отрицал не войну вообще, а войну, ненужную народу. Последовательное отрицание войны вообще принадлежит эгоистически-индивидуалистическому сознанию, изолированному.

Где то, ради чего может уничтожиться человеческий род?

В пацифизме для современного человека много бесспорного.

Ужас войны.

Но эта бесспорность того же порядка, как бесспорность ужаса многих стихийных явлений.

Ошибка, и политически роковая ошибка пацифизма в том, что он хотел быть не только lamentацией, но и программой. Пацифизм воображал, что всеобщее нежелание людей воевать может привести к прекращению войн. Между тем как война — это данность, из которой надо исходить и к которой надо применяться.

Пацифизм не учел:

I. Война — один из самых исконных и основных модусов социальной жизни. Все нормы поведения, все социальные оценки ориентированы на нее или на явления ей подобные. Невоюющий человек — это другой человек, о котором мы еще ничего не знаем. У него выработается другая мораль и другие импульсы поведения. Изъять же мораль человека нашей эры из военного контекста невозможно.

II. Война действительно ужасна и отвратительна, но:

1. Она же становится сферой и импульсом самых высоких чувств и переживаний.

2. Человек всегда существует, исходя из реальной фактической данности — как бы плачевна для него ни была эта данность, и к ней применяясь. И человек способен применяться к войне.

3. Многообразная, как сама жизнь, она становится сферой реализации и реализует многообразнейшие человеческие возможности. Проблема в том — удалось ли человеку найти в войне реализацию.

Необъятная разница между самоощущением согласных и насильственно втянутых. Пацифист предполагает только последних.

Все несчастье в том, что человек от пацифизма — это не гипотетический невоюющий человек будущего, но человек нашей военной эры, искусственно вытесненный из морально-психологических связей войны. То есть для нашей эры — это неестественный человек.

Этот человек, который не хочет воевать, к несчастью в то же время не хочет и не может жить. Это человек послевоенного скуления. Они оплакивали полных жизни юношей, которых убила война. Но если юноши оставались жить, они оказывались не полными жизни, а пустыми и скулящими или просто серыми.

Люди, которые не хотят умирать на войне, еще не доказали своей способности жить и любить жизнь.

Ремарк.

Хемингуэй в «Фиесте» сам поставил себе ловушку. Герой, кастрированный войной, ничем не отличается от других, некастрированных. Они точно так же скулят и не могут жить.

Эгоистическое и неиндивидуалистическое сознание изживает пацифизм как миропонимание. Эгоистический человек не прочь уклониться от гибели, но ему не из чего взять отчаянный протест абсолютного и притом социально изолированного я.

ЧЕЛОВЕК С РАЗМАХОМ

Вечер. Оттер мрачно сидит один в комнате. Входит М.

— А! Вы! Ну что у вас?

— Ничего. Скучно.

— Вообще скучно. Надоело. Надоело крутиться. Сначала все было внове. Сначала вас бомбили. Потом был голод. Потом вас обстреливали. Потом еще что-то такое. Потом должны были прийти или не прийти н<емцы>. Но когда это все повторится сначала...

— Да. Вероятно, на фронте так не скучают.

— Слушайте, там то же самое. Здесь же полная стабилизация сейчас. Их тоже ничем не удивить. Сначала их удивляли автоматами, мотоциклами, огнеметами и так далее. Теперь это все известно. И они сидят. Представьте себе, полтора года просидеть в той же землянке. Это взвоешь от скуки. Они готовы на что угодно, на самое отчаянное наступление, сражение. Только бы вырваться. К черту на рога. Эта стабилизация очень плохо отражается морально. Начинается подсиживание, выслуживание, пьянка.

(Отрицание ценности за той сферой действий, которая ему открывалась и в которую он не вошел. Он, конечно, не может отрицать эту сферу вообще. Тем более, из нее он черпает весь материал для своих попыток идеологической деятельности. Но он же отрицает ее как раз на том участке, где он мог бы быть.)

— А вы, что делаете сейчас?

— Да так. Я, главное, думаю, что пора заняться делом. Мы все существуем в состоянии какой-то временности. Это хорошо было прошлой зимой. Но сейчас этот блокадный быт так устоялся, стал бытом. Может быть, нам осталось существовать меньше, чем тогда, но нельзя два года

жить временно. Надо заняться настоящим делом. Ведь нет же у вас <слово пропущено>, что-то, чем вы здесь занимаетесь, — настоящее дело.

(Теперь, когда его здесь нет, это не настоящее дело. Раньше он считал бы, что оно на данном этапе самое нужное.)

— Понимаете. Когда я вижу бесконечные письма, которые получает О<льга> Ф<едоровна> <Берггольд> со всех концов. От кого угодно, от профессоров, из совхозов, от красноармейцев. Когда я вижу, как люди реагируют на каждое слово, как им это нужно. Как это доходит до человека.

(Его жена замечательная женщина. Емуприятно обэтом говорить.)

— Я ведь по существу своему *просветитель*. Для меня главное донести нужную мысль до человека.

(О! Это готовая, сгущенная в односложную формулу автоконцепция. Вся воля к воздействию, администрирование и проч<ее> нашли себе высокий регистр.) Есть о чем поговорить с людьми. Есть темы. Этим нужно заняться.

— Ну да. Но как вы согласуете просветительство с агитацией? Сейчас нужно говорить гораздо более прямолинейные вещи.

(Он пропускает мимо ушей неудобную реплику. В дальнейшем выясняется, что формула «просветитель» уже содержит в себе скрытый самооправдательный механизм. Просветитель — педагог. Это позволяет упрощение, приспособление мысли к близлежащим социальным целям. Отсюда может быть дотянута мысль — и до агитации.)

— Наши люди делают невероятные вещи. Их пять-шесть человек, и им приказано держать противника. И они держат. Они не уходят ни при каких обстоятельствах. Таких случаев тысячи. Без конца. Что это, ухарство? Нет, это характер народа. Я теперь очень внимательно перечитываю «Войну и мир». И я вижу, как он многое верно угадал в этом характере. Очень многое из того, что он говорит, вполне применимо.

— Именно что же? Как вы толкуете эту сопротивляемость?

(Он не реагирует на вопрос. Я вижу, он куда-то гнет, устремляется к какому-то еще скрытому выводу из этого разговора. В контексте оправдания своего сидения здесь он осуждал дух фронта. В контексте восхваления своей деятельности агитатора он восхваляет дух фронта.)

— Теперь возьмите, что произошло в Тулоне¹. В город вошли три бронемшины. Сколько может в город войти бронемашин? Подумаешь, сколько может в город войти бронемашин? По узким улицам. Их можно было прекрасно расстреливать из орудий. У них там был прекрасный флот. Но им только одно пришло в голову — взорваться. Больше они ничего не могли придумать. Наши моряки смеются, когда говорят об этом. Они говорят — надо было пробиваться. Две трети прошли бы наверняка.

— При этом, так сказать, субъективно они вели себя очень героически.

— Как же. Командиры держали под козырек на тонущем судне. (Показывает, как они держали под козырек.) А когда мы уходили из Талли-

на⁴, был приказ задержать их на улицах. Почти невозможная вещь. И задержали. Флот ушел. Вот вам тема, такую тему надо углубить. В чем ошибка наших писателей? Они не думают. Они просто отвыкли думать.

— Ну, у них это получается просто. Все необыкновенные герои. Все одинаковые. Но как вы все-таки себе представляете? Объясните эти импульсы, движущие сейчас людьми.

(Но он не клюет на эту приманку для теоретических размышлений. Ему явно нужно что-то другое. Что, я еще не могу понять.)

— Я думаю, дело в моральной чистоте нашего народа. Французы были развращены. Эта буржуазность, приобретательство, разъединение всех со всеми. При демократии, свободе все развалилось. Вообще славянофилы кое в чем были правы относительно особых путей русского народа.

— Так вы дойдете до того, что моральную чистоту народа сохранило крепостное право.

— Нет, зачем же. (Он не расположен дискутировать на эту тему.)

Я начинаю понимать. Это не ассоциативно возникший разговор на отвлеченную тему. Это продуманные темы, из которых что-то должно быть сделано практически. Поэтому он отводит всякую дискуссию как лишнюю помеху. Мор<альная> чистота народа — это уже заготовленный контур концовки. Теперь надо только заполнить промежуток.

— Вы что же, что-то затеваете новое?

— Да вот надо подумать. Думайте. Думайте. Поговорим.

(Теперь раскрыта направленность всего разговора. Это проект новой реализации сорвавшегося человека.)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗГОИСТЫ, ПЕРЕСТАВШИЕ ДУМАТЬ

О, какая же это седая древность! 30 лет тому назад они со Шкл<овским> считали, что нужно говорить ересь, что это есть противопоставление свободной мысли бесплодному академизму. С тех пор они поседали и облысели, сыновья их пали на войне. А ересь давно — лет 15 тому назад — утратила свое содержание. То есть из определенной такой-то ереси она стала чистой формой, намеком на заявляемый протест, попыткой утверждения своей личности.

Потребность в этом утверждении становится уже почти навязчивой. И, вероятно, это будет прогрессировать. Тут аналогия с моральным состоянием А<нны>А<ндреевны>. Потребность непрерывно напоминать, внушать себе и другим, что процветать не явилось результатом уступок, но, напротив того, результатом того, что другая сторона уступила силе духа.

Он неспособен к выработке больших связных концепций (то, чем держится чувство самости Гр<иши>, От<тера>), поэтому его внутрен-

няя потребность непрерывно реализуется рядом разрозненных актов. В них проявляется изящество и внутренняя свобода, содержание же их различно, случайно, предвидеть его невозможно. Это различная мелочь идей, они возникают по любому поводу и исчезают бесследно. Так же строятся сейчас и его работы — на одной мелкой идее (вернее, интеллектуальной выдумке), с помощью стилистического изящества доведенной до многозначительности.

(Во время прений) Бм: простите, я позволю себе вмешаться. Только несколько слов — виньеткой (изящество).

(На улице): Наш директор парит в облаках, а замдиректора проносится в виде метеора. Поэтому уже никто ничего не понимает. И Шар<городский> прибегает ко мне, чтобы помочь ему разобрать загадочную телеграмму Пиксанова.

Бял<ый>: что за телеграмма?

— А телеграмма такая: согласен приехать 20-го прочесть доклад «Деятельность академика Пыпина». Обеспечьте питание.

— Это что же, к юбилейной сессии?

— В том-то и загадка. Если это 20 апреля, то кому нужен 20 апреля академик Пыпин. А если это 20 мая, то зачем об этом сообщать сейчас.

Бм.: Очень просто. Он хочет приехать сейчас. И чтобы его обеспечили питанием до 20 мая. Как вы не понимаете?

— Очень возможно.

Это типично. Непрерывное ироничное обыгрывание ведомственной схемы, которая в то же время занимает и беспокоит. Например, в данном случае приезд Пикс<анова> напостоянно грозит некоторым оттеснением Бм. от кормила власти. В этом эмоциональная подоплека разговора. Непосредственно он направлен на высмеивание ведомственных форм (я выше этого, я не стал чиновником); в более глубоком пласте он направлен против недостойного соперника.

— Пришло время (в лит<ературе>, в науке)* бить стекла...

— Одно из двух: либо надо бить стекла, либо проходить в члены-корреспонденты.

— Дело даже не в этом. Теперь не время бить стекла. Просто даже нельзя бить стекла, потому что никак нельзя бить их отсюда и досюда.

У меня ведь тоже от времен Инст<итута> осталась эта смешная привычка стесняться бюрократических форм. С Бм. мы так и разговариваем. Стой женщицей, что я понимаю, чего это стоит, он же действительно утешается. Иногда такие привычки подводят. Когда Скр<ипиль> был ученым секретарем, он просил меня как-то представить отчет.

Я: Послезавтра я вам принесу эту штуку.

Скр.: Это не штука, это отчет.

* [Слова в скобках вписаны.]

Ср. разговор с Бм.

Подчищая трехлетний производственный план, окликаю его:

— Бм!

— (заглядывает через плечо): Опять кварталы!

— Это уже на все три года.

— Господи! Хоть бы уж сразу на всю жизнь потребовали.

— Не выходит. Ведь неизвестно, сколько проживешь, и потому нельзя высчитать количество кварталов. Очевидно, нужна будет Ваша виза. Как Вы хотите, Бм., сейчас прочитать или когда перепечатают?

— Это, вероятно, не принадлежит к числу ваших произведений, которые представляют для меня глубокий научный интерес...

— Отнюдь.

— В таком случае я вам прямо скажу. Я не буду это читать ни сейчас, ни на машинке. Если потребуют — подпишу, не читая. Подпишу и с плеч долой!

Это все то же, но в каком-то уж очень откровенном виде. Навязчиво откровенном. Торопится, даже грубовато торопится сделать заявку на внутреннюю свободу. Может быть, это соотносится с тем, что как раз в этот день, в эти часы он мучительно ждал ордена. Как раз должна была появиться «П<равда>»⁵ с его буквой, одной из последних алфавита.

Честолюбие — это систематическая волеустремленность, целенаправленность, и потому в каждом данном случае его содержание и его форма определяются из предложенных целей. Только душевнобольные или подростки предаются честолюбивым мечтам вообще безо всяких ограничений. Я завоюю мир, я стану великим поэтом и т.д. Люди, включенные в действительность со всеми ее условиями, направляют свое честолюбие всегда на относительно достижимые для них цели. Это положение обратимо, то есть можно, например, искусственно, экспериментально открыть перед человеком поприще и направить его честолюбие по новому руслу. Осуществимость цели или хотя бы иллюзия этой осуществимости — вот определяющее условие. Поэтому первый самодельный шаг в направлении к этой цели сразу так раздражает страсти. Поэтому неудачливый честолюбец где-нибудь en retraite[#] может силою воли, других интересов или просто отупенья приглушить в себе вождения. Но стоит только мелькнуть тени случайного успеха, и все вспыхивает опять с новой силой. Неверно, что Бм. изменился, переродился неузнаваемо по сравнению с тем, чем он был 15 лет тому назад. Просто перед его честолюбивыми вождениями открылись новые возможности и цели, о которых 15 лет тому назад и подумать было бы дико (напр<имер>, ордена). Гениальный рецепт А. Толстого («Повесить Станислава...»)⁶.

В Инст<итуте> высидивают полагающиеся два часа люди разных категорий: Бм. сидит за столом, нервно улыбаясь и нервно

[#] в уединении (фр.).

пошевеливая какой-то предмет. Он в состоянии полуудовлетворенном. С одной стороны, награда, а с др<угой> стороны, на банкет не пустили. Не получив ничего, можно замкнуться в гордом и насмешливом равнодушии, но раз попав в иерархический механизм, этого уже нельзя. Иерархическое ощущение, особенно в беспокойной и неустойчивой обстановке, это непростянное ощущение двустороннего нажима. Снизу вас вздымает наверх, а сверху опять жмет и отбрасывает вниз. Не успев вздымнуться, вы сразу стучаетесь головой о потолок. Относительного душевного спокойствия можно достигнуть только в условиях давно устоявшегося, введенного в прочные рамки бюрократического бытия. Эти же молодые бюрократы в 58 лет, вроде Бм., ходят совершенно издерганные. Их нервы еще не привыкли к вечной двойственности иерархического жизнеощущения: восторг продвижения и уязвленность тем, что другой продвинулся дальше. Вечно чередующееся, изменяющееся ощущение. На вокзал взяли, чем он обошел многих других, а на банкет не взяли, а ведь он самый замечательный. Хорошо знать это и плевать, но наплевательская позиция уже навсегда потеряна.

Итак, Бм. сидит недоудовлетворенный и беспокойный при обычной своей огромной внешней выдержке. О<тец> В<асилий>, обычно неудовлетворенный и злобствующий, на этот раз удовлетворен, он член сессии. В-третьих, сидит явно и откровенно честно неудовлетворенный Мейлах, который ничего не получил и которого никуда не взяли. Его поведение в этом деле самое честное, он искони шел по иерархической линии, и ему нечего скрывать. В-четвертых, сидят интеллигенты, которые отчасти аспирированы, отчасти не аспирированы (в разных градациях), но которые во всяком случае в этом деле могут позволить себе позицию наблюдателей, полужавистливых-полунасмешливых. Вообще все очень отчетливо делятся на награжденных и не награжденных, шире — на получивших и не получивших — последние естественно склонны к отрицанию и скептицизму. Но любопытные формы и то и другое принимает у интеллигентов. Над инт<еллигенцией> тяготеет не до конца вытравленное наследие навыков; они поддерживаются общением с классической литературой, которая новыми воспринимается как нечто замечательное, но не имеющее отношения к жизненной практике, а у старых (даже относительно старых) именно все время будит навыки. Они не могут не понимать, что теперь это уже то же самое и что их поведение неприлично (<В?>, <См?> и др.). Таким образом, у них два противоречивых начала: одно — неудержимый восторг, соответствующий их реальной функции и ситуации чиновников; другое — насмешка (над собой смеетесь...⁷), соответствующая их фиктивной (призрачной) функции интеллигентов с ее фиктивными традициями. Причем это начало поддерживается профессиональной необходимостью и привычкой все время умиляться по поводу традиций, как раз запрещающих этот восторг. Не следует также забывать, что второе начало несет в себе столь дорогое для человека переживание собственного морального превосходства.

Возобладание того или иного начала происходит в зависимости от принадлежности человека к получившим или не получившим.

Последние громко возмущаются и смеются по поводу падения нравов. Матв<ей> рассказывает, что он заходил в Фил<армонию> на заседание (показывая, что это ему доступно). — А какие там были доклады? — Какие там доклады! Кого интересуют доклады! Все только считают, у кого больше орденов, и заняты только этим.

Мтв. в свое время бурно переживал свои нагр<ады>, по общему мнению — бурнее даже, чем это принято. Он и сейчас никогда не расстается с ленточками. Но в данный момент он принадлежит к непол<учившим> и к тем, кого др<угие> обогнали. В зависимости от ситуации (ср. власть ситуации над инт<еллектуально>-эг<оистическим> человеком) он тогда искренне предавался первому началу, теперь искренне предается второму, и в том и в другом черпая удовлетворение. Конечно, будь его воля, он выбрал бы первое.

Сложнее положение получивших, ведь и над ними тяготеет второе начало, хотя бы в силу их призрачной функции, с которой они и психологически не хотят расстаться. Но понятно, что реальная ситуация со всеми ее психологическими последствиями перевешивает фиктивную. При первой неудаче они быстро перебрасываются в лагерь насмешливых; при удачах они испытывают восторг и в то же время стыдливо хихикают. Они прибегают к бессмысленной иронии (по поводу чего?) или к трепу, чтобы обеспечить себе оттенок свободы или превосходства над этим.

В большинстве случаев получается уныло топорная и неловкая смесь. Но вот Бм. один из замечательных представителей мира призрачных игр. У него выработана особая позиция (вероятно, искренняя) человека, который, наконец, согласился принять участие и с оттенком снисхождения принимает все ее правила и условия, более того, заинтересовывается этими правилами и условиями. Более того, думаю, что он обеспечил себя и на более глубоком уровне. Если в каком-нибудь интимнейше-психологическом разговоре спросить его в лоб: а как же насчет традиций? То, почти не сомневаюсь, он объяснит, что он принял все условности, потому что ему нравится торжествовать моральную победу или что-нибудь в этом роде.

Удовлетворенный отец Василий (Десницкий) словоохотливо рассказывает о своем участии. Он-то человек, которому в особенности приходится считаться с традицией, он в какой-то мере лично за нее отвечает, и это его главный козырь. Поэтому со всей силой пущен в ход его тяжеловатый цинизм и треп. Подразумеваемая позиция: я-то в высшей степени знаю цену всему этому и знаю цену настоящим высоким вещам, но положение-то такое, что если не достигнешь этого, то тебя вообще затопчут в грязь, поэтому давай достигать...

Исходя из этой позиции, он умышленно демонстрирует самую грубую цинику. Вообще в офиц<иальном> <месте?> при М<ейлахе> и пр<очих> он позволяет себе разговор почти второго рода. Рассказ об учас-

тии — это рассказ о гостинице, где любезно предложили оставить за собой номер на случай возвращения в М<оскву>, рассказ о кормежке. Он цинично подчеркивает, что продолжает кормиться в Ленингр<аде>, где у него есть дом<ашние>. (Бм. шокирован).

Он вообще много не ест. В М<оскве> было лучше, потому что там он брал с собой и теперь привез в Ленингр<ад>, домашние еще едят. А здесь они упражняются в поварском искусстве, так черт знает что. Всё в каких-то соусах — де воляй не де воляй — всё мокрое. Ничего невозможно взять с собой. Хочешь есть, хочешь оставляй.

Один из нейтралов: И что, вкусно?

О<тец> В<асилий>: Более или менее. Только долго очень.

Бм. (обрадованный тем, что долго, что долго — потеря времени, значит, может быть, к лучшему, что его не взяли): Долго очень? А почему, собственно?

О<тец> В<асилий>: Ну, ведомственные затруднения. Водку брать в одном месте, рюмку в другом.

Один из нейтралов: Нас, пока что, выбросили из Сев<ерного> рест<орана>⁸.

О<тец> В<асилий>: Потому что всех *девок* погнали обслуживать. Я прихожу из балета ужинать. Думаю, что за черт — опять в балет попал! Вижу их в коридоре штук сорок в балетных костюмах. Оказывается, это обслуживающие *девки*.

Один из нейтралов (уязвленные Бм. и М<ейлах> ни о чем не спрашивают) спрашивает про церемонию⁹. Рассказывает словоохотливо (единственный здесь приобшившийся) и вольно-пренебрежительно. Моментами почти на грани (разумеется, не дальше) второго рода. Шли неважно. Особенно ему понравились собаки (неофициальный аспект), которых он вначале принял за желтые штаны. Стена навстречу шла так, что человека не было видно. Показывает руками, как она колыхалась.

Володя восторженно вмешивается в разговор: у каждой части был свой декор?

О<тец> В<асилий>: Это само собой, но кроме того, они колыхались, как один человек. (Володя еще раньше тосковал о настоящем ритуале повержения вражеских знамен.)

Входит Город<ецкий> с унылым лицом. Оказывается, нужно организовывать митинг по случаю получения. Гор<одецкий> здесь несколько понижает голос, деликатно подчеркивая, что здесь присутствуют двое заинтересованных лиц. Но заинтересованные лица вместе с незаинтересованными начинают торговаться, как бы это устроить (кто еще помнит о том, что они возникают...) так, чтобы потерять меньше времени. Гор<одецкий> (робко): И.С. очень настаивал, чтобы это было завтра. Хор.: Ну, еще завтра. Гор<одецкий>: то есть в субботу. О<тец> В<асилий>: Нельзя ли в субботу в час, потому что в два заседание, слишком большой получается перерыв. Наконец, договорились.

— Кто же будет выступать? — Не нужно много, достаточно, если один от награжденных.

М<ей>л<ах> (впервые касаясь этой темы): И один от ненагражденных. Один нагр<ажденный> и один ненагр<ажденный>. (Смех. М<ейлаху> удалось пошутить на болезненную для него тему; это удачно. Показать, что он ее не боится.)

— Так, наверное, и будет. Ведь должен кто-нибудь поздравить.

Начинается хоровой треп нейтралов, отражающий смесь зависти с насмешливостью на тему о том, что нагр<ажденные> должны за свой счет устроить банкет. Пристают к о<тцу> В<асилию>, который, будучи крайне скуп, в самом деле обеспокоен. Нейтралы высчитывают в рублях сокращение налогов, квартплаты и пр. у нагр<ажденных>. Предлагают о<тцу> В<асилию> запомнить меню предстоящего банкета, чтобы его использовать, и т.д.

Кс. острит относительно классовой борьбы между нагр<ажденными> и не нагр<ажденными>. О<тец> В<асилий>: Ну, можно устроить что-нибудь на паритетных началах. Отчего же... Хор.: Какие там паритетные начала...

О<тец> В<асилий> собирается уходить, и тут разыгрывается страшная сцена. Еще раньше кто-то из нейтралов спросил: Б.М., а вы идете (на банкет)? Б.М.: Нет.

Теперь при общем молчании Б.м. через стол спрашивает поднявшегося с места Д<есницкого>, спрашивает с улыбкой и некоторым усилением: В<асилий> А<лексеевич>, вы как узнали про сегодняшний банкет? О<тец> В<асилий> еще более словоохотливо, чем все предыдущее, и с особым вкусом и особенно громко начинает объяснять, что об этом было известно еще в Москве, что есть билеты, что билеты еще утром не были получены, но теперь уже получены, и он идет как раз в У<ниверсите>т за билетом и что-то еще. Б.м. слушает, напряженно улыбаясь. Все молчат.

Б.м.: Я, видите, почему спрашиваю. Потому что вчера Пав. Ив., когда я с ним попрощался, сказал, что все мы еще с вами увидимся. Очевидно, он имел в виду митинг.

О<тец> В<асилий>: Да, наверное, митинг.

Позорная сцена. По ходу разговора у него вдруг мелькнула надежда или опасение, что вдруг, на самом деле, он приглашен и, по недоразумению, не знает об этом. Он не выдержал, спросил при всех, страшно раскрыв свои карты. О<тец> В<асилий> с подозрительной словоохотливостью давал объяснения.

На улице (до моста) Б.м.: Странное впечатление производит К.: (подводная тема: раздражение против маленького в науке человека, столь высоко вознесшегося в иерархии. А я то...)

Хор.: Да.

Б.м.: Рассказывает о годах учения и о том, как низко они оценивали К. Сухой, карьерист, маленький человек.

Вол<одя>.: Покойный Кри. был совсем другого типа человек (приятно иметь свое суждение по поводу научно-ведомственных обстоятельств).

Попытка моя поднять разговор о сборнике, которая немедленно заваливается после слов Бм.: да, это очень интересно, обсудим...

Бм.: (после паузы): Старик - то, значит, ходит подкармливаться (это об о<тце> В<асилии>).

На мосту разговор о списке, о получивших и вычеркнутых. Бм. приятно, когда возвращаются вокруг этой темы, прямо и косвенно касаясь его успеха. Остальные, частью с облегчением, перебирают то обстоятельство, что людей, примерно одной с ними квалифик<ации>, вычеркнули, или гутируют свою осведомленность в закулисных ведомственных деталях.

Бм. (после паузы): Вы знаете, а у Вити Мануйлова, оказывается, сын родился.

Разговор в течение нескольких реплик держится на этой теме в порядке имманентного развития, но почему эта тема всплыла вдруг, неподготовленная, в реплике Бм.? Ему не свойственно без особых причин обращать внимание на чужие дела. Может быть, в теме сын — родившийся сын — есть для него особый комплекс. Неужто стыд не гнетет его и не гложет, старого человека, занимающегося побрякушками.

Бм.: рассказ (в порядке интересной истории) о речи Возн<есенско-го> в присутствии иностранцев. Как тяжело было в Л<енинграде>, как тяжело было ученым. Помощь, прав<ительственные> пайки. — Вы разрешите, Б.М., — я отвечаю: конечно, А<лександр> Ал<ексеевич>. — Тут он так сказал торжественно. — Вот наш всем известный ученый БМЭ. Был в таком состоянии, что жизнь его была в опасности. Прав<ительство> дало ему паек. Письмо, в котором он благ<одарит> не только от всего сердца, но и от всего желудка.

— Вы так писали?

— Я ему так написал.

Отсюда возникает несколько имманентных вопросов. Как выглядят? Куда ходил? Потом Берк<ов?>. О Бл. С Бл. все время вертелся Виталий? Очень забавно, я слышал, как он говорит по-французски, довольно бойко, он жил во Франц<ии>, но произ<носит> materieux, простите, Л<идия>Я<ковлевна>. Так и говорит «матерье» ревью слав¹⁰. (Видно, он в этот момент переживает свое превосходство над В<италием>.)

Бм.: Так, В<италий>, значит, все-таки объясняется по-французски?

На площади переходят к М<ей>л<ах>у — в порядке внутренней фильтрации идей — Бм.: М<ейлах>, наверное, уязвлен (с удовольствием). Все охотно обсуждают этот вопрос, почему именно он не получил. Б. — нач<альник> отдела (с особым удовольствием, тем более приятно) — он там не был. Бм.: Вероятно, поэтому, хотя ведь он защитил докт<орскую> дисс<ертацию> (Бм. как получившему приятно говорить со снисхождением). Бк. (как неполучивший к снисхождению не расположен): Так ведь он за это и получил докт<орскую>. Мало ему? Что ж еще, орден давать за докторскую диссертацию?

По дороге выясняется, что Бм. направляется в Военторг купить ленточку, ему сказали, что в Военторге ленточки будто бы лучше, чем в других местах. Пробегаёт тень неловкости. Он говорит подчеркнуто детским тоном, то есть тоном играющего в игру: А то что ж это, все уже эти штуки нацепили, а у меня нет.

(Под аркой манежа) Бм., возвращаясь к занимающим его впечатлениям прикосновенности к земному величию: Был интересный концерт (в то же время это и суждение знатока музыки); говорит о программе концерта очень по-интеллигентски, может быть, как-то в этом разговоре очищаясь. Вол<одя> подхватывает, вероятно, тот же психологический ход — напомнить себе и другим, что мы как-никак люди высокой культуры, хотя и вступившие в общую игру. Разговор о Прок<офьеве>, впрочем, медленно сворачивающий на то, что некое английское музыкальное общество прислало ему золотую медаль¹¹, присуждаемую только музыкантам мирового значения. (Так велика инерция подводной темы.)

Вол<одя>: (его основная подводная тема как раз и состоит в том, что можно совместить официальное преуспеяние с интеллигентностью, вернее, с интеллигентской функцией) продолжает театральный разговор: В театре прекр<асный> спектакль «Укротитель львов»¹², то есть никакой пьесы нет, но прекрасный спектакль, очень крепко сделанный (удовлетв<оренне> от суждений с пониманием дела), — несколько инерционных реплик.

Вол<одя>: Это по Тартарену.

Бм.: Кстати, вы видели вчера на вокзале — во время встречи прошел совершенный Тартарен (как мысль упорно ассоциирует в одном интересующем направлении).

Бестактный интерес: В чем же состоит ваша функция как встречающих.

Бм.: Ни в чем. Пожать руку Мещанинову.

Вол<одя>: Я сказал Франц <еву> (упом<инание> о высоких знакомствах), что встреча очень плохо организована, оказывается — это он организатор. Он обиделся. Со мной уже был такой случай с Орловым (опять упоминание о знакомстве), которому я, не зная, сказал про его жену, что она плохо играет.

Бм.: Да, впрочем, он большой циник. (Приближаясь к Особторгу¹³): Меня уверяли, что здесь планшетки лучше, чем в других местах.

Бял.: А есть сейчас?

Бм.: Г<али>Б<итнер> говорила мне, что видела на днях.

1943

<(ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1943–1946 ГОДОВ)>

<1 Проблемы поставленные и разрешенные>

Редакционный работник: Неизвестно, что делать с этой рукописью. Масса проблем поставлена и ни одна не разрешена.

М.: Да, обыкновенно у вас наоборот, все проблемы разрешены и ни одна не поставлена.

<2 Гении и великие державы>

Все-таки великих представителей гуманитарной мысли рождали только «великие державы». Вернее — страны политически значимые. Потому что только эти большие исторические организмы обладали проблематикой, способной питать великие обобщения гуманитарной мысли. Если гении не рождались гражданами большой страны, то они ими делались. Руссо не мог остаться швейцарцем, как Наполеон не мог остаться корсиканцем.

<3 Станкевич и Покорский>

Тургенев, который так любил подробнейшие социальные характеристики, иногда очень грубо ошибался. Он изобразил Станкевича в виде нищего студента Покорского¹. Получилось что-то противоестественное и слюнявое, в духе самого худшего немецко-французского романтизма. А все оттого, что Станкевич — это богатый русский барич, до мозга костей, вне этого он невозможен и непонятен. Попытка «облагородить» характер нищетой — уничтожила характер.

<4 Два ненужных дела>

Если человек одновременно делает два ненужных дела, то ему кажется, что он все-таки не теряет времени.

<5 Не бояться старости>

Н.: Чего ради мне еще бояться старости?.. Что такое для меня старость — это одиночество, это отмирание человеческих связей, это исчерпанность человеческих возможностей; всех, кроме самых главных возможностей, — думать, писать и читать (исчерпанность этих возможностей — это уже не старость, это маразм). — Так ведь это я уже пережил. Я уже пережил свою старость в расцвете жизненных сил. Потом я временно от нее отошел, чтобы со временем опять к ней вернуться. Но я уже знаю, как это бывает. Если

бы двадцать лет тому назад нам бы показали то, чем мы стали сейчас, мы бы содрогнулись. Но я уже видел то, чем я буду еще через 20 лет, если буду жить, и я больше не содрогаюсь.

Вы скажете — я это видел за вычетом дряхлости, за вычетом скудно и точно отмеренных сроков, за вычетом невозможности на мгновение хотя бы перестать быть стариком. Верно. Но за двадцать лет, которые мне еще остаются, если остаются, — душа успеет защититься еще множеством потерь, я разумею импульсы, которые мы теряем. Мы страшились будущего, потому что мерим его психологической меркой настоящего. Когда я был мальчишкой, мне казалось неправдоподобным и неприятным, что наступит время, когда мне не захочется больше кувывкаться и съезжать по перилам.

<6 Синонимика самоутверждения>

Из всех человеческих вожделений устремление к власти, к господству имеет самую богатую и дифференцированную синонимику: властолюбие, честолюбие, самолюбие, тщеславие, гордость, надменность, высокомерие, самолюбование, самовлюбленность, себялюбие.

Разумеется, все это не тождественные, а различные категории самоутверждения, но занимательна сама их дифференцированность.

<7 Инстанции утверждения бытия>

Утверждение и отрицание бытия совершается в трех основных инстанциях — инстанция житейская, бытовая (окружающая действительность), инстанция историческая и инстанция жизнеощущения. Только утверждение в последней инстанции обеспечивает подлинный органический оптимизм. Мышление XX века, за исключением последовательно социалистического, было склонно к отрицанию во всех трех инстанциях. Это был одновременно пессимизм солипсического мироощущения, исторического релятивизма и скепсиса и социальной неудовлетворенности. Нам, напротив того, было предписано утверждение во всех трех инстанциях. Для литературы, даже самой дрянной, это оказалось технически невозможным (не получается сюжет). Поэтому в первой инстанции, бытовой, писатели добиваются разрешения на крохотные отрицания, тут же покрываемые с избытком огромными утверждениями. Во второй и третьей инстанции у них, разумеется, всё на местах.

Тверже всего утверждать я могу во второй инстанции, и особенно сейчас, в 43-м году, когда прояснились многие исторические, государственные, народные ценности. Когда столь многое зло, которому мы были подвержены, — оправдало себя. Когда столь многие блага, которых мы были лишены, — пошли прахом. Когда мы всеми нервами ощутили, куда гнет и куда заворачивает история.

В первой инстанции я скептик. В третьей инстанции я человек, пораженный ужасной болезнью импрессионистического века — болезнью

солипсизма. За нашим историческим сознанием, за нашим гражданским сознанием, за всем, что мы готовы утверждать и любить как социальные люди, — все равно, в самой глубокой и тайной глубине все равно стоит непонимание и страх изолированной души, брошенной в непостижимый и враждебный хаос. Все равно нет моста и не будет, чтобы перебросить его между третьей инстанцией и нашим историческим поведением, нашим социальным действием. Все равно это придется нести до конца как сущность души и как ее болезнь. Это проклятое наследство, еще тютчевское наследство². А наше историческое чувство — это живая связь с растущим веком, с веком, растущим нами, внутри нас.

С этой точки зрения литература может подразделяться на официозную, которая утверждает все от А до Зет, тем самым утверждая абсолютную благодетельность власти, которой она служит; литературу декадентскую, которая отрицает все содержание, оставляя только переживание формы, то есть искусство; и ту настоящую литературу, которая утверждает в одних инстанциях и отрицает в других и даже диалектически утверждает и отрицает в пределах одной и той же инстанции.

Если нет в мире великих произведений, в которых ничто не отрицалось бы, то, возможно, нет и таких, в которых бы нечто не утверждалось (самое мрачное из мне известных великих произведений — это «Ярмарка тщеславия»). Гр<иша> говорит, что из всех великих писателей мира единственный оптимист — Диккенс. Это впечатление возникает оттого, что Диккенс, в отличие от большинства настоящих писателей, начинает утверждать уже с первой инстанции. Конечно, это утверждение, сопряженное с отрицанием. Для Диккенса первая инстанция — это мир социального зла, но в то же время люди, многие из людей, населяющих этот мир, — хороши. И (потому) они способны к полноте житейского счастья, оформляемого в первой инстанции. У Диккенса люди несчастны по собственной вине или по внешним причинам, а вовсе не в силу изначальной невозможности быть счастливыми (эта органическая невозможность — основная тема «Ярмарки тщеславия»). Диккенс оптимистичен уже в первой инстанции, а это в большом искусстве действительно величайшая редкость, и потому в этом есть особая прелесть.

Русской литературе действительно никогда не было свойственно сплошное, во всех инстанциях, отрицание (флюберовски-мопассановский безвыходный и в безвыходности почти успокоенный пессимизм). Пушкину, с его глубокой историчностью, свойственно было утверждать во второй инстанции. «Онегин» — очень мрачная история. Но эта мрачность нарушена утверждением Татьяны, «милого идеала», национального идеала. И это не какая-нибудь абстрактно-славянофильская девица-красавица; это национальный идеал в конкретнейшем социально-историческом воплощении: уездная барышня и светская женщина, облеченная чистотой, силой, правдой и презирающая соблазн. Это вторая инстанция исторически воплощенного народного духа, торжествующего над печальной эмпии-

рикой невоплощаемой субъективной любви, над неразрешимыми противоречиями эгоистической личности. В «Медном всаднике» борьба двух инстанций — субъективно-бытовой и исторической — и победа второй из них — проявлены и осознаны до такой степени, что образует самый сюжет произведения. Третьей инстанции Пушкин касался редко; он подходил к ней через тему творчества и вдохновения, как бы считая, что ее законы не распространяются на бытие обыкновенных людей.

Тоголь с его страшной первой инстанцией все хотел и все не мог дойти до адекватного воплощения ценностей третьей инстанции. Лермонтов, одно из самых религиозных сознаний, прямо перенес борьбу утверждения с отрицанием в третью инстанцию, где демон у него борется с богом. Для Достоевского все утверждения сосредоточены, конечно, только в третьей инстанции. Толстой знал утверждения во всех трех. Он постиг вполне трагичность повседневной жизни, но в то же время создал святки и охоту у Ростовых в деревне, Наташу, пляшущую у дядюшки. Я не знаю ничего равного этим страницам по силе жизнеутверждения. Толстой внушает своему читателю слепое доверие. Раз он так написал, значит, действительно так бывает в реальной жизни. Значит, повседневная жизнь действительно может быть безмерно прекрасна. В «Войне и мире» есть утверждение и во второй инстанции (могущество народного духа, единство народной воли), и, разумеется, в третьей. Установки Толстого менялись (хотя и не слишком резко), но в течение всей своей жизни он утверждал положительную силу любви и умиления, которые были для него истоком религиозного чувства.

Даже Чехов — это еще не чистое отрицание. Чехов, казалось бы, отрицал во всех трех инстанциях. Но у него имелось некое подразумевание, противостоящее этим отрицаниям. Оно состояло в том, что все может измениться с изменением социального устройства, с установлением социальной справедливости. Это та предпосылка эпохи, которая позволила Шпенглеру утверждать, что все люди XIX века — независимо от их убеждений — были социалистами³.

И вот, после всех этих сложнейших соотношений утверждения с отрицанием внутри и между инстанциями, — появилась литература с заданием утверждать неукоснительно. Это явление, в сущности, новое в мировой культуре. Совершенно напрасно сопоставлять его, скажем, с моральной догматикой XVII века. XVII век и проч. — это христианская культура, убежденная в том, что рай находится на небесах; а на земле все не может и не должно обстоять благополучно. Если оды воспевали и утверждали, то на то и существовал одический жанр; это вовсе не предreshало концепцию бытия в целом.

Другое дело, когда рай — или нечто к нему тяготеющее — объявлен существующим на земле и когда литература, как и все прочее, поставлена на службу абсолютной власти, взявшей на себя ответственность за насаждение этого рая. Так впервые возникло требование (невозможное на почве христианской культуры с ее понятиями греха, искупления, испытания...) безоговорочного утверждения во всех инстанциях, внутри всех инстанций.

Появился точный водораздел. Все, что принадлежит к данной системе, — хорошо и благополучно. Зло может проистекать только из враждебности или чуждости этой системе или из заблуждения и непонимания (это герой, который в конце исправляется). Этот участок отведен под отрицание. В пределах же системы все благополучно. Смерть благополучна — человек умер, но дело его живет; страдания благополучны — они закаляют человека; личные неудачи благополучны — человек преодолевает их горечь общественно полезным трудом и т. д. Люди же, принадлежащие к системе, не только благополучны, но и хороши. Если у них есть недостатки, то это лишь подразумеваемые достоинства, так сказать, производные достоинств. Если старики придиричивы и ворчливы, то потому, что они радеют об общем деле. Если женщины агрессивны, то потому, что они блюдут устои. Если ответственный работник грубоват, то это функция его честности. Если молодежь легкомысленна, то потому, что в ней кипит сил избыток. Если ребята озорничают, то потому, что это живые, бодрые ребята, не слизняки какие-нибудь. Кроме того, недостатки нужны для симуляции «живого человека», для того, чтобы стала технически возможной какая-нибудь характеристика, как временные неблагоприятия нужны для того, чтобы стал технически возможным какой-то сюжет. Но, будьте покойны, и недостатки, и неблагоприятия будут сняты до конца, и сняты в первой же инстанции. В этом и только в этом основная особенность и основная ложь этого оптимизма.

Неправда, что великая гуманитарная мысль всегда была пессимистична. Напротив того, она всегда мучительно и неуклонно добивалась утверждения в инстанциях исторической концепции и философского миропонимания, то есть в инстанциях, оперирующих сверхличными ценностями, превышающими единичную человеческую судьбу, которая воспринималась как трагическая. Шопенгауэр с его тотальным пессимизмом был новшеством, исключением и именно потому огромным соблазном для людей конца XIX века. Недаром учение Шопенгауэра десятки лет оставалось незамеченным, пока в распадающемся субъективном сознании не созрела готовность к тотальному пессимизму. Но мировая культура никогда, за редчайшим исключением, не утверждала благополучия в первой жизненной инстанции (толстовские сцены охоты, святок — это только отдельные блики). Как культура христианская, она исходила из неизбывности земного зла; как культура революционно-социалистическая, она исходила из неизбывности социального зла в пределах данного социального устройства.

Все изменилось с появлением предпосылки (впервые) о том, что проблема социального устройства разрешена. Первую инстанцию было предписано рассматривать впредь как область разрешимых и в основном разрешенных противоречий. И вот тут возникла неадекватность действительности, грандиозная, еще небывалая в истории мирового искусства. Вернее, искусство перестало существовать. Ибо в первой инстанции человек никогда не ощущал и не может ощущать себя благополучным. Только в последующих инстанциях может быть снято это неблагоприятие, эта незатихающая тревога.

<8 Бабье царство>

Очень многое сейчас у нас психологически окрашено тем, что в тылу большую часть социальных функций выполняют женщины. Женщины сравнительно редко руководят, но выполняют почти все. То есть в основном изменился самый состав, материал обыденной общественной жизни. Чтобы понять нашу тыловую и полуфронттовую жизнь, надо понять, учесть особенности женской реализации.

<9 Пошлость — к культуре символизма>

Что есть пошлость... Пошлость — это, в сущности, искажение ценности, неправильное обращение с ценностью. Пошлость либо утверждает в качестве ценности то, что для подлинно культурного сознания не ценно, либо унижает ценное, либо ценности, выработанные в недоступной ей культурной среде, применяет не там и не так, как следует; вырывает их из органической связи. Пошлость не может быть там, где есть органическая связь ценностей, то есть культура. Поэтому народное сознание в своих интеллектуальных эстетических проявлениях не может быть пошлым; народное, фольклорное сознание в высшей степени выражает связь ценностей, органическую культуру. Пошлость свойственна промежуточным слоям, стремящимся паразитически овладеть высшей культурой своего времени, которая им недоступна. Пошлость особенно развивается в моменты идеологически неустойчивые, в моменты, когда разлагаются и слагаются идеологические формы, когда связь между идеями непрочна. Ибо тогда слишком много возможностей для применения фиктивных ценностей или для неверного применения подлинных ценностей. Если носители и блюстители пошлости имеют власть искоренять все, что им не подходит, то получается торжество пошлости.

Одно из самых основных и самых страшных свойств пошлости — безответственность. Она не нуждается в обосновании, в связи, в выводах из посылок и не понимает того, что всякий поступок (и всякое суждение) есть выбор и тем самым отказ от *другого*.

Теоретически интеллигентам нравятся «простые души». Но на практике эти «простые души», если только они не принадлежат к изолированной сфере самобытного народного сознания (например, патриархально-крестьянского), эти души на практике никогда не остаются в пределах той сферы интересов, где они могут правильно (адекватно) оперировать ценностями.

В силу естественного — и благородного — стремления человека к тому, что он считает самым важным и лучшим, они непременно найдут в такую культурную сферу, где их представление о ценностях окажется искаженным и искажающим (пошлым). И это сразу шокирует, отвращает от них интеллигентское сознание. В частности, на этом сокрушаются «неравные браки» и т.п.

Почему на символистах (модернистах, декадентах), несмотря на высокую культуренность, новаторство и проч., тяготело все же проклятие пошлости? Вероятно, объяснение этому — в интеллектуально-эстетической изолированности от общей социальной жизни. Классицизм, романтизм, реализм неотделимы от ведущей философии, религии, науки, социальной идеологии своего времени, даже от его государственности, политики и военного духа. Поэтому их ценности и оценки проникнуты необходимостью и ответственностью. Символизм, напротив того, искусственно воссоздавал религиозные и философские ценности. Он насаждал их в чуждой им социальной и политической атмосфере. Символисты никак не могли уйти от стилизации, то есть от вторичного, паразитического использования идей. Отсюда дух произвольности и произвола и угроза пошлости, тяготевшая даже над лучшими из них. О худших и говорить нечего.

<10 Хороший человек>

— Меня всегда поражает верность, точность вашего морального чувства. Должно быть, вы — хороший человек.

— Хороший человек... Никоим образом. Впрочем, я мог бы быть хорошим человеком. Это не вышло. У меня в самом деле, с тех пор как я себя помню, было это, черт его знает откуда взявшееся, верное нравственное чувство; дар различения добра и зла. И все это пошло прахом. Я, видите ли, никогда не доверял интуициям, тем более своим интуициям. Я любил объяснять, и для себя лично я этого никогда не мог объяснить. Понимаете, я знал, что держу в руках должествование, что какой-то поступок безусловно правилен и вообще безусловно должен быть совершен. Но почему я-то должен его совершать — это как раз оставалось необъясненным. Мне мешал не напор страстей, не соблазн... Мне мешало то, что лично мне было совершенно все равно — совершить ли этот должный поступок или другой, противоположный. Пустота сожрала во мне потенцию хорошего человека. Но я в самом деле знал толк в добре. И, знаете, раз уж мы пошли на откровенные разговоры, — у меня по-настоящему была одна только эротическая мечта. Я хотел любить чистую девушку. Девушку с ясным взглядом на жизнь, с честным и мужественным сердцем. Ну, конечно, при этом у нее должна была быть тонкая талия и очень хорошие зубы. Зубам я всегда придавал большое значение. Так вот, если бы я встретил такую девушку, я действительно полез бы для нее в бутылку. К счастью, я ничего подобного не встретил.

А человек я получился совсем не хороший. В моих возможностях все то зло, какое только способны породить равнодушие, лень, эгоизм, распущенность. Я, конечно, мирный интеллигент и потому мало способен ко злу, проистекающему из природной жестокости, из сознательной и рассчитанной воли к насилию. Но, уверяю вас, равнодушие и распущенность — достаточно мощные механизмы зла. Достаточно сильные, чтобы незаметно подвести человека к тихим домашним злодеяниям — незабываемым до

конца. Блок где-то написал в дневнике, что есть такие вещи на совести, из-за которых человек уже никогда не сможет почувствовать себя молодым. Это одно из самых верных наблюдений над совестью. Я вас очень прошу — никогда не говорите мне, что я хороший человек и тому подобное. Это ужасно меня раздражает.

<11 Рационалистический импрессионизм>⁴

Макогоненко сказал о моей повести (если это повесть), что при всей полемике с импрессионизмом, это и есть импрессионизм, только рационалистический. Рационалистический импрессионизм — это коварно сказано. Это значит, что рационалистическое сознание остается разорванным, и это значит, что полемика с импрессионизмом существенна, как попытка борьбы с бессвязностью собственного сознания. Он имел в виду импрессионизм в первую очередь как субъективное видение мира. Так что рационализм оказывается только формой подачи, способом анализа произвольных аспектов действительности.

Вообще же они с О<льгой> Б<ерггольц> реагировали, как и следовало ожидать, — хваля теоретическое. Они поставили автора на место. В качестве вольной публицистики это их устраивает, так как не вторгается в профессиональные установки. Если это публицистика, то беллетристике не о чем беспокоиться.

<12 Почему великих писателей не понимают>

Почему великих писателей не понимают современники и понимают потомки? — Ведь не обязательно же потомки умнее современников. Да и не всегда и не ко всяким великим писателям современники были равнодушны. Здесь всякий раз образуются довольно сложные соотношения. На эти соображения меня навела судьба Толстого. Рецензии на «Войну и мир» похожи сейчас на хулиганство. Никто (кроме Страхова) ничего не понял. Если кое-что в отдельности и понимали, то никто даже отдаленно не догадывался о масштабе. Впрочем, все признавали наличие «художественного таланта». Впрочем, кто-то писал — хорошо, мол, что талант не первостепенный, потому что тогда это было бы очень вредно. Но так как это только талантливое изображение солдатских сцен, то беда небольшая⁵.

С Пушкиным проще, потому что для Пушкина масштаб нашел Белинский. Это момент вполне уловимый. Уловить же момент, когда были поняты размеры Толстого, — я пока не могу.

«Война и мир» представлялась архаичной, неактуальной, не имеющей отношения к насущным вопросам времени. Между тем прошло некоторое количество лет, и люди стали мыслить и понимать себя по Толстому. Оказалось, что он выражает и в то же время формирует их сознание. Это значит, что ему принадлежит та высшая созидательная актуальность и современность, которая, в идеологической сфере, достижима только для мировых гениев. Когда же это произошло, то есть когда стало совершившимся

фактом?... И почему это не произошло в момент опубликования романов, которые и были актом раскрытия сознания современного человека?..

Дело в том, что понятие современности включает ряд сосуществующих слоев, вернее, оно подобно сочетанию расходящихся концентрических кругов, из которых последние, наиболее удаленные от центра сегодняшнего дня, — уже расплываются в прошедшем и в будущем. Понятие современности аналогично условному и сложному понятию настоящего в применении к отдельному человеку.

Возьмите, например, человека на летнем отдыхе. Что такое его настоящее? Это неуследимо-мгновенное ощущение — стакан воды, который он выпивает на прогулке, и в то же время это совершаемая прогулка в целом, и это тот отрезок времени, который он проводит в доме отдыха; и вместе с тем это его жизнь, как она сложилась в определенный период, с тех пор как он поступил на новую службу, или женился, или переехал в этот город. И все эти слои разного охвата одновременно, но с разной степенью осознанности и ясности сходятся в условной и неуследимой точке переживаемого мгновения; одновременно с разных дистанций давят на эту точку.

Аналогичным образом складывается социальное переживание современности. Что такое для нас сейчас современность — грандиозное ежедневное содержание газетного номера, война, период с конца 1920-х годов, период с начала революции, 20-й век с его специфическими предпосылками бытия и сознания. У этого предела современность растекается в прошлом и будущем. Мы ощущаем, что в какой-то своей инстанции наша проблематика принадлежит будущему. Современности эти сосуществуют, но, при разных обстоятельствах, та или иная доминирует в сознании. Понятно, что война, подобная переживаемой нами, временно отрезает все переходы, приглушает и ставит под сомнение всякую другую современность.

Судьба писателя во многом зависит от соотношения его творческого временного ритма с ритмом исторического чувства читателей. Настоящий писатель всегда современен, но он может быть современен в очень разных ритмических категориях. Он бывает злободневным, бывает сезонным; он может уловить общественное настроение, протяженностью в два, три года, может выразить поколение и может поднять проблематику века. Есть в литературе такие проблемы векового охвата — например, проблема личности. Чем шире исторический охват, тем меньше шансов, что произведение окажется актуальным, ибо временные ритмы не совпадут.

«Кавказский пленник» был актуален; «Онегин» не был актуален; «Медного всадника» Пушкин не стремился печатать; он знал, что в 30-х годах «Медный всадник» никому не нужен⁶.

Иногда большое произведение совмещает (в себе) актуальность разных объемов — от злободневных отражений до коренных проблем эпохи, которые, варьируясь, будут занимать людей десятилетиями. Иногда совмещение не происходит.

Я все время имею в виду именно современное разных объемов, а вовсе не то «вечное» и «бессмертное», что позволяет каждой эпохе по своему осваивать великие произведения искусства. Это никак нельзя смешивать, потому что у читателей разные ключи к произведениям современным и классическим, разные восприятия, это разные чтения.

Классика читатель принимает «как он есть», во всяком случае, в его исторических и эстетических закономерностях. Сверх того он применяет классика к своему сознанию, к своей эпохе, и когда находит материал для применения, то бывает счастлив и благодарен.

Современника читатель судит не по его, а по своим законам. Он предъявляет к нему требования. Он бывает восторженным, но не бывает благодарным. Если он нашел то, что его касается, он считает, что получил должное; если не нашел — он протестует по праву.

Очень обще говоря, читатель требует от писателя-современника, чтобы тот показал ему уже существующее, или уже осуществляющееся, но еще никем не увиденное и не показанное, не названное (ср. формулу Толстого); он требует от современной литературы, чтобы она впервые за него и для него осознавала действительность, в которой он живет. Это относится к самым различным категориям действительности — от фиксации конкретных фактов (например — эпизоды войны) до осознания таких явлений социальной или психической жизни, которые на десятилетия остаются доминирующими.

Человек, особенно человек реалистической эпохи, испытывает совершенно особое счастливое, удовлетворенное чувство, когда он может сказать — «похоже!» Похоже на всяческий его опыт, на его любовь, на его страх, на его разговор с домработницей. Само по себе это как бы бессмысленно. — Почему должно доставлять наслаждение сходство с вещами, которые как таковые никакого наслаждения не доставляют; даже напротив того.

Здесь мы имеем дело со сложной эстетической абберацией.

Переживание сходства иллюзорно. На самом деле человек не знал, *не видел* ни своей любви, ни своего страха, ни своего разговора с домработницей. Он знал, что эти явления существуют, что они его действительность, но теперь ему впервые их показали, и он будто бы их *узнал*. Переживание радости возникает из акта осознания жизни, то есть возведения ее из небытия в бытие; из сферы неуследимых быстротекущих мгновений эмпирии в сферу бессмертных объектов познания. Переживание же сходства, вернее узнавания, возникает ретроспективно как признак этой объективации. Вернее, мы имеем обратный процесс, или, еще вернее, два встречных процесса. Художник осознает, постигает предмет действительности и создает предмет искусства, «похожий» на него, вернее, раскрывающий его; для читателя же похожим, узнаваемым оказывается не предмет искусства, но предмет действительности, осознаваемый ретроспективно (читателю часто кажется обратное, но это самолюбивое заблуждение). Этим и отличается большой писатель от своих читателей. Именно представление о двух

встречных (обратных) процессах может выразить соотношение между художником и нехудожником.

Рассматривая вопрос схематически, можно сказать, что каждое новое поколение предъявляет требования к современной литературе. Молодежь (конечно, уже сформировавшаяся молодежь) всякий раз выражает последние требования современности, чтобы через какое-то количество времени уступить место следующим поколениям. Вот почему большие писатели иногда имеют большой успех в молодые годы, когда они весьма далеки от своего максимума. Тогда происходит совпадение между историческим ритмом писателя и читателей. Это случается с большим писателем, если он в молодые годы принадлежит к активу декабристского поколения; но не случилось с Толстым, который уже в юности — и в юности едва ли не больше, чем когда бы то ни было, — стоял в стороне и разрешал вопросы по-своему.

Что же в дальнейшем — через десяток лет сверстников большого писателя в роли культурного гегемона сменяет новое поколение с новыми требованиями и объявляет предыдущее поколение архаическим и так дальше. Большой писатель (если он не русский поэт, погибающий в юности) переживает несколько таких сменяющихся поколений. Попутно он сам продолжает расти и развиваться, но развиваться из своих исходных предпосылок, ибо человек может переменить все что угодно — образ мыслей, принципы, поведение, привязанности, род занятий — но человек, тем менее гений, не может переменить свое мироощущение.

Так в процессе роста начинается трагическое несовпадение временных ритмов. Юношеский ритм гения, который тогда еще не был гением, совпал с ритмом его сверстников — в результате бурный успех, успех первого среди равных. Но через десяток лет его ритм уже никак не может совпасть с интересами новой молодежи; амплитуда его колебаний равна теперь только гораздо более широким колебаниям исторического сознания. Именно тогда он становится глубочайшим образом современным своему времени, самым основным устремлениям своего времени, но новая молодежь, наивно полагающая, что ее проблематика снимает начисто все предыдущие, наивно считает его устарелым. Поэтому неправильно говорить, что гений работает на будущее. Нельзя работать, по крайней мере, нельзя хорошо работать на того, чьи потребности неизвестны, и нельзя выражать и воплощать несуществующее. Гений, больше чем кто бы то ни было, работает на современность, но на современность другого масштаба. Будущее, потомство — это только полемика с современностью текущего дня.

Отношения большого писателя со сверстниками не более благополучны, чем его отношения с младшими поколениями. В отличие от больших людей, обыкновенные люди не развиваются из своих предпосылок. Обычно они застывают на позициях своей юности и действительно становятся архаическими. (Это относится, прежде всего, к средним писателям, даже к хорошим средним писателям.) Своего великого сверстника,

идущего дальше, они очень скоро перестают понимать. Они считают, что он испортился, что он не то делает, иногда — что он неудачно подлаживается к новым поколениям. Хуже всего, если они продолжают его одобрять. Они одобряют его в узком, устарелом эстетическом понимании, которое для него оскорбительно.

Пушкин прошел через все эти муки. Новые поколения, начиная поколением 30-х годов, считали его неактуальным. Сверстников он перестал удовлетворять, как только перерос декабристские позиции, начиная с первых глав «Онегина». Дальше «Кавказского пленника» они ничего не способны были в Пушкине понять.

Пушкин объявлен был устарелым в период, когда он разрешал насущнейшие проблемы современности большого масштаба. Это довольно скоро обнаружилось; обнаружил это Белинский. Но Пушкин не дожил до поколений канонизирующих. Он не дожил до того момента, когда гений, не переставая быть современником, то есть не переставая для людей своего времени осуществлять акт осознания им принадлежащей действительности, — в то же время становится каноничным. Когда к нему подбирается уже другой ключ. До этих поколений дожили великие старцы — Гёте, Толстой. Гений бывает адекватен своим современникам в юности и в старости, но зрелость гения, поря его творческой полноты — почти всегда трагедия.

Счастливый Гёте написал «Вертера» в юности и «Фауста» в старости.

Большой писатель учит людей по-новому понимать самих себя и действительность. Но не всех людей и не при всяких обстоятельствах можно этому научить. Нельзя заставить по-новому увидеть мир людей с определенным мироощущением (хотя можно оказать на них влияние), нельзя научить людей, если они сопротивляются, полемизируют, не доверяют или воспринимаяют под заведомым углом зрения.

Большой писатель последовательно имеет дело — во-первых, с предшественниками, которые почти никогда не верят в то, что он большой писатель, для которых он остается «молодым человеком»; во всяком случае, их мироощущение он изменить не может. Во-вторых, он имеет дело со сверстниками, которые расходятся с ним в тот момент, когда он начинает мужать, а они начинают консервироваться.

В-третьих, в период своей творческой зрелости он имеет дело с младшими современниками. Именно младшие современники — это те, кто пишет рецензии на только что появившееся творение зрелого гения; те, с кем больше всего сталкивается историк литературы.

И вот эта именно категория имеет множество оснований для непонимания. Прежде всего, старшие и младшие современники не знают еще, что это хорошо, еще никто им этого не объяснил (объяснение приходит иногда сразу, если оно является делом великого критика, иногда исподволь, постепенно). В эстетическом восприятии осведомленность о ценности объекта имеет решающее значение, даже для самых тонких ценителей. Надо

знать о бриллианте, что он бриллиант, надо знать о гении, что он гений. Это иная совершенно установка восприятия. Ценность гения обрастает бесчисленным множеством вторичных культурных ценностей. На ней остаются следы всех восприятий, через которые она прошла, всех любвей и любований. Это сложный комплекс, иногда складывавшийся и проверявшийся веками, и никакое современное восприятие, даже самое восторженное, не может быть ему адекватно. Все равно, это не тот масштаб.

Далее исторический ритм сознания младших современников расходуется с историческим ритмом сознания писателя, и младшие современники считают его идеологически неактуальным. Этот авангард молодого поколения (здесь дело не только в возрасте, иногда к авангарду относятся люди другого возраста, но обслуживающие молодое поколение) убежден в том, что его проблематика начисто сняла все предыдущее. Так в особенности было в России 19-го века с ее острой сменой идеологических поколений. И здесь не помогла даже тактика Тургенева, который каждые десять лет изображал человека нового поколения. За это его одобряли, но ставили ему на вид, что все равно он трактует современную тему с несовременных позиций.

Уверенность в идеологической несовременности мешала этим людям понять современность творческого постижения и изображения мира. Толстой, минуя новых людей, игнорируя *вопросы*, изображал невесть что — 12-й год, адюльтеры. Как могло им прийти в голову, что этот отсталый, хотя не лишенный таланта, писатель был современнейшим из современников. Что он утвердил на века реалистическое мироощущение, которое они искали, что он преодолел романтический дуализм, с которым они беспомощно и тщетно боролись. Он ответил на существеннейшие из поставленных ими вопросов, но ответил на такой глубине и широте охвата, которая в той момент осталась для них недоступной. Они не заметили соответствий за социальной полемикой, за неудовольствием по поводу того, что Толстой изображает графов, а не семинаристов. Даже лучшие из них проглядели за этим — и законно проглядели — искомого реалистического человека, которого дал Толстой.

Художественный метод не доходит до сознания младших современников еще и потому, что по отношению к современному писателю критика, особенно писательская критика, предъявляет определенные требования и мерит его на свой аршин. Она убеждена, что замечательный писатель должен искать то самое, что ищет она, что ищут другие писатели, ею направленные, но только с большим успехом, на то он и замечательный, а он ищет и находит другое, ибо он открыватель, и тогда его временно объявляют несостоятельным (ср. об этом в моем «Лермонтове»). Здесь дело не в глупости критика, а только в несовпадении исторических ритмов; в том, что к современнику, в отличие от классиков, всегда предъявляются *определенные* требования. В результате обманутых ожиданий — полемическая позиция. А полемическая позиция всецело поглощает внимание, не допускает до сознания все остальное; в таких случаях она обеспечивает непонимание.

И вот тут происходит самое странное. Произведения, которые будут вызывать удивление веков, при своем появлении решительно никого не удивили, даже не показались новыми или необычными. Удивление вызывают вещи с сознательной установкой на эпатаж, с подчеркнутой революционностью формальных элементов. Тогда говорят о непонятности, о шарлатанстве, о декадентстве, о том, что ничего нельзя было бы иметь против музыки будущего, если бы нас не заставляли слушать ее в настоящем (Вяземский о Вагнере)⁷ и т.п. Но когда нет этой специальной, подчеркнутой, возведенной в систему формальной новизны — никто не удивляется. Никто не удивился «Войне и миру».

Дело в том, что отдельные, разрозненные элементы произведения всегда на что-то похожи (если нет специального эпатажа). Нова же и необычайна система, принцип связи. А принцип для младших современников остается незамеченным.

Они не видят его потому, что не воспринимают перспективу, целостное соотношение элементов. Они воспринимают элементы разрозненно. В процессе становления писателя, даже в процессе становления произведения, со всей его журнальной и т.п. историей. Наконец, они воспринимают отдельные элементы в соотношении с подобными им элементами, бытующими в окружающей литературе. Они не понимают, что это совсем другое. Для современников Толстого существовали элементы исторического романа и элементы психологического романа или «романа без героя». И они рассуждали о «Войне и мире», как если бы Толстой ставил себе те же задачи, что авторы исторических или авторы семейных романов. Они подходили к «Войне и миру» с мерилем привычных для них литературных понятий, и это мерило действительно можно было приложить к разрозненным, искусственно изолированным элементам, но совершенно нельзя было приложить к общей связи.

Они воспринимали «Войну и мир» в синхроническом ряду исторического романа и рассуждали о приемах Толстого как исторического романиста: в другой связи рассуждали — удастся ли или не удастся Толстому «интрига». Не понимая, что все это уже совсем не то, совсем изменилось в своем значении. На близком расстоянии, вне перспективы Толстой растеклся по синхроническим рядам реалистической, психологической литературы: они казались подобными, и в самом деле были подобными, хотя в целостном соотношении творения их значимость совершенно менялась. Но вблизи и на ходу это целое не было видно; они не ощущали новизну и не удивлялись. Они были подобны людям, присутствующим при постройке. Они видят отдельные части, в отдельности похожие на части множества других зданий, и не видят неповторимо новое целое. Они не могли ни удивиться, ни пережить откровение нового понимания жизни. Нельзя научить новому постижению мира людей, которые в это время заняты своими обманутыми эстетическими ожиданиями, идеологической полемикой и развлечены близлежащими фактами. Их восприятие соответствующим образом не на-

строено, и потому они не воспринимали новую концепцию. Где им было заметить новую концепцию человека, когда их внимание было поглощено спором о том, правильно ли изобразил Толстой Наполеона или Кутузова.

Таким образом, восприятие младших современников, в сущности, самое искажающее. Воспринимаемые элементы они не могут правильно соотнести и найти, как мы говорили когда-то, правильную доминанту (у сверстников есть эта доминанта по той простой причине, что она общая у них и у писателя на первом его творческом этапе). Между тем именно это искажающее восприятие было фетишизировано формализмом, когда формализм занялся историей (тыняновский этап). Здесь, в сознании младших современников, пребывала основная из всех «функций». Сюда вели формалистов отчасти интерес к разоблачительству и сведению с высот; отчасти роковая логика раз принятой исторической относительности. В результате канонизировалось восприятие, измельченное и искаженное случайной притесью текущих интересов.

Каким нужно брать великое произведение, что́ оно есть *на самом деле?* — я не знаю. Но его нужно искать не в случайностях читательского восприятия, а в закономерности творческого сознания, как сознания исторического, сознания *современника*, но соотнесенного с современностью большого плана (она при этом может включать в себя актуальности и современности меньших планов).

Вслед за младшими современниками (нескольких возрастов) писатель переходит к поколению, которое можно назвать ранними или близкими (ближайшими) потомками. Это поколение наступает для большого писателя иногда еще прижизненно, иногда посмертно. И это, быть может, самое глубокое из восприятий, во всяком случае, самое заинтересованное. В самых широких своих колебаниях исторический ритм писателя и читателя еще совпадает; они находятся еще в пределах одной современности, и потому это восприятие заинтересованное, личное, страстное, и вместе с тем уже свободное от прямолинейной и грубой требовательности предыдущих поколений. Уже образовалась дистанция; уже многообразными путями просочилась в сознание предпосылка ценности, меняющая восприятие, располагающая к признательности, к готовности учиться и следовать по открываемым путям. Идеологическая полемика, идеологические несовпадения с писателем, отделенным от них несколькими поколениями, для них не имеют значения; они понимают, что нелепо было бы требовать совпадений. По тем же причинам у них нет здесь грубой и навязчивой требовательности в плане художественного метода (это они оставляют для ближайших своих современников). Большого же писателя, отделенного дистанцией, они не учат и не примеривают к себе, но сами к нему примериваются. Они вкладывают себя в него, как в историческую форму, определяющую их сознание. Это и есть решающий момент в судьбе творческого наследия. Это и есть поколение учеников, поколение, воспитанное и духовно созданное гением по своему образу и подобию. Конечно, тут имеет место не только воздей-

стве, но взаимодействие. Великий писатель одновременно выражает сущее и формирует осуществляющееся. Он осознает современность и доводит ее до сознания. При этом он осознает современность большого плана, включающую ряд поколений, но ему удастся впервые довести ее до сознания поколения, расположенного на некоторой дистанции. Свойства, им раскрываемые, были присущи уже предыдущим поколениям, но они не могли их увидеть в его изображении в силу тех заслонок, о которых говорилось выше. А ближние потомки от этих заслонок уже свободны. Они отделены дистанцией, и потому видят творца и творение в перспективе, в целом, в связи и системе. И потому они удивляются и испытывают чувство новизны; они принимают откровение. Это происходит еще и потому, что для них великое произведение изолируется, отделяется от того плотного окружения аналогичных, но мелких и разрозненных опытов и достижений, в котором оно тонуло для предыдущих поколений. Ближние потомки, в отличие от дальних, еще помнят об окружении и исторических предпосылках великого произведения, но уже не интересуются ими. Внимание их сосредоточено только на предельном выражении системы.

Это, конечно, историческая аберрация, и тем самым они несправедливы к второстепенным произведениям, но в культуре это меньшее зло, чем несправедливость к великим произведениям, к чему мы были так склонны в дни нашей юности, когда нас учили презирать «историю генералов».

Сравнительно часто бывает так, что первое подлинное признание наступает для большого писателя вскоре после его смерти. Это неслучайно. Смерть художника (как смерть близкого человека) сразу создает дистанцию, приглушает спорные вопросы, связывает разрозненное (подведение итогов), располагает к признанию ценности. Сознать это живому человеку обидно; об этом с отвращением писал Маяковский.

Достоевский в высшей степени осознал сущее в его эпохе. Это не помешало сверстникам и младшим современникам Достоевского не узнать себя и нести по его поводу ахинею. Как могли, например, узнать себя в Достоевском те, кто воображали, что узнают себя в «новых людях» Чернышевского. Но Чернышевский сам, в своей семейной истории, гораздо больше похож на Достоевского, чем на своих гладких Лопухова и Кирсанова. Он только еще, вероятно, не знал об этом.

Только в самом конце жизни Достоевского и сразу после его смерти сформировалось поколение, понимающее себя по Достоевскому. И эта линия все возрастала, вплоть до первых десятилетий 20-го века.

Наконец, для великого писателя настает дальнейшее потомство. Эта категория уходит в бесконечность, и тут новые десятилетия и новые века приносят все новые формы восприятия.

Эти восприятия, конечно, гораздо менее адекватны произведению, чем восприятие ближних потомков. Под каким бы углом исторической относительности ни рассматривать произведение — от него неотъемлем все-таки костяк творческого замысла (намерения). Восприятия, вернее,

усвоения или присвоения дальних потомков — субъективны (не в индивидуальном, а в групповом смысле) и, разумеется, переменчивы. Представление о ценности и масштабе является в них доминирующим, уже совершенно устоявшимся, обогащенным и усложненным историческими реминисценциями и ассоциациями. Это представление создает особую настроенность восприятия, готовность реагировать на любые элементы произведения, попадающие в поле сознания. При этом общая связь элементов и доминанты устанавливается соответственно собственным интересам, невзирая на тот принцип связи, который наличествовал в творческом замысле. Произведение классическое — уже совершенно изолировано от своих исторических связей, от окружения и предпосылок. Оно воспринимается поистине как откровение, ничем не подготовленное, и потому особенно легко переключаемое в контекст другой эпохи.

Ближние потомки находят в произведении доминанту современности большого плана; поэтому их толкование не произвольно. У дальних потомков оно произвольно. Младшие современники примеривают произведение к себе, близкие потомки примеривают себя к произведению, дальние потомки подтверждают себя произведением. Требований они предъявлять не могут. Они находят подтверждения, то, что они считают подтверждением своему видению мира и радуются, испытывают по этому поводу наслаждение и благодарность. Те классические произведения, в которых данная эпоха не находит для себя подтверждений, она воспринимает холодно-эстетически.

Классическое произведение не воспитывает, не учит дальних потомков — как бы восторженно они к нему ни относились — в том смысле, в каком оно воспитывает и учит ближних; то есть оно не формирует их сознание. Это назначение выполняют другие, более близкие, произведения, к которым они относятся нередко с гораздо меньшим восторгом и благоговением, но гораздо более страстно и лично. Классическое произведение не формирует, но подтверждает и обогащает уже сформировавшееся. Но это подтверждение может быть столь значительным и волнующим, что оно иногда заслоняет в сознании факторы более действительные, что его можно принять за формирующее начало.

<13 Итоги неудач>

Конечно же, это вполне подновогодняя тема для размышлений — итоги собственных неудач. И Оттер размышляет об этом. У неудачников жизнь делает скачок от ребячества к старости. Зрелости у них нет. Незаметно для себя они выходят из периода, когда все не началось, все еще впереди, и непосредственно вступают в период, когда «уже поздно».

Кстати, психически уравновешенный человек с трудом и неохотой признает себя неудачником. Делая это признание, человек обычно вступает на путь юродства, самоуничтожения. От этого От. пока еще далек. Для него это признание сравнительно безопасно, потому что он ощущает свое

неудачничество как внешнее и случайное, психологически для него не обязательное. Он ощущает, что, может быть (конечно, может быть, а не наоборот...), он внутренне человек творческой удачи, масштабов которой он, вероятно, никогда не узнает, потому что не дожидается времени, когда она выйдет наружу.

Но вместе с тем сейчас, на пятом десятке, нельзя не признать, что все, видимое извне, — не удалось. И не удалось уже прочно, всерьез. Что это уже совершившийся факт. Что он уже вышел из периода, который можно было считать периодом трудной и неустроенной молодости, и прочно оказался в числе людей, состоящих при малых делах.

Последние два с половиной года перестроили многое. Был даже момент, когда казалось, что они изменили в корне проблематику удач и неудач. Мировые катастрофы вмещались в течение человеческих карьер, люди перемещались, нужно оказывалось ненужным и т.д. Люди, которым нечего (или мало) было что терять, испытывали даже своеобразную легкость среди смертельно тяжкого и страшного быта. Теперь им некуда было спешить с самыми трудными из своих дел, за промедление с которыми их в нормальном быту неотступно мучила творческая совесть. Зависть бездействовала; они больше не чувствовали себя униженными, потому что чужие достижения рушились на глазах или теряли смысл. Казалось, что все будет стерто. Что те, кто вернутся к жизни, вернутся, минуя иерархию, слагавшуюся по мелочам, свободные от груза своих неудач, а может быть, и достижений, и еще со знаком выстоявших до конца и отстоявших страну.

По мере улучшения обстоятельств, все крепнет тяга к стабилизации. Все яснее, что всякий затянувшийся быт (даже быт с ежедневными артобстрелами) становится стабилизируемым бытом. И людям, которым вначале казалось, что всё снимается с якоря и несется, — теперь, напротив того, кажется, что всё оседает на месте... И люди во что бы то ни стало, не смотря ни на что, даже против всякой очевидности стремятся сделать свою жизнь нормальной.

Вместе с тем все яснее становится, что предпосылки общей жизни не изменились, вернее, изменяются в очень глубоком историческом смысле, пока еще не имеющем непосредственного отношения к быту. Продолжают разворачиваться потрясающие события, но люди предвидят, знают развязку событий, чего они не знали тогда, и этого достаточно для того, чтобы события представлялись им временным явлением, постоянное же представилось в том виде, в каком они его оставили или в каком оно их оставило. Все устремились опять к своему уровню. Все спешно разыскивают свои места в иерархии и боятся опоздать. Опять на очередь становятся проблемы — творчества, труда, заработка и проч.; во всяком случае, ясное предвиденье этих проблем.

Все это и многое другое уже существует, в искаженном еще, конечно, виде, частью усложненном, частью упрощенном. И многие вопросы, которые казались ненужными, ничтожными, наивными в свете

происходящего или снятыми и разрешенными происходящим, — пришли опять. Есть разговоры трехлетней давности, которые могут быть продолжены. Впрочем, преувеличивать это тоже не следует. Много изменится, но не очевидным образом, изменится путем глубинных исторических сдвигов сознания, видимые результаты которых еще должны созреть. Люди еще не знают о том, что они изменились, вероятно, не сразу узнают, а пока что спешат найти потерянное место. Во всяком случае, для сорокалетнего человека это момент подходящий для подведения итогов своим неудачам и возможностям.

В сущности, все не удалось. Он — человек с сорвавшейся карьерой. В ранней молодости она намечалась, но сорвалась очень скоро и, вероятно, навсегда. У него нет социального положения, ни даже верного и достаточного заработка. Любовь обманывала всякий раз, как приходила. Вернее, в последние годы уже не обманывала, потому что теперь он всякий раз знает, что это кончается. И это каждый раз кончается одиночеством. Классическая триада — слава, любовь, деньги — не удалась.

Он перебирает самые реальные из возможных человеческих бедствий — страх смерти, болезнь, унижение, раскаянье, нищета, одиночество, неосуществленность творческих возможностей, скука (пустота). Примеривает их к себе. Страх смерти, быть может, притупился в нем как аффект. Но во всяком случае не преодолен им в сознании. Не побежден мыслью. Он нищий, он одинок, вероятно, непоправимо одинок. Он допустил себя постепенно до моральной слабости; он нажил раскаянье, такое, что его приходится все время вытеснять, чтобы оно не растерзало душу. Он чувствует себя униженным, со своими полузадавленными-полузапуганными возможностями и внешним положением мелкого профессионала.

Признание нескольких человек («лучших людей»), но ведь это признание неизвестно чего, потому что ни несколько человек, ни он сам не могут проверить масштаб, охват его достижений. Такие вещи проверяются не на «лучших людях», а на людях просто. И даже эти несколько человек, знающих и понимающих и говорящих большие слова, все равно забывают об этом и дальше делают свое дело, как если бы не было достижений Оттера. Трудно помнить о не включенном в культурный контекст, социально не реализованном. Трудно относиться к человеку согласно его познаваемой скрытой ценности, а не согласно его видимой ситуации. Мы помним о ценности (порой и забываем), но поведение непроизвольно и непосредственно ориентируется на ситуацию. По отношению к человеку, не закрепленному официальной иерархией, невольно возникает большая моральная фамильярность, чем по отношению к закрепленному. Трудно самому, без помощи социального аппарата, устанавливать дистанции и масштабы относительно своих знакомых. Принципиальное знание и понимание недостаточно, если оно не поддержано внешними признаками. Ибо внешние признаки воспринимаются постоянно и потому постоянно и непроизвольно регулируют поведение и отношение, тогда как на знании и понимании нужно специально сосредоточиваться. При самых лучших намерениях ни-

кто не может относиться к «неведомому избраннику»⁸, как относятся к обшцепризнанному. Поэтому пресловутая оценка избранных друзей — неполноценна и не может утешить самолюбие. Она не удовлетворяет не только количественно, но и по качеству.

Что касается скрытой творческой реализации — про себя, то это реализация, трудная нездоровой трудностью, искаженная, уязвленная, неполноценная; главное, недоступная проверке и поэтому отравленная недовершенностью. Это печальное творчество, не закаленное в столкновениях с современностью, не напряженное ожиданием славы или падения, не натянутое высокой горопливостью. Его никто не ждет, его никуда не торопят. Поэтому оно отравлено убийственной для творчества формулой: «некуда спешить». И человек сам себе, сам для себя повторяет:

То ревность по дому,
Тревогою сердце сная,
Твердит неотступно:
Что делаешь, — делай скорее⁹.

Из всех неудач самыми горькими оказались все-таки для него неудачи самолюбия. Думаю, что здесь действуют некие аберрации и иллюзии. Дело в том, что человеку может надоесть все, кроме творчества. Человеку надоедают любовь, слава, богатство, почести, роскошь, искусство, путешествия, друзья — решительно всё. То есть все это, при известных условиях, может перестать быть целеустремлением, но только не собственное творчество. Этого не бывает, как не бывает, чтобы человеку надоело спать или утолять голод и жажду. Человек может объесться и испытать временное отвращение к пище, человек может переработаться и испытывать временное отвращение к умственному труду. Но целеустремление немедленно восстанавливается, поскольку творчество есть совершенно органическая, неотменяемая воля к личному действию, связанная с самой сущностью жизненного процесса.

Утехи же самолюбия и проч. как раз принадлежат к надоедающим. Конечно, честолюбец чаще честолюбив до конца. Но тут прежде всего нужно постоянное нарастание. Все достигнутое приедается очень быстро, кажется само собой разумеющимся, становится одной из тех привычек, которые оборачиваются страданием только с потерей привычного. Кроме того, в отличие от непосредственных, неотменяемых, хронических, так сказать, переживаний, которые дают человеку любовь и творчество, — радости самолюбия опосредствованы. За исключением отдельных острых моментов. Это то, о чем надо помнить. И потому временами это все вдруг теряет реальность, куда-то отодвигается, оставляя за собой пустоту и вопрос — а к чему оно, собственно? А что это, собственно, и что с этим делать? А стоит ли это усилий и жертв? Вот почему счастливая любовь, семья, творческая реализация могут дать гораздо больше непосредственному челове-

ческому чувству. Они могут быть предпочтены — и очень резонно — славе. Но при отсутствии всяческих благ — отсутствие благ самолюбия оказывается более всего. Отсутствие необычайно заостряет эти вещи. Здесь вожделенными представляются даже мелочи, даже то, что по достижении оказывается совершенно пресным. Страсти этого порядка сильнее и разрушительнее всего в своей негативной форме. Ибо в негативной форме они оборачиваются унижением, которое человек переносит с трудом, о котором он помнит гораздо тверже и непривычнее, чем о собственной славе.

Один из жестоких конфликтов — это конфликт между творческой реализацией и реализацией житейской. Его переживают люди, в чьей жизни грубо перерезаны связи между творчеством и такими социальными категориями, как профессия, заработок, карьера. Они попадают в сеть противоречий. Они предаются упорно творчеству про себя, которое может никогда не пригодиться, может пригодиться через много лет, скажем, под конец их жизни, может пригодиться после их смерти, потомкам.

В первую возможность они не верят, она противоречит их интуиции, против нее восстает в них инстинкт самосохранения — ведь тогда что такое была бы их жизнь?.. Но проверить социальную применимость своего творчества они бессильны, и оно отравлено этим бессилием. Вторая возможность их отчасти устраивает. Наличие конечной цели смягчает жестокое творчество — я дождусь... докажу... увижу осуществление. Но что такое это осуществление в конце длинного, горького, пустынного пути? Не слишком ли это поздно? Не слишком ли мало за десятки лет одиночества и обид? Быть может, это важнее сейчас как цель, как надежда и обещание, помогающие жить, нежели как реальность. Что это как реальность? — непристойная радость старика, играющего игрушками, которых его лишали в детстве... Или последняя, самая горькая из обид — на то, что вожделеннейшее благо пришло слишком поздно, когда нельзя им стереть целую жизнь унижения, когда нет ни воли, ни сил им насладиться, когда не с кем его разделить (в счастье и в горе страшно на этой земле быть одному!...). Но сколь горше конец тех, кто не дожидается этой последней обиды.

Это третья возможность, которая возмущает и дразнит их эгоизм. Что им за дело до этого издевательского посмертного признания?.. И в то же время они хотят сделать вещи, которые остаются. Перспектива забвения оскорбляет их еще больше перспективы запоздалого признания. Они понимают, что, совершив все земное, можно спокойнее ожидать конца, хотя обосновать это не могут. Мысль об исчезновении неотделима для них от мысли — все пропадет, а если даже не пропадет, то останется недоделанным, и никто никогда не узнает того, что во мне было. Надо доделать и обеспечить сохранность. И мысль о случайностях, которым подвергаются сейчас эти единственные экземпляры, по меньшей мере столь же тревожна, как мысль о личных несчастьях. Эту логическую путаницу психологически можно распутать.

Третьей возможности сопротивляется эгоистический человек, и к ней тянется социальный человек, который, хотя бы в подавленном ви-

де, живет в каждом творце. Творящий знает инстинктом, что он сопряжен с бесконечно продолжающейся общей жизнью, что в ней условие творчества и мерило его ценностей. Пусть он эгоист, но он эгоист, существующий на особых жестких условиях, вне которых творчество прекращается. Его трагедия не в том, что он выше общей жизни или противопоставлен общей жизни, — как это думал о себе романтический человек, — но в том, что он от нее изолирован.

Поздним вечером (но темно все равно с пяти часов), в комнате холодной и плотно зашторенной, в давящей тишине опустелого дома, под тупой стук отдаленной стрельбы Оттер думает об общей жизни упорно, с личным каким-то вожделением. Нехорошо, нехорошо человеку быть одному. Странно человеку быть эгоистом. Если б только она, общая жизнь, захотела его взять, сообщить ему свою волю. Взять его таким, какой он есть, не обкорнанного, не урезанного, а со всем, что в нем есть и что он не может отбросить. Он прославил бы ее, он говорил бы о ней и повторял бы людям: смотрите, как страшно быть эгоистом. Никогда прежде люди не могли понять, до чего это страшно. Но она не берет, даже сейчас, когда позволяет за себя умереть (и то не всем). Она позволяет за себя умереть, но в остальном остается непроницаемой. В остальном она не допускает, и потому умирать за нее особенно трудно. Этот процесс ничем не украшен.

От. дергается — не стыдно ли, что я сейчас размышляю о самолюбии? В сущности, нет, потому что, я убедился, люди до конца не расстаются со своими вкусами, вожделениями, страстями. Со своим психическим строем они расстаются, вероятно, только в крайний момент катастрофических изменений сознания. Лично его не позвали и не пропустили, и он возвращается с соответствующими изменениями к комплексу, от которого его оторвало два года назад.

Да, унижение... а одиночество, а раскаянье, а страх, а ежесекундная возможность новых физических и моральных страданий...

От. дергается. Он борется, почти физически борется с этим наплывом. В конце концов, он живет, и пока он живет, это следует делать как можно лучше; в возможных пределах. Он живет и пока обладает кое-чем из того, что миллионы людей считают сейчас величайшим благом. Конечно, этот негативный метод повышения ценности жизни — философски несостоятелен, но он имеет педагогическое значение, автопедагогическое; метод внушения себе правильного отношения к вещам.

Из мысленно составленного списка человеческих бедствий он кое от чего избавлен. Он относительно здоров, он не бездомен, у него есть пища, тепло и свет в количествах, достаточных для того, чтобы думать о других вещах. Он одинок, но у него есть женщина, возможность отдыха. И удивительнее всего, что, несмотря на неудачу, или, скорее, благодаря неудаче, у него есть высшее из доступных ему благ — время для творческой реализации, то есть для жизни.

Это узловой пункт судьбы Оттера.

В эпохи более или менее отдаленные творцы, которым не удавалось, или не сразу удавалось, социальная реализация творчества, — занимались в миру другим делом, отнюдь не имеющим к творчеству отношения. Спиноза шлифовал стекла, Руссо переписывал ноты (а впрочем, больше состоял на иждивении у дам), Толстой, в периоды особо острого расхождения с литературной средой, жил помещиком. Человек неизмеримо меньших масштабов, но несомненно творческий, Иннокентий Анненский был директором гимназии... Теперь такого рода явления, я не говорю о масштабах, крайне затруднены. Нельзя быть рантье или помещиком, надо работать. Трудно предположить, чтобы деятель гуманитарной культуры мог быть в то же время квалифицированным техническим или военным специалистом. Всякая же другая работа ставит человека в слишком тяжелые и невыгодные условия по сравнению с работой академической, литературной, театральной и т.п. Поэтому слишком большой соблазн заниматься той же профессией, хотя бы на низших ее ступенях. Это улучшает быт, сохраняет время.

Если различать две основные формы культурной деятельности — творчество и профессию, то можно различить и две их основные разновидности — высшую и низшую. Высокое творчество (максимум) и творческую работу; профессию в собственном смысле слова (высокое ремесло) и халтуру. Есть, конечно, еще бесчисленное количество более дробных подразделений и оттенков, но это четыре основные ступени, определенные социально и психологически. Каждый действующий в культурной области человек — простым или сложным образом соотносится с какой-либо из этих категорий. От. соотносится крайне сложным образом, ибо он имеет отношение ко всем четырем, что ведет к величайшей путанице и повсюду обеспечивает неудачи.

Высшая ступень, как социальная деятельность, вообще исключена и закрыта. Ее носители так или иначе перестали существовать. Они существуют только под условием нахождения не на своем месте и терпимы в меру того, что действуют в других категориях. Исключения бывают в силу особых обстоятельств. Либо это уже готовая очень большая репутация, представляющая ценность в <любом?> обиходе, либо мировое признание (Ш<остакович>). Но это возможно только в областях не прямо идеологических. Точные науки, живопись, музыка. Во всяком случае в области несловесной. Или исполнительской.

Следующая инстанция уже допускаемая и даже отчасти нужная. Не по существу, а по форме. В числе других нужно иметь академические ценности. И неумолимый опыт показал, что поддерживаются они все-таки только людьми с некоторыми данными, хотя бы данными знания. Дарования здесь тоже оказались одним из неотъемлемых условий. А с допущением дарования приходится допускать и кое-что из тех приемов мысли, которые ему присущи. Конечно, в соответствующем оформлении и при соответствующей готовности дарования учесть необходимое. Но так как эти люди признаны давать форму, то допускаются к нормальному функ-

ционированию те из них, которые попали в иерархическую рубрику, которая закреплена за данной ступенью признаками звания, должностей, отличий, пайков и т.п. Остальные же из способных стоять на этой ступени, как не образующие форму, здесь не нужны. Они могут на этой ступени появляться случайно, спорадически (например, в связи с каким-нибудь юбилеем и т. п.), но их выталкивает обратно. И человек, который в юбилейный период фигурировал на видном месте, иногда уже через несколько месяцев не может достать даже плохонькую работку.

Следующая ступень формально требует качества, и много о нем говорится, но по существу она не отличается от четвертой и незаметно в нее переходит. Об этом свидетельствует состояние редакций, гуманитарных кафедр, вещания и проч. Это не значит, что качество безразлично потребителям (только отчасти), главным образом оно безразлично администрации. Они хотят, чтобы аппарат работал для отчета, и как бы чего не вышло. Отсюда вытекает все остальное. На этой ступени разнорядной, потому что здесь работают разные люди. И добросовестные профессионалы, и люди творческой работы, которых сюда привел заработок, и принципиальные халтурщики, и просто не достигшие профессиональной квалификации. Требования аппарата обычно удовлетворяют последние и предпоследние. Остальные уже, собственно, излишество, а так как всякое излишество может дать хлопоты и осложнения, то все остальное менее желательно, хотя в этом никто не признается. Остальное бывает иногда желательно при наличии хорошей иерархической марки, способной украсить аппарат.

Все эти четыре категории при совмещении, разумеется, мешают друг другу. Первая мешает всему остальному (она вообще мешает всему в жизни), потому что заставляет мучительно цепляться за время, вызывает раздражение, нетерпение, дурную торопливость или равнодушие к другой работе. Но в особенности, как это всегда бывает в таких случаях, она мешает смежной области, категории творческой работы. Творческое начало (талантливость) в гуманитарной области, конечно, само по себе является основанием для исключения, поскольку оно неизбежно привносит собственные точки зрения. Но есть творческие люди практические, большого напора, большого упрямства (Гр<иша>, например), которые, невзирая на талантливость, прокладывают себе пути. Но на этом надо сосредоточить все усилия. Когда же человек принадлежит к двум творческим сферам, из которых одна абсолютно не реализуема, другая реализуема с величайшим трудом, то для нее он не может отрываться от высшей для него сферы деятельности всю ту душевную энергию, которая потребна на эту реализацию второй степени. Если уж вонне ничего не выходит, то он предпочитает сосредоточиться на самом главном. Наконец, первая сфера мешает второй, и в более глубоком смысле, по существу. Она разрушает абсолютно серьезное, преданное и страстное отношение к работе этого плана; окрашивает ее оттенком скепсиса и дилетантизма, который улавливают и не прощают.

Вторая сфера мешает двум низшим, примерно по тем же причинам, но в особенности мешает высшей. Ибо *таит великий соблазн реализации*. Не той реализации в смысле материальных благ и тщеславного успеха, какую могут дать обе низшие, но как-никак творческую реализацию, да притом еще сопряженную с успехом и благом, что, конечно, в целом еще соблазнительнее. Если при неудаче первая сфера мешает второй, отвлекая на себя всю силу упорства и сопротивляемости, то при случайном успехе вторая мешает первой, выдвигая высокие, труднопреодолимые соблазны. Другим соблазном она мешает сфере профессиональной работы, соблазном незаконной реализации, протаскивания творческих элементов (хоть так), более сложных и индивидуальных, чем нужно для хорошей популяризаторской и прикладной работы.

Третья сфера мешает двум высшим, потому что забирает, крадет у них время и драгоценную нервную и мозговую силу. Хуже всего то, что она является подобием, пониженным действием того же порядка, и потому расходует, притупляет, изматывает те же нервные и мозговые силы. В то же время она мешает и самой низшей сфере излишне добропорядочными навыками в работе, которые тормозят темпы и вообще лишают халтуру единственного ее смысла — выгоды.

Впрочем, этой сфере помешать труднее всего. Она, со своей стороны, мешает в первую очередь смежной профессиональной сфере в обратном смысле, нежели та ей, — то есть внося в работу недобросовестные навыки, что, впрочем, в большинстве случаев остается незамеченным. Творческим сферам она мешает меньше, чем предыдущая ступень, потому что она может обходиться без служебного оформления и, следовательно, в ее пределах можно свободнее располагать временем; и потому, что это уже почти другая работа, почти уже не умственная и потому менее разрушительная для нервов и мозга.

Оттер, к несчастью, принадлежит ко всем четырем сферам и потому во всех четырех терпит неудачи. Он принадлежит к первой сфере своим большим замыслом. То, что с ним здесь происходит, можно назвать не столько неудачей, сколько трагедией — нереализованности; тем более острой, что он лишен возможности не столько пожалеть какие-либо блага успеха, но и проверить степень внутренней удачи. Он продолжает начатое под гнетущим сомнением во внутренней удаче, сомнением, при данных обстоятельствах неразрешимым.

От. принадлежит ко второй сфере своей работой историка, печатными трудами и проч. Здесь он неудачник по изложенным выше причинам (невозможность сосредоточиться на преодолении предстоящих здесь трудностей реализации, оттенок дилетантизма, гастролерства). Он не оформлен, не закреплен иерархически в этой сфере, и его принадлежность к ней понятна только настоящим специалистам, которые относятся к нему уважительно, но отчужденно. Человек талантливый, но что-то не то... Это они чувствуют, даже не зная, почему.

Он принадлежит к третьей сфере своими попытками найти систематический заработок и определенное место в шкале. Литературная работа по заданиям, лекции и т. п. Здесь он неудачник по невозможности систематически проводить одну линию (всякая линия скучна и раздражает как праздная трата времени и мозговой энергии), по невозможности отнестись к самой проблеме заработка всерьез, со страхом Божиим, без легкомыслия человека, глядящего на это дело сверху вниз. Главное же, он неудачник здесь потому, что что бы ни ждало его в этой сфере, он все равно будет ощущать все как неудачу и унижение. Самая принадлежность к этой сфере есть неудача и унижение.

Неблагополучие в третьей сфере естественно толкает его в четвертую. У него есть кое-какая халтурная хватка, но для преуспевания там этого недостаточно. Преуспевающими халтурщиками бывают либо люди, специально и исключительно этим занимающиеся, либо люди, прочно оформленные на высших иерархических ступенях и которых поэтому встречают распростертыми объятиями и готовыми деньгами, когда они спускаются в четвертую сферу, где их появление — марка, доставляющая удовлетворение администрации. От. — ни то ни другое. Он халтурщик испытанный, но случайный. Кроме того, ему лень; ему жалко времени. Главное, лень чего-то изобретать. Кроме того, как человеку с сильными творческими импульсами ему трудно заниматься делом, не интересуясь. И вдруг у него прорывается оттенок творческой заинтересованности — а тогда все сразу становится невыгодным.

Хотя для этого быта вообще характерны колебания и неясность, но многие и многие все же достаточно прочно прикрепились к той или иной сфере и адекватны своим местам. Оттер же все время не помещается, и всегда вокруг него путаница. О его принадлежности к первой сфере не знает почти никто (в полной мере — даже никто), и это не отражается на его бытовом положении. Но достаточно, если он путается между прочими тремя сферами. Конечно, лучше, утешительнее для самолюбия, быть вполне непризнанным, поставленным вне иерархии, но нынче с этим не проживешь. Чем меньше признанности, тем больше *неинтересного* (для заработка) труда и тем хуже он оплачивается. Приходится закреплять за собой все, что возможно. От. — не социальный нуль, за которым может таиться все что угодно, но нечто для самолюбия гораздо более обидное — маленькая социальная величина. У него есть формально-иерархические признаки (кандидат и т. п.), которые дают ему право занимать среднее место среди профессионалов (третья сфера). По этим признакам его *снабжают* и допускают к работе, но допускают, собственно, не его лично, а его иерархическую принадлежность; все же, что он привносит сверх того от своих личных возможностей, оказывается на данном уровне излишним, ненужным. И его в любой момент заменят другим человеком примерно той же принадлежности, заменят с полным равнодушием, даже не без удовольствия, потому что помещающийся, целиком укладывающийся в свое место человек удобнее; нет в нем

этой неуловимой летучести. Поэтому в нижних сферах у него постоянное ощущение своей ненужности, в лучшем случае необязательности. Ему приходится добиваться, искать, просить мелкой профессиональной работы. И вместе с тем он по временам оказывается нужным во второй сфере, по крайней мере то, с чем ему туда удается прорваться, встречает хороший прием и оценку. Это значит, что в силу сложившихся обстоятельств оно в данный момент попало в точку. Не раз ему удавалось перепрыгнуть, далеко оставить позади тот уровень, на котором ему с трудом и унижениями дается каждый шаг. Так было с его книгой, которой он сразу миновал многие промежуточные инстанции, из которых каждая далась бы ему с трудом, многих вышестоящих людей. Так бывало не раз с его устными и печатными выступлениями. О нем печатали рецензии, ему звонили из М<осквы> и слали телеграммы большие журналы, заказывая юбилейные (NB) статьи. Он чувствует себя равным и уважаемым в кругу самых высших специалистов. Но все это никак не закрепляется иерархически и поэтому лишено связи, последовательности, преемственности; его выносит обратно. И эта репутация, реальная, но лишенная видимых признаков, никак не доходит до сознания тех, от кого зависит распределение функций и благ в низших сферах. Вот почему одновременно «руководящие товарищи», выступающие на его докладе, говорят об этом как о событии, а он, проделав ряд унижительных операций, все же не может добиться преподавательского места в захудалом педвузе, места, которое уже гораздо ниже того незакрепленного, случайного, но все же положения, которое он занимает во второй сфере. Место — в лучшем случае принадлежит к третьей.

Характерный эпизод. В связи с юбилеем его приглашают, по рекомендации крупного специалиста, наряду с этим специалистом, выступить по радио. Он попал в профессорскую рубрику. К таким редактор приходит на дом. И редактор два раза приезжает к нему для обсуждения. Проходит четыре года. С годами положение должно повышаться, но у него нет последовательности. И через четыре года он к тому же редактору, в то же учреждение ходит за мелкой работой. Если редактор не забыл эпизода четырехлетней давности, то он, может быть, думает: то-то я был дурак... Не разобрался в чине.

<14 Толстой — если бы люди понимали жизнь так, как они говорят, что понимают>

«Если бы люди делали только те выводы, которые неизбежно следуют из их мирозерцания, люди, понимающие свою жизнь как личное существование, ни минуты не оставались бы жить. Если бы люди действительно вполне понимали жизнь так, как они говорят, что ее понимают, ни один от одного страха всех тех мучительных и ничем не объяснимых страданий, которые он видит вокруг себя и которым он может подпасть всякую секунду, не остался бы жить на свете» (Толстой)¹⁰.

<15 Поведение>

Поведение эгоистическое и «коллективистическое», толпное в высоком смысле этого слова. Ибо в низшем смысле толпное поведение возникает, когда массовые аффекты развязывают эгоистические вождения.

В сущности можно говорить только о преобладающей тенденции, доминанте поведения, потому что на практике начала эти переплетаются.

Вообще не следует представлять себе, что в эпохи твердого гражданского или религиозного сознания люди ведут себя стопроцентно, что они, например, действительно не страшатся смерти и т.п. Отнюдь нет. Но у них есть предел моральных устремлений, высокий моральный потолок, или, проще говоря, идеал. Они, даже творя зло, знают разницу между добром и злом. А это великая сила.

Можно установить четыре основные степени индивидуалистического или коллективистического (сверхличного) сознания (соотносительно поведения).

1. Бессознательно-эгоистическое. Обыватели в беспочвенные эпохи. Наивные шкурники. Весьма хрупкие существа, обреченные всем случайностям и, следовательно, всем страданиям.

2. Бессознательно-сверхличное. Человеческая масса крепких государственных, национальных, социальных, религиозных коллективов. Господство традиции, инерции, инстинкта, непосредственного внутреннего опыта.

3. Сознательно-эгоистическое. Исключительная принадлежность интеллектуальных кругов. В своем последовательном развитии приводит к декадентству со всеми его ужасами. Единственную пристойную форму этого жизнеощущения нашли еще древние. Это эпикуреизм, увенчанный философским самоубийством.

4. Сознательно-сверхличное.

В предельной, последовательной форме это — религиозное сознание, конечно, не обязательно направленное на бога.

С XIX века религиозное сознание (в особенности направленное на бога) перестает быть ведущим. Но атеисты по-прежнему жаждут внеположных ценностей, ибо жаждут духовной деятельности, которая без внеположных ценностей невозможна.

Атеистическое сознание путем тяжких исторических испытаний может прийти к следующему: все духовные, культурные ценности, которыми я пользуюсь, — внеположны, сверхличны, принадлежат общей жизни. Следовательно, я не только нерасторжимо связан с этой общей жизнью, но я всецело от нее завишу; следовательно, она выше, ценнее меня. За право пользоваться ее ценностями я — если не хочу быть паразитом, то есть существом неполноценным, — расплачиваюсь этим признанием со всеми вытекающими из него последствиями, со всеми возможностями жертвы, которая может быть от меня потребована.

Общая жизнь конкретно предстает человеку в виде народа, государства, родины, страдающего человечества, класса, исторического прогресса и т. д. Но абсолютность, непререкаемый смысл этих идей остаются для скептика недоказанными. Человек, соединяющий жажду духовной деятельности, всегда направленной на общезначимые ценности, со скепсисом, — неизбежно окажется в положении принявшего условные «правила игры», притом налагающие на него предельные, иногда смертельные обязательства. Подобная концепция жизни абсурдна, но скептический ум не в силах никакими ухищрениями этот абсурд опровергнуть. Он жертва эмпиричности своих предвзятий. Ибо эти относительно-абсолютные и условно-безусловные сверхлические ценности не даны ему, но (в сущности) постулируются им из неотъемлемых потребностей собственного сознания*.

Такова первая ступень четвертого раздела. Пребывание на ней в достаточной мере неутешительно.

Исход (вторая ступень) — в найденной объективной достоверности сверхлического. Быть может, Толстой прав, утверждая, что единственная метафизическая достоверность — любовь, снимающая все дальнейшие вопросы о смысле, о цели и т. д. Но для этого любовь должна быть именно метафизической сущностью, ибо в пределах психологических она ведь тоже является только жизненным *условием* или — хуже того — «обманом чувств».

Но там, где есть метафизическая достоверность любви, там начинается религиозное сознание, которое может иметь своим предметом не только бога, но человечество, народ, социальную группу, родину, государство.

Если пределом для наивных эгоистов является наслаждение, для интеллектуальных эгоистов — созерцание, для людей религиозного мироощущения — любовь, то для скептиков, исповедующих относительно-абсолютные, условно-безусловные ценности, таким пределом является творчество.

Творчество есть свободное, целенаправленное, индивидуальное воздействие человека на мир, «я» на «не-я»; причем в итоге этого индивидуального воздействия в мире происходят целесообразные изменения, имеющие общие значения и принадлежащие общим связям. Это и есть та неодолимая, необъяснимая, первичная потребность, ради которой человек, понявший, что нет творчества вне связей общей жизни, — принимает жесткие «правила игры». Но фетишизм творчества мучителен для каждого неизвращенного человека. Самоцельность творчества никогда не удовлетворит ум, ищущий последнего смысла вещей, не утолит сердце в его желании несомненного.

* [Добавлено:] его духовной жизни. [Здесь и далее все разночтения приводятся по рукописи.]

Общая жизнь в конкретном социально-историческом выражении предстает в основных формах — религии (бог), революции-гуманизма (человек — человечество), гражданственности (государство), патриотизма (народ, родина).

Гуманизм иногда приближается вплотную к религиозному сознанию, ибо любовь к человеку может достигать метафизической достоверности. — Как интуиция, как непосредственный опыт, потому что в земном пределе невозможно ее до конца обосновать. При совершившемся факте резко менялись качества. Взамен моментов *жертвенных* выступали моменты, с одной стороны, толпно-эгоистические, с другой — тиранические, — скоро оказывалось необходимым найти новое положительное содержание, тем самым новые органические задержки.

Гражданственность в качестве положительного содержания слишком абстрактна, рационалистична. По-настоящему она овладевала человеческой массой только в религиозном своем варианте (древний мир). В абстрактности — *порочность* и чистой государственности, и социальных утопий. Это в особенности относится к попыткам выведения общественных форм из предпосылок утилитаризма, «разумного эгоизма» и проч., из которых, разумеется, нельзя вывести ничего, кроме стремления как можно лучше устраивать свои дела. Роковая для социальной практики попытка отлучения разума от инстинкта, игнорирования инстинкта.

Сознанию человека нового времени из форм общей жизни особенно близка, адекватна идея родины, народа. Родина — связь эмоциональная, не боящаяся иррациональных, логически неразложимых остатков.

Проблема ценности — это прежде всего проблема обоснования. Ценности, доступные человеку, колеблются между метафизической достоверностью и психологической условностью. Самая достоверность может быть только интуитивной (достоверность непосредственного внутреннего опыта) и может быть разумно опосредствованной, претворенной в последовательную связь идей. Совершенно законченное сочетание непосредственного опыта, интуиции с разумным опосредствованием — *дает религия*. Вне этого формы — по преимуществу рационалистические (чистая гражданственность) и по преимуществу интуитивные — народ, родина. То, что в этой связи не поддается «в земном пределе» окончательному обоснованию, — восполняется интуицией, инстинктом. Поэтому именно эта связь может стать столь адекватной сознанию нерелигиозному, жаждущему внеположного. Это связь исключительная по действительности и силе, способная формировать органические формы жизни.

Лучшие умы XIX века сетовали по поводу отмирания органических жизненных форм в Европе. Но по сравнению с тем, что проявилось впоследствии, оказалось, что все это еще очень органично. Суть в том, что там на уже пустом в метафизическом смысле месте действовали традиции, инерции, инстинкты, предрассудки. Предрассудок — это и есть инерционная, опустошенная, застывшая оболочка некогда живого содержания¹¹.

Оказывается, предрассудки, если не всегда легко искоренить, то все же гораздо легче, нежели нажить обратно. И вдруг это оказывается необходимым. Поспешность, необходимая поспешность, приводит к обратному ходу вещей. Предрассудок — конец, омертвельный конец культурно-

исторического процесса — оказывается его началом*. Условности, правила, нормы восстанавливают административно, не заботясь об обосновании. Это единственное орудие, которое можно в спешном порядке (впредь до нарождения органических форм) выдвинуть против распоясавшегося эгоизма.

Много ли можно поднять этим рычагом? Может быть, и немало, если правила и условия, на первый случай, окажутся условием привилегированности или способом ее достижения. Все понимают недостаточность подобных средств. Но процесс этот может оказаться встречным. То есть при благоприятном положении он когда-нибудь, где-нибудь может встретиться с нормальным процессом развития органических жизненных форм.

<16 Процесс образования привилегированных>

Наряду с этим процессом — некоторые другие, очень знаменательные. После странного висения и раскачивания в безвоздушном пространстве стали совершаться процессы, очень важные и отчасти плодотворные, несмотря на присущие им шокирующие черты.

Один из них — образование привилегированных, процесс государственно важный и оздоровленный лежащим в его основе творчески-трудовым принципом. Здесь нельзя судить по паразитической гуманитарной области, которая фальшива в самой своей основе (симуляция гуманитарной культуры). В остальных областях, при всех возможных и неизбежных загибах и засорениях, принцип гораздо чище: офицер привилегированнее солдата, инженер — рабочего, профессор — студента и т.д. — только в силу больших знаний и умения. Наследственный момент сможет сыграть только ограничительную роль, роль предпосылки, облегчающей личные усилия, но не избавляющей от них. Так, по крайней мере, на ближайшие поколения. Это здоровый принцип трудового государства.

Шокирующие интеллигентское сознание стороны процесса состоят, во-первых, в том, что этот процесс восстановительный, после того как впервые было, казалось, достигнуто равенство, столь давно провозглашенное и оставшееся столь недостижимым. Жалко расставаться. Во-вторых, этот шокинг происходит от чрезвычайной наглядности, грубой осязаемости распределяемых благ, в свою очередь происходящей от их крайне малых масштабов по сравнению с материальными благами буржуазного мира. По сравнению с этим миром разница между обладающим и не обладающим благами бесконечно мала и потому в особенности грубо осязаема. В особенности это ощутимо при распределении благ не деньгами, а натурой. Несмотря на то что все понимают эквивалентное соотношение между деньгами и продуктами, психологическая разница между 1000 руб. и 500 руб. зарплаты никогда не будет столь обнаженной, как разница между 600 гр. и 400 гр. хлеба, ибо здесь откровенно взвешена человеческая жизнь, право на жизнь.

Миллионер и квалифицированный рабочий, при желании, могут быть одинаково одеты. Но имеющий закрытый промтоварный распределитель и не имеющий не могут быть одинаково оде-

* [Вписано карандашом:]
Пушкин

ты. Эта разница психологически грубее, обиднее откровенностью измерения пригодности человека, сравнительного права на жизнь, но по своей социальной сущности она неизмеримо меньше, гораздо преодолимее.

В-третьих, шокируют отношения восстанавливаемые или производимые, столь противоречащие духу мирового гуманизма и в особенности традиции русской культуры. Привилегированные люди русской культуры ели, конечно, устриц и проч., но при этом стыдились и каялись и оплакивали тех, кому не хватает хлеба. Большинство оправдывалось тем, что тут единичным самоотречением все равно не поможешь (рассуждение, на которое с таким гневом обрушивался Толстой), но что это дурно и стыдно — это было моральной аксиомой. Материальная привилегированность была для них данностью, изначальным фактом и потому не являлась предметом реализации. Это не было интересно. Снизу в этом никто не сомневался и не претендовал на равенство. Наоборот, надо было уговаривать и проповедовать равенство сверху. Это и было актом отказа от низшего ради высшего, обеспечивающим моральное превосходство над неотказывающимися, — и поэтому подлинной реализацией.

Но представьте себе людей, прошедших через все унижения, людей, которых уплотняли, вычищали, лишали... Главное, в привилегии которых снизу никто не верит (по крайней мере, не верил до последнего времени). Только барину интересно опрощаться, потому что только для барина это может стать условием отказа от низшего ради высшего. (Герц<ен> и Белинск<ий>.)¹² Ощущение же барства может существовать только, когда оно подтверждается отношением низших, их верой в то, что это действительно барин, человек другой породы. И хотя в сословном обществе нового времени всегда было много скептиков и наверху и внизу, но, вразрез доводам скептического ума (все из одного теста сделаны), — крепкий инстинкт различия существует во всяком сословном и классовом обществе. Эти же прошли через период, когда их вовсе не различали (новые) или различали по признаку паразитизма и неполноценности. Они познали равенство на собственной шкуре, не то приятное равенство, в котором нужно убеждать, не то возвышающее душу равенство, к которому человек свободно приходит, внося в него пафос отречения, — но совсем другое. Они познали его в ужасающе наглядной, буквальной и осязательной форме: в очередях, трамваях, коммунальных квартирах, столовках. Оно предстало им толчками в бок, матом, язвительными замечаниями: «подумаешь, если трамвай не нравится, нанимайте такси», «ну-ка сдвинься, папаша».

В свое время барину, интеллигенту, может быть, нравилось, если его назовут «папашей», ибо про себя он знал свое место в иерархии и, главное, знал, что все его знают. И нечто подобное могло быть приятным знаком удавшегося опрощения, вообще моментом, совпадающим со свободными внутренними устремлениями. Теперь для него это — унижение, непризнание места в иерархии, хамство. Они вынесли из всего этого ужасно много ожесточения, безжалостности, собственного — встречного — хамства. Они

торопливо, жадно, грубо хватаются за все знаки различия, за все, что теперь должно их выделить, оградить. В этой связи пайки имеют огромное психологическое значение; для многих, уже отчаявшихся, — в основном даже психологическое. Несколько лет тому назад в д<ачном посёлке> летом, когда были затруднения с хлебом, Г<ригорий>А<лександрович> как-то прибежал на пляж с радостным криком: «Хлеб будут давать только профессорам!» Это произвело тогда некоторый скандал, об этом говорили. Потом стало проще, хотя кричать об этом на улицах и площадях все же не принято.

Но вот в писательской столовой имеется второй зал, вообще для рационщиков¹³, для баб, которые получают другое. Это не только никому не кажется стыдным, но напротив того, если низший зал испытывает к высшему нескрываемые чувства зависти и злобы (паразиты, хуже того — паразитки, ведь тоже всё бабы), то высший относится к низшему с нескрываемым антагонизмом, главное, он боится быть ущемленным.

— Конечно, столовая меньше всего думает о нас, им нужно накормить всю Шпалерную улицу.

— Опять не хватило булочек. Понятно, обычная история, сначала все рационщикам, потом нам.

Писатели пользуются привилегией получать без очереди обеденные чеки. Чем больше очередь, тем больше удовлетворения. Это источник торжества над теми самыми, от которых пришлось столько натерпеться в очередях. И тут врагини бессильны, вынуждены признать, что мы выше, признать иерархию. Особенно восхитительно, если какая-нибудь врагиня, не понимающая всей слабости своей позиции, начинает протестовать: «Тут никогда не достоинься, если так все будут со стороны подходить...» Эту реплику, что называется, бог послал. Следует торопливый, захлебывающийся заведомостью собственного торжества, ответ:

— Если вам не нравится, кто вам мешают прикрепиться в другой столовой. Пожалуйста. Мы только рады будем, чем меньше, тем лучше.

Это говорит интеллигентка. В трамвае она не скажет: «Если вам не нравится, нанимайте такси». Не скажет, потому что это готовая осмеянная формула, которая, по ее мнению, неприлична интеллигентному человеку. Но тут она инстинктивно, произвольно находит ту же формулу на другом материале.

Следует ответ: «Сами рады бы в другом месте прикрепиться. Так вот приходится... Надоела ваша столовая хуже всего...»

Но никакие ответы в данном случае недействительны. Они даже не вызывают охоту возражать. Их можно даже высокомерно игнорировать (не стоит связываться...). Или сказать: «Здесь не базар, привыкли заводить всюду склоки, не можете никак без этого обойтись». Сила и право на стороне писательницы. Буфетчица (всегда грубоватая и деспотическая, поэтому особенно приятно иметь ее на своей стороне, это тоже победа) закрепляет этот факт своим авторитетом:

— Вы не шумите. Я сама знаю, кому как давать.

Неприятно только, что в разговор вмешивается старуха В. и тоже считает нужным поддержать права:

— Это столовая писательская. Чем меньше тут посторонних будет, тем для нас лучше.

Старуха В. не член союза, она на учете горкома писателей, и даже это, в сущности, можно считать благотворительностью. Могла бы не вмешиваться. Ее вмешательство рождает смутное чувство неловкости. Если проанализировать это чувство, то оно окажется не проясненной до конца догадкой о том, что этот спор — в конечном счете, склока между равными. Ведь между старухой В. и зарвавшейся рационщицей не такая уж большая разница.

Но обычно они зарываются, понимая бесполезность, но дают пищу чувству писательского превосходства терпеливым ожиданием. Они стоят с тем выражением мрачного терпения, которое бывает у женщин на приеме в больнице, в очередях у госпиталей и тюрем.

Другой случай.

Писательница: «Пожалуйста, режьте на два пирога».

Рационщица: «Сегодня пирог?»

Писательница знает, что пирог сегодня «только для писателей», но отвечает: «да». Она считает, что отвечает так из деликатности, но не без злорадства ожидает дальнейшего развертывания событий.

Но рационщица обращается к ней: «А что, всем дают?»

Тогда уже с раздражением (к чему, в самом деле, этот уравнивающе-хозяйственный разговор...): «Не знаю. Спросите в контроле. Как я могу знать, что вам дают, чего не дают». Это ответ, гораздо более подчёркивающий дистанцию (не знаю и не интересуюсь), чем если сказать: «Вам пирог не дают».

Что же это — безобразие? Моральное падение? Где великая русская традиция (сейчас как раз читаю статьи Толстого 80-х годов)? Все так, а вот основа всего этого — настоящий демократизм. Традиции были морально изысканными и барскими. Барским было и опрощение, и острая жалость (жалость — всегда непонимание сверху, со стороны), и стыд за свои преимущества. А все вышеописанное — безобразное, правда, выражение, но выражение исходного равенства.

Люди, подвергающиеся опасности, считают себя вправе не скорбеть о погибших. Никто не упрекнет приехавшего в отпуск с фронта, если он веселится и не думает об этом. Все, и он сам, знают, что он имеет на это право. Точно так же люди, испытывающие, даже испытывавшие лишения, в силу бессознательного, иногда сознательного расчета избавляют себя от жалости. Это негласная сделка с совестью. Они рады тому, что заработали право не думать об этом (чего ради я тут расчувствовался, когда у меня родной отец умер от дистрофии).

А думать об этом мучительно. Русская литература XIX века исходит жалостью. Ее создавали люди, как правило, не испытывавшие лише-

ний. Некрасов всю жизнь не мог забыть того, что он подголаживал в студенческие годы. Денежная трагедия Достоевского известна всему миру. Но у Достоевского все-таки были калоши и дом, и даже поездки за границу. Лишения были уделом людей неинтеллектуальных, соотносительно — жалость была уделом интеллектуальных. Интеллектуальный человек, испытывающий настоящие лишения, настоящую, буквальную нищету — не ту, метафорическую, которая происходит от того, что человек проживает больше, чем позволяет его бюджет, или выплачивает долги и т.п., — был явлением ненормальным, спутывающим все представления, он сам не понимал свою позицию. Когда он стал явлением нормальным, он довольно скоро понял свою позицию — и перестал жалеть.

Удивительно мало жалости вокруг. Впрочем, она, быть может, и не нужна для правильной работы этого общественного аппарата. В отдельных случаях она встречается, конечно, но больше у людей архаического склада. С жалостью отнюдь не следует смешивать сочувствие товарищам, товарищескую поддержку, помощь своим и т.п. Все это существует, но это совсем другое. Жалость в чистом виде — это неравенство. И вот в чистом виде она почти и не существует. Во-первых, потому что люди использовали свои лишения как право не думать о чужих, хотя бы гораздо тягчайших, лишениях. Во-вторых, потому что в этом деле совсем нет частной инициативы и личной ответственности. Отсюда: все равно нам ничего не сделать, пусть интересуются те, кому это ведать надлежит и кто взял на себя ответственность. Вообще проблема не нашей компетенции.

И в-третьих, это происходит от ущемленного самолюбия (см. выше). Жалость — отношение силы к слабости. Жалеемый тем самым уже обезоружен, обезврежен. Необезоруженного, необезвреженного нельзя окончательно пожалеть. Вот почему люди еще жалеют своих, особенно своих семейных. Во-первых, по отношению к ним они все равно не могут не думать об этом; во-вторых, там с них не снята ответственность и инициатива; в-третьих, там они не защищены раздраженным самолюбием, озлоблением, враждебностью.

Разумеется, человек и пожалеет, когда соответствующее зрелище хлопнет его по лбу. Речь идет не об этом, но об отмирании жалости как постоянного душевного состояния, как идеологии, что так характерно было для 19 в.

У Толстого в статье, посвященной ужасам городской жизни¹⁴, есть история прачки. Прачка жила в ночлежном доме, безнадежно задолжала шесть гривен, ее выгнали зимой на улицу. Она побродила, посидела, вечером опять побрела к дому, по дороге свалилась, умерла.

Замечательны — *шесть гривен*. Как художник, знающий свое дело, Толстой отнюдь их не подчеркивает, но он знает, какой в них эффект для читателя-барина, на которого рассчитана статья. Невообразимая мизерность суммы, из-за которой загублена человеческая жизнь, до предела увеличива-

ет дистанцию между читателем и героиней, доводит трагедию до ужасающей непонятности. А для жалости необходим оттенок непонимания. Чем сильнее непонимание, тем больше дистанция, — тем острее жалость.

Толстой описывает эту прачку в гробу: «Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое, бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное»¹⁵.

Жаль, страшно жаль. Но при жизни эта прачка из ночлежного дома не ходила же все с усталым и добрым лицом. Она могла и толкнуть соседку на кухне, и, в случае чего, покрыть матом. Но Толстого и даже его читателей это никак не могло коснуться; если бы и коснулось случайно, то бесследно бы отскочило, как нечто заведомо несоответствующее их зафиксированному месту в иерархии. А вот от этих не отскакивает. Этим такие прачки крыли в коммунальных квартирах, толкали в трамваях, выпирали из очереди на дрова. Эти прачки не обезврежены.

А кто не вытащит из себя подлое жало уязвленного самолюбия, тот не увидит чужих страданий.

Писательница И. отправилась на дровяной склад договариваться о перевозке метра дров. Пыталась договориться с двумя женщинами в полубухбах. Разговаривала ласково, предложила прекрасные условия. Тем не подошел район. Так как она все еще не отходила, то одна из женщин, обругав ее матерно, сказала: «Ну чего еще стоишь, мешаешь работать, сказано тебе...»

Писательница И. испытывает бессильную, непроходящую злобу. Потом она отправляется в редакцию, где ей говорят, что ее материал не пойдет, или что его нужно в третий раз переделать, или что его уже переделал редактор, которому виднее, и т.п. Не худшая ли это обида? Но она не обижается, разве что совсем немножко. Все это выражено языком, который, по ее мнению, соответствует ее месту в иерархии. Она остается сама собой, в своем виде, соответствующем ее самосознанию. Но когда она идет на рынок с кошелкой и ей говорят, даже беззлобно, — «ты» или «ну, чего задумалась, мамаша?» (почему мамаша? Она ведь совсем не старая), — она испытывает непоправимое оскорбление, деградацию, отвратительное чувство потери личности. Она для них — женщина с кошелкой, точно такая же, равная.

Толстой писал в знаменитой статье «Так что же нам делать?»: «То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я живу, нельзя, и нельзя, и нельзя, — это одно было правда».

Вот она, формула личной моральной ответственности за социальное зло. Формула действительного гуманизма. Предпосылка жалости. Формула утраченная.

Толстовский морализм индивидуалистичен, опираясь в этом смысле на индивидуалистичность христианского учения о ценности каж-

дой души и о спасении собственной души как главной жизненной цели. Практический вывод из статьи «Так что же нам делать?» — тот, что важно не помочь таким-то и таким-то беднякам, а важно спасти свою душу, а спасший свою душу вносит в мир ту частицу любви, которая поможет людям. Спассти свою душу можно, только положив ее за други своя. Но главное-то дело именно в собственной душе. Так возвращается индивидуализм с противоположного конца. Лучше самая маленькая помощь с жертвой, чем самая большая помощь без жертвы — по мнению Толстого, таковая вообще не может быть моральной, то есть единственно настоящей помощью. Мужик Семен, у которого шесть рублей «капиталу», дал нищему три копейки — и помог. Человек с 600 000 никому не может помочь, хотя бы он раздавал сотни и тысячи. То, что эти сотни и тысячи, в отличие от трех копеек, все-таки могли каким-то людям облегчить жизнь, — отрицается, или берется под сомнение, или игнорируется. Все это неважно по сравнению с проблемой спасения души. Вообще важны не поступки, не результаты, не поведение, но моральные побуждения.

Оба плана не совпадают — разные побуждения могут приводить к однородным поступкам. И обратно. Господство побуждения над поступком — это загиб личного морализма. 20 в. приучен к обратному загибу. Проблематика моральных побуждений была съедена, с одной стороны, декадентством, а с другой — практическим социально-политическим действием. Во втором случае это имело даже свое теоретическое обоснование. Предполагалось, что побуждения человека всегда эгоистичны, но что при переходе от побуждения к поступку он, в силу разумно-эгоистического расчета, вносит социальные коррективы. Конечно, это одна из тех теорий, которые не могут иметь влияния на социальную практику. Но она с ней характерно соотносилась. Во всяком случае на первых порах государство не вдавалось в побуждения; оно жестко требовало определенного поведения и им удовлетворялось.

Сейчас вопрос о личной морали как основе общественной встает в высшей степени и, вероятно, будет ставиться со все большей определенностью. Но пока что вся инерция всецело основана на игнорировании этой морали, на голом требовании гражданского поведения, поступка, при допущении обязательно эгоистических побуждений, регулируемых принуждением и поощрением.

Я имею в виду, конечно, практику, а не фразеологию, пропускаемую мимо ушей. То, что называлось когда-то «хорошим поступком», личный, внутренний моральный акт, совершаемый про себя, ценный именно тем, что он совершается про себя как личное душевное дело, — этот моральный акт не только не принимается в расчет, но, в сущности, даже не допускается, вытесняется. Ибо коллективу нужны не поступки, хранимые про себя, но хорошие поступки, образцово-показательные, прокламируемые и рекламируемые. Но это палка о двух концах, ибо жизнеспособному коллективу нужны люди хорошей личной морали. И коллектив начинает это

понимать. Но пока все устроено так, что ведется точный учет «хорошим поступкам», совершаемым в порядке общественной работы и общественной нагрузки. Учет на предмет отчетности перед вышестоящими инстанциями, заметок в стенгазете, премий и т.п.

Один пример: Союз писателей берет шефство над госпиталем. Так как в Союзе писателей добиться какой-либо общественной работы почти невозможно за отсутствием обычного учрежденческого аппарата, регулирующего эту работу, то невозможно добиться и этого. Кар., у которой хватает времени прикреплять дополнительную карточку на другом конце города, потому что там якобы больше шансов отоварить масляные талоны животным маслом, — говорит, что для дежурства в госпитале у нее нет времени: «Я не понимаю, почему, собственно, Лена Вечт<омова> считает, что ее эти дежурства не касаются. Какие у нее такие важные дела? Я занята не меньше ее».

Понятно, ей не столько жалко времени, сколько она боится, что посылают мелких. Если не посылают Инбер или Берггольц — это само собой, они действительно высший класс. Но почему Вечт<омова> считает себя избавленной? Это так же обидно, как то, что В. получает литер, а она нет. Именно в этой связи это особенно обидно. К. не плохая девушка, она делает свою работу в тяжелых условиях, она искренне считает себя патриоткой, и уж, во всяком случае, сочувствует раненым бойцам. Но кто-то этим ведает, так пусть и дальше ведает. В личных действиях тут нет потребности, потому что они («добрые дела») не являются предметом моральной реализации. Если в этой связи возникает реализация, то по другим линиям. Собрать материал для очерка, или — если пойду, хочу прочесть им что-нибудь свое (то есть фронтовое), рассказать что-нибудь. А каждый из них может рассказать в сто раз больше.

На этом фоне всякий шаг подвергается немедленному учету. Я провела* там три часа. На другой день несколько человек в столовой хвалили меня за это. Руководитель профорганизации выражал свое удовольствие — вот человек никогда ни от чего не отказывается. Сказала и сделала. Редактор стенгазеты предложила написать заметку о моем опыте (трехчасовом) с призывом к другим писателям, на которых этот пример должен благотворно подействовать. Начальник отделения госпиталя выразил неудовольствие, что его со мной не познакомили. При втором посещении он пригласил меня в кабинет, расспрашивал о впечатлениях и сообщил, что вся шефская и т.п. работа точно учитывается путем записей в особую тетрадку, которая всегда лежит в кабинете. И всякий раз в эту разграфленную тетрадку *обязательно* записывать: читала газету, написала письмо, измеряла температуру, перестилала постель, провела беседу... И в особой графе подпись. Нехорошо у меня стало на душе.

Моральные побуждения со всей своей атмосферой выключены. Поступок же включается в целую серию рядов, в которых он имеет значение, и интерес только в точно учтенном, документированном виде, претворяющем его в общественную

* [Исправлено на:] N провел [правка, не отразившаяся в ПО].

нагрузку. Профорганизатор доволен, потому что он может сообщить, что у него налаживается шефская работа. Редактор газеты доволен, если у него появится требуемый материал. Начальник отделения доволен обогащающейся отчетностью о проводимой у него культработе и, кроме того, учитывает, что писатели могут описать. Он даже знает, что писатели появляются в таких местах, потому что собирают материал. Это лестно.

Среди этих людей есть честные, хорошо работающие, искренне преданные, перенесшие много трудов и опасностей. Если они так бесстыдны, то потому, что утрачен смысл личного морального импульса. Самое понимание этого импульса.

Здесь суть, конечно, не в том, что народились «злые люди», — люди такие же, как всюду. А в том, что единичный, личный моральный акт не является актом реализации. Для этого нет соответствующих связей, в которые он мог бы включиться.

Существует инерция моральных представлений и оценок. В дистрофические времена наблюдалось любопытное явление: люди, интеллигентны в особенности, стали делать вещи, которых они прежде не делали, — выпрашивать, утаивать, просить, таскать со стола в столовой кусочек хлеба или конфету и пр. Но вся система этических представлений оставалась у них прежняя. А для интеллигента воровство было не то чтобы грехом или преступлением, но скорее психологически невозможным актом, вызывающим отчуждение, брезгливость. И вот эта инерция продолжала действовать. Сунувший в рот конфету, которую оставила на столе знакомая ему бухгалтерша, мог в тот же день с искренним удивлением и осуждением говорить знакомым: до чего все-таки у нас народ изворовался... и рассказывать по этому поводу анекдоты — вроде собственного случая с конфетой.

При этом в нем происходило некоторое психологическое раздвоение. Не то чтобы он, совершив зло, понимал, что оно зло, и каялся. Нет, импульсы, приводившие его к подобным поступкам, всякий раз представлялись ему столь непреодолимыми, таким стихийно-глубоким проявлением инстинкта жизни, что он не хотел и не считал нужным с ними бороться. Не то чтобы он в момент рассказа забывал о своем поступке или полностью вытеснял его из сознания — но ощущал этот поступок как временный и случайный для себя, как не имеющий отношения к его пониманию жизни вообще и потому не могущий отразиться на его моральных представлениях и оценках, выработанных всей его жизнью. Он видит себя изнутри и потому он видит свой поступок как не имеющий отношения к его постоянной человеческой сущности. Другого же, своего знакомого, он не видит изнутри и воспринимает аналогичные его поступки в той апперцептивной связи, в которой подобные поступки обычно воспринимаются. И потому про своего знакомого он с непритворным чувством отчуждения и осуждения говорит, что тот «изворовался», или «одичал», или «попрошайничает».

<17 Толстой об умственном и физическом труде>

В статьях об умственном и физическом труде Толстой производит простой и потому, как ему кажется, неопровержимый расчет: «В сутках 24 часа, спим мы 8 часов, остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности посвящает на свою деятельность 5 часов каждый день, то он делает страшно много. Куда же деваются остальные 11 часов?

Оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее»¹⁶.

Не будем вдаваться в вопрос о том, могла ли бы вообще существовать умственная деятельность (связь духовной культуры) при всеобщем, равномерном занятии натуральным хозяйством. Здесь интереснее гораздо психологическая сторона, бессознательная психология барина. Независимо от проповеди крестьянского труда и идеала натурального хозяйства Толстой требует от человека, предпринявшего дело морального возрождения, чтобы он прежде всего в любых условиях, и городских, — делал все сам для себя: убирал комнату, готовил пищу, топил, доставал воду. (Толстой в Москве возил воду в бочке.) Сделав все это, он может, если уж не может иначе, предаваться своим пяти часам умственного труда.

Ведь это бессознательные представления человека, который может привезти воду для блага своей души, но может и не привезти, если, например, в этот момент к нему пришли толстовцы или духоборы и нельзя их не принять. И это рассуждения человека, который обслуживает себя в пределах готового домашнего хозяйства, налаженного чужими руками. Он привез воду, но кто-то достал бочку для этой воды, кто-то кормил лошадь, на которой ее возят. Он не думает, откуда взялся веник, которым он подметает свою комнату. Если бы он знал, как трудно, когда нужно об этом думать, когда все, что служит тебе, служит только ценой твоих личных усилий. Гений, понимавший все, этого так и не понял. Он не понял домохозяйку, для труда которой нет ни срока, ни предела. А если дрова сырые и печку, только печку нужно раздувать часами? Как же тогда с 5-ю часами умственного труда?

<18 Групповое сознание ленинградцев>

Для того чтобы вплотную проанализировать разговор, надо понять ряд наслаивающихся друг на друга, вмещающих друг друга ситуаций. Ситуацию всеобщую (данный разрез социально-исторических предпосылок), ситуацию групповую, ситуацию данного разговора. Все это помимо характерологического анализа действующих лиц и т.п.

Самое интересное в разрезе момента — это становление внутреннего согласия, очень трудное, с задержками, противоречивое, но несомненное. Как важно не упустить момент! К этому ведут и об этом свидетельствуют разные, отчасти противоречивые процессы. Все это означает, что появился моральный предел, которым не определяется целиком поведение,

но к которому оно стремится и которым уже регулируются оценки. При этом и моральные навыки, и формы осуществления остались в значительной мере прежними, то есть выражающими р<абскую> психологию и на нее рассчитанными. Но происходит как бы внутреннее перемещение соков, под пустой некогда оболочкой как бы образуется постепенно соответствующее ей живое ядро. В этом процессе знаменательную и, как ни странно, плодотворную роль играет тот разрыв между побуждением и поступком, о котором уже говорилось. Побуждения их, непосредственные, в основном эгоистичны. Это быстро не меняется, для того чтобы это могло измениться порывом, — слишком давит и связывает привычный регламент. Они отстранялись, где могли, — в силу своих эгоистических побуждений. Но поступки, совершаемые ими принудительно, совпали с тем моральным предделом, который их сознание вырабатывало независимо от эгоистических побуждений. Эти поступки, совпадающие с их разумным пониманием должного, ретроспективно представляются им внутренне свободными, свободно выбранными, морально полноценными и разумно оправданными. Во всяком случае, эти люди избавлены от жесточайшего страдания эгоистов — сознания ненужности жертвы.

Эта ретроспективная аберрация возможна именно потому, что они не привыкли задумываться над значением личного морального акта, что они не умеют осознавать и распознавать его и им интересоваться. Они подходят к себе так же, как к ним подходит мир, то есть с точки зрения конечных результатов, поступков, действий вовне. И с этой точки зрения оказывается, что они в основном делали то, что требовалось. Что их поведение по праву можно назвать стойким, мужественным, даже героическим. Этого, например, никак не скажешь о поведении населения Франции. Ретроспективно они отбрасывают, вытесняют из своего поведения все, что в нем было от внутреннего малодушия, колебаний, уклонов, раздражения, и оставляют ту схему действия, свод результатов, которая попадает в печать, в представления к награждениям и т. п. И это совершенно верная схема. Этот процесс приводит к замечательным последствиям в плане моральном. У человека образуется социальная, групповая автоконцепция (помимо личной), абстрактная, но верная. Идеальное представление о себе самом как представителе коллектива. И это представление обязывает. От него, как бы в обратном порядке, развиваются подлинно сверхлические, коллективистические побуждения. Это навсегда заработанная ценность, основа морального развития.

Процесс этот в первую очередь сказывается, конечно, на боевом коллективе. И на таком, например, коллективе, как ленинградцы. Изнутри трудно чувствовать себя героем (это особенно не в русском характере), пока человеку не объяснили, что он герой, и не убедили его в этом. Вряд ли это многие сами по себе изнутри чувствовали в 41–42-м; тогда было не до того, чтобы вслушиваться в объяснения. Сейчас это дошло до сознания, люди поверили. Они уже элиминируют целый ряд своих внутренних состояний того времени. Что они колебались, что многие оставались по внешним, случайным

или личным причинам, что боялись и отчаивались, что месяцами интересовались только едой, что были злы, безжалостны или равнодушны, что прошли через самые унижительные и темные психологические состояния.

Они стирают в своем сознании побуждения и состояния и оставляют чистое действие, результат — великое и беспримерное общее дело — оборону Ленинграда, в которой действительно они участвовали. И они правы. Ибо — по каким бы причинам они ни остались, но они делали то, что нужно было городу; они думали, как им казалось, только о еде, но в то же время они работали; они боялись, но ходили по улицам и стояли на крышах (боялись как раз меньше всего); они бранились, но копали рвы. Казавшееся принудительным оказалось в конечном счете свободным, внутренне подтвержденным актом общей воли.

Это приобретенная ценность, которая останется. Из нее будут исходить, на нее будут ссылаться. Слишком много будут ссылаться. Люди на Большой земле уже начали раздражаться. Конечно, этим будут злоупотреблять, хвастать, спекулировать. Злоупотреблять и хвастать вообще свойственно человеку. Но лучше, чтобы он хвастал этим, нежели всякой дрянью.

Здесь твердо выработалась средняя норма поведения, которой, как это всегда бывает, бессознательно подчинились средние люди. Потому что оказаться ниже этой нормы значило бы оказаться неполноценным, что человек плохо переносит. Эта норма, например, не мешает склочничать, жадничать и торговаться по поводу пайков. Но она мешала — еще так недавно — сказать: я не пойду по такому-то делу, потому что будет обстрел и я боюсь за свою жизнь. Такое заявление в лучшем случае было бы встречено очень неприятным молчанием. И почти никто не говорил этого, и — главное — почти никто этого не делал.

Ленинградская ситуация — одна из характерных групповых ситуаций, отправляющихся от всеобщей. Ситуация эта проходит через несколько стадий. Беру предпоследнюю. Ее основные слагаемые: обретенная ценность и желание извлечь из нее все, что возможно, во всех отношениях (блага, всеобщее признание и чувство превосходства, внутреннее удовлетворение и т.д.).

Но трагизм уже потускнел, уже вовне начинают забывать, тема надоедает постепенно. Надо усиленно напоминать, вообще напрягаться вокруг этого. Второе: трагедия отошла. Кончился хаос, сдвинутый мир, небывалые вещи и чувства, которые не забудутся. Образовался быт, очень трудный, очень опасный, в сущности, неправдоподобный, — принимая во внимание дистанцию, но вполне стабилизированный, то есть такой, при котором люди могут отправлять нормальные человеческие функции, хотя бы и в сдвинутом виде.

И действительно, люди ели, спали, ходили на службу, писали, ходили в театр и в гости. Все это, взятое вместе, и было то самое, что требовалось городу. Если только человек не испытывает острые физические страдания и не впадает в панику, то он непременно в любых длящихся усло-

виях (даже в окопах, в тюрьме, в больнице) устраивает себе если и не нормальный, то во всяком случае стабильный быт; то есть он применяется к условиям так, чтобы совершать свои основные человеческие отправления, без чего он не существует. Здесь много решал первоначальный великий момент предотвращения паники. Когда это совершилось, все остальное уже стало складываться неудержимо. И когда прошли острые физические страдания, из-под них выплыл сложившийся быт, который только со стороны казался странным. Быт изнутри, по ходу переживаний, вообще не кажется странным, поскольку он есть применение обстановки к органическим отправлениям. Он стал однообразным, затрудненным, необычайно несвободным во всем — в передвижениях, в возможности попасть туда-то в таком-то часу или вернуться домой. При этом твердо организованным, как нигде, что поражало всех посторонних. Исключительная эта организованность происходила отчасти оттого, что быт свелся к крайне ограниченному числу элементов и их оказалось проще увязать между собой. Еще черта — провинциализм, оторванность от всеопределяющего центра, и потому много неясностей, отсебятины и, в особенности, перестраховки. При этом получалась диспропорция между провинциализмом осуществления и остаточным механизмом большого центра. Совсем уж маленькие люди оказались на ролях другого масштаба по своей первоначальной природе (состав редакций, правлений, и т. п.), это дает перебои.

Преобладающие состояния: переживание ценности и опасения за ее сохранность, переживание страшного, трудного, исключительного, — ставшие привычными, мгновенными, преходящими, рефлексам, которые не мешают всему остальному. Переживание скуки, временности, ожидания выхода из особой замкнутости и несвободы, соединенное с опасениями за то, что при возвращении к общей, нормальной жизни утратится ценность, с опасениями соперничества тех, которые ничего не испытали и придут занимать места. Отсюда осуждения, отстаивание своего превосходства, антагонизм к возвращающимся. Таков предпоследний этап.

На последнем этапе эпопея еще более отодвинулась, поэтому ценность еще больше внушает опасений, охраняется теперь уже историческим пафосом. Стерлись служившие ей напоминанием рефлекс, и потому еще резче выступило однообразие. Чувство временности, ожидания до чрезвычайного возросло, а с ним вместе и внутреннее отталкивание изменений, опасения за свое тяжело доставшееся превосходство. Сталкивается ожидание и страх перемен, что вообще характерно для людей, долго находящихся в ненормальных, невозможных даже условиях, так что они становятся привычными. Весь этот последний комплекс стал преобладающим, ведущим в конкретном психологическом его выражении антагонизма к приезжающим. Сейчас он особенно напряжен искусственным, временным перерывом в начавшемся уже процессе.

Групповая ситуация стоит за отдельными разговорами, частными и официальными. Она их питает и дает к ним ключ.

<19 В человеке этом уже нет ничего>

В человеке этом уже нет ничего — ни любви, ни жалости, ни гордости, ни даже ревности. По старой памяти он все это тонко понимает, и потому может хорошо изображать, даже про себя изображать. То есть он знает в точности всю цепь импульсов и поступков, вытекающих из каждой эмоции. Для того чтобы воспроизведение этой цепи было не фальшивым, а искренним (у него оно совершенно искреннее), нужны какие-то основания. И эти основания у него есть. Это как бы бледные отражения этих эмоций в его сознании, как бы тени, отбрасываемые эмоциями и скользящие по его сознанию.

Едва ли не меньше еще в нем чувственных импульсов. В сущности, в нем осталась только творческая воля. Столь упорная, что она реализуется в самых невозможных условиях. Если бы действие этой воли прекратилось, трудно даже представить себе, как и чем такой человек мог бы продолжать существовать.

<20 Еврейский вопрос>

Рассказ N: За этим столом, среди этих специфических lamentаций, столь древних и столь злободневных, мне стало душно и тяжело. Особенно тяжело от человека, которого я прежде не видел. Его вывороченные губы и виски в складочках, его остроты и движущиеся пальцы — угнетали меня. Все это было неприязненно чуждым, но по тому, как это чуждое больно задевало меня, я не мог не понять, что где-то, на какой-то глубине оно было мучительно близким. Оно было мучительно близким своей властью надо мной; своей властью становиться между мной и тем, что мне близко, отрывать меня от близкого и лишать меня среди близкого полноценного существования; своей властью тащить меня за собой в сферу унижения.

Для интеллигента есть три типичных пути в этом вопросе. Одни признают в себе эту сущность как принципиальную — если не со всеми, то со многими вытекающими отсюда последствиями. А раз так, то это неизбежно становится для них сферой реализации. Приводят к этому признанию разные исходные моменты: идеологические или просто семейные традиции; сильная травма (комплекс, о котором рассказывал Б<орис Бухштаб>); сильно развитые психические или физические черты; иногда сильное развитие тех же черт в близких людях, особенно если связаны с ними общим бытом и т.д.

В речевом обиходе этой разновидности исключительную роль играет lamentация — со всеми преувеличениями, конечно, — появляется даже маниакальное выискивание обид. Это становится также незаменимым и весьма злоупотребляемым оправдательным понятием.

Людям другого типа кажется непонятным, как они не стыдятся этого, как они копаются в собственном унижении. Но им-то нечего стыдиться именно потому, что несправедливо обесцениваемое представляется им безусловной ценностью (чему принадлежащие к другому типу не могут внутренне поверить). Не кажется ведь странным, если какой-нибудь экс

ламентирует по поводу своего положения в республике; не казалось странным, если у нас это делали интеллигенты. Мы же ощущали здесь беспредельное унижение, потому что не верим, инстинктом отталкиваем ценность обесцененного в данной связи.

Вторая разновидность — это те, которые отрицают в себе эту сущность. И из этого отрицания хотят сделать радикальные практические выводы. Конкретное осуществление этого стремления чрезвычайно многообразно — от попыток полной маскировки до бесчисленных отмежеваний по мелочам. Исходная порочность позиции этих людей состоит в том, что те, во имя которых они отрицают в себе это начало, — решительно не желают считаться с этим отрицанием. И тут ничего не поделаешь. Поэтому эти люди, так стремящиеся избежать унижений, попадают во власть двойного унижения. Они унижены своей непреодолимой принадлежностью к данной сфере, унижены в особенности именно потому, что своим отрицанием они во всеулышание признали ее сугубо унижительной; и унижены своими попытками неудавшейся, непринятой, разоблачаемой маскировки. В этих своих попытках они прямо смешны. Таким образом, эта позиция практически совершенно несостоятельна.

Третья позиция — это позиция людей с внутренним отказом, но именно учитывающих практическую несостоятельность предыдущей позиции. Это позиция самого N. Для них вынужденная неслиянность — неполное слияние — с духовной родиной, с сознательно принятой и утверждаемой культурой — это несчастная случайность рождения, от которой, тем не менее, не только нельзя увиливать, не только нельзя маскировать ее, но нужно ее нести со всей прямоотой и честностью, ибо только это избавляет от двойного унижения. Они, таким образом, соглашаются признать несчастье в непоследовательности, противоречивости своего положения, в насильственной принадлежности к чужеродной сфере, но не соглашаются признать эту принадлежность унижительной. Чужеродной — да, но не низшей. То есть в душе они, конечно, не могут не считать ее низшей, вернее, не *ощущать*, потому что это более всего эмоциональная окраска, — но они скрывают это из гордости. Вообще скрывание из гордости своих подлинных оценочных переживаний — одна из характернейших черт этой позиции. Ведь по своим внутренним устремлениям — следовательно, и по оценочным переживаниям — они очень близки к предыдущей группе. Разница — в манере поведения.

Они не скрывают и не маскируют, но у них есть свои методы обмана и самообмана. Они упираются, им так не хочется, чтобы их тащили в раскрывающуюся бездну унижения, что они уклоняются, обходят, вытесняют из сознания; иногда с чрезвычайной наивностью. Осуществляется нечто обратное системе lamentаций, но столь же искусственное, в смысле отбора фактов и их оценки (споры по этому поводу с П-ми). Так не хочется, так не хочется, чтобы это бремя висло и тянуло в бездну унижения, — что человек отчаянно борется против фактов. Здесь слабость этой позиции. Ибо упорное вытеснение может привести к результатам аналогич-

ным с упорной маскировкой, то есть к удвоенному унижению. Унижение, от которого человек хотел уклониться, но от которого ему уклониться не удалось, так как среда не признала за ним на это право, — удваивается.

Избежать им этого трудно, ибо трудно воздержаться от вытеснения. Ведь люди первой группы терпят за то, что они признают своей внутренней сущностью; это сфера их реализации, и, следовательно, в пределах этой сферы они так или иначе сумели себя компенсировать. Но слишком обидно терпеть и нести ответственность за «несчастную случайность». И тут у людей со здоровой душевной сопротивляемостью появляется непреодолимая потребность в вытеснении. На этом пути у человека много разных иллюзий, и последняя из них, самая интимная, это: лично я такой, что меня это минимально касается. Этически скользкая иллюзия, и ее обычно тоже скрывают из гордости; ведь тут есть элемент: спасибо, братцы, что вы мне это простили. Люди третьей позиции понимают всю условность и неверность подобных исходов. Для самых разумных из них эта формула главным образом выражает различие между принимаемой ими фактической, бытовой ответственностью, от которой вторая группа тщетно пытается уклониться, — и отрицаемой ими своей духовной, идеологической ответственностью.

Да, фашисты могут меня растерзать как еврея, это я учитываю (часто людям приходится нести фактическую ответственность за случайное), но никто не может навязать мне эту проблематику как мою, кровную. Духовно меня это не касается. Моя проблематика — это проблематика русской интеллигенции на очередном ее этапе.

Именно такова личная (частная) позиция N., очень отчетливо выраженная. В нем сильно проявлены физические и даже некоторые психические признаки (склад ума), что должно было бы окружить его соответствующей атмосферой, всегда носимой с собой. Но по своей проблематике, по своим вкусам, пристрастиям, душевным привычкам, интересам — он настолько вне этого, настолько русский интеллигент, что эта атмосфера как-то вокруг него не оплотняется. И, может быть, это его самосознание (решительно без всякого фольклора и внешних русизмов), в самом деле, как-то сообщается окружающим. Его формула: я принимаю все, к чему меня обязывают гордость и приличия; я понимаю, что при случае мне придется нести все неприятности, вытекающие из этой «неприятной случайности», и что перед лицом этой необходимости не следует поступать по системе страусов (надо бороться в себе с ребяческой жадной вытеснения), но здесь моя ответственность кончается. Мне, носителю исторической проблематики русской интеллигенции (тяжелая нагрузка), духовно с этим делать нечего. Довольно одной идеологической нагрузки. Здесь я жалею без стыда и стеснения. Это высокие жалобы. Это меня не касается, то есть это касается меня в той мере, в какой я несу всю тяжесть внешней, фактической ответственности, и от нее не уклоняюсь. Так человек несет ответственность за ошибку, за то, например, что его с кем-нибудь спутали. Если эту путаницу никак, ничем нельзя исправить, то остается с приличием нести последствия.

Эмоционально для меня это сфера счастья и унижения, что я скрываю и буду скрывать из гордости, из приличия, из уважения к тем, для кого это сфера реализации. И я позволяю себе, в пределах приличия, удалиться от этой сферы, сводить к возможному минимуму ее давление на мою жизнь.

Такова формула. Но, конечно, это не последнее слово. То есть так начисто от этого не отделаешься. Есть совсем уже темная, глубокая, кровная связь. Ведь ни одно из нравственных унижений не обладает такой мучительной глубиной. Это то, от чего никак, никогда нельзя отделаться. Отсюда ужасающая болезненность всех реакций. Отсюда же озлобленность на сферу собственного унижения; подлинная злобность разговоров, ведущихся между собой, распространенность отвратительного явления еврейского антисемитизма. Они ненавидят в других черты, лежащие на них самих клеймом неполноценности.

Это один ряд, одно проявление глубинной, быть может отрицаемой сознанием, связи (отрицательное). Наряду с этим — положительное. Самые равнодушные люди испытывают гордость, признавая тем самым свою бессознательную принадлежность к этой связи, наряду с осознаваемой своей принадлежностью к другой культуре и исторической связи, — выслушивая рассказы о положительных качествах. Причем главное удовлетворение вызывают не такие качества, как ум, дарование и т.п. Это привычно и не противоречит комплексу еврейской неполноценности, даже традиционно входит в этот комплекс. Но такие качества, как храбрость, физическая сила и т.п., то есть качества, выводящие из этого комплекса. Н. равнодушен к известиям о награждении еврея за научные заслуги и т.п. Но всякое известие о награждении еврея за боевые заслуги доставляет ему глубокое удовлетворение. Как бы сняли с него частицу какой-то вечно тяготеющей тяжести.

<21 Сосуществование двух тенденций>

Среди совершающихся процессов очень существенно столкновение двух моментов, равноправных, противоречивых, и дальнейшие судьбы которых пока не ясны. Естественно, что из двух господствующих моментов каждый выбирает тот, который сулит ему реализацию. Есть люди (Д<ымши>цы), которым новый момент прямо сулит прекращение всяческого процветания. Есть люди, которым оба момента сулят то, что было и до сих пор, — невозможность сказать свое слово. Есть люди, которым новый момент сулит удовлетворение зажатых прежде инстинктов и возможность здорово развернуться. Каждый тянет в свою сторону и читает в строках и между строк, что ему хочется. Первых очень обнадежила речь¹⁷. Это пришлось наблюдать через несколько дней на случайном, собственно, материале. На прениях по докладу (московской девушки) о л<енинградск>их поэтах Д<ымшиц> произнес пламенную речь, что нечего повторять ставшие трафаретными слова (это он-то, но эти трафареты ему не нравятся), что теперь ясна установка; и кто сделал дела, хотя из соображений многое до сих пор за-

малчивалось. Словом — прошу стать на места. Его поддержал М<a>к<ого-
ненко>. М<a>к<огоненко> по всем данным мог бы быть и другого нап-
равления, но ему нужно отстаивать позицию жены, для которой новое нап-
равление не совсем подходит. Впрочем, в случае чего за ним остается воз-
можность повернуть, но вот Д<ымшицу>-то каково.

А второй момент отнюдь не исчезает как пар и на его счет име-
ются крепкие практические предпосылки. Пока что полное сосуществова-
ние (после короткой растерянности, вызванной речью). Что-то дальше...
Уже через короткое время, в том же помещении, 2-й момент расцвел совер-
шенно махрово. Это уже по подходящему случаю — чтение Прокоф<ье-
ва> — но потом всего <так!> было выступление некоего в военной форме.
Он вспоминал, как они занимали Львов, интереснейший, старинный город,
интересный и как современный город. Мы идем, понимаете, смотрим, то,
другое. Вдруг слышу обрывок разговора: 9 пудов, я тебе говорю 9 пудов.
Вот веришь, не веришь — 9 пудов... Что такое? Прислушиваюсь. Это сол-
дат наш, ни на что не глядя, не оглядываясь по сторонам, вспоминает с то-
варищем родную деревню. Это он борова выкормил в 9 пудов. Это он про-
нес сквозь всё и всюду родную свою деревню.

И эта мрачная апология идиотизма деревенской жизни через сто
лет после того, как Тургенев (по поводу Хоря¹⁸) говорил о широте интере-
сов русского крестьянина (крепостного тогда), о его свободном, заинтере-
сованном и умно-критическом отношении к явлениям европейской жиз-
ни. Поистине, заставь дурака богу молиться...

<22 Герцен об отличниках>

Герцен об отличниках: «Надо непременно побывать в публичном заведении,
чтобы получить утиную способность пожирать равным образом десять раз-
ных наук, не любя ни которой, из одного благородного соревнования»¹⁹.

<23 А.А.>

На улице встреча с Ант<ониной Изергиной>. Рассказывает о том, как на
днях они с А<нной> А<ндреевной> в помещении Тюза получали медаль.

— Ее покрыли громом аплодисментов. Громом! Она здорово все-
таки популярна. Она умеет себя держать. Какое у нее было лицо — величест-
венное, строгое, задумчивое...

— Вдохновенное...

— А что в это время могло быть у нее на уме — только одно... Что
она как раз перед тем увидела меня и соображала, как бы со мной сговорить-
ся устроить у вас блины...

<24 Об иерархии>

С. в прошлом месяце каким-то зайцем прикрепилась к магазину одного вы-
сокого учреждения. Передает разговор в очереди на прикрепление. Дама
в котиковом манто — соседке:

— С будущего месяца здесь обещают все это изменить. Все эти дополнительные карточки уберут отсюда. А то смотрите, что получается, — я стою, и мой шофер стоит, сзади меня в очереди. У него дополнительная, и он стоит. И потом все время с ними сталкиваешься. Берут сто грамм масла, а время занимают, создают очереди.

У С. в передаче этой сцены есть своя подводная тема. Она принадлежит к тем, у кого в свое время был или мог быть шофер. С потерей пририядило то, что его («моего шофера») вообще нет; неприятно, что появились другие — к этому вовсе не предназначенные, — у кого он есть.

Но интереснее тут другое. Интересно, что мы еще демократичны, и пользуемся притом не буржуазно-демократическим, а социалистически-демократическим понятием равенства, то есть понятием, отрицающим не только сословное, но и имущественное неравенство. И характерно, что совершенно асоциальная птичка С. бессознательно пользуется тем же критерием (ведь в буржуазных условиях никого бы не удивило замечание дамочки), бессознательно имеет перед собой ту же норму равенства, за убыстряющимися отклонениями от которой все мы следим. Во всяком случае это показывает, что новая иерархия вовсе еще не совершившийся факт, а еще процесс, в достаточной мере противоречивый и осязаемый.

В закреплении новой позиции огромную роль сыграли два момента военного времени. Они резко протолкнули давно намечавшийся процесс. Первое — это военная иерархия, которая сразу все прояснила. То, что вне ее было подхалимством, стало в ней чинопочтением. Содержание получило форму, красивую, правильную, молодежавшую, совместимую с честью и доблестью. Оно проецировалось в гражданский быт, где выглядит, конечно, иначе.

Вероятно, только на фоне военных ассоциаций возможен В<ознесенский>, который кричит на студентов, если они перед ним не успели вскочить или снять шапку. К нему как-то пришла на прием (наниматься) преподавательница какого-то из иностранных языков. В кабинете у него лежит дорожка. Она пошла мимо дорожки. В<ознесенский> сказал: «Вернитесь и пойдите по дорожке». Она вернулась и пошла по дорожке.

Второй определяющий момент — это иерархия снабжения. Во-первых, ею все сказано *en toutes lettres*[#], во-вторых, она ежеминутно ощущима в быту, ее нельзя забыть. Наконец, она гораздо иерархичнее имущественного неравенства и по психологической своей сущности ближе к неравенству сословному, кастовому, и именно для него создает предпосылки. Ведь «ее шофер» может пойти в любой коммерческий ресторан, магазин, но в закрытый распределитель он пройти не может.

В послевоенное время (не сразу), когда решающая роль двух этих моментов отпадет, придется переходить к психологически более сложной дифференциации. Если только не возникнут действительно резкие им<у>-щест<венные> различия. Но это в близком будущем — вряд ли. Тогда социальные категории могут опять оказаться чересчур

[#] откровенно (фр.).

сближенными. Мужьям все-таки проще — у них служебные отношения. Но где возьмут жены психологическую гарантию привилегированности — без прикрепления в разных магазинах. Не сомневаюсь, впрочем, что они найдут принцип различия. Все эти проблемы возникают именно потому, что у нас имущественная дифференциация, по сравнению с капиталистическими странами, совершенно ничтожна.

Как радовались профессора, особенно жены профессоров, когда прошел слух о том, что на Михайловской доцентов и кандидатов больше прикреплять не будут. Соображения о лучшем ассортименте или о меньших очередях здесь были на заднем плане. Человек вовсе не так грубо утилитарен. Человек грубо утилитарен, только пока он элементарно голоден. Здесь же был крик души изголодавшихся по чувству привилегированности. Отцы и деды этих людей, «кающиеся дворяне», пресыщенные чувством привилегированности и потому жаждавшие переживания святости, говорили: «Пускай секут! Ведь мужика же секут!» (Михайловский)²⁰.

<25 Старики дикие и старики веселящиеся>

Глядя на А<нну> А<ндрею> и др., иногда со страхом думаю — вот мне тоже предстоит одинокая старость. Неужели я тоже лет через пятнадцать (е. б. ж.)²¹ буду *скупать* и вследствие этого по вечерам в темноте-мокроте пробираться в гости.

Утешаюсь тем, что с годами во мне явно возрастает физическая лень, нелюдимость и привычка к месту. Вообще, начиная с известного возраста, для человека нормально — быть дома (если его не призывают дела или прямые интересы).

Конечно, со временем мне угрожает попасть в разряд диких стариков, кончающих в полной изоляции. Впрочем, это много лучше, нежели попасть в разряд стариков, скупающих и веселящихся.

<26 Еще одно совещание о критике>

«Новое время»²²

Еще одно совещание о критике. Долгий поток призрачных слов. Слова выступающих всегда неадекватны, но иногда за ними стоят другие, в высшей степени реальные вещи. Это слова — призраки. Литературное ведомство давно уже требует, чтобы была критика, и сердится по поводу того, что нет критики. Об этом говорят, пишут. Прокофьев закончил свою заключительную речь на дискуссии о ленинградской теме: «Доколе критики и литературоведы будут безмолвствовать!»²³ Есть объяснения, лежащие на поверхности: для порядка; чтобы ничем не отличаться от до и за²⁴, потому что, раз есть и такой *отряд*, то надо, чтобы он функционировал, а не ел пайков даром, и т.д.

Это все верно, но есть слои более глубокие. Это, быть может, неосознанный страх перед наглядным, очевидным отмиранием каких-то культурных функций. Это как — вдруг отнялась рука... Отмирание частичное,

но страшное как симптом. Если может вдруг прекратиться, не стать плохой (к плохой критике нам не привыкать...), а именно прекратиться критика, то кто его знает, не может ли еще что-нибудь вдруг прекратиться, например стихописание... Если в такой-то период, скажем, мало писали стихи, то Белинский из этого делал большие выводы, оперируя историческим соотношением стихов и прозы. Для наших это вопрос профессиональной недобросовестности, нерадения. Профессионалов держат, кормят и не посылают на торфоразработки за то, что они, критики, на самом деле не критикуют.

Этот факт отмирания целой культурной функции, конечно, еще не свидетельствует о том, что дальнейший процесс пойдет с такой же быстротой. Отмер наиболее хрупкий член. Остальные еще долго могут сопротивляться. Дело в том, что профессии писателя (художественного) соответствует некий комплекс способностей и, следовательно, потребностей, некий психофизиологический адекват, который, так сказать, типологически бессмертен; пусть только существует социальная форма литературы, поприще (притом еще выгодное), и участники этого дела всегда найдутся. Но критиком никто не родится, и никто для этого не бывает специально предназначен. Тут нужны особые импульсы. Критика — это либо функция настоящей литературной жизни с интересами и борьбой, либо это переодетая общественно-политическая мысль. Последняя разновидность имела в России свою большую традицию, идущую от Чернышевского и Добролюбова.

Впоследствии эта традиция окончательно определилась как политическая проверка и заушательство, что в высшей степени имело свой резон. Тогда никто не сетовал, что критики не критикуют. Напротив того. Но с тех пор, как произошло отделение критики от других органов и эти функции в основном из нее изъяты, — импульсы вообще прекратились.

Оказывается, что ни из чего решительно не вытекает, что этому следует быть, что оно вполне может и не быть. Если это понять, то это страшно. Вероятно, это и не понимают, но беспокоятся инстинктивно.

Итак, исходный призрак — это сама критика как таковая, как несуществующая функция несуществующей литературы. Отсюда рождается ряд вторичных, производных призраков. Ибо каждое дальнейшее определение этой несуществующей функции неизбежно оказывается призрачным. Эти дальнейшие определения нереальны, они не имеют практической цели (то, что в действительности определяет критическую практику, — неудобнопроизносимо). Именно потому они ориентированы не на действительность с ее условиями, но на некий вечный идеал. Так как этот разговор к практике все равно никакого отношения не имеет (практика определяется совсем другим, о чем умалчивают), то можно оперировать любыми, самыми красивыми и самыми идеальными требованиями, принадлежащими совсем иным системам культуры. Так это и делается.

Выступают критики (например, Бр-ман) и говорят: Мы не можем полноценно работать, потому что редакции урезают наши мысли. Пусть редакции лучше не заказывают, кому придется, а подберут несколь-

ких человек, которым они доверяют, и дают им высказывать свои точки зрения, за которые они отвечают. Редактор отвечает, что всякий журнал имеет право на свою физиономию, что всякая редакция имеет право стремиться — и всегда все редакции стремились — к тому, чтобы в критических статьях и рецензиях отражена была их точка зрения. В этом споре постулируется целый ряд фикций: что, во-первых, есть о чем выражать мнение, что, во-вторых, редакторы или критики могут иметь свое мнение и что критикам мешает произвол редакторов. Все это перенесение формул 19 века на систему совершенно иных отношений, которые имеют свои весьма твердые нормы, но <никто> не смеет их сформулировать. Но почему люди говорят это? По ряду причин: 1) они должны говорить по должности, пользуясь благовидной терминологией; 2) в целях самооправдания; 3) человек видит фиктивность своего деяния и в то же время ему хочется в нем реализоваться, в порядке органической потребности. И потому в такого рода заявления он вносит оттенок искренности. Критику кажется, что если б редакция ему не мешала, он бы все-таки высказал какие-то свои мысли — хотя немножко и т.д.

Итак, идет призрачный спор между критиком, якобы приносящим в редакцию свои мысли, и редакцией, якобы отбирающей их по принципиальным соображениям. На сцене появляется Б. М. Э<йхенбаум>. Ему нужно показать, что он выше всех, тоньше всех. Все говорили стоя, он подсаживается к столу президиума (для интимности). Он говорит: «Все говорят о мелочах. Я не вижу взволнованности. Между тем мы обсуждаем самую суть нашего жизненного дела. О таких вещах нужно говорить взволнованно».

Это большой, жирный призрак. Нельзя быть взволнованным по отношению к вещам не существующим и, во всяком случае, никому не нужным. «Взволнованность» — это для того только, чтобы показать, как он поднимается над мелко личным или бюрократическим отношением к вещам. Но ведь на самом-то деле — бюрократическое не только отношение, но сами вещи, и никуда над этим отношением умному человеку не надо подниматься. Даже вредно и глупо подниматься. И, находясь в другом ряду, он прекрасно это понимает.

Если первый пункт был недостаток взволнованности, то второй пункт — мало совместимый с первым, был недостаток организации. Вся беда в том, что Союз писателей не сумел организовать литературоведов, которые чувствуют себя в нем чужими и ненужными. Куда девался ваш анархизм — индивидуализм! И даже проще — куда девалось чувство юмора? Вместо этого чиновничья терминология, как всегда особенно чудовищная в применении к явлениям гуманитарным. «Организовывать», «воспитывать», «растить кадры», «работать с...» за этим неожиданным призывом к организации стоит одолевающая его потребность играть роль и быть заметным в еще одном месте. Он не скрывает того, что ему обидно, что там на него не обращают внимание. Ведь не думает же он в самом деле, что волнующая проблематика, которая не может возникнуть на Тучковой набережной, возникнет на ул. Воинова²⁵. Конечно, нет. В том-то и дело, что он заранее

уверен, что уровень будет низкий. Но он хочет, чтобы еще в одном месте раздавался его голос, свободный и изящный, бесконечно возвышающийся над общим уровнем.

Формулы, им произносимые, не соответствуют никаким практическим реальностям, ибо реальностей этих нет, или они совсем другие, и которыми нельзя оперировать. А если слова не адекватны реалиям, то могут совмещаться самые несовместимые слова. Так совместились требование взволнованности с требованием организованности. Первое — знак для выражения его внутреннего изящества, второе — знак для выражения его желания предстать в еще одной комбинации.

Наиболее реальны, с фразеологией наиболее адекватной действительности, были два выступления по личному поводу, то, что называется склочными выступлениями. В них-то отчасти и проявилась так называемая взволнованность. В них всегда почти есть элемент нравочительного обобщения, но личный повод высовывается со всех сторон. Удивительное выступление Б.М. Это может случиться только с прекраснородушным стариком, воспитанным в совершенно иных понятиях. Дико звучащие слова, проникшие из второго ряда.

<27 Соотношение души и тела>

Х. не говорит сейчас и не делает ничего дурного (в данный момент это не нужно), но лицо это ужасающе выразительно. В нем то прямое соотношение между чертами, выражением и предполагаемой в этом человеке черной душой, которое давно уже отрицается всей психологической литературой, и, в качестве устарелого и мелодраматического, оно как бы выведено за пределы житейской реальности. Но вот мы видим это самое: действительно бегающие глаза в припухлых мешках. Костистое лицо, обтянутое зеленоватой кожей; острый нос, узкий рот. Тягуче-равнодушные интонации, которые всегда кажутся наглыми, даже когда они не могут быть наглыми; например, когда речь идет о высоких материях и инстанциях. Словом, это столь примитивное и устарелое (вышедшее из употребления) соотношение между постулируемым содержанием и формой, что оно сбивает присутствующих с толку.

<28 Парикмахер>

Веселый парикмахер неожиданно повесился, оставив записку: «Все равно, всех не переброешь...»

<29 Одна смерть и много смертей>

Разговор с И. Не в том дело, что умирают тысячи человек, а в том, что тысячи раз умирает один человек.

— Но тут получается какое-то противоречие.

— Я думаю вот что: когда умирает один человек, это ничуть не лучше, но когда умирают тысячи, это еще гораздо хуже.

— Не только не лучше, но не может мыслиться без содрогания.

Не следует смешивать инстинктивное, физиологическое отвращение к смерти с волей к бессмертию, присущей человеку.

Именно воля к бессмертию сплошь и рядом подавляет защитный инстинкт, бросая человека в смертельную опасность. Когда человек хочет вечности, он, без сомнения, вовсе не хочет ни вечно вешать номерок²⁶, ни вечно ходить в кино, ни вечно ездить в дом отдыха. Бесконечность сама по себе не только не утешительна, но одна из самых ужасных идей, какие концепирует человеческий ум, — это идея бессмысленной бесконечности. Когда человек хочет вечности, то он, разумеется, вовсе не хочет вечного повторения разрозненных и преходящих мгновений своей жизни. Он, напротив того, хочет вечности, легко укладывающейся в любое мгновение; вечности как внутреннего опыта, как непосредственного переживания абсолюта. Основной признак, неотъемлемый атрибут абсолюта — бесконечность. Ибо абсолют должен мыслиться не только совершенно объективным, совершенно внеположным, но и совершенно изъятым из условий, определяющих единичное существование. Иначе абсолют окажется недостаточно убедительным, недостаточно абсолютным для единичного существования, стремящегося в нем раствориться. Только этот акт снимает исконный, хотя, казалось бы, странный вопрос о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни всегда был вопросом о связи между преходящими, умирающими мгновениями, о связи, непрерывно переживаемой и в любом мгновении присутствующей во всей своей полноте. Эта осмысляющая связь может быть только сверхличной, осуществляемой за пределами единичного сознания. Вот почему если вечность — атрибут абсолютного смысла, то все единичное, конечное, преходящее адекватно для нас бессмысленному. Замкнутые в себе, бессвязные, непрерывно умирающие мгновения жизни представлялись всегда крайней, самой трагической бессмыслицей. Формула: жизнь бессмысленна, потому что человек смертен, — логически несостоятельна. Справедливо другое — конечность единичного сознания, если оно не в силах преодолеть свою единичность, является самым крайним, логически самым ясным, психологически самым мучительным выражением бессвязности, бессмысленности бытия.

Толстой писал: «Если же человек боится, то боится не смерти, которой он не знает, а жизни, которую одну знает и животное и разумное существо его. То чувство, которое выражается в людях страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни...»²⁷

Самого атеистического человека, вовсе не занятого проблемой бессмертия души, может тяготить мысль о том, что дело, которое он делает, через сто лет окажется никому не нужным, что культура, к которой он принадлежит, через тысячу лет исчезнет с лица земли. Что за дело до этих сроков человеку, которому осталось прожить самое большее еще тридцать или сорок лет? Это в нем говорит органическое чувство связи. Это неистребимое стремление, наивное в своем эмпиризме, как можно ближе приблизиться к абсолютному, попытка овладеть абсолютным хотя бы негодным средством отно-

сительного увеличения меры времени. Этот загробный счет нужен ему сейчас, пока он жив, на оставшиеся ему тридцать лет он нужен ему как мера относительной прочности творимого дела, как мера смысла и ценности.

На практике все, что мы воспринимаем, мы воспринимаем как имеющее значение и имеющее ценность (или как не имеющее ценности, что сводится к тому же). Это первоначальные, ниоткуда не выводимые условия (формы) нашего интеллектуального и морального бытия. От них так же нельзя отделаться, как нельзя практически жить вне времени и пространства на том, например, основании, что пространство и время принадлежат не миру вещей, но познающему разуму человека.

Не знаю, можно ли объяснить, что такое ценность. Это известного рода благо. Но что такое благо? Тут мы очень скоро доходим до вещей, всем без исключения известных из (непосредственного) внутреннего опыта и потому дальше неразложимых и не поддающихся описанию.

Легче определить, чем отличается ценность от других видов блага, от непосредственного, например, наслаждения. Категория ценности рождается вместе с первыми проблесками социальности. Она не существует без социальности, как социальность не существует без нее. В отличие от наслаждения, ценность не может быть определена из ощущений единичного биологически замкнутого организма. Она устанавливается за пределами индивида, и потому один из основных ее признаков — *всеобщность*; от абсолютной всеобщности до относительной общности тех или иных социальных категорий. Ценность — категория связи. Ее действие (в отличие от действия преходящего наслаждения) перманентно и протяженно. В этом смысле духовные ценности подобны материальным. Банковский билет лежит в вашем бумажнике, не теряя свою силу. И в каждое данное мгновение вы можете использовать, реализовать все вложенные в него возможности и потенции. Вы — обладатель ценности. Это состояние длящееся, и в то же время сама эта длительность, протяженность как особое переживание содержится в каждом данном мгновении. Ценность всегда опосредствована сознанием. Ценность — это фактор социальной памяти.

Реализация духовных ценностей происходит в скрещивании двух элементов. Это предельная всеобщность и внеположность объекта и предельно личное к нему отношение. Человек утверждает себя в объективных, всеобщих ценностях и в то же время, присваивая себе эти объективные и всеобщие ценности, созидает из них свою собственную ценность, автоценность — предел человеческих волеустремлений (негативное понятие неполноценности давно уже бытует в науке).

Здесь множество психологических вариаций, от практики эгоистов и честолюбцев до религиозного экстаза самоотвержения. Но замечательно, что никакой экстаз самопожертвования не снимает необходимости в личном переживании ценности. Индус, бросающийся под колесницу своего бога, хочет, чтобы колесница раздавила именно его; его не устраивает, если она раздавит кого-нибудь другого.

Но зачем бросаться под колесницу? Зачем вообще бросаться, если можно жить в свое удовольствие? Это древний разговор о том, что животные более предпочтительнее духовных, что глупые люди будто бы счастливее умных, что хорошо быть свиньей и греться на солнце и проч. Это старый, фальшивый, кокетливый интеллигентский разговор (охотнее всего ведут его люди, которым не так уж от многого нужно отрезаться, чтобы прийти к вожделенному для них состоянию), этот разговор пора оставить. Если глупый человек страдает (будто бы) меньше умного, если животное страдает меньше человека, то растение страдает меньше животного, а камень совсем не страдает. Следовательно, речь тут идет не о жизни, а о смерти, о наиболее удобных переходных формах к смерти. И это понимали отрицавшие жизнь Шопенгауэр или Гартман. Но для разговора о жизни эта концепция не годится. Потому что, приняв жизнь с ее законами, мы тем самым примем исходную предпосылку: человек стремится развить до предела все в нем заложенные возможности. Он не хочет быть свиньей, чтобы греться на солнце. Потому что инстинктивно он понимает, что не свинья, а именно он, человек, умеет греться на солнце; тогда как свинья, вероятно, глубоко безразлично — на солнце она согрелась или в хлеву.

<ЗАПИСИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАПИСНОЙ КНИЖКОЙ «1943»>

Постепенное, поочередное уничт<ожение> разных видов иск<усства>

Разумеется, призракнейший из призраков — литература. Величайшая чушь то, что часто приходится слышать: индивидуальное *мнение* вовсе не обязательно; во времена классицизма тоже была догма, единая точка зрения и предрешенность, и получилась великая литература. Это чушь потому, что литература классицизма выражала мировоззрение эпохи, потому что тогда люди так думали, а теперь так не думают.

В этой области двурядное бытие необыкновенно отчетливо: литература не только не выражение воззрения, но область совершенно условных значений, начисто отрезанных от реальности. Молодым писателям даже уже не приходится подвергать свое восприятие каким-либо операциям; они так прямо и концепируют вещи, сразу в двух рядах — один для писания, другой для жизни вообще. В отдельных исключит<ельных> случаях может происходить совпадение, скрещение рядов (напр<имер>, рассказ о зле, причиненном врагами, и т.д.), тогда изредка получают любопытные вещи.

Вообще же она не то чтобы плохая, но ее просто нет *как таковой*, то есть как художественной деятельности. (Есть особая форма государственной службы, отчего и возникает представление о нерадивом писателе, который мало — не плохо, а мало — пишет.) Ее нет потому, что отсутствует самый основной неотъемлемый признак — выражение миропонимания.

И поэтому все это очень интересно в своей характерности, но должно быть рассматриваемо с другой точки зрения. Итак, это призрак — один из исходных призраков.

Теория Б., что и поэты очень талантливы, если при всем том (сквозь все призраки) им что-то удастся сказать. Талантливые поэты есть, но когда их слушаешь, самого даже талантливого, уныло знаешь заранее, что стихов не будет, потому что нет поэзии. Это, собственно, значит, что нет стиля, то есть принципа (системы) выражения идеологии. Поэтому не может родиться новое смысловое качество; слова остаются поэтически не претворенными. Это либо житейское сырье, либо эстетические или идеологические штампы. Отсюда впечатление личного бесстыдства.

Отсутствие большого стиля в иск<усстве> характерно для всей эпохи, повсеместно. Это вообще падение гуманитарной культуры. Мы — только наиболее проявленный случай, неприкровенный. Там дело не в отсутствии свободы выражения, а в отсутствии новой принципиальной концепции человека. Там тоже нет ничего, кроме инерции высокой литературной культуры, которая здесь была насильственно прервана.

Только отсутствие большого мирового стиля позволило прекратить искусство на данном отдельном участке. Иначе данная литература, невзирая ни на что, тяготела бы и прорывалась бы к данному стилю. Во всяком случае, было бы возможно появление замечательных не<напечатанных> произведений. В настоящее время по отношению к произведениям такого рода у нас нет правильного критерия. Их принадлежность к другому ряду сама по себе производит столь сильное впечатление, что все дальнейшее уже неясно.

При такой ситуации чрезвычайно нелепо положение истории литературы, которая по инерции и в силу каких-то практически-просветительских потребностей разрослась в огромную область. Неоправданность академич<еской> ист<ории> лит<ературы>. Необходимость для нее опоры в других деятельности. Невозм<ожность> опоры в живом переживании литературы. Опора в чувстве истории. История сознания. Замена совр<еменной> литературы. Отличие ист<ории> лит<ературы> от истории.

Нелепость ист<ории> лит<ературы> для ист<ории> лит<ературы>. Возможность мелочей при атмосфере и их смехотворность без атмосферы. Это разрастается, разрастается, обрастает аппаратом — и кому и зачем это нужно в таких размерах?

Может быть, это эрзац литературы, ибо туда и, наоборот, оттуда может проецироваться проблематика не то чтобы современной литературы, но той постулируемой литературы, которая могла бы быть современной.

Есть люди, кот<орые> вообще презируют и отвергают фактологию в литературоведении. Я, напротив того, считаю, что это очень важно и полезно, необходимо для всех дальнейших построений, но пусть этим занимаюсь не я, а кто-н<и>б<удь> другой занимается. Это как с хозяйством. Есть люди, которые считают, что вообще можно обойтись без организован-

ного быта. Я, напротив того, считаю, что он необходим, но только пусть этим занимается домработница. Иначе быт превращается в катастрофу.

Почему и зачем эти девочки занимаются литературоведением, а не чем-нибудь другим (если у них не прямые педвузовские установки)? Некоторые, из интеллигентных семей, — в силу того, что учиться в вузе все равно обязательно, а других способностей и интересов у них нет, кроме неопределенно-гуманитарных (Леночка, напр<имер>). Или по примеру родителей. Большинство в нынешнем году пошли, потому что не было Института ин<остранных> яз<ыков>, а они все хотели изучать английский язык (поветрие); для этого они пошли в ун<иверсите>т и были потом в отчаянии, когда их насильственно распределили по другим факультетам.

Смотрю на них со странным чувством: как они могут заниматься этим, если они никогда, в своем внутреннем опыте, не пережили, что такое литература, то есть чем может быть для человека литература. Мое поколение еще захватило последний краешек этого переживания, и потому оно последнее, для которого естественно было заниматься литературоведением (удивительно пакостное слово).

Сейчас для меня это уже неестественно. И потому, что эта область сейчас тень от тени, и в нее приходится с усилием вкладывать иные, прорывающие ее содержания, и потому, что при крайней несовершенности всех начинаний в этой области все же произвольно, ходом времени совершился уже процесс внутреннего перерастания и человек подходит к своему максимуму. И уже перед ним поставлен роковой вопрос — хватит или не хватит сил на самое большое усилие... А приходится искусственно, может быть навсегда, задерживаться в области уже внутренне полуизжитой. Уже обидным, ненужным становится это комментирование чужого, это принудительное опосредствование, оно уже внутренне ненужно и переживается как заменитель других возможностей.

Советское литературоведение методологически самое высокое. Западное л<итературо>ведение — болтовня. Наше прошло местную тренировку ограничений (методом, листажом, цензурой и т.д.) — крайне полезную именно для л<итературо>в<е>д<ения>. Оно выросло на, может быть, неправильном, но принципиально-методологич<еском> мышлении. Кроме того, по изв<естным> причинам в него уходили самые талантливые и образованные из людей с гуманитарными склонностями.

<О морали>

То же, что сказано о других сферах действия, относится — и даже в особенности — к морали. Оди<ночной> морали нет, когда нет свободы, хотя бы относительной, выбора своих поступков. К рабам не предъявляют моральных требований (<...>* сл<ова> Гр<иши> «принудительный вкус», у человека в комнате стоят не те вещи, которые он хотел бы иметь, он носит не ту одежду и т.д. Он одевается и обставляется в зависимости от того, что ему удалось «достать» (странное слово)).

*[Нрзб.]

Гр<иша> уверял когда-то (это было ему удобно), что вся область общ<ественного> поведения просто выключена, взята за скобки, и для каждого остается только область его частного поведения, которая и подлежит суду. Он ошибался только в том отношении, что думал, что это может сойти, так сказать, с рук. На самом деле эта взятая за скобки сфера давит на все остальное, искажает и деградирует всякое поведение, по той простой причине, что оно искажает и деградирует человека.

Когда начинаешь копаться в истории, особенно в истории литературы, то оказывается, что импульсы поведения людей, в частности, например, русск<ой> народолобивой интеллигенции, были отнюдь не так уже чисты (см. атмосферу ред<акции> «Современник» и т.п.), но высок был всеобщий уровень, ниже кот<орого> они неохотно опускались. И выше кот<орого> имело смысл подыматься, потому что это имеет смысл только, когда есть ощущение уровня.

Поэты могут быть только тогда, когда есть поэзия (система, стиль); иначе могут быть в лучшем случае люди талантливо пишущие стихи. Моральные люди могут быть только, когда есть мораль как норма, как целеустремленная система оценок. Иначе могут быть люди добрые, храбрые и т.п., но не моральные. Ни доброта, ни храбрость сами по себе не суть этические категории; это только психофизиологический материал для образования этических категорий (как социальных).

Интереснее другой случай. Когда в оборот попадает человек, претендующий на то, что он имеет принципы или находится «на уровне». И вот оказывается, что он делает *то же самое*, только не просто, а со скрипом и разговорами. Это как бы более долгий (и поэтому неправильный) способ решения той же задачи.

И все же человек так жаждет иллюзий относительно самого себя, что эта затрудненность процесса вызывает в нем чувство превосходства над другими не столь моральными людьми.

Превосходный пример И<осиф>М<оисеевич>. Он сформировался на других основаниях и вошел в эту жизнь кичась (ибо он вообще кичлив) стройностью и принципиальностью системы своего жизненного поведения. Тем не менее он, в конечном счете, делает *то же самое*. Ибо никому не дано перешибить этот железный закон. Но так как он это делает с внутренним сопротивлением, с домашними сценами и с некоторыми ограничениями, то ему кажется, что он имеет право продолжать кичиться, что и требовалось. По-видимому, так именно протекало дело во всех основных случаях. История с братом и фамилией²⁸, с его собств<енной> диссерт<ацией>²⁹ и, наконец, данный случай. Очень много шума и принципиальности в разговорах с женой, а в результате сделано все то же самое и по тем же причинам. Немножко личных отношений, а в основном — с одной стороны, перестраховка, а с другой — нежелание портить отношения с влиятельным человеком. Так как эти импульсы в данном случае приводят к противоречивым результатам, то он очутился в фальшивом и запутанном положении.

Такова сила и безошибочность действия этого механизма, что иначе поступать нельзя; то есть можно, но тогда это равносильно отказу от социального бытия, иногда и от физического. Тогда и там человек, отказываясь от официальных форм реализации, приобретал иные, общественные. Тут он остается вне всяких. Его функция прекращается.

На этой безошибочной тотальной завершенности основан замечательный закон, недавно вполне определившийся. Он состоит в том, что уже на любые места можно посадить любых людей (или à reux près[#]), и они, независимо от своих небольших индивидуальных отличий, будут делать то же самое. Поэтому уже можно соверш<енно> спокойно садить и порядочных, и образованных, и талантливых*. Они сделают то же самое; даже несколько лучше, потому что внесут в дело знание, умение, добросовестность. А.С.: все держатся на шипящих, а не на кричащих «ура», потому что только первые работают добросовестно.

Размышления о безошибочности механизма пришли мне в голову в Р<адио>ком<итете>, когда видно было, как бесконечно ничтожна разница между нашей работой и работой профессиональных чиновников. Впрочем, и эта ничтожная, непринципиальная разница оказывалась неудобной и нередко приводила к устранению (Мак<огоненко>, Баб<ушкин>). Впрочем, это больше в порядке личного неудобства данного работника для данного начальства. Неудивительно, что результаты работы инт<еллигентов>-циников были идентичны, но то же происходило и, скажем, со светлой личностью К<атей> М<алкиной>. Как бы ни расценивать эту светлость, но несомненно, что субъективно ей хотелось переживать себя как таковую. Между тем она писала, редактировала и подбирала материал точно так же, как все остальные, как самый крайний циник О<стровский>. Она обосновывает это тем, что все равно ничто другое не пройдет. Тогда и там люди, убедившись в подобном положении, переходили на другое. Но тут они знают, что перейти не на что, потому что всюду одно и то же. И тогда они функционируют как должно.

Прекрасный пример Дм. Порядочный человек, <наверно?>, в душе, в функции талантливого, и т.д., кроме всего пр<очего>, еврей. И он говорит человек<у>** в лоб, что не может его представить по этой причине. Он знает, что все равно это не пропустят в высшей инстанции. Зачем же ему выслушивать отказы и иметь лишние хлопоты. Идея, что нужно уйти, чтобы не нести за это зло личной ответственности, не приходит в голову, она вообще не существует в моральном обиходе. И это по простой причине; уйти вообще нельзя, а уйти в другое место — даже если это можно (собств<енно,> и это нельзя) — значит, нести ответственность за аналогичное зло. Поэтому ответственность вообще выносится за скобки — в этом Гр<иша> прав; и человек функционирует как требуется.

Поэтому безразлично, например, кого посадить редактором толстого журнала. Если и сажают дураков и невежд, то больше по вкоренившейся привычке. А можно посадить и умного; от этого, если что-нибудь и изменится, то в столь ничтожной степени, что не стоит беспокоиться.

[#] приблизительно (фр.).

* [Вписано:] если этого не делают, то по вкоренившейся привычке к недоверию.

** мне

<ДЕНЬ ОТТЕРА>

ЧАСТЬ I

Раздел 1. Пробуждение

Примерно год тому назад Оттер* просыпался иначе. Он просыпался каждый день в шесть утра от звука репродуктора, выведенного в коридор для общего пользования жильцов. Потом, когда это вошло в привычку, он стал просыпаться за десять-пятнадцать минут и лежал прислушиваясь. Терпения не хватало, и минуты за две он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с напряженными лицами. Оттер жадно ждал голоса диктора. Ему казалось, что если диктор своим обычным неестественным голосом начнет неторопливо перечислять радиостанции (текст), то, значит, особенного ничего не случилось. Оттер знал, что это aberrация, но не мог от нее отделаться. Но тогда все начиналось не с диктора. Перед сакраментальными словами (текст) в течение минуты или полутора звучал какой-то звенящий, однообразный мотив. Короткими звонами и паузами он выводил какую-то звуковую фигуру. И этот звук, который Оттер узнал в те именно дни (он отродясь не вставал в шесть часов), был звуком нестерпимой, щемящей сердце тоски. Никогда он не слышал более печально-го звука. Потом шло перечисление радиостанций с его хрупкой aberrацией благополучия. Потом страшно короткая информация (казалось — она становится все короче), состоявшая в те дни из направлений. И люди с остановившимся сердцем стояли у репродуктора, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слова (...) от слов (...)** *День за днем направления сменяли друг друга.* Люди знали, потом будет Лужское, потом...

В те дни была огромная жадность на информацию. Пять раз в день люди ждали последних известий и бросались к репродуктору, прерывая любые занятия. Они набрасывались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе к фронту, или к власти, или к источникам информации, чем они сами. И расспрашиваемый обычно не мог понять, чего от него хотят, и сердился на bestолковые вопросы. Потому что спрашивающие хотели узнать вовсе не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, как это будет.

Люди бросались на информацию, потому что они считали тогда, что все это их касается, что они будут участвовать в этом по собственной инициативе (ср. теоретическую часть). Им казалось, что репродуктор вещает им их судьбу, что их судьба в че-

* Эн [правка 1960-х годов].

** [Пропуски в тексте принадлежат автору.]

редовании направлений. Иные еще втайне надеялись, что их минет чаша сия и жадно ждали тому подтверждений. В особенности же все не знали, как это будет. Они хотели объяснений.

Это незнание было характернейшей чертой тех первых дней, когда Оттер в смертельной, доходящей до физической боли тоске часами ходил по комнате. Это неведение было странным образом смешано с долголетней подготовкой, с долголетним* внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события. И в первый же миг совершившегося события показалось, что уже ничто не может быть по-прежнему, что сейчас же, безотлагательно все совершится воочию, что нельзя уже по-прежнему пересечь улицу и зайти к знакомым поговорить об этом, что нужно куда-то катастрофически спешить. Потом оказалось, что еще очень многое происходит по-прежнему. Что еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыденными предметами. Оттер к этому привыкал с удивлением. Но его не оставляло чувство временности, неестественности, инерционности существования прежних вещей и соотношений. Когда потом, уже гораздо позднее, выключили частные телефоны (это был первый крупный удар по наивному комфорту), его знакомые ворчали. Он не спорил, но знал, что это и есть естественный ход событий**.

В те первые дни ощущение конца прежней жизни было столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, целиком сосредоточилось на развязке. В несравненно торжественную минуту сознанию не хотелось метаться, ему хотелось быть суровым и стойким. И хрупкое эгоистическое сознание не находило для этого другого способа, как сразу начать с конца и примириться с собственной гибелью. Эгоисты говорили друг другу: «Думаю, что среди всех неясных вещей самая ясная — мы погибнем». Это была легкая идея. Недели две им казалось, что это легче всего остального и что они относятся к этому спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, что это требует больше времени, чем кажется с первого взгляда. И эти же люди потом зубами, по частям вырывали свою жизнь у дистрофии.

А жадность к репродуктору и ко всему, что он мог сказать, все ослабевала и стремилась к нулю равнодушия. Чаша страданий не минула никого, и все узнали, как бывает война. Образовалась новая действительность, как всегда в таких случаях, похожая на прежнюю в большей мере, чем это ожидалось, и в то же время никогда не бывшая. В ней надо было ориентироваться по своему разумению. Объяснения оказались излишними. К тому же судьба людей решалась теперь не содержимым сообщений, но гораздо более дробными и близлежащими фактами: занятым пунктом Н, *батареей, установленной в Лигове*, прорвавшейся баржой с хлебом. Люди ориентировались в действительности, быть может, и неверно, но крайне самостоятельно.

* [На обороте почерком 60-х годов:] Каждый помнит свой первый день войны. Воскресный день. Небольшая очередь у пригородной кассы Витебского вокзала. За городом меня ждут. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг за спиной голос — как будто бы удивленный (или это не удивление). Там Молотов говорит... Он что-то такое говорит. На подъезде вокзала уже толпились люди. Падали из репродуктора слова, и каждое, независимо от его смысла, было контейнером предлежащей муки, огромной всенародной муки. Возвращаюсь домой, до боли сжимая в руке билет, купленный в пригородной кассе. Там меня не дождутся. Мелькают улицы, еще довоенные, неизменившиеся, и канувшие уже в далекое прошлое. Еще нет ни страдания, ни гложущей тоски, ни страха. Напротив того, возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни.

** [Последняя фраза зачеркнута.]

Потом интерес к изменениям действительности задавали страдания в своей ежедневно возобновляемой неизменности. Потом его стерла дистрофия. Зимой пробуждение стало включением в серию возобновляемых страданий, непрерывно <дливших>ся до нового сна.

Сейчас лето. Благосклонное нежаркое лето. Оттер проснулся. Каждый день он испытывает удивительное, еще не изжитое ощущение отсутствия страданий. Это первое впечатление дня — одно из самых лучших. Его <но>ги, его руки спокойно лежат на диване, довольно гладком и мягком. Окно открыто. Ему не холодно, не жарко. Вокруг светло, светло будет долго, всегда, сквозь всю белую ночь до бесконечности, <впер>еди ни крупницы тьмы. Ему даже не хочется есть. То есть это уже надвигается, это где-то присутствует всегда (как любовь присутствует во влюбленном, даже когда он не думает о ней). Но оно не поглощает сознание. Оттер отбрасывает простыню, подставляя светлomu, легкому, не холодному, не жаркому воздуху голое тело.

Но Оттер знает, стоит повернуться лицом к комнате и он увидит подстерегающий хаос*.

Бытовой хаос — предельная форма враждебности мира; идея внешнего мира, который непрестанно преследует человека страданиями, побуждая его к действию и противодействию (диалектика зла, являющегося в то же время источником действия и движения), заставляя его побеждать себя. Хаос (непобежденный мир) развязала война — предел социального зла в его откровенной форме.

Наряду с откровенными формами существуют бесчисленные формы и степени замаскированности социального зла (частичная победа над миром). Но по существу своему социальное зло неизбежно, как неизбежно биологическое зло. Оба они основаны на двух величайших, коренных противоречиях человеческого бытия. Биологическое зло — на противоречии между индивидуальным сознанием и смутностью (конечностью) индивида. Социальное зло на противоречии между индивидуальной и общественной природой человека. Интересы человека непременно разнесены по обоим рядам. И у человека нового времени между ними гораздо больше противоречий, чем совпадений. А между тем для человека (если он только не выродился социально) — общественные требования вовсе не являются чем-то навязанными извне. Он ощущает их как свое внутреннее требование, как выражение своей принадлежности к великой связи истории и культуры. Вне этой связи он животное, кусок мяса. Но эта связь требует от него беспредельных жертв, которые ему (человеку нового времени) приносить не хочется.

XIX век побеждал враждебный мир техникой и комфортом. Англо-американцы для духовного комфорта даже приспособили себе удобную религию (мелкое протестантское сектанство). В общественно-политической жизни буржуазия создала систему

* [На том же листе почерком 60-х годов:] Тогда гуманитарии не толковали еще об организации, информации и энтропии. Бытовое столпотворение — тарелка с окурокми, выброшенная хаосом из своих недр и приземлившаяся на футляре заглохшей пишущей машинки, пиджак на письменном столе. Почему? Потому что бессильная дрожь раздражения охватила вчера усталого человека и он не в состоянии был донести пиджак до более подходящего места. Вещи мутные, сползшие со своих мест, с размытыми границами (значит, нет у них формы). И только на прижатых к стене стеллажах в странном, мертвом порядке стоят посеревшие книги. И все же часть вещей уже вернула себе свои функции. Совсем другое было зимой.

гарантий. Весь этот комплекс оказался порочным. Во-первых, он оставляет за бортом огромные массы людей (проблема неравномерного распределения благ). Во-вторых, он не защищает против больших социальных бедствий и ввергает в них индивидуалистического человека неподготовленным и беспомощным — европейские гарантии не только не гарантировали Европу от Гитлера, но, напротив того, подготовили его успехи. В-третьих, немногочисленные победители социального хаоса, хозяев жизни (богатые и власть имущие), он сталкивает с трагедией биологического зла, которую они переживают особенно остро, будучи свободны от тех забот и вынужденных целеустремлений, которые поглощают внимание неимущих.

Социально-утопические попытки разрешения вопроса упирались в коренное противоречие социального бытия, которое не снимается никакими соображениями политической экономии. Утопическое мышление не понимало, что зло неизбежно и только заменимо, что человечество всегда получало только заменителей зла. Это вовсе не должно обескураживать человечество, ибо это могут быть очень нужные для него заменители, наиболее подходящие к данному этапу исторического процесса. Один только пример: прогрессивным людям казалось, что буржуазная семья с ее принудительностью и замкнутостью — несомненное зло. Когда же семья распалась, на ее месте оказалось вопиющее зло мимолетных браков, аборт, алиментщиц, детей от трех отцов и т.п. Зло, в первую очередь ударившее по женщине, которую раскрепощали. Семьи снова пришлось сколачивать. Из этого не следует, что нужно возвращаться к буржуазной семье (оно и невозможно). Нужно искать наилучшего заменителя зла, исторически наиболее актуального.

В недовольстве существующей действительностью много обывательски-наивного. Когда ты ропщешь на социальное зло, посмотри, не является ли оно заменителем зла, еще более смертельного. То, на что многие из нас роптали, спасло нас от страшных бедствий, сокрушивших людей, которые пользовались благами замаскированного, подслащенного социального бытия.

Если искать последовательных способов разрешения вопросов, то таким является, конечно, религия. Она не обходит зло, не пытается от него убежать (что невозможно), подобно буржуазному гедонизму, но включает его в свою систему двух миров — земного и небесного. Кроме того, она вводит фактор любви (как принципиальный), а любовь изнутри (в отличие от техники) преодолевает враждебность мира, и, в отличие от достигнутого техникой, — достигнутое любовью нельзя разрушить. Все это последовательно, но вряд ли возможно подлинное, в широких масштабах возрождение религиозного мышления (не говорю об интеллигентских упражнениях на этот счет). И, в конце концов, не нам, атеистам, его желать.

Остается новое гражданское сознание, новое спартанство, которое не отрицает неизбежность зла и несвободы. И прямо требует, чтобы

единичный человек отдал себя в распоряжение общего. Оно ищет правильной диалектики социального зла, заменителей, наиболее благоприятных для данной исторической формации.

К этому властно толкают противоречия, в которых запутался эгоистический человек. Для эгоистического, изолированного человека мир, непрестанно давящий на его волю, весь, во всех своих проявлениях враждебен. Этим эгоистический человек уподобляется дикарю. Для первобытного, дикарского мышления характерно это сознание ужаса, враждебности мира. Оно побеждается культурой, то есть связной системой ценностей и объектов любви, которые тем самым одновременно становятся предметами внутреннего мира. При распаде идеологии, обосновывающей систему ценностей, происходит то, что можно назвать вторичным одичанием культурного человека. Подобно тому как при развале быта у него появляются пещерные навыки, пещерное отношение к огню, к пище, к одежде и т.д., так у него возникает пещерный ужас перед явлениями мира. Притом перед всеми явлениями, которые сами по себе, вне их способности причинять зло и внушать ужас, равны и безразличны. И он слепо, эмпирически тычется среди безразличных враждебных явлений, отыскивая для себя лазейки наименьшего зла. Так тянется бесконечная цепь недифференцированного зла, начиная от выброшенной хаосом тарелки с окурками, кончая огромным основополагающим злом войны, которое и есть самое незамаскированное из всех, прямо о себе заявляющее зло. Впрочем, первое звено этой цепи не так далеко. Конкретные носители величайшего зла, взявшие на себя его теоретическое оправдание, стоят у ворот. И по отношению к ним у интеллигента наших дней нет ни малейших гуманистических оговорок. Читая в газете о взлетающих в воздух руках и ногах фашистов, он испытывает удовлетворение. В промежутках расположено всякое другое социальное зло. Оно одновр<менно> противоречит тому, искл<ючает> то и работает с ним заодно. Страшная диалектика безразлично-враждебных явлений, из которых выбирается наименьшее зло. Виды зла сталкиваются между собой, зажимая эгоистического человека, протягивают к нему щупальцы. Он получает повестку и понимает при этом, что даже на фронте — заменитель худшего зла, но он предпочитает, чтобы заменитель достался кому-нибудь другому. Одно из самых гибких щупальцев — упр<авление?>. Оно глубоко проникает в существование человека. Когда Оттер, спускаясь во двор с грязными ведрами, видит замок на двери д<о>м<овой> конт<оры>, он всегда испытывает успокоительное чувство. Социальное зло сейчас на замке. Ему не удастся его схватить.

Раздел <2>. Тело*

* [Заглавие раздела вписано в 60-е годы. Нумерация разделов Части I исправлена нами в соответствии с композицией рукописи] (см. с. 568).

Для эгоистического изолированного сознания в принципе враждебны все явления мира. Мир протягивает к нему щупальцы. Добираясь до человека, он выдвигает аванпосты. Ближайшим из аванпостов оказывается вдрут собственное тело человека, тоже

явление враждебного мира. Зимой тело было для Оттера непрестанной потенцией и проводником, носителем страданий. Теперь — передышка. Оно, это тело, с удобствами лежит на диване, ему не холодно, не жарко. Но от этого оно не стало приятнее, со своими новыми углами и ребрами, столь странными для склонного к полноте и боровшегося с полнотой человека. За это время произошло отчуждение тела; раздвоение между сознательной волей и телом как частью враждебного внешнего мира. Этому процессу помогло то, что оно неузнаваемо изменилось. Не только по внешнему виду. Но в нем появились не те ощущения, не свои. Оттер давно уже злился на свое тело. Он тщетно боролся с полнотой (ему советовали как лучшее средство раз в неделю выдерживать голодный день, питаясь только молоком и яблоками), с брюшком приближающегося к сорока годам человека и злился. Но то были свои ощущения, незаметно сросшиеся с сознанием. Теперь же, поднимался ли он по лестнице (с большей легкостью) или нагибался, ища калоши, или влезал в рукава пальто, ощущения были чужие, как бы испытываемые другим человеком. Отчуждение тела прогрессировало вместе с истощением. И, наконец, все странным образом раздвоилось. У него оказалось истощенное тело — оболочка из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, — и душа, воля, сознание, расположенные внутри, примерно где-то под ложечкой.

Сознание (сознательная воля) движет телом, тащит его на себе. В период наибольшего истощения все это стало совершенно ясным. Автоматизм движений, их рефлексивность, их исходная сращенность с психическими импульсами — все это исчезло. Сознательной воле пришлось все взять на себя. Оказалось, например, что телу совершенно не свойственно вертикальное положение, что в этом положении его приходится специально удерживать. Сознательная воля должна была двигать телом, тщательно следя за каждым его движением. Тело нельзя было выпускать из рук. А оно очень склонно было выскользывать из рук воли, и тогда оно падало неизвестно куда. Воля должна была поднимать его и вести от предмета к предмету. В самые худшие дни трудно было уже не только подниматься по лестнице, но нестерпимо трудно было ходить по ровному. Хуже всего было то, что автоматизм полностью исчез и каждый шаг был сознательным актом. И сознательная воля вмешивалась в такие дела, к которым она отродясь не имела отношения. Она говорила: вот я хожу, то есть это, собственно, ходит мое тело, и надо за ним хорошенько следить. Скажем, я выдвигаю вперед правую ногу, левая отходит назад, упирается на носок и сгибается в колене (как она плохо сгибается в колене!). Потом она отрывается от земли, по воздуху движется вперед, опускается, а правая в это время уже успела уйти назад. Черт ее знает! — надо проследить за тем, как она уходит назад, не то еще можно упасть. Это был претвратительный урок танцев. После этого сознательной воле осталось еще начать управлять процессами пищеварения и кровообращения.

В этом отчужденном теле совершались неожиданные и оскорбительные в своей неожиданности процессы. Например, потеря равновесия —

это не слабость, не пошатывание от слабости. Это совсем другое. Человек хочет поставить ногу на край низкого кресла, чтобы зашнуровать ботинок. В это время он, без всякой видимой причины, теряет равновесие со стуком в висках и замиранием сердца. Это тело выскользнуло из рук сознательной воли и падает, как пустой мешок, неизвестно куда.

В отчужденном теле совершается серия гнусных процессов — омертвения, почернения, распухания, перерождения органов, не похожих на старую добрую болезнь, ибо они совершаются как бы над мертвой материей. Многие из них даже незаметны для пораженного ими человека. А ведь он уже пухнет, говорят про человека, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Процессы эти не сопровождаются болью, которой жизнеспособное тело реагирует на опасность. И самое страшное в них — именно безболезненность; признак того, что они совершаются в мертвой, отчужденной от человека материи. Был период, когда у Оттера стали слегка кровоточить и пухнуть десны. Он часами с ужасом водил по ним языком и ощупывал пальцем. Особенно ночью он часами не мог оторваться от этого занятия. Он с ужасом чувствовал что-то одеревенелое и скользкое. И главное, совершенно не причиняющее и не испытывающее боли. Инеродное тело, нарост мертвой материи у себя во рту.

Наряду с протекавшими в нем гнусными процессами, тело приобретало гнусные привычки. В особенности привычку к нечистоте. Она устоялась в те месяцы, когда люди, почти все жители города, спали, не раздеваясь. Люди потеряли из виду свое тело. Оно куда-то задвинулось, ушло в глубину, замурованное одеждой. Там в глубине оно изменялось, перерождалось. Человек чувствовал, что оно становится страшным. Ему хотелось предать его забвению. По мере сил он вытеснял из сознания тот факт, что далеко за ватником, за джемпером, за фуфайкой, за валенками с обмотками у него есть голое тело. Это было нечто вроде того, о чем писал Гейне: под самой пышной шевелюрой у человека есть лысина. Тело было вытеснено из сознания, хотя оно давало о себе знать — страданиями, чесоткой, запахами. От времени до времени (редко) человек мылся, менял белье. Он обнаруживал свое тело и присматривался к нему, преодолевая ужас. Оно было чужим, каждый раз незнакомым, с новыми костями и углами, пятнистое и шершавое. Кожа была пятнистым и шершавым мешком, слишком большим — и оттого сморщенным — для своего содержимого.

Сейчас это тело — оно стало гораздо более гладким — голое спокойно лежало под простыней. Это была реакция. Каждый вечер Оттер жадно сбрасывал с себя все. Тело погружалось в воздух, жадно дышало. Это была передышка. Но воду надо было таскать со двора, прачечные не работали, у Оттера не хватало энергии восстановить гигиенические привычки. Нечистота волочилась за ним с зимы.

Вообще в жизни существовали сейчас, пересекаясь между собой, три пласта. Где-то в безвозвратном отдалении маячила та жизнь с текущей по трубам водой, со светом, зажигающимся от поворота мельчайшего ры-

чажка, с едой, которую можно не замечать, главное, с домработницей, получающей зарплату за то, что она освобождает ваши мускулы, ваш мозг... Существовала память и инерция зимы — распоясавшегося хаоса бытия... и существовала передышка. Передышка — в силу изменившейся обстановки, передышка — в силу летнего смягчения стихий — решающий момент при пещерном образе жизни. Передышка была чем-то компромиссным, нервным, проникнутым печальным сознанием временности. Пересекаются вещи и жесты, принадлежащие к разным планам. От той жизни гравюра над книжной полкой, в кресле кожаная подушечка — дружеский подарок. Зимой, в период, когда хаос в этой комнате достиг своего предела, — казалось, что подушечка и даже книжные полки — это нечто вроде Поганкиных палат¹ или развалин Колизея. Что они никогда уже не будут функционировать практически. (Вот почему не жалко было все ломать и рубить.) Потом, когда какая-то часть вещей возвращалась к своему назначению, Оттер привыкал к этому медленно и недоверчиво. Это было вроде снятых валенок. Оттер бесконечно долго не вылезал из валенок; ему как-то казалось, что валенки это уже необходимая принадлежность человека. Он дотянул до сякоти, до полной невозможности. И тогда сменил сбитые, заскорузлые валенки, которые снимал только на ночь (и то не всегда) на почти еще новые ботинки. Никто вокруг этому почему-то не удивился. Но для Оттера это было странным и важным фактом — открывшейся возможностью возвращения вещей к их первоначальному назначению. Он почти ничего не читал, но теперь уже книжные полки, всплывая над хаосом сдвинутых стульев, могли выполнить свое назначение. И совершенно из той жизни был, например, автоматический жест, которым Оттер заводил часы и осторожно клал их на столик у дивана (зимой часы его не шли — замерз механизм). Но голое тело (прежде он всегда спал в пижаме) — это было от передышки. В этом была жадность и нервность временного состояния и зимняя травма неснимаемой одежды. И зима, скрепящая жизненные планы, до сих пор преследовала это тело нечистотой.

Самое худшее в этом комплексе — вши. Вши для Оттера были принадлежностью далеких лет гражданской войны. Потом они забылись. Когда теперь Оттер увидел первое насекомое — это было внезапным ударом. Надежда на то, что это случайность, скоро рухнула. От них нельзя было отделаться. Оттер жил в нечистоте. Он приносил их с рынка, из очереди, из трамваев. Черви и пауки были омерзительны, но именно вши внушали иррациональный ужас. Их склизкая прозрачность была воплощением низшей неорганизованной материи, грозящей вновь поглотить цивилизованного человека. В них только и было, что прозрачность и пятнышко посередине. Быть может, это пятнышко было вместилищем тифозного яда или сгустком нашей крови. Во всяком случае, они состояли из прозрачности и сгустка посередине — в этом была предельная обнаженность их функции высасывания человека — больше им ничего не надо. Но хуже всего в них была неподвижность, с которой они сидели в складке рубашки, на сгибе

воротника. Они не боялись, не убегали, их нельзя было вспугнуть и они позволяли давить себя без сопротивления. Но в этом-то и был самый ужас — никакие проявления человеческой жизни их не касались. Подобно могильным червям, они были жильцами и пожирателями мертвой материи, они пользовались человеком как мертвой материей. Поэтому еще ужаснее вшей были маленькие золотистые гниды; признак того, что они располагаются, множатся, живут своей жизнью, в то же время отвратительным образом разделяя с нами нашу жизнь. Человек отправлялся на службу, думал, читал, разговаривал с друзьями, а они в это время вели в складках его тела свое параллельное гнусное существование; они плодились и размножались. Вши с их чудовищной неподвижностью и были настоящими паразитами, вгнездившимися в человека. По сравнению с ними клопы или блохи казались безобидными (когда Оттер по ночам убеждался в том, что его кусают клопы, он испытывал психологическое облегчение). Клопы в своей красной броне, скрывавшей какие-то жизненные функции их организма, вовсе не стремились к тому, чтобы стать жильцами человеческого тела. Они нападали извне и уходили, сделав свое дело. Еще в большей мере это относилось к неуловимо прыгающим блохам. Блохи были совсем нестрашные; они были даже изящные — длинноногие, в черном блестящем панцирке. А те сидели неподвижно. Но когда они ползли — это было не лучше; этим они доказывали, что они живут и что самый факт их жизни может быть отвратителен.

Можно было привыкнуть ко всему — к тасканию ведер на пятый этаж и к бомбежкам, но к этому он не привыкал. Конечно, со временем восприятие несколько притупилось. В первые разы он вспоминал ее целый день. В самые различные моменты дня вдруг приходило воспоминание о скользком прозрачном тельце, всхлипнувшем под ногтем. Потом воспоминание потеряло свою навязчивость, но в минуту обнаружения он по-прежнему замирал. Ложась в постель, Оттер жадно сбрасывал с себя все, включая рубашку, все догола; сбрасывал вместе с ними и испытывал по отношению к ним злорадное чувство. Но утром приходилось искать. Так начинался день. Он перебирал пальцами складки, швы, рубцы одежды. Сколько в ней с изнанки было всякой путаницы и неожиданных гнездилищ. Пальцы бежали вдоль складок уже привычным движением. В этом движении было нечто производственное; оно было чем-то вроде движения браковщика, проверяющего продукцию. Он искал с двойной надеждой — найти и не найти. Не найти было бы большим облегчением. Но вместе с тем он знал по зуду, мучившему его накануне вечером, что она здесь, что необходимо от нее избавиться. И кроме того, ему жалко было затрачивать время и усилия зря. Усилия должны были оправдаться. Это был уже азарт охотника. По пути попадались обманчивые узелки и пятна; он близоруко пригибался к ним, ловил пальцем, напряжение разрешалось — не то. Это было всегда облегчением, но надо было искать дальше. И вдруг она обнаруживалась с несомненностью. Неподвижно она лежала на краю складки. Он останавливал

движение, замирая. Замирая, он всегда разглядывал ее несколько мгновений. Сужасом, с необычайно острым чувством того, что сейчас произойдет акт уничтожения жизни, которая сама по себе может быть враждебной и гнусной (ничего подобного он не испытывал, если случилось раздавить клопа). И это переживание где-то вдалеке сознания ассоциировалось с войной, с уничтожением тех, которые хотят поглотить. Потом он внимательно и осторожно брал ее между двумя ногтями. И ему казалось, что прозрачное тельце хлюпает необыкновенно громко. Таков был обряд поисков, с которого начинался день.

Потом предстояло одеть голое тело. Прачечные не работали. У Оттера не хватало на это энергии и воли. Тело предстояло упрятать в грязную, просыревшую одежду (в этом сочетании грязи и холода было что-то особенно противное). Оттер берет за рубашку со следами раздавленных насекомых с чувством человека, окунающегося в холодную воду. Это надо проделать как можно скорее. Сверху пойдут оболочки, на которых грязи почти не видно. Под ними окажется противное белье, под бельем, в глубине противное тело. Все это можно будет более или менее вытеснить из сознания. Одежда накладывается на тело слоями, и по мере приближения к верхнему слою становится все более социабельной.

Оттер подходит к окну. Неизменный многолетний утренний жест. Жест утреннего возобновления связи с миром. Он видит то же, что много лет подряд в это время года. На заднем плане деревья, подымающиеся из-за решетки сквера. Отрезок прекрасной арки, трамвайное кольцо, теперь заваленное кирпичами и бревнами. Звуки трамвайного кольца зазвучали по-новому. Падающее бревно бухает, как артиллерийский разрыв, грузовые трамваи, описывая полукруг, поют, как воздушная тревога. У трамвайной остановки шебаршатся люди. Отсюда они маленькие, кургузые, торопящиеся. Они как россыпь ребят на школьной перемене. Непредставимо, что среди них могут быть пожилые (с бородой, с брюхом), могут быть профессора, врачи, на которых робко смотрят больные, ответственные работники, принимающие у себя в кабинете.

Год тому назад многолетний утренний взгляд в окно приобрел новый смысл. Он стал вопросом, обращенным к внешнему миру, и поисками ответа. Мир мог таить в эти дни все что угодно, вплоть до самого худшего, и от него хотелось как можно больше свидетельств продолжающегося течения вещей. Трамвай был подобен радио с успокоительным голосом диктора, перечисляющим радиостанции. Существовал центр, невидимо управляющий красными трамвайными вагонами. Вагоны бежали, центр работал. Трамвайные рельсы вытекали из него и впадали обратно. Своей дугой каждый вагон был прикреплен к системе, включен в систему, централизован. Вот почему каждый из них был успокоительным признаком того, что система работала. И подняв шторм, Оттер с облегчением следил, как потрепанный красный вагон, скрипя, огибает кольцо; послушный центру,

ограниченный рельсами, на привязи у дуги. Машины, напротив того, — это был бродячий неорганизованный элемент, который мог таить в себе все что угодно, вплоть до самого худшего.

Так в часы утреннего возобновления отношений — мир явственно предстал в своей двойной, диалектически-неразрывной функции — враждебной и защитной. То самое, что давило, что гнало, что отравляло и жгло, — то самое служило защитой и заменителем зла. Оно служило физической защитой и в то же время последним прибежищем и покровом в ужасе внутренней изоляции.

Таким год назад предстал мир при утреннем взгляде в окно. Потом наступил период, когда Оттер перестал смотреть и слушать. Между прочим и потому, что окна покрылись слоем льда. На несколько месяцев они ослепли.

Раздел <3>. Домашние дела*

Зимой люди в собственных обжитых квартирах боролись за жизнь, как борются погибающие полярные исследователи. Утром они просыпались в мешке или в пещере, которую они вчера устраивали из всех вещей, какие удавалось на себя навалить. В мешок уходили с головой. Просыпались в четыре часа, в пять. За ночь удавалось согреться. А вокруг в мире стоял ледяной воздух, стоял холод, который будет мучить неотступно весь день, на всех ступенях дня, во всех положениях. И все-таки люди с нетерпением ждали — собственно даже не утра, потому что утро, свет наступали гораздо позже; они ждали повода встать, приближенья к началу нового дня, к шести часам, когда открываются магазины и булочные. Это не означало, что человек к шести часам уже отправлялся в булочную. Напротив того, многие старались искусственно (сколько хватало сил) оттянуть момент получения хлеба. Но шесть часов было успокоительным рубежом, приносящим сознание новых возможностей, утишавшим ночную голодную тоску. В своем роде это был даже лучший момент — хлеб оставался еще весь впереди. И в то же время (с шести часов) он был уже достижимой реальностью сегодняшнего дня. Так велико было голодное нетерпение, что оно пересиливало страх холода. Оно гнало людей из обогретой дыханием пещеры на мороз собственной комнаты. Оттер вставал легко — гораздо легче, чем он вставал в первом часу, в той

жизни, когда его ждала яичница, о которой он вовсе не думал. Встать было нетрудно еще потому, что переход упростился. Не надо было что-то снимать с себя, надевать что-то холодное, в промежутке сидеть голышом — люди спали одетые.

Достаточно было вылезти из мешка, как можно быстрее сунуть ноги в валенки, которые тоже были своего рода мешком.

Оттер выходил колоть дрова на черную лестницу, когда ночь едва начинала рассеиваться, и в разбитом окне стены соседнего флигеля еще не желтели, а темнели. Колоть приходилось вслепую. Он ощупывал полено, осторожным движением вдальбли-

* [В начале раздела записан план, вероятно, ненаписанных первых абзацев:] (Соотношения с миром восстановлены. Начинается рабочий день. День начинается борьбой с хаосом за жизнь. Надо сделать домашние дела, все тяжелое, что не может сделать тетка.)

вал в него косо поставленный топор, потом уже ударял. Очень плохо получилось с руками. Пальцы скрючивались и застывали в какой-нибудь совершенно случайной позе. Вернуть их к жизни было уже невозможно. Рука теряла свои хватательные движения. Теперь ей можно было пользоваться только как лапой, как культяпкой, как негибким, палкообразным орудием. Этими руками он нашаривал в темноте и сгребал рассыпавшиеся по каменной площадке щепки, зажимал кучку щепок между двумя культяпками и бросал в корзину.

Потом надо было принести воду из замерзшего подвала. Ступеньки покрылись ледяным настилом. И по этому скату люди спускались, приседая на корточки. И поднимались обратно, двумя руками переставляя перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины. Это было подобно высокогорному восхождению.

Каждая вещь враждовала и сопротивлялась, и сопротивление каждой вещи нужно было преодолевать собственной волей и собственным истощенным телом без промежуточных технических приспособлений. С пустыми ведрами Оттер спускался по лестнице, и в окнах перед ним лежало длинное суживающее пространство двора, которое ему придется одолеть с полными ведрами. И в худшие дни зимы, в дни наибольшей слабости эта внезапная ощутимость пространства, его физическая реализованность вызывали тоску. В дурные дни он с ведрами страшно медленно поднимался по лестнице. Странно — эта вода (вообще странно, что прозрачная, быстротекущая вода тяжела как камень), которая камнем повисла на его руках, на плечах, на мускулах живота и с силой вдавливая его в землю; что эта вода, оставляя за собой этажи, легко взбегает по водопроводным трубам. Водопровод — человеческая техника, связь вещей, покоряющая разнuzданный хаос, священная организация, централизация. Это опять к человеку повернутое дружеское лицо двуликого мира. Но техника — это связь вещей, это — общее. И мир, дарующий человеку технику, взамен требует, чтобы человек личным пожертвовал общему. За воду, бегущую по трубам, за свет, зажигающийся от поворота маленького рычажка, — мир требует жертв, вплоть до жертвы жизнью.

Оттер с полными ведрами отдыхает на нижних ступеньках. Он закинул голову и мерит предстоящую ему высоту. Над ним далеко потолок с какой-то гипсовой блямбой. Блямба приходится как раз посередине прямоугольного висящего зигзага лестницы. Оказывается — лестницы действительно висят в воздухе (если взглянуть, это даже выглядит небезопасно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом. Закинув голову, Оттер измеряет свободно вздымающееся внутрিলестничное пространство, сквозь которое ему предстоит собственной волей, собственным телом пронести давящую как камень воду, которое предстоит одолеть обходом, зигзагом лестницы, с полными ведрами.

В течение дня предстоит еще много разных пространств. В первую очередь пространство, отделяющее его от обеда. Он побежит за обедом

по морозу сквозь издевательски красивый город в хрустящем инее. И рядом и мимо и навстречу бегут или тащатся (среднего нет) люди с портфелями, с авоськами, с судками, покачивающимися на концах палкообразных рук. Люди бегут по морозу, одолевая пространство, которое стало вещественным, физически ощутимым. Наиболее интеллигентные из них вспоминают при этом Дантов Ад, тот круг Дантова Ада, где царствует холод.

В столовой, в привилегированной столовой, холодно до того, что пальцы остаются скрюченными, и ложку приходится зажимать между большим пальцем и сморщенной (вместе) культяпкой. Но дело не в этом, дело в том, что обед (тарелка супа и столько-то грамм каши) чудовищно гипертрофировался. Людей спрашивают — что вы делаете? — И они отвечают — обедаем. Обед — это тоже преодоление пространств, притом малых пространств, сгущенных очередью (тягучее мучительно заторможенное преодоление). Была очередь перед дверью, очередь у контролера, очередь у места за столиком, ожидание подавальщицы. Кроме того, был период многочасовых дневных тревог, когда приходилось по дороге отсиживаться в подвалах или пробиваться к обеду сквозь пальбу зениток и свистки милиционеров. И люди отправлялись обедать к 11 часам утра (это было обычно еще спокойное время), освобождались они в шесть — в семь. Оттер отправлялся домой, унося половину своего обеда для тетки. Дома было абсолютно холодно и абсолютно темно. Они зажигали времянку, и при свете дымящей времянки передвигались по комнате, переливали суп из банки в кастрюльку, разрезали на ломтики сорок грамм хлеба. Потом Оттер придвигался как можно ближе к открытой дымящей и пламенеющей дверце и грел руки. И пока не кончался дневной запас щепок, его ничем нельзя было оторвать от этого наслаждения. За спиной, за плечами в комнате бушевал холод, стояла тьма. Только у самой дверцы очерчен был маленький круг тепла и света. Круг жизни. Согреть в сущности можно было только выставленные вперед ладони. Жизнь сосредоточивалась теперь в ладонях. Ладони представлялись теперь за все измученное тело. Ладони наслаждались; они вбирали в себя пробегающий по ним жар. Это было безмерное наслаждение, впрочем, отравленное тем, что дневной запас щепок неукоснительно иссякал.

Как воля и тело могли это вынести? Какими усилиями проталкивал себя человек от одного мучительного действия к другому? И Оттер — некогда столь ленивый в быту (ему казалось невозможной затратой времени и энергии проехать четыре трамвайных остановки, чтобы пообедать; он предпочитал купить ветчины за углом, если только за ней не стояла очередь из трех человек) — теперь мог ответить: без особых моральных усилий. Были, правда, мгновения безмерной, сокрушающей усталости, вернее, мгновения, когда усталость вдруг доходила до сознания. Но в общем действовали столь могущественные и необходимые импульсы, не вызывающие внутреннего сопротивления. Ибо каждое страдание — вроде пробега с судками по морозу, вроде подъема с полными ведрами по лестнице, —

было избавлением от худшего страдания, заменителем зла. Утопающему, который барахтается, — не лень барахтаться, не трудно барахтаться, не неприятно барахтаться. Это то непрестанное вытеснение страдания страданием, та безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет (явление плохо понятное для гладкого человека), почему люди могут жить в одиночном заключении, на каторге, на последних ступенях безработицы и нищеты, тогда как люди в комфортабельнейших коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимой причины. Страдание непрестанно стремится с помощью другого, замещающего страдания отделаться от самого себя. Цели, интересы, импульсы страдания порождают круг закрепившихся жестов, непрестанно возобновляемых и вовсе не тягостных для воли. Но воля бесстрашно разорвать этот круг, чтобы ввести в него новый, не закрепленный, не предрешенный страданием жест. Так сложился круг зимнего дня. И это движение, вращательное и нерасторжимое, еще продолжается, понемногу закруживая. Люди носят в себе это вращательное движение как травму.

Вот почему сейчас, в период передышки, когда импульсы страдания не так могущественны и принудительны, — для занятий домашними делами требуется больше моральных усилий. Впрочем, и теперь человека легко поднимает с постели, побуждает скорее начать день мысль о предстоящей еде. Все равно — реальный ли это голод или страх испытать голод — вечный страх перед возможностью испытать голод — тяжелая психическая травма зимы.

Да и теперь домашние дела полны глубокого жизненного интереса. Самые грязные и трудные из них (эти в особенности) — борьба с хаосом за жизнь, за сохранение тела и ума. Теперь это борьба без барахтанья. Уже не надо делать первые попавшиеся судорожные движения, вслепую отыскивая крупицу еды, тепла, света. Поэтому теперь стоит проблема рационализации быта. Подчинения дикого быта великому социальному началу организации. Проблема рационализации и режима.

Оттер всю жизнь мечтал о режиме, потому что он был ленив и склонен к бытовой распушенности, и это всю жизнь мешало ему сделать то, что он хотел сделать. Порядок помогал, и он любил порядок, чистоту, четкость, создаваемые чужими руками, — потому что он был физически ленив и слишком сосредоточен на своем умственном деле. Он придумывал себе режим, и режим никогда не удавался. Мешала болтовня с окружающими, припадки подавленности и лени, позднее вставание. От одного позднего вставания весь режим уже к черту обрушивался. Оттер вставал после двенадцати, и все уже начиналось с сознания, что у него нет утра, что уже непоправимо нарушено, испорчено прекрасное переживание полноты, непочтотности предстоящего дня, что уже нужно спешить — собственно, неизвестно куда. Все уже все равно было испорчено, и потому он с облегчением выпускал себя из рук, и дальше все уже шло как попало.

И вот произошло нечто удивительное — в диком быту стал сам собой прорезываться и складываться режим. Вернее, это было естественное,

единственно осуществимое распределение времени, вытекавшее из крайней принудительности всех импульсов и крайней тесноты возможностей. Причинно-следственная связь была грубо обнажена, и все причины и следствия сцеплены между собой в нерасторжимую цепь. Он просыпался в шесть часов, потому что жизнь всего города прекращалась рано, и он соответственно рано ложился. Он сразу вставал, потому что ему хотелось есть, или он боялся, что ему захочется есть. Он делал с утра домашние дела, потому что их невозможно было не сделать или отложить — это привело бы к физической гибели. Потом он завтракал — это не нуждалось в мотивировке. Потом он отправлялся на службу, поскольку (теперь) он состоял на службе. В определенный час он шел в свою столовую, потому что никоим образом нельзя было пропустить обед, получаемый без выреза талонов. После обеда он заходил домой, чтобы снести обед тетке, — иначе тетка целый день сидела бы голодная. Потом он шел опять на работу, потому что его служебный день не кончился. По окончании служебного дня он возвращался домой, потому что ему хотелось есть, да и идти было больше некуда (друзья и знакомые разъехались). Он ужинал и сразу ложился, потому что вставал в шесть часов, и в десять ему хотелось спать.

Это было несокрушимым и точным распределением времени, но Оттер понимал, что это не было еще режимом, а только мертвой схемой режима. Ибо режим — это вещь телеологическая и служебная, существующая только ради чего-то высшего, чем она сама, — ради восстановления сил человека, ради повышения производительности труда и проч. Оттер понимал, что для этого дурного и оскорбительного уклада дня, определяемого тремя этапами еды (завтрак, обед, ужин), пора уже и возможно уже нащупать телеологию, принцип иерархического подчинения. Оттер сам не был чужд распространенной дистрофической телеологии восстановления сил, мотивировавшей всякое свинство и в особенности тотальное подчинение времени трем этапам еды. Но он уже говорит себе — для чего восстанавливать силы. Разве что для того, чтобы все-таки сделать творческое дело, которое, кажется, все-таки осталось за мной. Во всяком случае необходимо проверить, оставлено ли оно за мной, ни коим образом не уклоняясь под предлогом мировой катастрофы.

И тогда получится удивительная вещь — рационально использованная крайняя несвобода может стать режимом, средством внутреннего разгромождения и высвобождения. Ведь от очень многого мы освободились — от всяческой суеты и болтовни, от множества эрзацев и мистификаций, от эротического препровождения времени, от требований вторых и третьих профессий, от жальщего тщеславия, которое нас гнало туда, где нам вовсе не следовало быть, но где преуспевали наши друзья и сверстники, и это нам не давало покоя. Мы, потерявшие столько времени, — выиграли время. Но мы выиграли несвободное время. Несвободу надо рационализировать.

Пока что рационализация несвободы отнюдь еще не осуществилась. Пока это еще мечтание лучших утренних часов; в лучшем случае глу-

хая потенция. Но эту глухую возможность Оттер уже начинает осязать в бессмысленно возобновляемом вращательном движении дистрофической жизни. Он знает уже, что для этого нужно одно — мучительным усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то в одном месте раздвинуть круг и втиснуть в него новые поступки. Где-то, скажем, после домашних дел и завтрака должен быть час-полтора (больше ему пока не отдаст вращательное движение), час на то, чтобы писать. Снова писать о становлении и крахе индивидуалистического сознания. И тогда живут и потянутся к этому часу все другие частицы дня, располагаясь вокруг него иерархически. Это мечтание, но, быть может, тогда, в ходе домашних дел, вынося грязные ведра или прочищая буржуйку, можно будет обдумывать подлежащее написанию. Еще лучше это получается на ходу, во время хождения в булочную или за обедом — вообще предобеденная подъемная половина дня может быть употреблена на это. Оттер хорошо думает на ходу, поэтому очереди, ожидания трамвая, ожидание в столовой лучше употреблять на низшую служебную работу, имея при себе нужные книги и рукописи, вместо того чтобы проводить эти ожидания в праздном и мучительном возбуждении нервов. Работу на учреждение лучше сосредоточить во второй половине дня, когда упадок воли и приливы тоски делают его неспособным к настоящей работе; когда болтовня сослуживцев, смешанная с механической умственной работой, — успокоительны. И тогда эти часы хорошо станут на свое место. Но двойная работа невозможна без отдыха, и отдыхом и развлечением будут служить этапы еды с их особым поглощающим вниманием интересом.

Дела бытовые, но не домашние (квартплата, зубной порошок, телеграмма), — в часы после захода домой и на вторичном пути в учреждение. В эти часы они ни во что не врезаются, не создают досадного торможения. Он не спешит непосредственно к еде и все равно не способен к интеллектуальной работе. Он только всего придет на час позже в учреждение, и уйдет часом позже, оттягивая ужин. Так что и это все может удачно уложиться*.

Единственный час в день иерархически покорит ускользающее время. Зарабатывать и добывать пищу, чтобы восстанавливать силы. Восстанавливать силы, чтобы час в день писать о крахе индивидуалистического сознания.

Ему скажут — кому это нужно сейчас писать? — Неправильный разговор. Это эмоциональный разговор. Вроде того, что на месте трамвайной катастрофы при виде кровавой рвани и разбрызганного мозга человек говорит — прекратим трамвайное сообщение.

То, что сейчас совершается, началось не сейчас, оно сейчас только реализовалось. Наша жизнь была подготовкой и ожиданием. Мы знали, что она будет, что она уничтожит и замучает миллионы и каждого из нас поставит на край гибели. И все, что мы начинали тогда, уже должно было быть проверено в этом свете. Что многие и многие отдельные начинания будут бесплодны, что все, что сделает Оттер, может быть

* [Абзац вписан на полях.]

бесплодно — это несомненно. Но это не основание для прекращения ответственного труда. Ибо мы не знаем, <ни> из чего образуется культура ближайшего будущего, ни какие слагаемые и в какой непредвидимой переработке войдут в формулу нового сознания. По-настоящему возможны только две вещи — либо идти на фронт бить немцев, либо делать свое дело. Прочее же — это разговор дистрофический или просто лукавый, прикрывающий чувством мировой катастрофы душевную лень или слабость творческих импульсов, как прежде их прикрывали ссылками на цензурный режим. И это дело будет непременно, хотя, может быть, и не прямо касаться войны и соотноситься с войной, хотя бы оно было начато и задумано десять лет тому назад. Ибо человек, десять лет тому назад задумавший нечто не имеющее отношения, — тем самым вышел из истории и не о нем будет речь, когда дойдет до новой формулы сознания. Но становление и крах индивидуалистического сознания имеют к этому отношение, хотя все, что сделает Оттер лично, и может оказаться вполне бесплодным. Пока что час в день имеет право на существование.

И когда он дорвется до этого часа — ему покажется мало. Он начнет мучиться и перебирать все часы вращающегося дня, чтобы урвать там еще полчаса, там двадцать минут. Он будет беситься и страдать от помехи, как человек, которого прервали во время полового акта. И когда к нему вернется жадность к времени, чувство потерянного времени, когда ему покажется, что простоять сорок минут в очереди за кофе, подслащенным сахарином, слишком много, — это будет началом выздоровления, концом дистрофического периода.

Пока это только мечтание. И пока речь идет только об облегчении быта, о рационализации домашних трудовых процессов. Они исполнены первостепенного жизненного интереса и заслуживают размышлений. Оттер ищет для них автоматизацию движения. Каждый трудовой процесс имеет свою автоматизацию — тот минимальный и наиболее экономный иррационально соотношенный комплекс движений, который определяется сущностью данного процесса. Внезапно найденный автоматизм движения сопровождается не только чувством физического облегчения, но чувством особого наслаждения. Это правильно разрешенная задача, и правильность решения переживается одновременно мускульно и интеллектуально. Оттеру теперь все чаще удастся поймать правильное движение. Движение человека, поднимающего ведро, или переставляющего кастрюлю на плитке, или пилящего доску ручной пилой. Пилка в особенности безошибочно проверяет правильность движения, потому что всякая ошибка создает сразу невыносимые затруднения. Надо найти ровное без нажима движение, и тогда пила, заедавшая, мучительно цеплявшаяся каждым зубцом, — обретает легкое механическое движение. Зубцы сливаются между собой; она движется назад и вперед как механизм, и кажется — не вы ведете ее, но она ведет за собой вашу не делающую усилий руку. И верный ход пилы, как ход всех механизмов,

подтверждается верным звуком — ровным, широким и шипящим звуком пилки. Тогда Оттер вдруг замечает свою позу и ощущает, что это верная поза пилящего ручной пилой человека. Что он именно так согнулся, оперся левой рукой, выставил одну ногу, согнул другую в колене, — как он это видел на картинах, в кино, в быту. Что эта поза есть единственно верное выражение, телесная проекция процесса — и потому она дает чувство удовлетворения. Это же удовлетворение он испытывает, когда ему удастся верным, самым экономным движением поднять и понести полные ведра. Он чувствует, как наливаются тяжестью исхудавшие руки, как пружинит под рубашкой спина. Но в этой напряженной спине, в туго перетянном поясе и засученных рукавах рубашки есть что-то молодое и мужественное, давно не испытанное человеком, который начинал уже лысеть и тучнеть.

Утром обязательно нужно наколоть мелких дровешек для времянки. И когда топор не долбит, а стремительно падает и попадает в какое-то самое верное место, и полено неожиданно легко и сухо раскладывается пополам — это приятно. Неприятно только, когда рубишь мебель, видеть под топором знакомые ручки, резьбу, металлические нашлепки, узнавать форму ножики или дверцы. Оттер предпочитает поскорее с этим покончить. Это вроде того, как хозяйка, распорядившись зарезать выросшую в доме курицу, предпочитает съесть ее в виде котлет: ей неприятна форма, сохранившаяся форма крылышек, ножек.

Потом обязательно нужно вынести нечистоты. Это дело жизненной важности и необходимости, и потому Оттер относится к нему без особого отвращения. Он только несколько подтягивает нервы, как бы устанавливая заслон между собой и вонючим ведром. Жителям этого дома полагается выливать нечистоты в Фонтанку. Это первый за день выход на улицу, и в нем есть своя прелесть. Это выход из комнаты, окруженной зияющей пустотой заброшенной квартиры, из комнаты, в которой царят хаос и изоляция. Это подтверждение тому, что за пределами развалившейся, затерявшейся в одиночестве комнаты существует настоящее объективное бытие, и теперь в ранний утренний час оно прекрасно. Нынешним летом в городе мало людей и почти нет завод<ов>, и ленинградский воздух по-новому чист. Оттер видит прекрасную колоннаду — облезлую, запущенную, сквозящую разбитыми и залепленными окнами, но прекрасную. Он видит прекрасный изгиб набережной и решетку, за которой слипшаяся от нечистот, потерявшая цвет и текучесть вода. Справа мостик с четырьмя крылатыми грифами, и каждый день в этот час золотые крылья грифов великолепно горят на солнце. Классический ленинградский пейзаж. Но у Оттера совсем другие ощущения — до странного сельские. От непривычки летом оставаться в городе, от чистого, не по-городскому, воздуха, от пустоты и тишины, оттого, что в двух шагах от Невского он вышел на улицу с ведрами, с распахнутым воротом, в туфлях на босу ногу. Это упрощенность жизни — социальная и физиологическая, потому что сейчас лето и выход на улицу незаметен и прост. Это передышка.

Оттер с усилием за ручку приподымает ведро над решеткой. Он выдвигает внутренний заслон между собой и тем, что он делает, и, придерживая пальцами нижний край ведра, быстро опрокидывает все в воду. Чувство облегчения от опорожненного наконец поганого ведра сливается с минутной легкостью жизни. Ветер прошелся по волосам. Оттер вдруг вспоминает деревенскую улицу, яблони и как он, ступая в пыли босыми ногами, осторожно, чтоб не расплескать, в глиняном кувшине несет молоко. Он помнит одновременность этих ощущений — босые ноги в нежной дорожной пыли и ладони на разогретой солнцем глине.

Он больше всего любил эти прекрасные контексты природы для текущих бытовых дел. Не специальную природу для любования, но природу вечно присутствующую и постоянно участвующую в любых начинаниях человека. Утром он бегал умываться на речку, и ему особенно нравилось, стоя по щиколотку в воде, чистить зубы. Он тер щеткой зубы, а по воде бежал солнечный свет и на другом берегу вздымалась и шумела листва.

Раздел <4>. Первое сопр<икосновение> с городом и едой*

Потом в точно установившемся порядке следует выход в булочную или в магазин, если есть выдача. Оттер берет портфель, в который запрятана авоська, и надевает через плечо сумку от противогаза. В этом жесте — нечто экскурсионное и спортивное. В нем таится еще та мгновенная легкость жизни, которую он испытал, опорожня в Фонтанку поганые ведра.

Проходят трамваи, люди идут на работу и в магазин. Но город все-таки очень тихий и очень прибранный. В свете еще невысокого солнца безукоризненно лоснится асфальт. Хорошо, правильно, что город щеголяет прибранностью и белыми перчатками милиционера, когда по сторонам улицы стоят разбомбленные дома. Это продолжается и возвращается социальная связь. Каждодневные маршруты Оттера проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мейерхольдовскую конструкцию. Разрезы маленьких разноцветных комнат с сохранившейся круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с сохранившейся дверью, иногда приоткрытой. Эти аккуратные двери, никуда не ведущие, — странная, страшная бутафория. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что в самом деле у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди. Он, конечно, знает об этом, он слышит, как над его головой передвигают мебель и колют дрова. Но это одна из трудно представимых вещей. Каждому кажется, что пол его комнаты стоит (не висит), что это почва, перекрытая досками земля. Но тут истина обнаружилась с тошнотворной, головокружительной ясностью. Есть дома сквозные с сохранившимся фасадом, просвечивающим развороченной темнотой и глубиной, а в пустые оконные выбоины высоких этажей видно небо. Есть

* [Заглавие раздела вписано в 60-е годы.]

дома, особенно небольшие, с раскрошенной крышей, из-под которой обрушились балки и доски. Они косо нависли, и кажется — они все еще рушатся, вечно рушатся, как водопад.

К домам появилось новое отношение. У Оттера отношение это появилось в то первое утро.

К домам появилось новое отношение. Люди стали говорить о домах, думать о домах. Воспринимаемой единицей города стал дом, тогда как прежде единицей была улица, сливающаяся из недифференцированных фасадов. Невнимательные люди увидели вдруг, из чего складывается их город. Он сложился из отдельных участков сплошной, поразительной ленинградской красоты, из законченных комбинаций красоты и просто из улиц с преобладанием домов второй половины XIX века, с небольшой только примесью предреволюционного модерна и коробок первых лет революции. Прекрасны были улицы в их просторной и прямой планировке, но дома, напротив того, были очень некрасивы. Дрянная архитектура второй половины прошлого века с отсутствием линий и плоскостей, с ее боязнью гладкой поверхности и незаполненного пространства, побуждавшей ее забивать каждое свободное место какой-нибудь оштукатуренной бессмыслицей. Теперь же мы увидели эти дома. Мы увидели их облезлыми и облупленными, стоящими в сырых и ржавых потеках дурной окраски. В тяжелые осенние дни казалось, что эта ржавчина и промозглость проступает у них изнутри. Они не обещали ничего доброго.

К домам появилось новое отношение, притом диалектическое. Эта военная диалектика определялась тем, что каждый дом был теперь защитой и угрозой. Люди считали этажи, и это был двойной счет — сколько этажей будет их защищать и сколько будет на них обрушиваться. Мы увидели объемы, пропорции, материалы домов — прежде совершенно неосязаемые. Восприятие дома стало аналитическим. Сквозь слитную оболочку вещи проступил ее чертеж. Она распалась на секторы, прежде совершенно неосязаемые. Мы восприняли в отдельности своды, перекрытия, лестничные клетки (термин «лестничная клетка» — особенно пошел в ход). Лестничная клетка, вместо «лестница», — это звучало специально и жутковато. Спускаясь по черным лестницам своих жилищ, люди присматривались к никогда не замеченным выступам или захламленным сводикам. Теперь это были укрытия. Возникали расчеты — лучше ли в случае чего прислониться к правой или к левой стенке этого сводика. Иногда они пытались конкретно представить себе непредставимое и невероподобное, что все это действительно может в мгновение обрушиться, эти выступы и ступени, действительно висящие в высоте, обрушатся на голову, на грудь. Лестничная клетка раздавила грудную клетку. Грудная клетка — это тоже звучало специально и жутковато.

Если восприятие дома стало аналитическим, то восприятие города стало скорее синтетическим. Город теперь не ряд случайных и мгновенных комбинаций улиц, домов и автобусов, не вырванные участки прекрасных

невских перспектив. Город — синтетическая реальность. Это — он, город, который сопротивляется, борется, страдает, не подпускает врага. И эта высокая идея, это общее понятие — предметно реализованы. Мы ощущаем город как с воздушного полета, как на карте. Это предметное целое, очерченное границей (как на чертеже), отграничивающей его от враждебного мира. Границу смыкают заставы; границу расчлняют ворота. У города есть ворота, как у каждого человеческого жилья. К воротам рвется враг. Но заставы и ворота не подпускают врага.

Мы снова постигли незнакомую современному человеку реальность городских расстояний, стертую трамваями и такси. И город тогда ясно, как на чертеже, расчленился на районы. Потому что зимой, без трамваев, без телефонов, знакомые между собой люди с Васильевского, с Выборгской, с Петроградской, с Континента жили, месяцами не встречаясь, и умирали совершенно незаметно друг для друга.

Районы приобрели новый военный характер. Были районы обстреливаемые, излюбленные для налетов. Иногда переправиться через мост на Васильевский означало вступить в зону совершенно иных возможностей. Были районы, расположенные ближе к границе и готовившиеся принять штурм. Так, расстояние в час ходьбы наполнялось огромным значением. Реки города стали военным фактом, мосты через реки с установленными на них зенитками стали военным фактом. Реки расчлняли районы с их особыми качествами. Они были возможной границей. И можно было представить себе войну по районам и между районами.

С самой осени город стал обрастать непривычными чертами и деталями. Среди отстоявшейся, литературно разработанной городской символики эти черты были странными и сбивающими с толку. Прежде всего появились крестообразные наклейки на стеклах. Кое-кто выкладывал их довольно замысловатым узором. Так или иначе ряды проклеенных стекол прокладывались в узор. В солнечную погоду это выглядело весело. Вроде вырезных фестонов, которыми украшаются зажиточные деревенские избы. Издали, в солнечный день это выглядело весело. Но если в дурную погоду вы вглядывались в наклейки низко расположенных окон — все вдруг менялось. Вы видели желтизну просыревшей бумаги, пятна клейстера, проступающий грязью газетный шрифт, неровно обрезанные края. Это было вовсе не весело. Здесь напрашивалась символика смерти и разрушения, которая только не успела отстояться, не успела прикрепиться к крестообразным бумажкам.

Потом в городе стали заколачивать витрины и окна. Одни заколачивали потому, что они вылетели, другие для того, чтобы они не вылетели. Иногда это были свежие, почти белые фанерные листы, которые сами по себе тоже выглядели весело, иногда корявые, очень мрачные доски. У заколоченных окон есть свое прочно установившееся значение — это символика опустелого, покинутого хозяевами жилища. Но в те месяцы мы знали, что жилища не опустели, что каждый дом туго набит частицей захваченно-

го кольцом шестимиллионного населения. И тогда этот знак приобрел ужасное обратное значение. Он становился знаком заживо погребенных. Он ассоциировался с погребальной символикой досок, с замурованностью подвалов, рушащихся и придавливающих собой человека.

В городе стояла однообразная пестрота подробностей, в отдельности выразительных и несходных, но сведенных воедино. Из промозглых стен выступали окна — заделанные свежей фанерой, забитые корявыми досками, заклеенные бумагой — синей, цветной, газетной, заложённые кирпичами. Иногда одно и то же окно — в разных своих квадратиках — совмещало и бумагу, и кирпичи, и фанеру. Значения колебались и путались; в глубине сознания складывались и, не успев оформиться, опять расплывались тягостные ассоциации. — Потом это стало все равно. Окна покрылись льдом. Люди на улице не смотрели уже на дома; они смотрели себе под ноги, потому что улица покрылась льдом, и они боялись упасть от скользкости и от слабости. В особенности они боялись упасть с наполненными супом судками.

Наклейки на стеклах и забитые окна остались позади. Люди перескочили через это и пошли дальше, как перескочили, например, через затемнение. В 39-м году затемнение было генеральной темой².

Все это наша зима оставила позади. Никто не замечал затемнения. Света не было, на улицу поздно нельзя было, да и незачем было выходить. На улице, даже ночью, было не так темно, не так страшно, как дома. Трамваи же (пока они шли) были просто прибежищем. Там был свет, пусть синий³, но свет, были люди, успевшие надышать немного тепла, там деловито огрызалась кондукторша, рассеивая иррациональные состояния души. Это была уютная вещь, освещенный синими лампочками вагон. И человек сразу успокаивался, нырнув туда после тяжелого ожидания на холодной пустынной остановке.

Так по пути многое отпадало, и бедствия становились нечувствительными. Осталось самое главное — 125 грамм, вода из невольской проруби, холод, который не отпускал никогда, ни во сне, ни во время еды, ни во время работы; тьма, которая наступала среди дня и рассеивалась поздним утром; трупы в подворотнях, трупы на саночках, туго запеленутые, вытянутые и тонкие, похожие больше на мумию, чем на нормальный человеческий труп. Остался всепоглощающий звук тревоги. Он наступал аккуратно в определенный час — разный для разных периодов осени — с отклонениями обычно в пределах получаса. Но, как это бывает, как раз в этот момент человек о нем не думал. Забыв ожидание звука, он спешил до тревоги разогреть на буржуйке чайник. И звук внезапно отрывался от диска громкоговорителя и заполнял квартиру. Тогда начиналась процедура бомбоубежища.

У людей, не втянутых в действие, день тогда складывался из двух основных моментов: днем — обед, вечером — отсиживание в подвале. Иногда обед затягивался так поздно, что моменты эти почти соприкасались. В разные периоды тревоги бывали разной продолжительности, частоты,

интенсивности, но процедура была однообразна. Она стала привычной, ритуальной. Люди надевали калоши, пальто. Им хотелось выпить чаю и не хотелось спускаться в холодный подвал. Они прислушивались — не будет ли тихой тревоги. Зенитки били чаще и громче. Тогда люди спускались, в темноте ощупывая знакомую лестницу. В подвале у многих были постоянные места, там встречали знакомых, разговаривали, дремали, иногда читали, если можно было подобрать к лампочке; выходили к дверям покурить; ежедневно переживали радость облегчения отбоя. После отбоя начинали рассчитывать — стоит ли подниматься сейчас или переждать следующую тревогу (в разные периоды были разные данные для расчетов), наконец, поднимались, иногда спускались опять; поднимались окончательно, пили остывший чай и ложились не раздеваясь. В абсолютной повторяемости, в ритуальности процедуры было уже нечто успокоительное. В последовательность моментов входило нервное тиканье громкоговорителя, отыскивание калош в темноте, дремотная сырость подвала, папироса, выкуренная у выхода, медленное возвращение домой (чем медленнее — тем лучше, на случай повторения сигнала). Но попадание, катастрофа, рушащиеся своды и кровавая каша — не входили в этот опыт и потому казались маловероятными. Ритуал начинался звуком, срывающимся с диска, и кончался возвращением домой. Вот почему уже на лестнице (вопреки всякой логике) успокаивались нервы, это было вступлением в процедуру, благополучный конец которой был проверен на опыте. Утром Оттер узнавал о ночных событиях (это все ближе, все равно <успеть?> невозможно). Он видел раскромсанные дома, дико раскромсанное существование человека — содрогаясь от омерзения перед имевшим здесь место гнусным актом. Но вечером процедура вступала в свои права.

Бывало так, что это начиналось не сразу, что тянулись тихие часы в подвале. Тогда казалось, что это уже невозможно, что больше уже не будет. И вдруг возникал круглый звук и глубокое содрогание земли. Собственно это был только удар, от которого под ногами содрогалась земля, круглый и тянущий кверху. Но он вместе с тем всегда казался звуком. Люди в подвале подымали голову, чтобы взглянуть друг на друга. «Положил», — говорил кто-нибудь. И мужчины вяло обсуждали — где и какого веса. Нет, значит это не невозможно, значит оно будет еще и еще. И всегда для Оттера это было странным переживанием временного сдвига, опрокинутого времени. Неуследимо короткого настоящего, которое для сидящих здесь стало прошлым, прежде чем дойти до сознания; в обратном порядке воспринятой опасностью. А там для кого-то это неуследимое мгновение уже заполнилось огромным и ужасающим содержанием, уже стало концом всего или началом страданий.

Так вот что это такое — смесь праздности с непрерывностью бессмысленных действий, вытекающих из непрерывности страдания. И скука. Люди думали, что это будет еще более страшно, но не знали, что это будет так скучно. Глубину своей скуки люди не понимали; и для этого не было времени. И только в редкие, томительные мгновения случайных остановок раз заведенного движения — скука вдруг разверзалась перед ними. Ги-

пертрофированный обед, ритуальная процедура бомбоубежища. Предел несвободы и отрицания ценности человека. Такая участь постигла всех уклонившихся и оставшихся вне основного действия. Преодолеть это можно было только участием в войне.

Утром выход за покупками*

В магазине — он же торгует хлебом, и даже висит на дверях плакат: Магазин торгует хлебом, — что довольно смешно — не старается ли магазин зазвать покупателей — в магазине пусто и тихо. Продавщицы в белых спеццовках, на полках лежит бутафория, раздражающая покупателей, вернее, прикрепленных, а на прилавках расставлены невыкупленные еще нормированные продукты, которые нельзя купить.

Спокойный, прибранный вид магазина скрывает подоплеку голода, противоречит трагической сущности того, что здесь совершалось в течение долгих месяцев. Это подобно холодной и жесткой прибранности хороших больниц. Больница спасает человеку здоровье и жизнь, но она возбуждает в нем злбу и страх бесстрастным, неумолимым действием своего механизма. И человек, холодея от белых коридоров, от белых халатов, от щемящего сердце запаха, от страшных металлических штук под стеклом, переносит свою злбу с болезни на то, что его от болезни спасает.

Магазин с его жестокими и благотворными законами, с его неумолимым отказом принять отрезанный талон или отпустить хлеб на послезавтра — это хорошо организованный голод, теперь уже не голод, а только недоедание; это большое и трудное достижение ленинградского исполкома. Пустота и прибранность выражает благотворную жесткость организованности, которая выбирает наименьшее зло. Норма — наименьшее зло голодного существования.

В хлебном отделе на полках плотно уложены аккуратные буханочки. Их так много, они так хорошо пахнут, продавщица так лениво снимает их с полки, так мало сейчас покупающих хлеб, что совершенно ускользает внутренний смысл их запретности. Хлеб лежит, его очень много. Он стоит 1 р. 25 к. или 1 р. 10 к. кило, то, что вам причитается, дается без всяких усилий, но он — табу. Это почти иррационально.

Зимой противоречий не было. В магазине стояла тьма, непроходимая теснота, нервный, угрожающий и молящий гул голосов. Продавцы из-за прилавка боролись с толпой. С четырех — с пяти утра, в темноте, на морозе люди сотнями стояли за крупой и мясом. Это было понятно. Крупы в городе не было, ее было ничтожно мало. И добыть свои двести грамм можно было только ценой огромных усилий. Это было логично.

Зимой был период, когда окончательно замерзли все трубы, и воду приходилось возить из проруби. И тогда оказалось невозможным выпекать достаточное количество хлеба. Появились огромные очереди за хлебом. Оттер вдруг вспоминает, как в первый раз он стоял много часов на морозе у булочной. Очередь почти не по-

* [Заглавие вписано в 60-е годы.]

двигалась, и Оттер думал о том, что достигнуть цели все равно невозможно, невероятно (он не ел ничего со вчерашнего дня). Но тут же он думал о том, что даже если этому предстоит продолжаться еще четыре, пять, шесть часов, — то все равно время всегда идет и непременно пройдут эти пять или шесть часов, независимо от того, каким мучительным содержанием они наполнены для отдельного человека. Что, значит, время само донесет его до цели. Булочная была на углу, а до булочной помешался заколоченный магазин с длинной вывеской: мясо, зелень, дичь. Мимо этой вывески нужно было пройти, и Оттер все смотрел на нее. В полтора часа он прошел слово «мясо»; он прошел «зе» и очень долго топтался под буквой «л». Эта вывеска была выражением, символом затрудненного, мучительно-заторможенного действия. Теперь к хлебу можно протянуть руку через прилавок. Этому мешают только общие* понятия и абстрактные социальные табу. Тогда же было наглядно и понятно все, что стоит между человеком и его хлебом. Прежде всего, между ними стояла очередь.

Очередь — собрание людей, обреченных провести известное количество времени в принудительной и бессмысленной праздности, — праздность устраивает человека, только когда она отдых от трудов или когда она заполнена развлечениями. Иначе праздность — страдание (тюрьма, очередь, всякие виды ожидания). Очередь — это совершенно своеобразное сочетание полной праздности с трудом — претерпение неудобств, затрата физических сил и некий трудовой результат (в отличие от тюрьмы). Но при этом предельная, доведенная до абсурда нерациональность ведущего к этому результату процесса — доставляет страдание. Очередь особенно невыносима для мужчин, привыкших к тому, что их время (кроме времени, уходящего на отдых и удовольствие) оплачивается и оценивается. Дело не в объективном положении вещей, а именно в наследственных навыках. Работающие и служащие женщины унаследовали от своих матерей навык легкотекущего, не оцененного времени. Домашний труд женщины бывал тяжел, но не оценен. Кроме того, мужчина, вернувшись с работы, считает себя вправе отдохнуть или развлекаться. Женщина после работы занимается домашними делами, которые у нас так неупорядоченны и хаотичны, что очередь не выпадает из основного** тона. Вот почему, хотя в очереди стоят работающие и служащие женщины, — каждый мужчина внутренне считает себя вправе и почти каждый пытается пролезть без очереди. Об этом в очереди всегда кричат женщины. Мужчины не могут объяснить, откуда у них это чувство внутренней правоты при явной внешней неправомерности поступка. Но они знают твердо, что это «бабье дело». Может быть, им смутно кажется, что справедливость их притязаний основана на том, что их в очереди так мало. Мотивировать они не могут — они либо хамят и хулиганят, либо говорят стереотипную фразу: «Спешу на работу». — «А мы не спешим на работу (обязательно *мы*; мужчина в очереди чувствует себя затесавшимся индивидуумом, женщина — представителем коллектива); все теперь спешат на работу», — возмущенно говорит женщина

* [Вписано сверху:] отвлеченные

** [Вписано над словом:] общего

с портфелем. Мужчина воровато прячет уже полученный хлеб. Он ничего не может возразить. Но он уверен — может быть, подсознательно, — что хотя эта баба действительно работает столько же часов, сколько и он, но отношение к времени, к ценности и употреблению и распределению времени у них разное и что его отношение дает ему право на получение хлеба без очереди. Продавщица как лицо незаинтересованное (когда она в другом магазине будет стоять в очереди, она также проникнется коллективным чувством и будет вопиять против нахальства мужчин) обычно поощряет претензии мужчин. Ей импонирует хозяйское отношение к жизни как основа несформулированного права на получение продуктов без очереди.

Мужское, хозяйское отношение — это уверенность в том, что вещи должны подчиняться человеку, служить ему и доставлять удовольствие, что лишения, бедствия и неудобства — незаконны и оскорбительны. У женщин же в массе не изжито унаследованное рабское отношение к жизни, то есть привычка к бедствиям, ожидание обязательных бедствий, ощущение их естественности. Отсюда женская откровенность (переходящая в бесстыдство) и мужское целомудрие в страданиях. Это *мужество*, и о женщине, которая сдержанна в страданиях, говорят — «мужественная женщина». Мужчина (настоящий мужчина) стесняется страданий как признака унижения, поражения в борьбе с миром вещей. Он замалчивает их или утверждает свою свободу по отношению к ним — насмешкой. Ср. поведение мужчин и женщин в больницах, в ожидании приема врача. Женщины разговаривают о своих болезнях, находя в этом реализацию; мужчины сидят молча, злые, гасупленные, в насупленность пряча лицо как в воротник. Помню в приемной травматологического института красивого мальчика лет 17, которому отрезало руку. Он сидел со сжатыми губами, не подымая глаз. В эти часы ожидания, на виду у посторонних людей в нем явно над всеми страданиями преобладало чувство стыда за то, что с ним случилось это несчастье.

(М<ария> Лаз<аревна>) В очереди домашние хозяйки также реализуются; находят среду специфических интересов, разговоров и даже интерес и смысл с трудом достигаемой цели. Чувство достижения охватывает домохозяйку в тот момент, как она опускает, наконец, в кошелку выстраданный, трудно добытый пакет. Тогда как человек с господским отношением к жизни уходит из магазина разбитый унижением, подавленный бессмысленностью происшедшего.

Интеллигенты пытаются преодолеть основное качество очереди — бессмысленность, опустошение времени, — читая книгу. Но в очередях поразительно мало людей, читающих книгу или даже газету. И это гораздо труднее, чем кажется со стороны людям, никогда не стоявшим в многочасовых очередях. На самом деле в психологии очереди заложено такое неудержимое, нервное и томящее стремление к концу, к внутреннему проталкиванию этого опустошенного времени, которое препятствует всякому занятию, казалось бы имеющему в виду заполнить и осмыслить это время. Психическое состояние человека, стоящего в очереди, обычно непри-

годно для других занятий. Даже интеллигент, чем читать наивно взятую с собой книгу, предпочитает следить за ходом вещей. Он пробирается к прилавку и тупо смотрит, как продавщица отпускает впереди стоящим; он соперничает действием, отвлекаясь этим от пустоты. Он мучительно (внутренними судорогами проталкивания) реагирует на замедленность жестов продавщицы (если она на мгновение отходит от прилавка, то это мучительно, как непредвиденная остановка поезда), или удовлетворенно включается в хороший ритм ее работы, или ликует по поводу неожиданного убыстрения (например, кому-нибудь суют его карточки обратно на том основании, что он прикреплен не в этом магазине).

Нервозность выражается в том, что человек впадает в истерику — совершенно искренне — по поводу одного вклинившегося перед ним претендента, а потом, уже получив покупку, тот же человек тут же полчаса разговаривает со знакомым, но уже разговаривает *как свободный*, как находящийся здесь по своему усмотрению. Нервозность выражается в чисто физической жажде движения, хотя бы иллюзорного; в том, что люди кричат перед ним: да продвигайтесь же вперед, чего вы застряли! И какой-нибудь резонер, не понимающий душевных движений, обязательно откликнется: куда продвигаться — от этого быстрее не будет...

Страдание от пустующего времени, которое составляет основное качество очереди, стимулирует, конечно, разговор как чисто акцию заполнения этого времени. В очереди разговор имеет примерно ту же функцию, что и в тюрьме. Совсем особое зрелище — страшные, зимние, дистрофические очереди, жутко молчаливые, тогда не было разговоров, были только реплики смертников.

Направление разговоров определяется тем, что очередь — принудительное соединение людей, с одной стороны, раздраженных, с другой стороны, сосредоточенных в данный момент на общем, едином круге интересов и целей. Отсюда в очереди эта смесь конкуренции, вражды и коллективного чувства, ежеминутной готовности сомкнуть ряды против общего врага — правонарушителя.

В диалогах и репликах микрокосма очереди кипят все человеческие вожеления и импульсы, развязанные моментом праздности, притом напряженной праздности, и в то же время связанные очень узким содержанием, на котором они реализуются в данный момент.

*Для реплик и диалогов очереди типичны: ламентации, естественно возникающие из ситуации и дающие ей эмоциональную разрядку. Реплики практического, коммуникативного характера: Кто последний? По какому талону? До какого талона? Есть ли сегодня конфеты «Южные»? Действительно ли конфеты «Иран» в бумажках? — тогда это невыгодно. Реплики, посвященные отстаиванию своих прав и борьбе с правонарушителями.

Формально они имеют также практически-коммуникативный характер (стремление к определенному результату). Но на самом же деле практический элемент в них ничтожен. Для

* [Здесь позднее вписано:]
И все функции разговора

домохозяйки практически совершенно ничтожна ценность времени, которое уйдет на лишнего затесавшегося в очередь человека. Правовое же чувство, к которому она апеллирует в своих репликах, на практике развито у нее ничтожно и заменяется готтентотскими оценками. Поэтому практическая направленность этих реплик является фикцией, прикрытием для разрядки раздражения и тому подобных эффектов <так!>. Нежелание дать подавить свою личность и удовольствие от подавления чужой. Это подтверждается уже ничем не мотивированной грубостью и злобой в ответах на безобидные вопросы: «Не знаете — до какого талона по рабочей?» или: «А как вы их готовите?» — «Вы что, в первый раз получаете?», «А вы что, никогда не готовили?» (здесь звучит подозрение — не имеешь ли дело с белоручкой, «барыней», которая считает, что она предназначена для чего-то лучшего). Зимой никого ни о чем нельзя было спрашивать, ибо всякий вопрос был вожделенным предлогом, удобной подставкой для дикого, разряжающего злобу ответа. В лучшие времена наряду с грубым ответом в очередях процветает ответ словоохотливый и обстоятельный, когда отвечающий получает удовольствие от своей роли наставника и руководителя.

Далее идут разговоры, заполняющие время и сосредоточенные на одной теме. Эта сосредоточенность доходит до удивительного (она, конечно, усугублена данной ситуацией). Нельзя понять, что вокруг есть значительные вещи и притом лично касающиеся данных людей. (Попытка разговора о событиях — <...>*)

Общее направление разговора подчинено профессиональному интересу домохозяйек. Профессиональный интерес домохозяйек оказывается ведущим. Для интеллигентов, для молодежи, даже для мужчин вообще — разговор о еде — это свежий разговор, с которого только что снят запрет. Для них он экзотичен, они создают в нем какие-то новые, неловкие и выразительные обороты. Они жадно предаются ему и в то же время стыдятся его как признака своей интеллектуальной и моральной деградации. Для домохозяйки — это продолжение ее исконного профессионального разговора с устоявшейся терминологией. Для домохозяйки предвоенной эпохи — не новы ни очереди, ни затруднения, ни даже карточки, так что терминологию не пришлось особенно подновлять. Но некоторые изменения произошли. Во-первых, этот разговор приобрел в ее обиходе исключительность, вытеснив другие ее профессиональные разговоры — о нарядах, о домработницах и проч. Во-вторых, этот разговор, на котором тяготело презрение неблагоприятных деловых мужчин и женщин (а в особенности молодежи), с которым ей было запрещено соваться в высшие сферы, — этот разговор восторжествовал. Он приобрел всеобщую значимость и значительность, оплаченную всем страшным опытом зимы. Он, разговор, о том, что пшено лучше не солить при варке, потому что тогда оно лучше доходит, — стал разговором о жизни и смерти; ведь пшена на крупицу становится *больше*. Он стал социально ценным. Этот разговор чрезвычайно сузился по объему материала (кулинария в пределах месячных норм), но

* [Одно-два слова нрзб.]

обогатился множеством деталей преодолеваемых трудностей и разрешаемых задач (это как искусство писать рондо и триолеты по сравнению со стихами просто). И как разговор о центральном жизненном интересе он вобрал в себя человеческие страсти и импульсы, борьбу за реализацию личной ценности, обогатился психологической нагрузкой.

В разговорах о еде, которые ведутся в очередях, мы находим и эмоциональную разрядку в lamentациях, и упражнения мыслительных обобщающих способностей в рассуждениях о наилучших способах добывания, приготовления, распределения пищи (здесь, кроме того, удовольствие от поучения, наставления других, следовательно, сознание своего преимущества), и рассказывание «интересных историй», и все виды самоутверждения — достижение в области добывания, приготовления, распределения пищи; наилучшее (лучшее, чем у других) поведение в этой области. Просто рассказы в этом плане о себе, о своей личности (психологические наблюдения, фактические подробности, вплоть до простейших констатаций — и у нас в столовой появились щи без выреза, только очень худые), со всем, что к ней относится и ее касается. Разговоры, которые прежде так трудно было протащить, они встречали сопротивление в окружающей среде как никому не интересные. А теперь приобрели всеобщую значимость и значительность как образчики, как иллюстрации к теме всеобщего интереса.

В очереди

1. — Ну и что ж что тюлька⁴. Я их пропущу через машинку; с маслицем. Муж придет, покушает. Все-таки приятно.
2. — А как вы ее варите?
— Щи варю. Как всякую зелень. Подумаешь, что вы не знаете?
3. Инт<еллигентка>: Лично я стала оживать, как только появилась зелень.
— Мы тоже с самого начала варили лебеду, крапиву.
— Нет, я крапиву употребляла исключительно сырую. Совершенно другое самочувствие.
4. — Мы опять там прикрепились. И знаете, так хорошо дают. Сестра вчера принесла две порции супу, так буквально полбанки у нее риса.
5. — Ну вот, это мы с ребенком и съедим.
— На один день?
— Какой день? — На один миг. Раньше-то двести грамм масла на день брали.
— Да, на троих как раз.
— Мои-то раньше были не дай бог. Вдруг гречневой не хотят. Свари им овсянку. И суп овсяный, и кашу. Я им говорю — уж одно из двух —

либо суп овсяный, либо кашу... Нет, вари им и то, и другое. Ладно, сварю овсянку...

— А мой мальчик — семь ему, но они теперь насчет еды всё понимают. Как объявят по радио детскую выдачу — он все слушает. Сахар там детям до двенадцати лет... Он говорит: мама, это мой сахар, я тебе не дам. А я ему говорю: а я тебе не дам конфет.

— Нет, а мой мальчик, который умер, — тот все делил. Удивительно. Мы с отцом не можем терпеть. А он спрячет конфеты в карман. Так и не даст — ни мне, ни отцу. Похлопает по карману и говорит: сейчас нельзя больше. И такой был не жадный. Свое отдавал. Говорит — мама, ты ведь голодная, возьми от моего хлеба.

6. — Ой, вот я хлеб начала. Теперь боюсь — не донесу до дому.
— Никогда нельзя начинать.

Женщина (покупая сладкое): Спокойнее всего, когда с ним покончишь. Пока оно есть, так тянет, как магнит. Как магнит.

— Пока не съешь, не успокоишься. И забыть о нем нельзя.

— Как магнит, тянет.

— Я уж, знаете, конфеты по сто грамм выкупала.

— А полкило хлеба, с маслицем — сразу и конец. Прямо страшно его домой нести. Спокойнее всего, когда он в магазине.

1. Маслице, покушает — ласкательные оттенки по отношению к особо ценным явлениям и процессам.

Прямое утверждение своих достижений.

2. Подозрение, что вопрос задала «барыня», считающая, что она предназначена для высшего и лучшего и тем самым умаляющая сферу главного жизненного интереса; следовательно, и личности, отвечающей на вопрос.

3. Староинтеллигентские обороты, наложенные на то же в точности содержание, что у всех баб в очереди. Разговор о себе, с которого для интеллигентки снят запрет. Удовольствие от разговора о себе (лично я...) дополняется интеллектуальными моментами самонаблюдения и наставления собеседника, как лучше поступать. Обобщающий элемент. Этот элемент, на фоне социальной общезначимости темы, маскирует личную тему, успокаивает остатки интеллигентской стыдливости. Интеллигентские обороты — лично я — употребляла — исключительно — самочувствие, — обычно накладываемые на другое содержание, поддерживают маскировку.

4. Фактическое повествование (о фактах всеобщего интереса), в качестве личной, подводной темы содержащее хвастовство достижениями.

5. Самообъективация, самонаблюдение. Имеет всеобщий интерес, что и подтверждается ответным вопросом.

Апелляция к тому, как ели раньше. Насколько я была (следовательно, и должна быть) сильнее тех вещей, которые сильнее меня сейчас.

Ответная реплика показывает понимание. Она означает, что собеседница тоже выше и принадлежит к тому же кругу. Именно к кругу людей, которые брали двести грамм масла в день на троих.

Здесь действует тот же механизм, что, скажем, в разговоре двух бывших дам. Одна прямо говорит, что в «мирное время» у нее была собственная машина. Другая отвечает, косвенно присоединяя себя к тому же кругу: «Да, знаете, в своей машине самое больное место — это всегда был шофер».

Рассказ о гречневой и овсянке развивает тему в том же плане. Семья была настолько выше «этого», что дети в порядке чудачества (с «жир», как господина ели ржаной хлеб) требовали не лучшего из того, что им могли предложить, но худшего.

Дальше идет классический профессиональный разговор женщин о своих детях, только на специфическом материале.

Рассказ о первом мальчике имеет сюжетный интерес. И, кроме того, подразумевает, что это необыкновенно умный, развитый для своих лет мальчик, который не пропадет и который уже действует как взрослый, но с прелестной детской наивностью.

Рассказ о втором мальчике — контрастный (он эмоционально окрашен смертью ребенка). Сначала оказывается, что, по сравнению с первым мальчиком, он поступал еще более как взрослый и дельный человек. Это подчеркнуто тем, что взрослые, по сравнению с ним, вели себя как дети. Но потом оказывается, что он поступал так умно и дельно — не в свою пользу. Вырастает двойная ценность — дельности не по летам и самоотверженности. Первый мальчик побежден.

6. Серия самонаблюдений, перерастающих в обобщение. Удовольствие говорить о себе сочетается с интеллектуальным удовольствием анализа. В повторяемой фразе с магнитом — явно и с эстетическим. Удачно найденная образная формулировка. «Никогда нельзя начинать» — это уже прямо сентенция. В ней таится радость акта обобщения личного опыта, который стал опытом коллективным.

Зимой людьми, подходившими к этому прилавку, владела одна всепоглощающая страсть. Они почти ничего не говорили; с маниакальным нетерпением они смотрели вперед, через плечо соседа, на хлеб. Сейчас — не то. Но и сейчас у самых весов люди прекращают посторонние разговоры. Шея вытягивается, лицо становится сосредоточенным. Покупатель вступает в борьбу с продавцом. Оба сосредоточенно борются за грамм недовеса или перевеса. Оттер стоит у прилавка; он с интересом смотрит, как продавщица не-

брежно берет с полки буханочку. Как разрезает корку, вскрывая красивую шоколадного цвета мякоть. Она отрезает или добавляет прямоугольные, плотные, ловко нарезанные кусочки, которые тут же лежат на доске, которые нельзя взять и съесть. Табу. Вся мощь социальной организации, весь огромный государственный механизм ограждает эти кусочки от тянущейся к ним человеческой руки. Больше между ними сейчас нет ничего — ни заповоров, ни очереди, ни милиции. Ничего — кроме великой абстракции социального запрета.

Оттер питает интерес к автоматическим весам с движущейся стрелкой не потому, собственно, что он боится, что его обвесят на два грамма (он бы все равно смолчал), но потому, что это дает иллюзию участия в жизненно интересном процессе взвешивания. Это вроде игры на бегах, когда человек, поставивший на такую-то лошадь, психологически соучаствует в ее беге, несмотря на то, что он совершенно пассивен и совершенно бессилён повлиять на исход состязания. Стрелка делает первое размашистое движение, и все корыто качается на фоне белого диска, ища среди цифр себе места. Она заезжает за нужную цифру — это всегда неприятно. Значит, продавщица неумолимым движением отрежет прямоугольник от лежащего на весах куска. Недовес, напротив того, всегда приятен. Значит, еще не все. Значит, будет еще кусок, может быть, довольно большой (нет, совсем маленький; странно, что такая крошка может выровнять стрелку). Вообще этот процесс психического соучастия во взвешивании хлеба сопровождается какой-то совершенно абсурдной и неуклонно ведущей к разочарованию надеждой, что нынче кусок почему-то будет больше обычного. Если продавщице сразу, первым куском, удалось угадать вес — это получается пресно, без внутреннего движения. Если довесок большой — это хуже в том смысле, что его до дома нельзя трогать, на это есть запрет. Лучше всего маленькие довески, которые как бы в счет не идут и по обычному праву на месте принадлежат получившему хлеб. Они на месте съедаются с наслаждением. Лучше всего, если их два — совсем маленьких. Довесок съесть можно, но сохрани бог отломать от хлеба, это нарушение запрета, разрушение цельности, которое может привести к самым катастрофическим результатам, к тому, что все по кускам будет съедено по пути домой. Лучше уж аккуратно отрезать ломтик ножом. Это сохраняет за куском первоначальную форму, и прямую поверхность, как бы служащую ему защитным покровом. Иллюзию того непочатого состояния, в котором надо додерживать его до завтрака, чтобы получить от завтрака удовольствие.

Мания еды, едовые разговоры — все это началось, главным образом, с периода передышки. В дни большого голода была молчаливость. Люди тогда много молчали. Неубитым дистрофией говорить, собственно, было не о чем. Делать в этом направлении было нечего. Возможности были срезаны до такой степени подчистую, что не осталось места для идеологизации фактов, для их психологического обогащения и использования — в целях вечного человеческого стремления к реализации ценностей. Вооб-

ще в основе переживаний, в центре внимания человека тогда не стояла еда. И это потому, что количество страданий переходит в другое качество ощущения. Так тяжелые ранения сначала не дают ощущения боли, они нечувствительны. Так замерзающий в последние моменты испытывает приятные ощущения. Настоящий голод, как известно, не похож на желание есть. У него есть свои *маски*. Он оборачивался то тоской, то равнодушием, то сумасшедшей торопливостью, то жестокостью. Есть, конечно, другой голод. Когда люди в пустыне умирают, в терзаниях, от совершенного отсутствия пищи. Но голод, который пережили мы, был похож на хроническую болезнь. И как во всякой болезни здесь огромную роль играли психические моменты, психическая сопротивляемость и т.п. Вот почему нередко в первую очередь погибали вовсе не те, кто ел меньше других, но те, кто больше других боялись и думали об этом. И обреченными были не самые почерневшие, исхудавшие и распухшие, но те, у кого было не свое выражение лица, дико сосредоточенный взгляд, кто начинал мелко дрожать перед тарелкой супа. Мой приятель А. приходил в столовую с распухшими темно-красными губами. И это было еще ничего. Но однажды в столовой исчезла со столов соль, и кашу подали несоленую. И с ним сделался припадок отчаяния. Он метался от стола к столу, бормоча: Почему же несоленую кашу... Нельзя же... Ах, боже мой, а я не захватил. — И это было совершенно жутко. Мой приятель В. однажды пришел в столовую в пальто, из которого на груди был выдран огромный клочок. Он не давал по этому поводу никаких объяснений. Мы сидели за одним столиком, и он вежливо разговаривал с соседями. Но наша соседка сбросила в чью-то пустую грязную тарелку ложку (чайную) постного масла из каши. — Вы очень расточительны, — сказал В. светским тоном и тут же выловил это постное масло ложкой и съел. Потом подавальщица принесла ему причитавшиеся нам десять грамм сахарного песка и половину примерно просыпала в пепельницу. И В., согнувшись, долго стоял и вылавливал крупинки сахара из пепла. Этот человек питался сравнительно не так плохо. Он вылавливал постное масло и сахар не потому, что его сейчас вот терзал нестерпимый голод, но в силу психической травмы, не позволявшей ему упустить мельчайшую крупинку еды. Это был дурной знак. Недели через две он умер в больнице.

В годы гражданской войны голод был другой, гораздо более стихийный и хаотический, особенно в провинции. Люди ели какие-то фантастические вещи — шелуху, крысы и т.п. В то же время они что-то комбинировали, меняли, и вдруг — добывали мешок картошки. Ленинград голодал иначе. Голод был довольно хорошо организованный. И это сообщало ему двойственный характер. С одной стороны, это внушало людям некоторую уверенность. Они знали, что они не брошены, что кто-то заботится, доставляет им тот минимум, который одним оказывался достаточным для продления жизни, другим недостаточным, это уже рещал организм. Наиболее пассивные радовались тому, что с них сняты личные усилия, они монотонно ходили в булочную, в магазин, в столовую, ожидая развязки.

В страшной борьбе с дистрофической смертью люди были лишены инициативы. Преобладало ощущение абсолютной непреложности происходящего. Это было царство нормы, непоколебимая действительность, стиснутая законом нормированных продуктов. 125 грамм хлеба, тарелка супа, порция каши, укладываемая на чайном блюде, — были обведены железным кольцом. Вся человеческая еда, выходящая за эти пределы, — не существовала для каждого данного человека. Она была начисто изъята из его обихода, подвергнута социальному запрету. На то, что сверх нормы можно было только смотреть с тем чувством абстрактного, практически невоплощаемого вожделения, с каким смотрят на драгоценный музейный экспонат (лежит рядом, но отделен от человека всей силой социального запрета). То, что сверх нормы нельзя было ни купить, ни достать, ни украсть, ни вымолить. Лучший друг сидел рядом, зажимая свои 125. Как бы человек ни терзался, их нельзя было попросить у лучшего друга. И если бы друг сам предложил — их нельзя было взять (если только человек сохранил еще человечность).

В этом особый характер всеобщего и нормированного голода, психологически резко отделяющий его от голода нищеты. В голоде от нищеты — много унижения, потому что он приправлен завистью, сознанием неравенства и несправедливости, но в то же время в нем много иллюзий и нет ощущения непреложности. Человек рассчитывает на то, что вдруг он достанет работу или денег, или украдет или выпросит, или под благовидным предлогом пойдет к знакомым, где его накормят обедом. Его вожделения мучительны, полны разочарований, но не абстрактны.

Весной появился рынок. Оказалось, что еду можно купить — очень дорого, трудно, но можно. Фактор денег опять вошел в обиход. Это было решительным психологическим переворотом. Появилось имущество. Появились возможности, и вокруг возможностей заиграли страсти и интересы. Именно в этот момент еда стала центром внимания и средоточием душевных сил (на предыдущем этапе еды почти не было, и она не могла быть центром внимания. Тогда говорили не о том, кто как ест, но о том, кто как умирает). Она стала сферой реализации и немедленно обросла множеством идеологических и психологических деталей.

На фоне этой всеобщей, так сказать общегородской, эволюции Оттер прошел свой собственный (один из типических) путь; путь от непонимания и легкомысленного поведения до голодной травмы.

У Оттера всегда был прекрасный аппетит и ел он довольно много, но ряд моментов ограничивал его интерес к еде. Во-первых, он несколько лет уже боролся с полнотой и считал, что чем меньше он ест, тем для него лучше, и что хорошая еда — для него это род распушенности. Во-вторых, он был физически ленив и по отношению к бытовым делам у него имелась раз навсегда принятая установка — тратить на них как можно меньше времени и энергии. Он дорожил своей способностью есть или не есть — смотря по обстоятельствам. То есть доводить еду до минимума и совершенно

выключать эту область из сознания. Если в этой области все шло гладко, если ему, без его ведома и участия, подносили вкусную еду, — он ел с удовольствием. Но как только еда предъявляла требования на внимание и усилие, так она выключалась и свертывалась. И Оттер, как-то оставшись без обслуживания, месяц ходил в аляфуршетный американского типа кафетерий и закусывал там стоя (вместо обеда) у столика американского образца. Дешевые столовки были ему противны, особенно тем, что там приходилось ждать; хороший ресторан недоступен; а съездить пообедать у себя в клубе ему было лень. Собственно, он мог бы и съездить, но он культивировал в себе этот аскетизм интеллектуального человека, дававший ему возможность чувствовать себя выше людей, над которыми тяготела бытовая зависимость. Он раздражался, когда Ляля и другие говорили, что неизвестно, мол, можно ли выезжать на дачу, потому что плохо с едой, или что нельзя предпринять летом прогулку на несколько дней, потому что не запастись едой. С точки зрения Оттера, это была зависимость низшего порядка. Наконец, он был равнодушен к мгновенным и чувственным благам жизни. Вкусная еда была хороша не сама по себе, но своими психологическими возможностями. Как уют, как отдых, как дружеские отношения (с водкой), как продуманный ужин с любимой девушкой. Вне этого она, собственно, не имела смысла.

Оттер любовался своей свободой от низших зависимостей, и это привело его к наивному непониманию голода. То есть он понимал, что бывает голод в деревнях или в пустыне, когда человек много дней совсем ничего не ест, и от этого умирает в мучениях. Но он никогда не слышал о дистрофии и не верил в то, что интеллигенты, живущие в большом городе, могут умирать голодной смертью. В годы гражданской войны он, подростком, жил в сравнительно благополучных местах и не испытал ничего особенно страшного. Б., который тогда испытал гораздо больше, говорил ему, что от тех лет у него осталась травма, что он боится. Притом он боялся голода до всякой блокады; в мирных условиях боялся остаться без работы. Оттер презирал это в Б. и считал, что это одно из бессмысленных проявлений вообще приниженной жизненной позиции. Оттер же наивно сделал то, что он делал, когда оставался без домработницы, — выключил эту область из сознания. В своем ослеплении Оттер проглядел начало страшной голодной эпопеи города. Он гордился собой, предавался удовольствию этого чувства и потому — не понимал. Он удивлялся (ему нравилось удивляться), когда домработница говорила, что вот теперь-то начался настоящий голод. Когда соседка с ребенком вдруг перестала спускаться в бомбоубежище на том основании, что все равно пропадем — так не все ли равно (она в самом деле умерла в феврале). Это были люди низшего порядка. В своем ослеплении он даже не понимал трагического значения все сжимавшегося хлебного пайка. До него это долго не доходило, ни физически (от физических страданий его долго спасала полнота, с которой он так боролся), ни психически, потому что ему нравилось непонимание как признак психики высшего разряда.

Потом настало время, когда не замечать и не понимать уже стало невозможно. Люди умирали, хотя и не так, как умирают в пустыне. О первых смертях знакомых еще говорили, передавали подробности; с ужасом рассказывали о том, как жена, в последние дни пытаясь спасти умирающего мужа, купила кило риса за 500 р. (потом все это казалось наивным). Факт этих смертей бесконечно удивил Оттера. Ему казалось, что все должны главным образом удивляться и испытывать ощущение дикости, невероятности совершившегося. Но люди вокруг не удивлялись; они уже были внутренне подготовлены. Оттер еще не страдал и не думал о еде. Но постепенно, каким-то незаметным для самого себя образом он оказался во власти непреложных законов нормы. Это как-то вдруг обнаружилось. Сакральный круг замкнулся вокруг его хлебного пайка и обеда. Вышло даже хуже — этот обед, непреложно закрепленный за ним законами новой действительности, — не был его обедом. По законам новой действительности тетке не полагалось обеда, и надо было делить. И он съедал то один суп, то только кашу, то полкаши. А остальное в голубой пластмассовой коробочке уносил домой. Это было грустно, и он завидовал тем, кто целиком съедали свой обед (таких, впрочем, было немного). Завидовал не столько их сытости, сколько тому, что психологическое переживание обеда ничем не было для них отравлено. Но в то же время ему нравилось, что он съедает тарелку супа, а остальное уносит домой. Так поступал в те дни порядочный мужчина, глава семьи. Это было социальным поступком, приобщением к общему действу, участием в общем опыте.

Он все еще не страдал. Страдания подступали незаметно, чтобы прорваться сразу. Он все худел и худел; шутил по этому поводу и с удивлением ощупывал новые кости, о которых он прежде в себе не подозревал. Истощение шло и шло, подбираясь к переломной точке. И как только оно дошло до этой точки, так сразу все началось. Начались страдания.

Все, кажется, началось с того, что однажды за колкой дров он почувствовал внезапную слабость, и какую-то особого рода слабость. Самое худшее время для Оттера наступило тогда, когда объективно наступили уже лучшие времена (так было со многими). Он тогда получал уже 400 грамм хлеба. Тетка тогда находилась в больнице, а сам он переселился в учреждение, потому что дома было уже много ниже нуля. Ноги тогда плохо двигались, и тело начало проделывать внезапные и омерзительные трюки с потерей равновесия. Странное дело — но днем за делами и разговорами он все еще не думал об этом. Но по ночам он теперь — несмотря на страшную усталость — часто не мог спать от терзающего, сосущего голода, от голодной тоски и голодного нетерпения, которое рвется к утру, приносящему хлеб.

В столовой учреждения хлеб начинали обычно отпускать около 9 часов. И Оттер в валенках, в накинутом поверх ночной одежды пальто — с половины девятого бродил вокруг столовой. Он не мог пойти в булочную, потому что заехал вперед с талонами, а в своей столовой к этому

относились либерально. Иногда хлеб запаздывал, и в этот час он терзался и тосковал по хлебу.

В этот период началась неводержанность Оттера. Он вдруг перестал делить еду, он стал съедать сразу все, что возможно было съесть. Сначала он это делал без заранее обдуманного намерения, каждый раз с чувством грехопадения, — потом уже возвел в принцип. С хлебом это происходило так — замирая от нетерпения, он получал, наконец, 400 грамм. Довесок съедал на месте, а кусок уносил в какое-нибудь еще пустое служебное помещение. За канцелярским столом он ножом отрезал — первый ломтик. Примерно на глаз он намечал, сколько можно съесть утром. По мере приближения к этой границе тоска углублялась. Он отрезал еще ломтик (потоньше), уже переходящий границу. Потом еще. Он делал это с чувством стыда и грехопадения. Потом, когда граница была уже непоправимо нарушена, вдруг рождалась дерзкая мысль — что если просто разрешить себе сейчас съесть все до конца. Мгновенье он замирал на точке колебания, потом срывался с нее. Наступало радостное облегчение. Греховное, спотыкающееся, заторможенное действие сменялось восхитительно-легким скольжением вниз, с зажмуренными глазами, без оглядки на печальную перспективу предстоящего дня. В момент снятия запрета (уже не нужно было похищать у себя ломтик за ломтиком) возникала даже иллюзия, что теперь уже вовсе не хочется съесть все до конца, что его еще много. Иллюзия эта, разумеется, исчезала со следующими двумя ломтиками. Постепенно Оттер вошел во вкус головокружительного скольжения и снятия запретов. Он стал каждое утро съедать свои 400 грамм. Между прочим, это помогало ему не думать об этом. Люди, делившие свой хлеб, мысленно не могли оторваться от оставшегося у них, припрятанного куска. Он мешал им отвлечься, связывал свободу действий.

Так же как Оттер незаметно для себя вступил в царство неколебимой нормы, так незаметно подошло к нему облегчение. Сквозь норму стали просачиваться какие-то сверхвыдачи, покупки, рынок с овощами, соевое молоко. Все это оформилось и прояснилось уже впоследствии, первые же колебания нормы еще казались радостной случайностью. Однажды в учреждении, после совещания, был устроен торжественный ужин с льготным вырезом талонов. Торжественность состояла в том, что дали две порции второго. И это казалось необыкновенным. Это была праздничная приостановка действия железного закона. Вроде того, как с каторжника, по случаю пасхи, на несколько часов сняли кандалы. Тетка получила обед, и обеденная единица осталась теперь за Оттером. Потом вышло так, что товарищ дал Оттеру свой пропуск, и он в течение нескольких дней съедал по два вторых. В первый раз, когда он замыслил съесть два вторых, ему казалось почти невероятным, что это в самом деле осуществится. Это было настоящим переворотом, изменением жизненного принципа. Увеличение хлебного пайка, увеличение нормы закладки крупы — это было замечательно, но это оставалось в пределах того же принципа. В силу этого принципа обед был наглу-

хо замкнутой, стандартной, взвешенной и неизменяемой единицей. Он не мог разомкнуться и вобрать в себя еще тарелку супа. Лишняя тарелка супа была фактом совершенно особого порядка и качества. Тем более лишнее второе, которое, по сравнению с супом, было ценностью высшего порядка. Декретированное удвоение порции было смягчением принципа, но возможностью (спорадическая) второй порции — это было принципиальным переворотом, разрушением абсолютно замкнутой, неизменной и неподвижной единицы обеда. Там, где были две порции, теоретически говоря, могло быть и три, и четыре. Абсолютная непреложность, абсолютная неумолимость были сняты.

В самом деле, через некоторое время появилась вторая столовая, там можно было брать по две-три-четыре каши. И Оттер с невольностью, введенной теперь в систему и принцип, — резал талоны. Теперь ему все время хотелось есть. Он чувствовал себя очень плохо — гораздо хуже, чем в эпоху 125 грамм, — но в то же время к организму возвращались понемногу его нормальные функции. И теперь только это состояние стало походить не на что-то другое, а на самое себя, на желание есть.

Лучше всего перенесли зиму люди, которые в силу глубокого инстинкта самосохранения и сохранения в себе человечности сумели вытеснить тему еды из светлого поля сознания. Потому что эта тема, ставшая в центре душевной жизни, была катастрофична и разрушительна. Эти люди месяцами, быть может, ни о чем не думали, но они сумели не думать об этом. С появлением возможностей охранительный запрет отпал; непреложные, неколебимые законы нормированного бытия обмякли. Так открылась завлекательная стихия еды. Люди страстно захотели есть. Они ели, недостаточно, но все-таки ели, и не могли насытиться. Когда Оттер впоследствии вспоминал зиму, он в основном припоминал не голод, не еду, а всевозможные маски психологических оборотней голода; хроническую болезнь, перерождение психики. И все это было менее унижительно и животно, чем то, что происходило с ним в первый период облегчения. Он прилагал все усилия к тому, чтобы съесть две-три-четыре каши. В удачные дни он сгребал в одну тарелку три каши, чтобы казалось, что ее много. И приходил в отчаяние от того, что ее все-таки мало. Что нельзя сесть перед миской с пятью-шестью-десятью кашами. Он не только стал думать об этом, после того как долго вообще ни о чем не думал, но им овладела маниакальная сосредоточенность мысли. Со своей старой привычкой думать на ходу он шел по улице и думал — он подробно, наглядно вспоминал то, что съел утром или вчера, он обдумывал то, что еще предстояло съесть сегодня, или мечтал о содержимом посылки, которую организация могла получить из Москвы, или занимался расчетами и комбинациями с выдачами и талонами. И в этом была такая поглощенность и напряжение, какие он прежде знал только в моменты творческого подъема, когда додумывалось или дописывалось самое важное из своей настоящей работы. И в этом странном искривленном отражении интеллектуальной деятельности — было самое унижительно.

В дни выдач дома иногда оставалось то, что он называл своими «запасами». Они остались дома, и это сообщало ему успокоенность, уверенное отношение к жизни. И занимаясь очередными делами, он сладостно, вещественно их себе представлял. На второй полке стояла баночка, на треть наполненная золотистым пшеном; в соседней банке очень ловко улеглись штабелями серебряные кильки. И пшено и кильки были красивы.

Еще он развлекался тем — иногда ложась спать, — что составлял меню прожитого дня, если день был удачным. Например — завтрак (9 часов утра) — зеленая каша с хлебом, поджаренным на олифе, и чай с подсушенным хлебом; обед — два овсяных супа и каша пшенная. Потом дома — две чашки соевого молока с конфетой (это он принес из столовой); ужин — лепешка из зелени с хлебным мякишем (обедал он без хлеба). Или, например, завтрак — натертый турнепс с постным маслом и хлебом; ужин — запеканка из соевой колбасы и т.д.

Иногда наступало просветление, и ему становилось противно. Ему хотелось тогда наесться до тошноты, до отвращения к пище, до рвоты, — чтобы только покончить с этим и освободить свою голову. Но в то же мгновение им овладевал страх пустоты. Что же будет, если этого не будет... Если исчезнет весь этот комплекс возбуждения, интересов, целей... Это было нечто подобное тому, <что> испытывает человек, удрученный нечастной любовью и боящийся ее потерять, боящийся потерять в ней уже не чувство, но готовую, обеспеченную целеустремленность, — и остаться в пустоте.

Несколько раз, в самые трудные моменты, организация получила и распределяла очень хорошие заколочные³ посылки — с шоколадом, маслом, сухарями, консервами и концентратами. Это было событийно. И каждый раз Оттер вдруг представлял себе — а что, если бы это было так — постоянно, систематически, если бы это перестало быть вождельно и событийно? — И каждый раз испытывал подлый страх пустоты, отпадения жизненных целей. Это была унижительная вещь — моральная дистрофия, поглощавшая человеческие интересы и цели.

Мания еды была явлением, если не всеобщим, то во всяком случае типическим. С комплекса еды были сняты запреты и заслоны, выдвинутые инстинктом самосохранения, и она бурно вступила в светлое поле сознания и на основе голодной травмы заняла там всепоглощающее место. Еда стала сферой наслаждения и сферой реализации.

Еда искони была явлением, в высшей степени подвергшимся идеологизации и психологизации. То есть прямое физическое наслаждение едой задвинулось и обросло сложной системой символических значений, возведенных уже в категорию социальных ценностей. Достаточно сказать о жанрах еды — о ее обрядовой приуроченности к праздникам, свадьбам, похоронам, о светском ритуале приемов и банкетов, о значении семейного обеда для буржуазной семьи, о психологическом смысле интимных любовных ужинов и т.д. Даже в нашем довоенном быту, при всей его упрощенности, еда (выпивка и закуска) была существеннейший фактор

дружеского или любовного общения. Оттеру, которому лень было потратить полчаса на то, чтобы пообедать, — готов был потратить иногда целый день, чтобы, по возможности, недорого и удачно подобрать закуску для приглашенных гостей. Это его занимало.

В период, когда угощение отпало или стало актом из ряда вон выходящим, экзотическим, — отпали все качества еды, связанные с общением.

— Простите, что я не вовремя, — сказал как-то М., прийдя по делу к Оттеру (как раз когда тот жарил себе лепешки), — я вам помешал. Еда сейчас дело интимное.

И при этом у М. было нехорошее бесчеловечное выражение. Да, еда стала делом интимным и жестоким.

Утратив одни психологические качества (связанные с общением, с гостеприимством), она приобрела другие — очень сильные. В поразительно обнаженном и одиноком быту еда из украшения и приправы к отдыху и развлечениям — обратилась в их замену. Еда, со всеми к ней относящимися процессами, сама по себе стала отдыхом и развлечением. В силу обнажения от многих социальных покровов, от сложной социальной символики в отношении к еде резко заострился интерес к вкусовым ощущениям.

Люди за эту зиму ели, конечно, и кошек (утверждая, впрочем, что это вкусно), и ремни, и клейстер. Но в общем дикая еда была не очень характерна для ленинградского голода как для голода организованного. Люди в Ленинграде ели вкусные вещи. Многие, например, никогда не ели столько шоколада, в мирных условиях не имея возможности его покупать. Они получали сливочное масло, какао, кетовую икру, прекрасные мясные консервы. Всего этого было мало, но это было вкусно! Кроме того, им открылся вкус самых обыкновенных вещей — каши (многие ее прежде не признавали), постного масла, ржаных лепешек (не говоря уже о хлебе, проблема хлеба была совсем особой). Оказалось, что все это в самом деле объективно вкусно — без всякой скидки на голод. Ведь от скидки на голод не стала, например, вкусной дуранда⁶, или олифа, хотя их ели. По отношению же к кашам и т.п. только должно было отпасть высокомерие людей, привыкших к закускам и презиравших бабью еду. Люди по временам предавались возбуждающим разговорам о жареном гусе или слоеных пирожках, или сардинках, но по-настоящему, конкретно мечтали они не об этом, а <о> том, чтобы съесть много, до отказа того, что они ели сейчас. Оттеру хотелось самых простых вещей. Ему хотелось именно тех вкусовых ощущений, которые он получал каждодневно, но только в неограниченном количестве. Хорошо было бы съесть неограниченное количество хлеба (сидеть и отрезать ломти от буханки), обмакивая его в постное масло, или мучной каши, сладостно залепляющей рот, или овсяной каши с ее ласковой слизью, или тяжелой лапши — больше всего тянуло к заменителям хлеба.

Казалось, что для насыщения количество должно быть подавляющим, огромным. Это, конечно, была аберрация. Мечта о количестве была

не только мечтой о физическом насыщении, но и мечтой о преодолении вечной тоски и страха перед неумолимо быстрым исчезновением порции, хотя бы она была двойной или тройной порцией.

Наряду с этим вкусовые ощущения приобрели совершенно самостоятельную ценность. Нужно было не только есть как можно больше и чаще, но необходимо было извлечь из каждой еды все вкусовые возможности. Он съел в столовой холодную кашу или непосоленную. Если бы он не поддался жадности, голодной торопливости, он донес бы кашу домой и все привел бы в порядок. Но он проявил неводержанность — и вот не извлек из еды всех ее возможностей. Бывали досадные ошибки и просчеты. Например, в разогретое постное масло он макал подсушенный на печурке хлеб. И потом только сообразил, что как раз для этого подошел бы лучше свежий хлеб. Что именно сыроватый тяжелый хлеб дал бы в этом сочетании ощущение вкусной сытности.

Еда стала не только стихией наслаждения, но и областью реализации. Ибо во всякой области преимущественного интереса человек ищет реализации ценностей, и в первую очередь самооценности. Дистрофический человек опять несколько оперился и опять захотел гордиться и самоутвердиться. Он стал гордиться собой по трем основным разделам: добывание, распределение, изготовление пищи. Общей психологической предпосылкой этого самоутверждения (как и многих других самоутверждений) явилась полярность его источников. Одни умели добывать, распределять, готовить пищу — и гордились этим как признаком силы, жизнеспособности, разумного отношения к вещам, которые помогли им спасти себя и своих близких. Последнее (близкие) для самоутверждения было особенно важно как момент с положительной моральной окраской. Другие не умели всего этого — и они гордились своим неумением как признаком высшей душевной организации, особенно если это неумение сочеталось с отнесенным равнодушием к переживаемому.

С расширением покупательных возможностей вся область добывания с его достижениями (удачная покупка на рынке — тут опять-таки каждый гордился, чем мог, — один тем, что дешево покупает, другой тем, что тратит много денег, — поездки за зеленью в особые загородные места и т.п.) стала естественным источником самоутверждения. Наряду с этим самоутверждение черпало <сь> из источника льготных выдач. Люди получали академический паек, или безвырезный обед, или иногороднюю посылку — и в социальной иерархии это было подобно получению ответственной должности, или ордена, или хвалебной заметки в газете. Притом социальная иерархия здесь обнаруживалась в необычайно ясной и грубой форме. Союз писателей, например, получал из Москвы подарок. Правление распределяло выдачу. И по списку, находившемуся у кладовщика, одни писатели (лучше) получали кило восемьсот грамм масла, другие (похуже) — кило. И те и другие вместе стояли в очереди — очередь к кладовщику была общая. Получавшим кило 800 стыдно было этим гордиться

(остатки интеллигентского целомудрия), но они не могли удержаться и гордились. Получавшие кило страдали от унижения. Масло было отравлено. Не сомневаюсь — многие из них получили бы больше удовольствия, если бы им было выдано полкило, но если бы это и было высшей, привилегированной выдачей, объективно свидетельствующей об их проф<ессиональной> ценности.

Аналогичную картину представляла собой и черная биржа выдач — всевозможные лекции, писательские и актерские выступления в госпиталях, в военных частях, на заводах. Выступавших кормили на месте и кое-что давали с собой. Особенно для актеров это было предметом хвастовства, свидетельством профессиональной ценности, грубым и непререкаемым мерилom успеха. Актеры (в отличие от прочих деятелей искусства и науки), воспитанные на непосредственном общении со своей аудиторией, привыкли к немедленному и осязаемому выражению успеха. Поэтому кусок сахара, который им всовывали в чемоданчик, был для них вдвойне важен. Без него они бы заскучали. Это было еще более объективно и непререкаемо, чем аплодисменты, аншлаги или газетная заметка.

Во всех случаях — будь то академический паек или буханка, полученная после выступления на хлебозаводе, — хвастовство ограничивалось рядом моментов: остатками интеллигентских навыков и приличий, полярной склонностью к ламентациям, практическими опасениями, что кто-нибудь что-нибудь попросит, — и все же, сквозь все предосторожности и запреты — оно неудержимо пробивалось наружу.

М. говорил мне, что на фронте люди, вышедшие из многочисленных и тяжелых боев, с некоторым презрением относятся к тем, кто позволил себя убить. Здесь происходило нечто подобное — выжившие в душе презирали умерших как слабых, как неразумных, как не сумевших достигнуть привилегированного положения. Человек возвращался домой с добычей. Он нес в портфеле, в судках, засунутых в авоську, — хлеб, полученный по карточке I категории, безвырезный обед, какие-то овощи, которые он купил, имел возможность купить по дорогой цене — это были признаки социального признания, торжество его жизненной силы, победа над враждебным миром.

В удачные дни Оттер любил эти возвращения домой. Он нес — и с удовольствием перечислял это в уме — кашу, хлеб, 20 гр. сладкого (конфету) и кусочек масла, которые полагались при безвырезном обеде, а кроме того, нынче 50 грамм кетовой икры и соевое молоко. Он торопился домой, чтобы скорее пережить приятный момент, когда он одно за другим вытаскивает все это из портфеля и расставляет на столе перед теткой, и тетка восторженно реагирует.

Это была вторая сторона его отношения к тетке. В этой жизни, которую он тяжелыми усилиями пытался организовать и подчинить разумной воле, — тетка унетала его как начало хаоса (притом косного и упорного), нелепости, неразумности, как воплощение всего антиорганизованно-

го и антисоциального. Его раздражала ее все возрастающая бесполезность (все труднее становилось ее рационально использовать) и жертвы, которые он ради нее принес и продолжал приносить. И <в> частых припадках раздражения он с грубостью, удивлявшей его самого, — говорил об этом. Но по временам он в глубине сознания вдруг понимал, что без тетки одиночество, пустота, в которой он жил, стала бы абсолютной, невероятной. Что без нее оказались бы невозможны те мрачные отдыхи и забавы, которые он за собой оставил. Невозможно было бы для себя самого, в пустой комнате часами стряпать какие-то лепешки. Это уже тот предел, до которого его бы не допустил инстинкт самосохранения. Присутствие второго человека — безразлично какого — психологизировало этот процесс, сообщало ему оттенок социальности. Это было уже не действием манияка, но чем-то гораздо более человеческим.

— Сейчас будем есть. Поставь тарелки, вытри, чтобы можно было сесть за стол по-человечески. Убери это свинство.

Кроме того, тетка была аудиторией, единственной аудиторией, которая могла оценить добычу и вообще успехи и достижения. Он был все-таки слишком интеллигентом, чтобы говорить об этом с другими, да и другие вяло реагировали. Тетка была аперцепирующей, объективирующей средой, без которой нет реализации. Она была условием реализации.

Полярный характер источников самоутверждения сказался яснее всего в основном вопросе о распределении еды. Вокруг вопроса о том, как достигнуть наибольшей сытости (как вокруг всех проблем еды), возникло множество систем, теорий, обобщенных самонаблюдений. Причем они равно им<елись> у всех — от архиинтеллигентов до любой домохозяйки в очереди. Одна женщина, работница, утверждала, что хлеб надо есть без всего — тогда он лучше чувствуется. Она работала на оборонных работах, где давали рацион и 600 грамм (при высшей общегородской норме в 500). Она съедала утром свой рационный завтрак и сразу после этого, но отдельно, чтобы не портить его, — весь свой хлеб. И тогда бывала сыта до пяти-шести часов.

Вообще же — при наличии промежуточных видов — существовали две основные полярные системы. Одни делили еду и распределяли, другие съедали сразу все, что возможно было съесть. Они склонны были возводить неводержанность в принцип, утверждая, что вместо постоянной неудовлетворенности от постоянного недоедания лучше от времени до времени добиваться сытости. Делившие и распределявшие гордились своей выдержкой и разумностью и презирали неделивших за распущенность и мужицкое отношение к еде. Неделившие гордились этим, часто подавая свою гордость сквозь фальшивую самокритику, — как выражением душевной широты, некоторого удальства и дерзания. Они презирали деливших, как богемный прожигатель жизни презирал мелкого сквалыгу рантье. Это была вечная дискуссия между буршем и филистером.

Пытаясь воздерживаться, люди принимали против самих себя искусственные меры. Если в семье имелись, скажем, три хлебные карточки, брали с утра только по одной и т.п. Это была очень эффективная мера, основанная на том, что о невыкупленном хлебе можно было не думать, тогда как наличный хлеб неудержимо притягивал мысли и вызывал необходимость вытеснения, которое утомляло. В этом отношении плохо было сидеть дома, лучше было сразу уйти, отрезая себе пути к оставшейся на вечер еде, практически недостижимой, <она> не преследовала все время, а, напротив того, возникала по временам в качестве утешительной перспективы.

Гораздо лучше удерживалась еда, требовавшая еще каких-то предварительных процессов, — закрытая еда — консервы в неоткрытой банке, неочищенная селедка, соевая колбаска, пока она еще в кожице. Но стоило кожицу надорвать и выковырять кусочек, как колбаска ползла и ползла. Помогала даже форма продукта — правильный кубик масла, отрезанный продавцом, ровная плоскость отрезанного в магазине хлеба. Эти ровные плоскости и поверхности были каким-то заменителем оболочки, границы, в них таилась иррациональная сила запрета. Стоило нарушить такую поверхность, отковырнуть кусочек, — и наступала деморализация, чувство, что теперь все равно не удержать.

В эпоху большого голода проблема распределения была очень проста. Она, собственно, сводилась к тому — съедал ли человек свои 125 грамм сразу или делил их на две или на три части. В период облегчения все до крайности усложнилось. В дело вступил фактор денег.

В этом смысле возникли разные категории еды с разным к ним эмоциональным отношением. Мерилом являлась нормальная нормированная еда, которая стоила мало денег и стоила талоны или была абсолютно ограничена (безвырезный обед). По сравнению с ней особым образом воспринимались сверхкомплектные выдачи, главным образом в столовой, — соя, соевое молоко, салат, желе... Это была психологически легкая еда, дар, чистый выигрыш — и ее мгновенное поглощение не вызывало раскаяния, казалось правомерным. По другую сторону нормы находилась еда, приобретаемая за большие деньги (тут тоже имелись свои градации — рынок и спекуляция). Отношение к ней было болезненным и заторможенным. Логически было совершенно безразлично — резать талоны, которых никогда не хватает до конца месяца, или съесть крупу, за которую заплачено из расчета 600 р. кило. Но эмоционально от этих 600 р. невозможно было отделаться, и человек, совершенно невоздержанно поглощавший выдачи и талоны, — тщательно мерил чашечкой и делил эту крупу, — чтобы полкило хватало хоть на четыре раза.

Вообще тут образовались самые странные и сбивающие с толку соотношения. На черной бирже крупа расценивалась в 600–700 р., а в столовой каша стоила 15 копеек. Если бы она совсем ничего не стоила, это было бы проще. Тогда существовали бы вещи платные (бешено дорогие) и бесплатные, но сбивало с толку именно то, что она стоила 15 к. Это лишало

деньги той привычной стабильности, которую они приобрели в нашем сознании, вскрывало символическую условность денежных знаков. Когда речь шла о том, что невозможно дорого нечто купить, — это было привычнее и естественнее. Самое странное начиналось, когда, возвращаясь из магазина, человек вдруг вдумывался в то, что он несет хлеба на четыреста рублей или масла на тысячу, что стоит ему отказаться от этого хлеба и пустить его в оборот — и самые недоступные вещи вдруг с головокружительной легкостью поступят в его распоряжение. Все становилось условным. Это было подобно условности денег во время карточной игры, особенно при игре фишками, но даже и деньгами, которые в принципе уже не отличались от фишек. Даже для человека, ограниченного в средствах, — деньги в этом процессе теряли свою нормальную бытовую значимость, и эта значимость сразу возвращалась к ним после игры, при расчете.

Таково было сложное соотношение между элементами еды — нормированными, добычными, приобретаемыми по вольным ценам. Все это нужно было соотносить и скомбинировать, и это требовало рационализаторской работы, увлекавшей людей, и опять-таки давало возможность для самоутверждения. Составные элементы нужно было расставить по местам.

Завтрак, например, в основном опирался на хлеб, которого с утра бывало больше всего. Если в данный день была какая-нибудь выдача, если дома имелся жир — это прибавлялось. Но на худой конец имелась гарантия в виде хлеба с чаем. В дни, когда было много талонов, обед мог обходиться без хлеба и без особых добавлений, но для этого непременно требовалось распределить день так, чтобы попасть во вторую столовую, где можно было взять еще две каши. Если талоны были на исходе, то уменьшенный обед приходилось брать домой и, скажем, прибавлять к каше зелень — для этого требовалась сходить на рынок, где ботва была относительно доступна. Сложнее всего обстояло с ужином. До вечера хлеб не дотягивался, и приходилось изыскивать хлебозаменители. Поэтому если была возможность приобрести крупу или муку (по спекулятивной цене), то это резервировалось именно на вечер.

В конце месяца не хватало талонов, но зато были частые выдачи. В начале месяца, до 5-го числа, не было выдач, но зато получались новые карточки, и следовало напирать на вторую столовую. В дни мясных выдач можно было сэкономить крупяные талоны и т.д. Так приходилось комбинировать еду разных категорий, денежные возможности, распределение дня. Удачная комбинация давала победоносное чувство. Рационализаторскими комбинациями в высшей степени увлекались люди умственной деятельности, переносившие в эту область преимущественного интереса свой пустующий умственный аппарат. И.М. — сверхинтеллектуальный человек, стопроцентный ученый, принципиально не умевший налить себе стакан чаю, — теперь часами занимался распределением и расчитыванием талонов. Он вкладывал в это дело свой блестящий логический ум. Вообще в этот период рационализаторами вопросов еды оказались вовсе не домохозяйки, а самые далекие от

хозяйства люди, особенно мужчины. Они были свободны от рутины, от старых навыков, совершенно непригодных для сложившегося положения вещей; они смело привносили методы, выработанные на ином опыте.

По тем же причинам люди этого рода оказались сильнее всего в деле приготовления пищи. Мания кулинарии овладела именно теми людьми, которые принципиально не умели налить себе стакан чаю. Они занимались стряпней по разным причинам — по необходимости, — заменяя и обслуживая своих близких (тетка, например, все меньше и меньше могла работать), потому что они боялись доверить другому это жизненно важное дело; главным образом потому, что это доставляло им наслаждение, потому что погружение в стихию еды выключало из трудной жизни, доставляло временное забвение бедствий и забот. Наконец, это была потребность активного участия в том, что являлось средоточием жизненного интереса. Мне пришлось видеть — еще в очень тяжелую пору, — как мальчик лет 17-ти (возраст наибольшего презрения ко всем бабьим делам), нахмуренный, с закушенной губой сидел у печурки и пек овсяные лепешки. Тут же вертелась его старшая сестра, которая несомненно сделала бы все это гораздо лучше, но он не подпускал ее и грубо отталкивал от печки.

Людьми овладела мания кулинарии, и чем скуднее был материал, тем больше это походило на манию. Существовала тенденция всякий продукт превращать во что-то другое. Мы делали из хлеба кашу и из каши хлеб (пшенички из смеси пшенной каши с мукой или с тем же хлебом); из зелени делали лепешки, из селедки котлеты, из сырых котлет, разминая их с лапшой, — какой-то паштет. Это превращало элементарный материал в блюдо (из одного хлеба делался суп, каша, лепешки, запеканки и т.д.), это было обогащением, обрастанием еды, увеличением ее объемности, растягиванием процесса. Люди мотивировали свои кулинарные затеи тем, что так сытнее или вкуснее, но в сущности основное тут было наслаждение от возни, от растягивания и расширения объемности.

Странное дело, то голодное нетерпение, которое гнало человека домой, вынуждало его, не снимая пальто и калош, бросаться растапливать печку, — это нетерпение утихало именно в тот момент, когда черновые приготовления были закончены и начиналась самая возня с материалом пищи. В эти моменты человек меньше чем когда бы то ни было думал о том, что он голоден, собственно меньше всего думал о еде. Настолько он был поглощен интересом к совершаемому действию.

Эти интеллектуальные кулинары, при всем своем благоприобретенном искусстве, портили свою стряпню именно в силу этого интереса и непрерывной потребности действовать. Они не могли заставить себя оставить готовящееся блюдо в покое. Они без всякой надобности приподнимали крышку, помешивали ложкой, пробовали (это было особое наслаждение и законная мотивировка предвосхищения еды), слишком часто поворачивали поджаривающиеся лепешки. В этой возне, в этом перенесении ценности с конечной цели на промежуточные и подготовитель-

ные процессы была специфическая эротика еды, заместившая в обиходе дистрофического человека настоящую эротику. К самим материалам еды, независимо от вкусовых ощущений, появилось эстетическое и чувственное отношение. На передний план выдвинулись осязательные ощущения. Так переживалась пушистая пшеничная каша. Или прекрасного бронзового цвета жидкое ржаное тесто, приготовленное для клецок или оладий. Сладостно было растереть ложкой эту плотную, гладкую, вязкую массу, которую хотелось съесть как шоколадный крем. Были блюда для приготовления скучные и интересные. Суп, например, был очень скучен. Он томительно долго, нудно закипал, и с ним, собственно, ничего больше не происходило. Интересно же было готовить все, что допускало внутреннее соучастие в наглядно совершающихся процессах. Каша росла, набухала (чудесно, что ее становилось больше), потом начинала посапывать и дышать под вьющимся над ней тонким паром. Клецки падали с ложки маленькими комками в холодную воду и в ней оживали, росли, делали пируэты — это уже почти походило на фокус. Лепешки могли безобразно рассыпаться, и могли сразу приобрести нужную форму и обрастать постепенно хрустящей коркой.

Это была эротика — культура самоценных процессов, отрывающихся от конечного акта насыщения.

Стихия еды владела человеческим днем, направляла его ход и располагала его вокруг трех этапов — завтрак, обед и ужин. Это были три средоточия, три центростремительные жизненные точки. Каждый из них имел свой характер, свои особые психологические качества.

Завтрак был первым этапом, и все предыдущее — пробуждение, домашние дела, хождение в магазин — устремлялось к завтраку как к своему средоточию. Завтрак обычно был подъемным этапом. Это была первая еда, и за ней предстояла еще всякая другая еда, что действовало успокоительно. Кроме того, завтрак была единственная в течение дня еда с относительным обилием хлеба (утром брали по карточке Оттера 500 грамм на двоих, и Оттер съедал из них около 300 гр.), основой завтрака был именно хлеб, и это придавало ему полноценность, которой были лишены и обед, и ужин.

Людям открылось множество новых вкусовых возможностей, но ни с чем не было связано столько открытий, как с хлебом. Хлеб, который для интеллигента, особенно для интеллигента, стремившегося избавиться от полноты, был все-таки мужицкой пищей, добавлением, обязательным не ко всякой еде (например, вовсе не обязательным к обеду); он по несколько дней черствел в хлебнице; его незаметно покупала и ставила в счет домработница (до самой войны Оттер не знал — почем кило хлеба, и в первый раз ему было стыдно спросить об этом в булочной). Этот хлеб оказался хлебом насущным, основой всего, абсолютно незаменимым, исполнением неисчерпаемых вкусовых возможностей. Кроме того, он оказался магической вещью, ключом, с помощью которого можно было открыть все вокруг.

Хлебная травма, хлебный голод, гораздо глубже проникший в сознание, чем всякий другой голод, — характернейшее явление этой поры.

Если человек не съедал свой хлеб по пути из булочной домой, то дома он с ним любовно возился. Он развешивал его для членов семьи, нарезал красивыми ломтиками. Он извлекал из него все вкусовые возможности. Хлеб можно было поджаривать, подсушивать, обмакивать в холодное постное масло с горчицей и перцем, обмакивать в разогретое масло. Иногда к завтраку Оттер устраивал три разновидности хлеба — хлеб, поджаренный на жиру. Его нужно было не хватать руками со сковородки, а есть при помощи ножа и вилки — тогда это получалось блюдо. К чаю же было хорошо подсушивать толсто (непременно толсто) отрезанные корки, которые подсыхали снаружи, а внутри сохраняли свежесть. Особенно упоительно это было с маслом; масло закладывалось ножом во внутрь такого куска; тогда получался пирожок. Наконец, до всего и после всего прекрасно было съесть просто ломтик свежего хлеба с его особой чистотой вкуса и сытностью.

Однажды Оттеру пришлось быть в доме, высоко привилегированном. Хозяйка (старая знакомая), наливая ему кофе, сказала: «Знаете что — не стесняйтесь с хлебом. У нас его больше чем хватает». Оттер взглянул на хлебницу и увидел нечто давно не виданное. Старый интеллигентский хлеб, доблокадный. Хлеб неделеный, небереженный, нехоленый. Хлеб и булка неровными кусками вперемешку лежали на хлебнице среди мелких отрезков и крошек. Булка притом зачерствела, как бывает, когда она полежит дня два. Все это было удивительно. Оттер действительно ел, не стесняясь. И странно — у него не было жадности к этому хлебу. Он показался ему неуксным и, главное, невожденным.

Ложась голодная в постель, тетка говорила — «Я так люблю утро, когда у нас много хлеба; когда ты уходишь за хлебом». Оттер не говорил этого, но он думал то же самое. Утром он с удовольствием брал портфель, которому предстояло стать вместителем хлеба. Вернувшись из магазина, он с удовольствием и некоторым торжеством вынимал из портфеля еще нетронутый кусок. В момент этих первых манипуляций с хлебом (разрезание на две порции — теткин и свою) даже казалось, что его много, что, может быть, можно не съедать все до конца. По мере еды эта иллюзия рассеивалась.

Чтобы получить удовольствие, необходимо было проявить в магазине выдержку. Можно было съесть только маленький довесок, который по обычному праву принадлежал берущему хлеб. Дома хлеб, даже без добавлений, но освеженный на плитке, но с чаем, но аккуратно нарезанный ножом, — это была еда, даже блюдо. Здесь же по пути — это было низшее насыщение, не доходящее до сознания. Непростительная растрата ценностей и возможностей процесса еды.

В завтраке таилась опасность проделать его слишком рано и рано проголодаться. Это влекло к слишком раннему обеду и т.д. Поэтому

Оттер искусственно затягивал вставание, проделывал натошак все домашние дела и т.д. Но когда хлеб был уже получен и уложен в портфель, тянуть было больше невозможно. Тогда все, что стояло на пути к еде, нестерпимо раздражало. Чтобы не подниматься лишний раз по лестнице (принцип экономии сил), он брал с собой ведро. И эта операция добывания воды, тормозившая завтрак, была одной из самых тягостных. Все эти пространства, которые с полным ведром приходилось одолевать собственным телом и собственной волей, — были вдвойне томительны оттого, что тут же в портфеле лежал хлеб, который был табу, который нельзя было трогать.

Если до ухода в магазин Оттер умышленно тормозил и затягивал действия, то по возвращении домой с хлебом запреты уже были сняты и начиналась страшная торопливость. Не снимая пальто, он бросался растапливать печку (тетка чувствовала себя плохо и в эти часы еще не вставала с постели). Он спешил погрузиться в стихию еды, поглощающую, отделяющую от враждебного мира до полного забвения, полную захватывающих перипетий и интересов. Утром надо было подготавливаться к рабочему дню и спешить на работу. Но вопреки всему он не отказывал себе, не мог отказаться в этом погружении и забвении. Это было на первом месте, и пока это не кончалось, ничто другое не имело над ним власти.

Покуда он занимался приготовлением завтрака, он не занимался ничем другим. Иногда, из рационализаторских соображений, он решал, что будет одеваться, или умываться, или собирать портфель, или доделывать домашние дела, или просматривать рукопись — покуда кипятится чай или поджаривается хлеб. Но это не удавалось. Процессы изготовления, возня с материалами еды были слишком всепоглощающими, все другое врезалось как инородное тело, как помеха, расстраивало и портило наслаждение поглощенностью и в то же время само не удавалось, так велико было против него раздражение.

Оттер стал искусным и терпеливым кулинаром, но его стряпня сопровождалась страшным беспорядком, происходившим от торопливости и от высокого дилетантизма. Нужно было делать все сразу, и хаос вокруг него все разрастался. Он наклонялся к раскрытой дверце, обжигая лицо, чтобы подбрасывать маленькие поленца. Он помешивал в кастрюльке, и кастрюльку уже нужно было передвинуть и сдвинуть на ее место чайник, потому что хорошо разогревалось только то, что стояло посредине печурки, особенно в тех местах, где она прогорела. В то же время надо было следить за подсушивающимся хлебом, чтобы вместо темной золотистой корки он не покрылся черными гарными пятнами. Руки Оттера были прокопчены и промаслены — это ему даже нравилось. Хаос нарастал. Почему-то уже появились три ложки, и Оттер хватал то одну, то другую. На полу уже стояла пустая сковорода, и в ней очутилась крышка от кастрюльки. Кругом одна за другой повисали какие то тряпки — на трубе, на спинке стула, на корзинке с дровами. Оттеру казалось, что каждый раз он берет нужную вещь

и маневрирует ею нужным образом, но вещи превращались в хаос. Но это был не оскорбительный и не враждебный хаос. Через него пролегли линии пути, которые вели к цели. Эти грязные, прокопченные, нагромождавшиеся вокруг вещи служили Оттеру, это была сумбурная, но по-настоящему рабочая мастерская изготовления еды.

Сегодняшнее меню были чай с подсушенным хлебом и зеленая каша с хлебом. Хлебная каша было очень вкусна, но ее получалось мало, и она поглощала слишком много хлеба. Поэтому, когда была зелень, то хлеб прибавлялся только для густоты и сытной вязкости. Сначала в кастрюльке с минимальным количеством воды нужно было развести хлебную кашицу, потом погрузить в нее зелень, которая приобретала тогда под ложкой приятную вязкость.

У стола Оттер сосредоточенно разрезал ломтик хлеба на маленькие квадратики. Их предстояло опустить в кипящую воду и раздавить ложкой. Ему вдруг приходит в голову, что то, что он делает, напоминает детскую игру. Так играли девочки. Они стряпали игрушечный обед и готовили лепешки из травы и пирожки из песка. Он как мальчик смотрел с презрением на бабьи игры, но ему было скучно и постепенно он придвигался и с видом неохоты принимал участие. Его как мужчину назначали кухонным мужиком и поручали ему тяжелую работу — колоть перочинным ножиком сучки или в ведерке носить из речки воду. Постепенно он втягивался в игру плотнее и вместе с девчонками с увлечением превращал песок в тесто и траву в начинку. Примерно то, чем он занимался сейчас.

Все готово и наступает последний акт, к которому устремлялось все предыдущее. Еда. И каждый раз здесь, на кульминационном пункте, наступает срыв. Каковы бы ни были успехи и достижения Оттера в области добычания и приготовления пищи, — в области ее потребления он решительно ничему не научился. Все теории о медленном смакующем процессе еды проходили мимо него. После всего что он делал с момента пробуждения для этого завтрака, после того как он с некоторой торжественностью сядил за стол, вытерев его тряпкой, — он ел по старому своему обыкновению быстро и равнодушно.

Ему не удавалось поймать и довести до сознания драгоценные вкусовые ощущения. Он испытывал по этому поводу неудовлетворенность, род угрызений совести. Он хотел и мог сказать — остановись мгновенье, ты прекрасно! Он испытывал раскаяние и каждый раз говорил себе — теперь уже не стоит начинать есть иначе, когда всё уже на три четверти съедено так, с упущенной, ускользнувшей ценностью. Но в следующий раз происходило все то же самое, и опять он не мог остановить мгновенье. Гораздо полноценнее ему удавалось вспоминать о еде или перебирать в уме ее перспективы. Так в области еды с Оттером происходило то самое, что всю жизнь преследовало его в любви. Он плохо понимал все разрозненное, чувственное и быстротекущее. Он не мог остановить мгновенье.

Раздел 1. Сборы

Домашняя часть дня закончена. Предстоит вступить в мир социальных отношений. В период передышки этот мир предъявляет уже известные требования (даже подчеркивая их) благопристойности. На хаос, который представляет собой его тело, его вещи, должен быть наложен некий социальный покров. Вступать в систематическую борьбу с хаосом у него нет времени (в значительной мере это предлог), в сущности, нет воли. Из хаоса выделяются и обрабатываются некоторые участки. Так происходит умывание. Как обманное действие. Гнетущая хаотичность этого процесса — грязное ведро, таз с течью, который косо ставится на ведро, и пр. Когда он стоит согнувшись и полощет руки в малом количестве грязной уже мыльной воды, — сознание мучительно прорезывает видение комфорта — сияющих, белых, кафельных, эмалированных, никелевых атрибутов ванной комнаты, хрустящих полотенец на трехпалой никелированной распялке. Сейчас же совершается подлог; нечто имеющее гораздо большее отношение к грязи, чем к чистоте, — ведро с запахом, черная пена. Из этого обманном путем выйдут отмытые участки тела, открытые социальному миру. Остальное спрятано, о нем лучше не думать, когда оно не напоминает о себе чесоткой. В общем, все это каждый раз возбуждает угрызения совести, приближает решимость взяться за эту сторону быта — и каждый раз не хватает воли и потому — времени.

Далее продолжается и завершается тот процесс одевания тела (оно уходит все глубже), который начался с момента пробуждения. Сейчас на него наносятся последние штрихи социальности. Грязная домашняя куртка (когда-то она была пижамой с брандесбурами⁷, но сейчас слово пижама не подходит к ней и ко всему тому, что в ней приходится делать) заменяется пиджаком, (предварительно) повязывается галстук. Галстук увеличивает процесс укрытия тела. Галстук высится над хаосом тела, загнанным в глубину. Конечно, это тоже обман, только поверхность, подобная порядку на столе при хаосе в ящиках. Хаос не уничтожен, но задвинут, прикрыт — о нем можно не думать. Во всяком случае, это приятный момент; это привычные, автоматические жесты, уцелевшие от прежней жизни.

Перед зеркалом Оттер разглаживает волосы щеткой. Автоматическим жестом дважды оборачивает один конец галстука вокруг другого, пропускает широкий конец в петельку. Оттягивает узкий конец вниз, в то же время двумя пальцами и подергиванием шеи поправляя узел.

Остается собрать тару. Как все в городе — он ходит с тарой. Этот участок ему удалось выделить из хаоса и организовать. Поэтому заниматься этим всякий раз приятно, и он занимается этим с излишней кропотливостью. В бумажнике по отделениям проверяются документы, деньги, особенно карточки. Карточки проверяются по несколько раз в день, потому что его пресле-

дует подозрение, что он их потерял. В начале месяца они глянцевиые, плотные, с оборотной стороной, похожей на рубашку свежей карточной колоды, успокоительно приятные своей непочатостью. Еще похожие на важный документ. К концу месяца они становятся все более куцыми, бесформенными, криво обстриженными. Захвачанная бумага стала тусклой и тонкой, потеряла свой гербовый хруст и глянцевиость. Теперь этот куцый, замысловатый и криво обрезанный кусочек цветной бумаги совсем не похож на нормальный документ. И потому в нем явственно проступает его подлинная страшная сущность. Он кажется теперь особенно непрочным, склонным к исчезновению. Еще гораздо настоячивее, чем в первоначальном нетронutom виде, он напоминает о том, что он — страшная виза человеческой жизни и смерти.

Бумажник укладывается в один карманчик портфеля, в другой — металлическая коробочка с табаком, мундштуком и курительной бумагой. В портфель идут рабочие рукописи, книги и какая-нибудь дополнительная банка, не влезающая в сумку. Сумка пойдет через плечо.

Здесь у Оттера все хорошо подобрано. Банки — литровая для супа, полулитровая для каши (это обед тетки). К банкам подобраны плотно налезавшие на них консервные крышки. Между банками кладется свернутая в клубок авоська — на случай каких-нибудь дополнений — и жестяная коробочка, поперек ложка. Это нехитрое устройство, которым Оттер гордится. Это маленькая победа над хаосом, над частицей хаоса. Это начало стройности, социальности. Это прекрасное начало организации, которое побеждает проклятую изоляцию эгоистического человека, приобщая его к системе социального целого. И, укладывая свою сумку, Оттер ощущает глухую потенцию этого приобщения.

Раздел 2. Учреждение

Первый выход из дому на работу тоже имеет свою прелесть. Он связан с подъемом душевной энергии. Дом, несмотря на тяжелую борьбу, на частичные маленькие победы, — это, в основном, хаос и изоляция. И с утра, пока усталость не одолела, пока есть еще нерастроченные силы, хочется вырваться в мир хотя бы суррогатных социальных целей и социальных отношений. Мир, который действует по своим законам, где не приходится самому сдвигать и поднимать каждый предмет, который уже отчасти прибран чьими-то другими руками.

Хорошо, что учреждение близко. Это выигрыш в затрате физических сил. Такие выигрыши у враждебного мира очень нужны.

Вообще к учр<еждению> он относится хорошо. Особенно это чувствовалось зимой. Учр<еждение> было оазисом с отвлекающим занятием, с людьми, с электрическим светом и электрическими приборами, которые воспринимались как фокус, с обильно (по вечерам) топящейся печью и — почему-то — иллюзией безопасности. Иллюзия безопасности совершенно противоречила действительному положению вещей. Она происходила оттого, вероятно, что там были люди бодрые, относительно сытые,

намеренно избегавшие разговоров о еде, бомбежках и эвакуации. Вечером бывало приятно из тьмы нырнуть в подъезд, представляя себе печку, свет, прекращение непрерывных физических страданий и то, что он сварит себе из ста грамм хлебную кашу. И для этого не надо колоть щепки в темноте, осторожно, чтобы не обрубить замерзшие пальцы, вклинивая в них топор. А надо только проделать фокус с втыканием штепселя. И он с удовольствием думал о том, что никуда не уйдет и останется здесь ночевать среди людей. Сейчас многое из этих зимних моментов отпало. Но учреждение осталось единственным, хотя очень условным, выходом из изоляции.

При входе можно уверенным жестом, не глядя, предъявить пропуск охраннику. Он терпеливо всем говорит: «пожалуйста», — очевидно выполняя инструкцию. Здесь возникает чувство удовлетворения от сознания своей социальной применимости. У него в руках пропуск в учреждение оборонного значения, символ его ответственных там функций. Это он, которого всегда держали на отлете и под подозрением. Но вот в трудный момент те самые люди, которые держали его на отлете, — разбежались, а он остался на посту и завоевал социальную применимость. Оттер знает, что все это поверхность, что в действительности державшие его на отлете были правы, потому что он сам был внутренне на отлете; что он остался, потому что это устраивало его больше, чем любая другая ситуация; что ход вещей возьмет свое, и когда пройдет трудный момент, понадобится опять не он, а те, которые разбежались, как более подходящие для выполнения данных функций. Что он опять будет отброшен; и это правильно и полезно для него, потому что подлинная его социальная применимость только в его неприменной творческой работе.

Оттер знает об этом. Но психическая жизнь человека одновременно совершается в нескольких планах или этажах.

В высшем интеллектуальном плане он ясно сознает иерархию ценностей, но одновременно с восторгом переживает низшие удовольствия. Он знает, что для него бюрократические ценности вздор, что у него другая применимость, но неудержимо наслаждается полученным званием или назначением. Он знает, что этот знаменитый писатель — слепой щенок по сравнению с ним, но ему льстит знакомство знаменитого писателя. Так, Оттеру нравится пропуск и должность, занимаемая им в этом учреждении.

Сложилось так, что этот сорокалетний с большим профессиональным стажем человек никогда не служил (педагогическая работа — другое дело). Это было характерно для его жизненной позиции, и друзья посмеивались по поводу того, что он единственный в своем роде. Пд., с его противоположной жизненной позицией, — говорил ему: Вы ни в чем не участвуете и главное (для Пд. это главное), никто от вас не зависит, вы даже минимальным образом не влияете ни на чьи судьбы. Статьи сочинять — это совсем не то. Теперь это была — правда, тоже вольная, — но все же служба. Новое, не автоматизованное для него состояние. И в символике служебных жестов обыгрывалась социальная применимость. Игровое, эс-

тегическое начало, то есть переживание символики чистых смыслов процессов — попутно их практической направленности, — осуществлялось именно в ранние предобеденные часы с их неисчерпанной еще свежестью восприятия. В этой символике находили себе реализацию глубокие, и у Оттера совершенно неудовлетворенные, потребности, хотя бы в той форме, которая относилась к низшим этажам иерархии реализации ценностей. Потребность в социальной применимости, в власти и воздействии на чужую судьбу, в том, чтобы быть «со всеми сообща и заодно с правопорядком»⁸. Для Оттера это были боковые потребности, даже противоречащие его основным. Но по закону иерархической многоплановости душевной жизни — они настоятельно заявляли о себе.

Что касается последней потребности, то человека (если он нормальный, здоровый человек), у которого нечто складывается «не так, как у людей», — всегда мучает беспокойство. Он утешает себя тем, что это свидетельство его высшей предназначенности, и все же его неотступно преследует страх унижения; подозрение, что здесь не выходит не потому, что он выше, а потому что он ниже этого самого, не дотянул. Для того чтобы быть выше чего-нибудь, нужно быть не ниже этого самого (могу, но не хочу), а это требует проверки и доказательств самому себе. И на психически здорового человека всегда успокоительно действует подведение под общую мерку.

Это успокоительное чувство Оттер испытывает, поднимаясь — с некоторым трудом, как и все теперь — тоже общая мерка, — по семиэтажной лестнице огромного, сложного, со сложным взаимодействием отделов, учреждения. Навстречу спускаются люди из разных этажей и отделов, которых он уже знает, с которыми он уже связан служебными функциями (согласовывал и уточнял). Все они, в том числе люди совсем других технических специальностей, знают о нем, смотрят на него, как на нужное в каком-то своем месте звено.

На площадке его окликает р<ежиссер> В.: «Дорогуша, здравствуйте. Как ваше здоровье? Скажите». В. жмет руку и вглядывается в лицо так сочувственно, что Оттеру приходит в голову (это неприятно в контексте мыслей о социальной применимости), что В. спутал его с кем-то другим, кто только что болел. Но оказывается, В. не спутал, потому что он спрашивает: Как, всё там же питаетесь, в С<оюзе> п<исателей>? — Там же, как же. — Ну как, говорят, там лучше, чем в Северном⁹, где наши все.

— Да не знаю. Некоторые говорят, что в Сев<ерном> лучше. Ничего, в общем. В последнее время стало немного лучше. Как иногда... У нас опять совершенный завал с машинистками. Имейте это в виду. Так что вам опять придется читать по рукописи. — Как нехорошо... — Знаю, что очень плохо. Но завал полный. Я как раз все сдаю вовремя. Там для вас материал у А<нны> М<ихайловны>. — Я еще зайду. Я, знаете, хочу на это попробовать новую актрису. Это ведь можно женщине — как вы думаете? В общем, я еще зайду...

Оттер испытывает чувство минимального воздействия на чужую судьбу, о котором говорил Пд., когда секретарша встречает его словами: Александр Ильич, Вам опять звонил Б. Он просто рвется в бой. — Да, я знаю это дело. Но я на эту неделю никак не могу его запланировать. Мне и так не выползти из остатков.

— Подпишите, пожалуйста, эти две, — говорит секретарша, — я тогда их отправлю.

Оттер бесчисленно много подписывал корректуры своих творческих созданий. Но эта подпись совсем другое. Она заиграет сейчас в объективной системе учреждения. Без нее что-то в этом конвейере не может быть сдвинуто, она необходимое звено и потому свидетельство его победы над чуждавшимся его, выталкивавшим его миром социальных отношений. Он ставит ее (подписывает) с чувством бюрократического удовлетворения (ответственный работник). Он продельвает ряд действий, несущих в себе ту же символику — ответственный работник, социальная применимость, со всеми сообща, — заглянуть в ред<акционную> комнату и пошутить с товарищами, договориться с секретарем, передать машинистке, пройти в кабинет к начальнику, позвонить по внутреннему телефону (внутренний телефон тоже признак развернутой и замкнутой системы учр<еждения>, к которой Оттер принадлежит) в другой что-то перепутавший отдел.

Садится за свой стол. Неторопливое сворачивание папиросы и закуривание об электрический прибор.

(Служебные разговоры вокруг и с Оттером.)

Его стол — территория, отвоеванная в безусловно объективном и прежде безусловно враждебном бюрократическом мире. Поэтому правильно, что он с его служебными рукописями и нужными для работы книгами и что он притом совершенно безличен — со всеми сообща — и ничуть не похож на его домашний письменный стол. Это бюрократический стол с двойным, симметричным письменным приборчиком и целым ассортиментом плохих перьев. Дома у Оттера вообще постоянно нет пера под рукой. Игровыми, осязательными в своей символике движениями Оттер раскуривает папиросу, стряхивает пепел в казенную, но принадлежащую к его завоеванной территории пепельницу. Тянется за рукописью со скрепкой в углу и надписями разными почерками, разных оттенков карандашами и чернилами. Перелистывает бумаги в картонной папке.

Вся эта серия жестов — совсем иная по своему качеству, чем те действия, которые он утром совершал дома. Когда он выносил нечистоты, колот дрова, тащил по лестнице ведра с водой — это были трудные и серьезные действия первостепенного жизненного значения, большой важности. Это была борьба за жизнь с явственно осязательными результатами. С сознанием, что несовершенство любого из этих действий — невозможно, непосредственно губительно. Здешние действия не несли в себе ничего подобного. Не то, что дело, которое здесь делалось, было никому не нужно; нет, скорее оно было нужно, но в нем не было трагической обязательности дела жизни и смерти, как

в хождении за водой и хлебом. И главное, участие Оттера в этом конвейере было случайным, вполне заменимым, необязательным ни для него, ни для учреждения. И действия, которые он здесь совершал, не имели непосредственных ощутимых результатов улучшения чего-то, устранения очередного страдания (как вынесенное ведро с нечистотами). Здешние действия легко (за пределами его поля зрения) отделялись от того, кто их совершал, и уплывали куда-то, чтобы влиться в работу внеположного ему, не имеющего абсолютно несомненной жизненной необходимости аппарата. Поэтому в этих действиях — в отличие от тех — была какая-то внутренняя необязательность и легкость, и они легко приобретали игровое качество. Они могли отрешаться от своих практических результатов и переживаться как процесс и форма.

В здешних действиях была еще одна сторона — своеобразного душевного отдыха. Только низшая умственная работа дает полное психическое выключение, переключение, ибо физическая работа оставляет интеллектуальному человеку возможности мысли или хотя бы некое недопроясненное сознавание жизни.

Вот почему низшая умственная работа и есть подлинное убийство жизни и сознания, и именно она создает самых страшных канцелярских людей (чиновник). Вне низшей умственной работы, которой он занимался здесь, Оттер либо переживал умственные процессы, утомлявшие ослабевший, отвыкший от них организм; либо давящую, гнетущую пустоту и оцепенение, страшное ощущение своего небытия; либо муки совести, терзавшей его за умственное бездействие.

Но низшая умственная работа примитивным образом упражняла умственный аппарат, свидетельствуя человеку о том, что его жизнь еще не остановилась. Она отстраняла совесть под классическим предлогом отсутствия времени. Она заполняла пустоту и вместе с тем выключала все трудные умственные процессы.

Раздел 3. Торопливость

Как только кончается ориентировочный период служебного дня и начинается высиживание — прекращаются игровые переживания. И вот тут откуда-то вступает мотив торопливости и все более властно овладевает ситуацией. Оттер не мог понять, что с ним делается, что за странному, болезненному состоянию он каждый день подвержен, — пока не понял, что внезапно нахлынувшая и все возрастающая торопливость — это один из оборотней голода или его травм. Ведь голод все время оборачивался то страхом, то тоской, то усталостью, — чтобы потом только выступить в чистом виде. Торопливость как одна из масок голода — это непрерывное устремление от одного этапа еды к другому, смешанное со страхом что-нибудь упустить. Торопливость в особенности связана с обеденным временем. Завтрак и ужин совершаются дома. Они зависят от нас, их составные элементы более или менее у нас в руках. Обед отпускает казенное учреждение, равнодушное. То есть оно заботится, но у него на все есть объективные причины (действи-

тельно есть и действительно объективные) — когда оно ничего не может поделать. Отсюда недоверие. Вдруг что-нибудь случится, помешает! Не хватит. Зимой несколько раз так было, что не хватило каши. В особенности могло не хватить каких-нибудь дополнений (соевое молоко и т.п.), отпускаемых в буфете. Такие случаи были, их долго нельзя было забыть. Кроме того, зимой Оттер пользовался второй столовой (в учр<еждении>). В ранние часы там бывали страшные очереди. Поэтому туда надо попадать к концу (после главной столовой), а конец наступал рано. И вот тут действительно часто и равнодушно говорили: каш<и> больше нет. В лучшем случае кашу могли заменить лапшой, — что невыгодно. Из первой столовой во вторую тогда приходилось почти бежать, гадая с тоской — открыто ли, дадут ли кашу? Потом надо было как можно скорее отнести обед тетке (очень маленький обед, скомбинированный из двух столовых), потом как можно скорее вернуться в учр<еждение>. Это был пробег, и человека гнали по кругу непрерывные страдания и непрерывное желание от них избавиться.

Теперь вещественная сторона в значительной мере отпала. В столовой всегда хватает; второй столовой он не пользуется. Осталась психическая сторона — один из оборотней голодной травмы. В своем роде она ужаснее. Ибо это уже символическое отражение внутренней жизни — пробег от одной бесцельной цели к другой. Эти цели расположены по кругу в бессмысленной, никуда не ведущей повторяемости. Поэтому нечто оздоравливающее есть в том, когда это душевное состояние начинает сливаться, мотивироваться реальным чувством голода, наступающим как раз в эти часы. А для травмированного человека реальное чувство голода плохо переносимо, оно, в свою очередь, порождает томленье и страх.

По мере того как возрастает желание есть, возрастает торопливость, становится, наконец, истерической. Оттер сосредоточен теперь на одной мысли — скорее уйти (у него ненормированный рабочий день). Все игровые моменты и служебная символика бесследно исчезают. Он вычитывает рукопись, мучительным усилием воли ведя себя от строчки к строчке. Хуже всего переносить правку из первого экземпляра во второй и третий. Это утроенное торможение, утроенная остановка пробега на одном месте — непереносимы. Надо сохранять все приличия, и он сохраняет их. Тщательно следя за собой, он замедляет жесты. Он говорит случайным тоном: Так Вы передадите В.С. Мне сейчас необходимо уйти. Я буду часам к четырем, если кто будет интересоваться.

Кто-то спрашивает: Вы в Союз? — Да, то есть я там буду. У меня еще сначала дела (нельзя обнаружить, что он уже так рано торопится обедать, это неприлично). Секретарша говорит бодрым голосом: Александр Ильич, будет чудесно, если Вы мне сейчас напишете эту исходящую.

Тогда он теряет самообладание. С точки зрения секретарши, это задержка на десять минут. Она не понимает, эта милая девушка, что врезалась в бешеный внутренний бег травмированного сознания; что это очень больно. Он теряет самообладание; он не может сделать уже ни одного лиш-

него, на минуту тормозящего жеста. Он не может дойти до своего стола; он просит у секретарши листок бумаги, хотя бумага у него тут, в портфеле, но надо щелкнуть замком портфеля. Он хватает самое ближайшее, почти пишущее перо, где-то присаживается и пишет с противоестественной быстротой, совершенно не своим почерком — эти несколько строк, выигрывая на этом минуту, но отвратительно выписывать буквы. Он думает в это время о том, что ему предстоит преодолеть выход на улицу, трамвай, кусочек пешком, очередь у контроля, очередь в столовой, медлительность подавальщицы... И в этом ряду трудных и сложных действий — то, ради чего они совершаются, — еда (порция супа и порция каши — 250 грамм), растворяется, тонет, оказывается неуловимо краткой и эфемерной.

Раздел 4. Трамвай

Момент, когда можно, наконец, покачивая портфелем, легко (относительно легко) спуститься по лестнице, оставить за собой дверь с сознанием, что уже никто не удержит (на лестнице еще могут окликнуть), проникнут каким-то молодым чувством. Он похож на гимназию со звонком, прерывающим урок. Заряда молодой легкости хватает до трамвайной остановки. Теперь он вступает в отрезок дня, стремительно приближающийся к обеду.

Зимой трамваи выходили из употребления постепенно. В городе говорили: вот сегодня уже нет тока. Притащился пешком с Петроградской. На следующий день трамваи кое-как шли. Никто не думал, что это конец. Однажды они не шли несколько дней, а потом трамвай догнал Оттера по дороге и подвез. И у него уже было приятное чувство, что он перехитрил ход вещей, урвал нечто из враждебного мира. Потом все кончилось и дошло под самый конец (он был очень долгим) до мостовых, покрытых ледяной коркой, под которой нельзя было вообразить трамвайные рельсы, до вмерзших в мостовую троллейбусов. Они стояли у берега тротуаров с приспущенной дугой.

Тогда пробег по кругу вовсе не имел психологического и символического значения. Это был физически реальный пробег от дома к учреждению, от учреждения к столовой, от столовой к столовой, от столовой домой, от дома в учрежденье... Одни тащились, другие, подгоняемые вечным страданием и тщетным желанием от него отделаться, бежали — скорей! скорей! — по морозу, сквозь дико красивый заиндевевший город. Закостеневшие руки по ходу раскачивались, как палки с подвешенными к концу портфелями, судками, авоськами с банкой.

Потом к апрелю город откапывал трамвайные рельсы. Оттер тоже откапывал рельсы со своим учреждением. К трамваям Оттер очень долго не мог привыкнуть. Инерция зимнего быта была еще так могущественна, что она не принимала в себя этот элемент удобства. Оттеру все казалось, что это нечто ударно-показательное, чем нельзя пользоваться практически, всерьез. Он с удивлением смотрел на людей, которые совершенно всерьез, деловито — как будто с трамвайным сообщением никогда ничего не проис-

ходило — тискались у дверцы и кричали: «Куда вы лезете!» Он долго продолжал ходить пешком, мотивируя это тем, что давка, которую он не выносит, что долго ждать и проще дойти пешком. Но на самом деле было страшно трудно ввести новый момент в бытие, которое за время перерыва в трамвайном сообщении успело окостенеть, сложиться из серии повторяющихся рефлексивных жестов.

Потом он попробовал, оказалось, этим можно практически пользоваться. Тогда он стал сразу крайним приверженцем трамвайного передвижения. Это вошло в его рационализаторскую систему наименьшей затраты физических сил. Он стал терпеливо выстаивать на остановках, чего отродясь не делал.

Сейчас дожидаться было трудно. Ожидание трамвая грубо врезалось в торопливость. Это было хуже, чем очередь. Он топтался на месте и грыз ногти, как это делают, заглушая физическую боль. Но он ждал, хотя ходьбы было минут 20–25. Считалось — в его рационализаторских размышлениях о быте, — что это для наименьшего расходования физических сил. На самом деле важнее было другое — в состоянии истерической торопливости так противно было представлять себе пространство, отделяющее от цели, и которое шаг за шагом, терзаясь торопливостью, придется одолевать своим телом, что (почему-то) легче, проще было топтаться здесь и ждать облегчения, облегчения от трамвая.

С остановки он шел за угол, откуда виден был поворот. С усилением близорукого человека он вглядывался туда, принимая вдруг за трамвай ворота поперечного дома, или дерево с листвой, или ряд окон в стене. Чуть ближе проходила поперечная трамвайная линия. Это тоже обманывало, но вместе с тем хорошо, что эти чужие трамваи проходят позванивая; значит трамвайное движение существует (это зимняя травма недоверия к бытовым благам). По близорукости трудно разобрать, какой это трамвай (темно-красный массив трамвая несомненен) — может быть, опять поперечный. Но он уже явственно заворачивает мордой вперед и тащит за собой свой корпус по полукругу. Есть! — это радость и облегчение. Можно теперь уверенно, с приятной иллюзией неторопливости в пределах торопливости, — пройти от угла к остановке.

Эта посадка в трамвай — один из самых лучших, подъемных моментов дня. Это легкость, вырванная у враждебного мира. Вернее, дарованная человеку за счет этого мира. Среди всех упорствующих вещей, ушедших из-под нашей власти. Среди вещей, которые надо двигать и поднимать собственной волей и собственными мышцами, — вдруг одна послушная вещь, элемент комфорта, побежденный хаос, служащая тебе механическая сила.

Переживание это возможно потому, что здесь близко кольцо и в эти часы трамвай свободен. Потому он и кажется восхитительно послушным. Ничто подобное не применимо к набитому трамваю, вполне составляющему принадлежность враждебного мира. В переполненном трам-

вае пространство между задней и передней площадками, набитое спинами, кепками, корзинками, кофтами, — преодолевается с бóльшим трудом (психическим), чем любые расстояния. У человека нет чувства, что послушная машина берет на себя его работу, потому что параллельно работе продвижения в большом пространстве он совершает мучительную и бессмысленную работу протискивания (с переругиванием) на малом пространстве.

Но трамвай свободен — он принадлежит каждому садыщемуся в него человеку. Каждый день Оттер с удовольствием возобновляет забытый было автоматизм движения, которым человек, взявшись за поручень и откинувшись на мгновение, вталкивает себя на ступеньку. Он остается на площадке. Ему сейчас вовсе не хочется заниматься максимальным рациональным сохранением своих физических сил (для этого следовало бы сесть), ему хочется переживать движение, чудесное механическое движение, преодоление пространства, одновременно совершаемое им, за него, для него. На площадке все это гораздо явственнее. Хорошо, что трамвай трясется и подрагивает — это ошутимость движения, совершаемого им и за него. Так что чистое психическое переживание движения осталось ему, а вещественный труд взяла на себя послушная машина. У Оттера молодое чувство легкости. Враждебный мир на мгновение обманут, из него вырван клоч. Рядом на площадке стоят двое красивых, очень молодых краснофлотцев в бескозырках. И Оттеру хочется вдруг стоять на подрагивающей площадке, как на палубе, — юношеские, романтические представления. Расставив ноги, засунув руки в карманы, с папироской в зубах. Соленый ветер дует в лицо. Как хочется вдруг неповторимого переживания свободы — от волны и ветра, от сладостного ощущения кренящейся яхты. Трамвай идет, подрагивая, позванивая на остановках (какой ужас, срыв и томление, если вдруг авария, непредвиденная остановка). Он сам, без всякого моего содействия, отодвигает за собой улицу дальше и дальше. Низкая рама стекла легко прорезает дома, разбомбленные и неразбомбленные, недействительные вывески, постовых милиционеров. Несколько мгновений она несет в своем кадре пешеходов, оставляет их по дороге. Все это движение, позвякивающее, подрагивающее, успокаивающее торопливость...

Раздел 5. Обед

Еще с чувством легкости Оттер выскакивает из трамвая. Но тут же торопливость вступает опять со все возрастающей силой, со все возрастающими сомнениями в благополучном исходе. Очень противен оставшийся пешеходный кусок. По дороге встречи с возвращающимися, когда трудно удержаться от вопроса — что дают? (специфическая магазинная терминология), а с другой стороны, хочется удержаться, чтобы не отрезать себе сразу все возможности ожидания. Можно кое-что умозаключить по тому, как они держат свои сумки, бидоны или портфели. За углом открывается дом, всегда приоткрытая входная дверь. Это отрадный момент. Уже ничто (включая обстрел или воздушную тревогу) не помешает дойти и войти. Но от-

радное чувство достигнутой цели сразу же перебивают отравляющие мотивы. Во-первых, продолжается вся серия беспокойств — не помешает ли что-нибудь, не будет ли чего-нибудь упущено, вплоть до самого последнего, не потеряет ли подавальщица бирку. Во-вторых, заранее мучит неполноценность предстоящего.

Обед — центральная и в то же время из трех — самая неполноценная еда. Он всецело находится во власти внешнего мира, и в нем та же рассчитанная бездушная заботливость, как в продуктовых карточках или как в больнице. Обед из всех трапез — меньше всего соответствует своему названию и назначению. Мы завтракаем куском хлеба с маслом, как это бывает и сейчас, но мы не обедаем таким количеством каши, которое равняется, скажем, половине гарнира к одному из блюд. В этом заведомая неполноценность обеда. Точно так же он заранее отравлен тем, что это — при системе распределения, принятой Оттером, — обед без хлеба. И он трагически краток, так краток, что начало почти соприкасается с концом. И это особенно ясно, если сравнить его длительность с длительностью и сложностью, громоздкостью всех тех действий, которыми он обставлен, которые прodelываются для его достижения.

С этим комплексом противоречивых чувств Оттер входит в дом. Быстро проходит темным коридором. Если в приотворенную дверь мелькает лысая голова буфетчика — это хорошо; значит, дают что-то дополнительное. Иногда же уныло блестит гладкая поверхность прилавка*.

Когда зимой (до разезда) здесь бывала чудовищные многочасовые очереди — Оттер не торопился. Им овладевала резиньяция. Вне этого обеда тогда была голодная смерть, и казалось естественным добывать его любыми усилиями. Сейчас у контроля — три-четыре человека, и торопливость, ничем не заторможенная, рвется вперед, достигая предела. Прорвало бы плотину этих трех-четырех медленно продвигающихся спин. Он готов обойти впереди стоящих. Он путается в карточках, деньгах, пропусках, хотя никто не наседаст сзади, как это было зимой. Ясно, что все в порядке, что все причитающееся будет получено, но травма так сильна, что ему, чтобы успокоиться, нужно скорее схватить бирки, если только их еще не потеряет подавальщица.

Эта столовая проходила разные этапы.

Теперь это на вид средней руки столовая с попытками на нормальный быт — никем не поливаемыми цветочными горшками на столиках, получистыми скатертями, вполне чистыми подавальщицами. Сразу не заметно (зимой все было заметно сразу), что люди занимаются здесь скорей трагическим делом — съедают обед, равный половине гарнира. Заметно это становится, если приглядеться, как они быстро облизывают ложку (лизать тарелки уже неприлично), выскребают тарелку, с наклоном держа ее на весу, пальцем обводят край банки, наполненной кашей, как они замолкают перед поданным блюдом и внимательно его рассматривают, как в нетерпении их головы поворачиваются вслед подавальщице.

* [Вписано:] Азарт охотника... Взгляд на меню с бессмысленным ожиданием чуда...

Народу — немного, но достаточно для того, чтобы пришлось ждать подавальщицу. Она уже взяла бирки у соседних столов и все равно ни за что не возьмет (гордясь рационализацией), пока не кончит их обслуживать. Торопливость доходит до крайнего истерического предела. У Оттера в портфеле рукопись, которую очень кстати было бы сейчас просмотреть, но вместо того его голова неотступно поворачивается вслед подавальщице. Упирается в закрытую дверь, с облегчением опять поворачивается, даже когда подавальщица движется к другому столу. Девушка взяла бирки — кризис торопливости, самый острый момент разрешается этим актом. Вступает даже обратный мотив — сейчас она выйдет с супом — мне или не мне? Пожалуй, даже лучше, если не мне, чтобы не так скоро конец. И все-таки хочется, чтобы ему.

Суп еще не трагичен. Во-первых, он не так вкусен и его больше. Иногда удается скомбинировать две тарелки супа, и тогда даже бывает момент, когда кажется, что его много, достаточно много, и есть его предстоит достаточно долго. Трагична — каша. Она лежит на подносе в тарелках, пушистой, вязкой массой, с ямкой посередине, залитой десятью граммами темно-золотистого жира. Его еще предстоит размешать ложкой. Белая крупнозернистая рисовая, плотное пшено, вязкая перловая, так сладостно залепляющая рот. Их <так!> мучительно мало. Их отпускают по весу, но всегда есть подозрение, что в этой распластанной порции больше, чем в той, более пирамидальной. И как раз распластанная достается соседу. Досадно, в конце концов можно было взять с подноса вторую тарелку с края. Самое печальное в обеде — это съедание каши. Это кратчайший акт, в котором начало непосредственно соприкасается с концом. Достаточно двух движений ложкой, чтобы произвести непоправимые разрушения в этой кругло выложенной массе. Все кончено. Люди по привычке безнадежно доскребают тарелку. Остается уложить обед, предназначенный для домашних. Расплатиться. Печаль над пустой, маслянистой от каши тарелкой знаменует конец подъемной предобеденной части дня. Здесь начинается спад*.

Раздел 6. Промежуток

В явлении послеобеденного спада нет ничего принципиально нового, прежде небывшего. Обед — настоящий обед, а не то, что человек перехватывает в обеденный перерыв, — всегда был переломным моментом дня. При системе поздних семичасовых обедов — он был уже непосредственным переходом к вечернему отдыху. При другом распределении он перерезал день. После обеда приходила лень, сонливость, упадок энергии. Здесь играли роль и физиологический момент сытости (Чехов утверждал, что, хорошо поев, нельзя работать), отяжеление и психологическое ощущение того, что началась старость, исчерпанность, умирание дня (независимо от часа обеда), теперь неудержимо клонящегося к закату. Для Оттера это всегда были тоскливые выморочные часы, которые кое-как тянулись, пока, наконец, не

* [На обороте одной из страниц раздела «Обед» вписано:] Оттер лишен инициативы, процессов изготовления, продлевающих и обогащающих еду.

оформлялся вечер со своими специфическими закономерностями и целями. Сейчас, когда люди оказались в первобытной зависимости от движения суток, от температуры, от света, — чувство умирания дня особенно конкретно и ощутимо. Конечно, все это не имеет особого значения в разгаре белых ночей, но это одна из зимних травм, страшно цепких, как все травмы этой зимы. Послеобеденный упадок жизненных сил имеет теперь исключительно психологический характер, поскольку физиологический момент пресыщения из него начисто исключен. Зато он подкреплен психологическим же моментом разочарования, неудовлетворенности, обиды, которые приносит быстротекучий обед.

Прежде чем снова выйти на работу, Оттеру предстоит заход домой. Он относит обед тетке и обычно пьет дома чай и съедает что-нибудь, хотя бы кусочек хлеба — обедает он без хлеба. С точки зрения насыщения было бы рациональнее соединить все ресурсы вместе. Обедать с хлебом; приносить обед домой и добавлять к нему зелень и т.п. Но Оттер создает себе искусственный этап третьей еды, некое удвоение обеда, растягивающее этап дневной еды на час-полтора. Это смягчает чувство послеобеденной пустоты и спада. Он не просто возвращается домой, но с некоторой целеустремленностью.

В эти часы трамваи набиты и совершенно не являют собой соблазна легкости, особенно для человека с банками. Оттер пешком возвращается домой. Он идет одним из прекраснейших классических ленинградских путей.

Справа в глубине переулка — Нева. Когда-то он любил отсюда идти домой по Неве. Но сейчас этот небольшой крюк противоречит принципу экономии физических сил. Но, быть может, еще существеннее, что не хочется эти вещи трогать и беречь. Это потенция тоски и желаний. И нынешним летом он видел, только переезжая мосты, из трамвая, торжественную Неву с военными судами. Он ни разу не трогал рукой потеплевший на солнце гранит, не сидел с девушкой на полукруглой скамье, не спускался по ступенькам к воде, неожиданно близкой, интимной, вещественной (с песочком и запахом рыбы), вдруг открывающейся среди декоративной невской перспективы.

Это одно из самых глубоких и характерных свойств этого города — он прекрасен не отдельными (не только отдельными домами, кусками), но целыми композициями, перспективами, панорамами. Это самое сильное его свойство — эта развертывающаяся, слагающаяся под вашим взглядом в длительное единство красота. И, оказывается, это осталось. Она, красота, продолжает пребывать и слагаться. Это удивительно. Кроме того, деревья стоят в тяжелой листве. Листва с шумом бежит по ветру, удерживаемая привязью ветвей. Это еще удивительнее. Это лето. Это лиственный лес с вечным бегом привязанной к ветвям листвы...

Как удивительно было то, что трамваи пошли и оказались совершенно настоящими, практически функционирующими трамваями. Так,

с другой стороны, было удивительно, что пребывает красота города и что красота природы совершает свое течение по всем независимым законам. Это было лето, которое он совершенно выключил из сознания и из быта (благо, оно холодное).

Лето, то есть период узаконенной праздности, когда люди, даже самые к этому неспособленные, считали необходимым получить от жизни как можно больше удовольствия. Летом одни люди хотели полнеть, другие — худеть. Он принадлежал к последним. Он выдумывал прогулки и называл это «гулять с воображением». Лето — это русские дороги. В точности похоже одна на другую, но всегда таинственные и полные обещаний. Все это противоречило дистрофии, принципу экономии сил, торопливости — и было выключено. Сейчас он вспомнил о лете и с усилием стал припоминать, как там, собственно, обстояло с едой. В последние годы считалось, что на дачах туго с едой. Оттер хотел худеть и сердился на эти разговоры. Но Ляля (они жили вместе на даче последние два года) любила в этих вопросах панику. Считалось, что там были перебои с хлебом, и он помнит, что ходил в ларек и даже стоял в очереди и возвращался с буханкой. Но как они ели эту буханку? Сколько нарежали, вообще как она выглядела на столе — этого он не может припомнить. Вообще, как выглядели тарелки за обедом, конкретно, — это прошло мимо сознания. Например, неизвестно, как они ели масло, в чем оно подавалось; он совершенно забыл конкретность этого масла, хотя они, сердясь, тащили его из города. Он помнит только, как выглядели на тарелках тушеные грибы, которые они сами собирали. Но грибы — это было развлечение и достижение, психологический факт. Они ходили купаться до завтрака. И ничуть не спешили домой. Торопливости не было. Потом вспоминали, что домработница рассердится... Как это можно было жить и не думать об этом? Не хотеть, отказываться, капризничать — да, но просто не думать — вот что удивительно.

Иногда Ляля, проводя пальцем по линии между бюстгальтером и трусиками, вдруг говорила: Ты все-таки невыносимый копун. Хватит. Я совершенно умираю от голода... Умираю от голода.

Прекрасный поворот Фонтанки со старым домом. Сюда он ходил в гости. Люди, к которым он ходил, эвакуировались. Он ходил сюда всегда очень поздно, когда надоедало работать. Он начинал собираться гораздо позже, чем теперь ложится спать. Что там ели, он как раз помнит. Там всегда бывала водка и небольшая закуска. Эти вещи он любил. Вообще он любил, когда в гостях угощали (и сам умел подобрать закуску), иначе получалось скучно. Но хождение в гости — это была странная вещь. Люди сидели, разговаривали, разговаривали. Читали свои произведения. Спрашивали небрежно: Что, выпьем чаю сейчас или дочитаем? — Дочитаем, конечно...

Хождение в гости с ужином, отодвигаемым разговорами, или ветер, бегущий в листве, — это та жизнь...

И тут начинается самое странное — он не тоскует по той жизни, не вспоминает ее, кажется, не хочет ее. Понятно, как и все люди, он говорит: А ведь можно было зайти к Норду и взять десяток пирожных, или: А недурно было болеть, чтобы вам в постель приносили яблоки, или насчет того, чтобы принять ванну... Но самая сущность той жизни, ее принцип неожиданно оказывается враждебным. И это потому, что он очень похож на принцип этой жизни. Разница — в украшениях, в замаскированности, в суррогатных целях. Он вспоминает разговор (незадолго до событий) со старым другом о тюремном принципе жизни. В ней были все те же черты круга, то есть бессмысленной повторяемости движений, которые никуда не ведут, служат себе самим и непрерывно возобновляются, питая самих себя. Отсутствие телеологии, возрастания, направленности, ведущей идеи — того, что только и может удовлетворить предназначенного для идеологии человека. Круг вместо линии, и его основные черты: эгоистическая замкнутость, сочетающаяся с неверием в собственную ценность, несвобода, торопливость (люди, гордящиеся тем, что у них нет времени — то есть нет жизни), бесцельное коловращение мнимых целей. Все эти черты теперь приобрели буквальность — только всего.

Эгоистическая замкнутость стала дистрофическим равнодушием к жизни и смерти ближних. Потеря самооценности — дистрофическим равнодушием к собственной жизни и смерти. Если в той жизни несвобода была, скажем, необходимостью строить существование на профессиональной основе — иначе голодная смерть. То в этой жизни голодная смерть (в точном смысле слова) — если человек не пойдет пообедать в свою столовую (предел несвободы действий). Торопливость, пробег по кругу также потеряли свое переносное символическое значение; они стали реальностью бега по городу человека, подгоняемого морозом и голодом. Бега от еды к еде — предел бессмысленно возобновляемой, никуда не ведущей устремленности. В свете этих пределов проясняется сущность той жизни. И она возмущает душу. Лучше, чище эта предельная жестокая демаскированность, чем украшения и эрзацы. Он не хочет туда возвращаться. Как никогда он хочет другого существования — телеологического, развивающего единую идею. Не круг, а линия*.

В той жизни была еще любовь, эротика. Никуда не ведущая, ни во что не переходящая, тоже по кругу бегущая любовь. Женщины приходили по-разному, но уходили с удивительной закономерностью. Они оставляли боль, хотя уходили вовсе не всегда по собственной инициативе. Ляля теперь уехала. Они разошлись еще раньше. И тут почти не было боли, была нехорошая ядовитая легкость. После этого пришла еще одна любовь, которую съела дистрофия. Она началась не вовремя перед самым началом событий. Началась очень здорово и уже переходила в высокий регистр, но ее съела дистрофия. Дистрофия — тощая фараонова корова — поглощала все — дружбу, идеологию, чистоплотность, стыд, интеллигентскую привычку не красть что плохо ле-

* [Абзац вписан на отдельном листе карандашом.]

жит. Но больше всего любовь. Любовь исчезала в городе, как сахар или спички. Сначала в отношениях людей исчезала, как принято было тогда говорить, физиология. Чем меньше оставалось в отношениях чувственности, тем жестче становились душевные требования, тем острее учет недостатков. Потом начиналось несовпадение состояний. Скажем, девушка не страдала дистрофией, а мужчина страдал (чаще всего так оно и было). Это было неравенство и непонимание более страшное, чем все описанные в литературе социальные неравенства. Оба злились и злели все больше. Она потому, что он развивал широкую программу забот и внимания, когда это никому не было нужно (то есть это тогда было нужно ему), а в трудный момент свернул всю программу. Он злился на ее требования. Она требовала эротики, или сочувствия, или чтобы он как мужчина передвигал тяжелые вещи, или что-то куда-то относил. А ему было мучительно трудно передвигаться, он засыпал, едва опустив голову на подушку, он был голоден, всегда голоден и думал уже преимущественно о еде. И все отвлекающее его раздражало.

И тут как раз выяснялось, что они, собственно, не свои люди, а чужие. Что у каждого из них свои продовольственные карточки и каждый к чаю вынимает свой кусочек хлеба. И если они угощают друг друга табаком или конфетой, то в качестве ценного дара, отнюдь не обязательного. И сразу все вообще оказалось необязательным. Не выдержавшим испытания. А ведь если бы не испытание дистрофией — какой бы сохранился высокий регистр! Испытание выдерживало только то, что имело социальную телеологию, только семья. Или то, что на ходу становилось семьей. Прочно было только там, где люди с рабочей карточкой съедали столько грамм, сколько им осталось от дележа с иждивенцами. О, там — в адском быту — было сколько угодно своей злобы и раздражения. Они бранились и скрипели зубами, но свой хлеб выкладывали на стол (кроме тех, кто был ниже действующей моральной нормы). Это ничуть не зависело от порыва или хорошего настроения, это было само собой разумеющимся, внутренне обязательным. Среди провала человеческих отношений это была единственная социальная реальность — семья. Мерилом этой социальной реальности служило совместное пользование благами продовольственных карточек. Человек пил чай у любимой женщины; он вынимал из портфеля свой хлеб и остаток опять заворачивал в бумажку. Он говорил ей о том, что без ее любви и без своей любви он не вынес бы испытаний. Потом он отправлялся домой и относил завернутый в бумажку остаток хлеба старой матери, которая осточертела ему и которой он давно уже не говорил ничего приятного. Это был нетрудный, ибо обязательный акт. Так выяснялась разница между реальностями и фикциями. Фикции люди сохраняли без веры и без желания — просто так, чтобы был кто-то сбоку, к кому можно прижаться. Но на известном пределе усталости и истощения фикции оказывались слишком тяжелой нагрузкой.

Раздел 7. Промежуток*

Быстро, задумавшись и уже не глядя по сторонам, Оттер приближается к дому. Вдруг до его сознания доходит тяжелый содрогающийся звук. И тотчас же до его сознания ретроспективно доходит, что это не первый такой звук, что их было уже несколько подряд. Это обстрел; пока что, очевидно, другого района. Теперь Оттер оглядывается. Если бы не характерный звук, то нельзя было бы догадаться о происходящем. Люди с абсолютным ленинградским хладнокровием, которое стало здесь столь безраздельно властвующей над человеком средней нормой поведения, — занимаются своими делами. Они идут по улице, неся портфели, судки и авоськи, стоят в очереди, разговаривают и прикуривают друг у друга. Среди разговора попадают реплики: Кажется, наши стреляют. — Да, как же — наши! — или: Здорово бахает!

Да, несомненно, страх смерти — это только эмоция, не поддающаяся логике объективных данных. Оттер удивляется хозяйке, которая с озабоченным лицом протискивается в бывший гастронм. Но сам он делает то же самое. Он, который всегда думал, что будет очень бояться и что это будет стыдно, быстро идет вперед, испытывая, главным образом, раздражение (то же, что испытывает домохозяйка, отправившаяся за соевым молоком), что ему мешают дойти домой и выпить чай с двумя конфетами (в столовой сегодня выдали одну за прошлое), которые у него в карманчике портфеля. Эмоция страха замещена другой эмоцией, более непосредственной — эмоцией раздражения, производной от травмы голода. Когда замещения эмоций не происходит и Оттеру страшно, он в таких случаях заходит в подъезд, говоря себе и другим, что надо поступать разумно без глу-

пой бравады и что он хочет себя сохранить. Теперь несомненно следовало бы зайти в подъезд (разрывы приближаются), но Оттеру хочется чаю с конфетами и он быстро идет (быстрый ход — абберация безопасности), бессмысленно стараясь держаться у стен и сворачивать в тесные улицы. Вот когда это произойдет — я пожалею. В каждый миг в чаду и огне пожалею.

Но звук он теперь уже не перестает слышать. И, как всегда, слушая этот звук, он испытывает странное, немного сумасшедшее чувство какой-то опрокинутости, вывернутости явлений. Какого-то неблагополучия, путаницы в категориях времени и пространства. Свист снарядов над головой — страшнее, но понятнее. Он знаменует два момента. Во-первых, вещественность, реальность присутствия — они действительно сейчас здесь над головой. Во-вторых, реальную протяженность, протекание в некотором настоящем (длительность свиста). Совсем другое — звук разрыва. Это неуследимо короткое настоящее, которое, дойдя до сознания, уже стало прошлым. То есть стало прошлым для него, для услышавшего звук. Для кого-то другого оно, быть может, стало началом новой ужасной действительности страданий или кон-

* [Название раздела вставлено в 60-е годы. На обороте листа перед началом раздела простым карандашом и по черком Гинзбург начала 1960-х годов написан набросок плана, видимо сделанный для переработки раздела для новой редакции повествования (зачеркнутые куски опущены):]

Промежуток:

Послеобеденная тоска

Послеобеденные состояния в прошлой жизни

Путь в учреждение через летний город

Дом на Фонтанке

Обстрел

Опрокинутое время — ср. выше описание бомбоубежища
Заход в подворотню.

цом всякой действительности. И выстрел мы воспринимаем в обратном порядке. Сначала звук, который уже знаменует собой, что мгновение кануло в прошлое, потом страх перед тем, что уже не может совершиться (это так же безумно и странно, как то, что по законам акустики мы сначала можем слышать звук разрыва, а потом — детонацию выстрела). Впрочем, оно может совершиться в следующее мгновение. Все это состоит из звуков и интервалов между ними. И повторяемость звуков и интервалов слагается в особую протяженность, особого более объемного настоящего. При этом невозможно постичь, что опасным и смертельным является именно интервал. Период времени, когда где-то, вне поля зрения, но, собственно, очень близко (и то и другое отвратительно) заряжается орудие, направленное на нас, что вылетает снаряд, что начинается действие, конечной точкой которого могу оказаться я. Что вопрос о жизни человека решается в мгновение тишины, как раз когда он гадает, не прекратилось ли... И если в это мгновение тишины он или сделал два шага лишних к трамвайной остановке, или нагнулся за уроненным портфелем, или с мостовой поднялся на тротуар — это решило вопрос о его жизни и смерти. И еще невозможно постичь, что когда я стану конечной точкой, исходом этого там начинающегося совершаться действия, то для меня это начнется с конца или совсем не начнется, и будет совсем другим, чем то, что я слышу сейчас. Человеку кажется, что пойдет по порядку, что будет свист, потом разрыв, который он увидит со стороны, и потом уже с ним нечто произойдет. И эта абберрация последовательности — тоже одно из странных и свернутых представлений.

Оттер сворачивает на свою улицу в нескольких домах от своего дома. Он сразу испытывает успокоительное чувство, что здесь уже ничто не помешает ему дойти и выпить чаю с конфетами. И от этого ему кажется, что на этом отрезке улицы его не могут убить.

Раздел 8. Круг

Оттер кончил пить чай. Оттер сидит у печурки. В печурке еще догорают щепки. Печурка немного дымит. Сидя на маленькой скамеечке у открытой дверцы, Оттер ворошит длинной щепкой в печурке, прикуривает. В тесном железном пространстве вьется красное пламя и черный дым. Осталось еще выкурить папиросу (самокрутку). Это хорошо. Оттер никогда не был страстным курильщиком и никогда не находил особого вкуса в физической стороне курения. Но психологию папиросы он ценил высоко. Это всегда было лишней перспективой, удовольствием в запасе. И прекрасной приправой к дружескому разговору, к деловому разговору, к выпивке. Хотя в отношениях к женщине он был несколько архаичен (он любил женственность), но он предпочитал, чтобы его любовницы курили. Это давало столько интимных, в частности постельных, деталей. Начиная с классического обряда курения одной папиросы (лежи смирно, я покормлю тебя папиросой) с кончиком смятым и покрасневшим от губной помады. У папиросы была своя эротика.

Но за последние месяцы папироса приобрела множество новых и важных значений (ее тоже трудно было достать). Папироса была испытанным средством физического приглушения голода и в то же время отвлечения мыслей от голода. Пока табак был в запасе, это успокаивало. И до полного отчаяния, опустошенности и голодной тоски доводило именно сочетание отсутствия еды с отсутствием курева. В бытии, совершенно не предназначенном для удовольствий, — папироса была едва ли не единственным актом чистого удовольствия без сочетания с пользой, как еда или сон; а скорее, с вредом. И это приятно подчеркивало ее бескорыстно гедонистическую сущность. В пустоте она была каким-то действием — поэтому он пристрастился к самокрутке с ее развернутым ритуалом, обогащавшим акт курения, как приготовление пищи обогащало еду, и готовая папироса казалась ему теперь бедной. Папироса была запасной перспективой всегда доступного заполнения пустоты, какого-то мига пустоты — для человека, тоскливо вглядывающегося в пустоту своего дня (ср. тюрьму). Что еще предстоит, что еще предстоит?... Можно еще покурить, отвечал себе человек, успокаивая тоску.

В течение дня — бывали разные папиросы — голодная папироса, которую он жадно выкуривал перед самым супом, когда подавальщица медлила и торопливость достигала крайнего напряжения. Послеобеденная папироса, приглушавшая неудовлетворенность обедом, — после нее наступала даже короткая иллюзия сытости. Сытая папироса, когда удавалось насытиться, — она была иллюзией кайфа, нормально-неторопливой жизни. Служебная папироса. Он думал о ней с удовольствием по дороге в учреждение, помещая ее в комплекс общения с безразличными людьми, болтовни, электричества, электрических приборов (там, экономя спички, прикуривали об электрические приборы), в который он укрывался от хаоса и душевного напряжения, преследовавших его дома. Прийти и за своим столом, прежде чем погрузиться в дела, свернуть папиросу, перебрасываясь репликами с сослуживцами. Лениво включить электрическую плитку. Это была игровая, бюрократическая папироса. Была еще последняя вечерняя папироса. Последний акт, в котором целиком находило себе место (укрывалось в нем) дотла исчерпанное сознание. И иногда исчерпанность была так велика, что он ложился спать, не свернув эту папиросу. Но несмотря на это тематическое разделение папирос — курение было все же относительно свободным актом; быть может, наиболее свободным в этом существовании. Наименее предрешенным и предопределенным ситуацией.

В настоящий момент Оттер докуривал ту папиросу, которая была продолжением, затягиванием процесса еды, второго этапа еды, разбитого на две части. Пока она дымилась, можно было еще не выключаться из состояния еды, не включаться в цепь тягостей и забот. Последний, уязший в пепле огонь вспыхнул у края мундштука.

И вот в это мгновение, когда Оттер сидел еще на скамеечке, длинной щепкой ковыряя в печурке, чувство круга, пробега по кругу ста-

новилось глубоким и ясным как ни в какой другой момент. Предстояло повторить все те же действия — надеть пальто, взять портфель, пойти в учреждение, уйти из учреждения, выкупить хлеб, затопить дома печурку... И это даже не завтра, но в пределах одного дня, той же единицы времени. Вот что делало круг веществено ощутимым. Он видел разворачивающийся ряд этих движений в их точнейшей конкретности — как именно он берет портфель, как засовывает в карман ключ, как, слегка задышавшись, подымается по лестнице учреждения, как заглядывает через плечо машинистки — подвинулась ли рукопись.

Это был замкнутый ряд абсолютно несвободных движений, ритуальных, точно вытекавших из ситуации. Они шли в железном порядке — пробуждение, домашние дела, завтрак, выход на работу, обед, заход домой с обедом для тетки, возвращение на работу, возвращение домой, ужин, сон, пробуждение, домашние дела, завтрак... Здесь ничего нельзя было сдвинуть или исключить и почти невозможно было ввести (это потребовало бы огромного напряжения воли) непредусмотренный, неритуальный жест.

Но предreshены были не только жесты, предreshены были точно прикрепленные к ним ощущения удовольствия и неудовольствия, возникавшие на своем месте с естественно-научной точностью (это свойство тюремных режимов — функция абсолютной несвободы). С абсолютной точностью должно было возникнуть чувство самодовольной уверенности в тот момент, когда он на пороге учреждения предъявлял охраннику пропуск; чувство облечения, когда показывался нужный трамвай, чувство тоскливой опустошенности, когда под первыми же двумя ложками непоправимо исчезала каша, чувство полноты, неисчерпанности удовольствия, когда утром он вынимал из портфеля еще нетронутый хлеб...

И в этой абсолютной предreshенности душевных движений, их связанности, зависимости от вещей, стоявших когда-то на низших ступенях иерархии ценностей, — было нечто оскорбительное для душевной, интеллектуальной сущности человека. Человек самому себе представлялся неким низшим организмом, амёбой со щупальцами, которая тычется, управляемая простейшими раздражениями удовольствия и неудовольствия.

И тут совершалось раздвоение. Он знал, что в практике дня удовольствие все равно непременно и точно возникнет на своем месте, когда он будет утром вынимать хлеб из портфеля или когда увидит извещение на стенке. Он неизбежно испытает удовольствие и подъем в этот критический, изолированный момент. Но когда он видит эти вещи в их перспективе и бессмысленной связи, он испытывает к ним отвращение, больше всего именно к приносящим удовольствие и именно за то, что они его приносят, — это приятное раздражение, предназначенное для низших организмов.

Амёба плывет по кругу, выпуская и поджимая щупальцы. Дистрофический человек бежит по морозцу от еды к еде. В торопливости пробега — нечто низменное от простейшего организма, от бессознательности и смерти. Между двумя бесцельными целями он спешит проскочить время,

то есть проскочить жизнь. Это крайняя противопоставленность высоко-человеческой, непрерывно осознаваемой, переживаемой жизни. Крайняя противоположность долгого дня.

Оттера гложет тоска.

Страшно докурить папиросу, встать от печурки, возобновить пробег, серию повторяющихся обусловленных движений. Но страшнее остаться на свободе. Война — это предельная огромная несвобода. И в очерченных ею границах свобода — это праздность, изоляция, пустота, преодолеваемая только огромным моральным усилием труда.

Пока что тоска пробега выносимее тоски остановок, когда перед человеком широко распахивается пустота.

Оттер берет портфель, двумя пальцами засовывает ключ в карман. Он думает о том, что в учреждении электрический свет, люди, которые приходят, уходят, разговаривают. Что он перелистнет на столе рукописи, к которым он совершенно равнодушен, с удовольствием закурит об электрическую плитку самокрутку.

Ч<АСТЬ> III

Раздел 2. Последнее возвращение домой

Второй выход из учр<еждения> отличается от первого. В первом преобладало нервное напряжение и торопливость; во втором преобладает усталость; оцепенелость, которая овладевает им на месте (см. выше) и которую ничто теперь не нарушило с достаточной силой.

Собственно момент торопливости, устремления к последнему этапу еды — есть, но он ограничен другими моментами. Во-первых, не работает травма страха, что что-нибудь помешает. Нет зависимости от столового аппарата организаций. Элементы ужина известны заранее и Оттер располагает ими; они у него в руках или в магазине. Во-вторых, — именно потому, что травма не работает, — с особенной силой выступает мотив искусственного торможения. Предстоит последняя радость. Ее надо превратить в концовку, как можно ближе подогнать ко сну, чтобы не было особенно печального промежутка. Надо уходить из дому, чтобы не думать об этом, уберечь от себя имеющуюся дома еду и лучше оттянуть возвращение домой до того момента, когда с еды снимается запрет. Так заторможенность движений борется с торопливостью, с устремлением к последнему этапу — и в общем побеждает ее. Зато в момент прихода домой освобожденная торопливость прорывается горячкой нетерпения, как бы компенсируя себя*.

Медленно идет по улице. Вечер белой ночи с великолепным холодным косым светом, в котором блестит невский асфальт. Удивление, когда выходишь из темноватых комнат учреждения с чувством позднего окончания рабочего дня и застаешь свет

* [Вычеркнуто:] Пальто и портфель сбрасываются на ближайшее кресло. Руки вымою потом. Окрики по адресу тетки. Главное, скорее, скорее. Завтрак.

в его полном неувыдаемом разгаре. Эта та юношеская, драгоценная долгота дня, неисчерпаемая полнота дневной жизни, которую так любят ленинградцы. Это радостное чувство непочатого еще запаса жизни, отпускаемого на каждый день. И после конца рабочего дня (как хорошо, что они не совпадают!) можно еще делать для себя множество дневных дел.

Но сейчас у хода жизни свои незыблемые законы. Круг печально стремится к замыканию, к концу (чтобы снова начаться — поскольку он круг), вопреки прекрасному сиянию дня. Ход вещей предопределен усталостью, истощенностью отпущенных на день ритуальных жестов, наступающим часом заключительной еды.

В несовпадении между состоянием дня и состоянием человека — есть что-то тревожное, натягивающее нервы. Напоминание о том, что можно сейчас только начинать большую прогулку вдоль извилин реки, что можно сейчас сидеть под любимой сосной с папиросой и книжкой на коленях... Вообще белые ночи жестоки*¹⁰. Они жестоки к усталому человеку, который хочет, чтобы его начисто срезал сон. В них жестокая обнаженность — они ничего не приглушают, не прикрывают, не убаюкивают под темным покровом. И они жесточе дня. Потому что день забит тысячью отвлекающих, спутывающих, затемняющих сознание вещей. А ночью, освобожденной от суеты и не смягченной темнотою, — проступают основные очертания жизни. И сейчас это очертания более страшные, чем когда бы то ни было...

Раздел 3. Ужин

Теперь осталось последнее — ужин. В той жизни только сейчас начинался вечер, он был очень велик и затягивался до 2-х — 3-х часов ночи. Это была часть дня, часто рабочая, но в своей тенденции предназначенная для отдыха, для любви, для водки и разговоров с друзьями. Единственный раздел дня, когда праздность была внутренне легкой и законной. На вечер надо было иметь про запас одно из перечисленных удовольствий. Тогда день хорошо шел к развязке. Лучше всего, если отдых-удовольствие уже не прерывались, затягиваясь до следующей единицы времени, до следующего дня (например, когда Ляля оставалась ночевать). Тогда день прокладывался чистым ожиданием happy end'a, ничем не омраченным.

Теперь — ужин единственное вечернее ожидание. Эрзац общения, водки, любви. В зависимости от того, каков он, окрашивается последняя часть дня.

Зимой хуже всего были вечера, ибо к вечеру уже исчерпывались все возможности еды. Это была развязка дня, и развязка всегда была печальной. В тот период, когда Оттер начал страдать от истощения, он именно к вечеру стал испытывать припадки страха, а в самый острый период — отчаяния. Ибо днем был голод, но не было такого психического ужаса перед голодной тоской. Днем были перспективы обеда, потом того, что каким-нибудь супом или чаем с ломтиком

* [Позднее вписано:] Май жестокий с белыми ночами.

хлеба подкормит тетка. Но страх вечернего голода был подобен страху абсолютной пустоты*.

Теперь такие вечера бывают редко. Когда бывают, переживают-ся с еще большей остротой и диким нетерпением скорее проскочить (зимой и проскакивать было некуда).

Чаще всего — в перспективе неполноценный ужин. Скажем, зелень без хлеба или даже что-нибудь хорошее, но в малом количестве, навещающем тоску. Тогда он испытывает ровную печаль, сливающуюся с чувством вечерней усталости и исчерпанности.

Наконец — когда ужин полноценный — это happy end, и даже последнее возвращение домой бывает подъемным. Лучше всего, если он обещает не только сытость, но и некоторое вкусовое удовольствие (например, дни выдачи кондитерских изделий, если эти изделия удалось дотянуть до вечера) или интересные процессы изготовления.

Нынче полуголодный ужин. Возвращение печальное, но без остроты. Тетка уже спит. Оттер у себя на письменном столе съедает кашу, оставленную ему в кастрюльке полутеплую, зелень с маленьким ломтиком хлеба, который тетка отрезала от своего (это свинство с его стороны — у нее ведь всего 300 гр.).

Раздел 4. Порыв

В дни полного вечернего насыщения (много зелени с мукой, придающей ей полноценность — заменитель хлеба) он испытывает полное удовлетворение. Ему нравится испытывать именно тупое, животное удовлетворение. Лениво (лень пошевелиться) сидеть перед столом в кресле, расстегнуть

ремень, повторять про себя слова — животное удовлетворение, сытный, сытость. Особенно соответствует этому грубое — прежде запрещенное в его речевом обиходе — слово «сытный». Это редкое ощущение, которого невозможно было достигнуть в зимней жизни, о котором мечталось. Тогда уже не жалко, что хорошая концовка так коротка. Потому что к ней вплотную примыкает новая цель — желание сна, который срезает сразу и все покрывает. Противно только и трудно себя заставить проделать ряд предварительных действий — запираание входной двери, доставание из шкапа в темном, холодном коридоре — тяжелых, неудобных, нечистых — подушек, одеял, простыни. Но зато потом — ощущение успокоительного тела, замутненного сознания, быстро надвигающегося сна.

Нынче он не сыт — и ничего этого нет. В то же время он не голоден до отчаяния и сосредоточенности на этой мысли. Очевидно, он вообще уже отъелся за последнее время. И вдруг сегодня у него давно небывалая ясность мыслей, возбуждение мыслей. Табак есть; это хорошо, на текущую единицу времени — еще кое-какая перспектива. Он сворачивает, курит, ходит по комнате. Как

* [В рукописи здесь следует план ненаписанного фрагмента:] Период покорности и период, когда Оттер стал отчаянно бороться за то, чтобы иметь вечером горсть крупы или кусочек хлеба. Утайки, просьбы взаимны. Появление денег и покупки. М.Б. — Обряд просьб и угориваний. Дикое облегчение, когда, наконец, получено окончательное согласие. Случай с отменой воскресного пайка. Отчаяние и спасительный визит к М.Б. [ранее было: *Ис.Т.*]. [Далее почерком 60-х годов:] Приготовление горсти лапши на службе и тщетное ожидание обещанной покупки

в той жизни, в наиболее плодотворные моменты той жизни. Странная вещь происходит — какой-то взрыв душевных сил, возмущение интеллекта против жизни, управляемой едой, которую он себе устроил, — мотивируя это самоспасением.

— Так вот куда нас завело эгоистическое сознание — как мы наказаны, как мы страшно наказаны...

Что делать ему лично. Попытаться разомкнуть круг объективными средствами — уйти туда, преодолевая проклятие пассивности. Пережить самое главное, что есть в текущем времени, ценою риска тем, что он уже не сможет ничего об этом сказать. Так поступали люди, которые могли сказать гораздо больше, — Пушкин, Толстой. Или продолжать торговаться с жизнью и за жизнь. Избрать для себя злую, внешне замкнутую жизнь, оправданную тем, что внутри ее он поднимет свой труд как величайший. Во всяком случае быть жестоким к себе. Тогда это будет кажущееся кольцо; нужно просто как защита от внешних помех и вторжений социального зла. На самом деле его прорежет линия, устремляющаяся к цели. Но можно ли устремляться к цели конечного понимания, торгуясь с жизнью за жизнь и тем сокращая свой опыт до круга скудных повторяющихся действий. Прорежет ли линия целеустремленности глухую защитную броню круга самосохранения...

Раздел 5. Отход ко сну

Мысли Оттера теряют свою напряженность. Это исчерпанность развития мысли в данном направлении и физическая усталость от умственного усилия, ставшего непривычным.

Напряжение падает все быстрее. Оттер чувствует вдруг начинающую приближаться возможность заснуть — ощущение, которое так ценят люди, одолеваемые бессонницей. Устремляясь навстречу этой возможности, он быстро проделывает подготовительные действия. Последний акт — это раздеться донага, см. выше, сбросив и отбросив подальше нечистую, завшивленную одежду. До завтра о ней можно не думать, да и о многом другом. Потом ему тепло и удобно. Правда, грязно, но сейчас в затемненной комнате это не видно, и об этом тоже можно не думать. Об этом, в порядке ритуальных мыслей, действий и ощущений, — он подумает завтра утром. Сон быстро надвигается. Тоже по ритуалу он в этот момент отбирает для мыслей что-нибудь утешительное. Он обычно думает о завтрашней утренней еде, от которой отделяет только ночь, которую, благодаря сну, можно не переживать. Тетка формулирует это прямолинейно: вечером уже не страшно, засыпаешь и знаешь, что утром будет много хлеба. Хлеба у нее очень мало. Но она хочет этим сказать, что утром он будет еще непочатый, еще весь впереди и уже в пределах достижения. И от этой достижимости ее отделяет только ночь, которую можно не жить. Какой ужас — хотеть не жить какую-то часть своей жизни. И он такой же, как тетка. Но ведь только что он хотел линии, прорезающей круг, ослепительной

ясности сознания, непрерывно переживающего жизнь, долгого дня. Но взрыва душевных сил больше не происходит. Сознание утомлено. Ритуальный ход возвращает в круг сознание, рванувшееся на свободу. В тот момент, когда сон срезает, наконец, Оттера, — Оттер думает о завтрашней выдаче. Завтра интересная выдача, самая интересная после кондитерских изделий — масло. Притом объявлено животное масло. Он думает о гладком, плотном куске, в который так сладостно врезается нож, который золотистым слоем ложится на хлеб.

Зимой отношение к желанию есть было как к болезни. Он не мог отделаться от чувства, что сытость — это прекращение болезненного состояния; и потому возобновление желания есть, скажем, через несколько часов или на другое утро — переживалось с каким-то удивлением и огорчением. Это было как повышение температуры или возобновление боли в горле, когда считаешь, что болезнь уже прошла.

Теперь уже наступал период, когда он редко испытывал чувство голода, но постоянно испытывал страх этого переживания и постоянно стремился его предотвратить. Именно поэтому он редко его испытывал. Гораздо реже, чем прежде, когда оно казалось естественным и даже приятным, в ожидании еды. Сейчас он боялся его как болезни, как тоски и отчаяния.

Теперь уже люди иногда говорили (особенно перед едой) — я зверски хочу есть, я адски голоден. Это были фразы мирного времени. Во время большого голода так об этом не говорили. Тогда это показалось бы чересчур откровенным раскрытием мысли, владеющей человеком, показалось бы невозможным, бесстыдным, как если бы влюбленный вдруг сказал бы женщине всеми русскими словами о том, что он хочет от объекта.

Возобновление этих фраз в обиходе было хорошим признаком, признаком выздоровления. Но Оттер еще не мог к ним привыкнуть. Они еще не приобрели для него механического звучания. Каждый раз он удивлялся — как они могут так по-старому просто произносить эти ужасные слова. Слова, означающие страдание и отчаяние, а вовсе не аппетит перед обедом.

Точно так же как ему казалось, что сытость, раз достигнутая, должна была бы длиться бесконечно как естественное состояние организма, избавившегося от болезни, определяемой как желание есть, — точно так же он не мог привыкнуть смотреть на процесс еды как на нечто принадлежащее определенному мгновению и с ним вместе бесследно и безвозвратно исчезающее (то, почему он с его равнодушием к мгновенным разорванным ощущениям был прежде равнодушен к еде). Теперь для этих фактов существовала связь — его организм, жизнь его организма. Если ему случалось потерять талон, вообще не добрать чего-нибудь по оплошности, — он не мог воспринимать это как мгновенное лишение, лишение, действительное на данный день, и которое снимается возможностями следующего дня. Теперь это было незаменимой утратой, которая забывалась лишь в силу легкомысленного свойства человека забывать любые утраты. Ибо эта утраченная частица должна была войти в связь организма, стать частицей жизни организма. И отсутствие ее продолжало существовать (отрицательно) неким невосполнимым пробелом.

Покою той зимой не было никогда. Даже ночью. Казалось бы, ночью несчастное тело должно было успокаиваться. Но в сущности даже во сне продолжалась борьба за тепло. Не то чтобы ему было холодно; для этого он слишком много вещей наваливал на себя. Но именно поэтому тело продолжало бороться. Ночь и сон не освобождали его от болезненного контакта с враждебным миром. Наваленные вещи тяжело давили и, что гораздо хуже, они скользили и расползались. Нужны были какие-то мало заметные, но в конечном счете утомительные мускульные усилия, чтобы удерживать их в куче. Нужно было приучить себя спать неподвижно, собранно, особым образом подвернув ногу, которая придерживала основу сооружения. Иначе могла произойти катастрофа. Все вдруг сразу с неудержимой жестокостью могло поползти на пол. И тогда в темноте, в ледящем холоде нужно было кое-как громоздить опять сооружение, уже совершенно шаткое и негодное. Так тело и нервы никогда не отдыхали. Нельзя было раскинуть руки, или приподнять колени под одеялом, или вдруг перевернуться на живот и уткнуть лицо в подушку. И все это означало, что никогда, ни на мгновение нельзя было забыть и выключить <...>*

Он, кажется, понял, наконец, соседа по рабочему столу. Ко всем интеллектуально-моральным играм и фикциям прибавлялась еще физическая нервность, та низшая нервозность, которая мешает сидеть на месте, и тогда у человека находится множество дел, необходимостей, поводов, чтобы вскакивать, выходить из комнаты, торопливо возвращаться, ходить по другим отделам... Ясно — этот человек лишен цинизма, лени, равнодушия, всех этих защитных человеческих свойств, как-то сберегающих непрочную интеллектуальную жизнь. В сущности, и сберегать там нечего. Его бескорыстные сейчас — для души — интеллектуальные занятия — это утверждение собственного превосходства и та же иначе выражаемая потребность шевелиться, производить действия, движения.

Что касается физической лени, то у Оттера сейчас это стало болезнью, сумасшедшей реакцией травмированного сознания.

Он всегда был физически ленив. В те времена, когда он был здоров и охотно боролся со склонностью к полноте, к отяжелению, — он любил движение, имеющее целью удовольствия, получение впечатлений, отдых; — большие прогулки, экскурсии (только не организованные), спорт. Но он всегда был ленив на действия, имевшие практические цели, — борьбу с миром вещей, подчинение вещей, организацию быта. По темпераменту он не имел в них потребности, и они неприятным образом рассеивали его и отвлекали от той внутренней сферы, на которой он был сосредоточен и которая поглощала всю его волю к деятельности.

Но теперь это стало болезнью. После того как он в течение года безостановочно бежал по кругу и теперь ему удалось дорваться до чего-то вроде остановки или крайнего замедления темпов, — им овладело оцепенение. Он сидел за своим рабочим столом, тесно придвинув стул, вдвинувшись в стол, тесно зажатым между краем стола

* [Страница обрезана. Фрагмент текста утрачен.]

и стулом — в оцепенении. Он сидел неподвижно часами, при этом он писал, думал, его мысль не уставала работать и не хотела прекращать работу. Там шла своя борьба с душевной ленью. Но это были старые счеты, ничего общего не имевшие с вопросом об оцепенении. Мысль работала и хотела работать. И этого импульса было достаточно, чтобы двигать перо по бумаге. Но он уже с отвращением думал о том, что предстоит обмакнуть перо или перевернуть страницу. Если нужно было дотянуться до противоположного края стола, чтобы взять бритвочку очинить карандаш, он продолжал писать затупившимся карандашом, что всегда терпеть не мог, или он продолжал писать карандашом, когда нужно было перо, чтобы не протягивать руку за пером. По таким признакам он понял, что это состояние не было физической ленью в точном смысле; во всяком случае не было результатом физического утомления, истощения, острота которых уже начинала для него проходить. Это было психическое явление, особая заторможенность воли.

Легче всего ему было совершать физические действия, если они вызывались непреодолимой потребностью минуты или если они входили в инерцию привычных, отстоявшихся процессов. Их прямая физическая затрудненность тогда не имела значения. Легче (не то что легче, а психологически проще, возможнее) было сходить на другой конец города пообедать или притащить ведро воды, чем взять с соседнего стола точилку для карандаша. По направлению к обеду его вели непреодолимо сильные импульсы, ношение воды или колка дров были заведенной инерцией, не требовавшей вмешательства воли, усилия воли, нового соотношения между волей и объектом ее воздействия. Каждый предмет — будь то точилка для карандаша, — не входящий в заведенную инерцию распределения дня, — каждый непредвиденный (не абсолютно предвиденный) объект воздействия требовал каждый раз этого заново устанавливаемого соотношения между собой и воздействующей на него волей. И это каждый раз было мучением. Он понял теперь, что его болезнь — это травма воли, испытывающей отвращение и страх перед каждым контактом с внешним миром, страшным миром, безоговорочно враждебным миром, миром, ставшим непрерывным источником страдания. И воля каждый раз сжималась и цепенела, предчувствуя страдание, и Оттер ужасался даже мельчайшему усилию, которое ей надо сделать, чтобы воздействовать на страшный мир.

Он понял теперь, что если он не отвечал на письма — что постоянно его угнетало, — то по многим психологическим причинам, — но едва ли не больше всего потому, что это требовало возни с конвертом (их не было в продаже), с покупкой марки, с почтовым ящиком. Все это были действия мельчайшие, но не смягченные инерцией, не механизировавшиеся, и потому требовавшие усилия воли.

Работать же мыслью он мог очень много. Это был Дом. В этой сфере в высшей степени существовал контакт со страшным миром (в овладении этим миром состоял весь смысл работы мысли). Но это был особый контакт. Там он властвовал, подчинял себе вещи, распределял их по категориям

по своему усмотрению. В этой сфере (единственной) он был сильнее хаоса. И хотя это было трудно, но его победоносная воля не боялась этих усилий.

Все это была травма воли — и вот что еще об этом свидетельствовало. Необыкновенно тягостно, например, было представлять себе, что прежде чем пробиться сквозь все заторы враждебного мира к обеду, предстояло еще, например, по пути, в холодной и грязной умывалке вымыть банки, протереть их леденеющими, разбухшими от воды пальцами и т.п. Но он убедился, что тягостнее всего было именно представлять себе этот процесс и ему подобные. Когда процесс уже совершался, Оттер относился к нему уже гораздо спокойнее и даже старался поаккуратнее протереть пальцами края банки. Дело было не в физических неудобствах, дело было сейчас даже не в торможении обеда. Основное был инстинктивный страх перед предстоящим усилием воли, нужным для того, чтобы включиться в процесс. Как только включение совершалось — самое страшное оказывалось уже позади.

В результате Оттер совершал каждодневно некий минимум хозяйственных действий, установленных и облегченных для него инерцией; тех безнадежных действий, которые требуют непрерывного возобновления, ибо они направлены на удовлетворение непрерывно и однообразно возобновляющихся потребностей. Что касается разовых, непредрешенных бытовых действий (ответ на письмо, какая-нибудь покупка, взятое на себя поручение), то на них у него не хватало воли. Они частью отсеивались, частью накапливались и беспрестанно угнетали его.

Но что же случилось с миром? —
(«И мир повернется другой стороной»)¹.

Обнажилась, упростилась исходная диалектика, движущая человеком, диалектика наслаждения и страдания, притягивания и отталкивания, стала почти первобытной.

И она повернулась одной стороной, стороной страдания. Если сейчас уже далеко не все было страданием, фактическим страданием, то психика была травмирована ожиданием страдания, непреодолимой привычкой страдания.

Явления мира двойственны — положительны и отрицательны. Зима — это тьма, это замерзшие ведра, это холод, холод, вяжущий движения, и от которого ноет сердце. И зима это сияющая красота, легкий воздух, вдыхая который хочется жить, веселый огонь, нежный снег, нежный мех.

И все, что составляло содержание побежденного мира, исчезло. Постель, просторная, свежая, теплая, дающая отдых, натопленная, с начищенным полом комната, в которой как надо расставлены вещи.

Исчезли способы побеждать мир вещей — побеждаемый любовью, интересом, комфортом. Имевшийся убогий комфорт погиб в хаосе и развале предметов технической цивилизации. И наряду с этим исчезло яв-

ление — домработница, чудодейственный социальный механизм, который представляется мне сейчас гениальным изобретением, предназначенным для того, чтобы не допускать до меня отрицательную сторону мира, а вбирать ее, отражать и перерабатывать.

Любовь к вещам уничтожала дистрофия. Это был неизбежно, ибо дистрофия давала человеку защитное равнодушие, под покровом которого он мог облегченно умирать. Дистрофия оставила только два простейших, составляющих основу примитивной жизни наслаждения, — сон и еду.

Но потребность мыслить и осознать жизнь была так сильна в Оттере, что дистрофия не могла ее уничтожить. Мыслью он продолжал овладевать вещами, но он мучительно не хотел соприкоснуться с ними физически (только есть и спать). Но он уже понимал, что эта мысль, лишенная практического контакта, лишенная опыта, скоро станет бесплодной, что она живет сейчас еще прошлым опытом вещественных соприкосновений. Он понимал это, но не мог распрямить свою волю, сломавшуюся в непосильной борьбе, которую он вел за то, чтобы сохранить себя и сохранить в себе осознающее сознание.

Той зимой люди испытывали большие страдания, либо настоятельную потребность от них избавиться, которая направляла их волю. Сейчас основной тон самоощущения был совсем иной. Преобладало раздражение. Нервное, физически ощущаемое, сливающееся с физическими ощущениями и вместе с тем далеко оставившее их за собой — раздражение. Каждое прикосновение было прикосновением к болезненно чувствительной коже, но это была психическая чувствительность. Мир, обратившийся к человеку отрицательной своей стороной. Причем ближайшим к человеку явлением враждебного мира оказывается его собственное тело — нечистое, некрасивое, с посеревшими волосами и кожей, с зубами, которые начинают крошиться. Тело, которое приходится одевать в распадающуюся, закостеневшую, скореженную рвань.

Прежде в хорошие минуты он любил внезапно наступавшее ощущение еще молодого и здорового тела. И здоровое, немного тяжелеющее тело испытывало потребность в движении, приятно сочетавшемся с привычкой на ходу думать. И он любил этот двойной перекликающийся ритм внешнего и внутреннего движения. Он любил это широкое дыхание, этот ритм, легкую походку, когда он шел через мир по улицам и дорогам. И все это стало невозможно. Помимо тысячи раздражающих мелочей, были основные, тоже мелочи, но основные, испортившие для него мир. Близорукий, он читал без очков, но пользовался очками для дали. Именно потому, что он употреблял очки не всегда, это употребление имело оттенок праздничности. Он любил этот момент перехода, когда мир внезапно вспыхивал и придвигался до новой очерченности и отчетливости. И в то же время он ценил возможность снова приглушить, притушить эту яркость, мешавшую сосредоточиться. Ему нравились эти переходы. Но как-то, еще весной, в набитом трамвае ему раздавили очки, которые он сунул в карман. У него был

рецепт, но заказать стекла оказалось невозможно. Таких стекол не было. И мир притух, стерся, больше нельзя было по желанию придавать ему эту немного искусственную, резкую, радужную отчетливость. Он оставался заволоченным. И Оттеру теперь неприятно было проходить мимо любимых мест, любимых ленинградских сочетаний, потому что он не мог вернуть им зрительную полноценность. И это раздражало. Это был один из способов раздражения. Раздражение настолько преобладало, что ему вовсе уже и не хотелось возвращать эту полноценность.

Гораздо мучительнее было другое — обувь. Рваные калоши. Весна, например, это были главным образом — мокрые ноги, всегда мокрые ноги. Когда добираться, наконец, до места, садишься — кажется, что нет ни носков, ни сапог, что ноги облеплены тяжелой, набухшей резиной. Сапоги (новые достать было невозможно) скорезились, задеревенели, пустили какие-то бугры. Они стерли, изуродовали ноги. Выхода из положения не было; он чувствовал себя калекой, хроническим. Он хромал на обе ноги — это особенно было тяжело, так как не было ни одной ноги, на которую можно было бы с облегчением перенести тяжесть тела. Он, хороший ходок, любитель ритмов хождения — медленно ковылял, переживая каждый шаг как страдание (если бы только можно было не замечать свои шаги!). Мир был испорчен. Он шел, опустив голову, думая о своих ногах. Ноги — это было именно то, чем он вступал в прямой непосредственный контакт с миром (физически примыкал к миру), и этот контакт был ужасен. Он заранее уже исключал возможность всех положительных соотношений между человеком и миром.

Таких вещей было множество. Они пронизывали жизнь. Была, например, такая вещь, как оставшиеся от дистрофического периода частые и мучительно неудержимые позывы к мочеиспусканию. По целым дням он мотался вне дома, по учреждениям. Там были грязные уборные, куда нужно было спускаться, добираться. У уборной стояла очередь. Люди не скрывали того, что они едва могут удерживаться. В учреждении не было отдельно мужской и женской уборной. И люди дошли до совершенно хладнокровного бесстыдства. Девушки, очень хорошие девушки, без всяких похабных намерений, кричали засевшему в уборной мужчине, чтобы он поскорее кончал свои дела. И мужчина (молодой) хладнокровно отвечал им из-за двери (тоже ничуть не похабничая): «Что же мне, к вам без штанов выходить, что ли?» И так ты спешишь, чтоб людей не задерживать. И мучаясь, переминаясь. Эта была одна из самых мучительных операций дня. И иногда это преследовало по целым дням и особенно ночью (надо было меньше пить). Иногда ему казалось, что он пропитан запахом мочи, и он с отвращением ловил себя на том, что думает о мочеиспускании и со страхом ждет очередного позыва.

Сама еда, оставшееся ему безусловно положительное ощущение, была обставлена множеством раздражающих действий. В период большого голода импульсы, толкавшие к еде, были так могущественны, что они

покрывали все раздражающее. Но теперь одним из самых раздражающих действий была покупка. В магазине было всегда темно и мокро. Ноги промокали и болели. И Оттер катастрофически не умел справляться со всеми предметами, которые приходилось одновременно держать в руках. Он с удивлением и завистью смотрел, как женщины свободно и ловко оперировали сумками и сумочками. Он же совершенно терялся. Нужно было вытащить бумажник, из бумажника, отыскав ее, нужную карточку (при этом не вытряхнуть остальные карточки, с которыми она была сложена вместе). Потом деньги. Сзади напирали, и он не успевал засунуть обратно сдачу. Со сдачей, карточкой и бумажником в руках он шел к прилавку. Зажатый под локтем портфель неудержимо ускользал вниз. Он был уверен, что если сунуть в карман перчатки, то их немедленно вытащат. Но если не засовывать перчатки, то тогда уже решительно не было ни одной руки, чтобы расправить авоську, в которую предстояло положить 300 грамм селедок. В конце концов все скапливалось в руках — портфель, бумажник, авоська, сдача, перчатки, карточка, которую он держал крепко, изо всех сил, селедки, плохо возвращенные продавщицей в бумажку. С отвращением он сжимал все это в кучу, прижимал к себе и, ковыляя на своих скоруженных ногах, он шел в угол, к пустому прилавку, чтобы там все свалить и разобраться; оглядываясь при этом через плечо, не подбирается ли кто-нибудь, чтобы стащить.

Таких вещей было много. Враждебный мир давил на тело, как на наболевшую, натруженную поверхность. И тело — форпост этого мира — давило на сознание. Помимо всего прочего, в этом мире стреляли. И, странное дело, сейчас это воспринималось не столько по существу, как смертельная опасность, сколько в побочных и сопровождающих моментах, как раздражение. Это — опять не дадут спокойно пообедать; не стоять же с мокрыми ногами, с набитой авоськой в подворотне. Какая тоска...

Мир давил на натруженное, наболевшее сознание. Лучше всего ему пребывать в оцепенении. Но он знал, что это безумная установка.

Он сидел в оцепенении. Когда в комнате бывало тепло, это было не тягостное оцепенение, — а за окнами в странной вещественной близости, и в огромном интеллектуальном удалении — лежал мир, в котором было много вещей, которые он любил. И он любил их не только ласковыми и податливыми. Потому что человеку, понимающему толк в жизненных ценностях, вещи всегда говорят: полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит². За окнами в ближайшей близости лежал город, замученный сейчас город, который он любил и с которым и сейчас ему трудно было бы разлучиться. Много труднее, чем с людьми, бывшими друзьями, уехавшими из этого города. Город он по петербургско-символистической традиции (хотя не терпел символизма) любил со всеми его жестокостями, с туманом и слякотным снегом, с гарью и ветром, особенно этот ветер... Он знал, что еще крепче может любить город сейчас, с пустыми улицами, с сугробами в скверах, с разбомбленными домами. Но сейчас он был наболевшей поверхностью, и он просил город его не трогать.

В мире, до удивления близко (рукой подать), существовали многие вещи, которые он когда-то любил, а многим скоро предстояло появиться. Уже прошлым летом были почки, листья, шумящие на ветру, разогретая солнцем вода. Но он ни разу не поглядел в ту сторону. Под предлогом дурного самочувствия и принципа экономии сил. Но в сущности потому, что нельзя было открыть в себе доступ соблазнам мира. Это значило, разрушив защитное оцепенение, открыть в то же время доступ миллиону раздражений, миллиону терзаний, неудовлетворенностей, обманутых вожделений. И он привык не желать мир. Он не желал мир. Когда к его сознанию вдруг, по случайности, прорывалось, что небо голубое, что солнце по-мартовски греет, он пугался нового времени года, несущего с собой новые требования, угрожающего этими требованиями оцепенению (необходимость что-то другое надеть на себя, что-то устроить с жильем). Он боялся весны, потому что весна была переменной, выводящей волю из равновесия. И по той же причине, но только в огромном увеличении, он, как сумасшедший, боялся конца. Ведь тогда должно было кончиться странное упрощение, сведенное к минимуму существование, которое он вел и которое, будучи мучительно-трудным, в то же время было до крайности облегченным. Тогда должна была начаться сложная, трудно восстанавливаемая нормальная или приближающаяся к нормальной жизнь. Все это было болезнью. Мир, который перестал быть предметом желания человека, — это был сумасшедший мир.

В сущности говоря, все любви, волновавшие Оттера, должны были бы сейчас замениться другой любовью. Но это не совершилось. И снова все возвращалось к общедоступному — любовь к человеку, потому что если не для себя, то для любимого человека мир всегда полон предметов желания. Но Оттер сидел, погруженный в оцепенение, и любовь к женщине представлялась ему непомерно хлопотливой историей.

Во всяком случае он знал, что болен. Мир лежал рядом (рукой подать). Он был полон кровавым ужасом и потенциально полон объектами желаний. Нужно было найти перерезанные связи. Нельзя было долго оставаться в мире, притушенном из-за разбитых очков, ненавистном из-за обуви, натирающей ноги, отравленном слишком частым мочеиспусканием. В мире, против которого средством служит оцепенение. Уже потому нельзя, что мысль, работающая без опыта, скоро станет бесплодной.

Но, может быть, все-таки придется.

Блаженство болезни

Болезнь было невозможно по множеству причин. Но, конечно, болезнь — не мучительная — представлялась идеальным состоянием. Сонливое, затуманенное жаром сознание — это был заслон против враждебного мира. Все ответы на требования враждебного мира теперь можно было отложить. Болезнь была правом на оцепенение.

Когда болезнь стала совершившимся фактом, неодолимые бытовые препятствия самым непредвиденным образом уладились. Тогда он

стал с жадностью предаваться болезни. Ему даже казалось, что это ему никогда не наскучит. Хуже всего человек переносит отсутствие целей. Но болезнь давала странное, единственное в своем роде сочетание оцепенения с непрестанной целеустремленностью, как бы непрестанно осуществляемой. Жар вызывал необходимость лежания, неподвижности, исключения от страшного мира. Это была необходимость не абстрактная, но непосредственно, физически переживаемая, и выполнение этой необходимости было само по себе целеустремленным. Так физическое состояние жара, тяжелой дремоты (дремота дает единственное в своем роде наслаждение сном, потому что это осязаемый, осознаваемый сон) было в то же время переживанием некоего совершаемого нужного действия, хотя бы отрицательного.

Он лежал, и ему нравилось доводить оцепенение до крайнего предела. Он лежал неподвижно, закрыв глаза, и постепенно абсолютной неподвижностью достигал того, что переставал ощущать свое тело. Раздражавшее, опротивевшее, враждебное, болезненное тело больше не давало о себе знать ощущениями; оно исчезало. Это было нечто подобное тому, что испытывает пловец, когда, закрыв глаза, лежит на воде, уже не чувствуя воды, и из всех физических ощущений ему остается только ощущение своего широкого и ровного дыхания. Ощущение дыхания осталось ему и теперь. Оно было необыкновенно приятно. В дремоте он подолгу, не уставая, следил, как дыхание, зарождаясь где-то, ширилось и струилось вверх, как бы само по себе существующее, единственно существующее (в своем прохождении) прокладывало себе путь через неосязаемое, атрофированное тело.

Блаженному полному отчуждению тела мешало сердце. От времени до времени с левой стороны возникали неудобные тянущие, всегда немного жуткие ощущения. Он старался особенно плоско и неподвижно уложить левое плечо, руку, бок. Уложить сердце. Все равно сердце должно было работать. Неприятно и страшно было думать о том, что сердце нельзя успокоить, на время остановить, что оно непрестанно, безостановочно ведет и ведет свою самопожирательную работу. Разве это может долго продолжаться... Но в остальном (сердце ведь не всегда давало о себе знать) оцепенение было полным, снимающим все ощущения, блаженным.

<ЗАПИСИ И ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С «ДНЕМ ОТТЕРА»>

1. <ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ>

<I> Что это за формация и как она получилась?

Строй круто поставил назревшую историческую проблему изменения субъективного человека и образования человека гражданского.

Государство, которое потребовало, чтобы все по всем пунктам хотели того же, чего оно хочет (буржуазному государству это было принципиально не нужно).

Оно потребовало этого в крайней и грубой форме.

Это стало трудно, как только свершился переход от баррикадного пафоса революции к деловой жизни.

Трудно было всем (мыслящим), потому что все были наследниками 19-вечного сознания.

Предпосылки конфликта с обществом.

Три пути:

Те, которые хотели другого (контрр<еволюция>).

Те, которые хотели основного и взяли на себя ответственность за всё (парт<ийная> инт<еллигенция>), — их опустошенность, потеря или опасность потери установленных связей с обществом.

Те, которые хотели основного и не взяли на себя ответственности за все. Хотели быть специалистами, повергающими к стопам чувства, мудрые и выраженные по собственному методу. (Разница между гуманит<арной> и прочими областями. Гуманит<ария> и есть выражение хотений.)

От них этого не приняли. Крушение труда и творчества. Тоже социальное опустошение, ибо свой труд и творчество они мыслили как участие в культуре страны, коллектива.

Отсюда оттеровский комплекс — мира, который никуда не зовет, тишины, равнодушия, лени и т.д.

Конфликт произошел не на отрицании основ, а на предельности требований государства.

Исторический смысл этой предельности (при всей грубости ее выражения) в том, что процесс организации единого хотения был необычайно нов и труден.

В том, что государство готовилось к войне, когда общее хотение реализовалось.

Напротив того, свобода мнений и высказываний на Западе себя не оправдала, ибо не дала большой культуры. Она оказалась свободой скуления.

А государственные аппараты парламентского Запада не доказали своей способности выиграть войну.

<||>

Промежуток история посвятила тому, чтобы доказать невозможность и ужас эгоистического жизнеощущения. Всеми доступными ей способами она твердила и долбила, что единичный человек — не ценен. Она твердила — горе эгоистам и гедонистам; нет в мире ничего более беззащитного и хрупкого, чем эгоисты и гедонисты.

Откровенные и замаскированные формы уроков истории. При замаскированных формах люди пользовались многими благами и до поры избегали многих бедствий. Но все самое страшное они получили сполна. Даже сверх меры, потому что они были к этому решительно неподготовлены.

Второе испытание не может вызвать реакцию, подобную предыдущей. История доказала ее бесплодность. У нормально мыслящего человека она должна вызывать реакцию отвращения к эгоизму, обрекающему человека на величайшую беспомощность и несчастья. Оно должно вызвать жажду сурового гражданственного жизнеощущения, принимающего факт смерти и принимающего тяжесть жизни, понимаемой как связь. Так должно родиться новое сознание, которое создает новую культуру. Ибо в области философско-гуманитарной культуры субъективное сознание 20 в<эка> уже очень давно не в состоянии создать ничего плодотворного.

Уничтожены две величайшие иллюзии — здесь иллюзия гуманистического социализма, там иллюзия гуманистического индивидуализма.

Итак, только теперь понятен исторический смысл этого выморочного поколения и символика его судьбы. Первое испытание вызывает крайне гедонистически-индивидуалистическую реакцию; второе доказывает несостоятельность этой реакции. Совмещение обоих актов в пределах одного поколения важно потому, что человечество познает истины только на собственном опыте, никогда не на опыте других поколений.

Для того чтобы доказать поколению бесплодность гуманизма, его неспособность разрешать современные жизненные задачи и трагическую обреченность эгоизма, — надо было сделать из поколения порядочное крошево; и история сделала из него крошево. Оно оказалось экспериментальным материалом истории. И история жгла и потрошила его и превращала в кровавую кашу. Конечные результаты были неизбежны, речь могла идти только об откровенных или замаскированных формах.

В откровенной форме фашизм сделал людей рабами, обрек их на бесконечные тяготы и лишения во имя интересов Левиафана¹, подверг их систематическому истреблению и систематическому моральному растлению. Он лишил их человеческого достоинства, самого человеческого подвоя и поставил перед зрелищем собственной подлости, растления и позора. И люди поняли. То есть поняли пока отдельные люди, а большинство внутренне созрело, чтобы понять, что эгоизм как мерило поведения подобен смерти, что гедонистический индивидуализм и гуманистический социализм несостоятельны; и это в силу двух настойчиво открывшихся человеку факторов — иллюзорности индивидуального существования и неизбывности социального зла.

Обреченные физическому уничтожению и моральному растлению легче других теряли иллюзию абсолютной ценности единичного сознания (душа). Им может, наконец, открыться, что все ценное в человеке, сама идея ценности принадлежит только началу общности. Культура — это явление связи. Слово — условие духовной жизни человека — это фактор общения. Замкнутая в себе ценность — это логически порочное понятие. Абсолютная ценность единичного сознания — это иллюзия, психологическая аберрация индивидуализма.

Новому (пока еще преимущественно негативному) восприятию человека соответствует новый метод его рассмотрения. Психологический роман 19 века возник на великих иллюзиях индивидуализма. Сейчас рассмотрение человека как замкнутой самодовлеющей души имеет бесплодный, эпитонский характер. Современное понимание — не человек, а ситуация. Пересечение биологических и социальных координат, из которого рождается поведение данного человека, его функционирование. Человек как функция этого пересечения. Этот унылый аналитический метод не мыслится мне действительным на все времена, но лишь наиболее адекватным существующей в данный момент негативной концепции человека.

Второе открытие антигедонистического порядка — это открытие неизбежности социального зла. Вместе с отрицанием ценности единичной личности оно в высшей степени отделяет людей 20 в<ека> от людей 19 в<ека>, которые свято верили в устранимость социального зла социальными способами — это и было предпосылкой гуманистического социализма.

Оказывается, социальное зло неизбежно, оно только заменимо. То есть на место устраняемого немедленно диалектически встает другое (конкретные примеры — свободы, взаимное вытеснение высшей и низшей культур; семья, женщины и т.д.). Вопрос только в исторической диалектике выбора наиболее подходящих, наименьших зол.

Дело не в невозможном искоренении социального зла, а только в том, чтобы найти к нему *отношение*. Отношение это броня; иначе оно обрушивается на голенького эгоиста как дробящий молот. Спасительное отношение (приятное необходимости) может быть найдено только в аскетической гражданственности.

*

—

В условиях откровенных форм поколение потеряло важные движущие иллюзии 19 в<ека>; кроме того, оно потеряло все возможности инициативной (творческой) деятельности, потеряло инерционные формы быта, потеряло даже эрзацы материальных благ.

На эти эрзацы его одно время стали натаскивать, чтобы доставить ему какое-нибудь жизненное содержание. Но предвоенная экономика и политика этого не выдержали. Это пришлось прекратить и заменить обратным лозунгом мобилизационной готовности. Это было последним ударом. Оно потеряло все, включая человеческий образ и подобие.

В промежутке его положение было ужасно, ужаснее, чем оно само могло подозревать. Второе испытание придало его бытию некий исторический смысл. Смысл страшной, катастрофической развязки полуторавековой эпопеи индивидуалистического сознания <чернилами вписано>: (некому было об этом думать. Если бы было кому думать, то думали бы об этом).

В час величайшей несвободы оно обрело подобие внутренней свободы и независимости в сознании того, что несущественна разница между откровенными формами и замаскированными. Не все ли равно, что такие-то люди не воспользовались такими-то правами и благами, если результат один. И даже чем больше было прав и благ — тем хуже результат (опять встает проблема заменимости социального зла).

Внутри откровенной формы еще менее значительной оказалась разница между удачниками и неудачниками. И неудачникам, в самых неприятных обстоятельствах, это доставляло удовольствие. Где карьеристы с учреждениями, в которых они делали карьеры. Вот стоят их пустые разграбленные квартиры. А хозяева мотаются по дорогам. Какая разница между вышедшими и невышедшими книгами, если нет уже ни авторов, ни

читателей. Для людей, принадлежавших к поколению, обреченному на истребление, решающей удачей оказалось не умереть.

Так люди, перескочив через угнетавшие их обиды и бедствия, быстро пошли навстречу новым.

*

В относительной стабилизации действительности сила и слабость. Разница между В<остоком> и З<ападом>, вообще говоря, сильно преувеличена. Но в данном отношении разница есть. З<апад> с его замаскированными формами и гедонистическими иллюзиями оказался психологически неподготовленным. В<осток>, напротив того, десятками лет (а в смысле исторической традиции, то и искони) воспитывался в том духе, что «для веселия планета наша плохо оборудована». Это выработало множество полезных в таких обстоятельствах качеств — относительное равнодушие к жизни, терпение, выносливость, привычку к бедствиям и убежденность, что бедствия и составляют нормальную форму бытия. Все это свойства крепостного войска, которые, однако, перечеркивались другим его свойством — безынициативностью. Свойства эти, однако, составляли основу sui generis героизма (пассивного). Такова же психологическая сущность кр<естьянского?> героизма (анекдот про чел<овека>). Люди переносят бедствия, потому что им ничего другого не остается делать. При этом переносят их довольно спокойно, потому что они равнодушны, выносливы и приучены к бедствиям.

Слабость же в том, что произошло только количественное усиление, увеличение. Не родилось новое качество, приносящее с собою подъем и новую инициативу. На привычности к бедствиям В<осток> дал средний уровень поведения (возможность держаться), тогда как на непривычности З<апад> дал либо распадение, прах (Фр<анция>), либо подъем (А<нглия>). Для англ<ичанина> то обстоятельство, что его посылают рыть окопы или отправляют на крышу, — экзотика, фактор головокружительной, новой, неузнаваемой действительности, совершенно новые и потому волнующие требования Родины. Но вот... фашистский человек, для которого все это еще более неприятное продолжение привычных принуждений, на которые он реагирует привычной попыткой уклониться, а в случае неудачи — пассивным терпением. В отличие от первого случая, этот жизненный материал не обращается в идеологическую ценность и, следовательно, не служит условием реализации — этим все сказано*.

*

Люди хотят реализации. И особенно инт<еллигенты> с их тягой к идеологии искренне хотели измениться. В первый момент им казалось, что все изменилось и что они изменятся, очистятся от скверны. Первоначальное отношением к работам, посещение отв<етственного> секретаря. Обращение к О<льге> Б<ерггольц> (неловко говорить о деньгах), Ната идет в госп<италь> и т.д. и т.д. Попытка преодолеть привыч-

* [Вписано:] — переход к Левиафану

ное принуждение внутренней добровольностью и тем самым найти путь к реализации и инициативе. Все это наталкивается на мощную и совершенно неприспособленную к учету психологических движений машину. Машина в этом не нуждается. С привычной грубостью и недоверием к доброй воле она от одних участков отбрасывает человека, в другие втягивает насильственно. Крушение инт<еллигентских> иллюзий относительно душеспасительности физического труда (разговор с опытным Макс<имовичем>, первые котл<ованы>, поездка). Оказывается, мучительно трудно, безысходно скучно, неэффективно. Линия инт<еллигентского> уклонения в конце концов берет свое, ибо это социальная закономерность.

Лев<иафану> нужно от инт<еллигента> точно то же самое (на несколько измененном материале), что и прежде — обслуживание <...>*. И он быстро и твердо возвращает их к этому делу, отпуская за это — как и прежде — некоторые блага и поблажки. У желающих теперь появились только некоторые внутренние мотивировки временной необходимости (ценности) этого состояния. Но у тех, кто избегал цинического жизнеощущения, мотивировки всегда находились.

Итак, получилась действительность очень похожая, а в некоторых чертах — до ужаса. Особенно одной чертой. Детали сходства: вечернее ожидание; страх заснуть, чтобы не испытать ужасное пробуждение, предпочитают бодрствовать, пережидая вероятное время; ожидание звука в напряженной тишине; утренняя неизвестность о случившемся за ночь; постепенное узнавание; случайное попадание, самоуспокоительные рассуждения с том, что попадание как-то оправдано и тем самым может быть избегнуто; подыскивание мотивов.

Старые споры о том, что хуже — то или это. Хуже всего оказалось совмещение. Нестерпимые дни совмещения. Психологический слоеный пирог из своих и чужих. Двойная, помрачающая разум функция своих. Неслучайная аналогия — в том и другом случае мы имеем откровенно действующее социальное зло (зло без маски), враждебный мир, эмансипировавшийся от всех сдерживающих факторов.

Они получили неизменную и чудовищно гиперболизированную действительность. Принцип тот же. Лев<иафан> употребляет в свою пользу человека, внутренне не идущего навстречу и потому превращаемого в раба, то есть в существо, лишённое общих ценностей и личной инициативы. Символической ясности и гиперболического предела все это достигло в данных условиях. Несвобода проникла во все проявления человека, вплоть до мельчайших; притом вне всякой регламентации, которая узаконивает и идеологизирует несвободу. Пассивность (безынициативность) гиперболически подчеркнута тем, что на человека давит и обрушивается все происходящее, но сам он не участвует ни в чем, пока Лев<иафан> не протянет щупальцы, чтобы схватить его и употребить в свою пользу. Если же в застойных условиях он не понадобился Лев<иафану>, то он обречен

* [Одно слово нрзб.]

такой праздности, которой, вероятно, наказывают грешников в аду. Он посреди всего, все рядом с ним (кирпичики), он претерпевает все, но сам он не участвует, он ничего не делает. Он ее не знает и не видит, хотя она ежесекундно грозит ему гибелью. Он замкнут в свой круг и бежит по своему кругу, повторяя бесцельно — однообразные движения рядом с другими, бегущими по таким же кругам, которые не пересекаются. (Кольцо, круг, день.)

Психика раба, то есть человека, у которого нет ценностей, который сам для себя не представляет ценности, которого ничто не касается и который управляется прямолинейно-эгоистическими, близлежащими вожделениями, в данных условиях также гиперболически прояснилась. До символической ясности ее довела модная болезнь. Ее основные черты — зверская цепкость в преследовании мельчайших эгоистических целей и потеря чувства во всех нематериальных ценностях, в том числе собственной ценности, которая приводит к странно совмещающемуся с мелкой цепкостью равнодушию к собственной жизни и смерти (легкая смерть дист<рофиков>).

Все дело в том, что цепкость стимулируется только непосредственными импульсами страдания и удовольствия — возвращение к животности.*

*

—

Человеческое, особенно индивидуалистическое самосознание находится в таком непереносимом противоречии с идеей смерти как абсолютного исчезновения,

что — дабы существовать и действовать — оно порождает сложнейший механизм подавления, вытеснения, обезвреживания этой идеи. Понятно, что в<ойна> до крайности усиливает действие всех этих механизмов. Социальное подавление инстинкта самосохранения; вытеснение фактора смерти из светлого поля сознания; непонимание; привычка; равнодушие (дистрофическая смерть). За это время мы видели много пороков — и меньше всего физической трусости. Люди, самые хорошие и самые дрянные, с одинаковым хладнокровием реагируют на свист пролетающих над головой снарядов. Вообще мало кто боялся, за исключением людей с особым физиологическим предрасположением к страху. Из всех людей, мне известных, больше всех боялись Гр<иша Гукровский> и А<нна> А<ндреевна>.

Оказывается, физическая трусость вообще не так уж свойственна людям — особенно людям русской культуры. Впрочем, Герцен писал и про парижан: французы боятся всего, но только не стрельбы на улицах.

Далее: отсутствие страха смерти вовсе не расценивается нами как морально положительный факт. Это состояние может быть

* [На обороте почерком 60-х:]
Всегда казалось — неужели, когда начнется, будут функционировать по-прежнему. Невозможно <одно слово нрзб>, когда дойдет до жизни и смерти. Их тогда прорвет. Они замечутся и провизжат свою правду. Ничего подобного, разумеется не случилось. Механизм действует по-прежнему, и с ним вместе действуют Д<сым>шицы. Они, конечно, стараются уклониться, но если уклониться не удалось, то им легче попасть на фронт, нежели нарушить порядок. Это инстинктивный выбор между опасностью неизбежной, близлежащей и понятной и опасностью гадательной, отодвинутой во времени и непонятной.

свойственно бандитам, авантюристам, хулиганам, дистрофикам. Ценность этого факта начинается только там, где мы имеем ощущение ценности жизни (героическая жертвенность), свободный и сознательный выбор поведения и морально-иерархическое подчинение низшего высшему, единичного общему.

Усиленное действие всех механизмов вытеснения и подавления идеи смерти возможно потому, что смерть — величайшее и неизбежнейшее из бедствий, вместе с тем — единственное из бедствий, которое никто никогда не испытал и никто никогда не испытает. Оно навсегда недоступно опыту и потому всегда существует для человека либо как абстракция, либо как эмоция (страх смерти).

Как абстракция смерть (абсолютное уничтожение) принадлежит к тому ряду представлений, как вечность, как бесконечность, которые известны нашему разуму, но в силу их полной эмпирической недоступности остаются непредставимыми и непостижимыми. Человек не понимает ни вечности, ни бесконечности, ни небытия. На практике человек мыслит все явления ограниченными во времени и в пространстве и в то же время самый атеистический человек произвольно мыслит жизнь как непрерывную связь явлений, в которой он после своей смерти, вместе со своей смертью, находит себе место — своей могилой, своими детьми, своей славой.

В той мере, в какой смерть — это абстракция, человек не понимает своей смерти, и потому не боится ее так, как ее следовало бы бояться. Так расшифровывается старая формула Ларошфуко².*

В той мере, в какой смерть, то есть страх смерти, есть эмоция, он подвержен всем капризам и непоследовательностям эмоции. Он возникает и пропадает отнюдь не по законам логики, но в силу сложнейшей игры импульсов. Вот почему в зависимости от психологической ситуации и в большинстве случаев независимо от отчетливой опасности один и тот же человек может бояться и не бояться. Вот почему можно проснуться у себя в постели (в мирное время), трясаясь от ужаса при мысли о предстоящем уничтожении, и можно рассеянно и равнодушно ходить под обстрелом (в одном случае сосредоточенность, в другом — отвлечение внимания). Вот почему у человека, который мистически боится смерти, нервы могут быть хорошо приспособлены к перенесению специфических толчков и свистов, и наоборот.

Человек не понимает своей смерти, и он переживает страх смерти в зависимости от слагающегося в каждый данный момент комплекса впечатлений. В силу своей эмпирической недоступности, непроверенности величайшее из человеческих бедствий элиминируется из сознания с большей легкостью, чем всякое другое. Легче, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, чем, идя на службу, не думать о полученном выговоре в приказе...

* [Вписано:] Толстой. А<н-на>А<ндреевна> фантазии.

Это условие жизнеспособности человека; его способности к действию. В то же время это условие сохранения законов действительности вплоть до того момента, как страх смертельной опасности, овладевая эмоциями, начинает действовать как единое всепоглощающее переживание ужаса или восторга.

*

Люди проявили столь мало физической трусости, что она поистине не парализовала все другие пороки. Достаточно было, например, послушать классическое склочное собрание с Роз<еном>, происходившее во время сильного обстрела. Снаряды свистели и рвались (кстати, в это здание им уже случалось попадать), а бюрократическая машина работала — совершенно точно. Начальника отдела сняли по воле высшего начальства, высшее начальство присутствовало. И преемник³, вообще очень милый человек, должен разыграть все ритуальное действо — осуждение прежнего руководства (налицо и статья в стенгазете, подписанная «Пегас»), самовыгораживание под видом самокритики, сваливание на людей, выдвинутых предшественником, и проч. А лично уязвленный Роз<ен> разыгрывает гневное «Не могу молчать» или «Я обвиняю» писателя по отношению к «малоквалифицированным» редакторам. Отражено ли во всем этом нечто имеющее касательство к свисту и разрывам. Да, новая добавочная мотивировка для заушательства. Апелляция к ответственному моменту — «Сейчас больше, чем когда-либо».

Чтобы убедиться в бесперебойности действия машины надо походить по инстанциям, где восстанавливаются или не восстанавливаются потерянные карточки. Гротескное сочетание изменившегося содержания и сохранившейся формы. Форма — бюрократическая, содержание — жизнь и смерть человека, голодная смерть человека. А типы секретарш все те же классические. Например, довольно распространенный среди чиновников садистический тип.

Это злая секретарша, которой доставляет наслаждение отказывать, вроде нашей Е. А., вырезающей талоны, которой доставляет наслаждение сказать вам, что вторую кашу взять нельзя или что на эту пятидневку у вас не осталось ни одного крупяного талона. Эти отказывают четким голосом с выработанными интонациями отказа, слегка сдерживая рвущееся на поверхность удовольствие. Есть томная секретарша, хорошо одетая, с красивыми, жирно подведенными глазами. Эта занята своими внеслужебными делами и соображениями. Эта смотрит на вас беззлобно, как в пустое пространство, с единственным желанием поскорее отделаться от помехи. И отказывает лениво и даже несколько жалобно (жалуюсь на помеху). Наконец, есть деловая женщина, остро переживающая свою деловитость. Для женщин сам по себе факт занятия делом до сих пор еще не автоматизировался и не перестал служить предметом реализации. Поэтому они педалируют этот факт, страшно раздражая окружающих. Вот почему женщины

врачи, если они не абсолютно умны и культурны, любят в разговоре употреблять термины (тут же переводя с латыни на русский язык) и объяснять. При этом они говорят: «Мы называем это...», «У нас принято...», всякий раз с удовольствием переживая сопричисление себя к этому серьезному мужскому коллективу. Это неизжитое еще ощущение социально-психологического сдвига, неадекватности, приводящее к психологическому нуворишеству. У выскочки постоянная потребность переживать, ощущать свое положение.

Если злая секретарша видит в службе источник садистических и властолюбивых удовольствий, если томная секретарша смотрит на службу как на неизбежное зло или необходимую вспомогательную ситуацию, то для деловой женщины ценен сам служебный процесс, непрестанно обновляющий в ней переживание деловитости. Она отказывает вам величественно, но обстоятельно, с поучениями и резонами, притом интересуясь только своими резонами и наслаждаясь процессом, чистой формой служебного акта. Хуже всего то, что все они, вернее не они, а движущая ими машина, правы в своих отказах. Ибо попустительство немедленно приведет к злоупотреблениям. Но материалом все-таки остается голодная смерть человека.

★

Люди функционируют, влекомые однообразно действующей машиной. На новом материале они сохранили все свои функциональные формы и импульсы — тщеславия, корысти, эротических интересов и пр. (в той мере, в какой их не подавила дистрофия). Иные из них, томившиеся пустотой, почувствовали даже некоторое внутреннее удобство. У них появились близлежащие цели. Множество прежде незаметных вещей стало разрешаемой задачей, предметом интереса. Самые страдания и потребность от них избавиться порождают цели и интересы. Вот почему люди, поставленные в невыносимейшие условия, сравнительно редко кончают самоубийством.

В качестве нового содержания — важнейшего — человеку предстала вся область еды. И к этому содержанию немедленно приложились все формы человеческой деятельности. Оно стало предметом реализации, самоутверждения, борьбы, достижений, хвастовства этими достижениями, изобретательства, творчества и т. д. и т. д. Но функциональные формы неизменны.

О чем они пекутся. Советский человек Л<?> пишет о Севаст<ополе>, о крови и смерти и интересуется тем, пойдет ли ее передача. «Опять материал залеживается по две недели. Пропадает всякая охота для вас работать...» А материал этот смерть, смерть, смерть. Свежая смерть, в том числе смерть знакомого человека — Петрова.

Кор. пишет о героических буднях. После сильно флиртового разговора по телефону, она говорит: Приятно иметь такого героя. Побольше

бы таких героев. Инженер, очень интересный мужчина. Не говоря уже о том, что у него чудные папиросы.

Но удивительнее всего О.Б. с ее позой патр<иота>. Встречаю ее в один из трагических дней. И она оживленно и весело рассказывает анекдотическую историю с конвертом из суда. Подводная тема курьезного рассказа — как читатели (да еще работники суда) оценили ее произведение. А произведение: это смерть, смерть — трагедия Ленинграда. Кстати, о го-лоде оказались в силах написать только самые сытые в Л<енинграде> люди — О.Б., В.И. (посылки Ольги).

Вначале людям казалось, что это их касается. Они жадно кидались навстречу известиям, исполненным для них личного интереса. Они не знали, как это будет, и искали ответа и выхода из неизвестности. Они ждали, что, быть может, события им скажут, что их минет чаша сия. Словом, они искали раскрытия своей судьбы (избежать бы). Теперь все свершилось. Чаша их не минула. Они знают, как это бывает. То, что они узнают, ничего не может изменить в текущем дне. День складывается помимо того, что они о нем узнают. Для приличия они от времени до времени возвращаются к этой теме, но крайне рассеянно. Она сейчас же поглощается другими.

2. <САМЫМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ДЛЯ ВОЙНЫ...>

Самым специфическим для войны является не факт смерти и страданий. Знаменитая испанка уничтожила людей больше, чем Первая мировая война, в Лен<ин>гр<аде> от дистрофии (правда, это тоже факт войны) погибло людей не только без всякого сравнения больше, чем от всех бомбежек и обстрелов, но больше, чем на лен<ин>гр<адском> фронте.

Самым специфическим является другое — несвобода, абсолютное подчинение частного общему. Причем подчинение внутренне узаконенное, не вызывающее сопротивления. Несвобода эта преодолевается только высшим обладанием условиями и законами вольной действительности. Человек свободно и добровольно отдает себя общему и тогда берет в свои руки специфическую новую инициативу — это героизм. Во время войны свободны только герои. Остальное — есть только произвол дезертиров.

Разница между свободой и произволом в том, что свобода целесообразна. Свобода — это свобода целеустремленности; тогда как произвол негативен, он лишен положительного содержания.

Там, где героическая свобода не осуществилась, — несвобода может явиться усиленным продолжением несвободы предыдущего бытия. Тогда понятно, что в ней действуют прежние законы.

3. ОПЯТЬ ИСТОРИЯ СУБЪЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ

Теперь я знаю, кто это такие мои типовые герои — это люди двух войн и промежутка между ними. Те, на ком воочию показана несостоятельность имеющегося состояния сознания и необходимость нового.

Действительность, в которой герои обнаруживаются, это действительность, изменившаяся в гораздо меньшей мере, чем мы ожидали. В ней до какого-то предела (проблема этого предела) действуют все те же законы. Иллюзии и просчеты на этот счет.

Ограниченное действие фактора смертельной опасности. Абстракция и эмоция (капризы эмоции — пробуждения в ночи и хождение под обстрелом). Вытеснение, непонимание, заглушенные непосредственным переживанием. Социальное глушение. Равнодушие. Мы видели разные пороки — меньше всего трусость. Человек себя в этом отнош<ении> не знает. За исключением людей с особым физиологическим предрасположением. Страх не мешает всей другой подлости. Аппарат действует.

Специфические черты действительности в еще более проясненном виде. В этом отличие от тюр<емного> зак<лючения>, где многое было затемнено. Замкнутость человека — ибо безынициативность, пассивность. Псих<ология> раба. Он посреди Л<евиафана>, на него все обрушивается, и он ни в чем не участвует. Пробег по своему кругу.

Людам казалось, что они изменятся, им страстно хотелось измениться, но это не вышло. Как их возвращало обратно. Неизменность линии. Они реагируют характерным для себя образом, только в увеличенном виде.

Но они созрели для изменения, и лучшие понимают необходимость перерождения человека.

Крайне выраженное сознание в крайне выраженной действительности. Кольцо (каламбур). Круг как выражение изолированной замкнутости и бесцельного пробега. День как выражение круга.

Пробуждение. Домашние дела. Разговор с теткой. Очередь (Разговоры). Первый выход на работу (разговоры). Обед (разговоры). Покупки. Третья еда. Стихия еды. Тоска. Второй выход на работу (разговоры). Визит (разговоры). Возвращение. Сытость. В ожидании утра.

4. <ЭТО ИМЕННО ОЩУЩЕНИЕ БУКВАЛЬНОСТИ...>

Это именно ощущение буквальности; раскрытия каких-то неясных, но глубоко органических тенденций дал нам темный город. Люди больших городов, не догадывавшиеся о том, что не только на даче, но и в городе бывает лу-

на, мы считали естественным и само собой разумеющимся, что ночью на улицах светло. Помню, как это представилось мне в первый раз. Стояла сплошная чернота, тьма ноябрьской ночи. Чернота неба плохо отделялась от черноты домов, стоявших огромными срубами (кое-где они просвечивали незаткнутыми щелями). Странные синие трамваи шли как двухэтажные, потому что они глубоко отражались в мокрой черноте асфальта.

В перспективе Невского быстро возникали и приближались большие парные огни машин, то, как следует, синие, то зеленоватые или почему-то грязно-оранжевые. Огни приобрели небывалую значительность. Они шли парами (и цепью) и в тумане вдруг испускали из себя уплотненный луч или рог.

Какой аспект «Петербурга» и что сделал бы из этого Андрей Белый! Но для нашего современника — тут нет ни мистики, ни даже романтики. После первого сильного и чисто-эстетического впечатления — все быстро укладывается в ощущение неудобства и затрудненности, в буквальную реализацию всех тенденций к неудобству и трудности (чего угодно — стен, углов, обмерзших тротуаров и т.д. и т.д.). Сильнее же всего ощущение злой воли вещей, причем темнота впервые разоблачает эту злую волю. Вернее, разоблачает уверенность человека в том, что мир враждебен ему. Почему человек боится темноты? Он боится, что в темноте > не сможет предотвратить то, что его ожидает, но почему человек уверен, что его ожидает удар из-за угла или разверзающаяся под ногами яма или привидение; почему ему не предположить, что в темноте его ждет нечаянная радость. А эти увеличенные пространства; то есть это длительное переживание пространства от угла до угла, вложенное в несколько шагов. Нормальный трамвай маскируется светом. Светящимися окнами он вас приглашает войти и расположиться, обещая обманчивую безопасность. Но эти странные синие трамваи, набитые неопределенного цвета людьми, ясно показывают, что они — несовершенный и опасный для человека механизм, что в него трудно попасть... И когда он плотно набит людьми, то не верится, что эти люди когда-нибудь выйдут из него живыми и невредимыми. Черный и синий цвет — цвета смерти, черный по традиции, синий по ассоциации, быть может, с трупной синевой. Но здесь эта символика имеет совершенно практическую основу. Сейчас это действительно цвета смерти или смертельной опасности, проблематичной, но все же существующей как напоминание, как проверка нашему равнодушию. Когда вы стоите на трамвайной остановке (она все же представляет собой некоторый оазис), то рядом стоят темные люди, вы понимаете то, что нельзя понять, глядя в освещенное лицо человека, — что каждый из них потенциально как раз тот самый, который может вам наступить на ногу, покрыть вас матом, пырнуть вас ножом. Зло, по крайней мере, не неожиданно. Это переживание <...>* враждебной сущности внешнего мира.

Когда Оттер в пижаме и старом пальто сидит на своей постели среди перепутавшихся вещей, ему кажется — все дело в том, что злая стихия всего мира вторглась в его дом.

* [Одно слово нрзб.]

5. СТРАХ И НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЕГО ГОЛОД И ПРОЧ. УСТАЛОСТЬ

29/III

Люди из Б<ольшого> Др<аматического> очень подавлены. Говорят, они всех спрашивают: как это сделать так, чтобы не бояться? Им отвечают: для этого надо было прожить здесь полтора года, голодать, мерзнуть... Объяснить это нельзя.

Для этого надо было обзавестись другими импульсами, всепоглощающе, всеподавляюще сильными в своей примитивности. Одной привычки недостаточно. Привычка только притупляет импульсы страха и самосохранения, облегчает их подавление и замещение другими.

Человек зимы 41/42 года идет по улице во время обстрела. Он знает, что это очень опасно и страшно. Но он идет обедать, в столовую. И вместо того чтобы бояться, он раздражается на помеху (не дадут пообедать...); вместо того чтобы бояться смерти, он боится, что его по дороге задержат, остановят, загонят в укрытие, чтобы он не подвергал свою жизнь опасности.

Опасность и ежеминутная возможность гибели существуют в сознании этого человека, но его непосредственное переживание — это голод, и в особенности страх голода и голодная торопливость, слепо устремляющаяся к цели. Можно одновременно осознавать разные вещи, но нельзя одновременно с равной силой переживать разные вещи.

Человек просыпается ночью по сигналу тревоги. Надежда на то, что тревога будет *тихая*, — скоро рассеивается. Все ближе бьют зенитки. А вот это очень сильный удар зенитки или скорее уже бомба. Он уже не думает о том, чтобы встать, одеться и идти в промерзающий подвал. Он думает о том, что не следует засыпать. Ему не хочется, чтобы *это* случилось во сне. То есть ему не хочется пробудиться среди рушащегося на него мира с тем, чтобы в кратчайшее, тут же гаснущее мгновение пережить ужас своей безвозвратной гибели. Лучше — с подготовкой; лучше лежать, прислушиваясь к приближающимся ударам, вводящим в катастрофу. Он думает о том, что не следует засыпать, но через несколько минут он засыпает, потому что устал.

Он знает, что происходящее очень страшно. Что вот сейчас, влюбое мгновение, прежде чем он успеет натянуть одеяло, прежде чем он выдохнет дыхание, сейчас расширяющее ему грудь, — вот сейчас известная ему действительность может смениться другой, невероятной — воющей, звенящей, из предельного страдания падающей в небытие.

Он знает это, но он не в силах бояться. Ему хочется спать. Ему удивителен тот человек, каким он был год назад. Тот человек просыпался в час, в два часа ночи от воя тревоги. И сигнал этот был для него достаточным импульсом, чтобы мгновенно оставить разогретую постель, одеться, идти в подвал. Это была наивная цельность и свежесть инстинкта самосохране-

ния, еще не затемненного усталостью и непрестанной борьбой со страданием. В итоге этой борьбы — разогретая телом постель, тело, спокойно лежащее в постели, — оказывались достижениями и ценностями, против которых инстинкт самосохранения был бессилён. Он, располагавший только интеллектуальным материалом представлений, — не мог пересилить непосредственные импульсы усталости и отвращения к очередным физическим неудобствам (сидение в подвале), тогда как эти же импульсы с величайшей легкостью пересиливали голод.

Я знаю, что это страшно. Я хочу жить. Я не хочу, чтобы осталось невысказанным то, что я имею сказать. Я знаю, что если это случится, то в последнее сознательное мгновение я прокляну свою глупую неосторожность. Я знаю, что должен бояться и принимать меры к самосохранению. Но я не боюсь и не могу бояться, потому что мне хочется спать.

Как сделать так, чтобы не бояться? Надо устать той усталостью, которая непонятна отсутствовавшим здесь зимой 41/42-ого.

Б<и>т<ер> охотно говорит о животном ужасе, который она испытывает во время бомбежек. Но попробуйте предложить ей пойти в убежище. — Вот еще! Не такое у нее состояние здоровья, чтобы с шестого этажа бегать вниз и вверх.

Сейчас это уже только болезненное напряжение нервов (в худшем случае). В этом уже не участвуют ни чувство, ни воображение. Поэтому это состояние проходит так быстро, исчезает вместе с вызвавшим его раздражителем. Человек испытывает физическое удовольствие, легкость, как после внезапно прекратившейся зубной боли, и мгновенно включается в другие свои переживания и интересы. Отсюда эти странные со стороны переходы от ощущения смерти — к смеху, болтовне, служебным сплетням, желанию достать чулки и переделать платье, пойти в Сад отдыха на новую программу. Ощущение смерти было преходящей нервной депрессией. В нем не участвовали ни стойкие чувства, ни воображение, ни сознательная воля (как это было вначале). Все эти душевные способности давно уже приобрели защитные оболочки и приспособились к условиям. Таковы могущественные импульсы сопротивляемости. Те, в ком не работают эти импульсы, оказались на положении больных. Почему самым сильным врагом сопротивляемости был голод? Потому что голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (вовсе не обязательно желанием есть); мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой таяла и приближалась к концу, не принося насыщения.

Психологические переключения были тогда невозможны. У людей большой нравственной силы они заменялись сознательной борьбой с собою; у остальных — инерцией жизненных навыков, инерцией человеческого поведения. Чем больше нравственно слабел человек, тем слабее работала в нем инерция навыков.

Тихое утро. Человек во всеоружии переключений вступает в жизнь нового дня. Как ни странно, но он уже забыл ту действительность, на которую он реагирует только болезненной судорогой нервов. Ему уже кажется, что, может быть, она не вернется. Что, может быть, обстоятельства уже как-то так повернулись в нашу пользу, что те больше не смогут. Потом начинается. Страшно не хочется в это влезать. Предположения, что это, может быть, еще не то («наши...»). Потом оказывается, что это все-таки то, да еще непосредственно к нему относится. Судорога нервов. Глубокое отвлечение; ощущение, что невозможно так долго, что невозможно так больше. Потом все проходит, восстанавливается жизненное равновесие. Но день до конца уже замутнен, травмирован. Тишина, которая с утра была простой, к работе побуждающей тишиной опустевшего города, — теперь до конца дня — тишина злого умысла.

6. НЕ ТОЛЬКО ГОЛОД, НО И РАСКАЯНИЕ

Сытый не разумеет голодного, в том числе самого себя. По мере того как люди отъедались, они все меньше и меньше понимали себя такими, какими они были в период большого голода. Они все прочнее забывали свои ощущения и состояния, но в то же время и параллельно этому они вспоминали факты, которые были погребены в хаосе ежеминутно возникающих целестремлений. Теперь на относительном душевном досуге факты выползли из памяти и в свете обычных человеческих норм казались безобразно постыдными. Прервалась связь психических состояний и незаметно уступила место критериям и оценкам другого порядка.

Так ей хотелось конфет. Зачем я съел эту конфету. Можно было не съесть эту конфету. И все было бы хоть немного лучше...

Но он уже потерял это психическое состояние. Он не может в ощущениях восстановить то, чем была для него тогда эта конфета. Сейчас, когда он уже может на несколько часов забыть о том, что у него в ящике лежат конфеты, — он невольно сбивается на то, что вот он съел конфету, которую можно было уступить. Но ведь на самом деле тогда это было совсем другое переживание, другая связь переживаний, ничего общего не имеющая с этой простой формулировкой.

Но нельзя помешать простым человеческим нормам занимать свои места. Рассеивается туман дистрофии, и из тумана к отчужденному от самого себя человеку один за другим подступают предметы стыда и раскаяния. Это раскаяние самое жестокое — ибо *непонимающее* — и наименее справедливое. Человек знает, помнит, но он не может *воспроизвести переживание*, и потому он не верит нутром, что конфета или ломтик хлеба были тем, чем они были. Что они могли побуждать его к жестоким, к бесчестным, к унижающим поступкам.

Быть может, когда-нибудь он еще будет сидеть в ресторане после обеда, помрачневший от слишком сытной еды, которая наводит сонли-

вость, унылость и отбивает охоту работать. Может быть, в ожидании официанта со счетом он случайно упрется взглядом в тарелку с нарезанным — и почти нетронутым — белым и черным хлебом. И вдруг, быть может, эта тарелка с нетронутым хлебом дойдет до сознания и, коснувшись сознания, обернется сразу конвульсией воспоминаний.

Жалость — самая разрушительная из страстей, и единственная, которая не проходит.

Ему все кажется, что то была ошибка, что нужно было поступить иначе; то есть примерно так, как поступают люди в обычных условиях, когда конфета и ломтик хлеба не имеют для них значения (как это могло быть, что я из-за этих рисовых котлеток впал в отчаяние, до слез. И эта безобразная сцена...). Напрасно он напоминает себе. Предметы стыда и раскаяния проступают все резче, по мере того как рассеивается окутывавшая их психическая атмосфера, та самая, в которой они зародились.

Толстой писал о тетеньке Ергольской, какая она была хорошая, а что он без жестоких укоров совести не может вспомнить, как он ей иногда отказывал (будучи, правда, очень стеснен) в деньгах на сласти, которые она любила держать у себя в комнате с тем, чтобы его же угощать. Она, бывало, грустно вздохнет... И ей-то, ей-то я мог отказывать...⁴

Мы, до бесчеловечности изуродованные небывалым в истории злом, что мы дали за то, чтобы иметь эти барские укоры...

Г-н учитель, мне бы ваши заботы.

2

ЗАПИСКИ

БЛОКАДНОГО

ЧЕЛОВЕКА

ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В годы войны люди жадно читали «Войну и мир» — чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир» в блокадном Ленинграде.

Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали (пока могли) и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких.

И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить.

Об этом кое-что здесь рассказано.

Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммарный и условный (поэтому он именуется Эн), интеллигент в особых обстоятельствах.*

День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучало странно.

Хлебный паек повысили, по размороженным улицам нерешительно ходили трамваи. Немцы перестали бомбить, но каждый день несколько раз в день обстреливали город. Самые сильные и жизнеспособные уже умерли или выжили. Хилые продолжали замедленно умирать. Слово «весна» звучало странно.

Просыпается Эн, блокадный человек, по состоянию зрения не подлежащий мобилизации. Прошлым летом он просыпался иначе — всегда в шесть утра, от звука репродуктора, для общего пользования установленного в коридоре. Потом, уже по привычке, он стал просыпаться за десять-пятнадцать минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за три, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно-напряженными лицами. Казалось, если диктор своим всегдашним неестественным голосом перечислит радиостанции — это значит, сегодня ничего не случилось особенного... Эн знал — это аберрация, и не мог от нее отделаться. Впрочем, все начиналось не диктором, а коротенькими звонами и паузами, выводящими

* [В *ВМ* далее:] Вернее, точка приложения обстоятельств, с которой открываются другие обстоятельства и другие люди. Этот персонаж и всё, о чем здесь рассказано, возникли из разных свидетельств, из концентрации своего и чужого опыта. [В «Неве» в носящей явно цензурный характер редакции:] Может быть, всё, о чем здесь рассказано, позволит потомку заглянуть в блокаду как бы изнутри, понять силу духа обыкновенного ленинградца». [В *ЛПР* снят последний оборот от слова *понять*, в *ЧПС* — вся фраза.]

звуковую фигуру. Никогда мы не слышали более печального звука. Потом перечисление радиостанций с его хрупкой абберацией стабильности. Наконец, страшно короткая информация (казалось, они становятся все короче), в те дни состоявшая из направлений. И люди с задохнувшимся сердцем стояли у репродукторов, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова, населенный пункт от населенного пункта. Направление... Люди знали — потом будет лужское, потом... Так было летом 1941-го.

Страшная была жадность на информацию. Пять раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту, или к власти, или к источникам информации. А расспрашиваемый сердился на bestолковые вопросы. Потому что спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, когда война, как это будет...

Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события.

Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Воскресенье. Небольшая очередь у пригородной кассы. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг голос, как будто удивленный (или это не удивление?):

— Там Молотов говорит... Он что-то такое говорит...

Люди уже столпились на подъезде вокзала. Выходили из репродуктора слова, и каждое, независимо от своего смысла, было контейнером предлежащей муки, огромной, всенародной муки. Кончилась речь. Возвращаюсь домой, до боли прижимаю к ладони билет, купленный в пригородной кассе. Там сегодня меня долго ждут на перроне и не дождутся. Не прошло и получаса, а нас уже неудержимо относит от довоенного строя чувств.

Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным, среди предметов еще довоенных, но уже изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха; напротив того — возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни.

В первый миг совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему. Еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. Это удивляло. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться; ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли* для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного самое ясное — мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего — остального и что они относятся к этому довольно спокойно.

* [В ВМ:] И хрупкое эгоистическое сознание не нашло

Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они же потом с усилием, по частям, вырывали свою жизнь у дистрофии, а многие из них сознательно или бессознательно делали общее дело.

Потом репродуктор стали слушать иначе. Обыденнее. Выветрилось это сочетание крайне личного (каждому репродуктор вещает судьбу) с исторически событийным и эпохальным. Чаша сия никого не миновала, и все узнали — какая бывает война. Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Людям казалось теперь, что судьба их решается не формулами диктора, но фактами гораздо более дробными и близлежащими: занятием пункта Н., батареей, установленной в Лигове, прорвавшейся баржей с хлебом. Зимой же утреннее пробуждение — уже только включение в ряд возобновляемых страданий, длящихся до нового сна.

Ремарк в свое время построил роман на том, что сводка гласила: «На Западном фронте без перемен» — в тот самый день, когда на этом фронте погиб его герой. Типовое проявление того индивидуалистического пацифизма, который стал реакцией на Первую мировую войну. Люди этих лет (особенно западные) не хотели понимать, что социальная жизнь есть взаимная социальная порука (иначе она только гнет и насилие). Мы же знали, что про тот день, когда любого из нас убьет гитлеровским осколком, — где-нибудь будет сказано: «Ленинград под вражескими снарядами жил своей обычной трудовой и деловой жизнью». Зато каждый здесь говорил: мы окружаем Харьков, мы взяли Орел... Войска ворвались, закрепились, продвинулись... За формулами суммированных действий — тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними — еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Что за дело до всего этого погибающим и зачем это им? Незачем. Разумеется, незачем. Только с точки зрения религии мертвому что-нибудь может быть нужно. Но это нужно живому. Живые питаются кровью. Одни как паразиты, другие как честные гости на пиру, ответившие предложением собственной крови. Вклонившихся чувство неполноценности не заглушают ни доводы себялюбия, ни соображения насчет того, что они полезнее на другом участке, ни утверждение своей творческой избранности. Не следует только думать, что понимание законов связи избавило понимающих от практики эгоизма, триумфально ввело их в героическое жизнеощущение. Для неподготовленных законы эти оставались ужасными и теоретически непосильными.

В обстоятельствах блокады первой, близлежащей ступенью социальной поруки была семья, ячейка крови и быта с ее непреложными требованиями жертвы. Скажут: связи любви и крови облегчают жертву. Нет, это гораздо сложнее. Так болезненны, так страшны были прикосновения людей друг к другу, что в близости, в тесноте уже трудно было отличить любовь от ненависти к тем, от кого нельзя уйти. Уйти нельзя было — обидеть, ущемить можно. А связь все не распадалась. Все возможные отношения — товарищества и ученичества, дружбы и влюбленности — опадали как лист; а это

оставалось в силе. То корчась от жалости, то проклиная, люди делили свой хлеб. Проклиная, делили, деля, умирали. Уехавшие из города оставили оставшимся эти домашние жертвы. И недостаточность жертв (выжил — значит, жертвовал собой недостаточно), а вместе с недостаточностью — раскаяние.

Сейчас начинается лето. Благоклонное, нежаркое лето. Каждый день, просыпаясь, Эн испытывает удивительное, еще не изжитое чувство отсутствия страданий. Это первое впечатление дня — и самое лучшее. Ноги, руки спокойно лежат на диване, довольно гладком и мягком. Окно открыто. Ему не холодно, не жарко. Вокруг светло. И светло будет всегда, всю белую ночь напролет. Ему даже не хочется есть. Это, впрочем, уже готовится, это где-то присутствует всегда (как во влюбленном любовь); но об этом пока можно не думать. Эн отбрасывает простыню, подставляя тело светлomu, легкому, не холодному, не жаркому воздуху.

Но Эн знает — стоит повернуться на левый бок, к комнате лицом, и он увидит поджидающий его хаос (тогда, впрочем, гуманитары не толковали еще об организации, информации и энтропии). Бытовое столпотворение — тарелка с окурками, выброшенная хаосом из своих недр, пиджак на футляре заглохшей пишущей машинки. Почему? Потому что бессильная дрожь раздражения овладела вчера усталым человеком и он не смог донести пиджак до более подходящего места. Вещи вообще сползли со своих мест, они мутные, с размытыми границами (значит, без формы). Только на прижатых к стене стеллажах в странном мертвом порядке стоят посеревшие книги. Всё же вещи частью вернули себе свое назначение. Не то что зимой...

Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело. Теперь передышка, а зимой оно было вечной потенцией страданий — со своими все новыми углами и ребрами, особенно жуткими для склонных к полноте и боровшихся с полнотой посредством молочно-яблочной диеты (раз в неделю). Зимой, пока люди открывали в себе кость за костью, совершалось отчуждение тела, расщепление сознательной воли и тела как явления враждебного внешнего мира. Тело выделяло теперь новые ощущения, не свои. Поднимался ли человек по лестнице (с трудом и в то же время с какой-то новой, мучительной плотностью), или нагибался, ища калоши, или вползал в рукава пальто — ощущения были чужие, как бы испытываемые кем-то другим. С истощением отчуждение углублялось. Наконец все раздвоилось странным образом: истощенная оболочка — из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, — и душа, расположенная отдельно, где-то внутри грудной клетки. Наглядное воплощение философского дуализма.

В период наибольшего истощения все стало ясно: сознание на себе тащит тело. Автоматизм движения, его рефлекторность, его исконная корреляция с психическим импульсом — всего этого больше не было. Оказалось, например, что телу вовсе не свойственно вертикальное положение; сознательная воля должна была держать тело в руках, иначе оно, выскальзывая, срывалось, как с обрыва. Воля должна была поднимать его и усажи-

вать или вести от предмета к предмету. В самые худшие дни трудно было уже не только подниматься по лестнице, очень трудно было ходить по ровному. И воля вмешивалась теперь в такие дела, к которым она отродясь не имела отношения. «Вот я хожу, — говорила она, — то есть это, собственно, ходит мое тело, и надо за ним хорошенько следить. Скажем, я выдвигаю вперед правую ногу, левая отходит назад, упирается на носок и сгибается в колене (как она плохо сгибается в колене!), потом она отрывается от земли, по воздуху движется вперед, опускается, а правая в это время уже успела отойти назад. Черт ее знает! — надо проследить, как она там уходит назад, не то еще можно упасть». Это был преотвратительный урок танцев.

Еще оскорбительнее в своей внезапности бывала потеря равновесия. Это не слабость, не пошатывание от слабости, совсем другое. Человек хочет поставить ногу на край стула, чтобы зашнуровать ботинок; он теряет равновесие в эту минуту, со стуком в висках и замиранием сердца. Это тело выскользнуло из рук и хочет упасть пустым мешком в непонятную глубину.

В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов — перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей. Иные из них даже незаметны для пораженного ими человека. «А ведь он уже пухнет», — говорят про него, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что-то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей болезненностью: слой неживой материи у себя во рту.

Месяцами люди — большая часть жителей города — спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. Ему хотелось забыть, что где-то далеко — за ватником, за свитером, за фуфайкой, за валенками и обмотками — есть у него нечистое тело. Но тело давало о себе знать — болями, чесоткой. Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье. Тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистое и шершавое. Кожа была пятнистым мешком, слишком большим для своего содержимого.

Сейчас тело вышло опять на поверхность. Оно погружалось в воздух, дышало. Это и была передышка.

Вообще все состояло сейчас из трех пересекающихся планов. Где-то в безвозвратном отдалении маячила та жизнь... Она казалась нам крайне неблагоустроенной, когда мы ею жили; а сейчас это было как в сказке: вода, бегущая по трубам, свет, зажигающийся от прикосновения к кнопке, еда, которую можно купить... Существовала память и инерция зимы... Существовала передышка. Передышка в своей непрочности была печальной и нервной.

Пересекаются вещи и жесты, принадлежащие к разным планам. От той жизни гравюра над книжной полкой и на полке глиняный крымский кувшин — подарок. Подарившая сейчас на Большой земле, и воспоминание о ней стало для Эна обязательным и вялым. Зимой в распоясавшемся хаосе казалось, что ваза и даже книжные полки — нечто вроде Поганкиных палат¹ или развалин Колизея, что они уже никогда не будут иметь практического значения (вот почему не жалко было ломать и рубить). Потом вещи начали медленно возвращаться к своему назначению. Эн привыкал к этому тоже медленно и недоверчиво. Это было — как снять валенки. Эн все не вылезал из валенок; ему как-то мерещилось, что валенки — это уже необходимая принадлежность человека. Он дотянул до слякоти, до полной невозможности. И тогда сменил сбитые, заскорузлые валенки на почти еще не ношенные, со свежим скрипом ботинки. Никто вокруг почему-то этому не удивился. А для Эна это было странным и важным фактом — открывшейся возможностью возвращения вещам их первоначального смысла. Он почти еще ничего не читал, но теперь уже стеллажи, вздымаясь над беспорядком сдвинутых стульев, над пустыми и полными банками на краю письменного стола, — уже предлагали вновь выполнять свое назначение. А автоматический жест, которым Эн заводил на ночь часы и осторожно клал их на стул около дивана (зимой часы эти не шли — замерз механизм), был совсем из той жизни. Зато торопливость, с какой люди теперь, ложась спать, сбрасывали с себя все до нитки, — это было от передышки. В этом была жадность и нервность временного состояния перед второй зимой, думать о которой не хватало храбрости; была в этом зимняя травма неснимаемой одежды*.

Обязательно, встав с постели, подойди к окну. Многолетний, неизменный жест утреннего возобновления связи с миром. На заднем плане деревья,

* [В ПМ далее:] нечистоты. От нечистоты не отделились и сейчас, потому что воду надо было носить, прачечные еще не работали. Не отделились и от вшей, хотя теперь это были единицы. Их приносили с рынка, из очередей, из столовых и трамваев. В зимнем же комплексе они были одним из страшных элементов. Для Эна вши были стертым воспоминанием детских лет, принадлежностью гражданской войны и тогдашних сыпнотифозных эпидемий. Когда блокадной зимой Эн увидел первое насекомое — это был шок. Очень скоро не осталось надежды на то, что это

случайность. Напротив того, они наступали. Черви, пауки были всегда омерзительны, но именно вши внушали иррациональный ужас. Их склизкая прозрачность была знаком низшей, неорганизованной материи, грозящей вновь поглотить цивилизованного человека. В них только и было, что прозрачность и пятнышко посередине. Пятнышко, быть может,местилище тифозного яда или сгусток нашей крови. Это строение — сгусток, окруженный прозрачностью, как нельзя лучше выявляло их функцию. Гипнотически дейст-

вовала неподвижность, с которой они сидели в складке рубашки, на сгибе воротника. Они не убегали, их нельзя было вспугнуть, они позволяли давить себя без сопротивления. Это было ужасно; никакие проявления человеческой жизни их не касались. Подобно могильным червям, они казались жильцами и пожирателями мертвой материи; они пользовались человеком как мертвой материей. Ужасны были их маленькие золотистые гниды — признак того, что они множатся, живут своей жизнью, в то же время отвратительным образом разделяя с нами нашу жизнь

Человек шел на работу (е работал), ел, стоял в очереди, разговаривал, а они в это время вели в складках его свое параллельное гнусное существование; плодились и размножались. По сравнению с ними клои и блохи казались безобидными тварью (по ночам, убеждая в том, что его кусают именно клопы, человек испытывал психологического облегчения. Клоп, прикрытый своей броней, <вычеркнуто: скрешей как-то собственные (ления его организма>, во стремился к тому, чтобы жильцом человеческого т

подымающиеся над решеткой сквера, трамвайная остановка** 2 на повороте, заваленная теперь кирпичом и бревнами. Трамвайная остановка зазвучала по-новому. Сваливаемые бревна бухают, как артиллерийский разрыв; грузовые трамваи, описывая кривую, поют, как воздушная тревога. Люди у остановки отсюда маленькие и торопливые. Они как россыпь школьников на перемене. Удивительно, как среди них могут быть профессора, врачи, на которых робко смотрят пациенты, ответственные работники.

Год тому назад многолетний утренний взгляд из окна получил новый смысл — стал вопросом, обращенным к миру, и ожиданием ответа. Мир в эти дни мог таить все что угодно, вплоть до самого худшего; и от него хотелось как можно больше свидетельств продолжающегося течения вещей. Трамвай был успокоителем, как голос диктора, объявлявший радиостанцию. Существовал центр, невидимо управляющий красными трамвайными вагонами. Вагоны бежали, центр работал. Рельсы вытекали из него и впадали обратно. Своей дугой каждый вагон был прикреплен к системе, централизован. Сдвинув штору, Эн с облегчением следил, как потрепанный красный вагон, скрипя, огибаает угол, послушный центру, ограниченный рельсами, на привязи у дуги.

В час утреннего возобновления отношений мир явственно представлял в своей двойной функции — враждебной и защитной. То, что давило, что гнало, и отравляло, и жгло, — оно же служило защитой или заменителем зла. Оно служило физической защитой и последним прибежищем и покровом среди страха внутренней изоляции.

Таким год назад был мир при первом взгляде в окно. Потом были долгие месяцы, когда мир ушел из окон, покрывшихся слоем льда.

л извне и уходил, сделал зло. А неуловимые, ошие блохи были со-страшные. Они были зящны, длинноногие, ом блестящем пан-кнуть к вшам было труд-им к ношению ведер на й этаж, чем к бомбежкам. ое время он всякий мнил ее целый день. ле разные моменты дня приходило воспоминание истом тельце, всхлипл-м под ногтем. аре голода и мороза, ем, было не до них. ось это на исходе зимы,

когда люди отошли немного, постепенно начали раздеваться. Уже тогда, ложась в постель, Эн сбрасывал с себя все — вместе с ними, сбрасывал со злорадством. Но злорадство было иллюзией, он знал, что они никуда не уйдут. Утром приходилось искать. Так начинался день. Он перебирал пальцами складки, швы, рубцы одежды. Сколько в ней, с изнанки, было всякой путаницы и неожиданных гнездилищ. Пальцы бежали вдоль складок, и в этом движении было уже что-то привычно производственное; вроде движения браковщика,

проверяющего продукцию. Искал он с двойным желанием — найти и не найти. Не найти было бы облегчением. Но необходимо было найти и избавиться от мучившего вчера зуда. Притом жалко было времени и усилий. Усилия должны были оправдаться; это вступал уже в дело азарт охотника. По пути попадались обманчивые узелки и пятна; он наклонялся, трогал пальцем. Разрядка — не то Облегчение. Но надо было искать дальше. И вот — она, несомненная, неподвижная на краю складки. Замирая, он в нее всматривался. С ужасом, с напряженным

переживанием предстоящего уничтожения жизни, гнусной и цепкой. И это отвратительное переживание в какой-то отдаленной области сознания смыкалось с войной и истреблением врага. Потом надо было внимательно, осторожно зажать ее между двумя ногами. Ему казалось — прозрачные тельце хлопает необыкновенно громко. Таков был обряд поисков, с которого начинался день. Теперь передышка, и такие обряды необязательны. [Далее по тексту.] ** [В ЛМ везде:] трамвайное кольцо.

Покою той зимой не было никогда. Даже ночью. Казалось бы, ночью тело должно было успокоиться. Но, в сущности, даже во сне продолжалась борьба за тепло. Не то чтобы людям непременно было холодно — для этого они наваливали на себя слишком много вещей. Но именно поэтому тело продолжало бороться. Наваленные вещи тяжело давили и — хуже того — они скользили и расплзались. Чтобы удержать эту кучу, нужны были какие-то малозаметные, но в конечном счете утомительные мускульные усилия. Нужно было приучить себя спать неподвижно, собранно, особым образом повернув ногу, которая придерживала основу сооружения. Иначе все сразу с неудержимой жестокостью могло поползти на пол. И тогда в темноте, в убийственном холоде придется опять кое-как громоздить сооружение, совсем уже шаткое и негодное. Нельзя было раскинуть руки или приподнять колени под одеялом, или вдруг повернуться, уткнув лицо в подушку. То есть тело и нервы полностью никогда не отдыхали.

В своих квартирах люди боролись за жизнь, как борются погибающие полярники. Утром они просыпались в мешке или в пещере, которую с вечера устраивали из всех вещей, какие удавалось на себя натащить. Просыпались в четыре часа, в пять. За ночь удавалось согреться. А вокруг стоял холод, который будет весь день неотступно мучить. Все же люди с нетерпением ждали — даже не утра, потому что утро (свет) наступало гораздо позже, — они ждали повода встать, приближаясь к началу нового дня, то есть к шести часам, когда открываются магазины и булочные. Это не значит, что человек к шести часам уже всегда отправлялся в булочную. Напротив того, многие старались оттянуть (сколько хватало сил) момент получения хлеба. Но шесть часов — это успокоительный рубеж, приносящий сознание новых возможностей. В своем роде это был даже лучший момент — хлеб еще весь впереди, но он уже достижимая реальность сегодняшнего дня. Голодное нетерпение пересиливало страх холода. Оно гнало людей из обогретой дыханием пещеры на мороз собственной комнаты. Вставать было легко, легче, чем в той жизни, когда человека ждала яичница, о которой можно было не думать. Притом упростился переход. Спали почти не раздеваясь; достаточно было поскорее сунуть ноги в валенки, валявшиеся у постели.

Типический блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок или мелких дров для временки. Ночь едва начинала рассеиваться, и в разбитом стекле лестничного окна стены противостоящих домов еще не желтели, а темнели. Колоть приходилось ощупью, осторожно вгонять в полено косо поставленный топор, потом уже ударяя. Очень плохи были руки. Пальцы скрючивались и замирали в какой-нибудь случайной позе. Рука теряла хватательные движения. Теперь ею можно было пользоваться только как лапой, как культияпкой или палкообразным орудием. Человек нашаривал в темноте и сгребал рассыпавшиеся по каменной площадке щепки, зажимал кучу щепок между двумя культияпками, бросал их в корзину.

Потом еще нужно принести воду из замерзшего подвала. Ледяной настил покрыл ступеньки доменной прачечной, и по этому скату люди спускались, приседая на корточки. И поднимались обратно, обеими руками переставляя перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины. Своего рода высокогорное восхождение.

Сопrotивление каждой вещи нужно было одолевать собственной волей и телом, без промежуточных технических приспособлений. Спустыми ведрами человек спускался по лестнице, и в разбитом окне перед ним лежало суживающееся пространство двора, которое предстоит одолеть с полными ведрами. Внезапная ошутимость пространства, его физическая реальность возбуждала тоску. Странно — эта вода (вообще странно, что бесцветная, быстротекущая вода тяжела, как камень), которая камнем висит на руках, на плечах, вжимает человека в землю, она же, оставляя за собой этажи, легко взбегает по трубам. Водопровод — человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация. К человеку повернуто дружеское лицо двуликого мира. Но техника, связь вещей — это общее. Мир, дарующий технику, хочет твоей жизни — за воду, бегущую по трубам, за свет, послушный маленькому рычажку.

С полными ведрами можно отдохнуть на нижних ступеньках. Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой нашлепкой. Нашлепка приходится как раз посредине прямоугольного висящего зигзага лестницы. Оказывается, лестницы действительно висят в воздухе (если взглянуть — очень страшно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом. Закинув голову, человек измеряет вздыбленное лестничное пространство, сквозь которое ему предстоит собственной волей, собственным телом пронести давящую, как камень, воду.

В течение дня предстоит еще много разных пространств. Основное — то, которое отделяет от обеда. Обедать ведь лучше в ведомственной столовой, где каша больше похожа на кашу. Обедать он побежит по морозу сквозь издевательски красивый город в хрустящем инее. И рядом, и навстречу бегут (или ползут — среднего не бывает) люди с портфелями, с авоськами, с судками, подвешенными к концам палкообразных рук. Люди бегут по морозу, одолевая овеществившееся пространство. Наиболее интеллигентные вспоминают при этом Данте, тот круг Дантова ада, где царствует холод. В столовой тоже будет так холодно, что после улицы пальцы не распрямляются, и ложку приходится зажимать между большим пальцем (единственным действующим) и смерзшейся культяпкой.

Самый обед — это тоже преодоление пространств; малых пространств, мучительно сгущенных очередями. Очередь перед дверью, очередь к контролеру, очередь к месту за столом. Обед — нечто мгновенное и эфемерное (тарелка супа, столько-то грамм каши) — был гипертрофирован и заторможен, по классическим законам сюжетосложения. Людей спрашивают — что вы делаете? И они отвечают: обедаем.

Был период многократных, подряд возникающих воздушных тревог. По дороге к обеду приходилось отсиживаться в подвалах или пробиваться сквозь пальбу зениток и свистки милиции. И люди ненавидели спасавшего их от бомбежки милиционера, а бомбежку воспринимали как препятствие на пути к обеду. Некоторые отправлялись обедать часов в одиннадцать утра (обычно это было еще тихое время), возвращались оттуда иногда в шесть-семь.

Некоторые приносили что-нибудь с собой для домашних (если еще были домашние). Дома было совсем темно. Растапливали времянку и при свете дымящей времянки переливали принесенный суп из банки в кастрюлю, разрезали на ломтики граммов сорок хлеба. Потом тот, кто пришел из внешнего мира, где он обедал, — придвигался вплотную к дымящейся и пламенеющей дверце и грел руки. И пока не кончался дневной запас щепок, его ничем нельзя было оторвать от этого наслаждения. В комнате за плечами бушевал холод, стояла тьма. Только у самой дверцы очерчен был маленький круг тепла и света. Круг жизни. Согреть, в сущности, можно было только выставленные вперед ладони. Ладони всасывали пробегающий по ним огонь. Это было безмерное наслаждение, впрочем, отравленное тем, что дневной запас щепок бесповоротно иссякал.

Это было то самое ожидание конца, то понимание неотвратимого иссякания данных нам жизненных сил, которым отравлена всякая радость и самое чувство жизни. Блокадные обстоятельства сделали эту формулу вполне наглядной. А вечно возобновляемое достижение вечно разрушающихся целей они довели до наглядности бега по замкнутому кольцу.

Какими усилиями проталкивал себя человек от одного мучительного действия к другому? Нет, не требовалось особых психологических усилий. Каждое страдание — судки на морозе, ведра на лестнице — было избавлением от худшего страдания, заменителем зла. Утопающему, который еще барахтается, — не лень барахтаться, не неприятно барахтаться. Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет (явление, плохо понятное гладкому человеку), почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин. Страдание непрестанно стремится с помощью другого, замещающего страдания отделаться от самого себя. Цели, интересы, импульсы страдания порождают ряды закрепившихся действий, все возобновляемых и уже не обременительных для воли. Но воля бессильна разорвать этот ряд, чтобы ввести в него новый, не закрепленный страданием жест. Так сложился круг блокадного зимнего дня. И среди передышки это движение, вращательное и нерасторжимое, еще продолжается, постепенно затухая. Люди несут в себе это движение как травму.

Сейчас, в периоде передышки, когда импульсы страдания не так могущественны и принудительны, для занятий бытовыми делами требуется даже больше душевных усилий. Зато мы не делаем уже какие попало судо-

рожные движения, отыскивая частицу еды, тепла, света. Бег по кругу приобретает отчасти характер режима. Для многих режим, рабочий порядок всегда был недостижимой мечтой. Не давалось усилие, расчищающее жизнь. Теперь жизнь расчистило от всяческой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых и третьих профессий, от томящего тщеславия, которое гнало людей туда, где им быть вовсе не следовало, но где преуспевали их сверстники и друзья, что, естественно, не давало покоя. Мы, потерявшие столько времени, — вдруг получили время, пустое, но не свободное.

Эн тоже всю жизнь мечтал о рабочем режиме дня и даже считал, что режима не получается только из-за привычки поздно вставать (привычка ленинградцев, если они не связаны ранней службой). Все всегда начиналось с того, что утра уже нет, что уже непоправимо испорчено прекрасное переживание полноты, непочатости предстоящего дня. Все уже все равно было испорчено, и потому Эн с облегчением выпускал себя из рук, и дальше оно уже шло, как придется. Теперь же причинно-следственная связь импульсов и поступков была грубо обнажена и завинчена. Он просыпался в шесть часов, потому что, как и все в городе (кто не дежурил), рано ложился, и сразу вставал, потому что ему хотелось есть или он боялся, что ему захочется есть. Он делал с утра домашние дела — не сделать их, отложить было бы смерти подобно. Он шел в редакцию, где работал, поскольку по крайней близорукости его не взяли в ополчение и в армию. В определенный час он шел в свою столовую, потому что никоим образом нельзя было пропустить там обед, который, может быть, дадут без выреза талона (в этой столовой так иногда бывало). После обеда он опять шел в редакцию, где еще много было работы. Потом возвращался домой, потому что еще полагалась вечерняя еда, да и идти больше было некуда. Таня уехала, сказав все возможные слова о том, что она уезжает и оставляет его (разумеется, он уговаривал ее уехать) совсем не потому что... а, напротив того, потому что... Друзья и товарищи ушли на фронт или тоже уехали. Он ужинал и сразу ложился, так как вставал в шесть часов и в десять ему хотелось спать.

Но этот уклад, непрерываемый и точный, в основном управляемый триадой еды, еще не был режимом, но безжизненной схемой режима. Режим существует для чего-то. Эн не чужд дистрофической идее восстановления сил, мотивировавшей всякую всячину, и в особенности тотальное подчинение времени трем этапам еды. Но он уже спрашивает: для чего восстанавливать силы? Он не спрашивал бы, если бы воевал или стоял у станка на заводе. Но он периферия войны, почти слитая с фронтом и отделенная от него иным качеством своей несвободы. В периферийном мире все пока негативно. Даже работа. Даже самая полезная тыловая работа расположена в том же кругу, где еда, где забота об огне и воде. Тяжким усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то, в каком-то месте раздвинуть круг и втиснуть в него *поступок*. Если человек умеет писать, то не должен ли он написать об этом и о предшествовавшем. Где-то, скажем, после

домашних дел час-полтора (больше не отдаст вращательное движение ди-строфической жизни), чтобы писать. Тогда оживут и потянутся к этому часу все другие частицы дня, располагаясь вокруг него иерархически.

Может быть, с утра, на отрезке домашних дел, вынося грязное ведро или прочищая времянку, можно будет обдумывать. Или на ходу, когда идешь в булочную или обедать. В очередях думать невозможно, и невозможно думать или писать после обеда. Это время упадка воли. К ве-

черу опять становится легче. В часы же послеобеденной режу-щей тоски вообще не следует думать. Лучше сидеть в редакции и работать (плохо тем, кто не работает, а только ест и голо-дает) и слушать рассеянно голоса сослуживцев (хорошо, что вокруг голоса!).

Ну, а нужно ли писать? А вот, нужно ли еще писать? Или один только есть поступок — на фронт! Драться с немцами... Прочее от лукавого.

А увидевшим то, о чем пишущие хотели написать, должно быть, уже никогда не понадобится, чтобы им писали об этом, о чем бы то ни было... Но память не соглашается отступить; она стоит на своем, и забвение стоит на своем. Забвение сохраняет жизнь вечным обновлением сил, желаний и заблуждений. Оно вернет жизни необходимую ей суету сует — после мук плоти и духа столь безмерных, что возвращение казалось уже невозможным.

*Тянется, до отказа натягивается резиновая ткань жизни; но вот ослабел нажим, ее отпустили, и резина мгновенно устремилась обратно, к исконным своим пределам и формам. То, что открыва-ется человеку в пограничных ситуациях, — закрывается опять. Иначе, например, люди нашего поколения были бы давно непри-годны для дальнейшей жизни.**

Не метафизическая субстанция, не сама себе равная душа XIX ве-ка, но непрерывная смена ситуаций, вызывающих реакции, рефлексy. Пусть так, но в ситуацию всякий раз попадает некая относительно устоявшаяся система биологических и со-циальных данных, вступивших между собой в единственное — одновременно и типовое — сцепление (единичный характер), а мы все удивляемся — то неизменности человека (ничего не забыл и ничему не научился), то его изменяемости. Между тем оба начала взаимодействуют. Устоявшаяся система непрерывно приспосабливается к переменным ситуациям и непрерывно стре-мится к своему исходному состоянию.***

Толстой понимал обратимость пограничных ситуаций. Он знал, что небо Аустерлица распаивается только на мгновенье; что Пьер в промежутке между дулом французского ружья и царским казематом будет опять либеральным баринoм.

* [В ПМ и ВМ здесь:] В обстановке блокады эгоистическое сознание должно было бы заняться коренным самопересмотром. Однако задавлен-ное всеми тяготами забот самосохранения, оно практи-чески получило эту возможность слишком поздно; когда оно вернулось уже на свое место — в силу эластичности каждого сознания.

** [В ПМ и ВМ далее:] Следует помнить уроки истории, чтобы она нас не затоптала, следует забывать уроки исто-рии, чтобы история могла продолжаться.

*** [В ПМ и ВМ далее:] На-пример, у вернувших из ссы-лок и лагерей особенно раз-вивались опять те свойства, которые лагерный быт, каза-лось бы, в первую очередь должен был уничтожить, — легкомыслие <в ПМ было: тщеславие>, неосторожность, любопытство, высокомерие, фанфаронство. Кто-то сказал про NN: Раньше у него полу-чалось, что он знал всех лю-дей, читал все книги, смотрел все спектакли. Теперь оказы-вается, он решительно со всеми сидел...

[В ПМ далее:] Бывает, впро-чем, что система оказывается слабой, а воздействия слишком сильными. Тогда совершается необратимый распад личности: утратив свою эластичность, ее элементы не могут уже вернуться на прежнее место.

А нам-то тогда казалось... Разумеется, вам казалось: после этого разве возможно когда-нибудь снова болтать, например, о лирическом герое... * Да, казалось... но почему, но кем установлено, что дистрофия — реальность, а обыкновенная жизнь — наваждение? Что, раз заглянув в реальность, не захочешь наваждения?

Вот мы и блюдем закон забвения, один из краеугольных в социальной жизни; наряду с законом памяти — законом истории и искусства, вины и раскаяния. О нем Герцен сказал: «Кто мог пережить, должен иметь силу помнить»³.

Быть может, и Эн дорвется до своего свободного часа, и ему покажется мало. Он будет томиться и перебирать все часы вращающегося дня, чтобы добыть где-то еще полчаса, еще двадцать минут. Чувство потерянного времени — начало выздоровления. Начало выздоровления — это когда в первый раз покажется: слишком долго стоять в очереди сорок минут за кофейной бурдой с сахаринном.

Пока это только мечтание. Пока практически речь идет еще только о том, чтобы рационализировать домашние дела. Вместо судорожных движений найти автоматiku движения. Автоматика — правильно решенная задача, и точность решения переживается мускульно и интеллектуально. Все чаще удастся теперь поймать правильное движение — подымающего ведро или пилящего доску, в одиночку или вдвоем. Пилка особенно безошибочно проверяет движение. Найдено ровное, без нажима, и у пилы, заедавшей, мучительно цеплявшейся каждым зубцом, зубцы вдруг сливаются вместе, и не человек уже водит пилой, а она ведет за собой не делающую усилию руку. И ход пилы, как верный ход всякого механизма, подтверждается верным звуком — ровным, широким и шипящим звуком пилки. Тогда человек вдруг замечает свою позу и чувствует, что это и есть поза пилящего; что он именно так подался вперед, выставил ногу, согнул другую в колене. Он нашел телесную проекцию процесса и потому испытывает удовлетворение.

Утром нужно наколоть на весь день мелких полешек для временки. И когда топор не долбит, а стремительно падает и попадает в самое верное место и полено легко и сухо раскалывается пополам, — это приятно. Неприятно рубить для временки мебель и видеть под топором знакомые ручки, резьбу, металлическую бляшку, узнавать форму ножки, дверцы. Это вроде того, как хозяйка, распорядившись зарезать выросшую в доме курицу, предпочитает съесть ее в виде котлет: ее беспокоит форма куриного крылышка, лапки.

Потом непременно нужно вынести нечистоты. Это дело жизненной важности, и потому Эн относится к нему по-деловому. Он немного сжигается, как бы пытаясь установить дистанцию между собой и вонючим ведром. Это первый за день выход на улицу, и в нем есть своя прелесть. Это выход из комнаты, окруженной зиянием заброшенной квартиры, комнаты, в которой царят изоляция и не до конца подавленный хаос. Выход в объективно существующий мир...

* [В ПМ:] о строфической форме и прочее

Летом сорок второго года в городе мало людей и очень мало заводов, и Ленинградский воздух по-новому чист. Эн видит гранитный изгиб набережной, узорную решетку, за которой слипшаяся от нечистот, потевшая цвет и текучесть вода. Ассоциации же у него в этот утренний час какие-то деревенские — от непривычки к городскому лету, от странно чистого воздуха, пустоты, тишины, оттого, что люди почти босиком выходят на улицу с ведрами.

Эн приподнимает ведро над решеткой, быстро, не глядя, опрокидывает все в воду. Чувство облегчения... Чувство облегчения сливается с минутной легкостью жизни. Ветер прошелся по волосам. С физической остротой вспомнилась вдруг деревенская улица, яблони за забором. Он жил там летом подростком; мать по утрам посылала его к соседям за молоком. Ступая в пыли босиком, осторожно, чтоб не расплескать, он несет молоко в кувшине. Главное, одновременность ощущений: босые ноги топчут нежную дорожную пыль, а в ладонях разогретая солнцем глина.

Да и всегда он любил прекрасные контексты природы. Не природу для любования, но природу, вечно присутствующую и всегда участвующую в любых делах человека. Хорошо сходить умыться на речку; чистить зубы, стоя по щиколотку в воде, а по воде чтобы бежал солнечный свет и на близком другом берегу вздымалась и шумела листва.

Потом в точно установившемся порядке следует выход в булочную или в магазин, если есть выдача. Проходят трамваи, люди идут на работу и в магазин. А город по-прежнему тихий и прибранный — как ни странно. В свете еще невысокого солнца тепло лоснится асфальт. Хорошо, правильно, что город гордится подметенной улицей, когда по сторонам ее стоят разбомбленные дома; это продолжается и возвращается социальная связь вещей.

Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мейерхольдовскую конструкцию. Есть разрезы маленьких разноцветных комнат с уцелевшей круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с уцелевшей дверью, иногда приоткрытой. Страшная бутафория аккуратно сделанных, никуда не ведущих дверей. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди. Он, конечно, знает об этом, он слышит, как над ним двигают мебель, даже колют дрова. Но все это абстрактно, непредставимо, вроде того, что мы несемся в пространстве на шаре, вращающемся вокруг своей оси. Каждому кажется, что пол его комнаты стоит на некой перекрытой досками почве. Теперь же истина обнаружилась с головокругительной наглядностью. Есть дома сквозные, с сохранившимся фасадом, просвечивающим развороченной темнотой и глубиной. А в пустые оконные выбоины верхних этажей видно небо. Есть дома, особенно небольшие, с раскрошившейся крышей, из-под которой обрушились балки

и доски. Они косо повисли, и кажется — они все еще рушатся, вечно падают, как водопад.

К домам появилось новое отношение.

Люди стали говорить о домах, думать о домах. Воспринимаемой единицей города стал дом, тогда как прежде единицей была улица, сливающаяся из недифференцированных фасадов. Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город. Он сложился из отдельных участков несравненной ленинградской красоты, из удивительных комплексов камня и неба, воды и листвы, а в остальном из домов второй половины XIX века с некоторой примесью предреволюционного модерна и коробок первых лет революции. Бездарная архитектура второй половины прошлого века, с боязнью линий и плоскостей, гладкой поверхности и незаполненного пространства, побуждавшей ее каждое свободное место забивать какой-нибудь оштукатуренной бессмыслицей. Теперь мы увидели эти дома облезлыми, стоящими в сырых и ржавых потеках краски плохого качества. В тяжелые осенние дни казалось, что эта ржавая промозглость проступает у них изнутри. Они не обещали ничего доброго.

К домам появилось новое отношение. Каждый дом был теперь защитой и угрозой. Люди считали этажи, и это был двойной счет — сколько этажей будет их защищать и сколько будет на них падать. Мы познали объемы, пропорции, материалы домов. Восприятие дома стало аналитическим. Он расслаивался на своды, перекрытия, лестничные клетки. Лестничная клетка — это звучало специально и жутковато. Спускаясь по черным лестницам своих жилищ, люди присматривались к каким-то выступам и захлапленным нишам, о которых они ничего не знали. Теперь это были укрытия. Как будет лучше, в случае чего, прислониться здесь к правой или к левой стенке? Иногда человек пытался представить непредставимое: эти выступы и ступени, висящие в высоте, действительно в мгновение обрушатся, упадут на голову, на грудь. Лестничная клетка раздавила грудную клетку... Грудная клетка — это тоже специально и жутковато.

Если дом воспринимается аналитически, то восприятие города, напротив того, синтетично. Город уже не серия мгновенных комбинаций улиц, домов и автобусов. Город — синтетическая реальность. Это он, город, борется, страдает, отталкивает убийц. Это общее понятие — материально. Мы познаем теперь город как с самолета, как на карте. Это предметное целое, отграниченное зримой границей. Границу смыкают заставы; границу расчленяют ворота (у города есть двери, как у каждого человеческого жилья). К воротам рвется враг; заставы и ворота не подпускают врага.

Мы снова постигли незнакомую современному человеку реальность городских расстояний, давно поглощенную трамваями, автобусами, такси. Проступил чертеж города с островами, с рукавами Невы, с наглядной системой районов, потому что зимой, без трамваев, без телефонов знакомые друг другу люди с Васильевского, с Выборгской, с Петроградской жили, месяцами не встречаясь, и умирали незаметно друг для друга.

Районы приобрели новые качества. Были районы обстреливаемые и районы, излюбленные для воздушных налетов. Иногда переправиться через мост означало вступить в зону иных возможностей. Были районы пограничные, готовившиеся принять штурм. Так увеличивалось значение малых расстояний. Реки города стали военным фактом, мосты через реки с установленными на них зенитками стали военным фактом. Реки расчленили районы с их особыми качествами. Они были возможной границей. И можно было представить себе войну по районам и между районами.

С начала войны город стал обрастать непривычными деталями. Прежде всего появились крестообразные наклейки на окнах (чтоб стекла не вылетали). Мероприятие это было предложено населению уже в первые дни войны. Среди неустоявшейся тоски этих первых дней, когда новые формы жизни еще не определились, это механическое занятие успокаивало, отвлекало от пустоты ожидания. Но было в этом и что-то мучительное и странное, как, например, в сверкании хирургической палаты, где нет еще раненых, но где они непременно будут.

Кое-кто наклеивал полосы довольно замысловатым узором. Так или иначе ряды стекол с бумажными полосками складывались в орнамент. Издали, в солнечный день, это выглядело весело. Вроде резных фестонов, которыми украшаются богатые избы. Но все менялось, если в дурную погоду взглянуть в наклейки низко расположенных окон. Желтизна просыревшей бумаги, пятна клейстера, проступающий грязью газетный шрифт, неровно обрезанные края — символика смерти и разрушения, которая только не успела еще отстояться, прикрепиться к крестообразным бумажкам.

Позднее стали заколачивать витрины и окна. Одни забивали окна, потому что вылетели стекла, другие — для того, чтобы они не вылетели. Иногда в дело шли свежие, почти белые листы фанеры, иногда корявые, очень мрачные доски. Заколоченное окно — знак покинутого жилища. Но осенью дома еще не были пусты; трехмиллионное охваченное кольцом население еще наполняло их до краев. В те осенние дни знак заколоченных окон получил ужасное обратное значение — он стал знаком заживо погребенных и погибающих в тесноте, в нем была погребальная символика досок, замураванность подвалов и тяжесть этажей, падающих на человека.

В городе стояла однообразная пестрота подробностей, выразительных, в отдельности разных, но сведенных воедино. В промозглых стенах проступали окна, заделанные свежей фанерой, забитые корявыми досками, заклеенные бумагой — синей оберточной, цветной, газетной, заложенные кирпичом. Иногда в одном окне совмещались секторы фанеры, кирпича, стекла, проклеенного бумагой. Знаки колебались и путались; не успев оформиться, расплывались тягостные ассоциации. Потом уже стало все равно. Окна покрылись льдом. Люди на улице не смотрели теперь на дома. Они смотрели себе под ноги, потому что тротуары обледенели и люди боялись упасть от скользкоты и слабости. Особенно они боялись упасть с наполненными супом судками.

Зимой уже не говорили о затемнении (в тридцать девятом, во время финской войны, о нем говорили много). Света теперь не было, на улице поздно нельзя было, да и незачем было выходить. Казалось, на улице, даже ночью, не так темно, не так страшно, как дома. Трамвай же (пока они шли), трамвай с синими лампочками, казались прибежищем. Там был свет, пусть синий, но свет, были люди, успевшие надышать немного тепла, там деловито огрызается кондукторша... И человек успокаивался, нырнув туда после ожидания на пустынной остановке.

Никто уже не думал о затемнении и о многом другом. Сто двадцать пять граммов, вода из невской проруби, холод, который не отпускал никогда, ни во сне, ни во время еды, ни в часы работы; тьма, наступавшая среди дня и рассеивавшаяся поздним утром; трупы в подворотнях, трупы на саночках, вытянутые и тонкие — похожие больше на мумию, чем на нормальный человеческий труп.

Звук возникал аккуратно, в определенный час — разный для разных периодов этой осени, с отклонениями в пределах получаса. Но, как это бывает, именно тогда человек о нем не думал. Забыв ожидание звука, он спешил до тревоги разогреть на времянке чайник. Звук внезапно отрывался от диска громкоговорителя, заполняя квартиру с комнатами, обитаемыми и необитаемыми. Так начиналась процедура бомбоубежища. Был период, когда вечерние тревоги начинались около восьми часов. Немецкая аккуратность входила продуманным элементом в расчеты психической атаки.

Тревоги были разной продолжительности, частоты, силы, процедура же была до ритуальности однообразна. Люди надевали калоши, пальто. Жаль было недопитого чаю и не хотелось спускаться в холодный подвал. Прислушивались — не будет ли тихой тревоги? — зенитки били чаще и громче. Тогда люди спускались, в темноте ощупывая знакомую лестницу. В подвале у многих были привычные места, там встречали знакомых, разговаривали, дремали, иногда читали, если удавалось пробраться к лампочке; выходили к дверям покурить; ежедневно переживали радостное облегчение отбоя. После отбоя спорили — стоит ли подниматься сейчас или переждать следующую тревогу (в разные периоды были разные данные для расчетов), поднимались, иногда спускались опять; поднимались окончательно, пили остывший чай и ложились не раздеваясь. В ритуальной повторяемости процедуры было уже нечто успокоительное. В последовательность ее элементов входило нервное тиканье репродуктора, поиски калош в темноте, дремотная сырость подвала, самокрутка, выкуренная у выхода, медленное возвращение домой (чем медленнее — тем лучше, на случай повторения сигнала). Но попадание, рушащиеся своды и кровавая каша не входили в этот опыт и потому не казались реальными. Ритуал начинался звуком, сорвавшимся с диска, и кончался возвращением к дотлевающей времянке. Вот почему — вопреки всякой логике — напряжение нервов падало, уже когда человек выходил на лестницу, направляясь в убежище. Это было вступле-

нием в процедуру — благополучный ее конец проверялся ежедневно на опыте. Многим даже казалось — именно процесс спуска и отсиживания в подвале обеспечивает благополучный исход; им не приходило в голову: на этот раз дом точно так же уцелел бы, если бы они остались наверху, в своих квартирах. Их удивило бы это соображение, столь очевидное.

Утром люди узнавали о ночных событиях. Они смотрели на растерзанные дома, на дико растерзанное существование человека, содрогаясь от омерзения перед имевшим здесь место актом. А вечером процедура вступала в свои права.

Иногда в бомбоубежище тянулись тихие, пустые часы. Тогда казалось, что почему-то это уже невозможно, что больше уже не будет.* Потом вдруг возникал круглый звук вместе с глубоким содроганием земли. Собственно, это был именно удар, круглый и тянущий вверх. Но вместе с тем он всегда казался звуком. Люди в подвале подымали головы, чтобы взглянуть друг на друга. «Положил», — говорил кто-нибудь. Мужчины вяло обсуждали — где и какого веса.

Навсегда памятное переживание опрокинутого времени. Неуследимо короткое настоящее, которое для сидящих здесь стало прошлым, прежде чем страхом дошло до сознания; а там для кого-то уже заполнилось огромным, ужасным содержанием, уже стало концом всего или началом долгой муки.

Гипертрофированный обед, ритуальное отсиживание в подвале. Предел несвободы и отрицания ценности человека. Не подвергнуться этому возможно было ценой прямого участия в войне.

Типовое отношение к бомбам, обстрелам, к смертельной опасности несколько раз изменялось, его изменяла судьба города, общегородская ситуация.

В блокадном Ленинграде мы видели всякое — меньше всего боязни. Люди невнимательно слушали свист пролетающих над головой снарядов. Заведомо ждать снаряда, конечно, гораздо труднее; но все знали — полет его слышит тот, в кого на этот раз не попало.

Количественная градация опасности, точнее, вероятность гибели (степень вероятности) имеет решающее психологическое значение. Между гибелью несомненной и почти несомненной — расстояние необъятное. В Ленинграде опасность была повседневной, систематической, в своей систематичности рассчитанной на выматывание нервов, но статистически она не была особенно велика. Проверенная ежедневным опытом опасность от бомбежки и обстрелов уступала огромным цифрам дистрофических смертей. К этой же, медленной, смерти человек проходил совсем другую внутреннюю подготовку. Отношение к снаряду, к бомбе в Ленинграде было, конечно, иным, чем на фронте или чем впоследствии у жителей городов, долга выжидаемых воздушными налетами.**

* [В *ВМ* далее.] (В 37-м тоже бывали дни затишья и казалось, что больше уже невозможно...)

** [В *ПМ* далее:] Процентные данные имели свою качественную психологическую проекцию.

[В *ПМ* и *ВМ*:] Впрочем, люди, приезжавшие с фронта <[в *ПМ* вычеркнуто:] из обстановки гораздо более гибельной>, в Ленинграде как-то терялись, нервничали. Здесь, чтобы существовать, нужно было вжиться в блокаду, с ее порядками, ни на что не похожими.

В Ленинграде мало кто боялся бомбежки — только люди с особым, физиологическим предрасположением к страху. Бежать скоро стало некуда. Никто поэтому не бежал, и никто не думал: как же это я остаюсь, если все уезжают?* Спокойствие стало тем всеобщим и средним уровнем поведения, несовпадение с которым труднее и страшнее реальных опасностей. Чтобы сохранить хладнокровие среди всеобщей паники, нужно быть чуть ли не героем. Но попробуйте кричать и метаться, когда все вокруг делают свое дело, — это требует особой дерзости.

Когда нормально еще работали парикмахерские, мне как-то пришлось застрять в парикмахерской во время тревоги и наблюдать, как обыкновенные девушки** под звук зениток продолжали делать шестимесячную завивку, перебрасываясь, впрочем, замечаниями о том, что это очень страшно.

Успешное вытеснение возможно именно потому, что смерть недоступна опыту. Она — абстракция небытия или эмоция страха. В первом случае она принадлежит к числу непредставимых представлений (вроде вечности, бесконечности). Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию — нужна работа воображения, превышающая возможности многих.

От большинства ленинградцев художник Х. (хороший художник) отличался страхом перед бомбежками. Он перебрался к знакомым, потому что они жили в нижнем этаже. Дочка их, лет двенадцати, заглядывала к нему, когда он беспокойно ходил по комнате: «Идемте чай пить. Они сейчас кончат» (они — это немцы). Он отвечал ей: «У тебя нет фантазии, поэтому ты не боишься. Понимаешь, надо быть очень умным, чтобы как следует испугаться».

В той мере, в какой страх смерти есть эмоция, он подвержен всем капризам и непоследовательностям эмоций. Он возникает и пропадает не по законам разума, регистрирующего объективную опасность, но в силу игры импульсов и рефлексов. Здесь я напоминаю вещи, давно уже сказанные. Например, можно проснуться в самое мирное время у себя в постели, цепenea от ужаса при мысли о неизбежном уничтожении, и можно рассеянно и равнодушно ходить под обстрелом (в одном случае ночная, без помех, сосредоточенность, в другом — отвлечение внимания). У человека, страдающего философской смертобязнью, нервы могут быть хорошо приспособлены к специфическим толчкам и свистам — и наоборот.

Легче иногда, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе. Нет другой области, в которой с такой наглядностью обнаруживалась бы мощь социального давления.

* [В ПМ и ВМ здесь:] В Москве немецкое наступление вызвало беспорядочное бегство обитателей, и оно на несколько дней стало их типовым поведением. В Ленинграде обстоятельства сложились иначе. Решающие из них — то, что бежать скоро некуда, почти невозможно. Никто поэтому не бежал и никто не думал: как же это я остаюсь, если все бегут. Скоро

** [В ПМ и ВМ:] фифы

*С древнейших времен и до наших дней слово «трус» — магическое слово. Можно бояться насморка, но смерти бояться стыдно.** Как удалось внушить такое человеку, с его волей к самосохранению, воспитать его в этом? Вероятно, удалось потому, что иначе существование общества, государства вообще невозможно и сюда была брошена вся сила внушения.***

Вот рассказ М., женщины средних лет; в начале войны она работала в каком-то ленинградском учреждении машинисткой. Постепенно все уезжали. Ее учреждение, как и некоторые другие, формально еще функционировало. С начала войны у них были заведены ночные дежурства сотрудников в кабинете директора — на всякий случай. Восьмого сентября дежурила М. Каждый раз, около 20 часов, немцы педантически напоминали о себе безрезультатной тревогой. Это стало уже распорядком дня. М. взяла с собой книгу; потом можно будет прилечь на диване, подремать до утра. В 20 часов — тревога. Это привычно; кончится, и можно будет прилечь. Но вдруг что-то новое, никогда не испытанное. Не то звук, не то толчок, звук — он же толчок. Тяжело содрогнулся пол, на потолке закачалась лампа. Еще, еще раз. Если бы не затемнение, было бы видно зарево Бадаевских складов, горевших с хлебом Ленинграда⁴. Первые бомбы первой бомбежки падали поблизости от учреждения. Учреждение было сугубо штатское и в те дни уже никому не нужное. Но дежурный должен дежурить у директорского телефона на случай — чего? — вероятно, указаний. М. стояла посреди кабинета; тремя этажами ниже помещалось бомбоубежище. Опять содрогнулся пол. А на суконно-бронзовом директорском столе молча стоял телефон. Уход от него — трусость, антигражданственность. Мысли о трусости, боязнь обнаружить трусость и одновременно мысль о никому не нужной опасности так всецело ее занимали, что настоящий физический страх она не успела почувствовать. Она вышла на площадку внутренней лестницы и вернулась, вышла еще раз и вернулась, чувствуя, как смертный страх, самозащита крепко зажаты оцепенением. В директорском кабинете нервно тикало радио. Защищаясь от одиночества, от какого-то нового качества тоски, М. бесцельно сняла телефонную трубку. Соединения не последовало. Абсолютная беззвучность — значит, линия где-то уже повреждена. Тогда она сошла вниз. У входа в убежище теснилось несколько человек.

Один с наскоро перевязанной головой. Это прибежали с соседней улицы, из первого разбомбленного дома. По коридору сновал сослуживец, начальник местной дружины ПВО. Он готов был ко всему, в том числе к смерти. «Почему вы не на местах? Все по местам! Вы что здесь делаете?» — «Телефонная связь прервана...». Но он не слушал ее, он кричал, пробегая дальше по коридору. Он вообще не имел права ей приказывать, никто не мешал ей спуститься в подвал. Но она не спустилась. Дом опять дернулся и содрогнулся. Она медленно поднялась наверх, в директорский кабинет и потрогала рукой неживой телефон. Дотронувшись до телефона, вспомнила, что нельзя позвонить домой (в сентябре

* [В ПМ здесь:] Если вплотную об этом подумать, то даже невозможно поверить.

** [В ПМ и ВМ далее:] При этом охотнее сознаются в гражданской трусости (она столь очевидна, что из нее уже сделали позицию, позу), только бы не в физической.

*** [В ПМ и ВМ далее:] Человек был терроризован угрозой неполноценности.

еще действовали частные телефоны), что муж, может быть, уже знает, что бомбили в этом районе. Стало тихо. Почему-то часто мигал потускневший свет. Она медленно спустилась по лестнице. Не в убежище, а так — постоять в нижнем коридоре.

Настоящий страх пережить на этот раз так и не успела. Настоящий страх вытесняет все остальное как несущественное. Она же слишком была занята другим — мыслями о том, как бы не обнаружить страх и сделать то, что все делают, или о том, как ненужно то, что все и она делают в уже ненужном учреждении.

Рано утром она возвращалась домой; на смежной улице тесно стояла кучка людей. Молча, внимательно они рассматривали воронку в асфальте, свою первую воронку.

Люди с Большой земли, попав в Ленинград, терялись. Они спрашивали: «Почему это у вас никто не боится? Как это сделать так, чтобы не бояться?» Им отвечали: «Прожить здесь полтора года, голодать, замерзнуть... Ну, объяснить это нельзя».

Одной привычки мало. Привычка лишь ослабляет импульсы страха и самосохранения, помогает их подавлять, замещать другими. Для этого надо было обзавестись другими импульсами, всепоглощающе, всеподавляюще сильными в своей первозданности.

Блокадный человек осени сорок первого года сменился человеком зимы сорок первого — сорок второго. Вот этот человек идет по улице во время обстрела. Он знает, что это очень опасно и страшно. Но он идет в столовую обедать. И вместо того чтобы бояться, он раздражается (не дадут даже спокойно пообедать...); вместо того чтобы бояться смерти, он боится, что его по дороге задержат, остановят, загонят в укрытие, чтобы он не подвергал свою жизнь опасности. Возможность гибели существует в сознании этого человека, но его непосредственное переживание — голод и в особенности страх голода и голодная торопливость, слепо устремляющаяся к цели. Можно одновременно осознавать разные вещи, но нельзя их одновременно с равной силой желать.

Человек просыпается ночью по сигналу тревоги. Надежда на тихую тревогу непродолжительна. Все ближе бьют зенитки. Какой резкий удар зенитки! Или это уже бомба? Он уже не думает о том, чтобы встать, отыскать калоши и идти в промерзающий подвал. Он думает, что не следует засыпать. Не хочется, чтобы это случилось во сне. Он не хочет проснуться среди падающего на него мира с тем, чтобы в кратчайшее, тут же гаснущее мгновение пережить свою гибель. Лучше — с подготовкой. Лучше лежать, прислушиваясь к приближающимся ударам. Лучше введение в катастрофу. Он думает о том, что не следует засыпать, но через несколько минут он засыпает, потому что устал.

Происходящее очень страшно. Вот сейчас, в любое мгновение, прежде чем он успеет натянуть одеяло, прежде чем он выдохнет дыхание,

сейчас расширяющее ему грудь, — вот сейчас известная ему действительность может смениться другой, невероятной — воющей, звенящей, из предельного страдания падающей в небытие.

Все это так, но он не в силах бояться. Ему хочется спать. Ему удивителен тот человек, каким он был сначала. Тот человек просыпался в час, в два часа ночи от звука тревоги. Звуча было достаточно, чтобы мгновенно оставить разогретую постель ради промерзлого подвала. Это была наивная цельность и свежесть инстинкта самосохранения, еще не разъеденного усталостью и непрестанной борьбой со страданием. В итоге этой борьбы — разогретая телом постель, тело, спокойно лежащее в постели, стали благом, стали желанием, которое не мог уже пересилить интеллектуальный материал страшных представлений.

Я знаю, что это страшно. Я хочу жить. Если это случится, то последнее сознательное мгновение будет проклятием моему безрассудству. Я знаю, что нужно бояться и принимать меры. Но я не боюсь и не могу бояться, потому что мне хочется спать.

Человек лета 1942 года... В его реакциях появились новые оттенки. Сейчас это уже только привычное напряжение нервов; оно исчезает вместе с вызвавшим его раздражителем. Минута отбоя — своего рода физическое удовольствие, легкость, как после внезапно прекратившейся зубной боли. Отсюда эти странные со стороны переключения, странные своей быстротой. Вот они прислушивались к смерти, а вот уже болтовня, редакционные сплетни, у оживающих женщин намерения достать чулки, переделать платье.

В нервной реакции уже не участвуют ни стойкие чувства, ни воображение, ей не противостоит сознательная воля. Все это успели переработать могущественные импульсы сопротивляемости. Те, в ком не работают эти импульсы, оказались на положении больных.

Почему самым сильным врагом сопротивляемости (немцы это понимали) был голод? Потому что голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть); мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения.

Назначение утреннего выхода на улицу — магазин. Продовольственный магазин заменяет и булочную. На дверях даже висит объявление: «Магазин торгует хлебом». Уж не зазывает ли он покупателей? В магазине сейчас пусто и тихо. Продавщицы в белых спецовках, на полках блестит бутафория, раздражающая покупателей, то есть прикрепленных, а на прилавке расставлены еще не выданные продукты, которые нельзя купить.

Сейчас это как-то похоже на жестокую прибранность амбулаторий; охраняя человека, они возбуждают в нем злобу и страх неумолимостью своего механизма. И человек, холодея от белых коридоров, от белых халатов, от щемящего сердце запаха, от страшных металлических штучек под стеклом, — ненавидит уже не болезнь, но то, что хочет его спасти от болезни.

Магазин с его незыблемыми законами (он не примет оторванный талон, он не отпустит хлеб на послезавтра) — это неплохо организованное недоедание. В хлебном отделе на полках плотно уложены аккуратные буханочки. Их так много, они так тепло пахнут, продавщица так лениво снимает их с полки — никаких внешних признаков их запретности. Хлеб лежит, цена его один рубль двадцать пять копеек или один рубль десять копеек кило, норму вы получите без очереди, без всяких усилий... Но он — табу. Это почти иррационально.

Зимой все, напротив того, было логично. В магазине стояла тьма, непроходимая теснота, гул голосов, угрожающий и молящий. Продавцы из-за прилавка боролись с толпой. Зимой были дни, когда окончательно замерзли в городе трубы и воду возили из проруби. Пекарни стали давать меньше нормы. С четырех, с пяти утра, в темноте, на морозе, сотни людей стояли в очереди за хлебом. Человек вспоминает вдруг, как он стоял в первый раз. Стоял и думал о том, что достигнуть цели все равно невозможно, невероятно (он не ел ничего со вчерашнего супа). Но тут же он думал, что даже если этому предстоит продолжаться еще пять, шесть или семь часов, то все-таки время всегда идет и непременно пройдут эти пять или шесть часов — какой бы мучительной неподвижностью они ни наполнились для отдельного человека, — что, значит, время само донесет его до цели. Булочная была тогда на углу, а до булочной — заколоченный досками магазин с длинной вывеской: *мясо, зелень, дичь*. За полтора часа он прошел слово «мясо», он прошел «зе» и надолго застрял под буквой «л». В очереди материализовалась огромная идея куска хлеба, а вывеска воплотила inferнальное томление очереди.

Теперь все до удивления просто (оно подобно удивлению человека, который настроился поднять полный чемодан, а поднял пустой). К хлебу можно протянуть руку через прилавок. Мешают этому только общие понятия, абстрактное социальное табу.

Хлеба зимой могло не хватить (потом это опять наладилось), очереди имели смысл. Но были и другие очереди — порождение голодного безумия. В день объявления выдачи жиров и «кондитерских изделий» часам к пяти утра у магазина уже стояла толпа. Люди претерпевали все муки многочасовой очереди, зная, что в десять-одиннадцать в магазине будет уже пусто. Психологически невозможно спать или заниматься любым другим делом, просто существовать, не включаясь в процесс приближения к жирам и кондитерским изделиям — с того момента, как они стали возможностью.

Очередь — собрание людей, обреченных на принудительную праздную и внутренне разобщенную общность. Праздность, если она не осмыслена отдыхом, развлечением, — страдание, кара (тюрьма, очередь, ожидание приема). Очередь — сочетание полной праздности с тяжелой затратой физических сил. Особенно плохо переносят очередь мужчины, привыкшие к тому, что их время оценивается. Дело даже не в объективном положении вещей, а именно в наследственных навыках. Работающие женщины унаследовали от своих бабок и матерей время, которое не учиты-

вается. Быт не дает заглотнуть этому атавизму. Мужчина считает, что после работы он должен отдыхать или развлекаться; вернувшаяся с работы женщина работает дома. Блокадные очереди вписались в многолетний фон выдаваемого, доставаемого, в привычную раздражительность и привычное женское терпение.

Зато почти каждый из появляющихся в магазине мужчин пытается пролезть к прилавку без очереди. Мужчины не могут объяснить, откуда у них это чувство внутренней правоты при внешней явной неправомерности поступка. Но они твердо знают: очередь — это бабье дело. Может быть, им представляется смутно, что справедливость их притязаний основана на том, что их в очереди так мало. Они, впрочем, не мотивируют; они либо хамят, либо произносят классическую фразу: «Спешу на работу». — «А мы не спешим на работу?! (Обязательно *мы*; мужчина в очереди чувствует себя случайным индивидом, женщина — представителем коллектива). Все теперь спешат на работу», — сердится женщина с портфелем. Мужчина воровато прячет уже полученный хлеб. Сказать ему нечего; но про себя он знает: пусть она в самом деле работает столько же, сколько и он, больше, чем он, но отношение к времени, к ценности, употреблению и распределению времени у них разное. И его отношение дает право получать хлеб без очереди. Продавщица, как лицо незаинтересованное, это понимает — обычно она поощряет претензии мужчин.

В очередях крайне мало людей, читающих книгу, даже газету. Это удивляет только никогда не стоявших в ежедневных, многочасовых очередях. В психологии очереди заложено нервное, томящее стремление к концу, к внутреннему проталкиванию пустующего времени; томление вытесняет все, что могло бы его разрядить. Психическое состояние человека, стоящего в долгой очереди, обычно непригодно для других занятий. Интеллигент наивно взял с собой книгу, но он предпочитает следить за ходом вещей. Пробравшись сбоку к прилавку, он смотрит, как продавщица отпускает впереди стоящим. Внутренней судорогой проталкивания он отзывается на замедление ее жестов (если продавщица на мгновение отошла от прилавка — это мучит, как внезапная остановка поезда), или удовлетворенно включается в четкий ритм ее работы, или ликует по поводу случайно выигранного времени (например, кому-нибудь суют его карточки обратно — не прикреплен он к этому магазину).

Человек впадает в подлинную истерику из-за одного вклинившегося перед ним претендента, а потом, уже получив выдачу, тот же человек тут же полчаса разговаривает со знакомым, но уже разговаривает как свободный, как находящийся здесь по своему усмотрению. Пока он в очереди, он, как и вся очередь, охвачен физической жаждой движения, хотя бы иллюзорного. Задние кричат передним: «Да продвигайтесь вы, чего застряли!» И какой-нибудь резонер, не понимающий механики душевных состояний, непременно откликнется: «Куда еще продвигаться? — от этого быстрее не будет».

Зимние дистрофические очереди были жутко молчаливы. Постепенно, с ростом хлебного пайка, с весенним теплом и появлением зелени (люди покупали и варили ботву) повадки очереди менялись. Очередь стала разговаривать. Человек не выносит вакуума. Немедленное заполнение вакуума — одно из основных назначений слова. Бессмысленные разговоры в нашей жизни имеют не меньшее значение, чем осмысленные.

Ход разговора в своем роде детерминирован, но эти пружины скрыты от разговаривающих. Субъективно они совершают акт почти независимый от сопротивления объективного мира, тяготеющего над каждым *поступком*. Разговор — свободный эрзац подвластного закономерностям действия. Он смутный прототип искусства, тоже особая действительность, и человек сам создает и сам разрушает предметы, ее населяющие.

Разговор — макет страстей и эмоций; любовь и тщеславие, надежда и злоба находят в нем призрачное осуществление. Разговор — исполнение желаний. В разговоре за чашкой чая или бокалом вина берутся неприступные барьеры, достигаются цели, которые в мире поступков стоят многих лет, неудач и усилий.

Разговор — разрядка, и он же объективация вожелений, ценностей, идеалов, способностей и возможностей, познавательных, эстетических, волевых. Прежде всего разговоры с ближним — сильнейшее средство самоутверждения, заявление о собственной ценности. Высказывание реализуется, получает социальное бытие — это один из основных законов поведения.

В своем диалоге с ближним человек утверждает себя прямо и косвенно, лобовыми и обходными путями — от прямолинейного хвастовства и наивного разговора о себе и своих делах до тайного любования своими суждениями о науке, искусстве, политике, своим остроумием и красноречием, своей властью над вниманием слушателя. Самоутверждение скрылось в объективно интересном, ушло в информацию или в эстетически значимое. Иногда информация — только предлог, иногда самоутверждение лишь сопровождает информацию. Так или иначе, самоутверждение — нетленная психея разговора.

Есть ситуации — экзистенциалисты называют их пограничными, — когда, казалось бы, все должно измениться. На самом деле вечные двигатели продолжают свою великую работу (это открыл Толстой). Только скрытое становится явным, приблизительное — буквальным, все становится сгущенным, проявленным. Таким стал разговор блокадного человека — в очередях, в бомбоубежищах, в столовых, в редакциях.

Очередь — принудительное соединение людей, друг против друга раздраженных и в то же время сосредоточенных на общем, едином круге интересов и целей. Отсюда эта смесь соперничества, вражды и чувства коллектива, ежеминутной готовности сомкнуть ряды против общего врага — правонарушителя. Разговоры развязаны здесь вынужденной праздностью и одновременно связаны определенностью содержания, прикреплены к делу, которым занимается очередь.

Дело добывания пищи, понятно, требует высказываний коммуникативного назначения (Кто крайний? По какому талону? До какого талона? Есть ли сегодня конфеты «Южные»? Правда ли, что конфеты «Иран» в бумажках? — тогда это невыгодно!) и высказываний, посвященных борьбе с правонарушителями. Формально они также коммуникативны (установка на практический результат). На самом же деле практический элемент в них ничтожен, как ничтожна для домохозяйки ценность времени, которое уйдет на лишнего затесавшегося в очередь человека. Незначительно в ее душевном обиходе и правовое чувство, к которому она взывает. Практическая направленность подобных реплик — прикрытые для разрядки раздражения, нетерпения, всех накопившихся аффектов. Их эмоциональная суть подтверждается немотивированной грубостью и злобой в ответах на безобидные вопросы: «Не знаете, до какого талона по рабочей?» или: «А как вы их готовяете?» — «Вы что, в первый раз покупаете?», «А вы что, никогда не готовили?» (Здесь проступает подозрение, не имеешь ли дело с барыней, считающей, что она для этого не предназначена.) Зимой никого ни о чем нельзя было спрашивать, любой вопрос был вожделенным предлогом для дикого, разряжающего злобу и муку ответа. В лучшие времена, наряду с грубым ответом, встречается ответ словоохотливый и обстоятельный — отвечающему нравится роль руководителя и советчика.

Но душа очереди в другом разговоре, заполняющем вакуум бездействия, круто детерминированном и иллюзорно свободном. Разговор о еде (о жизни и смерти) — в незатейливой оболочке профессиональных интересов домохозяек.

Для интеллигентов, для молодежи, даже вообще для мужчин — это свежий разговор, с которого только что снят запрет; они создают в нем какие-то новые неловкие и выразительные обороты. Они не в силах от него удержаться, но стыдятся его как признака деградации. Для домохозяйки это продолжение ее исконного разговора. Для домохозяйки предвоенного времени не новы ни очереди, ни карточки, ни вопрос «что дают?». Так что фразеологию не пришлось обновлять коренным образом.

Все же кое-что изменилось. Во-первых, этот разговор вытеснил все другие ее профессиональные разговоры (о школе, о покупках, о домработницах). Во-вторых, разговор, на котором тяготело презрение мужчин и деловых женщин (особенно молодых), с которым ей запрещено было соваляться к умникам, — разговор этот восторжествовал. Он приобрел всеобщую социальную значимость и значительность, оплаченную страшным опытом зимы. Он, разговор о том, что пшено лучше при варке не солить, потому что тогда оно лучше *доходит*, — стал разговором о жизни и смерти (пшена ведь становится больше). Сократившись в объеме (блокадная кулинария), он обогатился перипетиями преодолеваемых трудностей и разрешаемых задач. И, как основной для данной жизненной ситуации, он вобрал в себя всевозможные интересы и страсти.

Когда эта очередь ведет разговор о еде, в нем содержится все: эмоциональная разрядка в попреках и сетованиях, и познавательное обобщение в рассуждениях о наилучших способах добывания, приготовления, распределения пищи, и рассказывание «интересных историй», и всяческое самоутверждение. Тут и заявление своего превосходства над другими все в той же области добывания, приготовления, распределения пищи, и в том же плане просто рассказ о себе, о своей личности, со всем, что к ней относится и ее касается, — психологические наблюдения, фактические подробности, вплоть до простейших констатаций:

— А у нас в столовой появились щи без выреза, только очень худые...

— Ну и что ж, что тюлька. Я их пропущу через машинку с маслицем. Муж придет, покушает. Все-таки приятно.

Прямое утверждение своих достижений. *А маслице, покушает* — ласкательные формы в применении к самому насущному.

— А как вы ее варите?

— Щи варю. Как всякую зелень. Можно подумать, что вы не знаете...

Это грубость на всякий случай, профилактическая. Что, если вопрос задала белоручка, считающая, что она выше этого... тем самым выше отвечающей на вопрос.

— Лично я стала оживать, как только появилась зелень.

— Мы тоже с самого начала варили лебеду, крапиву.

— Нет, я крапиву употребляла исключительно сырую. Совершенно другое самочувствие.

Староинтеллигентские обороты (лично я, исключительно, самочувствие), наложенные на содержание, общее для всех в очереди стоящих. Прямой разговор о себе и разговор о еде — для интеллигентов с них снят запрет. Все же тема слегка замаскирована имеющим общий интерес самонаблюдением или поучением собеседника.

— Мы опять там прикрепились. И знаете, так хорошо дают. Сестра вчера принесла две порции супу, так буквально полбанки у нее риса.

Факты общего значения, а в качестве личной, подводной темы — демонстрация достижений.

— Ой, вот я хлеб начала. Теперь боюсь — не донесу до дому.

— Никогда нельзя начинать.

Третья женщина (стоит за кондитерскими изделиями):

— Спокойнее всего, когда с ним покончишь. Пока оно есть, так тянет, как магнит. Как магнит.

— Пока не съешь, не успокоишься. И забыть о нем нельзя.

— Как магнит, тянет.

— Я уж, знаете, конфеты по сто грамм выкупала.

— А полкило хлеба, с маслицем — сразу и конец. Прямо страшно его домой нести.

Удовлетворение разговором о себе дублируется удовлетворением от интеллектуальных процессов. Самонаблюдения, переходящие в обобщение опыта. «Никогда нельзя начинать» — это уже сентенция; «как магнит, тянет» — художественный образ.

— Ну вот, это мы с ребенком и съедем.

— На один день?

— Какой день? На один миг. Раньше-то двести грамм масла на день брали.

— Да, на троих как раз.

— Мои-то раньше были не дай бог. Вдруг гречневой каши не хотят. Свари им овсянку. И суп овсяный, и кашу. Я им говорю: уж одно из двух — либо суп овсяный, либо кашу... Нет, вари им и то, и другое. Ладно, сварю овсянку...

— А мой мальчик — семь ему, но они теперь насчет еды все понимают. Как объявят по радио детскую выдачу — он все слушает. Сахар там детям до двенадцати лет... Он говорит: мама, это мой сахар, я тебе не дам. А я ему говорю: а я тебе не дам конфет.

Рассказ о себе, о своей семье; именно о том, как семья ела, — отсюда его всеобщий, объективный интерес. Что и подтверждается вопросительной репликой собеседницы («На один день?»). У рассказа о том, как раньше ели, есть подтекст самоутверждения: насколько я и мои были и можем быть выше вещей, сейчас властвующих над нами. Ответная реакция показывает понимание; означает, что собеседница тоже выше и принадлежит к тому же кругу, именно кругу людей, которые брали двести граммов масла в день на троих.*

Семья так хорошо жила, что дети в порядке чудачества (с жиру, как прежде господя ели ржаной хлеб) требовали не лучшего, а того, что похуже, — вот подводная тема рассказа о гречневой и овсянке.

Дальше на новом и страшном материале вечный женский разговор о детях. Рассказ о мальчике, который все уже понимает «насчет еды», имеет отчасти сюжетный, художественный интерес; но главное — подразумевается, что это развитой не по летам мальчик, который не пропадет и который уже действует как взрослый, но с милой детской наивностью.

Но этот приспособленный к жизни ребенок тут же терпит поражение. Потому что собеседница говорит вдруг о другом мальчике, который тоже поступал как взрослый:

— Нет, а мой мальчик, который умер, — тот все делил. Удивительно. Мы с отцом не можем терпеть. А он спрячет конфеты в карман. Похлопает по карману и говорит: сейчас нельзя больше. И такой был не жадный. Свое отдавал. Говорит: мама, ты ведь голодная, возьми от моего хлеба.

Зимой людьми, подходившими к этому прилавку, владела одна всепоглощающая страсть. Они почти не говорили; с маниакаль-

* [В *ВМ* далее:] Подобный механизм действует, например, в разговоре двух бывших дам. Одна прямо говорит, что в «мирное время» (то есть до 17 года) у нее была собственная машина. Другая отвечает, косвенно присоединяя себя к тому же кругу: «Да, знаете, в своей машине самое больное место — это всегда был шофер».

ным нетерпением они смотрели вперед, через плечо соседа на хлеб. Сейчас не то; но и сейчас у самых весов прекращаются посторонние разговоры. Шея вытягивается. Напрягаются мускулы лица. Покупатель вступает в контакт с продавцом. Оба молча, сосредоточенно борются за грамм недовеса или перевеса. Человек у прилавка смотрит, как продавщица непринужденно берет с полки буханочку, как разрезает корку, вскрывая красивую шоколадного цвета мякоть. Она отрезает или добавляет прямоугольные плотные кусочки, они лежат тут же на доске, их нельзя взять и съесть. Табу. Весь огромный общественный механизм ограждает эти кусочки от тянущейся к ним человеческой руки. Больше между ними сейчас нет ничего — ни замков, ни милиции, ни очереди. Только великая абстракция социального запрета.

Внимание человека пригвождено к автоматическим весам с движущейся стрелкой. Отчасти потому, что его могут обмануть, главным образом потому, что он переживает иллюзию участия в жизненно важном процессе взвешивания. Нечто вроде игры на бегах, когда каждый бежит вместе с лошастью, уносящей его ставку, — хотя он неподвижен и бессилён повлиять на исход состязания. Стрелка делает первое размашистое движение и, все сокращая охват, долго качается на фоне белого диска, ищет среди цифр себе место. Вот заехала за нужную цифру — это всегда неприятно: значит, продавщица непреклонным жестом отрежет прямоугольник от лежащего на весах куска. Хорошо, если стрелка не дотянула: значит, еще не все. Значит, будет еще кусок, может быть, довольно большой... нет, совсем маленький; странно, что такой маленький может выровнять стрелку. Психическое соучастие в процессе взвешивания хлеба сопровождается какой-то абсурдной и обреченной надеждой — что вот сегодня кусок почему-то будет больше, чем всегда. Если продавщица сразу угадывает вес — это бесперспективно. Если довесок большой — тоже нехорошо, потому что до дома его нельзя трогать — такова блокадная этика. Лучше всего маленькие довески, которые как бы в счет не идут и по обычному праву на месте принадлежат получившему хлеб (даже если дома семья). Удачно, если их два, совсем маленьких. Довесок съесть можно, но отломать от пайка кусочек — крайне опасно; так по кусочку съедают все, не донеся до дома, до завтрака. И вместо завтрака дома будет только голодная скука. Лучше уж аккуратно отрезать ломтик ножом. Это сохраняет пайку непочатость первоначальной формы, прямую поверхность разреза — его защитный покров.

Зимой трамваи выходили из употребления постепенно. В городе говорили: «Вот, сегодня уже нет тока; притащился пешком с Петроградской». На другой день трамваи кое-как шли. Никто не думал, что это конец. Как-то они не ходили несколько дней, а потом трамвай вдруг догнал Эна по дороге и подвез. Потом все это кончилось, и со временем дело дошло до мостовых, покрытых ледяной корой, под которой нельзя было вообразить трамвайные рельсы, до вмерзших в мостовую троллейбусов. Они стояли у берега тротуаров с приспущенной дугой.

Бег по кругу был самым конкретным бегом — от дома к учреждению, от учреждения к столовой, от столовой к столовой, от второй столовой в учреждение...

В апреле город откапывал трамвайные рельсы. Эн тоже откапывал со своим учреждением. К трамваям Эн долго не мог привыкнуть. Ему все казалось, что это нечто ударно-показательное, чем практически пользоваться нельзя. Он с удивлением смотрел на людей, которые всерьез, деловито, как будто с трамваями ничего не происходило, тискались у дверцы и кричали: «Куда вы лезете!» Он еще продолжал ходить пешком, объясняя это тем, что давка, что долго ждать и проще дойти пешком. На самом же деле окостеневшее бытие выталкивало новый элемент. За время перерыва в трамвайном сообщении оно успело твердо сложиться из серии повторяющихся рефлексивных жестов.

Потом он попробовал — оказалось, этим можно практически пользоваться. И он сразу стал крайним приверженцем трамвайного передвижения. В его рационализаторских размышлениях о быте это определялось как наименьшая затрата физических сил. На самом деле важнее было другое — так противно представить себе пространство, отделяющее от цели и которое шаг за шагом, терзаясь торопливостью, придется одолевать своим телом. Легче было ждать. Ждать приходилось долго.

С остановки он шел на угол, откуда виден поворот. С усилием близорукого человека он вглядывался, принимая вдруг за трамвай ворота поперечного дома, или листву дерева, или ряд окон в стене. Чуть ближе дороге пересекала другая трамвайная линия. Это обманчиво; но хорошо, что даже чужие трамваи ходят позванивая, — значит, ходят. Трудно разобрать, какой это появился трамвай, — темно-красный массив трамвая уже несомненен — может быть, опять поперечный. Но он уже явственно заворачивает мордой вперед и тащит свой корпус по полукругу.

Поездка в трамвае — один из лучших, подъемных моментов дня. Это человек перехитрил враждебный хаос. Среди всех упорствующих вещей, ушедших из-под нашей власти, среди вещей, которые надо двигать и поднимать собственными мышцами, собственной волей, — вдруг одна послушная вещь, служащая тебе механическая сила.

Ежедневно Эн с удовольствием возобновляет забытый было автоматизм движения, которым человек, взявшись за поручень, слегка откинувшись, вталкивает себя на площадку. Он остается на площадке. Ему сейчас вовсе не хочется заниматься рациональным сохранением своих физических сил (для этого следовало бы сесть). Ему хочется переживать чудесное механическое движение, совершаемое им, за него, для него. Враждебный мир на мгновение обманут; из него вырван клочок.

Рядом на площадке стоят два красивых, очень молодых краснофлотца в бескозырках. И подрагивающая площадка вдруг представляется Эну палубой; на ней кто-то стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы, с папироской в зубах. Соленый ветер дует в лицо. Трамвай идет, подра-

гивая, позванивая на остановках. Он сам, без содействия пассажиров, отодвигает улицу дальше и дальше. Низкая рама стекла легко перерезает дома, разбомбленные и неразбомбленные, недействительные вывески, постовых милиционеров. Мгновенье она несет в своем кадре пешеходов и оставляет их на дороге.

Движение — позванивающее, подрагивающее, успокаивающее торопливость.

И вдруг тревога. Обстрел. Надо выходить из трамвая. Эн заходит в подъезд. В этом доме он когда-то довольно часто бывал, у знакомых. Они тоже уехали. Несколько ступенек ведут там к площадке с большими окнами. Это нехорошо, зато есть подоконник, на котором можно посидеть.

В подъезде* собрались уже люди.

— Начинается, — говорит кто-то.

Появилась дежурная по дому:

— Отойдите от окон, пожалуйста. Пройдите сюда.

— Чем же здесь лучше? Тоже окна.

Слышен близкий разрыв.

— Идите вниз, товарищи.

— Вы куда стали, барышня? Под самое окно. Незачем выстав-
ляться.

С улицы всё заходят. На лестнице уже довольно много народу.

Ругают фрицев. Женщина на подоконнике очень громко, увлеченно рассказывает другой — как она ест. Она не ест в столовой, потому что там обманывают, а дома можно приготовить гораздо вкуснее. Подробный рассказ о том, как она даже сейчас вкусно готовит, так что все восхищаются.

Двое мужчин, довольно молодых, спорят о силе поражения осколком и о том, пробивает ли он одну капитальную стенку или две. Мужская тенденция к обобщениям, особенно к обобщениям технического порядка. Один из них, поглупее, путано рассказывает про дом, разрушенный двумя снарядами полгода** тому назад. Ему хочется рассказывать об этом, потому что он сам в этот момент чуть не зашел в булочную в том доме и только по счастливой случайности зашел в другую. Ему еще до сих пор хочется рассказывать об этом. Но он уже облакает это сообщение в форму объективно значимых рассуждений о пробивной силе снаряда.

Одна девушка другой:

— Пускали бы, я бы пошла. А то так — одно томление.

— Пускают.

— Да нет, далеко не уйдем.

— Тут как раз место такое, милиция кругом. Да, не ходите. Тут что
вчера было...

— Нет, пошли бы лучше к тебе, в подвале бы посидели.

— В каком подвале?

— В твоём.

— Он не мой. И ключа нет.

* [В рукописи:] «Публ биб-
л<иотек>и

** [В ПМ и ВМ:] полтора года
[В ПМ зачеркнуто:] ноября

— У тетки нет?
— У меня нет.
— До чего я устала. Прошлую-то ночь не спала совсем. А с шести опять рабочий день. Ой, не могу стоять больше. Пойдем на лестнице посидим. Есть у тебя газета?

— Какая газета?

— Подстелить.

— Чего подстилать, садись.

— Нет, так — как же это садиться?

— Собрание-то у вас провели?

— Нет еще. Эх, я думаю иногда, знаешь: что сейчас надо — трамвай пускать надо. Аварии исправлять надо. А остальное...

— Так ведь ты и трамвай не пустишь, и ничего. Если народ не будет мобилизован, в готовности. Если не поговорить с людьми.

— Да, это верно...

— Ну, как ты устроилась?

— Ну их. Не хочу я с ними. Я у Игнатьева попросила разрешения перейти, а он мне говорит с такой с насмешкой: вам тут не нравится? Хотите, могу вам предоставить кухню отдельную.

— Может быть, это и лучше.

— Что же лучше? Сырость там, темно, крысы. Кухня есть кухня.

Разговоры усталых, до точки дошедших людей. Они говорят об этом, но они продолжают работать. И главное, они знают, что нужно работать. И эти две девушки знают, что нужно держать людей в готовности. Это внутреннее согласие.

В квартире налево, где Эн когда-то бывал, в маленькой комнате живет портниха. Она не уехала. Она выходит на лестницу, провожая заказчицу. У заказчицы явно литературные карточки. Такой у нее вид (может быть, актриса?), вот она и заказывает...

Заказчица: Что на улице? Радио что?

Портниха: Ничего. Скоро песни петь будет...

Заказчица: Теперь это наши стреляют. Не беспокойтесь. То стреляют, то песни поют. Комедия.

— Так и живем. И живем, и умрем. Нет, уж я скажу — смерть к нам приближается медленно, но верно. Конечно, теперь на других-то фронтах хорошо. На Харьковском. Но нам-то больше всех достается, и никакого нам не видно конца...

— Ужас! И самое ужасное, что люди стали на себя не похожи. Отупели, очерствели. Болото стоячее.

— Ну, вы живой человек...

— Я живой человек! Какой я живой человек? Разве я могу на что-нибудь реагировать. Два года тому назад, десятого сентября, я хорошо этот день помню, — первые бомбы упали на нашу улицу. Через два дома. Я думала — с ума сойду. Когда я утром вышла и увидела эти стены, осколки, этот

дом разрушенный, я так плакала, я рыдала от горя — вот тогда я была живой человек. Я ушла из дому и три дня не приходила домой. Ночевала у себя на работе на столе. Мне казалось — если я вернусь и еще раз увижу этот дом, я с ума сойду. А потом что... Потом я по улице через трупы шагала. Вот так. И мне было смешно, что они такие закутанные. И головки у них качаются. Не то человек, не то кукла. Я всегда больше всего боялась пережить кого-нибудь из близких, всегда думала — как это будет. А потом как я бабушку равнодушно похоронила. Я ведь ее мамой называла. Ну, конечно, поплакала, ничего не скажу.

— Ваша бабушка такая славная была старушка. Чистенькая, аккуратненькая. Я ее все в переулке встречала.

— Чудная была бабушка. Смешная. Она когда-то представить себе не могла, как это можно выйти замуж без лисьей шубы.

— Как же, приданое шили.

— У нее ротонда была. Я помню.

Стоящая рядом девушка:

— А какая она, ротонда?

— Они без рукавов. Набрасывались, как плащ. А зачем даме рукава были? Зачем ей руки? Корзины, что ли, она носила? На улицу выходила только чтобы покрасоваться. Завернется в бархатную эту ротонду — легкое все, на лисьем меху. И пробежится. Очень бабушку я любила. А вот умерла бабушка — и ничего. Нет, я одеревенела, одеревенела. Не человек, а грязная вода. Болото. Такое ко всему равнодушие. Такое равнодушие.

Девушка: Мы такие потому равнодушные, что знаем, что каждую минуту можем умереть. Потому мы такие равнодушные.

Портниха: Знаете, не могут же люди два года подряд на все реагировать. На фронте не может человек нормально реагировать на смерть, на гибель товарищей.

Заказчица: Вы не думайте. Они очень там даже реагируют; гораздо больше, чем мы. Я ведь была на самом переднем крае. Мы там в палатке сидели, так когда сверху начали крыть — здорово все рвалось, так начпрод там был — молодой человек — испугался, убежал и спрятался в сене.

— А вы?

— А я осталась. Всю ночь просидела. Я им сказала: я дистрофик. Мне что. У меня осталась полная палатка консервов, хлеба, сахару. И вестовой — Коля — со мной. Он каждую минуту спрашивал: «Вам налить, барышня? Вам положить?» Там был еще капитан. Пожилой. Молодец — ничего не боялся. Он выйдет, отдаст распоряжение. Потом придет, полежит, выпьет водки. Утром мы над этим начпродом так смеялись. Нет, вы не думайте, они очень даже реагируют. Ну, пойду я.

— Вы не бойтесь?

— Чего бояться? Сяду в трамвай и поеду.

— Вы не бойтесь, что вдруг трамвая не будет?

— А, я ничего не боюсь. Я хотела бы уж чего-нибудь испугаться.

Портниха lamentирует, заказчица занята построением собственного образа, обе с вождедением говорят о дамах в ротондах, которым не нужны были руки. А все же нет у них несогласия с происходящим. Они лично могут жаловаться и уклоняться, но их критерии и оценки исторически правильны. Они знают, что надо так, потому что нельзя иначе. Их критерий: Гитлер — мерзавец, немец — враг и его надо уничтожить. Капитан — молодец, потому что не боится. И сама я молодец (невзирая на все дистрофические мотивы), потому что не испугалась и осталась в палатке, пусть для того, чтобы доест консервы, — не в этом суть. А начпрод, который спрятался, — дрянь.

Так в сбитых с толку, вождедующих легкой жизни женщинах, как в кривом зеркале, отражается общая воля. И эта женщина, утешающаяся ролью дистрофической истерички, бессознательно делает свое дело — тем, что пришла сюда заказывать платье, как можно более красивое, и тем, что пойдет сейчас на простреливаемую трамвайную остановку.

И все столпившиеся здесь люди — в том числе lamentирующие, ужасающиеся, уклоняющиеся, — повинуются средней норме поведения, выполняют свою историческую функцию *ленинградцев*.

Задыхаясь, вбегает пожилая женщина с молодой дочкой и маленькой внучкой.

— Что же это, безобразие какое! Все парадные на замке. Бежим от самого моста, и все парадные заперты. Разве можно? Безобразии!

Другая женщина: Что вы так волнуетесь? Вы же ленинградка. Ленинградцы должны быть спокойные.

— Да, спокойные. Вы, может быть, здоровая, а я больная — это разница. Вы инвалид?

— Почти что...

— Вы инвалид второй группы? Зарегистрировались? Нет. Это разница. Вы, может быть, неразбомбленная, а я разбомбленная. Тоже разница... Немец проклятый! Гадина! Садит и садит. Когда его уже уничтожат, проклятого! Чего делает!

Третья женщина: Это они злятся. Злятся, что плохо пришлось. Они злятся на Ленинград, что ничего сделать не могут. Вот хулиганят здесь.

— Мерзавцы проклятые! Видят теперь на фотографиях, что у нас физиономии стали потолще, — и злятся. Ничего он здесь не получит.

— Ну, это конечно. Только они здесь здорово закопались.

— Да, запрятались. Жалко только, что им наши труды на пользу пошли. Ямочки наши, которые мы рыли. Вы куда это собрались?

— Пойду. Попробую. А что?

— А то — что штраф заплатите. Нас вот на днях на пятьдесят рублей оштрафовали. Я ему говорю: хоть бы с одной только взял, а то что это — и с меня, и с дочки. Разве можно? А он говорит: вот только с нее не беру (показывает на внучку), скажи спасибо. Разве можно так? Где ж это денег взять? Я ему сорок семь рублей набрала. Еще спрашивает, где дочка работает, говорит — на службу придет.

— Да ерунда, не придет.

— Нет, видите, она кассиршей работает. Так он думает получить что-нибудь.

Дочка: Каши получить захотел. Вопросы питания еще все-таки очень важные. (Девочка начинает хныкать и теревить бабушку: «Пойдем, пойдем!»)

— Нет, не пойдем, подожди. Вот когда немца уьем, тогда будем ходить свободно. Когда немца уьем. Дедушка твой его из-под Тулы гонит. Дедушка ее там. Я как услышала про Орел, так у меня все поднялось. Есть, значит, у наших сила...

Вот оно — настоящая бабушка разговаривает как бабушка из очерков и рассказов. Никогда этого не бывало. Только в языке войны народное на мгновение сближается с газетным.

Мания еды, маниакальные про нее разговоры — все это крайне усилилось вместе с передышкой. В дни большого голода люди много молчали. Возможности были срезаны подчистую, так что не оставалось места для психологического обогащения фактов, для использования их вечной человеческой волей к утверждению ценностей.

Количество страдания переходит в другое качество ощущений. Так, тяжело раненные в первый миг не испытывают боли, а замерзающие под конец впадают в приятное состояние. Настоящий голод, как известно, не похож на желание есть. У него свои маски. Он оборачивался тоской, равнодушием, сумасшедшей торопливостью, жестокостью. Он был скорее похож на хроническую болезнь. И, как при всякой болезни, психика была здесь очень важна. Обреченными были не самые почерневшие, исхудавшие и распухшие, но те, у кого было не свое выражение, дико сосредоточенный взгляд, кто начинал дрожать перед тарелкой супа.

А. приходил в столовую с раздутыми, темно-красными губами; и это еще не самое худшее. Однажды в столовой исчезла со столов соль, и кашу выдали недосоленную. Тогда А. впал в отчаяние. Он бросался от стола к столу, бормоча: «Нельзя же несоленую кашу... нельзя же... Ох, боже мой, а я и не захватил...».

Вот это был дурной знак.

В. пришел однажды в столовую в пальто с выдраным большим клоком на животе. Он не дал по этому поводу никаких объяснений. Он в этом пальто сидел за столиком и разговаривал с соседями. Но соседка сбросила вдруг в чью-то пустую грязную тарелку ложку (чайную) постного масла из каши. «Вы чрезмерно расточительны», — сказал В. светским тоном и, выловив его своей ложкой, это постное масло съел. Недели через две он умер в стационаре.

В годы гражданской войны голодали иначе, стихийно и хаотически (особенно в провинции). Ели фантастическую еду: шелуху, крыс и т.п., в то же время что-то комбинируя, меняя; и вдруг добывали мешок картош-

ки. Блокадный голод был голод неплохо организованный. Люди знали, что от кого-то невидимого они получат тот минимум, при котором одни жили, другие умирали — это решал организм.

Заторможенные люди монотонно ходили в булочную, в столовую, ожидая развязки. Им дана была непреложность ста двадцати пяти граммов, тарелки супа, порции каши, уместавшейся на чайном блюде. Что сверх того — нельзя было ни купить, ни достать, ни украсть, ни вымолить. Друг и брат сидели рядом, зажимая свои сто двадцать пять. Несмотря ни на какие терзания, их нельзя было попросить у лучшего друга, и если бы друг сам предложил — их нельзя было взять (будучи в здравом уме).

Гамсун описал совсем другой голод, голод от нищеты — окруженный соблазнами и надеждами⁵. А вдруг человек найдет работу или ему дадут займы, вдруг он украдет, или выпросит, или под приличным предлогом пообедает у знакомых... Голодные вожеления бедняка омрачены просчетами, завистью, унижением, но их не раздавила еще непреложность.

Весной открыли рынок, понемногу выползали спекулянты. Оказалось, что ботву или даже стакан пшеницы или гороха можно купить — невероятно дорого, с трудом, но можно. Возрождение фактора денег было душевным переворотом. Появились возможности, и вокруг возможностей заиграли страсти и интересы. С этих именно пор еда стала средоточием умственных сил (зимой говорили — если говорили — не о том, кто как ест, но кто как умирает). Она стала сферой реализации и немедленно обросла разными психологическими деталями.

На фоне всеобщей, общегородской эволюции каждый проделывал свой собственный путь — от непонимания и легкомыслия до голодной травмы. Индивидуальное притом было включено в групповое, в типические реакции разных пластов населения на трагедию еды.

Имелась в том числе типическая реакция интеллектуалов тридцатых годов, мужчин и женщин, более или менее молодых, с их установкой тратить на бытовые дела как можно меньше времени и энергии. В этом кругу был разрешен интерес не к еде, но только к ее психологическим атрибутам: уют, отдых, дружеский разговор (под рюмку водки), продуманный ужин с девушкой. Иначе интерес к еде был бы уже зависимостью низшего порядка.*

Определялись черты блокады, а интеллигенты этого толка все еще гордились свободой от низших зависимостей, из чего — на первых порах — вытекало наивное непонимание голода. То есть они понимали, что бывает голод в деревне, и особенно в пустыне — с верблюдами и миражами, — когда человек много дней совсем ничего не ест и от этого умирает в мучениях. Но они ничего не знали о дистрофии и не верили в то, что обитатели большого города могут умирать голодной смертью.**

* [В БР далее:] Эн принадлежал к этой разновидности. Он добродушно находил в еде вкус или, напротив того, полностью исключать этот процесс из сознания — смотря по обстоятельствам. Первое, когда ему подносили вкусное без его ведома и усилий; второе, если усилия требовались и суть была в том, чтобы затратить их как можно меньше.

** [В БР далее:] В годы гражданской войны его подростком увезли в сравнительно благополучные места. А вот Иксу, его сверстнику и приятелю, в те годы пришлось

Эн проглядел начало ужасной голодной эпопеи города — как и многие другие, вначале сравнительно легко переносившие нарастающие ограничения. Он удивился (ему нравилось удивляться), когда кто-то сказал: «Вот он — голод...»; когда соседка с двухлетним ребенком вдруг перестала спускаться в бомбоубежище, потому что все равно не от бомбы, так от голода пропадем (она действительно умерла в феврале). Ему нравились удивление и непонимание как признаки психики высшего разряда.

Потом пришло время, когда не понимать стало уже невозможно. Вокруг умирали, хотя и не так, как умирают в пустыне. О первых случаях смерти знакомых людей еще думали (и это мой знакомый? среди бела дня? в Ленинграде? кандидат наук? от голода?), еще говорили, с ужасом рассказывали о том, как жена в последние дни, пытаясь все-таки спасти мужа, купила кило риса за пятьсот рублей.

Разговоры постепенно сжимались до констатации факта. Весной разговоры опять разветвились, но для зимы это было занятие слишком наивное. Норма защелкнулась вокруг хлебного пайка и обеда. Хуже того — обед, дарованный человеку законами новой действительности, не был его обедом. По законам новой действительности лицам с иждивенческой карточкой не полагалось обеда, иждивенческая карточка не вытягивала ежедневный обед. И блокадный человек, прикрепленный к ведомственной столовой, — делил. Он съедал то один суп, то только кашу или полкаши. Остальное в бидончике или пластмассовой коробочке уносил домой. Странно, что полкаши уносили домой в веселых голубых и желтых коробочках. Делить было грустно, и делящие завидовали тем, кто съедал свой обед целиком. Таких, впрочем, было немного, особенно вначале, когда иждивенцы еще не умерли или не попали в эвакуацию. Завидовали делящие не столько даже сытости неделающих, сколько неомраченному переживанию обеда.

Однажды за столиком ведомственной столовой остались двое. Один из них держал в руке голубую коробочку и печально стряхивал в нее с ложки кашу — полкаши, которую он не доел и оставил у себя на тарелке. Другой уже кончил есть; он внимательно следил, как сползала с ложки склизкая жижа. И вдруг сказал:

— А, вы можете еще делить? Да? А я не могу... Знаете, я уже не могу делить...

И деливший ощутил тогда на мгновение прилив гордости и силы.

Эн, наконец, понял. Но худшее для него наступило тогда, когда, казалось бы, стало уже легче: он получал тогда уже четыреста грамм по рабочей карточке. Четыреста грамм не могли остановить истощение. Истощение подбиралось к переломной точке. И как только достигло точки* — началась невоз-

очень плохо, и он говорил, что у него тяжелая травма, что он боится. Притом он боялся голода в мирных условиях, и не только физически, но и социально, он боялся остаться без работы... Он раз навсегда потерял легкомыслие, живительное для людей умственного труда. Эн относился ко всем этим предосторожностям с неодобрительным подозрением, он считал их проявлением недостаточности жизненного напора, который, по его мнению, был доминирующей (хотя и негативной) чертой психики его друга. Так [далее по тексту].

* [В БР:] все началось. Начались страдания. Как все, что долго сопротивлялся физически и психически. Эн очень быстро теперь скользил по наклонной плоскости страдания. Но он всегда сохранял способность осознавать свою деградацию — особенно психическую. Своим чередом он вступил в этап неводержанности.

держанность. Эн вдруг стал съедать сразу все, что возможно. Сначала без заранее обдуманного намерения, каждый раз с чувством греховности, потом уже он возвел это в принцип.

С хлебом это происходило так: рано утром он получал свои четыре грамма, доведок съедал на месте, а кусок уносил в учреждение, где он работал и где жил на клеенчатом диване, потому что дома было уже много ниже нуля. В каком-нибудь еще пустом служебном помещении, за канцелярским столом, он перочинным ножом отрезал от куска первый ломтик — примерно, на глаз, намечая, сколько можно съесть утром. По мере приближения к этой границе тоска по хлебу росла. Он отрезал еще ломтик (потоньше), переходящий границу. Потом еще. Это и сопровождалось чувством грехопадения. Потом, когда граница была уже непоправимо нарушена, рождалась дикая мысль и страшно простая: что, если вдруг разрешить себе съесть все, до конца? Он замирал на точке колебания, замирал и срывался. Недозволенное, спотыкающееся, заторможенное сменялось неудержимым скольжением вниз, с зажмуренными глазами. В самый миг снятия запрета возникала даже иллюзия, что теперь-то именно вовсе и не хочется съесть все до конца, что хлеба еще много; иллюзия, разумеется, исчезающая вместе со следующими двумя-тремя ломтиками.*

Товарищ дал Эну** пропуск в такую столовую, где снисходительно резали талоны вперед, а иногда отоваривали дополнительные, обычно мертвые талоны. В первый раз, когда Эн замыслил съесть два вторых, ему почти невероятным казалось, что это в самом деле осуществится. Это — переворот, изменение жизненного принципа. Увеличение хлебного пайка или нормы закладки крупы — это было замечательно, но принцип оно не отменяло; принцип, в силу которого обед мыслился замкнутой неподвижной единицей. Не мог он разомкнуться и включить в себя вдруг лишнюю тарелку супа.

Имелась, впрочем, в блокадном быту ситуация, ненадолго размыкавшая круг. Это когда умирал кто-нибудь в семье и до конца месяца можно было отоваривать его карточки.

В каком-то из закоулков какого-то из учреждений стояла женщина, обмотанная платками. С темным, неподвижным лицом она ела ложку за ложкой из банки кашу. По тогдашним понятиям, каши было довольно много.

— А у меня мать умерла, — остановила она проходившего мимо малознакомого человека, — каша вот по ее талонам... Такая тоска, невероятная. И ни за что не проходит. Думала — какое счастье съесть сразу три каши, четыре каши... Не получается, не хочу... Глотаю и глотаю, потому что тоска, она там глубоко, внутри: мне все кажется — станет легче. Эта каша, жижа опустится туда, вниз, придавит тоску, обволокнет ее, что ли. Ем, ем, а тоска не проходит.

* [В ПМ далее:] Если человек съедал свой хлеб с утра, это, между прочим, помогало о нем не думать. Люди, на весь день распределявшие хлеб, мысленно никак не могли оторваться от оставшегося у них куска.

** [В ПМ и ВМ:] В конце зимы сквозь непреложную норму постепенно стали просачиваться какие-то покупки или сверхвыдачи. Товарищ как-то дал Эну

К весне люди чувствовали себя очень плохо, многие — хуже, чем в период ста двадцати пяти (тогда силы еще не иссякли), но состояние их стало уже похожим не на что-то другое, а на самое себя, на желание есть... Люди страстно захотели есть.

Вспоминая зиму, Эн в основном вспоминал не еду и не голод, а хроническую болезнь с разными ее признаками и вообще маски голода, его психологических оборотней. И все это было менее унижительно и животнo, чем то, что происходило с ним в пору начавшегося облегчения. Ему все время хотелось есть. С безумным легкомыслием, возведенным теперь в систему, он резал талоны. Он сгребал в тарелку три порции каши, чтобы казалось, что ее много. И приходил в отчаяние оттого, что ее все-таки мало. Он не только стал думать об этом, после того как долго вообще ни о чем не думал, но им овладела маниакальная сосредоточенность мысли. На улице, на ходу он медленно вспоминал все, что съел утром или вчера, он обдумывал то, что еще предстояло съесть сегодня, или занимался расчетами, комбинируя выдачи и талоны. И в этом были поглощенность и напряжение, какие он прежде знал, только додумывая, дописывая что-нибудь очень важное. Странное, искривленное отражение интеллектуального действия — оно было унижительнее всего. И ему мерещилось сквозь дистрофический туман, что подмененное интеллектуальное действие — это вообще самое постыдное, куда постыднее любых физических отправлений. К несчастью, мы этого не понимаем... или к счастью?*

В дни выдач или покупок** дома иногда оставались резервы. Это даже сообщало уверенное отношение к жизни. Занимаясь служебными делами, человек мог в любую минуту объемно, материально представить себе: на второй полке баночка, на треть наполненная золотистым пшеном, в соседней банке улеглись серебряные кильки. И кильки, и пшено — красивы.

Многие еще совсем не стеснялись. Литератор В.*** говорил:

— Знаете, я теперь в постели, перед сном, развлекаюсь. Составляю меню удачного дня. Например: завтрак — зеленая (это из ботвы) каша с хлебом, поджаренным на олифе, и чай с подсушенным хлебом; обед — два овсяных супа и каша пшенная. Потом дома — две чашки соевого молока с конфетой (ее можно принести из столовой); ужин — лепешка из зелени с хлебным мякишем (обедаю зато без хлеба). Или, например, завтрак: натертый рыночный турнепс с постным маслом; ужин — запеканка из соевой колбасы...

Иногда наступало просветление. Тогда хотелось наесться до тошноты, до отвращения к пище, до рвоты, — чтобы только покончить с этим стыдом, только бы освободить свою голову. Но дистрофическим мозгом овладевал страх — что же будет, если этого не будет? Если рассосется вдруг этот комплекс желаний и целей?

А на что это так омерзительно похоже? На что именно из прошлой жизни? Ах, да — на неудавшуюся любовь, когда она

* [В БР далее:] Привилегированные организации изредка получали теперь для распределения посылки с Большой земли. Удивительные посылки — с шоколадом, сухарями, консервами, концентратами.

** [В БР:] В дни посылок и даже магазинных выдач

*** [В ЛМ:] Талантливый литератор Икс

медленно разжимает тиски, а человек боится потерять с нею уже не надежду, не чувство, но обеспеченное, привычное заполнение вакуума.

Однажды Эн не утерпел и в редакции, сидя за своим рабочим столом, пробормотал:

— Главное сейчас — не думать о еде.

В комнате, кроме него, сидели двое сотрудников, мужчина и женщина. Женщина быстро сказала:

— Я об этом не думаю.

«Врешь», — подумал Эн.

А мужчина сказал, неприятно улыбаясь:

— Это нам за то, что мы не на фронте. Должно же быть что-нибудь за это? А? За то, что нам разрешено печься о нашей любимой жизни.

«На фронте не думают о еде», — подумал Эн.

К концу зимы законы нормированного бытия обмякли. Просочились какие-то сверхвыдачи, покупки, соевое молоко, позднее — рынок с ботвой и кра-

пивой. Зиму лучше всего перенесли люди, которым чувство самосохранения помогало вытеснить из сознания разрушительную тему еды. С появлением возможностей пали охранительные запреты, и манящая стихия еды открылась сознанию.

Еда — в многообразных своих социальных жанрах — искони являлась предметом сублимации*. Вспомним о ее обрядовой приуроченности к праздникам и событиям, о ритуале приемов и банкетов, о значении семейного обеда в помещицьем или буржуазном быту, о неувядаемом смысле ужинов вдвоем**.

Блокадные люди не угощали друг друга. Еда перестала быть средством общения.

— Простите, что я не вовремя, — сказал как-то Икс Игреку, зайдя к нему по делу как раз в тот момент, когда Игрек жарил себе на времянке лепешки. — Я вам помешал. Еда сейчас дело интимное.

При этом у Икса было странное, бесчеловечное выражение. Да, еда стала делом интимным и жестоким.

Но человеческих дел без психологии не бывает. Утратив свои психологические качества, еда очень скоро приобрела другие. Включенная некогда в распорядок дня, она сама превратилась теперь в его распорядок; сопровождавшая события — сама стала событием, одновременно сферой социальной реализации и обогащенных вкусовых ощущений***.

Люди, привыкшие к бифштексу, к закускам, открыли теперь вкус каши, постного масла, овсяных лепешек, не говоря уже о хлебе. Фантазия принимала разные направления — в зависимости от умственного склада. Одни предавались сюрреалистическому переживанию жареного гуся или слоеных пирожков и сардинок.

* [В БР:] Человек с его всепроникающей способностью вытеснять неприятное и сублимировать приятное — сублимировал процессы, связанные с пережевыванием и перевариванием пищи. Напомню о социальных жанрах еды.

** [В БР:] Да и в нашем упрощенном довоенном быту выпивка и закуска были существеннейшим фактором дружеского или любовного общения.

*** [В БР зачеркнуто:] Люди этой зимой ели, конечно, и кошек, утверждая, впрочем, что это вкусно, и клейстер, и ремни, но дикая еда была не самая характерная для ленинградского голода как голода организованного. С той поры, как наладилось как-то снабжение Ленинграда с Большой земли (особенно по Дороге жизни), его старались снабжать самым лучшим. По соответствующим талонам ленинградцы могли брать шоколад, сливочное масло, какао, кетовую икру, хорошие мясные консервы.

Другие мечтали о том, чтобы съесть много, очень много того, что они ели сейчас. Им хотелось бесконечной протяженности тех самых вкусовых ощущений.

Ресторан с рябчиками — абстракция, а это — реальность. Но мечта хотела сделать эту реальность огромной. Мечта о количестве была не только гиперболой насыщения, но и борьбой с тоскою и страхом перед мгновенным, неумолимо преходящим существованием порции — пусть даже двойной или тройной.

Людям открылось множество новых вкусовых ощущений, но ни с чем не было связано столько открытий, как с хлебом. Эта область была особенно неизведанной, потому что в интеллигентской среде до войны многие не очень даже точно знали — почем кило черного хлеба.

Некоторыми в чистом виде владела мания хлеба. Только хлеб, хлеб наш насущный... Другие развертывали мечту о хлебе. Им хотелось, например, сидеть перед темной буханкой, отрезать от нее толстый ломоть за толстым ломтем и макать его в постное масло. А. Ф. говорил, что хочет только одного — вечно пить сладкий чай с булкой, намазанной маслом. Третьи хлебную тему варьировали. Они думали о мучной каше, сладостно залепляющей рот, об овсяной каше с ее ласковой слизью, о тяжести лапши.

Весной хлеб уже поджаривали, подсушивали. К чаю особенно хороши были толсто отрезанные корки, которые подсыхали снаружи, внутри сохраняя свежесть. Если хлеб не хватать руками со сковородки, а есть с помощью вилки и ножа — тогда получалось *блюдо*.

З. рассказал мне о том, как в блокадные времена ему случилось побывать по делу в одном привилегированном доме. Наливая ему чай, хозяйка сказала:

— Знаете что — не стесняйтесь с хлебом. У нас его больше чем хватает.

З. посмотрел на хлебницу и увидел невозможное: прежний обыкновенный хлеб, доблокадный. Неделеный, небереженный. Хлеб и булка неровными кусками вперемешку лежали среди каких-то мелких отрезков и крошек. Булка притом успела зачерстветь.

З. ел, не стесняясь и не испытывая вожделения к этому хлебу; его угнетало разочарование. Этот немереный хлеб был бы уместен во сне, а в действительности он, очевидно, требовал другой, неблокадной апперцепции.

*К весне дистрофический человек настолько оперился, что опять захотел гордиться и самоутверждаться. Одни умели добывать, распределять, готовить пищу — и гордились этим как признаком силы. Другие всего этого не умели, чем и гордились как признаком высшей душевной организации. С возобновлением рынка одни начали гордиться тем, что особенно дешево покупают ботву или крапиву, другие — тем, что тратят много денег.

* [В БР:] Мечта о количестве, не имеющем границ, была не только гиперболой насыщения, но и борьбой с тоскою и страхом перед неумолимо, беспощадно мгновенным исчезновением порции, хотя бы двойной или тройной. Еда стала не только областью наслаждения, но и областью реализации социальных ценностей — тем самым и личной ценности.

Академический паек, безвырезный обед, посылка с Большой земли уподоблялись повышению в должности, или ордену, или хвалебному отзыву в газете. Притом иерархия проявлялась здесь необычайно ясно и грубо. Союз писателей получал теперь иногда из Москвы посылки. Удивительные посылки — с шоколадом, маслом, сухарями, консервами, концентратами. Правление определяло нормы выдачи. По списку — он имелся у отвешивавшего масло кладовщика — одни писатели, входившие в писательский актив, получали кило восемьсот граммов масла, другие — кило (не входившие в актив из посылок вообще ничего не получали)*. Получившим кило восемьсот стыдно было этим гордиться, но они не могли удержаться и гордились. Для получавших кило — масло было отравлено. Многих обрадовали бы больше, скажем, пятьсот граммов, но чтобы это и было свидетельством литературных и общественных заслуг.**

Блокадный человек возвращался домой с добычей. Он нес в портфеле, в судках, в авоське — хлеб, полученный по карточке первой категории, безвырезный суп, две-три репы, которые он купил, имел возможность купить по цене, установленной спекулянтами. Ученый нес полбуханки, которые ему дали с собой за лекцию на хлебозаводе; актер бережно нес свой чемаданчик, куда после выступления ему сунули несколько кусков сахара, пьянящих, как аншлаг. Человек нес с собой свое социальное признание***.

Существенной в этом плане была разница между теми, кто жил одиноко — таких становилось все больше, потому что в каждой семье одни умирали, других отправляли на Большую землю, — и теми, у кого были иждивенцы, с их иждивенческой карточкой, не дотягивавшей до ежедневного супа.

В бытии добывающего блокадного человека значение иждивенцев было двойственным. Оно было роковым, часто смертельным, потому что добывающий делил и, деля, жил в вечном чаду грубости, раскаяния, жестокости, жалости. В то же время они — домашние — были последним этическим фактом, близлежащим символом социальности. Вот человек, уносящий добычу, чтобы поглотить ее молча в своем одиноком жилище. А вот другой, который придет домой, выложит добычу на стол, и кто-то восторженно на нее отзовется.

**** Среди собранных мною блокадных историй есть история О., одного из тех, кто изредка получал кило восемьсот граммов масла, а также сухари и концентраты. В Ленинграде застряла его сестра (она на много лет была старше). У сестры, при разных обстоятельствах, все погибли, и он вынужден был взять ее к себе — уже в необратимо дистрофическом состоянии.

О. — человек, способный к рационализации и системе. Но в блокадном быту, который он пробовал одолеть разумно направленной волей, сестра была началом упорного, сопротивляющегося беспорядка. Его раздражали ее все возрастающая

* [В БР:] Очередь же к отвешивавшему масло кладовщику была общей.

** [В ВМ и ПМ далее:] Говорят, что солдаты, вышедшие из тяжелых боев, с невольным чувством превосходства относятся к тем, кто позволил себя убить. Так, выжившие блокадники втайне презирали умерших — как слабых, как неразумных, как неимеющих заслуг.

*** [В БР:] торжество своей жизненной силы, победу над враждебным миром.

**** [В БР:] Психологическое значение иждивенцев возрастало по мере того, как возможности становились обширнее и разнообразнее.

беспольность и жертвы, которые он ей принёс и продолжал приносить. И с грубостью, удивлявшей его самого, он говорил ей об этом. Но тут же рядом существовал другой пласт сознания и в нём очевидность, что без сестры молчание было бы окончательным, невероятным. И невозможны были бы те мрачные отдыхи и забавы, которые он за собой оставил. Процессы приготовления и поглощения пищи уже не были тайными манипуляциями маньяка; присутствие второго лица сообщало им оттенок человечности. Он смотрел на женщину, спотыкавшуюся вокруг времянки, с руками маленькими, цепкими и черными, совсем не похожими на прежние, — и говорил грубо, уже потому только, что грубость стала привычкой:

— Сейчас будем есть. Поставь тарелки. Вытри, чтобы сесть за стол можно было по-человечески. Убери это свинство...

Дистрофическая сестра была объективирующей средой, аудиторией, оценивающей успех — концентраты и сухари, полученные согласно довольно высокому положению в иерархии.

Такова блокадная история О., рассказ о жестокости и о жестокости...*

Существовали две основные системы: у одних еда была рассчитана на весь день, другие съедали сразу все, что возможно съесть. Первые принимали меры против самих себя. Они знали, что лучше всего защищена закрытая еда — консервы, неочищенная селедка, соевая колбаса, пока у нее цела шкурка.** Вторые утверждали, что лучше быть иногда сытым, чем всегда полуголодным. Первые гордились выдержкой и презирали вторых за распушенность. Вторые гордились удалством и дерзанием и относились к первым, как бурш относится к филистеру.

В пору большого голода вопрос был прост: съедает ли человек свои сто двадцать пять сразу или в два или три приема. В период облегчения вопросы умножились***. Образовались разновидности еды с разным к ним эмоциональным отношением.

Существовала нормированная еда, почти бесплатная и оплачивавшаяся драгоценными талонами. Ее психологическим сопровождением**** была жесткость, непререкаемость границ. Поэтому она возбуждала печаль. Существовали дополнительные выдачи: соя, соевое молоко, знаменитые шроты (отходы сои), приводившие в изумление тех, кто попадал в Ленинград с Большой земли или с фронта, кости без мяса (мясо уже съели другие), из которых варили студень. Это была оптимистическая еда, подарок, чистый выигрыш, и поглощать ее можно было мгновенно, с чувством правоты.

Существовала, наконец, еда, за которую платили бешеные деньги (здесь тоже имелись свои разновидности —

* [В ЛМ и ВМ:] Но к блокадной истории О. я еще вернусь.

К рассказу о жестокости и о жестокости.

** [В БР] далее вместо двух следующих фраз: [Если в семье имелись, скажем, три хлебные карточки, брали с утра только по одной. Очень эффективная мера, основанная на том, что о невыкупленном хлебе можно было не думать (разве что изредка вспоминать, как об утешительной перспективе), тогда как наличный хлеб необратимо притягивал мысль и требовал вытеснения, которое утомляло. Вторые были склонны возводить неводержанность в принцип, утверждая, что лучше быть иногда сытым, чем всегда полуголодным. Первые гордились своей выдержкой и разумностью и презирали вторых за распушенность и мужиков отношение к еде. Вторые же гордились именно этим как выражением душевной широты, некоторого удалства и дерзания. Они презирали первых как богемный прожигатель жизни презирал сквалыгу рантье. Так обернулся вечный антагонизм между буршем и филистером.]

*** [В БР:] Снова стал действовать фактор денег, но действовал он странным, сдвинутым образом.

**** [В БР:] (вроде музыкального сопровождения)

рынок и тайная спекуляция). Отношение к ней было болезненным, заторможенным. Логически было, собственно, безразлично — резать ли талоны, которых все равно не хватит до конца месяца, или съесть крупу, купленную из расчета шестьсот рублей кило. Но чувство и воображение не могли отделаться от шестисот рублей.* И бесшабашно истребляющий выдачи и талоны ужасно боится перехватить, отмеривая себе разовую порцию купленной крупы.

На черном рынке за крупу платили шестьсот–семьсот рублей, в столовой каша стоила пятнадцать копеек. Самое же странное начиналось, когда, возвращаясь из магазина, человек вдруг понимал, что несет хлеба на восемьсот рублей и масла на тысячу. Что стоит отказаться от этого масла, и самые недоступные вещи с абсурдной легкостью станут его достоянием.

Стоимость денег становилась теперь переменной — не в абстрактном процессе инфляции, но осязаемо, как при игре в карты (особенно ночью и фишками). Пока длится игра, деньги невесомы, безотносительная их значимость неприятным образом возвращается к ним поутру.

Еда нормированная, безвырезная, покупаемая — чтобы все это согласовать, требовалась рационализаторская работа. Завтрак, например, в основном строился на хлебе, потому что больше всего его бывало с утра. В дни изобилия талонов за обедом можно было обойтись без хлеба, но для этого нужно успеть попасть и во вторую столовую, где дадут с вырезом еще две каши. Если талоны на исходе, то сведенный к ежедневной норме обед лучше взять домой и подмешать к каше зелень — значит, предварительно требовалось сходить за ботвой на рынок. До вечера хлеб не сохранялся; поэтому крупа или мука, купленные у спекулянта, чаще всего предназначались на ужин.**

Неудачи переживались трудно. Невозможно было вернуться к взгляду на еду как на принадлежность мгновения, вместе с мгновением исчезающую. Теперь для всего этого существовала связь — человеческий организм, жизнь организма. Потерянный талон, упущенная безвырезная выдача — их нельзя было восполнить возможностями завтрашнего дня. Теперь это было незаменимой утратой (утраченная частица должна была стать и не стала частицей организма), и забывалась она лишь в силу легкомыслия человека, забывающего любые утраты.

Рационализацией особенно увлекались интеллектуалы, заполнявшие новым материалом пустующий умственный аппарат. Т, чистокровный ученый, принципиально не умевший налить себе стакан чаю, теперь часами сидел, погруженный в расчет и распределение талонов. Он вкладывал в это дело свой сильный логический ум. Вообще в период большого голода лучшими организаторами процессов насыщения оказались вовсе не домохозяйки (хозяйство они опять взяли в свои руки весной), а самые

* [В БР вместо двух следующих фраз:] И человек, неводержанно поглощавший выдачи и талоны, — тщательно мерил чашкой эту крупу — якобы полкило хватало хоть на три раза. Образовались странные и сбивающие с толку соотношения. На черном рынке за крупу платили 600–700 рублей, а в столовой каша стоила 15 копеек. Если бы она совсем ничего не стоила — это было бы проще. Но с толку сбивали именно эти 15 копеек, раскрывая символическую условность денежных знаков. Бешеная цена — это было понятнее и естественнее.

** [В БР далее:] Это важно было психологически, потому что мысль о голодном вечере / отходе ко сну неотвязно отравляла день.

[В БР и ПМ далее:] В конце месяца не хватало крупных талонов, но часто зато объявляли другие выдачи. В начале месяца, до 5-го числа, не было выдач, но, имея свежие карточки, можно было нажмать на вторую столовую.

[В БР далее:] Еда разных категорий, денежные возможности, распределение дня — удачная комбинация приносила победоносное чувство.

далекие от хозяйства люди, особенно мужчины, свободные от навыков, непригодных для блокадного быта.* Особенно те самые интеллигенты, которые всю жизнь боялись притронуться к венику или кастрюле, считая, что это поставит под сомнение их мужские качества. Тогда как на самом деле чем мужественнее мужчина, тем естественнее и проще он делает немужские дела (солдат должен уметь сварить кашу и пришить себе пуговицу), они не задевают в нем никаких комплексов.

Блокадная мания кулинарии овладела самыми неподходящими людьми. Однажды мне пришлось наблюдать, как мальчик лет шестнадцати (возраст наибольшего презрения к бабьим делам), нахмуренный, закусив губу, пек овсяные лепешки. Тут же вертелась его мать, приговаривая: «Дай я... Ты же не умеешь...» Но он молча, грубо отталкивал ее от времянки.

Чем скуднее был материал, тем больше это походило на манию. Маниакальные действия исходили все из единой предпосылки: съесть просто так — это слишком просто, слишком бесследно. Блокадная кулинария — подобно искусству — сообщала вещам ощутимость. Прежде всего, каждый продукт должен был перестать быть самим собой. Люди делали из хлеба кашу и из каши хлеб; из зелени делали лепешки, из селедки — котлеты.** Элементарные материалы претворялись в блюдо. Мотивировались кулинарные затеи тем, что так сытнее или вкуснее. А дело было не в этом, но в наслаждении от возни, в обогащении, в торможении и растягивании процесса...***

Иногда выдавали табак (курение хорошо заглушало голод). Курили все самокрутку. Здесь действовал тот же принцип приятно отвлекающего торможения. Насыпать табачное крошево в бумажку, свернуть, заслонить, сунуть в мундштук — это и предвкушение, и проникновенная возня с драгоценным веществом. В папиросах же, когда они появились, было, напротив того, что-то разочаровывающее и плоское — слишком просто, слишком сразу.

Голодное нетерпение, которое гнало человека домой, вынуждало его, не снимая пальто и галош, бросаться растапливать печку — оно как-то утихало, когда начиналась самая возня с материалом пищи. В эти минуты человек меньше, чем когда бы то ни было, думал о своем голоде; он был отвлечен страстным интересом к происходящему.

Жена профессора П. говорила робко:

— Вот твои пирожки разваливаются. И зачем из нее пирожки? — она имела в виду пшеничную кашу. — Съедем ее так... Даже холодную хорошо...

А он в отчаянии кричал:

— Что ты в этом понимаешь? Что ты понимаешь? Сейчас же подбрасывай щепки!

Стряпня литераторов и доцентов сопровождалась чрезвычайным беспорядком, проистекавшим из торопливости и дилетантизма. Обжигая лицо, дилетант наклоняется к раскрытой дверце времянки, чтобы подбросить полешко. Другой рукой

* [В БР далее:] Они вносили в нее на другом опыте выростанные универсальные методы. К весне хозяйки опять взяли хозяйство в свои руки.

** [В БР далее:] из сырых котлет (разминая их с лапшой) какой-то род капусты.

*** [В БР далее:] чтобы не слишком просто, не слишком быстро — вот в чем было дело.

он помешивает в кастрюле. А кастрюлю нужно уже передвинуть и поставить на ее место чайник, потому что как следует разогревается только то, что стоит посредине, особенно там, где печка уже прогорела. Одновременно надо следить за подсушивающимся хлебом, чтобы вместо темно-золотистой корки он не покрылся черными пятнами гари. Руки закопчены и промаслены — это даже нравится дилетанту.

Вокруг нарастает хаос. Почему-то уже три ложки, и в руки сама идет то одна, то другая. В пустой сковородке на полу очутилась крышка от кастрюли. На трубе времянки, на спинке стула, на корзинке со щепками бесформенно повисают тряпки. Ему кажется, что всякий раз он берет нужную вещь и обращается с ней должным образом. Но вещи уплывают в хаос. Впрочем, это не враждебный хаос, пахнущий едой и теплом.

Интеллектуальные кулинары, при всей своей изобретательности, портили материал именно потому, что приготовляемую еду они никак не могли оставить в покое. Они поминутно приподнимали крышку, что-то помешивали, переворачивали. Были блюда с этой точки зрения скучные и интересные. Суп, например, был очень скучен. Он долго, нудно закипал, и с ним, собственно, ничего больше не происходило. Увлекательны же были наглядные изменения. Каша набухала, росла (чудесно, что ее становилось больше), потом начинала посапывать и дышать под вьющимся над ней легким паром. Клецки падали с ложки в закипающую воду и в ней оживали, делали пируэты — это даже походило на фокус. Лепешки могли безобразно развалиться, а могли сразу отлиться в обтекаемую форму.

*Бронзового цвета жидкое ржаное тесто, приготовленное для клецок или оладий, сладостно было растирать ложкой и хотелось его лизнуть, как шоколадный крем.

Интеллектуальный кулинар вдруг замирал среди своих манипуляций. Промерцала и уплыла в хаос мысль о том, что все это на что-то отвратительно похоже. Кажется, на любовь... Еще Ларошфку утверждал, что любовь — это потребность в окольном достижении цели⁶.

Эн — один из интеллектуальных кулинаров блокады — приготовился, наконец, позавтракать. У стола, придвинутого к времянке, он внимательно разрезает ломоть хлеба на маленькие квадраты.

Их предстоит опустить в кипящую воду и раздавить ложкой. Мальчишкой он на даче смотрел иногда, как играют девочки. Они играли в обед и готовили лепешки из травы и пирожки из песка. Он презрительно смотрел на бабьи игры, но ему было скучно, и постепенно он придвигался все ближе и с равнодушным видом принимал участие. Ему как мужчине поручали тяжелую работу — перочинным ножом делать из сучьев дрова или

в ведерке носить из ручья воду. Игра затягивала, и он уже вместе с девочками сосредоточенно превращал песок в тесто и траву в начинку. Примерно то самое, чем он занимается сейчас.

День располагался теперь вокруг трех средоточий: завтрак, обед, ужин. К первому из них все было устремлено с пяти-шести утра, все, что происходило дома и в магазине. И вот в момент кульми-

* [В БР:] К материалам еды появилось эстетическое и чувственное отношение. Осязательное отношение. Так переживалась простейшая пшеничная каша или

нации каждый раз что-то срывалось*. После всего, что Эн с минуты пробуждения делал для этого завтрака, после того как с некоторой торжественностью он садился за стол, предварительно обтерев его тряпкой, он съедал все рассеянно и быстро, хотя знал, что теперь еда должна быть осознанной и ощутимой. Он хотел и не мог сказать мгновению: «Verweile doch! Du bist so schön!»#.

Совсем как в прошлой жизни, когда мгновения, не останавливаясь, снимали все, что было чувственным и умственным опытом, страданием и счастьем, усилием и жертвой. Завтракая, Эн вспоминал блокадную теорию наслаждения едой. Нет, уж сегодня не стоит, когда все почти съедено... Попробую в следующий раз...

Но и в следующий раз невозможно было остановить мгновение.

Зимой желание есть — это было как болезнь; сытость — прекращение болезненного состояния. Поэтому возобновление желания есть — через несколько часов или поутру — переживалось с каким-то удивлением и огорчением. Как рецидив температуры или вернувшаяся боль при глотании, когда считалось, что ангина прошла.

Теперь люди реже испытывают голод, но постоянно стремятся его предотвратить. Именно потому они реже его испытывают. Реже даже, чем в доблокадные времена, когда он казался естественным и даже приятным — в ожидании обеда.

Впрочем, теперь блокадные люди иногда уже говорят (особенно перед едой): «Я зверски хочу есть, я адски голоден». Это фразы из мирной жизни. Зимой так не говорили. Это показалось бы невозможной, бесстыдной откровенностью желания. Возвращение этих фраз — признак выздоровления. Но к ним еще не привыкли. Всякий раз они еще удивляют слушающего и говорящего. Как это можно — так, по-старому просто произносить эти ужасные слова. Означающие страдание и отчаяние, а вовсе не аппетит перед обедом.

Сытый не разумеет голодного, в том числе самого себя. Отъедаясь, человек постепенно теряет понимание себя — такого, каким он был в месяцы большого голода. Блокадные люди все прочнее забывали свои ощущения, но они вспоминали факты.** На свет правил поведения, уже тяготеющих к норме, факты медленно выползали из помутившейся памяти.

... Так ей хотелось конфет. Зачем я съел эту конфету? Можно было не съесть эту конфету. И все было бы хоть немного лучше...

Это блокадный человек думает о жене, матери, чья смерть сделала съеденную конфету необратимой.*** Рассеивается

* [В БР вместо начала абзаца:] Стихия еды владела днем человека, направляла его ход и располагала его вокруг трех средоточий — завтрак, обед, ужин. Каждому из них присущи были особые психологические качества. Завтрак был первым этапом, и к нему устремлялось все предыдущее — пробуждение, домашние дела, стояние в магазине. Завтрак обычно проходил на подъеме. Это была первая еда и еще представляла всякая другая. Притом завтрак — это была единственная еда с относительным обилием хлеба. Это придавало ему полноценность, которой уже будни лишены обед и ужин. Все готово к последнему акту, к которому устремлены все предыдущие. И каждый раз здесь, на кульминационной точке — срыв. Каковы бы ни были его успехи в плане добывания и приготовления пищи, в области ее потребления Эн решительно ничему не научился. Все теории замедленно смакующего процесса практически были для него недействительны. # Остановись! Ты так прекрасно! (нем, Гёте, «Фауст»)
** [В БР далее:] доселе погребенные в хаос непрерывных возникающих вождений.
*** [В БР далее:] Но он уже потерял тогдашнюю связь переживаний, совсем не похожую на простую формулу: я съел конфету, которую надо было уступить. Но нельзя помешать человеческим нормам занять свои места

туман дистрофии, и отчужденный от самого себя человек лицом к лицу встречает предметы своего стыда и раскаяния.

Для переживших блокаду раскаяние было так же неизбежно, как дистрофические изменения организма. Притом тяжелая его разновидность — *непонимающее* раскаяние. Человек помнит факт и не может восстановить переживание; переживание куска хлеба, конфеты, побуждавшее его к жестокому, к бесчестному, к унижающим поступкам.

...А крик из-за этих пшеничных котлет... сгоревших... Крик и отчаяние, до слез...

Быть может, он еще будет сидеть в ресторане, после обеда, помрачневший от слишком обильной еды, которая наводит уныние и отбивает охоту работать. Быть может, в ожидании официанта со счетом он случайно уставится в хлебницу с темными и белыми ломтиками. И этот почти не тронутый хлеб сведет вдруг осоловелое сознание судорогой воспоминаний.

Жалость — разрушительнейшая из страстей, и, в отличие от любви и от злобы, она не проходит.

Толстой (в «Воспоминаниях детства») писал о тетеньке Ергольской, какая она была хорошая и что он без жестокого укора совести не может вспомнить, как он иногда (будучи очень стеснен) отказывал ей в деньгах на сласти, которые она любила держать у себя, чтобы угощать его же. Она, бывало, грустно вздохнет. «И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости...»

Уцелевшие дистрофики много бы дали за эти помещицьи укоры.

Круг — блокадная символика замкнутого в себе сознания. Как его прорвать? Люди бегут по кругу и не могут добежать до реальности. Им кажется, что они воюют, но это неправда — воюют те, кто на фронте. Им кажется, что они не воюют, а только питаются, но и это неправда, потому что они делают то, что нужно делать в этом воюющем городе, чтобы город не умер.

Так бывает с людьми, если действия их не поступок, а только реакция. Как разомкнуть круг поступком? Поступок — всегда признание общих связей (без которых можно только мычать), даже вопреки человеку для него обязательных, хотя эгоцентрики твердят и будут и впредь твердить (в мировом масштабе) о самообманах и неконтактности и об абсурде.

Пишущие, хочешь не хочешь, вступают в разговор с вневременным. Потому что написавшие умирают, а написанное, не спросив их, остается. Может быть, замкнутому* сознанию проще было бы обойтись без посмертного социального существования со всеми его принудительными благами. Может быть, втайне оно предпочло бы уничтожиться совсем, со всем своим содержимым. Но написавшие умирают, а написанное остается. Написать о круге — прорвать круг. Как-никак поступок. В бездне потерянного времени — найденное.

* [В ВМ:] эгоистическому

** [Датировка текста появляется при публикации
в «Неве».]

1942–1962–1983**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первая часть «Записок блокадного человека» в 1984 году была напечатана в журнале «Нева», а потом в моих книгах «Литература в поисках реальности» и «Человек за письменным столом».

Во второй части «Записок блокадного человека» перед автором стояла задача раскрыть механизм повседневного разговора, «житейщины», как говорил Пастернак.

Но это повседневность в экстремальных условиях, со страшным подтекстом ежеминутно грозящей гибели. И люди, праздно болтающие⁷, хвастающиеся, сплетничающие... они же безотказно делают дело войны, которая их призвала*.

Сборы

Утренняя домашняя часть дня закончена. Предстоит вступить в область социальных отношений. В период передышки она предъявляет уже к человеку известные требования благопристойности. Из хаоса тела, из хаоса вещей выделяются и обрабатываются некоторые участки. Эн перед выходом наносит на себя последние штрихи социальности. Грязная куртка (когда-то она была пижамой, но к ее функциям давно уже не подходит это слово) заменяется пиджаком. Завязывается галстук. Галстук висится над хаосом, загнанным в глубину. Перед зеркалом Эн приглаживает волосы щеткой. Приятны автоматические жесты, уцелевшие от прежней жизни. Узкий конец галстука он оттягивает вниз, двумя пальцами и движением шеи поправляя узел.

Остается собрать тару. Как все в городе, он ходит с тарой — на случай выдач. Как все в городе, он боится потерять карточки и проверяет их неоднократно. В начале месяца карточки — глянцевиные, плотные, с оборотной стороной, похожей на рубашку свежей карточной колоды, успокоительные своей непечатостью. К концу месяца карточки теряют свой гербовый хруст и блеск. Захватанная бумага становится тусклой и тонкой. Теперь это куцый, замысловатый и криво обстриженный кусочек цветной бумаги; совсем не похожий на нормальный документ и потому обнаруживающий свою истинную сущность. Ясно теперь, что это страшная виза на жизнь и смерть человека.

Бумажник с карточками, документами, деньгами укладывается в один кармашек портфеля, в другой — металлическая коробочка с табаком, мундштуком и курительной бумагой. Сумка с банками разного формата и свернутой в клубок авоськой пойдет через плечо. Этот участок, выделенный из хаоса, неплохо у него организован.

Учреждение

Выход из дома на работу имеет свою прелесть. Несмотря на маленькие победы и достижения, дом — это все же хаос и изоляция. И с утра, пока усталость не одолела, хочется вырваться в мир.

* [Предисловие написано для публикации в *ПО*.]

Мир ближайшим образом представлен Учреждением. К учреждению Эн относится хорошо. Это литературно-драматическая редакция Комитета радиовещания. Комитет имеет важное оборонное значение, поэтому даже зимой там сохранялся электрический свет. В ленинградских сумерках, за затемненными окнами можно было повернуть выключатель. И каждый раз это было как удавшийся фокус. Рождалась иллюзия безопасности. Она всецело противоречила действительному положению вещей, потому что учреждение было одной из целей немецких бомбежек. Но иллюзия безопасности рождалась от электрического света, от людей и отвлекающих занятий.

При входе можно, не глядя, предъявить пропуск охраннику. Он терпеливо всем говорит: «Пожалуйста» — очевидно, выполняя инструкцию. Здесь, с пропуска, начинается переживание своей социальной ответственности. Так уж сложилось, что в прежней жизни Эн всегда держался или его держали на отлете. Но вот в трудный час многие из державших его на отлете — разбежались, а он остался и достиг социальной применимости.

Эн смутно знает, что все это только поверхность, что час пройдет и все — и он в том числе — займут свои места. Но мало ли что человек знает... Человек живет на разных уровнях — переживает высшие ценности, но может одновременно вкушать и низшие радости.

Уж Эн-то понимал, что стоят его бюрократические успехи, но в символике служебных жестов он проигрывал свою социальную применимость. Конечно, он не на фронте, но он не виноват — его забраковала комиссия. И он остался. И он не только голодал, обедал, но он работал.

«Со всеми сообща и заодно с правопорядком»* — какой соблазн. Когда у человека складывается «не как у людей», его неотступно мучит беспокойство. А что если это совсем не свидетельство высшей предназначенности, а, напротив того, он не дотянул. Для того чтобы быть выше чего-нибудь, надо быть не ниже этого самого, а это требует проверки и доказательств — самому себе. И на душевно здорового человека успокоительно действует, когда он измерен общей мерой.

Успокоительное это чувство Эн испытывает, поднимаясь, с усилием, как и все теперь (тоже общая мерка), по лестнице многоэтажного, сложного, со сложным взаимодействием отделов, учреждения. Навстречу спускаются люди из разных этажей и отделов, с которыми он уже связан служебными функциями (согласовывал и уточнял). Люди даже совсем других, технических, специальностей знают его как звено, нужное в каком-то своем месте.

На площадке его окликает режиссер В.: «Дорогуша, здравствуйте. Как ваше здоровье? Скажите». В. жмет руку и вглядывается в лицо так сочувственно, как если бы он спутал Эна с кем-то другим, кто только что болел. Но оказывается, В. не спутал, потому что он спрашивает:

— Как, всё там же питаетесь, у писателей?

— Там же. Как же.

— Ну как? Говорят, там лучше, чем в Северном⁹, где наши все.

— Да не знаю. Некоторые говорят, что в Северном лучше. Ничего, в общем. В последнее время стало немного лучше. Как иногда... У нас опять завал с машинистками. Имейте в виду. Так что вашим опять придется читать по рукописи.

— Как нехорошо...

— Знаю, что плохо. Но завал полный. Я как раз все сдаю вовремя. Там для вас материал у Анны Михайловны.

— Я еще зайду. Я, знаете, хочу на это попробовать новую актрису. Это ведь можно женщине — как вы думаете? В общем, я еще зайду.

В отделе секретарша сразу встречает словами:

— Вам опять Б. звонил. Он так и рвется.

— Ну да, я знаю это дело. Но я на эту неделю никак не могу его запланировать. Мне и так не выбраться из остатков.

— Подпишите, пожалуйста, эти две, — говорит секретарша, — я тогда их отправлю.

Служебный стол Эна — территория, занятая в мире социальной применимости. Ничуть не похожий на все письменные столы, какие были в его жизни. На столе казенная пепельница, симметричный с двумя чернильницами приборчик и ассортимент плохих перьев; рукопись со скрепкой в углу и надписями разными почерками, разных оттенков карандашами и чернилами.

Здесь и начиналась серия служебных жестов: пошутить с товарищами, договориться с секретарем, передать рукопись машинистке, пройти в кабинет к начальнику, позвонить по внутреннему телефону в другой, что-то перепутавший, отдел; неторопливо свернув самокрутку, перелистать на столе бумагу в картонной папке.

Это все были действия совсем другого качества, нежели те, которые утром он совершал дома. Когда он выносил нечистоты, колол дрова, тащил по лестнице ведро с водой — это была борьба за жизнь; ее сопровождало сознание, что невыполнение любого из этих действий — невозможно, непосредственно губительно. Здешние действия и дела, он знал, были нужны аппарату войны, но выполнить их мог бы и кто-нибудь другой; они отчуждались от совершавшего действия, уплывали куда-то, чтобы влиться во внеположное ему общее. Поэтому, после давящей пещерности домашних дел, служебные жесты приносили разрядку — в переживании формы, условности, хотя условность переживали под бомбежками и обстрелами голодные или полуголодные люди.

Своего рода отдых эти служебные действия приносили и в качестве автоматической умственной работы, потому что физическая работа оставляет интеллектуальному человеку возможности мысли и тревожит его совесть невыполнением этих возможностей. Но автоматическая умственная работа, простейшим образом упражняя мыслительный механизм, свидетельствует человеку о том, что его душевная жизнь еще не остановилась. Она успокаивает совесть классическим доводом отсутствия времени. Она заполняет пустоту, вместе с тем выключая из заглохшего мозга подлинные умственные процессы.

Эн сидел за рабочим столом среди многих людей, сидевших вокруг, входивших и проходивших. Война, для них самих неожиданно, привела их сюда и скрестила в учреждении, в этой редакции, нуждавшейся в актерах, режиссерах, секретаршах, литераторах, машинистках, начальниках.

В самом общем, типовом своем качестве здесь представлен был тот полужонтовской человек, который при некотором незначительном изменении обстоятельств превращался то в фронтового, то в тылового.*

Пока что этот человек, колеблемый ветрами мировых крушений, живет полужонтовской, странной ленинградской жизнью.**

Критик М. обеспокоен своей передачей о южном фронте: «Опять материал залеживается по две недели. Пропадает всякая охота для вас работать...» А материал этот — смерть, смерть, смерть; в том числе смерть хорошо знакомого человека — Евгения Петрова¹⁰.

Х. К., та пишет о героических буднях военных заводов. Опустив трубку, после флиртового телефонного разговора, она говорит в про странство редакционной комнаты: «Приятно иметь таких героев. Инженер, очень интересный мужчина. Не говоря уже о том, что у него чудные папиросы».

О. Б. — певец блокады — в один из напряженнейших дней ленинградского фронта оживленно рассказывает анекдотическую историю с конвертом из суда. Подводная тема курьезного рассказа — как читатели (да еще работники суда) оценили ее произведение. А произведение: это смерть, смерть — трагедия Ленинграда.

Те же страсти, желания, интересы, даже мельчайшие, предстают в пограничных формах, отлитых голодом, обстрелами, тяжелым дыханием фронта.

Война свела людей в этой комнате, и они разыгрывают здесь вечное действие человеческого разговора. Со всеми ходами самолюбия и эгоцентризма. С неизбывной для человека потребностью в объективации своей личности, своих ценностей, возможностей, интересов.

У стола разговаривают автор передачи, писательница К.,*** и редактор. Вбегает старший редактор**** — до войны человек вполне штатский. Сейчас он в полувоенном виде и в состоянии непрерывной административной истерики. Пользуется случаем, который в мирной жизни едва ли мог ему представиться. Старший редактор: Я не вижу плана вещи. Где план передачи? Где план всей передачи? Тысячу двести восемьдесят пять раз я говорил — нужен план. Тысячу упреков я слышу, что я бюрократ и формалист. Нельзя блуждать в лесу. Где, кто, что — ничего не понятно. План пе-ре-да-чи. Вам понятно? Ах, вам понятно! — вот вам автор — берите, делайте, кладите мне на стол готовую передачу.

Редактор: Если вы настаиваете...

* [В МЧII далее:] Этого человека определяло противоречие между усвоенной им ортодоксальной системой оценок и его собственным изолированно эгоистическим жизнеощущением, одновременно — между его жизнеощущением и теми предельно тотальными условиями, в которые он поставлен. Отсюда колеблющееся поведение. Он не прочь уклониться от жертвы, от тяготы, но он принимает ситуацию, если не удалось уклониться. Он поступает согласно ситуации, потому что так поступают все, а поведение всех регулирует гигантский механизм. И тогда на поверхность сознания поднимаются формулы правильности, необходимости с ним и со всеми происходящего.

** [В МЧII далее:] Он настойчиво вносит в нее свое, если только не стерт дистрофией. А здесь все ведь собрались не самые голодные люди.

*** [В ЧН:] Кор.

**** [В МЧII здесь и везде:]

Гр., Грв., Гурв.

Ст. редактор: Не только настаиваю, но ставлю на вид — впредь никаких передач без плана. Хватит.

Автор: Там тоже было много интересного о нем рассказано, чего нельзя включить, к сожалению. Самые пикантные детали.

Ст. редактор: Детали — не столько пикантные, сколько трагические.

Автор: Но представьте себе, что он говорил, что у него было лучше, чем тут, в Ленинграде.

Ст. редактор: У вас та композиция не вышла. Где другая?

Редактор: По-моему, именно та композиция, которая была. У нас есть ведущий.

Ст. редактор: Вы довольны, так не будем терять времени. Дело обстоит ясно. Вы все записали... Вы автору этого не дали. Вы абсолютно беззаботны. Вы говорите слова, которые ни мне, ни К. ничего не говорят. Ведущий — кто ведущий, где ведущий?

Редактор: Позвольте, вы кончили говорить?..

Ст. редактор: Нет, не кончил. Абсолютное доказательство вашей безответственности — это то, что здесь получилось. Надо было это сделать вместе со мной, с К., надо было это сделать одному — как угодно. Но чтобы была композиция. Ведущий — это ерунда, это может быть, может не быть. Какова тема этой встречи? Что, вы серьезно думаете, что можно объявить <за> здорово живешь, — мы сегодня решили говорить о воспитании характера. Это не план, это перечисление того, что передается. А план — это замысел.

Редактор: Вам не ясна передача?

Ст. редактор: Нет.

Редактор: Не знаю, мне ясно...

Ст. редактор: Я вам сказал, если вам ясно, то сделайте ее. Мне — не ясно. Мне непонятно, как тема этой передачи развивается. Мне нужно понять, увидеть, как эта тема будет рассказана, как она растет, как она развивается. Во-вторых — какова форма. Вам была предложена и с вами была согласована четкая и ясная форма. Этой формы нет. Какая была композиция — ответьте на мой вопрос.

— Все, что мы записали с вами...

— У вас все записано с моих слов? Композиция? Посмотрим, что у вас записано... Была или не была композиция роли ведущего? Была или не была композиция разговора у костра, после которого пробираются раненые... Была или не была? Покажите, что у вас записано.

Автор: Почему в одном случае сам Орлов, в другом — другой ведущий? Мы сейчас в положении, когда надо спасти положение вещей аварийно. Мне кажется, композиция — это все-таки наиболее легкая вещь, если гонится ее материал. Так что мне бы как раз хотелось знать — насколько здесь ясен образ и какие здесь будут замечания. Ясен ли он, или нужно еще кое-что дополнить. А композиция — тоже важно, но композицию можно осилить. А как насчет стихов?

— Хорошо, вы кончите? Вы кончайте, потому что тогда я буду говорить. Это чтецы, все это чтецы. Так мы с вами условились. Это будет показано Гольдину. Я уверен, что он ее одобрит. Здесь идет от старого производственника. Здесь композиция, цель — есть, тема здесь есть. И мы об этом самом деле говорили. В чем заключается дело — в том, что мы показываем, как изменился характер молодежи. Мы показываем, как они сами стали воспитателями. Как они стали настоящими людьми. Показываем самого молодого, мальчишку, который доказывает, что комсомольцы, молодежь сама может стать воспитателями. Мальчишка воспитывает старуху — разительный пример. Это дается на разных людях, на разных примерах, на разных районах города...

В другом углу рабочей комнаты между двумя штатными редакторами тянется разговор — вялая смесь всех начал — женского, служебного, блокадного.

Одна из собеседниц — П.В.*, ламентирующая красавица. Всегда была такой, в лучшие времена: скучающей, чем-то заранее обиженной.**

Вторая собеседница, Н.Р.***, — энергичная женщина с надрывом. Биография пестрая. Когда-то работала и на заводе. Все умеет. Этим гордится, но гордится и надрывом.

П.В. ведет фиктивный служебный разговор, то есть с фиктивной коммуникацией. Истинное его назначение — заполнить время, отвлечься от тоски. Есть здесь и подводная тема: хотя ее и считают малопригодной к работе, но она все же занимается работой и имеет суждение о материале. Свое дело все-таки понимаю, но, в сущности, наплевать — такова автоконцепция.

— Нина****, как вы думаете, какой повтор сделать? Н.А.***** говорит, что нужен повтор. Есть «Васька с Ужовки»¹¹, но «Васька» маленький.

— На какой день повтор?

— На вторник. Или, может быть, взять эту маму.

— Об чем там разговор?

— Там разговор о том, что командир один, у него была мама.

Если пустить ее с этой пластинкой. Только стоит ли с пластинкой, она пошловатая. Ларина рассказ лучше. Только там отступают они.

И тогда-то я правила. Скользко это... До чего водку хочется пить, Нина, если бы вы знали. Вчера я пришла к Ольге, они до меня вылакали целый литр. Так было обидно. Я пришла как раз после.

— А ваша где?

— С мамой выпили давно. Так, без особого смысла. С чаем.

У меня было плохое настроение. Тогда как раз были мои трагические дни.

— У меня стоит целая бутылка моя, и мне пить не хочется.

— Потому что вы ее собираетесь продавать, потому вам и не хочется. Жизнь очень противная, однообразная. Особенно когда вам говорят, что нужно ждать со дня на день...

* [В МЧШ здесь и далее:] Г.Б., Г Бт., Бт.

** [В МЧШ далее.] Она дочь известного в свое время издателя Училась в университете и, как полагается, занималась научной работой.

Была неудачно влюблена в своего руководителя, блестящего молодого профессора.

*** [В МЧШ здесь и везде:] Н.П.

**** [В МЧШ:] Надя

***** [В МЧШ:] Ходза

— Об этом столько говорят...

С водкой в разговор входит действительно интересная тема — собственного душевного состояния. Собеседница дважды перебивает рассказ об этом практическим блокадным вопросом «а ваша где?» (проблема распределения еды), попыткой рассказать о *своем* отношении к водке. Но П.В. настойчиво все возвращает в высший план автопсихологических признаний.

Ее зовут к телефону.

— Здравствуйте, Вера. Как живете? Ничего, настроение у меня эти дни ужасное. Просто исключительно плохое. Спасибо, Верочка, спасибо, но в таком настроении лучше уж никуда не ходить. Нет, что же я буду на вас наводить...

Спасибо, как-нибудь...

Возобновляется разговор с Н.Р.

— Эта женщина от Колесникова, так что не ждите ничего хорошего.

— Что такое Колесников?

— Колесников — это заместитель, который ведает всякими трудработами и тому подобное.

— Я могу вам даже сказать, в чем дело. Это бумажка на заготовку дров.

— Где же вы будете заготавливать?

— Мы уже работали на Охте.

— Ну и как?

— Очень тяжело. Очень тяжелая работа.

— Зато получите два кубометра.

— Ну, в это я никак не верю. Это ведь для учреждения. Потом и нам скажут, что это для учреждения.

— Но вы должны скандалить. Это не шутки — два кубометра. Есть постановление.

— Одно дело, что говорится официально, а другое — что на самом деле. Официально нас должны были переселять с пятого этажа. И никто нас не собирается переселять.

— Я, признаться, в этом переселении не вижу большого блага.

— Я вижу то, что мы с мамой умрем на пятом этаже.

— А в третьем?

— В третьем квартиры должны уплотняться, и будут люди, которые будут топить.

— Но этих людей никто отапливать не будет. Они точно так же, как вы, должны добывать дрова.

— Этого я не знаю. Я знаю, что мы умрем. Вдвоем — на четыре комнаты. В прошлом году я жила на кухне, а теперь я не смогу жить на кухне. Там все выбито.

Большая редакционная комната все больше наполняется людьми и перебоями общего петляющего разговора.*

— Знаете, не тогда даже, когда было сто двадцать пять грамм, а теперь, когда гораздо больше возможностей, — все время об этом думаешь. Я ловлю себя на этом. Стараюсь думать о чем-нибудь более возвышенном. Но это не получается.

— Я была на рынке. Я ничего не купила, я только смотрела.

— Смотреть приятно. Зелень такая красивая, свежая в этом году.

— Чтобы купить по-настоящему, нужно пятьдесят рублей в день.

— Да, видно, очень урожайный год. Черника на рынке так ведрами и стоит.

— Ох, голова смертельно болит.

— А вы прилягте и не курите.

— А все равно. Вообще я совершенно развинтилась, абсолютно расхворалась.

— Где Катя, вы ее вчера не видели?

**По телефону:

— Иван Иванович! Когда же вы вернулись сюда? Надо увидеться. Ну еще бы... Надо столько порассказать... Сегодня... Сегодня я, кажется, недостижима. Сейчас сообразим, как это сделать... Часов в восемь... Только не опаздывайте... Ладненько.

***По телефону:

— Нет сейчас ни того, ни другого. Причем Т. где-то в редакции. А кто его просит? Если что-нибудь очень спешное, то он тут в коридоре стоит. Я могу его позвать. Одну минуточку.

Девушка из грамзаписи:

— В. В. купила две пары чулок. Причем за кило хлеба и триста рублей деньгами.

— Я совершенно не понимаю, как это можно...

— Так это какие-нибудь свержчулки?

П.В.: Самые обыкновенные, семирублевые, как у меня.

— Безумие. Но с чулками действительно трагедия, товарищи.

В репликах на это сообщение — градация маскировки темы. На низшем, обывательском уровне реплика была бы прямым, выражающим зависть, сопоставлением: «Ну этим (актерам) все можно, а я-то...» Высшая интеллигенция, здесь представленная, поспешно дает понять о своей отрешенности от подобных воцелений.

З. по своей общественной функции *светлая личность*; она культивирует некоторые архаически интеллигентские черты, в том числе наивную буквальность словоупотребления и дидактизм. Отсюда мгновенно возникающие: «Я совершенно не понимаю...» О., напротив того, высшая интеллигенция современного образца****, отмежевывается с помощью иронического слово-

* [В ЧН:] Архаическая петербургская интеллигентка Р. А.

** [В ЧН:] О. Н.

*** [В ЧН:] Ябл.

**** [В МЧИ здесь:] (ГИИИ)

[то есть Государственный институт истории искусств].

употребления — «сверхчулки». Сознание П.В. представляет собой причудливую смесь обывательских представлений, одичавших традиций старинтеллигентской семьи и бессвязных воздействий современной элиты. Она то lamentирует с запрещенной серьезностью и откровенностью, то вдруг вспоминает, что полагается шутить и маскировать. Шутки, кстати, дают возможность невозбранно продемонстрировать свое душевное состояние (запрещено в изоциренном обществе), потому что шутка по своей формальной, эстетической природе всегда претендует на общезначимость.

Реплика П.В.: «...семирублевые, как у меня» — расшифровывается: как посредственные, обыкновенные, они были доступны *мне*; у *нее* они стали необыкновенными и совершенно мне недоступными. Скрытая lamentация.

Входит Яша Бабушкин с Фани. Бабушкин теперь начальник отдела (вскоре за ошибку его снимут и пошлют в газету на Ленинградский фронт; там через несколько дней, при переходе из одного корреспондентского пункта в другой, он погибнет от случайного снаряда)¹². Бабушкин начальник с обаянием. У него незаметное лицо, которое всегда неожиданно преобразуется улыбкой, очень доброй.

— В кругах произвело. Вчера мне сказали, что исполнение 7-й симфонии в Ленинграде — это событие большого значения¹³.

— Ты с ними согласился?

— Я согласился.

Чья-то реплика: Ф. Н., у вас помада размазана. Кто вас целовал?

Бабушкин: Я вот работаю, а завтра предстоит тебе, дорогая, начать. Ходза из кабинета: Долго тебя ждать?

Баб.: Я сказал — пока оттуда не уйдет К., я не приду. Мне надоело, чтобы меня прерывали. Я тут с девушками...

— Пойдем в репетиционную...

Для людей, предельно зажатых войной и блокадой, шутка — способ освобождения (быстропреходящего) от власти голода, страха, от статуса подчиненности, даже от статуса начальствования. В отличие от упивающегося старшего редактора, Бабушкин — стыдливый начальник — ищет эту свободу в несерьезном тоне, даже в аббревиатуре «в кругах произвело», разваливающей штамп.

В том же роде и чья-то шутка насчет губной помады. Только это низшая ступень, типа (открытого Ильфом и Петровым) — «у вас вся спина белая».

Появляется актриса Липецкая* — образец бурного самоутверждения. Самоутверждения согласно модели женщины, побеждающей все блокадные трудности, женственной, мужественной, деловой, организованной, умеющей жить и стойкой в опасности.

Липецкая по телефону:

— Да, насчет концерта. Зря я съездила. Вот что насчет концерта. Нельзя так составлять планы. Как ее фамилия? Фу ты! Второй раз не спросили. Так же нельзя работать. Второй раз... Я туда ездила совершенно зря. Я не знала, кого спросить.

* [В МЧП здесь и далее:] Яблонская.

Как вы с ней условились? Ну да мало ли что она просила. Она так приняла заявку, что я зря ездила. Я без обеда осталась из-за этого. С которого часа вы будете в Обществе?¹⁴ Да нет, вы, вы виноваты. Хорошо, я завтра буду звонить именно вам.

Да. Как же можно не знать самого главного — в котором часу и как зовут. Да, нельзя так работать. Ну ладно, я вам завтра буду звонить.

Коммуникация, которая здесь содержится, могла бы уложиться в одну-две фразы. Остальное — разрядка раздражения и подразумеваемая тема собственной деловитости. Формула превосходства над собеседником: «нельзя так делать...», «как можно не знать...» И тут же формула ценности ее делового времени — «зря съездила»... И раздражение, и самоутверждение выражены с самой обывательской прямоотой и серьезностью. Это деловой разговор, начисто отделенный от речевой стихии актерского трепа (характернейшая разновидность всеобщего трепа), к которому она прибегает в подходящие, по ее мнению, моменты. Всею свое время.

Бабушкин, выходя из кабинета: К. требует, чтобы его провели в Союз писателей. Он не успокоится...

— Яша, а вы?

— Что я? Я не собираюсь.

— Напрасно. Я считаю, что там именно не хватает философского мышления. Там не хватает мыслителей.

Бабушкин, беря телефонную трубку: Дайте мне восьмой. Валентину Николаевну. Да, я, Сонечка, здравствуйте. А кто это пришел? Да, там у них питание. Я вам сейчас объясню, почему. У них нет безвырезных, так что у них остаются фонды. Пускай зайдут ко мне, я им объясню. Да, Валентина Николаевна, мне нужно несколько справок. Какие штаты литературного отдела? Я имею в виду тех, кто сидят не на своих местах... На солиста — одна ставка? А на вторую — старшего солиста?

Появляется М. Он был здесь одним из начальников, но его сняли. Теперь он работает корреспондентом¹⁵. Как корреспондент связан с учреждением. Он уязвлен. Разговор главным образом для заполнения пустот. Околоделовые темы, возникающие по смежности.

— А Дымшиц, говорят, опять уехал.

— Вот я не мог понять. Там, говорят, сократили эту группу Тихонова на два человека. Но кого сократили, я не могу понять.

— Очевидно, Д. и сократили.

З.* (светлая личность): Вот Дудин написал сегодня стихи в «Ленинградской правде»¹⁶, все-таки лучше других. Вы читали? (Дудиным З. заинтересована — поощряемый ею молодой поэт.)

Б. Г. (с деловой интонацией): Тевелев хвалил.

М.: Был Тевелев?

— Я его видела.

— Что ж он не оставил своих произведений?

— Мери Р. зато оставила.

* [В МЧП здесь и далее:] Е.Р.

— Х. совершенно не знает, что с ней делать.

— Я его понимаю. Он все-таки по-английски читать не может.

З.: Юра, я вам уже говорила — не говорите мне о Мери Р. У меня никаких дел с Мери Р.

М.: С ней совершенно неправильно поступают. Она видный американский деятель, лично знакомый со всеми писателями Америки. Почему она не может написать им письмо...

— Конечно, она может написать. Но что касается видного деятеля, то боюсь, что вы спутали ее с Джоном Ридом.

— Зачем. Она там знакома со всеми писателями. Если <бы> она написала письмо вообще со всякими чувствами — это бы звучало.

— А от нее не того хотят. Что она может написать о текущих вещах? Голодный человек, год лежала в дистрофическом состоянии. Что она знает? А все говорят о ней — она ничего не умеет.

Среди цепляющихся, часто автоматически, друг за друга реплик реплика о Мери Р. приводит в движение личные темы. У З. тут свои счеты. В качестве светлой личности она спасала, опекала, но, как видно, не встретила должной душевной высоты, понимания, благодарности и проч. Ей хочется обсудить Мери Р. с высших моральных позиций. Но мгновенно учитывает интеллигентский запрет на склочные разговоры — с надеждой, что собеседником он будет нарушен. Но М. в теме Мери Р. интересуется только то, к чему он имеет отношение. Неправильное ее использование, потому что он уверен, что только он умел использовать и направлять людей. Но вот его сняли...

Второе — ее болезнь и плохое продовольственное положение, потому что он хлопотал для нее о карточках первой категории, устраивал в стационар и вообще он умел — действительно умел — заботиться о людях, с которыми работал. В эту колею он и отводит разговор.

— Во всех редакциях я слышал: не знаем, что с ней делать.

— Она в последнее время стала лучше выглядеть.

— Какое лучше! Со второй категорией! Она большой человек. Ее тянет писать. Ну она пишет рассказы. И плохо. А надо уметь ее использовать.

П.В.: Юра, который час?

— Шесть без трех минут.

— Нина, составьте компанию ужинать.

— Ну, как ваш рацион, товарищи?

— Ужасный рацион. Одна сплошная соя.

М.: Эта соя у меня на голове сидит.

— Почему у тебя на голове?

— Ее дробят и пропускают через адскую машину в комнате, которая над моей. С пяти часов утра... Каждый день... Я уже думаю — ну они наедятся...

Н.Р.: У нас она больше на голове сидит, эта самая соя.

М.: Вы ее хоть с какими-то приправами едите...

— Без всяких приправ. Налиют воды...

— Нина, идем, дорогая. Я кажется, сожрала весь шоколад.
— Покажите. Это как — восемьдесят за это? В нашем магазине давали шоколадные — правда, конфеты — в бумажках. Я так жалела.
— Когда мама брала в магазине, было без всякой бумаги. Хорошие, толстенькие такие.

— Как она может лучше выглядеть, когда без меня ее оставили при второй категории.

«Соя на голове» — это утверждение свободного отношения к тяготам жизни. В речи М. не только запрещены ламентации, но запрещен и серьезный разговор о еде — как унижающий, расслабляющий. Для его собеседниц серьезный разговор вполне возможен, но в то же время они поддаются инерции интеллигентского трепя. Иногда в самой наивной форме, вроде «сожрала весь шоколад».

Н.Р.: Бумага тут ни при чем. Плитка стандартная — сто грамм. Я пошла. Мне надо хлеб брать. А вы подойдите ко мне.

Н.Р. и П.В. уходят. Возвращаются через некоторое время.

Липецкая: Я считаю, что могла бы работать иллюзионистом или как там. Я переодеваюсь в отделе. Причем я все переодеваю.

О., обращаясь к Н.Р.: Сою съели?

— И не спрашивайте. Не говорю с тоскою нет, но с благодарностию — были¹⁷.

<З>.*: Товарищи, наконец, я вспомнила, чья это строчка: «Ни слова, о друг мой, ни звука...»¹⁸ То есть даже не вспомнила, а установила.

П.В. (Липецкой): Какой это вы туалет надели на себя?

— Нет, я просто уже не могла. Захотелось переодеться.

— Я Инбер встретила в трамвае. И она вам передавала привет.

Липецкая: Инбер? Были слухи, что она уехала. Мне категорически говорили, что она эвакуировалась.

— Нет, она здесь и ничего не говорила об эвакуации.

(Н.Р. стоя ест шоколад.)

Липецкая: Нина, что вы делаете? Вот П.В. упрекаете.

— У П.В. — мама. Вы не можете мне занять до завтра? Тогда я съем все остальное. Половину я собираюсь завтра послать мужу.

— Вы с ума сошли — посылать. Там все есть.

— Ну, это какая-то странная часть, в которой, например, нет курева. Он где-то далеко в болоте. Человек пишет — к сожалению, не дают ни грибов, ни зелени. И аппетит мой чрезмерен и неуместен.

— Это уж прямое сообщение.

— Прямое сообщение о том, что человек хочет есть.

— Не знаю. Вообще я знаю, что там все есть.

— Смотрите, вы меня уговорите, я съем, пожалуй, шоколад.

* [В МЧШ:] Е, вариант, вероятно, по недосмотру не исправленный в ПО.

— Нет, дорогая, я вас не уговариваю. Но я очень в курсе того, как здесь вокруг кормят.

— Так «не говори с тоскою нет, но с благодарностью были»...

Секретарша: Я встретила В.М. и спросила его — что, можно идти домой? Он сказал: «Напрасно вы собрались. Хроника не сдана — я все перечеркнул». Я стою здесь в обалдении.

Она человек практичный и толковый.

В каждой *нормальной*, *неблокидной* теме — стихи, туалеты — потенция освобождения, возвращения к жизни. Захотелось переодеться — это торжество, победа над ситуацией.

Липецкая учит жить, потому что сама умеет жить. Н.Р. пользуется случаем рассказать о себе — как ей хочется есть и как она поддерживает мужа, как живет ее муж на фронте и как он здорово написал об этом.

Реплика эмоциональная, отражающая внутреннюю борьбу. Есть у нее и практическая цель — получить санкцию со стороны (на съеденный шоколад).

У Липецкой в этом разговоре своя подводная тема: она прекрасно знает, где как кормят, потому что в этих местах ее кормят и ценят.

— И ничего не сказал?

П.В. (Липецкой): Чудно! Что это?

Липецкая: Аметист.

З.: Я люблю аметисты.

П.В.: И главное, не сиреневый, а такой...

З.: Я люблю аметисты.

Входит писатель Розен в военной форме: Здравствуйте.

— Саша, можно вас на минутку. Вы были правы. Это слово не было перенесено.

— Я не мог быть неправ. Нашли передачу?

— Нашла. Очень странно...

— Да, вообще при министерских сменах найти рассказ очень сложно. Поправка та, что Ив. Мих. говорил, — чтоб не герой открывал эту самую дорогу. (Липецкой.) Какое роскошное платье.

— На дворе тепло, Ал. Ив., вот хорошо, что вам четырнадцатого числа надо быть на месте. Удельная...

— Вместе поедем? Удельная. Проспект Энгельса. Госпиталь...

— Можно вместе. Я там уже была. Там очень приятно. Вместе поедем. Я уже знаю.

— То же самое пойдет?

— То же самое.

— А что, переносится на шестнадцатое?

— Переносится.

- Вы не знаете, из-за чего?
- Зам просил. Он хочет ознакомиться. Сговорились с горлитом¹⁹.
- У вас сейчас читка?

Две секретарши (выполняя задание по разгрузке микрофонной библиотеки). Одна — профессиональная секретарша. Другая — в прошлом эрмитажный работник. Она устанавливает свое превосходство над выполняемыми обязанностями ироническим словоупотреблением, цитатами и проч.

— Тут есть просто очень *симпатичные* папки.

— Только они очень распухшие.

— Вот в библиотеке сжигали вещи, очень нужные. А это все осталось.

— Смотрите, вот пустые папки, и все с завязками.

— Все очень пыльное. Наши с вами кофточки...

— Все равно, белое — это на один день.

— Да, я сегодня уже с грустью смотрела *результаты* вчерашнего дня.

— Прямо грузчики настоящие.

— Я проверенный товарищ в этой области. Весь Эрмитаж перетащила на своих плечах. Мы же всю прошлую осень тащили все вещи, всю мебель, вазы...

— Передача на эстонском языке. Почему это — непонятно.

— И всюду надписи вокруг. На непонятном языке²⁰.

— А знаете, у нас все не поместится. Какое богатство скрепок.

— (С папками в руках.) Увре ля порт#. Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь откликнулся на этот призыв.

Писатель* (по телефону): Либо просто выкинуть это самое, либо переставить в конец. Давайте выкинем. А насчет этого «свежа вспаханная земля» — черт его знает. Но вас же опять не застанешь на месте. Главное, у меня телефона-то под рукой нет. Может быть, тут такой смысл сделать: А может быть, мы с тобой ей споем.

— Да, я об этом уже сама вчера подумала.

— Да, это просто группа такая.

— Да, это просто подразделение.

— Вот я и говорю — какое-то другое подразделение просто дать.

— Нет, тут нужно наименование рода.

— Конечно, вот идут — так нужно кто.

Профессиональный писательский разговор под обстрелом. Такова здесь модель.

— Алло! Сейчас. В.М.! Да. Я. Да. Ну что такое? Почему? Ну! На какое совещание? Что? Почему? Кто пошел к себе? Он у себя сейчас? Как ему звонить?

Ну, ладно, ладно. Будем продолжать эту веселую игру. (Вешает трубку.) Ладно. Опять отменили...

Ouvrez la porte — откройте дверь (*фр.*)

* [В ЧН:] Веч

Секретарша: Нет, нет, уже не воск, уже грамзапись.

П.В. (актеру, предлагающему ей хлеб и котлету): Нет, серьезно, Николай Павлович, я не хочу. Честное слово, не хочу.

— Ладно. Режьте себе.

— Не нужно.

Он придвигает котлету.

— Я не люблю, прежде всего, кушать в одиночестве. Пожалуйста, начинайте. Это для демонстрации, очевидно. Ну, ладно. Боже, все просыпала! Дайте нож сюда. Это же редакционный стол. Режьте себе.

— Я не хочу сейчас.

— Нет, нет. Обязательно сейчас.

Секретарша Ольга Николаевна*: А «Звезды»²¹ не попадались? Нет. Вы тогда заберите и «Звезды» тоже. А в понедельник я у вас возьму.

П.В.** (доедая котлету): Какого она происхождения?

— Нет, я не спрашиваю, где вы ее взяли...

— А, она баранья, кажется.

Разные голоса:

— Вот бы еще салат...

— С картошечкой молодой...

— В понедельник я дам конференс к ней.

— А музыкальные номера?

— Музыкальные номера сделаны.

— Конференс что, еще пишется?

— Пишется. Он где-то застрял на машинке. Надо спросить у Ольги Николаевны.

— За вами там еще есть. Ну, очередной Симонов.

— Это самое простое.

— Проще простого. А «По страницам...»?

— Тогда снимется. В субботу должны дать хотя бы мне. Вам заменят. В «Боевую доблесть» нужен тонфильм.

— П.В. только что котлету съела.

— Отбивную? От кого отбили?

— Нет, не отбивную. Но ничего котлетка.

Секретарша: В понедельник идет «Доблесть».

— Оба — она.

— Оба она делает.

*** — Константин Константиныч, вы не испытываете потребности со мной поговорить?

— Что ж говорить? Вот если б вы мне материал вовремя сдавали.

— И сдаю.

— Где же сдаете...

— Простите, факты упрямая вещь. «Гвардейцы» — сданы? Сданы. «Последний из Удэге»²² сдано? Сдано. **** «Отец»

* [В ЧН здесь и далее:] Нина Николаевна

** [В ЧН:] Г.Б. — Острковскому>

*** [В ЧН здесь:] Н.Н. — Миронову:

**** [В ЧН:] Ну, это Островский, вероятно, еще отнесет.

сдано? Сдано. «По страницам газет» не сдано. Новые стихи не сданы. В общем, не так плохо.

— Да, не так плохо. Но и не хорошо.

— Но это отпечатано.

— Пока дадут отбой, он сразу начнет...

— Обязательно. Он и выжидает отбоя.

— Алло. Только что она из Союза звонила, что в силу известных причин не может прибыть.

— Да, ей никак не прорваться.

Актер, угощавший котлетой, Миронову: Вы мне могли бы полчаса уделить? Помочь. Я в первый раз читаю Пушкина. Я не читал Пушкина.

— Пойдемте. Там свободно?

П.В.: Что, он всерьез волнуется?

— Конечно, всерьез.

— Что он читает?

— «Медного всадника». Вступление.

— А, можно волноваться...

— Нет, я просто не думала, что такой актер...

Борин: Вообще, я могу пойти в грамзапись. Потому что, в сущности, это функция режиссера, а не редактора.

— Разделим труд пополам. Слышите, как мы на вас работаем?

П.В.: Арсений, ведь я уже говорила, это ваша передача.

— Нет, ваша.

— Что за передача?

— «Балтийцы в боях»²³ — литературно-вокально-музыкальная. Должен сказать, что я вздохнул с большим облегчением, выходя из студии.

— Исходя из того, что все хорошо, что кончается?

— Вот именно. Имейте в виду, пока что имеется в плане двадцать передач. Но это норма повешенного, а я мечтаю, что мне дадут норму полузадушенного.

— Десять передач.

— Какие же передачи?

— Например: «Я не хотел бы быть на вашем месте...»

— Это как — из нормы повешенного или полузадушенного? (Борин долго хохочет.)

— Как же мы договоримся?

— Утречком у нас так жизнь складывается. В десять репетиция Ходзы, потом опять репетиция Ходзы. В двенадцать у меня репетиция с Петровым. Потом с Зонне.

— В двенадцать — я как из пушки.

* — Я сейчас сосчитаю. Я с первого числа двадцать одно письмо написала.

— Зачем же так много?

* [В МЧП здесь:] Н.Н.:

— Нужно. Десять писем хотелось написать. А остальные все нужно.

Борин: Скопиркой надо. Жива-здорова. Будьте здоровы. Целую.
— Ну жива-здорова — этим они не интересуются.
— Чем же они интересуются? Зачем же им писать, если они даже этими элементарными вопросами не интересуются?

(Входит секретарша.)

— Вы как прошли? Пропускают?

— Не очень-то. В Союзе сейчас было весело из окон смотреть.

— Что — в Союзе?..

— Нет, по ту сторону попадало.

— В воду?

— В воду и не в воду. Я вот сегодня на Кировском мосту была, когда там случилось...

— Что такое?

— Милицонера убило. И вообще каша. Я не видела. Я сразу ушла. А Теребилова* и Валя — они в это время в трамвае ехали с другой стороны. Они все видели.

Борин (к девушке из грамзаписи): Нам для тематической передачи нужен древний кавалерийский марш. Понимаете, чтобы так от него и веяло древностью. Трам-там-та-та-там...

Секретарша (Покровскому): Нет, это у вас не пойдет.

— Почему?

— У вас же все передачи похоронные. Как ваша передача, так похороны.

— Я мечтаю о веселой передаче.

— До веселия ли...

— Какой может быть смех во время войны...

Борин: В крайнем случае, я согласен даже и на это. Как она называется?

— «Кавалерийская рысь». Обработка Чернецкого.

— Чернецкий — это явно духовой.

** — Опять похоронный?

— Отчего — на рысях. Марш гвардии гусарского полка.

— Дурацкий марш. Хотя они императорские, но они дохлые какие-то.

— Это что?

— Марш с фанфарами.

— Вот старина.

— Это приемлемо.

— Ничего. Я тоже считаю. Марш с фанфарами называется.

— Самойлов совсем не подходит.

— Не подходит бас. Я, например, думал — П. Но не подходит бас.

— Не подходит. А тут нужен исполнитель, который дифференцировал бы.

— Единственный человек, который подходит...

* [В ЧН:] Тереб.

** [В ЧН здесь:] 0.:

— Я знаю — С. Я думал. Надо решить — может ли женщина читать.

— Нет, тут хотелось бы отношение автора. У автора более мужское отношение.

— Значит, женщина исключается.

(Все это деловой разговор с оттенком удовлетворения, которое испытывают люди от сознания своей профессиональной искушенности.)

Начальник отдела*: Вы знаете. Я вот грешный человек, но я предпочел бы, несмотря на все, — бас. Курзнер. Сколько бы баритон ни пел, бабушки из этого научиться не может.

Новый (вместо снятого) начальник отдела — хочет испытывать превосходство не только по положению, но и интеллектуальное. Среди театрально-цехового педантизма он сохраняет свободу и трезвость суждений, сочетающуюся со словоупотреблением слегка ироническим («грешный человек», «баритон» и «бабушка»).

Мионов: Он для этого немного бесчувственный. Прочтет, может быть. Будет прилично. Но уж нечасто актеру такой материал попадается. Мне кажется все-таки, что такую лирику Самойлов мог бы донести.

(Профессиональный разговор продолжается.)

— Лирику он, может быть, и донесет. Черт! А вот этот быт дворянский...

(Немотивированное восклицание «черт!» должно несколько расшатать профессиональную педантичность разговора.)

** — Он, как бы сказать, недостаточно интеллигентен.

— А по мирному времени — кого бы вы мыслили?..

— Тут культура нужна большая. Из городского театра — кто бы мог?

Таня (по телефону): Да, жажду ваш голос... Значит, записываем вас. Ваше — вчерашнее. Второе. Я говорю о втором. Записываю. А состав какой был — все?

Недостаточно интеллигентен — это наивное понимание слова «интеллигентен» и наивное утверждение собственной интеллигентности. Приятно высказывать такие суждения; особенно когда от них отчасти зависит, получит человек роль или не получит.

Разговор Тани по телефону имеет практическое назначение. А «жажду ваш голос...» — это шуточные штампы, которые на определенном уровне, в определенной среде знаменуют всё те же поиски свободного отношения к жизни.

Входит Борин с письмом от слушательницы. Ей величайшую отраду доставило его выступление. Она потеряла любимого мужа, и передача ее утешила. Просит прислать ей текст. Борин читает письмо.

Ярцев (шутит): Сам написал...

* [В МЧИ:] Х., Хд (Н. А. Ходза)

** [В МЧИ здесь:] Ярмолинский:

- Зависть! Черная зависть!
- Что ж, вы пошлете ей текст?
- Надо редактору отдать.

В данный момент у Борина одна потребность — как можно больше людей как можно скорее должны узнать содержание письма. Трагическая сущность письма его не занимает; вернее, учитывается им как усиление его заслуг. Не реагирует он и на практическую просьбу — прислать текст (вместо этого — «надо отдать редактору»).

Ярцев в виде шутки высказывает тайное желание: хорошо бы, если б это письмо было фальшивкой. Борин в ответ формулирует оценку его поведения. Иронически напыщенное «черная зависть» прикрывает формулировку шуткой.

Борин (З., которая входит): Зинуша, небезынтересно вам будет почитать, насколько доходят ваши произведения в моей интерпретации?

После того как письмо уже прочитано вслух, неловко опять читать его вошедшей З. Мотивировкой служит фраза, пародирующая официальный слог; комизм, пародийность не имеют здесь никакого смысла. Но это один из испытаннейших приемов — рассказать нечто ласкающее самолюбие под видом факта общезанимательного по содержанию или форме. Рассказать этот факт как смешной — невозможно. И вот остается голая форма комизма, пародийности, как бы разоблачающая чье-то хвастовство, канал, в который тайно поступает хвастовство собственное.

З. (читает письмо): Ах, я не поняла. Это самое...

— Может быть, подшить?

— По-моему, надо.

— Там еще есть одно.

Практический разговор. Борин не подумал о том, чтобы ответить написавшей, но предусмотрел, что надо подшить документ «к делу».

Зонне (входя): Где же Мичурина?

Борин (поет): Ми-чу-ри-на, Ми-чу-ри-на... (К Зонне.) Да, только что прослушивали в отделе с новым начальством. И новое, и старое сказали, что надо говорить Артаксеркс...

— А ты хотел говорить Артаксеркс. Я тебе говорил.

З.: Конечно, Артаксёркс.

Борин режетися и поет от удовольствия. Переход к занимающей его в данный момент профессиональной теме. Зонне показывает свою правоту в бывшем споре, З. — свою образованность.

— Ну, высказывайся, а то у нас сейчас будет совещание.

— Я хотел тебе показать письмо.

Под шумок Борин опять возвращается к теме письма.

П.В. (Ярцеву): Ал. Ив.! Что-то я вам хотела сказать...

— Разрешите приветствовать.

— Век вас не видела. Нет, ничего интересного.

- Здравствуйте, Зинаида Александровна. Как живете?
- Кашель все.
- Сухой? Мокрый?
- Сухой.
- Сухой? Банки!

П.В. ищет контакт с Ярцевым, который когда-то за ней ухаживал. Она произносит формулу («что-то я вам хотела сказать...») совершенно бессодержательную, но удерживающую внимание собеседника. «Век вас не видела» — также пустая штампованная формула, но за нее, при желании, легко зацепить ассоциации из запаса прежних отношений. У Ярцева этого желания нет. Он обращается к З. со стереотипной формулой встречи. З. кашляет в этот момент, что и служит поводом для заполнения ответной формулы, которая всегда причиняет неудобство своей чересчур уж очевидной бессмысленностью: «Спасибо, понемножку...» и т.п. Человек всегда испытывает облегчение, когда ему подворачивается что-нибудь, чем можно заполнить эту формулу. Ярцев автоматически продолжает подвернувшуюся медицинскую тему.

— Вы вчера слушали? Я думала — он себе грыжу наживет, так он кричал.

Профессиональное осуждение в комической форме (двойное удовольствие).

— Спички есть?

Наташа: Конечно, есть. Давайте я чиркну. Я ведь очень люблю зажигать спички. У меня страсть. Я Константину Константинычу целый воз спичек принесла.

Кому-то понадобились спички. Но Наташа (начинающая актриса) мгновенно пользуется практическим вопросом для своих игровых целей. Она физически томится, когда не может говорить о себе или занимать собою присутствующих. С необычайной прямолинейностью, театральностью и провинциальной архаичностью приемов она реализует свою автоконцепцию непосредственной, прелестной и балованной девочки. Страсть зажигать спички — совершенно оригинальная, притом детская черта. Вероятно, эта страсть (возможно, что бессознательно) возникла потому, что она дает возможность игры с курящими. Во всяком случае, привлечения их внимания. Она в милых отношениях с К.К. (начальником). Об этом приятно сказать вслух.

(Молчание.)

Таня: Ося, до которого у вас пропуск? Скажите.

— До первого июля.

— Июня?

— Июля.

— А у меня до первого июня.

(Молчание.)

Разговор коммуникативный. Но последняя реплика Тани не имеет практического смысла. Это использование возможности хоть что-то сказать о себе.

Наташа (Тане): Вы завязываете и всё?

— Вообще не завязываю. Встряхну головой, пойду и всё.

— Они у вас сами... Без перманента?

— Сами.

— Люблю такие прически.

— Любите?

— Люблю. Такие, как у вас. Без финтифлюшек.

Наташа заводит разговор о причёске главным образом в силу непреодолимой физиологической потребности все время говорить, отчасти, может быть, в силу интереса к нарядам и т. п. Таня считает себя выше Наташи, хотя она из грамзаписи, а Наташа — актриса, — по красоте, свойственной ей воспитанности и сдержанности. Считает, что успех Наташи создан неблагоприятной игрой в балованного ребенка. Ее ответы подчеркивают благородное пренебрежение к мелочам туалета. Притом небрежность красивой девушки. Но Наташа, не растерявшись, сразу и себя поднимает на ту же высоту: «Люблю такие причёски!» Таня же хотела бы по этому вопросу оказать ся с Наташей в разных лагерях. Поэтому она холодно и недоверчиво переспрашивает: «Любите?» Наташа своим ответом пробует с полной ясностью утвердиться в том же лагере и на том же уровне. Этой цели должно служить слово «финтифлюшки», несущее печать архаического, наивно-провинциального словоупотребления.

Секретарша <мл.>: Как у нас дымно в комнате. Просто плавает.

<Тр>: Много курящих. Все курят.

Наташа: Я не курю.

Автоматически возникла реплика. Наташа, на которую в данный момент не обращают внимания, так как все заняты, хватается за возможность заявить о себе: «Я не курю!»

З.: Ну только ты.

Григорьев: Я не курю.

Григорьев, который много курит, подает свою реплику в порядке чистейшего трепя, от скуки. Он понимает, что это несколько не остроумно, но знает, что нелепость реплики вызовет какой-нибудь дурацкий разговор, который послужит хоть каким-нибудь развлечением.

— Вы, Евгений? Вы больше всех курите.

— Когда это вы видели меня курящим?

— Всегда.

— А вы не думаете, что это иллюзия?

— Нет.

З., невзыскательная по части юмора, наивно подхватывает нелепость, на которую более искушенный слушатель не реагирует. Григорьев удовлетворен результатом (клюнуло) и в течение некоторого времени продолжает. Таня: Устала. На дворе, говорят, жара.

Наташа: Ужасно жарко.

Таня: Пока я пойду, будет уже холодно.

Первая реплика Тани отвечает потребности что-нибудь сказать (чистая речевая сучка). Для этого тема погоды — самая классическая. Потому что всегда под рукой. Но вторая реплика имеет уже личный смысл. Таню эксплуатируют на работе, поздно задерживают. (Пока я пойду...)

Григорьев: Александр Ильич, как только вы освободитесь, мы возьмем вас в оборот.

— По-моему, все несчастье в вас. Вы тут всегда так поздно сидите...

Григорьева нынче мучит скука. Он внутренне ищет выхода и вспоминает о предполагавшейся игре в покер. Поэтому его реплика имеет не практически-организационный характер, скорее эмоциональный. Он утешает себя, обещает себе удовольствие и в то же время оправдывает откладывание затеи, на которую ни у кого не хватает энергии. Собеседник раздражен этими откладываниями и потому отвечает с целью сказать неприятное (разрядка аффекта).

— Во-первых, я поздно сижу три раза в неделю.

Григорьев задет тем, что его представляют мелким служащим, прикованным к месту; он вообще недоволен и уязвлен своим служебным положением. Ответственные и удовлетворенные своим положением, напротив того, охотно говорят о том, что они работают до поздней ночи. Тогда это признак социальной значительности, а не социального ничтожества, как в данном случае.

З.: Я сегодня видела. У вас один человек переехал тремя этажами ниже. И проиграл. Я заглянула сегодня через стеклянную дверь. У него весь потолок сел на пол.

Григорьев: Почему?

— Провалился.

Григорьев: Так он проиграл? Я думал — проигрался.

З. рассказывает занимательную историю. Но история имеет и личный смысл. Она только что отказалась от затейного ею переезда на другую квартиру. (Все блокадные люди одержимы желанием куда-нибудь переехать.) Она любит считать правильным то, что она делает. Для нее этот случай — своего рода подтверждение. Реплика Григорьева подчеркивает его интересы игрока — оттенок удалства. Тогда как только что из него публично хотели сделать мелкого служащего.*

Старший редактор (входит): Кто получает «Правду»? За девятнадцатое, двадцатое, двадцать первое — интересуюсь «Правдой».

— Знаете что, В. М., посмотрите в той комнате у меня на столе.

— На?

— Да. Если нет, так она у меня дома...

Старший редактор явно страдает тяжелой формой комплекса неполноценности. Когда у него есть случай поучать, он многословен, подробен и дидактичен. В других случаях он, напротив того, утверждает свое превосходство молниеносной краткостью начальника и делового человека — среди всех — праздно болтающих. Так

* [В МЧП далее:] Нет, он не А<какий> А<какиевич>

в данном случае. Несколько вольное «интересуюсь» — выражает, что деловитость не мешает свободному отношению к казенным формам речи. Аббревиатура «на» выражает ту же всепроникающую начальственную энергию.

П.В. (входя, к З.): Вы захватили мой карандаш...

— Нет, я своим пишу...

— Я его вынула из сумочки...

— Уверю вас, у меня мой карандаш...

— Я его в этой комнате вынула из сумочки. Куда ж он девался?

Раздвоился он, что ли? Странно. (Уходит в гневе.)

Наташа (вбегает): Ой, кого я видела! Кого я видела! Студента Зонне Степанова. Самый талантливый зонненский ученик. Мне надо еще на него посмотреть. Срочно!

П.В. (входя): Зина, и вы были правы, и я была права. Карандаш нашелся, но я действительно вынимала его из сумочки.

— Я же вам сказала, что у меня мой карандаш.

— Да, но мой я действительно вынимала из сумочки. (Уходит.)

Карандаш П.В. включает в ряд преследующих ее враждебных явлений. Разговор о нем — разрядка аффектов. З. демонстрирует твердость и сдержанность. П.В. испытывает неловкость, когда карандаш нашелся; из добросовестности приходит об этом сказать. Чтобы не извиняться, она утверждает, однако, что тоже права. З. полуизвинение не смягчает и не смущает. Она подтверждает свою правоту. Не мирясь с ее торжеством, П.В., уходя, повторяет свой довод (карандаш был вынут из сумочки) — с логической точки зрения сомнительный.

<Старший редактор>: Как мне попасть на группу Б? Звоню на обе кнопки — и обе А.

(З. смеется.)

Реплика у телефона — словесное отражение впечатлений текущих. З. считает, что это достаточно смешно, чтобы можно было рассмеяться.

Наташа: Он у Зонне учился. Я ж его знаю. Он замечательный актер, очень хороший. Он в «Музыкальной команде»²⁴ играл, замечательно. (Уходит.)

Ярцев: Чудачка!

— А как вы считаете — у нее способности есть?

— Неть.

Наташа (входит): Нет, они уже спустились.

Ярцев: А вы ему не крикнули?

— Нет, неудобно. Они вдвоем.

— Как ваши занятия?

Наташа разговаривает как на сцене (жесты, интонация, построение фраз). Игровое начало, которое вообще присуще людям, реализующим

автоконцепцию, проявляется у нее в откровенной, упрощенно профессиональной форме. Сейчас — по поводу зонневского ученика — она разыгрывает сцену непосредственности (синтаксические признаки — фигуры непосредственности). Солидная же формула «замечательный актер» — это утверждение своей профессиональной компетенции. Наташа наслаждается словесной реализацией — разумеется, когда есть подходящая аудитория. Сейчас такая аудитория — Ярцев, который явно заинтересован. «Чудачка» — это от потребности заговорить о ней и вместе с тем своего рода эротический эвфемизм любования. Тр. тоже заинтересован и охотно поддерживает разговор. Но продолжить его не удается.

— Я хотела вам рассказать.

— Я весь внимание.

— Я пришла сюда. Лешков меня усадил. Садитесь, девчурочка, он мне говорит. Мы читали. Он мне очень много поправлял. Как будто он ко мне очень хорошо относится. Он мне очень много времени уделил.

В последующем разговоре Наташи с Ярцевым оба реализуют определенную концепцию отношений. Он — немолодой человек, утомленный заботами и творческой работой, нежно, с оттенком снисходительной насмешливости опекает прелестную девушку. Она — взбалмошное и непосредственное существо, ищет в нем поддержки и в то же время устилает розами путь усталого человека. Наряду с игровыми переживаниями, все это имеет и практические цели, которые Наташа особенно не скрывает: Ярцев должен помочь ей устроиться.

Он спрашивает о ее делах не в порядке условной формулы, а как покровитель.

Она «хотела рассказать» — покровительство принято. «Я весь внимание» — шуточно-торжественная фраза в порядке ласкового отношения к ребенку. Возрастная дистанция все время подчеркивается, это эротическая основа всей концепции отношений.

Рассказ Наташи о Лешкове — лобовое самоутверждение, без всяких обходных маневров. Цитируя выражение «девчурочка», она выдает сознательность своего отношения к собственной модели.

— Он когда-то сам прекрасно играл в этой пьесе. Ярцев напоминает о своей профессиональной опытности.

— Он мне все время жал руки. Невозможно... Ну, я вам потом расскажу... Он сказал — эта роль решит вашу судьбу.

«Невозможно» — слово здесь логически бессмысленное. Оно служит знаком того, что хвастовство Наташи оказалось на стыке театрального с эротическим. Для психики актрисы вообще характерно смешение этих воздействий.

— Когда-то эта роль решила судьбу актрисы Шигориной²⁵. Я тогда учеником был. Я присутствовал. Она волновалась!.. Это нужно для этой роли. Непосредственность. Но потом она не сумела себя оправдать. Он, вероятно, по аналогии с Шигориной, это и вам говорил. Потому что в подходе к этой

роли главное — непосредственность. Он по аналогии с Шигориной это вам и сказал. Понимаете, потому что я с ним говорил об этом. Кто там еще занят?

Ярцев опять напоминает о своей профессиональной искушенности. Он может ей много дать. Вся тирада построена серьезно и дидактически. Речь книжная («по аналогии»). В конце доводится до сведения Наташи, что он внушил интерес к ней Лешкову.

— Я думала, что вы мне поможете. Прямой ход в практическом плане.

— Всегда к вашим услугам.

Дидактическая часть кончилась. Опять легкая ирония.

— Нет, вы несерьезно говорите. Вы очень устали. Надо серьезно. Я была у Липецкой. Я в восторге. Да вы не слушаете...

З.: Наташа, тебя поневоле будешь слушать. Ты так кричишь... Ты же мешаешь...

«Вы несерьезно говорите, не слушаете, вы устали» — подчеркивание возрастной структуры их отношений.

З. делает свое замечание отчасти, чтобы прекратить шум, отчасти потому, что игры Наташи ее раздражают.

Наташа (Ярцеву): Солнце мешает. Я не могу на вас смотреть. Лешков мне сказал — почему вы на меня не смотрите? А я говорю — я стесняюсь. Он говорит — вы же в меня влюблены. Это по роли. Я ему сказала: «Нет, Верочка еще не влюблена; у нее это еще все бессознательное». А потом он еще такое мне сказал, что у меня душа перевернулась. При всех. Опять вы не слушаете.

Значит, ей хочется на него смотреть. Дальше опять весь набор: осознанная инфантильность, сексуальность, профессионализм (замечание насчет Верочки должно свидетельствовать о тонком творческом понимании роли).

— Я слушаю. Душа перевернулась при всех. — Ярцев продолжает подавать реплики в основной тональности ласковой иронии.

— Я готова была бы во вспомогательный состав. Крохотная ставка, служащая карточка. Все что угодно. Они, верно, думают, что я хочу хорошего. А мне все равно.

Автоконцепция Наташи обогащается мотивом незаинтересованности в низших жизненных благах.

— Вы срочно готовьте эту роль. Срочно. Я еще поговорю о вас с Лешковым.

Как покровитель дает практические советы.

— Я хотела вам прочитать.

— Вы мне читаете. Я прослушаю.

— Я стесняюсь. (Опять демонстрация инфантильности.)

О. (входя): Как живете?*

— Да так. Заботы. Страшно много забот. Устаешь.

Заботы подавляют творческую жизнь. И потом у нас такая _____ * [В ЧН:] Как живете, В.С.?

нагрузка... Возьмите, на прошлой неделе. У меня было четыре передачи, концерт. И работа в театре.

Стереотипная формула общения, на которую обычно дается автоматический и формальный ответ. Но в данном случае Ярцев пользуется случаем развернуть себя. Да еще перед Наташей.

Наташа: Вы сидите. Я вам все перепишу. Вы устали...

Наташа немедленно показывает, что образ усталого творческого человека до нее дошел и что она уже сделала выводы.

Ярцев: Зинаида Александровна, как у вас с огородом? Вы взяли за это?

Заговаривает об огороде отчасти потому, что сейчас это одна из ближайших тем, на которую легко наводит вид сослуживца, отчасти в ожидании услышать что-нибудь практически интересное. К тому же этот вопрос открывает возможность перехода к сообщению о собственных огородных делах.

— Видите. Я не могу копать. У меня большое сердце.

З. по обыкновению взялась за дело, имеющее общественное значение. Ничего пока не сделала. Охотно говорит поэтому о препятствиях.

— А я, знаете, взялся.

Ярцев перешел к разговору о своем огороде.

— У меня будет двадцать метров, кажется.

З. говорит о своем.

— Двадцать? А я взял сто.

— И вскопали?

Ей хочется, чтобы он тоже ничего не сделал.

Наташа: Подождите. Простите, что я вас перебиваю. Я вам принесу завтра лопату. И вскопаю. Я очень люблю работать на огороде.

Наташа томилась оттого, что так долго была вне разговора и внимания окружающих. Вмешательство в порядке украшения жизни усталого человека. Люблю работать на огороде — то же, что люблю зажигать спички. Это внедрение своей личности в данный участок бытия.

З.: Почему ты не взяла участок?

З. делает наставительный вопрос. При случае она склонна воспитывать Наташу.

— Нет, не хочу.

Подразумевается — она не хочет работать на огороде для удовлетворения материальных нужд, а хочет работать, чтобы украсить жизнь Ярцева.

Ярцев: Безобразия! Такое учреждение, и получили самое худшее в городе. Музыканты²⁶ прямо отказались. Они там в воде копали. Все смеются над нами. Обидно за учреждение. У нас многие отказались.

З., предчувствуя, что она ничего не сделает, с удовольствием перечисляет отказавшихся или сваливающих работу на других.

З.: Л. отказалась, Б. отказалась.

— П.В.?

— Нет, П.В. еще не отказалась.

— Ну, П.В. потому, что у нее мать. Она мать приспособит. Сама-то она ничего не делает.

Наташа (Ярцеву): Поедем на огород. Я вам помогу. Вы берите.

— А лопата у вас есть?

— Есть. Я вам принесу.

Наташа опять врывается в разговор, продолжая свою тему. Ярцев заинтересован предложением (а, в самом деле, приятно было бы поехать с девушкой).

— Настоящая лопата? С этой штукой? (Делает движение.) — Шуточное подчеркивание концепции отношений — она ребенок. Детям несвойственно иметь настоящие лопаты.

— С этой штукой. И можно упереться ногой. И копать.

— Поедем.

— Когда? Сейчас?

(З. смеется.)

Уже вечер. Она, разумеется, не думает о том, чтобы ехать сейчас. Это реплика в порядке выражения непосредственной восторженности с ежeminутной готовностью украшать жизнь.

З.: Она уже готова сейчас! (Реплика должна показать, что при всей своей серьезности и моральной взыскательности З. способна снисходительно оценить забавную непосредственность девочки.)

Ярцев: Ох, Наташа, с вами хоть весело. Отдыхаешь.

(Прямое выражение эмоции после всех косвенных.)

З.: Нет, это чудесный был разговор с огородом. (Уходит.)

Ярцев: Александр Ильич, вы, наверное, знаете... Мне рассказ нужен для выступления. Маленький. Самое большое, на семь минут. Но чтобы хороший.

Высказывание коммуникативное.

— Трудно сказать...

Наташа (перебивая): Я вам принесу. Рассказы П.*²⁷ знаете? Замечательные рассказы. Очень хорошие. Там, например, один мальчик. Он оставил завещание. Он погиб. Ему пятнадцать лет. Орденосец. Он оставил своей матери завещание. О том, какое счастье погибнуть. Я вам завтра достану. Я вам не все сказала про У.** Чего она так озлилась? Не знаю, кто ей такие подробности сообщил....

Наташу раздражает обращение к постороннему лицу. Про нее как будто забыли. Она поспешно вводит себя и в этот участок бытия. Она зажигает спички, работает на огороде. Она же может достать рассказ. Содержание излагается всерьез, наивно-официальным языком. Для нее это другой план, имеющий свои правила. Резюме: «Я вам завтра достану» — безапелляционно запрещающее прибегать к третьим лицам. Далее переход к своим делам, сплетнически интимным.

*** Бывшая эрмитажница — тихо стоящему рядом редактору:

* [В ЧН:] Павл<енко>

** [В ЧН:] В.В.

*** [В ЧН вместо:] Е.А. — От-
<те>ру:

— Никак не могу понять систему этой девушки. Во всяком случае, на наших мужиков действует безошибочно. Но понять не могу. Поэтому я вчера анекдот не рассказала. Не то — дитя, не то — наоборот...

Наташа раздражает и вообще, и, кроме того, раздражает ее как женщину, которая еще привыкла нравиться, своей тенденцией к поглощению всеобщего внимания. Поэтому она разоблачает, но не в прямой форме, которая обличила бы зависть, или пуританство, или неуместную серьезность, а в форме иронического интеллигентского трепа (система, девушки, мужики).

— Может быть, и дитя, и наоборот. Следует подходить диалектически.

— Конечно, все развивается.

Последующий обмен репликами стимулируется уже не столько осуждением Наташи, сколько словесной игрой, ощущением словесной формы.

Актеры постепенно уходят. В комнате остаются редакторы за своими столами.

Н.Р.: Мне начинает казаться, чего никогда не казалось раньше: а не зря ли я сижу за этим столом? в этом учреждении?

П.В.: В дни моей молодости я тоже занималась общими вопросами. Мне казалось, что я неизвестно зачем существую. Теперь я не думаю и вам не советую. Не более зря вы сидите, чем многие другие. Успокойтесь.

— Когда я работала на заводе, я об этом не думала. Все было дело. Секретарша: А кем вы работали?

— Я — токарем.

П.В.: Да, там это точно.

Секретарша: Как же это вы* успели перепробовать столько профессий за вашу молодую жизнь?

— Во-первых, моя жизнь не такая уж молодая — мне тридцать восемь лет. Кроме того, я много профессий перепробовала за этот год. Я поступила на завод учеником слесаря. Слесарем я, правда, работала очень недолго — всего две недели. Но потом токарем я имела хорошую квалификацию. То есть у меня был разряд.

— А прежде вы занимались нормальными профессиями?

— Прежде я занималась нормальными профессиями. Но с некоторыми прослойками. Я заведовала детскими яслями, например. Потом имела корову на своем попечении. Так что я умею ухаживать за скотом.

З.: С коровой, наверное, легче, чем с авторами.

— Как вам сказать. Отчасти и легче. Там грязь другого порядка. Которую легче омыть и которая ничего не затрагивает, кроме вашей кожи.

П.В.: Вообще нужны главным образом машинистки. Если бы я была машинисткой, я бы имела в один миг первую категорию, обед с половинным вырезом и т. д. Вот я знаю — нужна была машинистка в штабе.

* [В МЧИ:] вы, Н.В.,

З. (смеясь): Вот я скоро стану машинисткой и перейду в штаб.

П.В.: Вообще, как это ни странно, сбывается все, что говорили. Что из меня никакого редактора не выйдет, что все это зря.

Подходит к телефону:

— Так вы приехали... Просто необходимо срочно увидеться. Футь, какая мерзость. А я была уверена, что вы приедете. Да, нехорошо все. Мой врач уехал; эвакуировался, кажется. Другого мне не оставил. Не устроил ничего маме. Я от всего этого расстроена. Мама теперь целый день говорит, что она голодная. Ей надо устраиваться. Но найти что-нибудь с первой категорией не так-то легко. Мне, конечно, придется взяться за все это. Мама от всего разболелась... Нет, он здесь еще. Ходит в довольно мрачном виде. Новый — очень милый человек. Но вообще все нехорошо. Всем плохо — это так-то так. Но мне всю жизнь было плохо. И теперь так же. Так никакой разницы. А я, по-моему, все-таки стою лучшего. Господи, какая самоуверенность.

Вешает трубку.

(Секретарше): Что? Заполнить карточку специалиста? Специалист-то не вышел.

З.: А интересно — это совещание — что из него получится...

П.В.: Да ничего... Какое совещание?

— Да с Черчиллем²⁸.

— Ах, вы про то? А я думала, про наше совещание. Странно, чем больше я живу и чем хуже мне приходится, — тем больше во мне оптимизма.

П.В.: С чего бы это?

— Не знаю, так получается.

— Этот год будет очень для вас полезен — битая, колоченная, никем не проглоченная. Так?

— Ну, проглотить, вероятно, проглотят. Но достаточно того, что меньше на это обращаю внимания, чем раньше. Уже для моего характера — то, что я могу как-то пискнуть в ответ, а не сразу пускаюсь в рев, — уж очень много. Все-таки, товарищи, нам нужна машинистка. Неужели нельзя найти машинистку...

Н.Р.: Я вас ограблю еще на закруточку.

— Грабьте, дорогая, грабьте. Кстати, он последний. И вообще, поступления прекратились.

— Почему поступления прекратились — меня интересует.

— А вот спросите. И все остальные тоже. Полное равнодушие. Вот почему я не интересуюсь всем остальным. Просто появилась привычка. Человек привык, что я существую в таком плохом виде. Это меня не устраивает. Так — раз в неделю — причем не что-нибудь солидное, а так, пустячки.

— Ну-с, это я укладываю для своей мамы. Смешно, когда говорят «мамаша»? Правда — смешное слово — «мамаша»?

Н.Р.: Вот хорошо, если будет об этом детском доме передача и туда пошлют. Я там прежде раз была. Какие интересные ребята. И какие ответы у них. Я вам расскажу. У меня не было ничего интересного. Я так грустила.

П.В.: Нет, я все-таки думаю, что это дело нужное. Другое дело, что приходится скуку передавать. Это бывает очень редко, но когда Тр. сказал, что ему очень понравилась моя передача, — это было очень приятно. Это редко, конечно, бывает.

— Меня за интересную работу можно бесплатно купить. Я буду дни и ночи работать. И даже не вспомню о плате. Но если мне не интересно, то не интересно. Вот я думаю: интереса в работе нет — жрать нечего, денег мало — так какого черта я тут сижу? Уж если не думать об идеях — то устроиться похлбнее. Вот Л. говорит, что он скептик*. Вот он, скептицизм, куда ведет.

(Входит увлеченный администрированием старший редактор.)

П.В.: В. М., тут звонил Рудный, что он никак не может до вас дозвониться. Но у него все в порядке.

Старший редактор: Давайте сговоримся с вами — пока материала нет в руках, он не считается. Доверчивость отставить. Ни тени доверчивости, ни грамма доверчивости. Доверчивость — это зло и источник отсутствия всякого присутствия. Рудный звонил, передавал — мне не передали. Груздев обещал принести материал — не принес.

— Так в чем же дело? Я могу соединить вас с Рудным.

— Так дело не в том, чтобы соединить, дело в том, чтобы поставить меня в известность. (Уходит.)

П.В.: Эх-хе-хе... Жизнь... Сегодня мне хочется ругаться, знаете, Нина.

Н.: Я только что чуть не ругнулась крепко, но вспомнила, что вы теперь меня называете умником, и воздержалась. Я от мужа получила письмо. Очень грустное. Он много лишнего пишет. Мне было очень трудно сначала, но я взяла себя в руки и написала ему очень спокойное и наставительное письмо.

— Вы стали очень ленивая, Нина. Вы только все говорите — вот, надо бы сделать, а ничего не делаете.

— Так времени нет. Я все-таки очень занята по вечерам этим перетаскиванием. А здесь с вами болтаешь, так не наговоришь. А знаете — я сейчас очень отдыхаю у себя в квартире по вечерам. Я одна-одинешенька. И я хожу, знаете, чтобы тишину не нарушить, тихонечко.

(Пауза.)

— Слушайте, вам моя тубетейка не нравится?

— Нет, Нина, она вам совсем не идет. Я вообще не люблю тубетек. Мама бывает в восторге, когда я надеваю свою. Но я не люблю.

— У вас хорошая тубетейка?

— Обыкновенная. В общем, я вас в свет не вывожу, пока вы ее не снимете.

* [В ЧН:] Вот Л.Я. говорит, что она скептик.

Разговаривают две женщины, обе настойчиво жалуясь, — но с разных позиций.

П.В. — позиция слабости, неудачницы, всегдашней обиды; теперь обиды в новой, блокадной форме. Так что дело не в обстоятельствах, а в собственном ее устройстве, не приспособленном к соприкосновениям с жестокой действительностью (она ведь едва способна «пискнуть в ответ»). Отсюда любопытная формула: «Мне всю жизнь было плохо. И теперь так же. Так никакой разницы». Но тут же — «а я все-таки стою лучшего».

Человеческое самоутверждение в любом самоуничижении ищет лазейку. В ламентациях П.В. лазейка — это ощущение несоответствия между позицией слабости (пусть обусловленной изнутри слабым жизненным напором) и ее данными и возможностями. Она красива, и своеобразно красива, в вузе она была на виду, у нее находили способности. Все, что П.В. говорит о себе, ориентировано на эти дифференциальные отношения.

Н.Р., казалось бы, явление полярное. Она деятельная, мужественная женщина, способная освоить самые трудные положения. Но у полярных предпосылок сходные результаты — жалобы. Ее тоже «обидели, обхамили». Если П.В. выдвигает причины психологические («с моим характером»), то у Н.Р. обострение социальной неполноценности. В отличие от П.В., она не вышла из буржуазно-интеллигентной среды, но явно принадлежит к слою более демократическому. Н.Р. не хороша собой, не уверена в том, как нужно одеваться, держать себя. Соответственно, она ищет опору в своего рода неонароднических представлениях, в частности, в представлении об особой моральной ценности физического, «простонародного» труда («грязь, которая пачкает только кожу...»). У нее чувство превосходства над теми, кто не может работать токарем и ухаживать за коровой. Пребывание же на умственной работе приносит только чувство ущемленности. «Кому татары, кому ляхтары (цитата из популярного в свое время «Голого года» Пильняка), а кому ничего». Это об отношении начальства. Служивцы же какие-то чересчур изошренные. У некоторых не поймешь, где шутка, а где всерьез. А у нее шутки сами по себе (пошутить — это хорошо, придает бодрости).

Ламентации П.В. предполагают психологическую обусловленность, тем самым закономерность ее неудач; ламентации Н.Р., напротив того, имеют в виду только враждебные обстоятельства. Объединяет их простодушное отсутствие маскировки — свойственное женскому разговору и гораздо реже встречающееся у мужчин. Вероятно потому, что мужчина, даже самый эгоцентричный, реализуется в своем разговоре через интересы и ценности общего значения.

У обеих собеседниц — сосредоточенность, без стеснения выражающаяся вовне. С поводом и без повода всплывает на поверхность безостановочная, занятая собой внутренняя речь. Так и течет этот разговор. Каждая из них ведет свою партию, только поверхностно и формально соприкасающуюся с партией собеседницы. Только отправные точки для реплик. И в каждой партии чересполосица жалоб, признаний неполноценности

и попыток самоутверждения. Работа токарем, корова, детские ясли — это самоутверждение. Но его изнутри разъедает чувство неполноценности. Ведь в пределах нормальных профессий Н.Р. никак не может найти признание. Ее «за интересную работу можно бесплатно купить». А раз не дана интересная работа — остается поза цинизма, утешающая человека, как всякая игра и поза. Цинизм понимается просто — «желание ругнуться крепко»; выражения «жрать нечего», «какого черта» должны служить словесными знаками цинизма. Словоупотребление Н.Р. вообще отличается буквальностью, отсутствием запретов и разрывов между содержанием сообщения и его стилистикой. Относящий себя к элите, напротив того, всегда пользуется словесными масками. Они заграждают вход в мир его чувств, обеспечивают его мыслям свободу. Н.Р. с полной серьезностью говорит: «Я так грустила», «наставительное письмо», «грязь, которую легче отмыть» (метафорически).

Цинизм, скептицизм — это только надрыв, порождающий игры и уклонения демократического по своему существу сознания.

Народническая его фактура выражается порой мхатовскими интонациями и кряжистыми оборотами: «битая, колоченная, никем не проглоченная», «похлебнее», «одна-одинешенька», «ходит тихонечко». Это сигналы того же порядка, что и корова. Они должны означать человека — пусть с надрывом, но все же почвенного — в окружении беспочвенного актерско-литераторского трепя.

Речь П.В. также идет зигзагом — от признания фатальности своих деловых неудач до слабых попыток делового самоутверждения (большому начальнику понравилась ее передача...); от реминисценций юношеской духовной жизни (они воплощены интеллигентскими штампами: «вопрось», «неизвестно зачем существую...») до откровенных, весьма специфических штампов женской речи, расположенной — даже в обывательской иерархии — на низком уровне. Это разговор о поклоннике, который стал ходить раз в неделю и приносить пустячки. Слова «поступления», «не что-нибудь солидное» особенно выдают специфику. И в то же время сквозит в ее речи какая-то догадка об этой самой специфике, оттенок не непосредственного употребления этих слов. Ведь сразу же после разговора о пустячках и солидном следует игра со словом «мамаша», запрещенным в интеллигентской речи.

Когда собеседницы, упорно говоря о себе, вступают все же в контакт, обнаруживается неожиданное соотношение. Сильная женщина Н.Р. ищет у слабой покровительства. Она не знает: тубетейка — это хорошо или плохо? И П.В. берет решение на себя («Я вас не вывожу в свет...»). Сознание женского превосходства для женщин настолько серьезно, что слабая учит жить сильную и вообще задает тон. Н.Р. в этой области не имеет претензий, и ей не обидно. Все это выражено разговором о тубетейке.

Входит Липецкая с платьем в руках. Это платье становится отправной точкой развертывающегося разговора.

П.В.: Покажите, покажите. У вас что-то симпатичненькое. Это она вам сшила? Но эту девушку надо кормить с утра до вечера...

— Более или менее.

— Сколько же это вам обошлось?

— Дорого, дорого. Я вам скажу. Кроме денег — полкило хлеба в день и еще целый день я ее кормила.

— Н-да...

— Дорого, если перевести на деньги. Но в общем получается платье. Понимаете, какой-то облегченный быт в смысле рождения платья.

Н.Р. (перебивает течение разговора немотивированным сообщением о себе; это именно то, на чем она внутренне сосредоточена. Липецкая сочувственно реагирует): Я скоро уже поселюсь у себя в комнате. Очень это перетаскивание трудно.

Липецкая: А тот не появлялся милиционер, который обещал вам помочь?

— Появлялся, но неудобно все время пользоваться. Надо еще перевезти вещи брата. Книжки там пропадут. Несколько шкафов. Шкафы тоже пропадут. На дрова изрубят.

П.В. (Липецкой, продолжая диалог): Оно вам к лицу.

— Очень. Мне вообще английские вещи идут.

— Кому они не идут. Они всем идут. Мне безумно хочется что-нибудь себе сшить. Просто никогда так не хотелось. Но как это? Пока что я думаю, не сшить ли себе зимнее пальто. У меня лежит пальто мужа. Ничего, конечно, из этого не выйдет.

— Я рассчитываю сегодня получить хлеб. Еду на концерт на хлебозавод. Вот как стоит вопрос. Тогда еще что-нибудь себе сделаю.

— Что это такое?

— Пять яиц.

— Какая прелесть. Откуда это? Подарок?

— Подарили. У меня тут еще подарок.

— Я сейчас тут одинока. Мой поклонник на фронте. Так что... Ничего, пока что я себе буду заказывать муфту и капор.

— Тоже вещь.

— В общем. Отвлеченно. Кстати, надо это засунуть, чтобы не забыть. (Перекладывает хлеб.)

О.: Вы, я вижу, умудряетесь сохранить хлеб на вечер.

— Это я для мамы сохраняю. У меня мама теперь голодает. Так что я занимаюсь тем, что непременно должна ей приносить. Иначе скандал получается.

Между П.В. и Липецкой идет классический женский разговор: портниха, наряды. Но осуществляется он в необычайной, невероятной (блокадной) ситуации. И ситуация сообщает репликам совсем особые вторые смыслы и подводные темы. На вопрос, сколько обошлось платью, Липецкая с восторгом отвечает: «дорого, дорого». Вопрос открывает перед ней широчайшие возможности самоутверждения. Осуществляется оно не столько в женском плане, сколько в профессиональном. Все эти женские блага —

платье, чулки, духи — оплачены хлебом, а хлеб, в свою очередь, цена ее актерского успеха. У ситуации своя, невиданная мера ценностей. Переводится она на язык самого прямого и простодушного хвастовства своими успехами и их материальным результатом.

Для П.В. это тоже не просто разговор о тряпках. Сейчас сшить себе платье — это прикоснуться к нормальной человеческой жизни. Это забыть, вроде как бы напиться или затанцевать до одури. Именно потому «безумно хочется» и «никогда так не хотелось». Но все это ей не по силам, даже сшить пальто из пальто мужа. «Ничего, ничего из этого не выйдет» — ламентация по этому поводу и по поводу того, что мать голодная и надо ее кормить из своего пайка. Но по мере того, как продолжается разговор о хлебных перспективах Липецкой, о пяти яйцах, полученных в подарок, и проч., у П.В. возникает потребность сопротивления — оказывается, она тоже могла бы побеждать обстоятельства, только не профессиональным способом, а женским (поклонник на фронте). Пока что в противовес она выдвигает муфту и капор. И Липецкая, благодушная в своем торжестве, снисходительно подтверждает: «тоже вещь».

(Входит Ярцев.)

Липецкая: Я сегодня купила себе духи. Те я разбила. Слушала Седьмую симфонию и разбила.

— Я слышу — какой-то другой запах.

— Двадцать рублей. Самое дорогое, то есть и самое лучшее. Я вдруг поняла, что это не противно. Вполне прилично. Я очень люблю духи. И сейчас это нам необходимо. Где только не приходится тереться. Да, начинается концерт...

— Он начинается часов в шесть?..

— Он начинается часов в семь и помещается, к сожалению, в конце Международного²⁹. Этот самый хлебозавод.

— Дай бог, чтобы в девять...

— Вечером мы, наверное, перекликнемся. Дом вовсе не 8-а, а 14, во дворе. Наряд на вас у меня уже есть.

— Насчет 14 во дворе. Зонне подходит ко мне и говорит, нельзя ли начать позднее...

— Тогда поедете без меня. Я все объясню. Выйдете из двадцатки, пройдете буквально один дом.

Ярцев (П.В.): Так, слушаю вас.

— Так, тут было три рассказика.

— А стало два.

— А стало два.

— А мы поглядим, поглядим.

— Хорошие рассказы. Можно было и три.

— Нет, это много, у актеров воздуха не будет.

— Я решила, чтобы был воздух. Вы можете подождать пять минут?

— Ни одной. Мне должны впрыскивать аскорбин. Наконец, я добился. Так что иду оскорбляться.

В разговоре со своим коллегой Ярцевым Липецкая продолжает ту же партию, с тем же удивительным отсутствием словесной маскировки. Но разговор о покупке духов — это не просто лобовое хвастовство, здесь есть более тонкая глубинная тема — победы над обстоятельствами. Обстоятельства до такой степени побеждены, что можно относиться к духам не как к явлению ослепительному, сказочному (в ситуации самой неподходящей для духов), но говорить о них свысока (не противно, прилично...), применяя критерии нормальной жизни.

Далее Липецкая с удовольствием переходит к деловому разговору о концерте. Это сфера, питающая переживание собственной профессиональной ценности, непосредственно связанная с вытекающими из нее благами. О ней говорить так же приятно, как о благах. Адреса, номера домов, расписание — все это аксессуары, которыми лестно оперировать, повторяясь, вдаваясь в ненужные подробности.

Попутно у Ярцева завязывается краткий диалог с П.В. Там были прежде какие-то отношения (может быть, просто флирт), которые П.В. хочет продлить, а он не хочет. Поэтому у него интонация доктора, успокаивающего пациента, — «поглядим, поглядим».

П.В. наивно подхватывает театрально-жаргонный термин «воздух». Ей хочется иметь с режиссером *общий язык*. Притом это словоупотребление подтверждает ее всеми оспариваемые деловые возможности.

(Ярцев уходит. Входит З.)

Н.Р.: Хорошее платьеце.

Липецкая: У З.А. есть еще одно славное платье с воланчиками.

— Я не знала, что у меня есть платье с самоварчиком.

— С самоварчиком?

— Вы сказали.

— Я сказала — с воланчиками.

Липецкая (упаковывая сумки): Еду на хлебозавод. Концерт и хлеб. Хлеба и зрелищ. Им зрелищ, мне хлеба. Не знаю, если дадут столько, сколько в прошлый раз, то это — я не знаю... Я пять дней ела и ела хлеб. И они говорят — берите, берите, сколько хотите.

П.В.: Какой — белый?

— Главным образом — черный. Но вкусный — замечательно.

З.: Мне нравится, как вы укладываете эту тару.

— Ленинградские актеры теперь так натренированы. Но иногда эта тара возвращается пустая. Но так обидно, когда что-нибудь есть и не во что взять. Так что на всякий случай...

П.В.: Ну, сегодня не вернется пустая...

Н.Р.: Не говорите при мне о хлебе.

З.: Никогда нельзя говорить при людях, которые голодные.

Липецкая: Нет, я не просто так говорю. Я ее пригласила с утра кушать хлеб. Вы будете уже с утра кушать хлеб.

Н.Р.: Вы мне о хлебе расскажете завтра.

(Липецкая уходит.)

З.: Господи, как это бестактно. Как можно об этом говорить?

П.В.: Да, она меня тоже чем-то раздражила. Какой-то она получила подарок. Семга, нет, не семга. Не могу вспомнить. Да, пять яиц. Нина, пойдёмте на рацион шроты жрать.

О.: Зачем вам жрать шроты — сбегайте на хлебозавод.

— Вот Нина могла бы. Я ее еще возьму в оборот.

(Уходят.)

З.: Возмутительно. Слушайте, как это можно. Ведь они всегда голодные. Какая бестактность! Я с трудом удержалась, чтобы не сказать, что она дура. Вообще она очень нехороший человек. Фальшивый.

(Входит Н.Р.)

— Вы о чем тут? О Липецкой?

З.: Я говорю, как это нехорошо. Можно такие вещи говорить в кругу людей, которые имеют обед без выреза, но не при голодных же людях*.

Н.Р.: У нее это так непосредственно получается. Я никогда не обижаюсь. Даже странно, я начала писать мужу. Сначала мне трудно было. Потом вдруг развеселилась. Продолжала, знаете, совершенно спокойным голосом. Написала о московских подарках. Кому татары, кому лютары, а кому ничего. В таком ироническом тоне...

— А что такое?

— А меня сегодня обхамили, обидели.

Режиссер М.: Товарищи, говорят, что мы водку получаем. Очередные пол-литра.

З. (П.В.): Возьмете завтра.

— Завтра в нее прибавят еще больше воды.

— Мы-то, рационщики, пока ничего не получаем.

— Неужели вам будут класть в суп по ложке водки?

— Или выдавать по рюмке к обеду?..

Женский разговор, прерванный появлением режиссера, готов возобновить свое течение. Поэтому, когда входит З., внимание по инерции направляется на ее платье. Вспоминают и другое ее платье. Но З., в качестве светлой личности, не разговаривает о туалетах — низкая тема. Отказ от нее дает женщинам ощущение человеческого превосходства, так же как понимание тонкостей этой темы дает им ощущение женского превосходства над

непонимающими. З. не хочет быть втянутой в бабий разговор, и она ускользает, инсценируя словесную путаницу (самоварчик — воланчик). «Самоварчик» переводит разговор в колею смешного, вскрывает смешное звучание слова «воланчик», которое мыслящий человек не может употребить всерьез.

* [В МЧН:] Можно такие вещи говорить в кругу людей, как Мк., как я, которые имеют обед без выреза, но не при голодных людях.

Не обращая на это внимания, Липецкая продолжает свое. Но среди пугающих своей прямоотой сообщений, о том как она «пять дней ела и ела хлеб», вдруг появляется формула «хлеба и зрелищ» («им зрелищ, мне хлеба»). Формула, призванная показать, что по своему культурному уровню она, в сущности, выше грубо материальных интересов, но в данных обстоятельствах она с успехом и удовольствием реализуется на этом материале. Умело организованная тара также входит в эту реализацию.

Три женщины подают реплики по ходу этого разговора. Каждая в своем роде. Реплики П.В. — в основном разрядка аффекта. Аффекта зависти — к платью, к хлебу, а через них к победоносной жизненной позиции (тут зависть всего острее). О хлебе — «какой — белый?», о таре — «ну, сегодня не вернется пустая» — это саморастрavляющие реплики. Зависть П.В., в сущности, добродушна. Завидуя, она никому не желает зла, даже житейской неудачи. Это и позволяет ей завидовать честно, без камуфляжа, объясняя это обычно утаенное чувство вполне адекватными ему словами. После ухода Липецкой: «она меня раздрадила...», «семга, нет, не семга», «да, пять яиц». Яйца — это прекрасная реальность. Семга — мечты. И мечте противопоставляется умышленно грубое «шроты жрать».

А З. настойчиво ведет свою тему — тему отрешенности от всего низменного, морального превосходства над окружающими. «Мне нравится, как вы укладываете эту тару». Это совсем не механическая речевая реакция на внешнее впечатление. Эта реплика расшифровывается: тут все завистливо толкуют о хлебе, который достанется этой женщине, а меня занимает, например, ловкость ее движений.

Но З. не удержаться в таких пределах, и следующая реплика — уже прямое суждение, осуждающее, наставление и утверждение своего душевного благородства: «нельзя говорить при людях, которые голодные».

Липецкая, как бы не замечая обидный смысл замечания (она слишком упоена), в ответ объясняет свое поведение наилучшим образом. Она «не просто так говорит», она приглашает Н.Р. «кушать хлеб». И в самом деле — у нормального, не злостного, не сверхэгоистического человека потребность помогать, кормить, опекать также входит в систему самоутверждения.

После ухода Липецкой З. с жадностью возобновляет разговор. Пафос осуждения и морализования теперь уже ничем не ограничен. О бестактности и аморальности Липецкой речь идет в отсутствие пострадавшей (Н.Р.). Но вот Н.Р. возвращается. З. не только не прекращает разговор, но повторяет для пострадавшей его основные положения. «Можно такие вещи говорить в кругу таких людей, как Кам., как я...» — это доводится до сведения бескорыстность ее негодования, лично она не ущемлена, не завидует.

Свое превосходство над окружающими (моральное) З. утверждает с не меньшей прямолинейностью, чем Липецкая, — без эвфемизмов и умолчаний. Соответственно слова у нее однозначные, синтаксис развернутый и дидактический, необычный для устной речи. Только что оберегавшая от чужой бестактности голодного человека, теперь этому самому голодно-

му человеку З. говорит, что он голодный и что при нем надо воздерживаться от возбуждающих разговоров.

Н.Р. нужно защититься, а для этого защитить Липецкую (помощь которой она принимает) — «У нее это так непосредственно... Я не обижаюсь». Но о том, как ее обхаживали, обидели, обошли при распределении московских посылок, она испытывает потребность рассказать, эмоциональную потребность. И, как обычно у Н.Р., жалобы на унижающие обстоятельства смешиваются с сообщением о мужественном преодолении обстоятельств. Так она говорит о письме на фронт к мужу (он нуждается в ободрении), написанном спокойно и «в таком ироничном тоне». Наивное понимание иронии, свойственное людям, далеким от того подлинного иронического состояния сознания, которое исключает, конечно, подобные высказывания о своем «ироничном тоне».

Н.Р. (после разговора по телефону): Это много менее приятно, чем я думала. Сегодня надо на огород ехать.

З.: Ой!

П.В.: Вечером?

Н.Р.: Черт его знает.

З.: Хоть погода хорошая. Это приятно.

Н.Р.: Да. Но в таких случаях следовало бы предупреждать.

Н.Р. (по телефону): Так. Если вы сумеете организовать машину, то Инбер будет выступать. Здесь. Но в комнате его сейчас нет. Хорошо. Позвоните. Дайте мне его.

— Он уже повесился. «Я спешу, я бегу — пока».

— В городе нет ни мышей, ни мух, ни клопов. Ничего.

З.: Клопа одного видела.

— Видели? Это событие.

— А что это Т. говорил, что ожидаются какие-то крупные улучшения в вашей столовой.

Н.Р.: Пока что мы этого не видим. Мы видим шроты, шроты и шроты. Причем шроты в двух видах.

З.: Возмутительно!

П.В.: Опять Т. будет в пять, и это будет не пять.

Н.Р.: Звонил Т. и сказал: вы едете на огород? Машина готова. Сговоритесь с Поповым.

П.В.: Водку я, очевидно, сегодня не буду получать. Или получить и спрятать?

— Интересно — где?

Н.Р.: Скажу Т. — если дадите табак — поеду на огород. Я совершенно не могу без табака.

З.: Не знаю из-за чего — из-за Пушкина или Блока, но очень люблю это имя — Александр.

П.В.: Все-таки мне надо, очевидно, сматывать удочки.

З.: Вы все-таки сначала поговорите.

— Судя по его тону...

— Но поскольку Яша занимает другую позицию.

— Яша никакой позиции не занимает. Я же вчера говорила. Он очень уклончив. Ни на какую позицию я не надеюсь. Его отношение ко мне очень изменилось.

— Да. Вы уверены, что это не объясняется его состоянием сейчас?

— Его отношение ко мне очень изменилось. Раньше он меня провожал — так, из частного интереса к человеку. Когда у меня были неприятности, он успокаивал. Когда я была голодна, он меня водил в столовую, кормил по своей карточке.

З.: За то время, что я здесь, он вообще страшно изменился. Он ведь вас не видит, не слышит, не здоровается.

— Чем вы это объясняете?

— Я объясняю — это большая поглощенность чем-то другим.

И известная невоспитанность.

(З. уходит.)

Н.Р.: Я отбойриваюсь. Я сказала — ничего не имею против в принципе, но меня надо было предупредить. Я оделась бы потеплее, взяла бы табак. Он сказал — но завтра зато пешком будете идти.

— Как же это вы пойдете пешком?

З. (входя): Все-таки, товарищи, у меня пропали карточки.

— Каким образом? Где?

— В той комнате — украли. Я вышла и просила О.Н. (это секретарша) посмотреть за портфелем. Она забыла и тоже ушла. Когда я вернулась, там никого не было.

— А портфель?

— Портфель был. И знаете — все очень странно. Во-первых, карточки взяли не все, а только хлебные — на декаду. Во-вторых, там были деньги. Так денег взяли только часть. Все очень загадочно.

— М-м-м.

— Погодите, это еще не все*. После этого в моем портфеле обнаружилась неизвестная женская фотография.

— Боги!

— Такая хорошенькая головка. Силуэт. Сидит в купальном костюме. До половины срезана.

— Лучше всего, что в купальном костюме! Еще, подлецы, издеваются.

Н.Р.: Послушайте, надо вызвать собаку. Она обнюхает женскую головку и немедленно найдет ваши карточки.

О.Н. (входя): Но как же это? Я все-таки не могу не возвращаться к этому вопросу.

З.: Не стоит об этом говорить.

* [В МЧИ:] Совершенно авантюрная история.

— Как же это? И что у вас там еще было?

— Деньги были.

— И все осталось?

— Часть денег тоже пропала. Денег, конечно, меньше жалко.

О.Н.: Господи, пять дней без хлеба — это ужасно.

— Хорошо, что остальные остались.

— Что же — только хлебные? Так что водку и изюм вы получите?

— Водку я получу. Признаться, я предпочла бы хлеба.

— За вашу водку вы можете получить на месяц хлеба.

— Не будем об этом говорить. Во всяком случае, имея обед, за пять дней я не умру. А это, в конце концов, самое главное. Ничего, товарищи, бывает хуже.

Пропавшие карточки — своего рода кульминация жизненного поведения З. Одно из самых больших несчастий, какие могут постигнуть блокадного человека, переносится не только бодро, без жалоб, но объявлено фактом второстепенным — по сравнению с высшими интересами. Но о силе высокого духа все вокруг, по возможности, должны знать. Очень поэтому кстати все превращается в увлекательную историю, юмористическую, сюжетную, — следовательно, имеющую общий интерес. Это настолько кстати, что допустимо подозрение — не вымышлены ли некоторые детали для украшения этой истории.

Ольга Николаевна, секретарша, расстроена и взволнована. Она чувствует себя виноватой, так как вышла из комнаты, забыв про порученный ей портфель. З. успокаивает ее — это красиво. Узнав, что талон на водку сохранился, О.Н. с облегчением подсказывает практический выход: за водку можно получить «массу хлеба». Но З. быстро отводит эту тему — «не будем об этом говорить». Ведь если водку можно обменять на хлеб, то мужественное поведение окажется как бы несостоявшимся.

Немцы стреляют по городу. Пространство, отделяющее немцев от Ленинграда, измеряется десятками километров — только всего. А механизм разговора работает, перемалывает все, что придется, — мусор зависти и тщеславия, и темы жизни и смерти, войны, голода, мужества и страха, и горькие дары блокадного быта.

Столовая

Сейчас (в отличие от зимы) в столовой уже разговаривают — не только произносят отдельные фразы. Человек стремится объективировать в слове самые актуальные для него содержания своего сознания или овладевшие им аффекты. Блокадные люди, естественно, говорят о голоде, о еде и способах ее добывания и распределения. Самое пребывание здесь, в столовой, способствует этому в особенности.

В то же время сейчас (в отличие от зимы) людям уже мучительно хочется освободиться от дистрофических наваждений; освободиться — шуткой, сплетней, профессиональными соображениями, рассуждениями

о литературе... Но блокадная тема всегда присутствует, явно или скрыто, — намагниченное поле, от которого нельзя оторваться.

Люди в этой столовой расположены на разных ступенях отношения между человеком и голодом. Здесь есть писатели на гражданском положении и на военном (то есть корrekтно одетые и более сытые), здесь, наряду с писателями, есть и другие прикрепленные к столовой — раздражающие писателей, потому что они создают очереди, а главное, потому что нарушают законы и правила элитарности.

Градации голода и сытости определяют содержание разговоров, то есть определяют возможность индивидуальных отклонений от главной темы. Сквозь блокадную специфику различимы вечные механизмы разговора — те пружины самоутверждения, которые под именем тщеславия исследовали великие сердцеведы, от Ларошфуко до Толстого.

Механизмы повседневного разговора владеют человеком, но они его никогда не исчерпывают. Люди, плетущие в этой блокадной столовой свой нескончаемый разговор, — прошли большими страданиями. Они видели ужас, смерть близких, на фронте и в городе, свою смерть, стоявшую рядом. Они узнали заброшенность, одиночество. Они принимали жертвы и приносили жертвы — бесполезные жертвы, которые уже не могли ни спасти другого, ни уберечь от раскаяния.

А механизм разговора работает и работает, захватывая только поверхностные пласты сознания. Стоит ему зачерпнуть поглубже — и все вокруг испытывают недоумение, неловкость. Каждому случалось говорить слова, которые были истинной мерой жизни, — но это в редкие, избранные минуты. Такие слова не предназначены для публичного, вообще повседневного разговора. Он имеет свои типовые ходы, и отклонение ощущается сразу как нарушение, неприличие.

Лучшее, что есть в человеке, в его разговоре запрещено. Оно не стереотипизировалось, и неясно, как его выражать и как на него реагировать.

Повседневный разговор не слепок человека, его опыта и душевных возможностей, но типовая реакция на социальные ситуации, в которых человек утверждает и защищает себя как может.

И блокадная ситуация, при всей неповторимости, быстро отстоялась своими шаблонами разговора.

За столиком вместе с писательницами* бухгалтерша из цирка с мальчиком.

Писательница: Все равно я не могу успокоиться, пока у меня в шкафу хоть одна конфета. Я все равно подхожу и подхожу, пока все не съем. Тогда кончено, и совершенно не страдаю оттого, что у меня нет конфет. Вот я страдаю оттого, что масла нет, — это действительно.

Вторая писательница**: У меня то же самое с конфетами. Я уже запираю от себя — не помогает. Пока они есть — не находишь себе места.

* [В ЧН:] писательницей Эльпорт.

** [В ЧН:] Бер.

Бухгалтерша: Знаете, у нас такой диван с верхом в виде шкафа. Так устроено. Мы с ним (с ребенком) спим на диване. У каждого свое одеяло (признак цивилизованности), но спим вместе. Вот он начинает ворочаться, ворочаться. «Мама, мама!» Я говорю: «Ну, что такое?» Он говорит: «Ты же знаешь — ну еще одну из шкапа...» Это конфеты. Так пока все не вытащим. Он у меня раньше нигде ничего не ел; очень избалован был всяким домашним. Если бы не он, я бы ни за что не уехала.

— Вы куда?

— В Ярославль. Я ведь с цирком.

— А, вы обязаны с цирком. Что же, весь ленинградский цирк едет?

— Нет. Там ведь группы. Такая система.

— А вы что делаете в цирке?

— А у меня работа неинтересная (стесняется) — бухгалтером.

Мне сейчас предлагают в одном высшем учреждении — хорошие условия. Но я решила ехать. Все равно, пока знаешь, что оно не стоит в шкапу и нельзя подойти и сварить, — все равно сыт не будешь.

— Нет, там хорошо кормят. Вы были бы сыты.

— У меня в Ярославле мама. Она пишет, что все есть. Все бросай, приезжай поскорее. Я когда прочла это, так захотелось ехать.

Третья писательница* (энергичная и принадлежащая к блокадной аристократии): Так надоели эти каши.

— О! Уже надоели. А мне бы так побольше.

— Нет, я уже не могу. Заелась. Я никогда в жизни столько не ела. Дома были вечные разговоры: Ниночка, съешь, мамочка, съешь, ты ничего не ешь. Я съедала утром чай с булкой и маслом — и до вечера. Вообще не было времени. Теперь я ем. Меня развезло от этих каш.

— Безобразия, что здесь теряешь столько времени.

— Да, чтобы что-нибудь получить в буфете...

— Я беру в буфете только когда нет очереди. Что очень редко.

Я просто не могу себе это позволить. Я предпочитаю заплатить тридцать рублей за эту сою... Это неслыханно, что нас здесь заставляют терять два-три часа.

— Главное, чем больше народу уезжает, тем больше народу обедает.

— Самое интересное, что те, кто здесь обедает, не только не писатели, но даже не читатели. Вы посмотрите.

— Я уже думала — если б у нас было столько произведений, сколько здесь обедающих.

— Я еще не знаю, выиграли ли бы мы на этом.

— (Смех.) Верно. Но вы посмотрите — это не только не писатели, это даже не читатели.

— Я вчера опять выступала в госпитале. Они так принимали, так принимали. Даже нельзя было себе представить. Я с ними разговаривала. Какие люди! какие люди**.

— Вы что же читали?

* [В ЧН:] Пап.

** [В ЧН добавлено:] , Л.Я.

— Рассказики свои. Просят постоянно бывать. Они уже там знают, как я отношусь к кашам, и стараются дать что-нибудь другое. Я вообще стараюсь отказываться. Но неудобно.

Между писательницами и бухгалтершей из цирка идет обычный блокадный разговор о голоде, о распределении еды, о том, как именно это у каждой из них получается. Новую тональность вносит третья писательница, вроде актрисы Липецкой, побеждающая обстоятельства. Победоносность выражается в том, что к материалу блокадной жизни применяется фразеология мирного времени, нормального быта: надоело... невозможно терять столько времени... неудобно отказываться... Все это совершенно вне ныне действующих норм отношения к еде и выражает поэтому их преодоление. Наряду с этим троглодитски примитивное отношение к обыкновенным людям, претендующим на то, чтобы обедать на равных с ней правах. Зато в госпитале — какие люди! (сублимация), и эти люди ее одобрили.

Но демонстрировать свое превосходство приходится все на том же блокадном материале. Мерилом ценности оказывается та же надоевшая каша, которую заменят «чем-то другим».

За другим столиком:

— Это хорошо. Но мне надоели эти повторяющиеся концовки. Это очень нарочно.

— Да, то есть вы стоите за кольцевые обрамления...

— Ну да, два раза переламывается его судьба, и оба раза из-за крысы. Это, конечно, возможно и это могло быть. Но когда это написано...

— Нет, почему. И это очень просто, хорошим русским языком. А говорит, что это бирсовская тематика. А по-моему, она достаточно русская. Написано даже не по-горьковски, потому что Горький цветистый. Я бы сказала, что-то купринское.

— Нет, но меня раздражают эти концовки. Даже не то, что написано, а что именно А. это выдумал.

*— Очевидно, нельзя читать рассказы своих знакомых. К сожалению, все знакомые.

За этим столиком гордятся тем, что среди разговоров о еде ведут разговор знатоков, со специальной терминологией. Одна из разговаривающих**, всегда голодная, жадно подтирает кашу из тарелки, но у нее многолетняя инерция литературных изысков (кольцевое обрамление). А другая*** раздражена тем, что в психологические тонкости пустился А.****, ее знакомый, который, по ее мнению, не лучше, чем она, хотя сам думает, что лучше.

Сегодня в столовой дежурит (деловито движется между обеденным залом и кухней) председательница общественной столовой комиссии Н.С.***** Н.С. — сверхинтеллигентка, училась

* [В ЧН:] От.:

** [В ЧН:] Н

*** [В ЧН:] Вечт

**** [В ЧН:] Брандт

***** [В ЧН:] Войт

в Сорбонне, в Париже. Там же почему-то окончила кулинарные курсы. Дифференциальным сочетанием интеллектуальной и кулинарной изощренности всегда гордилась. Сейчас же кулинарное начало стало средством победы над обстоятельствами. Н.С. ходит оборванная, запущенная, но совершенно не унывающая. Она с удовольствием говорит о деталях приготовления пищи. И с блокадным материалом у нее принцип обращения такой, как если бы это была спаржа и брюссельская капуста. Это тоже способ преодоления блокадного нигилизма; одолевали его люди по-разному — бreaсь, читая научные книги.

— Обращаюсь к вам как к кулинарному авторитету — что делать с таким салатом?

— Собственно, его нужно выбросить.

— Вообще говоря — да. Но учитывая обстановку...

— Учитывая обстановку, его можно стушить.

— То есть это уже будет не салат...

— Конечно, разве можно есть как салат такую горькую гадость.

Его нужно отварить, как варят брюссельскую капусту.

— Да, я от кого-то слышала.

— Это вы от меня же слышали. Должен быть соленый, крутой кипяток. Лучше первую воду слить. А тот хороший салат. Я взяла стволы и отварила их как спаржу, с постным маслом. Мы ели, очень вкусно.

— А листья?

— Ну, из листьев я сделала салат. Что же еще? Я прибавила немного уксуса, немного масла, сахара нет...

— У меня нет ни уксуса, ни масла. Ничего, кроме соли, да и той нет.

— Нет, а мы с дочерью решили сейчас — как можно больше питания. Мы уже с утра варим зеленую кашу. Знаете, чуть-чуть муки, постного масла. Вообще зелень подешевела. Я купила вчера около нашей булочной на шестнадцать рублей — очень много.

У Н.С. — разговорный тон, оттенок юмора, французские фразы, внедряющиеся в русскую речь, и специфические кулинарные клише. Все это — в применении к роковой теме еды. Она говорит об этом заинтересованно (отчасти как знаток-специалист), но в том же психологическом модусе, что и обо всем другом. Тогда как у слабых и побежденных совсем другой модус. Их разговор о еде — разрядка аффекта, и он не нуждается ни в каком объективном, практическом осмыслении содержания.

*

— Теперь я всю жизнь буду есть каши. Я этого не понимала.

— А я всю жизнь ела каши.

— Нет, я не ела каши. К тому же я всю жизнь безуспешно старалась худеть. Я в домах отдыха всегда отказывалась от утренней каши.

Вообще не ела никаких каш, кроме гречневой. Гречневую я любила.

* [В ЧН:] Кор, Бор, Кузн

— Это как раз единственная каша, которую я не ела. Я никогда не ела черного хлеба.

— Я тоже очень мало. А сейчас я не скучаю по белому хлебу. Дали бы мне побольше черного. И сейчас белый хлеб — не белый. Как ваши военно-морские дела?

— Да вот оформляюсь. Оформляют документы. Не знаю, как это будет.

— Вам полагается форма. Женщинам вообще не идет китель.

— Мне вообще идет форма. Но такая, пехотная. А морская — не знаю. Плохо, что без пояса.

*— Я теперь поняла секрет. Когда я съедаю подряд две каши — я сыта. Я долго не могла понять. Я приносила вторую кашу домой и сейчас же начинала ее есть. Оказывается, нужно съесть подряд. Я долго это не могла понять. Но тогда это тоже плохо, потому что нечем ужинать.

— Вечером можно есть зелень.

— Я сегодня стояла в очереди. И конечно, опять кончилось до меня за два человека. А зелень, которая у меня была, я засолила. Вообще зимой я не могла жить спокойно, если у меня дома не было сто грамм крупы. Я даже меняла на хлеб.

(Входит Г.** в военной форме.)

***— Еще одна военная! Слушайте, очень хорошо! Вы совершенно похорошели. Только губы намазаны непропорционально. Надо было чуть-чуть.

— Это потому, что я спешила.

— Нет, она действительно совершенно изменилась. Она была такая потертая.

Г.: Оля, что вы подельваете?

— Борюсь с патефоном, который не дает мне кончить книжку.

— Кто же это так упорно веселится в наши дни? Наверное, какой-нибудь ребенок. Заводит и заводит...

— Нет, до глубокой ночи. Подумайте. Я уже пробовала, я не могу его пересидеть. Что-то ужасное.

— Это о донорах книжка?

— Да. Нет, вообще о переливании крови. Знаете, я наконец поняла то, что никак не могла понять. Когда я съедаю две каши подряд, а не вразбивку, — я бываю сыта.

— Вторая каша — это вещь. Я вот хотела перехватить кашу у Е.М., но она вовремя одумалась.

— Я одумалась. Я вспомнила, что сегодня дают консервы. Каша сама по себе, без сахара, без масла, меня не прельщала. Но с консервами и немножко томата — это уже получается ужин. Правда? Если я еще получу и обед...

В прежней жизни любить гречневую кашу (когда можно есть анчоусы) — это акт свободного выбора (простая

* [В ЧН:] Кузн.:

** [В ЧН:] Гит.

*** [В ЧН:] Кор.:

и благородная пища). Реплика же «А я всю жизнь ела каши» — это простодушное использование возможности сказать вслух о том, что заполняет сознание. Но сейчас сознание вмещает уже и многое другое — даже идет ли женщинам военная форма или как лучше мазать губы. А для блокадных людей разговор на *нормальные* темы — это род самоутверждения. Но вот одна из собеседниц*, по сравнению с другими, задержалась на более низкой ступени процесса освобождения от блокадных наваждений. Она сохранила одержимость, откровенность. Она сделала открытие практическое, имеющее чрезвычайное значение для нее, интересное для окружающих, — надо съесть две каши подряд. От этой темы ее отрывают этикетными вопросами о том, что она «подельвает», о книжке, которую пишет. На этой почве у нее появляется сразу окольное словоупотребление, принятый в данном кругу несколько иронизирующий тон («борюсь с патефоном...»). И сразу же маниакально немотивированное возобновление темы открытия, темы двух каш, съедаемых подряд. Опять вся прямота голодной фразеологии («бываю сыта...»).

Другая собеседница находится уже на высшем этапе освобождения от дистрофии, поэтому ее реплика эвфемистична. Эвфемистичность в том, что реалии голода обозначаются неподходящими словами, словами, которые нельзя наложить без остатка: «каша — это вещь», «одуматься» — в применении к каше.

Речь о каше идет и за соседним столиком.

— Сколько вам этих супов наставили.

— Я очень люблю овсяный суп.

— Я тоже. Боже, прежде — я и овсянка! Я вообще никаких каш не ела. У нас дома никаких каш не было. Только иногда гречневую, такими крупными зёрнами, мы ели.

— Нет, я каши всегда ела.

— Я больше всего люблю цветную капусту. Цветную капусту обожаю, и вареную курицу. Рыбу не люблю. Когда я была маленькой, не очень, но все-таки девочка, — у меня что-то было с почками. Мне врачи год не позволяли есть черное мясо. И меня год кормили вареной курицей. И несмотря на это, я ее так люблю. Утром обычная еда у нас дома была картошка, селедка.

— Нет, селедку я прежде в рот не брала.

— Нет, почему... у меня всегда дома была селедка, соленые огурцы...

Одна из собеседниц утверждает свое превосходство тем, что не ела кашу, другая тем, что не ела селедку (тоже плебейское блюдо). И не евшая кашу чувствует, что ее с селедкой поймали врасплох. «Нет, почему...» — реплика растерянности. Потом настаивает на своем, расширяя демократическую любовь к селедке до любви к острой еде вообще. Так приобщение соленых огурцов облагораживает селедку.

* [В ЧН:] 3

За столиком Л.* (поэтесса, состоит в летной части), С.***, еще какая-то девушка. Речь о том, что Тихонов получил третий орден. Это разговор ведомственно интересный. Лестно, что в таком почете человек своего ведомства. Для зависти разговаривающие слишком незначительны по положению. Зависть есть, но совершенно абстрактного порядка. Младший дворник конкретно завидовал старшему дворнику, но домовладельцу он завидовал абстрактно. Это сообщение интересного и это демонстрация своей осведомленности по части событий, совершающихся на высших уровнях своего ведомства (столовая, ордера, конечно, животрепещущий, но низший план разговора).

— Это уже третий.

Л.: Ленина он получил, когда награждали писателей.

— За финскую войну — Красную Звезду...

— Нет, Красное Знамя, боевое, кажется. Да, Красное Знамя. И теперь Отечественной войны 2-й степени³⁰. (После паузы.) Все разные — красиво. (Во время паузы она представляла себе, как они лежат на груди. Это эмоциональная реплика.) И он подполковником считается.

С.: Одновременно появилась его статья о Ленинграде.

Продолжение интересной информации. Реплики из нее исходят и, цепляясь друг за друга, образуют движение разговора.

— Это в «Ленинградской правде»?

— Нет, и в Ц. О.³¹ тоже.

— Так «Ленинградская правда», значит, перепечатала?

— Нет, она здесь появилась совершенно независимо.

Л.: Ну, это Тихонову может пройти. Со мной бы так не прошло. «Ленправда» сейчас же в таких случаях устраивает истерику: мы не филиал центральной прессы. (Смысл скромного признания: далеко мне до Тихонова в том, что «Ленинградская правда» в сотрудничестве Л. заинтересована сверх меры. «Истерика» подчеркивает интимные, фамильярные отношения с редакцией.)

С. (продолжая обнаруживать осведомленность): Так ведь статья Тихонова сначала появилась в Ленинграде.

О.*** (прислушивается к разговору): А так как Ц. О. не боится, что ее сочтут филиалом...

С.: Филиалом «Ленинградской правды»! (Показывает, что шутка до него дошла.)

(С. застегивает портфель.)

Л.: Что, он у вас не застегивается?

С.: На один замок...

— Ну хоть на один... (Глядя в окно.) Какой вид из этого окна замечательный. Я всегда люблюсь.

С.: Да, какие-то такие ассоциации возникают... с морем... Ялтой...

Обмен бессмысленными репликами. Знакомым людям сидеть за одним столом и молчать неловко. Они заполняют

* [В ЧН:] Людмила П<опова>

** [В ЧН:] Скрипн<иков>

*** [В ЧН:] От.

пустоту чем попало — разговором о незастегивающемся портфеле. Замечание о виде из окна сопровождается, впрочем, удовлетворением от выражения своих эстетических переживаний. Нелепая ассоциация с морем и Ялтой означает, что С. просто хочется тоже сказать что-нибудь красивое. Но Л. уже круто поворачивает тему на себя, пользуясь подсказанной ей ассоциацией: море — Кронштадт.

— Хотя бы мне отправиться на время в Кронштадт. У моряков поработать. Море хоть повидать. Так нет, меня не отпускают. Их представитель уже говорил с нашим генералом. Так он сказал: нет, она и со своей армией не справляется... Нечего... Так и сказал — она и со своей армией не справляется. Шикарно звучит! Она и со своей армией не справляется.

Л. уже не может удержаться от сладостного повторения одной фразы. Все это слегка обволакивается атмосферой курьезности (рассказываю курьезный случай) нарочито вульгарным словом «шикарно».

Л. обидно, что Рывина, например, аттестована капитаном, а она рядовой (у нее среднее образование). Зато она настоящий солдат. В зависимости от контекста гордится то тем, что ей предоставляется полная поэтическая свобода, то тем, что к ней предъявляют требования как к всамделишному бойцу.

— (На улице) Ох, я заговорила, забыла приветствие отдавать. Вижу, как на меня грозно смотрят.

Рассказывается очень длинная история, как ее шесть раз задерживали за отсутствие фотокарточки на документе, но отпускали любезно (особое положение женщины и поэта). Наконец, пригрозили. Докладывают начальнику («мой генерал-майор»). Он тотчас же распорядился сфотографировать, переменить пропуск и на пять дней на гауптвахту.

— Кого?

— Меня. За то, что задерживали. Пять дней гауптвахты. Потом смиловивился. (Гауптвахта — звучит гордо.) Приняла участие в полете.

— Я когда куда-нибудь отправляюсь, потом могу писать дома, делать, что мне угодно, но должна рассказать, где я была, что видела. Я рассказываю начальнику, он вдруг как стукнет. Кто тебе позволил! С ума сошла! Еще раз что-либо подобное — расформирую, отправлю в Союз писателей. Так и сказал — расформирую и в Союз писателей.

Ее распекают как настоящую (хорошо, что даже на «ты»), но понимают притом, что она писательница.

Девушка*: Как я вам завидую, что вы с летчиками. Вы не можете себе представить, что такое для нас, обыкновенных людей, — летчики. Для меня летчики — святые люди. Они, наверное, из другого теста сделаны.

Л.: Нет, они из того же теста. Но, конечно, в них много такого, что их приближает к детям и поэтам.

(Это ответ поэта.)

За столом И., Н. и другие**.

* [В ЧН:] Нат<аша>

** [В ЧН:] За столом Прив<а-лова>, Хмел<ьницкая>, Уин<котт>, Муся.

И. преодолела тяжелую дистрофию, была ужасна на вид, но не прекращала интеллектуальной жизни и научной работы. Это очень маленькая научная работа, но она относится к ней со всей серьезностью архаической интеллигентки. Когда-то ее ближайшая приятельница Д. рассказывала, что в пылу каких-то пререканий И. сказала ей: но ведь я научный работник, а вы нет. Д. рассказала это, правда, в виде смешного случая, но сама была не без серьезности и, кажется, никогда не могла И. этого забыть или простить.

Следовательно, И. ощущает свое поведение как героическое (и она в своем роде права) — она ходила страшная, голодная, но она *продолжала* изучать литературу XVIII века. Вопрос о смысле и ценности этого изучения в данной ситуации для нее не стоял. Для нее самое дорогое (свидетельство ее жизненной силы) то как раз, что она продолжала прежнее по возможности без изменений. И надо сказать, это все же высшая ступень по сравнению с теми, кто использовал катастрофу как внутренний предлог, чтобы отбросить все, требовавшее умственного усилия. Но И. могла продолжать потому, что она *питалась*. Отношение к еде у нее не самоцельное. Это почтенное средство для сохранения высшей жизни; вопросы рационализации этого средства имеют для нее большой личный интерес, а также, с ее точки зрения, — общезначимый. Есть о чем поговорить.

И.: Вообще я предпочитаю брать на вечер в столовой. Дома с этими кашами столько возни (подразумевается — сохранение времени для умственной деятельности). Но здесь в последнее время никогда ничего не дают по вырезу. Мне необходимо брать в магазине, чтобы всегда иметь что-нибудь дома.

О.: Отчего, — я получил сегодня лапшу.

— Ну, это надо приходиться чуть ли в два часа. (Подразумевается: кроме своей научной работы, она занята еще серьезной и ответственной служебной работой. Не следует забывать — еда важный фактор, но она не цель, а средство.)

Н.*: Вам бы следовало иметь вторую карточку — рационную. Это все-таки очень удобно.

И.: Я не могу иметь рационную карточку. Когда живешь на краю света...

Н.: Но вы можете брать завтрак за обедом, одновременно.

И.: Я всегда рискую сюда не попасть. Мне необходимо иметь что-нибудь дома...

Н. (к О.): У вас вторая карточка — рационная?³²

О.: Магази́нная. Я ведь неисправимый индивидуалист. (Ироническим оборотом речи показывает свое превосходство над предметом разговора.)

У Н. все время была позиция откровенного голода, lamentаций, разговоров о еде как о сфере эмоционального возбуждения и преимущественного интереса. Она охотно поддерживает разговор И., так как всякий разговор о еде до сих пор действует на нее возбуждающе.

* [В ЧН:] Хм<ельница>

Говорить прямо о себе в этом плане все же не всегда ловко. Но можно переживать отраженное удовольствие, углубляясь в обстоятельства собеседника, обсуждать, давать советы. К тому же у Н. особые основания для разговора о рации. Она сама на рации. На это дело существуют разные точки зрения, и ее мучит мысль, что вдруг она избрала не лучший способ питания. И ей хочется, чтобы другие поступали так же. Поэтому она задает вопрос О. насчет карточки. Поэтому убеждает И. перейти на рацион и, выслушав, что И. «всегда рискует сюда не попасть», говорит:

— Ну да, у вас другое положение...

Это обстоятельство действует на нее успокоительно.

К столику присаживается Уинкот с женой. Уинкот (уборщица называет его военкот) — англичанин, журналист и коммунист, прибившийся к Союзу писателей. Жена его, Муся, — русская. Муся с заплаканными глазами. Предполагается, что ее возьмут на торфоразработки. Она беспрерывно говорит об этом, и только об этом может говорить, разговор как разрядка аффекта. Она сразу же, обращаясь ко всем, начинает говорить то самое, что она полчаса тому назад говорила наверху, в библиотеке, где распределяют на работы.

— Они потеряли эту бумажку. У меня была бумажка на освобождение, когда я вышла из больницы. Мне делали очень серьезную операцию. Две вещи врачи могут установить (тут она опускает детали, которые были сообщены наверху). Но это не дает освобождения. Главное, можно установить, только если мне опять разрезать живот. Врач мне сказала — поезжайте, вас через три-четыре дня отпустят, потому что вас вынесут на носилках (наверху было сказано: так как вы заболете, — носилки уже появились в процессе эмоционального нарастания и, вероятно, будут фигурировать во всех последующих рассказах). Я ей сказала — благодарю вас. Из меня инвалида сделают.

Н.: А вам уже официально сказали?..

Муся: Нет, пока неофициально.

Н.: Так, может быть, вы преждевременно волнуетесь?..

Н. реагирует на разговор, лично ее не затрагивающий, этикетными репликами. Когда собеседник прямо вам жалуется — необходимо выразить некоторый интерес, сочувствие.

— Совсем не преждевременно. Уже был разговор с начальником*. Знаете, как он говорит?.. Я пошлю того, кого мне укажет главный**. Это же чепуха. Как будто главный знает, кого здесь посылать. Он может требовать — пошлите столько-то человек. Здоровые бабы — все уже имеют освобождение. Все по блату...

Уинкот (указывая на подавальщицу): Муся, дай ей талон...

Муся: Здоровые девушки будут тут работать официантками...

И.: Надо бы уйти, пока опять не началось (подразумевается обстрел).

Уинкот: Надоело это.

* [В ЧН:] П.И.

** [В ЧН:] Р.

Н.: Надоело, главное, то, что является причиной этого.

Н. (продолжая разговор): Нет, я сейчас живу дома и убеждаюсь, что для меня это очень нехорошо.

И.: А я сейчас очень наслаждаюсь одиночеством. Много думаю.

— Вероятно, вы думаете об отвлеченном. А я, когда остаюсь одна, начинаю думать: у меня мысли мемуарного характера. Это вредно.

— Нет, я сейчас подвожу итоги.

(Кто-то из сидящих за столом): Вам, должно быть, сейчас очень трудно...

И.: Мне не так трудно, так как у меня жизнь всегда была суровая. Очень суровая жизнь. У меня на руках всегда были больные.

(Рассказывает о том, как родители оба много лет болели. Отец лежал в параличе. Приходилось очень много работать. Никуда нельзя было уехать отдохнуть. Только последние два года уезжали отдыхать.)

Для собеседниц разговор очень соблазнителен. Ведь это разговор прямо о себе, и не о чем-нибудь внешнем, а прямо о душевных переживаниях. При всеобщей поглощенности собственными делами это не так легко организовать. Легче сейчас заставить собеседника выслушать о том, как вы распределяете свою пищу (даже вовсе не трудно, так как имеет общезначимый интерес), чем о том, как вы переносите одиночество.

Обе высказываются с увлечением, но по-разному. Н. — это гуманитарная интеллигенция двадцатых годов, которая так и застряла на литературности и эстетизме. У нее есть свои словесные запреты и эвфемизмы, гедоговаривания и подраумевания. «Вредно» — классический эвфемизм душевных страданий, утаенных от чужих глаз, скрывааемых, хотя истинная цель высказывания — довести их до сведения собеседника. Вредно — страдание как бы низводится до клинического факта. Это пушкинское ироническое:

Я воды Леты пью,

Мне доктором запрещена унылость³³.

«Мысли мемуарного характера» — это тоже сдвиг, разрушающий серьезность контекста, и он тоже должен служить целомудренной маскировке душевных состояний.

У И. речевые принципы как раз противоположные. Не столько по возрасту, сколько по типу сознания, она принадлежит к старой демократической интеллигенции. Этот тип очень устойчиво сохранялся в педагогической среде. Словоупотребление И. несокрушимо серьезно. Она не испытывает потребности в заместителях. *Одиночество, много думаю, подвожу итоги, суровая жизнь* — для нее это значительные слова, выражение больших жизненных ценностей, которых она не стесняется, потому что уважает себя и свой социальный пласт. Это мышление оперирует устойчивыми истинами, которые не должны меняться от изменения ситуации.

Нигилистический человек может написать об историческом деятеле, что у него была «суровая жизнь», но по отношению к себе самому у него на это не хватит почитительности. По отношению к себе, и в особенности к своим бедствиям, он обязательно сохраняет оттенок насмешки. Потому что только эта насмешка обеспечивает ему некоторую свободу. Возможность применения слов определяется для него контекстом. Между тем одно из характернейших свойств словоупотребления старой демократической интеллигенции — это отсутствие чувства контекста. Во всех случаях независимые и на все случаи годные формулировки свободно переносились из одного ряда в другой. Например, из специального, научного в бытовой, разговорный. А нам это было смешно.

Сидящий за соседним столиком обращается к Уинкоту:

* — Есть у нас закурить что-нибудь?

— Только эрзац.

— Хоть эрзац. Я не успел получить. Говорят, табак будет. Они уже получили с базы.

Н.: Говорят...

И.: Я знаю человека, который продает табак.

Уинкот (свертывая самокрутку): Этот эрзац просто листья.

Муся: Его из всяких листьев можно делать. Я так видела в нем просто целые листья. Так и кладут.

О.: Например, целый пальмовый лист.

Сидящий за соседним столиком (закручивая): Его теперь не дают.

О.: Он запрещен. Разрешите вам сообщить. Он оказался вредным. Его совершенно запретили.

Н.: Тем не менее, когда его продают, на него набрасываются.

О.: Сколько же он стоит? Наверное, сейчас дешево.

И.: А табак сколько? Двести?

Н.: Триста. Такой целый пакетик.

О.: Пакетики разные бывают. Какой же пакетик?

Люди отчасти обмениваются информацией, отчасти подхватывают автоматически реплику собеседника, отчасти уступают неодолимой социальной потребности закреплять словом свои впечатления, наблюдения, соображения. Даже Муся, на мгновение отвлекаясь от своей беды, сообщает наблюдение над тем, что в эрзац кладут целые листья.

В то же время разговор о табаке и эрзаце имеет свои скрытые личные смыслы. Так, О. на работе глупейшим образом дал украсть у себя из ящика пакет эрзаца. И расстроился. Теперь он в утешение ищет подтверждения тому, что эрзац вреден, обесценен и т.п. (того же порядка и шутка насчет пальмового листа в эрзаце). Кроме того, он хочет продать часть табака, но не знает, как это сделать. Н. и И. не курят и продают свой табак. Все трое скрывают свои коммерческие замыслы. Поэтому их реплики о цене табака строятся обобщенно и безлично. Но практическую на-

* [В ЧН:] П.О.:

правленность этих замечаний выдает самое их спонтанное возникновение из разговора. Ведь курильщики, потребляющие все, что получают, подобный разговор не начинают и не поддерживают.

Слово «эрзац» наводит Уинкота на тему страны, в которой он жил и о которой любит рассказывать.

Уинкот — человек с биографией, издавший виды. У него мужской интерес к технике, к политике, о которой можно рассуждать, к жизненным фактам, которые позволяют завладеть вниманием слушателей. При этом он все же европейский обыватель, и ему хочется рассказать, как он устроился и обрастал, так как он этого вовсе не стыдится, как стыдится русский интеллигент.

Уинкот: Эрзац. Классическая страна эрзацев — Япония.

Начинается монологический рассказ. В Японии — всё эрзацы. Японцы сами не владеют техникой. Их армию создали иностранные офицеры. Рассказывается анекдот о двух военных кораблях, заказанных в Англии вместе с чертежами. Получив первый ящик, отказались от второго и сами построили его по чертежам. И он немедленно затонул. Оказывается, англичане, предвидя такой трюк, дали неверные чертежи.

Н. короткими репликами поддерживает рассказ. В удобный момент она вклинивается с репликой из своей эстетической сферы.

— Но их искусство, поэзия, живопись. Впрочем, оно повторяет прежнее.

Уинкот переходит к наиболее значительной для него части рассказа. Некоторые вещи они хорошо делают — посуду, шелковые изделия. Подробно рассказывается, какой он там купил сервиз, как он его покупал, — все это не лишено познавательного интереса, так как происходит иначе, чем у нас; рассказывает, как сервиз прислали к нему домой. Потом он купил и тоже послал домой шаль. Описывается бахрома, вышивка (в углу огромная белая роза), сочетание цветов. Шаль оказалась такая большая, что целиком покрыла двуспальную кровать его матери. Он вспоминает именно ту шаль, которую купил, хотя видел, надо думать, и другие, не менее замечательные. Потом он купил халат с драконами на спине. Описание драконов.

Когда история личных покупок исчерпана, он варьирует тему, не покидая ее.

— А китайцы отличные вещи делают из дерева. Но это китайцы. (В назидание профанам, не отличающим китайской работы от японской.) Подробное описание непостижимым образом сделанных из одного куса разных шариков, из которых меньший заключен в большем...

Входит Болдырев (востоковед).

Н. (Болдыреву, прерывая малоинтересный для нее рассказ Уинкота про китайские шарики): А мы тут как раз ведем экзотические разговоры.

Это светский прием. Тема поворачивается лицом к вновь пришедшему. Показано знание его интересов. Внимание к нему тем самым. Бло-

кадным людям приятно сознавать, что они сохранили или восстановили в себе способность к подобным функциям речи.

Уинкот обычно спрашивает: «Что, кончилась воздушная тревога?»

Это сочетание может встретиться только у доблокадного человека или у иностранца. Всякий русский и ленинградец — независимо от культурного уровня — непременно скажет просто «тревога» (обозначение более интимное, более психологичное и сохранявшее только самую суть).

Речь Уинкота наивна — как речь всякого человека (в частности, иностранца), не усвоившего аббревиатур, принятых в таком-то кругу. Это человек не на уровне данной речевой среды, для которой определенные понятия являются уже пройденным этапом. Если, паче чаяния, кто-нибудь вам скажет — я был в кинематографе (или того лучше — в синематографе), вместо кино, то вы сразу поймете, что это ископаемая личность, которая не знает, чем Чаплин отличается от Макса Линдера. Система словесных пропусков — она может дойти до виртуозности — является (наряду с условностью) принадлежностью кастового, корпоративного словоупотребления, особенно у проникнутых сознанием собственного превосходства над прочими людьми. Оно свойственно таким скептикам, которые хотя и любят слова, но не верят словам, то есть не верят их адекватности реалиям. Они полагают, что многие жизненные явления в качестве слов призрачны, и недоступны — в качестве действительности. В разговоре их можно опустить — с таким же успехом.

Сочетание Уинкота не ленинградское, как не по-ленинградски сказать «Невский проспект» вместо «Невский». Для ленинградца это тупо, для иногороднего вполне допустимо. Он может не ощущать особого значения этой улицы, тем самым особой семантики ее названия. Тогда как сказать — «Лермонтовский проспект», «Суворовский проспект» — вполне естественно.

«Невский проспект» — это сочетание вроде «А.С. Пушкин». Для культурного русского человека слово «Пушкин» (если только это не Василий Львович) не терпит никаких уточнений.

Уинкоты уходят, остаются И., Н. и другие. И. продолжает развешивать свою тему. Важнее всего для И., что в данной ситуации она живет полной жизнью. Делаются попытки организовать что-то научное в Доме писателя — она первая читает доклад. Какие-то остатки литературоведов собираются в Доме ученых — она идет на первое же заседание. Кто-то* сделал доклад о стихотворении Лермонтова — под влиянием ли оно написано Байрона или не под влиянием? Он очень остроумно построил начало...

Вней такая потребность реализовать в слове эту борьбу с дистрофическим небытием, что она за едой, без всякой мотивировки, начинает:

— Я сейчас много работаю. Собираю материал... Очень трудно сейчас с книгами...

В том же плане и так же немотивированно говорится о служебной работе в Публичной библиотеке.

* [В ЧН:] Евл.

— Я сейчас работой очень довольна. Мне поручают доклады и библиографию по специальности.

— Удивительно. Мы получаем сейчас массу библиографических запросов из разных городов. Даже Москва присылает нам запросы. Можно подумывать, что у них своих материалов нет.

В словосочетаниях «мы получаем», «к нам поступают», «мы имеем» — особый эмоциональный эффект (как у влюбленных).

К столику подсаживается М.* из Публичной библиотеки. Женщина того же типа, но попроще. И. ее наставляет. М. беспокоит вопрос, получила ли И., как кандидат, рабочую карточку?

— Да.

И тема ученых степеней сразу же набирает силу.

— О докторской диссертации сейчас еще не приходится думать. Конечно, я все время подбираю материал. Я хочу продолжать в плане моей кандидатской работы. Получается цельное построение.

М.: Х.** собирается защищать кандидатскую...

И.: Х.? Она еще не начала ее писать. И вообще, друг мой, не всякий человек может это сделать. Для этого недостаточно быть хорошим общественным работником и так далее. Она очень достойный человек, но не в научном плане. Вот Г. напишет. За нее я спокойна.

М.: Да, она серьезный работник. Почему, собственно, эти работы по библиотековедению дают степень педагогических наук?

— История народного образования. Так Наркомпрос считает. Моя-то работа, естественно, по недоразумению считалась педагогической. Но у меня было особое положение. Томашевский на защите так и сказал: «При чем тут, собственно, педагогика?» Но я и по педагогике много писала.

И. неприятно, что она не получила квалификацию литературоведа. Кандидат педагогических наук — это неполноценно. Впрочем, по авторитетному свидетельству Томашевского, это недоразумение. С другой стороны, И., как интеллигентка старого образца, уважает педагогические науки. И как бы принося извинения педагогике, которую она только что в глубине своих помыслов оскорбила, И. тут же признает свою принадлежность к этой почетной сфере.

Появляется переводчица Ч.***, в полувоенном виде, располневшая до потери лица, как это бывает с людьми после истощения. Ч. осознает себя культурной силой (даже с оттенком утонченности), сознательно поставленной на службу сегодняшнему дню. Она из нашедших свою реализацию. Прежде незаметный, она теперь весомый элемент в писательской организации и в других.

Разговор вокруг поездки на огород, в подсобное хозяйство. Сегодня несколько человек должны ехать. На вокзале на днях произошел несчастный случай. Поезд отправляется поэтому с предпоследней станции.

* [В ЧН:] Мих, Михайлова

** [В ЧН:] Хохлова <?>

*** [В ЧН:] Гнед<ич>

И.: Говорят, теперь так все время будет. Ведь вы знаете, что там было на днях. Людей лопатами собирали. Говорят, поезд так и не будет доходить до конца, пока идут эти обстрелы.

— Так пока они идут, лучше не ездить.

— Невозможно. Меня, наконец, отпустили сегодня из библиотеки. Это так трудно. Надо уж ехать.

Ч.: Я тоже, если не поеду сегодня, тогда уже могу только восьмого.

И.: Мы ведь в библиотеке теперь помимо всего завалены запросами с фронта. Страшно интересно. Вы не можете себе представить, о чем только пишут. Пришлите папки, помогите укомплектовать библиотечку, расскажите о Горьком. Есть просто трогательные письма. Мы с М. отвечаем на литературные запросы. Масса работы. Я вообще думаю, что мне здесь столовую придется бросить и столоваться где-нибудь поближе. Может быть, в Доме ученых...

— Скажите, что такое сейчас Дом ученых? Вы там состоите?

— Членом Дома ученых я не состою. Но я состою в Литературной секции. И я там актив. Это сейчас все-таки единственное объединение.

— А кто там бывает в секции? Ну, Спиридонов, я знаю. А еще кто?

— Бывает такой Александров из университета... (Замолкает.)

Ч.: Не знаю, кто еще едет. Мы вдвоем не найдем дорогу.

— Дорога там очень простая. Трудно сбиться.

И.: Я не знаю, как у меня там будет с едой. У меня нет масляных талонов. У меня есть двадцать грамм жира с собой. Я могу их предъявить.

— Чего ради? Вас никто не обязывает есть кашу с маслом.

Ч.: У меня вообще уже нет никаких талонов.

Голос* из-за соседнего стола: Что же вы там будете есть?

Ч.: Траву. Траву буду есть. Меньше всего меня это беспокоит. Мне вообще полезно сейчас дня три не поесть.

Мак.: Ох, знаете, я тоже не знаю, что с собой делать. Толстею.

И.: Я с собой английскую книжку взяла (у них кружок изучения английского языка под руководством Ч.). Я теперь никуда без английской книжки.

Ч.: Очень хорошо. Я преподаю английский в одном военно-морском заведении. Мы там языком занимались. А потом они сами перетащили меня на литературу, на историю. Получается очень интересно. Я хочу у нас тоже так сделать. Например, взять гербы городов. Почему возник такой-то герб...

И.: Очень интересно.

Ч.: Такая настоящая старая Англия...

И.: Мы там втроем с Наташей** возьмем себе грядку вместе, чтобы работать и разговаривать по-английски.

Мак.: Товарищи, вы подождите, может быть, будет еще машина сегодня.

И.: Это было бы хорошо и в смысле большей безопасности. Только, если ее ждать, можно пропустить поезд.

* [В МЧН:] Мак.

** [В ЧН:] Нат. Вас.

Мак.: Нет, это все рассчитано*.

А.И. бывает у знаменитых людей. Бывает на всех литературных и т.п. вечерах. Интенсивно переживает свое участие в культурной жизни и испытывает потребность непрестанно об этом говорить. Занятая всем этим, на обстрелы не реагирует.

— Почему вы не были на Пушкинской квартире? Исключительно хороший был вечер. Вишневский так это хорошо повернул: умирающий Пушкин из последних сил стреляет во врага³⁴. Я помню, в Москве у Всеволода Иванова обедала, и как раз про какую-то книгу зашел разговор. Мне стало очень стыдно, что я ее не читала. Я сказала — мне очень стыдно, но я не читала. Помните, в институте** мы привыкли стыдиться. Как, вы этого не читали? Да что вы! А Всеволод Иванов мне сказал: «Чего вы стесняетесь. Бросьте, пожалуйста. Не надо этого стесняться. Мы все очень заняты. Мы не можем читать все книги».

Мак.: Правильно. Конечно.

А.И.: Вы вчера не были здесь на Лермонтовском проспекте?³⁵ Такой ужас. Ну, Мануйлов, конечно, сделал доклад содержательный. Но после такого доклада это чтение! Единственный Донат Матвеевич Лузанов читал довольно хорошо. Но потом эта девушка! «И вот показалась голова!» И при этом делает такой жест (широко расставляет руки). В белом платье с оборочками, и вот такой жест. «И вот показалась голова...»

Мак.: Зачем же это нас угощают такими концертами?

Ч.: Вообще было очень смешно. Я ведь «Демона» сама наизусть знаю, большими кусками. Она вдруг посередине забыла. У Лермонтова: «Где страсти мелкой жить». Она читает «Где страсти мелкой...». Потом забыла и повторяет: «мелкой только жить». И вышло: «Где страсти мелкой, мелкой...»

Мак.: Надо сказать, чтобы нам больше таких вечеров не устраивали. Время каждому сейчас так дорого.

И.: Вот, например, у нас в Публичной был очень славный вечер памяти Маяковского. Был дельный доклад. Очень скромный. Но докладчица цитировала интересную книгу, которую я не знала.

Мак.: Чей доклад?

И.: Одна наша сотрудница. Молодая. Как она? Забыла. Вы ее не знаете. Она широких задач себе не ставила. Но цитировалась очень интересная книга. Я ее не знала. Она вышла в Саратове. «Маяковский в боях». Там собраны разные факты о Маяковском в этой войне. Например, лозунги из Маяковского, вышитые на знаменах. Интерес к Маяковскому на фронте. Например, об одном командире, очень тяжело раненом. Он совсем умирал... Ему читали детские стихи Маяковского. И как он заинтересовался. Начал понимать Маяковского — интересно. А здесь мне и доклад не понравился. Здесь он опять проводил параллели между Печориным и Онегиным. Я сама преподавала литературу в школе. Я знаю, как проводить параллели.

* [В ЧН:] Все переходят за соседний столик, где сидят Мк. с Анной Ив. А.И. женщина глупая и вздорная, литературная вездетькалка.

** [В ЧН:] Ист<ории> искусств

А.И.: Так ведь писатели не ходят. Мануйлов говорит, когда я вижу, кто сидит в зале, я уж так и читаю... Я сама пошла, потому что она (культработник) пристала — пойдите, пойдите, никого нет из писателей. Сколько мы потеряли — три часа. Я уговаривала накануне Веру Михайловну пойти. У нее вчера очень болел зуб. Я ей позвонила и говорю — отчего вы не пришли, Вера Михайловна? Она спрашивает — хорошо было? Я ей говорю: очень хорошо! Чудесно! (Сообщила таким образом о своем знакомстве с Верой Инбер.)*

М.: Надо поставить вопрос о том, чтобы нам таких вечеров не устраивали. Я поговорю с Петром Петровичем. Если устраивать что-нибудь, надо к этому как следует подготовиться. А то получается хождение из-под палки.

Ч.: Надо устраивать так, чтобы это было достойно Дома писателей.

И.: Правильно. Вот смогли же у нас в библиотеке провести вечер Маяковского. Надо подготовиться. Скоро, например, Тургеневские дни. Надо, чтобы каждый подумал, что он может.

Ч.: Совершенно верно. Я, например, могла бы дать кое-что о его переводах.

И.: Или по моей линии. Совершенно неизвестные материалы — Тургенев и детская литература. Он очень интересовался, писал предисловия, участвовал в журналах...

А.И.: Нет, довольно нам таких вечеров. Пусть их для широких масс устраивают. Для комсомольцев. Но не для нас. Сколько времени потеряли.

— Надо было уйти. Я ушла. Ну их.

— Зачем же такую дрянь для комсомольцев устраивать? Ее ни для кого не надо устраивать.

** — Ну конечно. Разве комсомольцев теперь удовлетворит такое чтение. Вы думаете, они не поймут? Прекрасно все понимают. Но для нас зачем это устраивать? Сейчас война, осажденный Ленинград, нам надо работать. Я вчера должна была статью для «Звезды» кончить. Вместо этого я сидела сегодня с самого утра. И все равно задержу на один день. Я даже считаю, что огород сейчас важнее. Я знаю, что следующий номер «Пропаганды и агитации» будет весь посвящен этим урожаем, посевам.

*** — Мне тоже сейчас совершенно не хочется ходить на какие-то собрания, слушать доклады. Зимой — другое дело, зимой — хотелось. Сейчас хочется самой работать.

* [В МЧИ далее:] И. <было П.>:
А нам сорвали урок английского языка. Так жалко было. Мы так дорожим этими уроками.
А.И.: Ну наши англичане, сидя в первом ряду, все-таки разговаривали.
** [В ЧН:] А.И.:
*** [В ЧН:] М.:
**** [В ЧН:] Т<ама>р<а>
<Хмельницкая>
***** [В ЧН:] Жур<ба>.

К столику, за которым сидит Н.****, присаживается почвенный писатель С.*****

С.: Сколько же все-таки грамм в этой каше должно быть?

Н.: Не знаю. Граммами не интересуюсь. Мне это совершенно безразлично. За исключением тех случаев, когда я дежурю.

— Но вы дежурите.

— В данный момент я не дежурю.

— Ну в следующий раз с вырезом не возьму этот суп. Отвратительный суп.

— Как? Очень хороший суп. И большая редкость. Он же бульон на мясном отваре.

— Мало ли что — на мясном отваре. Отвратительный суп. Если вы этого не понимаете, значит, вы никогда хорошего супа не ели.

— Я не знаю...

— Послушайте, засыпка сорок грамм — это ложка должна стоять. Ложку не повернуть — понимаете. А вы получаете воду. Нам дают великолепный паек. Великолепный. Сто семьдесят пять грамм крупы в день. Это можно жить и быть сытым. Разве претензии какие-нибудь к обеду? Нам дают прекрасный паек. Претензии только за счет того, что они из полноценных продуктов готовят вам такой суп. Они мазурничают. Это называется — просто мазурничают.

— После того как нас только что призывали жить для светлого будущего, — и вдруг столь материальный разговор.

— Вы глупости говорите. Если вы не понимаете...

— Вы не понимаете иронии...

— Какая ирония! Я ничего не говорю. Допускаю. Пускай они берут себе треть нашего пайка. Надо же им сожрать еще тарелку супа. Но две трети давайте нам. Две трети — на стол. А где они? Тут нужен серьезный контроль, а не то что установили какие-то дурацкие дежурства.

— Поговорите с Н.С.

— А чего мне с ней говорить? К ней ходить. Что она за принцесса?..

— Она же столовая комиссия...

— Ну и прекрасно. Она женщина взрослая. Сама должна знать, что из чего можно сделать. Вот вам, пожалуйста, каша. Разве здесь двести пятьдесят грамм? Абсурд. Она мне ее перевесит. (Встает с тарелкой.)

— Надо понимать, что важно для жизни.

— Так то жизнь. А жизни нет; есть постепенное умирание.

— Никакого нет умирания. Сто семьдесят пять грамм крупы в день на каждого — прекрасный паек.

Н. (соседу): Он интересуется только граммами. Все-таки это ужасно, особенно когда мужчина... В конце концов, все мы сейчас очень голодные. Но нельзя же так...

Сосед: Нам с вами еще вообще кашу не принесли, а мы терпим. (Кашу приносят.)

Н.: Если бы эту кашу дали С., он бы, несомненно, пошел ее перевешивать. (Быстро ест.) После высокой идеологии сразу плюхаешься на дно столовой. (Ест.) Хлеба нет, так приходится так есть. Пока у меня был, я добавляла яичный порошок.

— Вам это кажется более вкусным?

— Мне все кажется более вкусным. Мне кажется вкусным все, что можно положить в рот. Я всегда хочу есть. И чем больше ешь, тем больше хочется.

(С. возвращается с тарелкой. За ним идет заведующая столовой.)

— Ну как, перевесили?

С.: Добавили незаметно. Долго ли подцепить ложкой. И говорит — ах, видите, перетягивает. Разве ее столько было?

Заведующая: Не говорите глупости.

С.: Я глупости не говорю. Спросите всех. Здесь еще до вас было несколько случаев...

Заведующая: Меня не касается то, что было до меня. Никто вам не добавлял.

С.: Это очень просто делается. Подцепила незаметно ложку. Я еще кофе выпью. Я сегодня получил эту селедку, которую давали. Поел селедку с уксусом.

— Какая селедка?

— Астраханская. Ничего. Хороший засол. Но тот хранитель, который ее потом сохранял, допустил ржавчине проесть кожу. Дальше кожи ржавчина не пошла, потому что засол хороший. Я когда засаливал рыбу, всегда очень следил, чтобы не было ржавчины. У меня еще сейчас есть остатки бочоночка — к водке. А вот свежую селедку мало кто ел, потому что она сразу засаливается. Объедение. Ее, знаете как, нужно еще живую поджаривать.

Н.: Главное, это сегодня моя последняя еда.

— А хлеб на вечер?

— О, хлеб! Я уже забыла, как выглядит сегодняшний хлеб. Мне всегда хочется есть. И выходит так: до часу я не ем, потом я набрасываюсь, съедаю весь хлеб. В час я обедаю без выреза. В пять я обедаю с вырезом. И все. А вечером, вечером, если вороне бог послал кусочек сыра, так есть сыр. Но это почти никогда не бывает.

— Сегодня выдача. Вы можете вечером есть шоколад или конфеты.

— У меня двести грамм уже съедено, а сто раздарено — всё.

— Зачем же вы дарите сладкое? Странное дело.

— Так. Уж такая традиция. Со мной в день выдачи очень выгодно иметь дело.

Соседка по столу, вмешиваясь в разговор: Знаете, я бы на вашем месте это не делала. Вы столько об этом говорите, что теряется всякое доброе дело.

Н. (на миг смутилась, но нашлась): А это не доброе дело. Я совсем не добра, нисколько.

— А что же?

— Это просто глупость. Если бы это было доброе дело, я бы об этом не говорила. Нельзя говорить о своих достоинствах, можно только о недостатках. Это мой недостаток, я говорю о своем недостатке.

С.: Жулье, жулье. У меня был приятель покойный, он когда входил в ресторан, говорил — ну, жулье. Жуликов он называл жулье...

— Каждый раз они подают весь обед сразу, так что все холодное. А потом кофе надо дожидаться час.

С.: Нет, подавальщица эта хорошая. И вторая тоже хорошая. Подавальщицы здесь хорошие. А вот эту раздатчицу, повариху, я бы выгнал немедленно.

— Нет, вы неправильно поступаете. Хлеб нельзя брать сразу.

Н.: Я не могу делить хлеб.

— Так не надо брать сразу. Конечно, если его взять, то дело плохо. Но надо брать только двести пятьдесят. Потом знаете, что я делаю? Вы получаете соевое молоко. В горячее молоко крошить хлеба. Такая тюря. Я это очень люблю. Вот вам и ужин.

С.: Ну, это ерунда какая-то.

Н.: Я уже забыла вкус молока. Я все время расплачиваюсь. У меня теперь есть поставщица дров. Она с меня берет за крохотную вязаночку по два литра.

С.: Никуда не годится. Пойдите на рынок — там литр его стоит двести грамм!

— Двести! — мне говорили, что литр рублей тридцать.

— Я слыхала — сорок.

— Это около заводов в дни молочной выдачи люди продают по тридцать. А вообще на двести грамм вы можете купить много дров. Значит, за литр вы получите две вязаночки.

Н.: Я молоко продавать не собираюсь. Просто у нее трое детей. Она в молоке заинтересована. Она мне говорит — столько-то...

С.: А на двести грамм вы купите больше. Я вам говорю это, потому что у вас во всем незнание какое-то.

За столиком критик* разговаривает с очень нервной писательницей**.

— Разве сегодня есть булочки?

Только что в кассе ему сказали, что нет, а теперь он видит их на тарелке у соседки. Вопрос прежде всего практический — нельзя ли все же получить? Сверх того в вопросе зашифровано беспокойство — не обошли ли его причитающимся.

— Нет, это вчерашние. У них оставалось еще шесть порций. Они предлагали.

Реплика, предназначенная отстранить подозрения в незаконном получении дополнительной еды.

— Они очень плохие. Я их вчера брал.

— Отвратительные. Просто отвратительные. Они горькие.

Назначение первой реплики — обесценить недоставшееся (по формуле «зелен виноград»). Назначение второй — обесценить доставшееся — жалоба на ущемление интересов (обмеривают! обвешивают!).

(Едят.)

— Я так травмирована этой стрельбой. В этом доме...

все время, все время... (Едят.) Говорили, что какие-то другие, новые, дополнительные будут — ничего подобного.

* [В ЧН:] Г.Л.

** [В ЧН здесь и далее:] Аст.

Первое из этих высказываний — непосредственная разрядка нервного возбуждения. Во втором аффект зависти опосредствован беспокойством о принципах распределения предлагающихся новых благ. Есть и практическая цель — узнать на этот счет что-нибудь у собеседника.

Собеседник откликается тотчас же. Он в состоянии информировать, а информирующий всегда приобретает значительность. Но разговор на эту тему имеет для него и эмоциональный смысл, связанный с его собственными надеждами и еще неясными расчетами на новую систему распределения.

Тут в разговор вмешивается старая художница*, прикрепленная к столовой, один из персонажей невышедшего сборника «Героические женщины Ленинграда». Художница не пришла в себя от истощения. У нее все еще зимняя сосредоточенность на еде. Сейчас это уже ниже нормы и вызывает у окружающих чувство превосходства. Для нее карточки еще не стали вопросом престижа; они все еще вопрос сытости. Она говорит об этом откровенно, потому что психологически она еще в той стадии, когда все говорили об этом откровенно. Она понимает, что теперь так уже нельзя, унизительно, что в этой области уже появилась маскировка и переключение физиологических ценностей в социальные (качество снабжения как признак социального признания).

Нервная писательница: Вы что же, хотите получить литературную карточку?

Вопрос задан грубо. Задавшая его раздражена посягательством лица низшего разряда — не член Союза — на то, на что она сама не надеется, хотя считает, что имеет нравственное право.

Художница сначала растеряна от прямоты вопроса; потом в свою очередь с прямотой несытого человека: Я? Да, я хотела бы получить...

(Откровенность в вопросе, где приличия уже требуют камуфляжа, все больше раздражает собеседницу.)

— Так ведь это только для самых главных. Не для нас. Скажите спасибо, что эти карточки дали.

В этой реплике и потребность унизить зарвавшуюся художницу, и зависть к «самым главным», и желание скрыть собственные тайные надежды. Оправляясь от дистрофии, она уже понемногу толстеет. И для нее в этом деле моральная сторона (социальное признание) важнее физической.

Художница: Градации. Не знаю, как с этими градациями будет. Я вот как раз отнесла в «Звезду» работу, так редактора все больны. Не могу добиться ответа. А вы говорите: градации.

В разговор вступает Ш. **: Все это пока вообще испанские замки. Слава богу, что эти дали пока.

Ш. — честный труженик с хорошим профессиональным положением (популярный лектор). В С<оюзе> п<исателей> занимает скромное место. Она утверждает свою здравую, трезвую позицию в противовес вздорным притязаниям («испанские замки»).

* [В ЧН:] старуха Мат.

** [В ЧН:] Р<ина?> Ш.

Художница (догадывается, что взяла не тот тон, какой надо): Ну, конечно, слава богу, что это дали. Очень хорошо.

А.: Вы знаете, прикрепленных к Союзу вообще отменяют*.

Эта фраза — жестокость истерички. До сих пор выходило, что новые блага получают «самые главные», что она и художница в одном разряде — неполучающих. А теперь вот оказывается, что художница — это разряд, который вообще не сегодня-завтра окажется за бортом всех привилегий. И претензии ее потому особенно неуместны.

Инстинкт самозащиты подсказывает художнице, что надо прекратить разговор на эту тему. Лучше снова пожаловаться на то, что «Звезда» не дает ответа. У Ш. старая художница вызывает сочувствие. Она ей дает советы — обратиться в «Ленинград», который все же чаще выходит. Из сочувствия интересуется:

— А что вы написали?

— Написала воспоминания о Гарине-Михайловском и о Горьком. — Но художница уже отвлечена от разговора тем, что ей приносят кашу и что каши мало. (К подавальщице): Это разве три каши? Придется дома еще варить... Опять она кофе не в ту баночку мне налила.

Среди всех разговоров в Неву, очень близко, бухает снряд.

— Смотрите, товарищи, да здесь — столб!

Некоторые подбегают к огромным окнам посмотреть. Другие продолжают есть и разговаривать. Травмированная (по ее словам) страхом писательница, не обращая на происходящее никакого внимания, укладывает свои булочки.

Странное дело — ленинградские травмы и страхи не внушают доверия. Так не бояться. Настоящий страх то вытеснен другими заботами, то подавлен общей нормой поведения.

Чего только не говорят женщины, работающие в учреждениях. Одна говорит, что она не боится, потому что у нее дистрофическое равнодушие. Другая, напротив того, говорит, что она безумно боится, испытывает животный ужас, но когда при тревоге на нее кричат, чтобы она, согласно приказу, немедленно шла в подвал, она раздраженно отвечает, что невозможно дистрофику десять раз бегать вниз и вверх на шестой этаж. А третья говорит, что она безумно хочет жить и боится умереть, но что в подвале можно сидеть месяц, но нельзя сидеть два года, и поэтому она вечером ложится спать до утра.

Повторность, возобновляемость ситуаций атрофируют постепенно импульсы страха. И никто в этой столовой (если только не посыпятся стекла, не обвалится потолок, то есть не изменится в корне ситуация) не станет кричать и метаться при виде упавшего рядом снряда.

В этот момент они будут сохранять хладнокровие (так полагается), а жаловаться на травму будут потом. Человек не только скрывает страх, но может скрывать иногда и отсут-

* [В ЧН:] А.. Вы знаете, горком вообще закрывается

ствии страха, атрофию настоящего страха перед гибелью, который подменяется болезненным раздражением нервов. Поэтому объявляющие себя травмированными столь же мало принимают меры к самосохранению, как и нетравмированные. Самосохранение — это тщательность, пристальное внимание к таким подробностям поведения, на которых невозможно сосредоточивать волю месяцами, годами.

ВОКРУГ «ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА»

ЗАПИСИ В ДНИ БЛОКАДЫ

Не следует думать, что все коренным образом изменилось. Изменился, действительно, материал, но многие механизмы по инерции продолжали работать. Между тем все хотели изменений, ждали психологических изменений.

Думая о том, «как это будет» (все ведь об этом думали...), мы постоянно допускали просчет, придавая чрезмерное значение фактору смертельной опасности. Оказывается, проще было пойти на фронт, чем остановить механизмы*. Неравный выбор между опасностью близлежащей, несомненной, знакомой (неудовольствие начальства) и исходом еще отдаленным, еще не решенным и, главное, непонятным.

Размытые границы между ложью и правдой, правдой тех, кто, может быть, и не прочь были бы уклониться, но, раз попав в ситуацию войны, твердо вели себя по ее законам, правдой мальчишек, которые просто считали, что нужно идти как можно скорее; мальчишек таких было необозримое множество. Вот письмо (июнь 1941-го) одного, восемнадцатилетнего, сохранившееся у женщины, к которой оно обращено:

Здравствуй, Ирина!

Я буду свидетелем необычайного и очень значительного — еду на фронт! Ты знаешь, что это значит? О, нет, ты не знаешь этого. Это проверка себя, своих взглядов, вкусов, качеств. И это не парадокс — быть может, я лучше стану понимать музыку Бетховена и гений Лермонтова и Пушкина, побывав на войне.

Ну, писать не имею времени. А теперь я чувствую над тобой превосходство. Я буду иметь возможность окунуться в вихрь жизни, а ты, ты обречена на зубрежку, увы, схоластики.

Насчет «схоластики» — загнул? Ничего. Быть может, встретимся когда, а?

Жму руки крепко, крепко.

Олег

Они не встретились.

Олег** очень скоро погиб.

О повести Окуджавы («Будь здоров, школяр»)¹ говорили, что изображен в ней трус, слюняк, психологический дезертир, и никто не отметил любопытную черту: этот мальчик,

* [В ВМ:] Казалось, — неужели, когда это начнется, будут по-прежнему работать дохлые слова. Разве это возможно — наскучившие слова перед лицом жизни и смерти, собственной смерти? Казалось, тогда прорвет и подонков; они замечутся и провизжат свою сущность.

Ничего такого не произошло. По-прежнему работали механизмы чиновничьей лжи, раболепия, равнодушия, непроницаемого даже для смертного страха.

Проще было пойти на фронт, чем остановить механизм. Неравный выбор... [далее по тексту]

** [В ПМ и ВМ:] Олег Максименков

который несчастен, который боится и жалеет себя и хочет, чтобы мама его пожалела, — ни разу, ни на мгновение не усомнился в том, что надо было идти и делать это страшное дело.

Страх привычного и понятного (например, боязнь нарушить действующие правила поведения) сильнее, чем страх непонятого, или быстрее; этот рефлекс раньше успевает сработать. Вот условие сохранения психической нормы — вплоть до той минуты, когда смертная опасность, овладевая эмоциями, станет всепоглощающим переживанием ужаса или восторга.

Как далеко отстоят эти состояния от нормального человека? На каком они располагаются плане душевной жизни? По мнению Толстого — на отдаленном; исходя из этого, он и строил свою психологию войны.

Человеческому сознанию противопоказана мысль об исчезновении сознания, и оно, как известно, породило сложнейшие системы подавления, вытеснения, обезвреживания этой мысли. Изменялась терминология, но открытие системы вытеснения насчитывает века; об этом твердили мыслители от Ларошфуко до Фрейда и экзистенциалистов. Война отчасти парализовала эту систему, отчасти, напротив, создала для нее предпосылки: социальное подавление личных вожделий и целей, мощные идеологические и эмоциональные возбудители, привычка, дистрофическое равнодушие или нервный подъем.

В Ленинграде в целом люди проявили так мало физической трусости, что она не могла даже парализовать прочие слабости и пороки. Вот, например, классическое склочное собрание — под артиллерийским обстрелом (в это здание им уже случалось попадать). Начальника одного из отделов редакции сняли и отправили во фронтовую газету. Преемник — милый человек — выполняет весь ритуал: осуждение прежнего руководства (есть и статья в стенгазете, подписанная: Пегас), самовыгораживание в форме самокритики, кивок в сторону товарищей, выдвинутых предшественником. А лично уязвленный писатель* (в военном обмундировании) точно разыгрывает партию с дебютом «Не могу молчать...» по поводу — в данном случае — малоквалифицированных редакторов, которые «все еще не научились...». Присутствует ли тут что-нибудь, имеющее отношение к свисту и равномерным разрывам? Да, — дополнительная фразеология: «Сейчас больше чем когда бы то ни было...»

Бесперебойное действие механизмов особенно поражало в инстанциях, где восстанавливали, вернее, не восстанавливали утраченные продовольственные карточки. Потеря карточек была явлением массовым — очевидно, следствием истощения и перенапряжения нервов. В инстанциях жуткое сочетание старой (канцелярской) формы и нового содержания (голодная смерть человека). А типы секретарш все те же, традиционные.

Например, довольно распространенный среди административного персонала садистический тип. Это злая секретарша. Если сейчас ее посадили вырезать в столовой талоны, она с удо-

* [В ПМ и ВМ:] Писатель Р.

вольствием говорит вам, что вторую кашу взять нельзя или что на ближайшую пятidineвку — странно, что вам это неизвестно, — на вашей карточке нет уже ни одного крупяного талона. Если ее посадили туда, куда ходят люди, потерявшие карточки, она говорит с ними громким голосом с разработанными интонациями отказа, слегка сдерживая административное торжество.

Есть томная секретарша, еще не по-блокадному одетая, с красивыми, еще жирно подведенными глазами. Эта занята своими личными соображениями. Она смотрит на человека беззлобно, с единственным желанием поскорее отделаться от помехи, и отказывает лениво, даже несколько жалобно (жалуясь на помеху). Есть, наконец, деловая женщина. Для некоторых женщин самый факт занятия общественно важным делом еще не автоматизировался (любопытный атавизм). Они переживают свою деловитость, вызывая этим неудержимое раздражение окружающих. Женщины-врачи этого склада любят в разговоре с интеллигентным пациентом объяснять свои предписания, тут же переводя терминологию с латыни на русский язык. Притом они говорят: «Мы называем это...»

Если злая секретарша находит в службе источник властолюбивых удовольствий, если для томной секретарши служба — необходимая уступка действительности, то деловая женщина ценит самый служебный процесс. Она отказывает величественно, но обстоятельно, с поучениями и резонами. И хотя она интересуется только тем, что она говорит, но человеку, который без карточек, скорее всего, на днях умрет, от резонов на мгновение становится легче. Сключники и секретарши, сердитые чиновники и обиженные писатели — все это странным образом сохранило свои формы и функции. В толстовском понимании эта стабильность эгоистических интересов и застарелых привычек была объективно нужной. Она означала, что целое существует, что бесчисленные устремления по-прежнему связаны одним узлом. Дело страны, дело войны делалось бы иначе и лучше без сключников и чиновников? Конечно. Но целое не могло извергнуть их на ходу, на ходу войны. Не до того ему было.

Под артиллерийским обстрелом нормально работали механизмы общественного зла, вместе с мужеством, вместе с терпением. Это истерзанная страна побеждала. И она же, сама того не зная, готовилась войти в новый разгул социального зла.

Утопическое мышление не хотело понять, что социальное зло неизбежно (хотя и заменимо), что человечество получало заменителей зла. Иногда это были наиболее подходящие, прогрессивные, так сказать, заменители. А все же... если ты ропщешь на социальное зло — посмотри, не занимает ли оно места зла еще более смертельного.* В отличие от социального гедонизма, религия не закликает зло и не обещает его уничтожить (только в царствии небесном), но включает его в свою систему двух миров — посю- и потустороннего. Что касается поту-... то уж тут — что кому дано. Для

* [В *ВМ* далее:] Угнетающее, например, защищает от социальных стихий — урок, много раз преподанный; и доселе не выученный.

того, кому не дано, насущнейшая задача — как без религии выйти из эгоизма. Какова та гражданственность, та любовь, тот высокий труд, с которыми он выйдет из inferнальной тоски эгоизма?

Эгоистический человек подобен дикарю. Первобытное сознание исполнено ужасом перед враждебностью мира. Его побеждает культура — иерархическая связь ценностей, творчество, делающее свое чужим, любовь, делающая чужое своим*.

При распаде системы ценностей происходит вторичное одичание культурного человека. При развале быта у него появляются пещерные замашки, пещерное отношение к огню, к пище, к одежде. Эгоистический человек слепо бродит среди явлений то агрессивно-, то равнодушно-враждебных, отыскивая для себя лазейки наименьшего зла. Конкретные носители величайшего зла, взяв себя на себя его теоретическое обоснование, — стоят у ворот. Мы все хотим их убить; мы хотим убивать как можно больше, отнюдь не вдаваясь в подробности их человеческого существования. Читая в газете о взлетающих в воздух руках и ногах фашистов, интеллигент испытывает удовлетворение.

Разновидности зла странно скрещиваются, исключают друг друга и в то же время работают заодно. Проходя по двору с мусорными ведрами или с другими ведрами, чтобы набрать в склизкой прачечной воды, люди рассматривали большой замок на дверях домовой конторы. Это выглядело успокоительно. Поколение 60-х годов уже этого не поймет. Сейчас домоуправления с большим или меньшим успехом обслуживают свои дома и в них живущих. В 30-х годах они существовали с совсем другой целью, им самим, может быть, не вполне ясной. Не только для слежки за обитателями дома; еще более для того, чтобы напоминать ежечасно этому обитателю, что все, чем он располагает, даже в частном быту, можно прекратить, отобрать, запретить. Они были сталинским форпостом... И вот это зло заперто большим замком; дистрофический управдом уже не может добраться до своей конторы. Диалектика разновидностей зла.

Страдания и массовая гибель никогда не были исключительным признаком войны; эпидемии и стихийные бедствия поглощают целые города. Специфику же войны образует сочетание этих возможностей с предельной несвободой, откровенной, громко заявленной, отложившей попечение о камуфляже.

Буржуазные демократии всё сомневаются в праве государственного закона требовать от свободного человека, чтобы он в нетрезвом виде не садился за руль машины, но не сомневаются в праве государства, в известных обстоятельствах, потребовать у человека его жизнь и, в случае уклонения, судить его как изменника. Мир ужаснулся предложению Мао уничтожить половину человечества с тем, чтобы оставшаяся половина на развалинах капитализма основала блаженное общество. Однако новым и устрашающим в этом проекте является, в сущности, фактор количественный.

* [В ПМ:] творчество, делающее личное общим, любовь, делающая общее личным, внешнее и чужое внутренним.

Недавно* президент Джонсон, выступая по телевидению, говорил: «Мы скорбим о погибших (во Вьетнаме) с той и с другой стороны (уж другую-то сторону оставили бы в покое), но нет той силы, которая заставила бы США отступить от дела свободы и справедливости»². Эта логика ничем не отличается от маоистской, разве тем, что в одном случае речь идет о половине рода человеческого, а в другом об энном количестве американских жизней. С индивидуалистической же точки зрения совсем не в том дело, что погибает миллион человек, а в том, что миллион раз погибает один человек. Логика Мао — это необходимая логика государства (в том числе капиталистического, буржуазно-демократического и проч.), только в азиатской ее наготе и масштабности.

Абсолютная несвобода психологически может предстать человеку как новое для него качество общественного бытия или, напротив того, как дальнейшее развитие привычных тягот и бедствий. В узнаваемости бедствий — сила и слабость противоиндивидуалистических структур.

Вот человек, воспитанный гедонистическими иллюзиями и замаскированными формами принуждения. То, что ему приказывают, запрещают, урезают и нормируют его жизненные блага, — это все для него экзотика, новое качество, рожденное потрясающей ситуацией, требующей подъема всех душевных и физических сил. Ему даже кажется, что у него спросили согласия, и потому свои действия он рассматривает как *поступок*. А у поступков есть своя психологическая атмосфера — гордости и тщеславия, самоотверженности и страсти.

А вот те, для кого во всем этом нет принципиально нового. Одни реагируют попытками уклониться. Другие — великой стойкостью. Иногда сначала — попытками уклониться, а потом стойкостью. Как бы то ни было, для них это очередная фаза в давнишних отношениях с Левиафаном. Так — именем воспетого в книге Иова могучего чудовища — назвал Гоббс всеильное государство. У Левиафана разные бывают подопечные: единомыслящие, инакомыслящие, вовсе не мыслящие. Взаимоотношения складываются разные, в разных социальных и психологических формах. Возможно совпадение устремлений, сознательное или стихийное; возможно сопротивление, тоже как сознательное, так и стихийное. Особую, теоретически важную разновидность общественной психологии дает сочетание абсолютной власти с абсолютным эгоизмом подвластного ей человека. Они притерты друг к другу и в то же время друг для друга непроницаемы.

Здесь тоже много градаций — от позиции сноба, с его иллюзиями внутренней независимости, до состояния раба, самого эгоистического из всех состояний. Кто эгоистичнее вечного гребца, прикованного к трюму галеры? Всякое объективное содержание жизни отнято у него, и оставлено ему только его страдающее тело. Эгоизм рабов заслонен силою их страданий и ничтожностью их желаний и целей, но, в сущности, он безграничен.

* [В ПМ:] На днях

Имманентный человек, отчужденный от абсолютов и всеобщих ценностей, как массовый, социально типический, существовал в разных обличьях, на разных ступенях общества*. Сейчас буду говорить только об интеллигентском его обличии. Я имею в виду то сознание, которое в России завязалось в 1880-х годах, придя на смену народнической традиции. Оно дало не только присяжных позитивистов, но дало декадентов (опыт чистой культуры эгоизма), в конечном счете — символистов, с их романтической попыткой ухватить объективное субъективным, и многое последующее, с поправками и без поправок на объективный смысл.

Еще Блок очень проникательно и со знанием дела сближал столь разные, казалось бы, вещи, как позитивизм и декадентство³. Блок понимал, что они сцеплены между собой субъективностью, агностицизмом. Сознание это являло парадокс: в качестве интеллигентского оно предназначено было вырабатывать ценности и идеалы, в качестве позитивистского и субъективного оно закрыло для себя те источники, откуда берутся ценности и идеалы.

После Первой мировой войны западными интеллектуалами владела эстетика распада, отрицания жизни и проч. (потерянное поколение). У нас многие из этого слоя пошли сначала в попутчики, — чтобы оставить за собой возможность участия в общей жизни, но также и в силу исконной (от Герцена до Блока) русско-интеллигентской ненависти к старому миру. Попутчики говорили наивно и горделиво: «Вот это у вас хорошо, а уж это плохо; принимаем отсюда и до сих пор...» — и с ними обращались осторожно. Впоследствии бывшие попутчики кричали: «Гениально!» — ползая у ног, а их методически истребляли.

С четырнадцатого года началась эра великих опытов и испытаний**. Жизненные позиции имманентного сознания непременно требовали хотя бы минимума материальных благ. Только при этом условии могла

состояться философия, начинавшаяся фразой: «А имеет ли жизнь смысл?» У бедствующего эгоиста тотчас же находится если не смысл жизни, то интерес, цель, задача выжить. Но он теряет тогда свое убранство и остается страшно голым.

Среди войны (предельной несвободы) эгоистический человек набрел на странную, зыбкую свободу — в размытости границ между открытыми и скрытыми формами принуждения. Не все ли равно, что кто-то не воспользовался какими-то правами и благами, если результат один; и даже, чем больше было прав и благ, тем хуже результат. Кто же удачники и кто неудачники?*** Где карьеристы с учреждениями, в которых они делали карьеру? Вон стоят их разграбленные квартиры, а хозяева носятся по дорогам войны.

Какая разница между напечатанными и ненапечатанными книгами — если нет уже ни авторов, ни читателей? И что нам до катастрофической развязки вековой драмы индивидуализма, когда некому и некогда думать об этом. У нас другие заботы.

* [В ПМ и ВМ:] Эгоистический человек как массовый, социально типический, существовал в разных обличьях, на разных ступенях общества (в том числе удаленных от цивилизации).

** [В ПМ и ВМ далее:] Субъективно-позитивное сознание притом было взвешено, и история — по библейской формуле — нашла его легким («Ты взвешен на весах и найден очень легким», — сказал пророк Даниил про Валтасара).

*** [В БР:] Неудачникам в самых тяжких обстоятельствах это нравилось.

Если первое испытание мировой войной вызвало у европейско-американских интеллектуалов резко индивидуалистическую реакцию, то второе могло только удостоверить ее несостоятельность. (Горе эгоистам и гедонистам! Нет в мире ничего более хрупкого и беззащитного.) * Дважды и трижды превращенному в крошево поколению открывалась неизбежность социального зла и прозрачность единичного сознания. Распадались одновременно два великих заблуждения, казалось бы противоположные, на самом деле имеющие общий источник в гуманизме XIX века.

Истребляемый, испытываемый катастрофами человек не в силах верить в красоту и абсолютную ценность единичной души. Гораздо естественнее ему испытывать отвращение к этой голой душе и горькую и тщетную жажду очищения во всеобщем, в некоей искомой системе связей — в религии? В экзистенциальном самопроектировании? В новой гражданственности?

Переживание общности есть сознательное или бессознательное, сильное или слабое, возведенное в религиозный догмат или робеющее от собственной нелогичности. Это первичное свойство своей социальной структуры человек получает вместе со всеми знаковыми системами, составляющими его культурное сознание, вместе с языком (то есть мышлением) — как носителем общих значений. Человек принимает огромное содержание общего с тем, чтобы своей непрочной жизнью внести в него изменения, большие или малые; в конечном счете малые — по сравнению со всей этой толщей.

Вот почему переживание общего столь же действительно, как и скрецающиеся с ним интенсивные — до зверства — вождения эгоизма, скрецающиеся в том же человеке (создать питательную среду для тех или для других — это дело социально-исторических ситуаций). Даже поступая эгоистически, человек склонен притом оценивать поступки — в особенности чужие, отчасти и свои — по нормам общего. Нормы общего, впрочем, далеко не всегда призывают к гуманизму — даже в своей официальной, камуфлирующей фразеологии. Самые жестокие и корыстные интересы коллектива тоже требуют от личности жертвы, даже тотальной (фашизм это продемонстрировал).

То общее представляется нам иллюзией, обманом, алогизмом, то — единичная личность. Вероятно, и то и другое в отдельности — иллюзия; а реальный наш опыт — это их взаимодействие.

Для западноевропейской мысли второй четверти века характерна история экзистенциалистов. Чистую личность в ее *существовании* они поспешили нагрузить бременами сверхличного. Одни — религиозным оправданием жизни (когда бог, то оправдание заранее задано). Другие — этикой французского Сопротивления.

* [В *БР* вместо фрагмента от «И что нам» до «беззащитного»:] Для людей этого всевозможными способами истреблявшегося поколения решающей удачей оказалось выжить. Но человек не может жить только тем, что он и на этот раз не умер. Совершалась катастрофическая развязка полуторавековой драмы индивидуалистического сознания, только почти некому и некогда было думать об этом. Открытые и скрытые/тайные уроки истории. При замаскированных формах многие люди пользовались многими благами и избежали ряда бедствий. Но самое страшное они получили сполна. Даже сверх меры; потому что они были к этому решительно не подготовлены. История доказывала невозможность и ужас духовной изоляции. Всеми ей доступными средствами она твердила: Горе эгоистам и гедонистам! Нет в мире ничего более хрупкого и беззащитного, чем эгоисты! [В *ПМ* далее:] Совмещение двух этих фаз в судьбе одного поколения существенно потому, что уроки действительности познаются только на собственном опыте; на других они не работают.

Камю написал превосходный роман «Посторонний», превосходный по классической ясности разговора о жизни. («Чума» — напротив того, аллегория. Если хочешь сказать о фашизме, зачем говорить о чуме?) Одновременно он написал философский комментарий к роману — «Миф о Сизифе», небольшой, но многословный (так же, как его «Взбунтовавшийся человек»), в котором концы не сходятся с концами.

Лучшее, что есть в этом трактате, — эпиграф из Пиндара: «O mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible»[#].

В «Постороннем» первооснова сознания — бессмыслие, шевелится хаос, непостижимость, наводящая ужас на заброшенного в нее человека. Дальше — чувственная оболочка доступной нам жизни. Первая ступень ее оправдания. На этом Камю и остановился в романе, а в трактате сделал отсюда логически неудавшийся ход к героическому утверждению бытия. Привело же к неудаче отрицание очевидного — той иерархии, той связанной системы социальных ценностей, которая ложится на хаос непостижимого и на смутный чувственный опыт. Это вторая ступень оправдания жизни. Есть еще третья — абсолюты... Но это уже не про нас.

Без иерархии что можно возразить заявляющему: «Ну-ка, попробуйте доказать обязательность предъявляемых мне моральных требований». Главный аргумент тогда против практики эгоизма — ее хрупкость, ее неспособность защитить человека.

Что касается философии эгоизма и гедонизма, то она вопиюще не подходит к нашему времени. Для этого было нужно что-то совсем другое — наивность рабовладельческого общества? Абстрактность просветителей? Прекраснодушие утопистов или сытость эстетов?^{*}

Камю с его обращенным к интеллектуалам предупреждением: «Говорю вам — завтра вы будете мобилизованы!» — человек французского Сопротивления. Коллаборационист Жионо предложил другую формулу (она произвела скандал): «Лучше живой трус, чем мертвый герой»⁴. Логично? Логично. Но логика здесь непременно требует дальнейшего развертывания. Собственно, это вариация на библейскую тему живой собаки и мертвого льва. Но тогда остается стремиться к состоянию собаки, состоянию животности, сулящему изолированные удовольствия и незапоминаемые страдания. Кто говорит: живая собака лучше мертвого льва — должен в конечном счете сказать: живая собака также лучше живого льва — то есть счастливее. Это и есть мысль Екклезиаста: «И псу живому лучше, нежели мертвому льву». Не пес лучше, а псу лучше.

Лев храбр, и готовность к гибели входит в структуру льва. Голый принцип продления жизни (любой жизни) и приумножения разрозненных удовольствий возможен логически только при отрицании культуры. Потому что культура — факт социальный, и она замещает категорию удовольствия категорией ценности. А понятие ценности предполагает расплату. Общественный человек живет рискованным актом личной реализации общего.

[#] «О, моя душа, не стремись к бессмертию, но исчерпай поле возможного» (фр.).

^{*} Вариант фрагмента от «Истребляемый, испытываемый катастрофами человек» до «сытость эстетов» по ПМ и ВМ см. на с. 445.

Свобода, родина, наука, искусство, любовь, семья, честь — все это очень опасные вещи. Жертва тут просто условие пользования. Об этом написан «Колокол» Хемингуэя. Никто ведь не оспаривает условия, поставленные летчикам, мотогонщикам, альпинистам.

Не помню, кто это сказал в ответ на разные медицинские предостережения: «Опасно жить — от этого умирают».

Интеллигентам хотелось измениться. В смятении первых дней хотелось избавиться от одиночества, от эгоизма, усугублявшего страх. Это было инстинктивным движением, у которого имелась долгая интеллектуальная предыстория: вечная мечта о выходе из себя, об ответственности, о сверхличном*. Все это выразилось сумбурно в странном чувстве совпадений. Интеллигент теперь должен был сам захотеть того самого, чего от него хотело общее**. Старая утопическая задача (как она увлекала Герцена!) — не разрешится ли она синтезом логики государства с логическим абсурдом самоценной личности?

Не подлежавшим мобилизации хотелось безотлагательно что-то сделать — пойти в госпиталь, предложить себя в переводчики, написать в газету статью, и даже казалось, что нельзя взять за нее гонорар. Эти намерения и желания попадали в машину, совершенно не приспособленную к подобному психологическому материалу. С привычной грубостью и недоверием к доброй воле своих подопечных она от одних участков отбрасывала человека, в другие втягивала его принудительно.

Через несколько дней в Союзе писателей объявили, что все поедут в неизвестном направлении рыть противотанковые рвы или строить заграждения. Одни тотчас же отправились за медицинскими справками, другие, наиболее интеллигентные, — с презрением говорили о людях, которые в такой момент считают себя выше физического труда.

— А вы знаете, что такое физический труд? — сказал по этому поводу Максимович, недавно вернувшийся из лагеря. — Вы когда-нибудь пробовали? Рыть лопатой, если знаете, что то, что нароете, даже отдаленно не похоже на норму. Ух, эти интеллигентские слюни... Ковырять землю мучительно, особенно потому, что совершенно бесполезно. Ну, вы увидите...

Увидели. Число медицинских справок быстро росло. Впрочем, скоро сверху перестали настаивать***. Механизм работал формально, он поступал с человеком согласно тому, к какой категории в каждый данный момент был отнесен данный человек, вернее, данный общественный слой. В Ленинграде писатели, художники и другие — это сначала была категория добровольно зачисляемых в ополчение. Необученных, почти невооруженных, их мгновенно бросили под свежие немецкие силы. Погибли все.

* [В ПМ здесь:] И все это бес-толково выразилось в попытках установить новые отношения интеллигента с Левиафаном.

** [Вместо фраз от «у которого» до «общее» в БР:] поисками большого, плотного, (теплого), к чему можно прибиться, заглушая тоску. Но стояла за этим и долгая интеллектуальная история — жажда революции, вечные мечты о выходе из себя, о реализации, об абсолютном. И все это вместе совместилось в попытке установить новые отношения интеллигента с Левиафаном на основе добровольности. То есть интеллигент должен был сам захотеть того самого, чего от него хотел Левиафан, и принуждение где-то на полпути должно было совместиться со спешащей / с идущей ему навстречу добровольностью.

*** [В БР:] От интеллигенции нужно было то же, что и всегда — популяризация, разжевывание, рупор. Ее быстро и твердо возвращали к этому делу, выдавая за это — как и прежде — некоторые блага и поблажки. У желающих появились только некоторые внутренние мотивировки временной необходимости разговоров (добровольность). Впрочем, у тех, кто избегал цинического жизнеощущения, мотивировки всегда находились.

Довольно скоро писатели, художники, ученые стали категорией золотого фонда, который следовало эвакуировать и беречь. Шостаковича сначала посылали на крышу тушить зажигательные бомбы, потом вывозили из Ленинграда специальным самолетом. И тем и другим очень гордились. От писателей и прочих скоро потребовалось то же, что и всегда, только в большей мере.

* [В БР вместо слов от «иними» до «сроки»:] до ужаса похожая на действительность 37–38 годов. Вечернее ожидание; страшно заснуть, чтобы не испытать ужасное пробуждение. Лучше насильственно бодрствовать, пережидая сроки. У тех и у этих было ведь свое время.

** [В БР:] Даже споры возникли о том, какое ожидание хуже. Хуже всего оказалось совмещение. Был и такой период — новая обстановка и аресты в прежнем духе. Потом это в основном временно прекратилось. Нестерпимые дни совмещения. Нестерпимая чересполосица своих и чужих. Помрачающая разум двойная функция своих — защищающих и уничтожающих. Помрачающая разум чересполосица двух несвобод.

*** [В БР вместо двух предыдущих фраз:] Он пока не понадобился Левиафану, и потому обречен той праздности, которой, вероятно, наказывают грешников в аду. Он посреди всего, все рядом с ним, он претерпевает все, но сам ни в чем не участвует. Так, куда Левиафан не протянет к нему свои щупальца и не употребит его в свою пользу, он бежит по своему кругу, повторяя бесцельно-целесообразные движения, рядом с другими, бегущими по таким же кругам, которые не пересекаются. Н говорил по этому поводу. Все мы знали, что война это очень страшно, но мы не знали, что это так скучно.

Фронт жил по своим законам. Там были задачи, которые кто-то решал или не решал, или ожидание задач. Глубокий тыл тоже имел свой распорядок. Там делали пушки или хлеб; там же откровенно отсиживались. А вот в прифронтовом, простреливаемом тылу, где почти нечего было делать (людям партикулярным), установилась какая-то странная действительность, иными чертами похожая на действительность 37-го года.

У тех и у этих были свои сроки*. Эти прилетали вначале в строго определенные часы; немецкая аккуратность входила в программу психической атаки (что хотим, то и делаем). Те были менее точны; считалось, однако, что позже четырех часов утра они приходят редко. Часов с четырех утра и до вечера человек воображал себя в безопасности. Эта воображаемая передышка многих, вероятно, избавила от помешательства.

В темноте, в немоте — ожидание вырванного с мясом звонка⁵ или серия взаимосвязанных звуков, возвещающих начало бомбежки. Утренняя неизвестность... Постепенно выясняется — прямое попадание в угловой дом. Постепенно выяснялось — из знакомых за ночь арестованы имярек и имярек. Раньше усиленно бомбили центр, например Моховую, или пытались попасть в Радиокomitee. А сейчас, заметьте, они явно интересуются Выборгской стороной. Вот уже недели полторы, заметьте, как они систематически обходят центр. В центре у нас, может быть, больше ничего и не будет. — Ну, разумеется, липа. Но почему именно эта липа? Не случайно. А. был связан с такими людьми... Б. — неосторожен, он разговаривал. У В., знаете, эти родственники. Если не иметь родственников и не разговаривать — может быть, ничего не будет. — Центр как-никак оставили в покое. Ну, конечно, случайное попадание... Помрачающая разум чересполосица**.

Можно ли жить, когда они в пятнадцати километрах? Или когда вечером не знаешь, где встретишь утро? А общество жило, выделяя тем самым соответствующие бытовые формы.

Несвобода войны вразумительнее всего, когда она достигает регламентации. В прифронтовом тылу партикулярный человек не работает или работает формально (оставшиеся заводы, медицинские учреждения в той или иной степени военизированы), потому что производить ему нечего. Блокада предоставила непонадобившемуся человеку заниматься сохранением своей жизни. Это было дозволено, узаконено***.

— Что вы делаете? — спрашивали блокадной зимой застрявшего в Ленинграде профессора Р. Он отвечал:

— Я обедаю.

*Странное, усугубленное отражение прежней действительности, ее несвободы и ее эгоизма. Но человек, переживая бессмысленность эгоистических страданий, не знает пока о смысле своего поведения, о том, что все, что он делает, имеет еще второе значение — он хранит и спасает в себе затухающий огонь жизни. Что в другом, историческом плане его воля к самосохранению служит огромному, многосоставному целому воюющей страны.**

ОЦЕПЕНЕНИЕ **(ПРИЗНАНИЯ УЦЕЛЕВШЕГО ДИСТРОФИКА)**

Этот психологический эпизод реконструирован мною (от первого лица) на основе рассказов блокадных людей о своем блокадном опыте***.

Я сидел за бывшим своим рабочим столом, вплотную придвинув стул, тесно зажатый между краем стола и стулом, — в оцепенении. Мне поручили сделать ответственный перевод. Этого импульса было достаточно для того, чтобы перо двигалось по бумаге. Но я уже с отвращением думал о том, что предстоит его, перо, обмакнуть или перевернуть страницу. Если нужно было дотянуться до края стола, чтобы взять бритвенное лезвие и очинить карандаш, я продолжал писать затупившимся карандашом или карандашом вместо пера, чтобы не протягивать за пером руку. Дело было не в утомлении, не в истощении, которое начинало даже уже проходить. Много месяцев продолжался бег по кругу. Весна принесла нечто вроде остановки; вернее, замедление темпов. И с замедлением открылась болезнь физической лени — особая заторможенность воли.

Легче всего совершать было действия, вызванные неодолимой потребностью минуты или инерцией привычных ситуаций. Психологически проще, возможно было сходить на другой конец города пообедать или втащить на лестницу ведро воды, чем потянуться за карандашной точилкой. По дорогам к обеду нас влекли могущественные стимулы добывания; ведра, колка дров были заведенной инерцией, не требовавшей вмешательства воли. Каждый предмет, не входящий в заведенный порядок дня, требовал каждый раз нового отношения между собой и действующей на него волей. И каждый раз это было мучением. Воля сжималась и цепенела в страхе перед контактом, перед мельчайшим усилием воздействия на мир, ставший источником вечного страдания.

* [В БР вместо следующего абзаца следовал фрагмент, публикующийся в разделе «<<Фрагменты, не вошедшие в раздел «Вокруг „Записок блокадного человека“»>> (см. с. 452).]

** [В ПМ и ВМ далее:] Человек не знает пока о смысле своего поведения. Напротив того, он чувствует (если может еще чувствовать) только бессмысленность эгоистических страданий.

Человек, отставленный от ответственности, бежит по кругу (может быть, круг можно разомкнуть — настоящей войной, или любовью к рядом бегущим, или написав об этом?). Круг блокадного дня — реализация метафоры, овеещающей самые общие признаки эгоизма.

*** [В РГАЛИ, вместо слов от «на основе» до «опыте»:] на основе рассказа одного из блокадных людей о своем блокадном опыте. Он реконструирован мною и потому, вероятно, по способу повествования стал похож на все прочее, что здесь мною записано.

На письма с Большой земли я не отвечал. По многим психологическим причинам. Но главным образом потому, что нужно было возиться с конвертом (в продаже их не было), с покупкой марки и почтовым ящиком. Это были все действия мельчайшие, но не механические, не стертые инерцией, и потому они требовали усилия воли.

Автоматическими же были безнадёжные действия, направленные на удовлетворение непрерывно и однообразно возобновляющихся потребностей. В них иногда было трудно включиться, труднее, чем их выполнять, при всей их физической затрудненности. Так, прежде чем пробиться сквозь все заторы враждебного мира к обеду, предстояло еще, например, вымыть банки (в них что-то приносилось домой), протереть их леденеющими, разбухшими от воды пальцами. Опять? Омерзение! Не могу!.. Но усилие включения сделано. Омерзение отпускает, я уже даже стараюсь поаккуратнее протереть пальцами края банки.

Лень была заболеванием воли, с симптомами отвращения и страха перед контактами с миром.

И мир повернется другой стороной...⁶

Он к нам повернулся страданием. На исходе зимы 42-го года далеко не все уже было страданием реальным, но сознание было ушиблено ожиданием страдания, непреодоленной к нему привычкой.

Война была основным содержанием этого мира, его тотальной действительностью. Фактическая и психологическая тотальность этой войны не оставила возможности тех обходных путей, какие оставляли прежние войны. Каждый, не принимавший прямого участия, знал (невзирая ни на какие доводы), что он отлучен от общей действительности. Он мог, конечно, считать, что собственная жизнь важнее исторической действительности, но он знал, что сделан выбор.

Дистрофия была крайней степенью отлучения, и она даже избавляла от выбора. Она избавила от нравственного беспокойства, потому что мы, дистрофики, понимали, что мы пожертвованы войне, но мы не понимали тогда, что и мы тоже — общее, пусть отраженное и тусклое. Что враг хочет меня убить, а я живу, что враг хочет убить город, а город живет, и я — почти бессознательная частица его сопротивляющейся жизни.

Этого мы не знали. Дистрофия оставила человеку защитное равнодушие, под покровом которого он мог облегченно умирать. Она оставила человека лицом к лицу с обнажившейся, первобытной двойственностью удовлетворения и страдания.

Зима — это сияющая красота, легкое дыхание и веселый огонь, нежный снег, нежный мех... А непобежденная зима — это тьма, ведра, замерзшие и тяжелые как камень; это холод, всегда холод, от которого ноет сердце. Способы побеждать мир вещей — побеждаемый любовью, познанием, конструкцией, — исчезли в хаосе и развале предметов цивилизации.

Но я ведь был уцелевший дистрофик, и ко мне возвращалась возможность мыслить. Мысленно я распределял по своему усмотрению явления мира. Но я мучительно не хотел физических с ним соприкосновений. Все было прикосновением к болезненно раздраженной коже или душе. Большие страдания зимы постепенно сменились непреходящим нервным раздражением.

Очками для дали я пользовался не всегда. Надевая их, я любил праздничность этого перехода. Мир внезапно придвигался и вспыхивал; и можно было опять притушить эту мешавшую сосредоточиться яркость. Но как-то весной — как раз стали ходить трамваи — в трамвае мне раздавили очки (я их сунул в карман). Имелся рецепт, но оказалось — заказать стекла невозможно. Стекол не было. И мир стерся, потух. Я проходил мимо памятных ленинградских сочетаний и не мог им вернуть ту немного искусственную радужную отчетливость, которую я так в той жизни любил. Это раздражало. Раздражение преобладало настолько, что зрительную полноценность возвращать уже вовсе не хотелось.

Еще мучительнее обувь. Рваные калоши. Весна, например, это главным образом мокрые ноги, всегда мокрые ноги. Когда добираться, наконец, до места, садишься — кажется, что нет ни носков, ни ботинок, что ноги облеплены тяжелой набухшей резиной. Ботинки (новые достать невозможно) скорезились, задеревенели, пошли какими-то буграми. Я ходил, опустив голову, думая о своих ногах. Именно ноги осуществляли непосредственный физический контакт с миром. Отвратительный контакт.

Я понял, что значит хромать на обе ноги, — это когда ни одна нога не выдерживает тяжести тела. Когда-то, в той жизни, я любил думать на ходу. Любил этот двойной, перекликающийся ритм внешнего и внутреннего движения. Я любил слушать свое дыхание, когда шел через мир по улицам и дорогам. По нашим дорогам, с прекрасной их повторяемостью, возбуждающей слепое желание идти и идти... с вечно обманчивым ожиданием того, что откроется, наконец, за поворотом... С каким-то необъяснимым, алогичным презрением к себе я вспоминал об этом теперь, медленно ковыляя.

Раздражения, унижения пронизали жизнь. При некоторых столовых, в учреждениях были уборные, страшные, без воды. У уборной стояла очередь. Люди не скрывали того, что не в силах ждать (один из дистрофических симптомов). В редакции, где я бывал, уборная была одна. Девушки, обыкновенные девушки, без всяких похабных намерений, кричали засевшему в уборной мужчине, чтобы он поскорее выходил. И мужчина (молодой) хладнокровно отвечал из-за двери — тоже без нарочного похабства: «Что же мне, к вам без штанов выходить, что ли?»

Еда также была обставлена множеством раздражающих условий. В пору большого голода импульсы, толкавшие к еде, покрывали все раздражающее. Теперь не то. Начиналось с покупки. В магазине всегда темно и мокро. Ноги отсыревали и болели. И я катастрофически не умел справляться со всеми предметами, которые приходилось одновременно держать

в руках. Судивлением и завистью я смотрел, как женщины свободно и ловко оперировали сумочками и сумками. Я так не мог. Нужно было вытащить бумажник, из бумажника, отыскав ее, нужную карточку (при этом не вытряхнув остальные, с которыми она сложена вместе). Потом деньги. Сзади напирали, и я не успевал засунуть обратно сдачу. Со сдачей, карточкой и бумажником в руках я шел к прилавку. Зажатый под локтем портфель неудержимо ускользал вниз. Я был уверен, что если засунуть в карман перчатки, их немедленно вытащат. Но если не засовывать перчатки, то тогда уже решительно не было ни одной руки, чтобы расправить авоську, в которую предстояло уложить триста граммов селедок. Все скапливалось под конец в руках — портфель, бумажник, авоська, сдача, перчатки, карточка, которую я держал изо всех сил, селедки, плохо завернутые продавщицей в бумажку. С отвращением я сжимал все это в кучу, прижимал к себе, ковыляя в угол к заброшенному прилавку, чтобы там все свалить и разобраться; оглядываясь при этом через плечо, не подкрадывается ли кто-нибудь сзади.

Враждебный мир давил на тело — на наблевшую, натруженную поверхность. И тело — форпост этого мира — давило на сознание. Помимо всего прочего, в этом мире стреляли. И, странное дело, сейчас это воспринималось не столько по существу, как смертельная опасность, сколько побочными и сопровождающими раздражениями. Опять загоняют... Не дадут спокойно пообедать. Не стоять же с мокрыми ногами, с набитой авоськой в подворотне. К чертам!..

Мир давил на натруженное, наблевшее сознание. Лучше всего ему пребывать в оцепенении. Когда в комнате бывало тепло, это было не тягостное оцепенение. А за окнами в странной вещественной близости, в безмерном интеллектуальном удалении лежал мир, со множеством вещей, когда-то любимых. В ближайшей близости за слепыми окнами лежал город, замученный город, с которым мне и сейчас трудно было бы разлучиться. Труднее, чем с людьми, уехавшими из этого города. Город я любил со всей его знаменитой символикой, с туманом и слякотным снегом, с гарью и ветром. Особенно этот ветер... Я знал, как могу любить свой город — пустые улицы, в скверах сугробы, израненные дома... Но сейчас я был наблевшей поверхностью, и я просил город меня не трогать.

Я привык не желать внешнего мира. Когда в сознание прорывалось, что голубеет небо, что есть почки и будут листья, шумящие на ветру, я пугался, я боялся нового времени года, несущего угрозу оцепенению. Я как сумасшедший боялся, что все это кончится. Ведь тогда должно было кончиться странно простое, сведенное к минимуму существование, которое я вел, мучительное и до крайности облегченное. Должна была начаться сложная, трудно восстанавливаемая нормальная или будто бы нормальная жизнь, с ее утомительными желаниями. А сейчас оцепенение. Мир, потухший из-за разбитых очков, непроходимый из-за скореженной обуви. Мир без любви. Я сидел в тихом оцепенении, и всякая любовь, прошлая и будущая, казалась мне непомерно хлопотливой историей.

Я был болен особой, блокадной болезнью воли. И единственно вожденным, разрешающим выходом мечтался выход из нее в обыкновенную, прежнюю человеческую болезнь. Болеть было невозможно по множеству технических причин. Но болезнь, обыкновенная болезнь, была бы идеальным состоянием. Сонливое, затуманенное жаром сознание отложило бы все ответы на требования враждебного мира. Болезнь была высшим правом на оцепенение.

Болезнь, наконец, пришла, и тогда неодолимые бытовые препятствия непредвиденным образом уладились. Тогда я стал с жадностью предаваться болезни; и даже казалось, что мне это никогда не наскучит. Хуже всего человек переносит отсутствие целей. Но болезнь давала странное, в своем роде единственное сочетание оцепенения с непрестанной целеустремленностью, как бы непрестанно осуществляемой. Жар вызывал необходимость расслабленной неподвижности, отключенности от страшного мира. Это была необходимость, непосредственно, физически переживаемая, и выполнение ее само по себе было целеустремленным. Так состояние жара, тяжелой дремоты (дремота приносит особое наслаждение сном, потому что это ощущаемый, осознаваемый сон) в то же время было переживанием совершаемого нужного действия, как бы отрицательного.

Я лежал, и от меня отступали все расстояния, которые я прошел натруженными ногами, все пространства, отделявшие меня от воды, от полена дров, от хлеба. Я лежал, и мне нравилось доводить оцепенение до предела. Неподвижностью я достигал постепенного исчезновения тела. Опротивевшее, враждебное, страдающее тело больше не давало о себе знать. Нечто подобное испытывает пловец, когда, закрыв глаза, лежит на воде, уже не чувствуя воды, и из всех ощущений осталось ему только ощущение глубокого своего дыхания.

Ощущение дыхания осталось и мне. В дремоте я подолгу следил, как дыхание, зарождаясь в глубине, росло и струилось вверх, как бы само по себе существующее, единственно существующее прокладывало себе путь через неощутимое тело.

Блаженному полному отчуждению тела мешало сердце. С левой стороны иногда возникали ощущения неудобные, тянущие. Я старался тогда особенно плоско и неподвижно уложить левое плечо, руку. Уложить сердце. Но сердце должно было работать. Неприятно было думать о том, что сердце нельзя на время остановить, что оно все ведет и ведет свою самопожирающую работу. И как долго это может продлиться?.. Но сердце ведь не всегда давало о себе знать.

Так я покачивался на волнах болезни. И, не думая об этом, я знал, что так уходят в легкую смерть дистрофиков. Смерть без сопротивления. Смерть без удивления: был человек, и нет человека! Невероятно! Нет, очень, очень даже вероятно. Самое из всего вероятное. Смерть, не оставляющая от жизни следа. Корова языком слизала.

Бесследно все, и так легко не быть...⁷

Совсем не так, как Иван Ильич. Не так, как Лев Николаевич.

А жизнь уже медленно проступала, со своими уцелевшими хотениями. С желанием жить, с готовностью к смертельному риску, мерцавшими сквозь оцепенение*.

ОТРЕЗКИ БЛОКАДНОГО ДНЯ

1. Торопливость

Не сразу Эн понял, почему каждый день на работе часу во втором им овладевает странное болезненное состояние. Потом он догадался — это торопливость, один из оборотней голода или голодной травмы. Торопливость как маска голода — непрерывное устремление от одного этапа еды к другому, сопровождаемое страхом что-нибудь упустить. Торопливость особенно связана с обедом. Обед отпускает казенная инстанция, равнодушная. То есть у нее на все есть объективные причины (действительно есть и действительно объективные). А вдруг не хватит? Зимой несколько раз не хватило каши.

Теперь в столовой всегда дают все, что положено. Теперь торопливость — отражение психики, пробег от одной к другой бесцельной цели. Цели расположены по кругу в никуда не ведущей повторяемости.

Мотивировка обыкновением чувством голода — это нечто оздоравливающее, успокоительное. Как раз в этот час оно начинает обостряться. Но травмированный человек плохо переносит желание есть; оно, в свою очередь, порождает томление и страх. Эн сосредоточен теперь на желании уйти (у него ненормированный рабочий день). Он вычитывает машинопись, с усилием ведя себя от строчки к строчке. Неприятней всего переносить правку из первого экземпляра во второй, в третий. Тройное торможение пробега. Теперь уже надо соблюдать приличия, и он соблюдает, — тщательно замедляя жесты. Он говорит скольльзящим тоном:

— Так вы передадите. Мне сейчас необходимо уйти. Я буду часам к четырем, если кто будет интересоваться...

Кто-то спрашивает:

— Вы в столовую?

— Да, то есть я там буду. У меня сначала дела.

Нельзя обнаруживать торопливость.

Секретарша говорит бодрым голосом:

— А знаете, будет чудесно, если вы мне сейчас напишете эту бумажку.

С точки зрения секретарши это задержка на несколько минут. Она не понимает, эта милая девушка, что врезалась во внутренний бег травмированного сознания, что это больно.

Эн не может сделать уже ни одного тормозящего движения. Не может дойти до своего стола. Он просит у секретарши листок бумаги, хотя бумага у него с собой в портфеле, но надо щелкнуть

* [Этого абзаца нет в РГАЛИ.]

еще замком портфеля. Он хватает ближайшее почти не пишущее перо, куда-то присаживается, пишет не своим почерком эти несколько строк, выигрывая на этом минуту. Он пишет и думает о том, что ему предстоит одолеть выход на улицу, трамвай, очередь у контроля, очередь в столовой, медлительность подавальщицы... И в этом ряду затрудненных действий то, ради чего они совершаются, — порция супа и двести грамм каши — оказывается неуволимо кратким и эфемерным.

После трамвая очень противно оставшееся пешеходное пространство. По дороге встречаются возвращающиеся из столовой. Трудно удержаться от вопроса: «Что дают?» — и хочется удержаться, чтобы не отрезать себе сразу все возможности ожидания. Можно также умозаключать по тому, как они держат свои сумки, бидоны или портфели. За углом уже видна входная, всегда приоткрытая, дверь. Уже ничто (включая обстрел или воздушную тревогу) не помешает дойти и войти. В глубине темного коридора просвет, где мелькает иногда лысая голова буфетчика — это отрядный знак дополнительной выдачи. Иногда же уныло блестит гладкая плоскость прилавка.

Зимой (особенно до всеобщего отъезда в эвакуацию) здесь, у контроля, стояли многочасовые очереди. Стояли покорно. Обед, избавлявший от голодной смерти, казалось естественным добывать любимыми усилиями. К тому же люди стояли не на морозе, только в холодном коридоре. Сейчас у контроля пусто — именно потому все страшно торопятся. Путаюсь в карточках, деньгах, пропусках, каждый хочет прорвать плотину этих трех-четырёх медленно продвигающихся спин, каждому, чтобы успокоиться, нужно скорее схватить бирки (только бы их не потеряла подавальщица...). Работает старая травма.

Теперь это на вид средней руки столовая (подражание нормальному быту) с неполиваемыми цветочными горшками на столиках, полугрязными скатертями, почти чистыми подавальщицами. Сразу не заметно (зимой все было заметно сразу), что люди занимаются здесь трагическим делом. Понять это можно, если приглядеться, как они быстро облизывают ложку (лизать тарелки уже не принято), выскребают тарелку, с наклоном держа ее на весу, пальцем обводят край банки с кашей, как они замолкают перед поданной едой и рассматривают ее внимательно, как их головы автоматически поворачиваются вслед за подавальщицей.

Из всех трапез обед меньше всего похож на свое название. Суп не исполнен еще безнадежности. Он не так вкусен, и его больше; и, главное, он первое блюдо. В обеде самое печальное — это съедание каши; кратчайший акт, столь краткий, что в нем начало соприкасается с концом. Достаточно двух взмахов ложкой, чтобы внести непоправимые разрушения в эту круглую выложенную на тарелке пушистую массу с ямкой посредине, залитой десятью граммами темно-золотистого жира.*

* [В МЧП далее:] Люди занимаются здесь трагическим делом, но попутно они могут уже разговаривать. И за столиками ведомственной столовой, так же как за рабочими столами Учреждения, совершается всё то же действо разговора со всеми его пружинами — и вечночеловеческими, и блокадными.

2. После обеда*

Печаль над опустевшей маслянистой от каши тарелкой знаменует конец предобеденной целеустремленности. Здесь начинается спад блокадного дня. В явлении послеобеденного спада нет ничего прежде не бывшего. Настоящий обед (не то, что человек хватает в обеденный перерыв) всегда был переломом. Поздний семичасовой обед был уже непосредственным переходом к вечернему отдыху. Ранние обеды перерезали день. Чехов утверждал, что работать можно только до обеда. Обед приносит не только лень, сонливость, но ощущение начала дряхлости, старости, истощенности, умирания дня. Для многих это были выморочные часы, тянувшиеся кое-как, пока, наконец, не оформлялся вечер со своими собственными закономерностями и целями.

Сейчас, когда люди оказались в первобытной зависимости от течения суток, от температуры, от света, — чувство умирания дня особенно конкретно. В разгаре белых ночей — это зимняя травма, страшно цепкая, как все травмы этой зимой. В послеобеденной депрессии ощущение чрезмерной сытости замещено теперь разочарованием, обидой, которую приносит быстротекущий обед.

Блокадный круг состоит из повторяющихся, возобновляющихся отрезков. С такой же регулярностью, как все прочее — как, например, обстрелы, — возникает в свое время послеобеденная тоска. Сознание ненадолго освобождается для тоски, и до него вдруг доходит все, в другие часы подернутое туманом. Доходит со щемящей болью бесцельность целей, доходит повторяемость жестов, сопровождающих пробег. В особенности же — отторгнутость. Отторгнутость от тех, кто уехал, кто на Большой земле. Они непредставимы, существование их нереально. Отторгнутость от рядом бегущих...

Эн пешком медленно возвращается из столовой в учреждение. Справа в глубине переулка Нева. В час тоски это надо обойти, не трогать. Нынешним летом он видит только переезжая мосты, из трамвая торжественную Неву с военными кораблями. Он ни разу не касался рукой потеплевшего на солнце гранита, не сидел на полукруглой скамье, не спускался от нее по ступенькам к воде, неожиданно интимной, вещественной, — с песочком на дне и запахом рыбы, — вдруг открываемой среди декоративной речной перспективы.

Поворот Фонтанки со старым домом. Сюда Эн ходил в гости. Люди, к которым он ходил, эвакуировались. Он приходил сюда всегда очень поздно, начинал собираться гораздо позже, чем ложится теперь спать. Там всегда была водка, легкая закуска. Странно... Люди сидели, разговаривали, разговаривали. Что-то читали друг другу. Спрашивали небрежно: «Что, выпьем чаю сейчас или дочитаем?» — «Дочитаем, конечно...»

Хождение в гости, с ужином, отодвинутым разговорами. Или этот ветер и по ветру вечный бег привязанной к ветвям лисы — все это та жизнь. Но тоска делает еще один ход. Она уже

* [В МЧП этот фрагмент называется «Промежуток».]

не хочет возвращения. То ли потому, что та жизнь совсем другая, до нереальности непонятная, то ли, наоборот, потому, что она слишком похожа — как наваждение.

Не оглядываясь, сосредоточенный на своем, Эн идет из столовой в учреждение. Вдруг до сознания доходит знакомый тяжелый, содрогающий звук. И тотчас же доходит, что это не первый такой звук, что было их уже несколько подряд. Это обстрел; пока что, очевидно, другого района. Теперь Эн оглядывается. Если б не этот звук, нельзя было бы догадаться о происходящем. Прохожие с ленинградским хладнокровием, которое стало здесь безраздельно властвующей над человеком средней нормой, занимаются своими делами. Они идут по улице (пока не загнали в подворотню), неся портфели, судки и авоськи, стоят в очереди, разговаривают и прикуривают друг у друга. Слышатся реплики: «Кажется, наши стреляют». — «Да как же, — наши!» Или: «Здорово бахнул!»

Повторяющийся звук уже не уходит из сознания. И, как всегда, слушая этот звук, Эн испытывает сумасшедшее чувство какой-то опрокинутости, вывернутости явлений. Путаницы в категориях времени и пространства. Свист снарядов над головой — страшнее, но понятнее. Он знаменует пространственное присутствие — они действительно сейчас здесь, над головой, — и временную протяженность (длительность свиста). Совсем другое — звук отдаленного разрыва. Это неуследимое настоящее, которое, дойдя до сознания, уже стало прошлым. Обратный порядок: сначала звук, потом страх перед тем, что уже не совершилось. Потом тишина, и в короткой тишине заново решается вопрос о жизни и смерти человека. Решается тем, что он сделал два шага лишних к трамвайной остановке, или нагнулся за уроненным портфелем, или с тротуара шагнул на мостовую. Человеку кажется, что все пойдет по порядку — что будет свист, потом разрыв, который он увидит со стороны, и потом уже что-то с ним случится. Он знает — это аберрация.

Это аберрация причинно-следственных связей, а есть еще аберрация безопасности — когда человек убыстряет шаг под обстрелом, чтобы его не настигло. Именно так поступает Эн, когда раздражен тем, что на улице задерживают и мешают дойти до учреждения, где в эти часы бывает кипяток и можно выпить кипятку с оставшейся от обеда конфетой.

Эмоция страха замещена эмоцией еще более непосредственной — раздражением, производным от травмы голода. Если не произошло замещения эмоций, Эн заходит в подворотню, говоря себе и другим, что следует поступать разумно — без паники и без глупой неосторожности.

3. Вечер

Кончились послеобеденные часы работы. Предстоит возвращение домой. В первом, дневном, выходе из учреждения преобладало нервное напряжение, торопливость; во втором преобладает оцепенение.

Эн медленно идет по улице. Сейчас вечер, перед белой ночью, с великолепным холодным (даже в душные дни) косым светом, в котором горит асфальт Невского проспекта. Привычное удивление, когда после позднего рабочего дня выходишь из темноватых комнат и застаешь на улице свет в его неувыдаемом разгаре. Это и есть та неисчерпаемость длящейся жизни, которую так любят настоящие ленинградцы. Это чувство непочатого еще запаса жизни, отпускаемого на каждый день.

Не отсюда ли у Эна взялась мечта, занимавшая его в юности. Мечта о жизни, состоящей из долгих дней. Из дней переживаемых, осознаваемых во всей своей протяженности и в каждой частице своего состава. Но сейчас у хода жизни свой порядок — вопреки белым ночам. Круг должен замкнуться (чтобы начаться с начала — поскольку он круг). Ход вещей определяет усталость, истощенность ритуальных жестов дня, наступающий час последней еды. Круг печально стремится к своему несуществующему концу.

Что-то тревожное есть в несовпадении состояния дня с состоянием человека. Немеркнувший свет, напрягая нервы, напоминает о том, что сейчас только можно бы начать большую прогулку вдоль извилин реки, что можно бы еще многое... В белой ночи проступает ее жестокость. Блок это понимал: «Май жестокий с белыми ночами...»⁸ Они жестоки к человеку, который хочет, чтобы его защитила тьма, начисто срезал сон. День забит множеством отвлекающих, путающих, затемняющих сознание вещей. Ночью же, освобожденной от суеты и не смягченной мраком, обнажаются основные очертания жизни. Это страшнее сейчас, чем когда бы то ни было.

Дома предполагается еще ужин — заключительная еда, отсчет вечера. В той, прошлой жизни у Эна вечер начинался поздно, затягивался, переходил в ночные бдения, до двух-трех часов и позже. Это была часть дня, нередко рабочая, но в принципе разрешающая безделье; единственная часть дня, когда безделье было законным и легким. И все вокруг заполняли его развлечениями, любовью, дружескими разговорами за водкой. Все это можно было предвкушать как своего рода отдых. Особенно когда отдых не прерывался, переходил в следующую единицу времени. Когда, например, можно было до следующего дня не расставаться.

Сейчас эрзацем всего этого — ужин. Осознанно или бессознательно неполноценный ужин (скажем, разогретая ботва без хлеба*) сообщает эмоциональную окраску послеобеденной половине дня. А предстоящий полноценный ужин примиряет как *happy end*.

Ужин окончен. Эн сидит у времянки. В ней еще догорают щепки, и времянка немного дымит. Длинной щепкой Эн ворошит головешки в тесном железном пространстве, прикуривает. В прежней жизни у папиросы была своя типология. Была папироса перед сном, и папироса утренняя, и ленивая послеобеденная папироса, папироса делового разговора и дружеской болтовни. И еще были папиросы, которые он докуривал, со смятым концом и следами губной помады.

* [В *ВМ* далее:] или что-нибудь настоящее, но в количестве, наводящем тоску.

В блокадные месяцы папироса приобрела множество новых и важных значений. Она стала средством физического заглушения голода и отвлечения мыслей от голода. В бытии, совершенно не предназначенном для удовольствий, папироса была едва ли не единственным актом чистого удовольствия, не сопряженным с пользой (как еда или сон), скорее с вредом. По своей бескорыстно гедонистической природе папироса была каким-то остатком обыкновенной человеческой жизни. Папироса — особенно самокрутка, с развернутым ритуалом ее приготовления — была запасной возможностью заполнения пустоты, какого-то отрезка пустоты. Что еще предстоит?.. Что еще предстоит?.. Можно еще покурить, отвечал себе человек, успокаивая тоску.

В течение дня папиросы были разные. Голодная папироса, которую Эн курил перед самым супом, когда подавальщица медлила и раздражение поднималось до предела. Послеобеденная папироса — когда-то она возникала в тумане кейфующей сытости; теперь она заглушала тоскливую неудовлетворенность обедом. Служебная папироса. Он думал о ней с удовольствием по дороге в учреждение. Она входила там в комплекс общения с безразличными людьми, болтовни, бюрократических ритуалов и электрических приборов (там, экономя спички, прикуривали от плиток). Была еще последняя, вечерняя папироса. С ее дымом, казалось, исходит исчерпанное за день сознание. Несмотря на тематическое распределение папирос, курение все же в этом существовании акт, быть может, самый свободный, наименее прикрепленный к ситуации.

Эн ковыряет длинной щепкой в печурке, докуривая вечернюю самокрутку, продолжающую, затягивающую процесс еды. Последний, увязший в пепле огонь промерцал у края мундштука. И в это мгновенье (так бывало уже не раз) чувство круга, пробега по кругу стало вдруг пугающе ясным. И страшнее всего не повторяемость даже, а предвидимость, совершенно точная. Он видит уже разворачивающийся ряд движений, завтрашних, послезавтрашних... Видит, как именно он берет портфель, как опускает в карман ключ, как, слегка задыхаясь, подымается по лестнице учреждения, как заглядывает через плечо машинистки — подвинулась ли рукопись. Из связанного ряда ничего нельзя исключить, и невозможно ввести туда непредрешенный, неритуальный жест.

Все это не совсем уж ново. И в прежней жизни его мучила иногда предвидимость будущих действий. От самого себя отделялся и уходил в будущее двойник, автоматически точный. Почему-то особенно неприятен он был при отъезде из города на месяц, на два. Жутко было заранее видеть, как отчужденный двойник через месяц берет билет, сидит в купе, отпирает закрытую квартиру.

Тогда это были психологические миражи; в блокадном существовании все приобретает странную буквальность. Вместе с жестами предрешены прикрепленные к ним ощущения. Безошибочно должно было возникнуть чувство уверенности в ту минуту, когда Эн на пороге учреждения

предъявлял охраннику пропуск; чувство облегчения, когда из-за поворота показывался нужный трамвай; чувство тоскливой опустошенности, когда под первыми же двумя ударами ложки непоправимо исчезала каша; чувство полноты, неисчерпанности, когда утром он вынимал из портфеля еще не тронутый хлеб.

Абсолютная несвобода душевных движений, пригвожденных к вещам, стоявшим когда-то на низших ступенях иерархии ценностей.*

В торопливом пробеге от еды к еде — нечто бессознательное, полярное тем долгим дням — насквозь осозанным, переработанным мыслью, — о которых мечталось когда-то.

Почему-то сегодня — давно не испытанная ясность мыслей, возбуждение мыслей, как будто пытающихся освободиться. Почему он вспомнил о долгих днях? Это начинает отступать дистрофическое затмение, это медленно крепнет связь с общей жизнью, стоящей на своем, сопротивляющейся врагу.

* [В МЧП далее:] Низший организм, амеба со щупальцами, которая тычется, управляемая простейшими стимулами удовольствия и неудовольствия. Эн знает, что удовольствие все равно непременно и точно возникает на своем месте — когда он будет вынимать хлеб из портфеля или увидит на стене объявление о выдаче кондитерских изделий. Но к вещам в их бессмысленной перспективе он испытывает сейчас отвращение, больше всего именно к приносящим удовольствие, приятные раздражения, предназначенные для низших организмов. Амеба плывет по кругу, выпуская и поджимая щупальцы. Дистрофический человек бежит по морозу от еды к еде. В торопливом пробеге — нечто от бессознательности и смерти. Между двумя бесцельными целями он спешит проскочить время, то есть проскочить жизнь. Потерять время.

<ФРАГМЕНТЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «ВОКРУГ „ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА“>>

1.

Истребляемый, оскверненный человек не в силах верить в красоту и абсолютную ценность единичной души. Гораздо естественнее ему испытывать отвращение к этой голой душе и горькую и тщетную жажду очищения во всеобщем*, в некоей искомой системе связей — в религии? В экзистенциальном самопроектировании? В новой гражданственности?

Вне абсолютов — лобовая логика нигилизма и эгоизма с двумя ее основными утверждениями: 1) если нет бессмертия души, то жизнь человека бессмысленна; 2) если жизнь человека бессмысленна, то человеку этому все дозволено.

Из логики нигилизма Достоевский безукоризненно точно вывел своего логического самоубийцу. «Мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы... Веры в бессмертие для него не существует, он это объясняет в самом начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцельности и ненависти к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человеческого на земле».

Это в «Дневнике писателя» 1876 года. А в 1874 году Толстой в записной книжке писал: «Проживя под 50, я убедился, что земная жизнь ничего не дает, и тот умный человек, который вглядится в земную жизнь серьезно: труды, страх, упреки, борьба, — зачем? род сумасшествия, тот сейчас застрелится...» Толстой, как известно, был на шаг от того, чтобы сделаться логическим самоубийцей, однако не стал, а вместо того написал про все это в «Анне Карениной» и в «Исповеди».

Вековая практика опровергает неопровержимую логику. Скептическому человеку присущи цели, интересы, этические нормы, и он живет так, как если бы жизнь его была включена в осмысленную преемственность поколений. Поэтому он и знает, что ему не все дозволено.

Объясняли это по-разному. Одни бессознательной религиозностью (такие объяснения любили, например, славянофилы, уверявшие Герцена, что он религиозен, сам того не подозревая)¹, другие — способностью человека фикциями защищаться от истинного положения вещей. Это точка зрения многих мыслителей — от Экклезиаста до Хайдеггера.

Но почему, собственно, подлинна только пустота, только смерть, находящаяся за пределами человеческого опыта,

* [В ПМ здесь:] Он знает, что в лучшем случае ему может быть дана суровая осмысленность страданий и смерти, труда и терпения — в некоей искомой системе связей.

а то, из чего состоит опыт, — наваждение? Разве любовь, радость жизни не такая же психологическая реальность, как страдание?

Сестра моя жизнь...

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробушком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад спит, как плес
Обрызганный, закапанный
Миллионом синих слез...²

Такая же психологическая реальность... Различие, впрочем, есть. Каждое страдание сопровождается непредставимостью его конца (представить себе конец страдания — значит, избавиться от страдания). О счастье мы, напротив того, знаем, что оно пройдет, в каждой радости затаился страх конца — как в самом чувстве существования.

Может быть, ужас жизни познают мудрые, а радость жизни суетные? Нет, это тоже не получается. Больше всего скулят именно суетные. Мудрые же не только с интересом продолжали жить, но и самую бессмысленность жизни считали нужным утверждать в письменной форме. Поэты умеют постичь ужас жизни и радость жизни в их одновременности.

Жизнь не имеет смысла... Зачем же ты живешь? — Чтобы написать об этом. — Но если жизнь не имеет смысла, то и писать не имеет смысла. Зачем же ты пишешь? — Чтобы написать о том, что нет смысла писать, если жизнь не имеет смысла...

Человека долго уговаривали: неверующему в бога и бессмертие души нелогично быть хорошим; разумны для него только эгоистический произвол и логическое самоубийство (в самом деле, это было все же разумнее разумного эгоизма).

Но логика поведением не управляет (логически мыслящие от других отличаются пониманием нелогичности своих поступков). Поведением управляют устремления и интересы, превращающие человека в устройство, приспособленное — биологически и социально — для жизни; закономерность, из которой он вырывается только вследствие патологического развала или чрезмерности нагрузки (последнее редко, человек выдержать может много, выносив).

Исходным, структурным свойством социального человека является переживание связей и себя в общей связи. Поэтому атеистический человек непрерывно переступает пределы отведенного ему времени и пространства. Он настойчиво интересуется тем, к чему по логике должен быть равнодушен: чужими делами, своими делами — после собственной смерти.

Переживание общности есть сознательное или бессознательное, сильное или слабое, возведенное в религиозный догмат или робеющее от собственной нелогичности. Это первичное свойство своей социальной структуры человек получает вместе со всеми знаковыми системами, составляющими его культурное сознание, вместе с языком (то есть мышлением) — как носителем общих значений. Человек принимает огромное содержание общего с тем, чтобы своей непрочной жизнью внести в него изменения, большие или малые; в конечном счете малые — по сравнению со всей этой толщей.

Вот почему переживание общего столь же действительно, как и скрещивающиеся с ним интенсивные — до зверства — вождения эгоизма, скрещивающиеся в том же человеке (создать питательную среду для тех или для других — это дело социально-исторических ситуаций). Даже поступая эгоистически, человек склонен притом оценивать поступки — в особенности чужие, отчасти и свои — по нормам общего. Нормы общего, впрочем, далеко не всегда призывают к гуманизму — даже в своей официальной, камуфлирующей фразеологии. Самые жестокие и корыстные интересы коллектива тоже требуют от личности жертвы, даже тотальной (фашизм это продемонстрировал).

То общее представляется нам иллюзией, обманом, алогизмом, то — единичная личность. Вероятно, и то и другое в отдельности — иллюзия; а реальный наш опыт — это их взаимодействие.

Участие эгоистического* человека в общественных деяниях, требующих жертвы, — не логическая ошибка, на которую ему тщетно пытаются раскрыть глаза, и не только результат мощного давления среды; это приведенное в действие переживание связи и общности, то, которое человек находит в символических формах своего языка.

Религиозное чувство (не обязательно предполагающее бога) — предельное выражение чувства связи; любовь — его эмоциональный эквивалент.**

Это проблема границ личности, границ ее торжества и ее уязвимости. Джеймс утверждал, что личность — это все то, что человек считает своим³. Это, конечно, воззрение буржуазно-индивидуалистическое. Но личность, ему соответствующая, развилась очень поздно (и надолго ли?). На протяжении всей предыдущей многовековой своей истории человек мыслил не мир как свою принадлежность, но себя как принадлежность мира. Очевидно, для социального общества образ мыслей наиболее естественный.

В XIX веке разгулявшееся индивидуалистическое сознание попыталось сделать последние выводы. Не получилось. Логика сорвалась на идее творчества. Творчество, в особенности искусство, декадентский солипсизм вынужден был пощадить, потому что весь он сидел на этом суку. Творчество же есть род общения. Можно писать для многих и для немногих (даже для трех человек знакомых), для потомства, для воображаемого читателя; но творить для себя — это сумасшествие.

* [В ПМ:] атеистического
** [В ПМ здесь:] Мать, приносящую жертву своему ребенку, никто не считал нелогичной.

Несмотря ни на какие доводы пессимизма, люди всех уровней (в том числе авторы трактатов о бесцельности существования) живут по законам жизни. Человек зажат разветвленным механизмом вождельней, интересов, разрешаемых задач, творческих побуждений. Среди них он прокладывает себе колею, непрерывно выбирая, оценивая. Он иначе не может, если и хочет иначе, если и воображает, что все для него трын-трава; даже из самой идеи трын-травы он тотчас же извлекает удовлетворение, хотя бы эстетическое удовлетворение найденной позой. Отсюда и самоутверждение в превосходстве над прочими, не знающими о трын-траве.

Он не может иначе, вроде того, как не может человек не слышать звук и не видеть цвет, потому что звук и цвет, как ему известно, существуют только в его восприятии. Таково устройство общественного человека; иерархическая оценка — форма его нравственного чувства, данная ему для самых разных содержаний.*

На двух полярных тенденциях зиждется отношение безрелигиозного человека к смерти. С одной стороны, ужас — биологический и философский — перед личным уничтожением. Здесь берет начало всякое отрицание жизни, все теории бесцельности. С другой стороны, зная все про бессмысленность преходящей жизни, человек живет и переживает жизнь так, как будто он включен в конструктивную связь того, что было до него и будет после него, как если бы, в частности, то, что будет с ним после него, кровно его касалось. Не вкусивших прижизненной славы не всегда прельщает мысль о посмертной; это представление может раздражать и дразнить или оставлять равнодушным — но едва ли кто-нибудь равнодушен к возможности своего посмертного поругания; даже к тому, что может обнаружиться что-нибудь смешное...

Человек знает — лопух вырастет⁴, а его обуревают посмертные интересы, очень общие и очень личные. Что это — недомыслие, вытеснение, страусовая политика, недостаток логики (объясните ему, и он перестанет), суета сует?.. Без сомнения, все это, но не только. Еще неопровержимое чувство общих связей. Правда, он знает, что общее, к которому он причастен, со временем тоже сгинет без следа. Но это уже за пределами его кругозора.

Иррациональное переживание общих связей — условие, делающее возможным и рационалистическую этику неверующих, и смутную этическую рутину повседневной жизни. Но общество искони вырабатывало свои правила, ориентируясь на абсолюты. Скептический человек воспитывается под давлением вековой инерции и произвольно применяет к ней свои оценки. Иерархия — от непосредственных удовольствий до абсолютов. Притом, кроме метафизических абсолютов, существуют абсолюты социального порядка: государство, родина, народ, революция. Герцен протестовал против власти общих понятий над личностью⁵, не понимая, что это словесный эквивалент общих связей.**

* [В ПМ далее:] привязывающая его к жизни с меньшей силой, чем самый эгоистический инстинкт.

** [В ПМ далее:] Тотальные требования, которые общие понятия предъявляют к человеку, логически обосновать невозможно. Но ведь и бога логически обосновать не удавалось.

Огромной действенностью обладают и социальные нормы, заведомо относительные. Их сила определяется силой давления среды. Это почести, ради которых рискуют жизнью, общественное мнение, убивавшее человека, и прочие правила игры, заданные субъекту извне*. А наряду с этим изнутри, из субъективного в объективное, направлены и только в нем осуществляются творческие возможности человека. Творческие побуждения тоже не абсолютны, но теми, кому они дарованы, они распоряжаются так, как не всегда ими могут распорядиться суровейшие законы внешнего мира.

Из теорий эгоизма (особенно разумного) как теорий общественного поведения никогда ничего не выходило, поскольку основывались они на психологически нелепом допущении, что человек может получать удовольствие от вещей, требующих страдания и жертвы.

Понятие удовольствия со временем уступило место понятию ценности. Как бы его ни трактовать — метафизически или позитивно и социально, — оно невыводимо из единичного человека; но личная реализация общезначимых ценностей — для единичного человека условие утверждения его собственной ценности⁶.**

Система ценностей, разумеется, не находит прямого и полного выражения в практике поведения человека (и не мешает ему плохо себя вести); но лишь издали регулирует его жизнь в качестве идеала и нормы, она — потолок устремлений нравственного чувства.

Ценность, впрочем, необязательно ведь явление этического порядка. Мир честолюбия и властолюбия, богатства, силы и славы с традиционной этикой находится в сложном соотношении; он с ней заигрывает, одновременно порождая собственную эстетику и собственные правила игры. Эти правила также требуют риска и жертв. Впрочем, жертв требуют и мотоциклетные гонки.

Верящие и неверящие, оптимисты и пессимисты хотят жить и не хотят умирать; и покуда живут — оценивают и выбирают, поскольку оценка и выбор неотъемлемо присущи самому процессу жизни. Это фактически достоверно. Вопрос же в том — имеем ли мы дело с объективным смыслом или с хорошо налаженной системой иллюзий. Я не могу подняться выше иллюзий. Но понимаю — объективное было бы тут не только отраднее, но и разумнее.

Тысячелетиями человечество мыслило религиозно или метафизически. Чистый атеизм (без деистических оговорок) — малый остров, образовавшийся в XIX веке. Но я-то нахожусь на этом именно острове...

* [В ПМ:] объективной действительностью.

** [В ПМ] вместо последнего абзаца:] После Ницше в философии XX века прочно вошло понятие ценности; речь шла же не об удовольствии, но о личной реализации блага, за которым признано общее значение. Понятие ценности трактовали преимущественно метафизически; иногда и в платоновской традиции — как мир особых сущностей. Мне ближе определение позитивные и социальные

Ценность — это благо, общественное для некоторой среды, следовательно, социальное.

Ницше, прошедший основательную школу позитивизма, соответственным образом подходил к вопросу образования ценностей, по крайней мере, прежних, переоцениваемых. В итоговом произведении «Воля к власти» он писал: «Мы вложили в него (в мир. — Л.Г.) наши цели и ценности; мы накопили благодаря этому в себе колоссальную скрытую массу сил, но при сравнении ценностей обнаруживается, что ценными считались самые противоположные вещи, что существовало много таблиц благ (следовательно, ничего «ценного в себе»). При анализе отдельных таблиц благ выяснилось, что установка их есть закрепление условий существования ограниченных групп... в интересах своего сохранения».

Системы целей столь необходимы и потому столь сильны, что работают и в качестве системы иллюзий — и работают даже на тех, кто знает об их иллюзорности.

Все это, собственно, сказано уже в «Екклесиасте»:* «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Вопрос поставлен иначе, чем у Паскаля, который в мирской деятельности видел *отвлекаемость* человека от истинного положения вещей⁷. Паскаль указывает религиозное решение, Екклесиаст — мирское.

Человек живет по законам жизни, по временам спохватываясь. Вид похорон или траурных объявлений, прочитанная книга, безмолвие ночи побуждает вдруг спохватиться, содрогнуться... и опять все по-прежнему. Пока мы живем, мы живем по законам жизни — зачем же напрасный спор?..

Проблема смерти особенно актуальна в юности, потому что только тогда она имеет теоретический характер. Человеку кажется, что от решения задачи зависит понимание смысла жизни, вся структура его будущей жизни. Потом, лет шестидесяти, замечаешь, что жизнь так или иначе прошла — имела она смысл или не имела (по-видимому, не имела) — и, проходя, равнодушной рукой сняла нерешенную задачу.

Пессимизм конца XIX века пытался *спохватыванье* превратить в перманентное состояние и в господствующую философию. Господство оказалось недолговечным. Нельзя было бесконечно длить положение, при котором проповедовали философию смерти, продолжая жить, по возможности, в свое удовольствие. Замечу, что Шопенгауэр в свое время принял меры против этого противоречия. Он отрицал целесообразность самоубийства на том основании, что человек все равно не может истребить главное зло — мировую волю⁸.

Двадцатый же век поставил людей перед такой практикой отрицания жизни, что отрицание потеряло свою умозрительную чистоту и свободу и, в качестве философии, оказалось хлипким. Пришло время подумать об оправдании жизни.

Устаревшая декадентская философия смерти гнездится еще на некоторых интеллектуальных участках, в том числе на некоторых участках наименее продуктивных — западного искусства. Это то искусство, которое твердит, что жизнь не имеет цены и смысла и одновременно пугает новейшими средствами ее уничтожения (атомная тематика и проч.). Вообще же пришлось заняться оправданием жизни.

Гедонизм и эгоизм при этом пришлось отставить — за невозможностью добыть понятие цели и ценности из единичного сознания. Оправдать жизнь можно было, только позволив человеку вырваться из себя. Люди двадцатого века, столько толковавшие о личности, об индивидуализме, неотвратимо стремились привязать эту личность к общему и общезначимому (уподоб-

* [В ПМ далее:] Сказано там не только о тщете, но и о том, что человек, пока жив, живет по законам жизни, воделея не одних чувственных радостей, но и деятельности, творчества и познания. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем».

ляясь этим поздним романтикам). Декадентство быстро перерастает в символизм с реальнейшими реалиями. Нужно помнить, что, с другой стороны, могучий анализ Маркса* оставил нестираемые следы в умах не только ортодоксальных.

Для западноевропейской мысли второй четверти века характерна история экзистенциалистов. Экзистенциалисты начали с конкретного существования, с чистой личности и поспешили нагрузить эту личность бременами сверхличного. Одни — религиозным оправданием жизни (когда бог, мне уж дальше как-то неинтересно — что уж тут, собственно, рассуждать...).**

Камю написал превосходный роман «L'étranger»#, превосходный по классической ясности разговора о жизни***. («Чума» — напротив того, аллегория. Если хочешь сказать о фашизме, зачем говорить о чуме? Одновременно он написал философский комментарий к роману — «Миф о Сизифе», небольшой, но многословный (так же, как его «L'homme révolté»##), в котором концы не сходятся с концами.

Лучшее, что есть в этом трактате, — эпитафия из Пиндара: «O mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible»### ****

В «L'étranger» жизнь абсурдна. Притом дважды абсурдна — жизнь вообще и жизнь именно этого человека, который просыпается, завтракает, едет на службу, обедает, возвращается домой... и т.д. Но человек любит ее и в бессмысленной разорванности и равноправии ее мгновений (никакой иерархии, потому что никаких ценностей). Он хочет жить — особенно приговоренный к казни. Констатация факта: жизнь бессмысленна, а человек хочет жить (философский же пессимизм XIX века констатировал не факт, а его логическую несостоятельность).

На этом кончается ход мысли в романе. В трактате же после этого Камю делает непостижимый прыжок в героическое самоутверждение. Счастлив Сизиф, бросающий вызов богам. К человеку Сизифу со всех сторон сбегаются отрицаемые ценности: истина, свобода, гордость, мужество в безнадежной борьбе. Откуда все это берется, если нет ни иерархии, ни выбора? Чем осознанная бессмыслица лучше неосознанной — если не признать высшую ценность в познании?*****

В «Постороннем» первооснова сознания — бессмыслие, шевелится хаос, непостижимость, наводящая ужас на заброшенного в нее человека. Именно это так. Это я понимаю.

Дальше — чувственная оболочка доступной нам жизни. Первая ступень ее оправдания. На этом Камю и остановился в романе, а в трактате сделал отсюда логически неудавшийся прыжок к героическому утверждению бытия. Привело же к не-

* [В ПМ:] Маркс с сокрушительной силой его анализа.

** [В ПМ далее:] Но вот атеисты: Хайдеггер постепенно стал призывать «прислушаться к бытию». По этому поводу острили, что он «прислушался» к Гитлеру, к идее рода и голосу крови. Французы Сартр, Камю — неожиданным образом вдохнули в экзистенциализм этику французского Сопротивления

«Посторонний» (фр.).

*** [В ПМ далее:] по сдержанной точности выражения.

«Взбунтовавшийся человек» (фр.).

О моя душа, не стремись к бессмертию, но исчерпай поле возможного» (фр.).

**** [В ПМ далее вычеркнуто:] В «Мифе» Камю начинает с того, что единственный достойный философский вопрос есть вопрос: стоит ли жить? Из отрицательного же ответа на этот вопрос должен следовать практический вывод, то есть самоубийство (Камю отмечает, что практический вывод из своего мирозерцания сделал один только человек, и тот вымышленный: Кириллов). Близкий к экзистенциалистам, Камю от них отмежевывается, обвиняет их в стремлении ускользнуть от ими открытой абсурдности жизни; они совершают прыжок в трансцендентное, как Паскаль, как Кьеркегор, объявив отчаянье доказательством трансцендентности. Пусть так, но Камю сам совершает неожиданнейший прыжок, и уже без всяких доказательств.

***** [В ПМ далее:] Психологической возможности вы-

удаче отрицание очевидного — той иерархии, той связанной системы социальных ценностей, которая ложится на хаос непостижимого и на смутный чувственный опыт. Это вторая ступень оправдания жизни. Есть еще третья — абсолюты... Но это уже не про нас.

*Без иерархии что можно возразить заявляющему: «Ну-ка, попробуйте доказать *обязательность* предъявляемых мне моральных требований». Главный аргумент тогда против практики эгоизма — ее хрупкость, ее неспособность защитить человека.

Что касается философии эгоизма и гедонизма, то она вопиюще не подходит к нашему времени. Для этого было нужно что-то совсем другое — наивность рабовладельческого общества? Абстрактность просветителей? Прекраснодушие утопистов или сытость эстетов?

Вот об этой исторической несвоевременности эгоизма очень хорошо сказано все в том же «Мифе о Сизифе»: ** Художники и музыканты творили непрекаемо прекрасное в гуще ужасных войн XVI–XVII веков. «Mais le temps depuis a marché». Художники современные. — «Même s'ils ont au fond le cœur qu'il faut au créateur, je veux dire un cœur sec, il n'est d'aucun emploi, car tout le monde et le saint lui même est mobilisé... Je vous le dis, demain vous serez mobilisé»#.

2

Неприкрепленные к армии или к воензированной работе отваливались и проваливались в эгоизм полуживотных забот. Но история-то была в том, что эта субъективная бессмыслица, это чистое самосохранение в конечном счете были объективно нужны. И они тоже означали, что не распадается гигантский, многосоставный организм воюющей страны. Человек, до предела несвободный, но не регламентированный, не имеющий от забот и минутной передышки, но ужасающе праздный, не понадобится войне, бежал по кругу своего эгоизма — столь странным способом выполнения общего исторического дела. Так возникла необходимость описать один такой день (описать день, описать круг — получается каламбур), возник черновой материал, и двадцать лет оставался недооформленным. Прообраз таких

бора лишено было только одно существо (тоже вымышленное) — Буриданов осел; известно, чем это кончилось. [<далее вычеркнуто>] Философский провал мнимой равнозначности вещей — еще одно подтверждение неизбежности иерархии оценок — неотъемлемой формы сознания и поведения. * [В ПМ здесь:] С точки зрения релятивистической практиче-

ская логика эгоизма неопровержима.

** [В ПМ далее:] «Il était possible à des peuples anciens, et même aux plus récents jusqu'à notre ère machinale, de mettre en balance les vertus de la société et de l'individu, de chercher lequel devait servir l'autre... Cela était... possible parce que ni la société ni l'individu n'avait encore montré tout leur savoir faire.

J'ai vu de bons esprits s'émerveiller des chefs — d'œuvrer des peintres hollandais nés au coeur des sanglantes guerres de Flandre, s'émouvoir aux oraisons mystiques silésiens élevés au sein de l'affreuse guerre de Trente Ans. Les valeurs éternelles surnagent à leurs yeux étonnés au dessus des tumultes séculaire. Mais le temps depuis a marché. Les peintres d'aujourd'hui sont prisés de cette

sérénité. Même s'ils ont au fond sœur... (У древних народов и народов сравнительно неода, выясняя, что чему должны добродетели индивида и общества, была возможность взвешивать для сравнения, потому что ни общество, ни индивид пока не обнаружили конца, на что они способны.

описаний можно найти у Толстого — как прототип почти для всего, что занимает современную литературу, не считая, конечно, пустяков, ее занимающих. Это предшествующая «Детству» юношеская «История вчерашнего дня»: «Ежели бы можно было рассказать их (то есть впечатления одного дня) так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не доста- ло бы чернил на свете написать ее и типографчиков напечатать».

Толстому, конечно, нужен был самый обыкновенный день, один из дней той устойчивой / отстоявшейся деревенской жизни («Пишу я историю вчерашнего дня не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен...»). День же, о котором мне нужно написать, — это тоже обыкновенный день, но изъятый, извлеченный из необыкновенной гиперболической, пограничной действительности.

За ту четверть века, что черновики / черновые варианты / заготовки этого дня лежали в моем письменном столе, — появился у него непосредственный предшественник — «Один день Ивана Денисовича». Произведение это как произведение я принять не могу; не могу принять всю эту неправдоподобную, гримасничающую, противную разуму несобственно прямую речь, которой все это написано. Но знаю, что произведение это большое по своему социальному смыслу, очень важное своей подробностью, замедленностью. Между каторжным кольцом и кольцом блокады есть аналогии, конечно. Впрочем, у меня все-таки о другом.

Произведения десятками лет созревают или распадаются в письменных столах — неудивительно, что постепенно у них появляются предшественники. Пусть так. Давно уже, как говорит С<аша> К<ушнер>, подменен весь литературный процесс. В таких условиях — что за счеты?*

Человек, который сейчас будет изображен, — это человек условный Икс / Эн, интеллигент вообще в определенных обстоятельствах. Вернее, этот человек — точка приложения определенных обстоятельств или наблюдательный пункт, с которого открываются другие люди и обстоятельства. Как сложился этот человек и день этого человека и все вокруг этого дня? Как всегда складываются такие вещи в литературе. Из испытанного и увиденного, из рассказов других людей и других, иногда случайных свидетельств, из некоторых побывавших у меня в руках человеческих документов.

случалось видеть, как прос- ные умы восхищались ше- ми голландской живописи, зными в разгар кровопро- лых войн во Фландрии, или ни взволнованно восприни- мления силезских мисти- ремен ужасной Тридцатилет- ойны. В их изумленных их вечные ценности парят над ой суетой. Но с тех пор время вперед. Сегодняшние живо-

писцы лишены той безмятежности. Даже если у них в груди сердце.)

* Но с тех пор время ушло вперед.

... Даже если у них в груди сердце, какое и должны иметь творцы, я хочу сказать — сердце бесстрастное, оно им ни к чему, ибо все, в том числе и сами святые, ныне призваны под знамена... Я уже сказал вам — завтра вас призовут под знамена. (Пер. с фр. С. Великовского.)

* [В машинописи РГАЛИ сокра- щенный вариант двух последних абзацев служит введением к первой части «Блокады» (он следует после «Преамбулы» и «Оцепенения»):] Мысль описать день в его подробностях возникла давно; возникла, разумеется, у Тол- того, — как одна из первых его писательских мыслей («История вчерашнего дня»).

За ту четверть века, что заготовки моей «Блокады» лежали в столе, появились у нее и другие предшественники. У произведений, десятками лет созревающих и распадающихся в письменных столах, за это время появляются предшественники, столь же естественно, как у печатной литературы преемники. Мне нужно было показать...» [далее см. с 311].

<ЗАПИСИ 1940-Х ГОДОВ В РЕДАКЦИИ 1980-Х>

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРА В ПОИСКАХ РЕАЛЬНОСТИ» (1987)

Литературные современники и потомки

Почему великих писателей так часто не понимали современники и понимали потомки? Ведь не обязательно же потомки умнее современников. Да и не всегда и не ко всем великим писателям современники были равнодушны. Здесь всякий раз образуются сложные соотношения.

Рецензии на «Войну и мир» похожи сейчас на хулиганство. Никто (кроме Страхова) ничего не понял. Если кое-что в отдельности и понимали, то никто даже отдаленно не догадывался о масштабе. Впрочем, все признавали наличие «художественного таланта». Кто-то даже писал — хорошо, мол, что талант не первостепенный, потому что тогда это было бы очень вредно. Но так как это только талантливое изображение солдатских сцен, то беда небольшая. С Пушкиным проще, потому что для Пушкина масштаб нашел Белинский. Это момент вполне уловимый. Уловить же момент, когда были поняты размеры Толстого, — трудно.

«Война и мир» представлялась архаичной, не имеющей отношения к насущным вопросам времени. Между тем прошло некоторое количество лет, и люди стали мыслить и понимать себя по Толстому. Оказалось, что он выражает и в то же время формирует их сознание. Почему же это не обнаружилось в момент опубликования романов, которые и были фактом высшей, созидающей актуальности и современности?

Понятие современности включает ряд сосуществующих пластов, вернее, оно подобно сочетанию расходящихся концентрических кругов, из которых последние, наиболее удаленные от центра сегодняшнего дня, — уже расплываются в прошедшем и в будущем. Понятие современности аналогично условному и сложному понятию настоящего в применении к отдельному человеку.

Возьмите, например, человека на летнем отдыхе. Что такое его настоящее? Это неуследимо-мгновенное ощущение — папироса, которую он курит на прогулке, и в то же время это прогулка в целом, и это тот отрезок времени, который он проводит в доме отдыха; и вместе с тем это его жизнь как она сложилась в определенный период, с тех пор как он поступил на новую службу, или женился, или переехал в этот город. И все эти слои разного охвата одновременно, но с разной степенью осознанности и ясности сходят-

ся в условной и неуследимой точке переживаемого мгновения; одновременно, с разных дистанций, давят на эту точку.

Судьба писателя во многом зависит от соотношения его творческого временного ритма с ритмом исторического сознания читателей. Настоящий писатель всегда современен, но он может быть современен в очень разных ритмических категориях. Он бывает злободневным, бывает сезонным; он может уловить общественное настроение протяженностью в два-три года, может выразить поколение и может поднять проблематику века. Есть в литературе такие проблемы векового охвата — например, проблема личности. Чем шире исторический охват, тем меньше возможностей, что произведение окажется сразу же актуальным, ибо временные ритмы не совпадают.

Актуален был «Кавказский пленник», но не «Онегин»; великую лирику 30-х годов Пушкин не стремился печатать, он знал, что ее не поймут.

Иногда большое произведение совмещает актуальность разных объемов, от злободневных отражений до коренных проблем эпохи, которые, варьируясь, будут занимать людей десятилетиями. Иногда совмещение не происходит. Я имею в виду именно современное разных объемов, а вовсе не то *вечное* и *бессмертное*, что позволяет каждой эпохе по своему осваивать искусство прошлого. Это никак нельзя смешивать, потому что у читателей разные ключи к произведениям современным и классическим. Это разные чтения.

Классика читатель принимает «как он есть», во всяком случае в его эстетических закономерностях. Современника читатель судит не по его, а по своим законам. Он предъявляет к нему требования. Если он нашел то, что его касается, он считает, что получил должное; если не нашел — он протестует по праву.

Читатель требует от писателя-современника, чтобы тот показал ему уже существующее, уже осуществляющееся, но еще *не увиденное*; он требует от современной литературы, чтобы она впервые за него осознала действительность, в которой он живет. Человек, особенно человек реалистической эпохи, испытывает особое счастливое чувство, когда он может сказать — *похоже!* Похоже на всяческий его опыт, на его любовь, на его заботы, на его разговор с сослуживцем. Само по себе это как бы бессмысленно. Почему должно доставлять наслаждение сходство с вещами, которые, как таковые, наслаждения не доставляют, даже напротив того?

Переживание сходства иллюзорно. А дело в том, что человек не видел ни своей любви, ни своего разговора с сослуживцем. Он знал, что эти явления существуют, что они его действительность, теперь же ему показали их художественную интерпретацию, и он их *узнал*. Переживание радости возникает из акта осознания жизни, то есть возведения ее из сферы неуследимых, быстротекущих мгновений эмпирии в сферу устойчивых объектов познания. Осуществляются как бы два встречных (обратных) процесса. Художник осознает, постигает предмет действительности и создает интер-

претирующий его предмет искусства; для читателя же узнаваемым оказывается предмет действительности, осознанный ретроспективно. Этим и отличается большой писатель от своих читателей.

Молодежь (конечно, уже сформировавшаяся молодежь) всякий раз выражает последние требования современности, чтобы через какое-то количество времени уступить место следующим поколениям. Вот почему большие писатели иногда имеют наибольший успех в молодые годы, когда они еще далеки от своего максимума. Тогда происходит совпадение между историческим ритмом писателя и читателей. Это случается с большим писателем, если он в молодые годы принадлежит к активу своего поколения. Это случилось с Пушкиным, принадлежавшим к активу декабристского поколения; но не случилось с Толстым, который уже в юности — и в юности едва ли не больше, чем когда-либо, — стоял в стороне и разрешал вопросы по-своему.

Что же в дальнейшем? В России XIX века через десяток лет сверстников писателя, в роли культурного гегемона, сменяло новое поколение, объявлявшее предыдущее поколение архаическим, и так далее. Большой писатель (если он не погиб в юности) переживает несколько таких поколений. Попутно он сам продолжает расти и развиваться, но развиваться из своих исходных предпосылок, ибо человек может переменить все, что угодно, — образ мыслей, принципы, поведение, привязанности, род занятия, — но не может переменить свой психический склад.

Так в процессе роста начинается трагическое несовпадение временных ритмов. Юношеский ритм гения, который тогда еще не обладал полной гениальности, совпал с ритмом его сверстников — в результате бурный успех первого среди равных. Но через десяток лет его ритм уже никак не может совпасть с интересами новой молодежи; амплитуда его колебаний равна теперь только гораздо более широким колебаниям исторического сознания. Именно тогда он становится глубочайшим образом современным своему времени, самым основным устремлениям своего времени, а новая молодежь наивно считает его устарелым. Неправильно говорить, что гений работает на потомство. Нельзя работать, по крайней мере нельзя хорошо работать на того, чьи потребности неизвестны, и нельзя выражать и воплощать несуществующее. Гений, больше чем кто бы то ни было, работает на современность, но на современность другого масштаба. Будущее, потомство — это для него только полемика со злобой текущего дня.

Отношения большого писателя со сверстниками не более благополучны, чем его отношения с младшими поколениями. Сверстники (особенно второстепенные писатели) застывают на позициях своей молодости. Великого сверстника, идущего дальше, они перестают понимать. Они считают, что он испортился, что он не то делает, иногда — что он неудачно подлаживается к новым поколениям. Хуже всего, если они продолжают его одобрять. Они одобряют его в узком, устарелом эстетическом понимании, которое для него оскорбительно.

Пушкин прошел через все эти муки. Новые поколения, начиная поколением 30-х годов, считали его неактуальным. Сверстников он перестал удовлетворять, как только перерос декабристский рубеж, начиная с первых глав «Онегина». Пушкин объявлен был устарелым в период, когда он разрешал насущнейшие проблемы современности большого масштаба. Это скоро обнаружил Белинский (после временной недооценки Пушкина).

Но Пушкин не дожидая поколений канонизирующих. До того момента, когда гений, не переставая быть современником, то есть не переставая для людей своего времени осуществлять акт осознания им принадлежащей действительности, — в то же время становится каноничным. Когда к нему подбирается уже другой ключ. До этих поколений дожили великие старцы — Гёте, Толстой. Гений бывает адекватен своим современникам в юности и в старости, но зрелость его, пора его творческой полноты — часто трагедия.

Счастливый Гёте написал «Вертера» в юности и «Фауста» в старости.

Большой писатель учит людей по-новому понимать самих себя и действительность. Но не всех людей и не при всяких обстоятельствах можно этому научить. Нельзя заставить по-новому увидеть мир людей с застывшим мироощущением (хотя можно оказать на них влияние), нельзя научить людей, если они сопротивляются, полемизируют, не доверяют или воспринимают под заведомым углом зрения.

Большой писатель последовательно имеет дело — во-первых, с предшественниками, которые почти никогда не верят в то, что он большой писатель, для которых он остается «молодым человеком»; во всяком случае, их мироощущение он изменить не может. Во-вторых, он имеет дело со сверстниками, которые расходятся с ним в тот момент, когда он начинает мужать, а они начинают консервироваться. В-третьих, в пору своей творческой зрелости он имеет дело с младшими современниками. Именно младшие современники — это те, кто пишет рецензии на только что появившиеся творения зрелого гения; те, с кем больше всего сталкивается историк литературы. И вот эта именно категория имеет множество оснований для непонимания. Прежде всего, старшие и младшие современники не знают еще, что это хорошо, еще никто им этого не объяснил (объяснение приходит иногда сразу, если оно является делом большого критика, иногда исподволь, постепенно). В эстетическом восприятии осведомленность о ценности объекта имеет решающее значение, даже для самых тонких ценителей. Надо знать о бриллианте, что он бриллиант, надо знать о гении, что он гений. Это иная совершенно установка восприятия. Ценность писателя обрастает тогда множеством вторичных культурных ассоциаций. На ней остаются следы всех восприятий, через которые она прошла, всех любвей и любований. Это сложный комплекс, иногда складывающийся и проверяющийся веками, и никакое современное восприятие, даже самое восторженное, не может с ним сравниться. Это не тот масштаб.

Даже исторический ритм сознания младших современников расходится с историческим ритмом сознания писателя. Авангард молодого поколения (здесь дело не только в возрасте, иногда к авангарду относятся люди другого возраста, обслуживающие молодое поколение) убежден в том, что его проблематика начисто сняла все предыдущие. Так в особеннности было в России XIX века с его торопливой сменой идеологических формаций. И здесь не помогла даже тактика Тургенева, который каждые десять лет изображал человека нового поколения. За это его одобряли, но ставили ему на вид, что все же он трактует современную тему с несовременных позиций.

Уверенность в идеологической несвоевременности мешала этим людям понять современность творческого постижения и изображения мира. Толстой, минуя новых людей, игнорируя *вопросы*, изображал, с их точки зрения, невесть что — двенадцатый год, адюльтеры. Как могло им прийти в голову, что этот отсталый, хотя не лишенный таланта писатель был современным из современников. Что он утвердил на века реалистическое мироощущение, которое они искали, что он преодолел романтический дуализм, с которым они беспомощно и тщетно боролись. Он ответил на существеннейшие из поставленных ими вопросов, но ответил на недоступной для них широте охвата. Они не заметили соответствий за социальной полемикой, за неудовольствием по поводу того, что Толстой изображает графов, а не семинаристов. Так проглядели искомого реалистического человека, которого дал Толстой. Его, впрочем, увидел Чернышевский.

Художественные открытия не доходят до сознания младших современников еще и потому, что по отношению к современному писателю критика, особенно писательская критика, предъявляет заведомые требования и мерит его своей мерой. Она убеждена, что замечательный писатель должен искать то самое, что ищет она, что ищут другие писатели, ею направленные, но только с большим успехом, на то он и замечательный; а он ищет и находит другое, и тогда его временно объявляют несостоятельным. Здесь дело не в глупости критики, а в ее обманутых ожиданиях.

И вот тут происходит самое странное. Произведения, которые будут вызывать удивление веков, при своем появлении решительно никого не удивили, даже не показались новыми или необычными. Удивление вызывают вещи с сознательной установкой на эпатаж, с подчеркнутой революционностью формальных элементов. Тогда говорят о непонятности, о шарлатанстве, о декадентстве, о том, что ничего нельзя было бы иметь против музыки будущего, если бы нас не заставляли слушать ее в настоящем (Вяземский о Вагнере) и т. п. Но когда нет этой специальной, подчеркнутой, возведенной в систему формальной новизны — никто не удивляется. Никто не удивился «Войне и миру».

Дело в том, что отдельные, разрозненные элементы произведения всегда на что-то похожи (если нет специального эпатажа). Нова же и необычна система, принцип связи. Современники часто не видят его потому, что воспринимают элементы разрозненно — в процессе становления пи-

сателя, даже в процессе становления произведения, со всей его журнальной историей. Наконец, они воспринимают отдельные элементы в соотношении с подобными им элементами, бытующими в окружающей литературе. Не понимая, что это уже совсем другое. Современники Толстого рассуждали о «Войне и мире», как если бы Толстой ставил себе те же задачи, что авторы исторических или авторы семейных романов. Мерило привычных литературных понятий (например, удастся или не удастся Толстому «интрига») можно было приложить к искусственно разрозненным элементам произведения, но нельзя было приложить к общей связи.

Первые критики «Войны и мира» подобны людям, присутствующим при постройке. Они видят отдельные части, в отдельности похожие на части множества других зданий, и не видят целостное творение. Нельзя научить новому постижению мира людей, которые в это время заняты своими обманутыми эстетическими ожиданиями, идеологической полемикой и развлечены близлежащими фактами. Где им было заметить новую концепцию человека, когда их внимание было поглощено спором о том, правильно ли изобразил Толстой исторических персонажей — Наполеона и Кутузова.

Восприятие младших современников нередко самое искажающее. Для несведенных элементов они не могут найти правильную доминанту (у сверстников есть эта доминанта, потому что она общая у них и у писателя, по крайней мере на первом его творческом этапе).

Вслед за младшими современниками (несколькоких возрастов) писатель переходит к поколению, которое можно назвать ранними или близкими потомками. Переход этот совершается иногда еще прижизненно, иногда посмертно. И это, быть может, самое глубокое из восприятий, во всяком случае самое заинтересованное. В самых широких своих колебаниях исторический ритм писателя и читателя еще совпадает; они находятся в пределах одной большой современности, и потому это восприятие личное, страстное и вместе с тем уже свободное от прямолинейной и грубой требовательности предыдущих поколений. Уже просочилась в сознание предпосылка ценности, располагающая к признательности, к готовности идти по открываемому следу. Близкие потомки с идеологией писателя уже не спорят и больше не учат его писать. Они вкладывают себя в произведение, как в историческую форму, определяющую сознание. Это и есть поколение учеников, воспитанное гением по своему образу и подобию. Они смотрят на расстоянии и видят творца и творение в перспективе, в целом, в связи и системе. Поэтому они удивляются и переживают чувство новизны; они принимают откровение. Еще и потому, что для них великое произведение отделено от того плотного окружения подобных, но мелких и разрозненных опытов и достижений, в котором оно тонуло для предыдущих поколений. Близкие потомки, в отличие от дальних, еще помнят об окружении писателя, но внимание их уже сосредоточено только на предельном выражении системы. Тем самым они несправедливы к второстепенным произведениям, но в культуре это меньшее зло, чем несправедливость к произведениям великим.

Часто бывает так, что первое подлинное признание наступает для большого писателя вскоре после его смерти. Это не случайно. Смерть художника (как смерть близкого человека) сразу создает дистанцию, заглушает споры, подводит итоги и утверждает ценности. Сознать это живому человеку обидно; об этом с отвращением писал Маяковский.

Сверстники и младшие современники Достоевского не узнали в нем себя и несли по его поводу ахиною. Только в самом конце его жизни и сразу после его смерти начало формироваться поколение, понимающее себя по Достоевскому. Напряженность этого самосознания все возрастала, вплоть до первых десятилетий XX века.

Наконец, для великого писателя настает дальнейшее потомство. Эта категория уходит в бесконечность, и тут новые десятилетия и новые века приносят все новые формы восприятия. Усвоение или присвоение дальних потомков субъективно (в групповом плане) и, разумеется, переменчиво. Особую настроенность восприятия создает теперь представление о ценности и масштабе, устоявшееся, обогащенное культурными ассоциациями. Классическое произведение изолировано от своих исторических связей, от предпосылок и окружения (их восстанавливает история литературы) и потому легко переключается в контекст другого времени.

Ближние потомки находят в литературе современность большого плана, поэтому их истолкование произвольно. У дальних потомков оно произвольно в том смысле, что продиктовано интересами их эпохи. Младшие современники примеривают произведение к себе, близкие потомки примеривают себя к произведению, дальние потомки подтверждают себя произведением. Требований они предъявлять не могут. Они бывают счастливы и благодарны, когда находят материал для подтверждения. Если же не находят — воспринимают классическое произведение холодно-эстетически.

1946

ИЗ КНИГИ «ЧЕЛОВЕК ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ» (1989)

Если различать две основные формы культурной деятельности — творчество и профессию, то можно различать и две их основные разновидности — высшую и низшую. Тогда получается градация: 1. Творчество — на душевном пределе и для себя. 2. Творческая работа — всерьез и для печати. 3. Профессиональная работа — добросовестное выполнение редакционных заданий. 4. Халтура — многолика и самозарождающаяся.

Каждый, действующий в культурной области, соотносится с какими-либо из этих категорий приложения сил, а некоторые из нас имеют отношение ко всем четырем, что ведет к большой путанице и повсюду обеспечивает неудачу.

Первая категория как социальная деятельность вообще закрыта; ее представители существуют только под условием пребывания не на своем месте. Все же эта сфера мешает всем остальным. Она не только прожорливо поглощает время и энергию, но пронизывает всякое другое действие тревогой и обидой творческой совести. Самым непосредственным образом творчество, понятно, давит на примыкающую к нему сферу творческой работы; та же, в свою очередь, размывает творчество неодолимыми соблазнами социального осуществления. В любой форме творчество мешает автоматизированнейшей профессиональной работе, образуя излишек, который раздражает работодателя. А профессиональная сфера инерцией добросовестности создает помехи халтуре. Халтура же, если ее не изолировать (что трудно), угрожает всем другим сферам навыками растления.

Моральные люди существуют тогда, когда существует мораль как норма, как целенаправленная система оценок. Вне этого могут быть люди добрые, храбрые... Доброта, храбрость сами по себе не суть этические категории; это только психофизиологический материал для образования этических категорий (как социальных). При отсутствии общественной или религиозной нормы отдельный человек иногда претендует на то, что имеет принципы, находится на высоком нравственном уровне. И вот оказывается, он делает то же самое, только со скрипом и разговорами. Это как более долгий (и потому неправильный) способ решения той же задачи. Но человек так нуждается в иллюзиях относительно самого себя, что эта затрудненность процесса приспособления вызывает в нем чувство превосходства над другими, незатрудняющимися.

Превосходный пример Z. Он сформировался на другой основе и вошел в эту жизнь, кичась (он вообще кичлив) строгостью, ответственностью своего поведения. А в конечном счете он делает то же самое. Но так как он делает это с внутренним сопротивлением, с домашними сценами и с небольшими ограничениями, то ему кажется, что он может продолжать кичиться. Такова сила и безошибочность действия механизма, что поступать иначе нельзя; то есть можно (кое-кто поступал), но это равносильно отказу от социального бытия, иногда и от физического.

В сущности, на любые места уже можно сажать любых людей, и они, невзирая на свои небольшие индивидуальные различия, будут делать то же самое. Можно было бы даже сажать на места порядочных, образованных, талантливых; если этого не делают, то по вкоренившейся привычке к недоверию. Образованные и талантливые сделают то же самое даже несколько лучше, потому что внесут в дело знание и умение. А. С. говорит: «Все держится на брюзжащих, а не на кричащих, „ура“, потому что только первые работают добросовестно».

Редакционный работник: Неизвестно, что делать с этой рукописью: множество проблем поставлено и ни одна не решена.

— Да, обыкновенно у вас наоборот — все проблемы решены и ни одна не поставлена.

Человек ходит без дела по улицам, и ему кажется, что он теряет время. Ему кажется, что он теряет время, если он зашел поболтать к знакомым. Ему больше не кажется, что он теряет время, если он может сказать: я воспользовался вечерней прогулкой, чтобы зайти, наконец, к NN, или: я воспользовался визитом к NN, чтобы, наконец, вечером прогуляться.

Из сочетания двух ненужных дел возникает иллюзия одного нужного.

ИЗ КНИГИ «ПРЕТВОРЕНИЕ ОПЫТА»

(1991)

Неудачник

Конечно же, это вполне подновогодняя тема для размышлений — итоги собственных неудач. И О. размышляет. У неудачников жизнь делает скачок от ребячества к старости. Зрелости у них нет. Незаметно для себя они выходят из фазы, когда все не началось, все еще впереди, и непосредственно входят в фазу, когда «уже поздно».

Кстати, психически уравновешенный человек с трудом и неохотой признает себя неудачником. Делая это признание, человек обычно вступает на путь юродства, самоуничижения. От этого О. пока еще далек. Для него это признание сравнительно безопасно, потому что он ощущает свое неудачничество как внешнее и случайное, психологически для него не обязательное. Он ощущает, что, может быть (конечно, может быть, а не наверняка...), он внутренне человек творческой удачи, масштабов которой он, вероятно, никогда не узнает, потому что не дожидается времени, когда она выйдет наружу.

Но вместе с тем сейчас, на пятом десятке, нельзя не признать, что все, видимое извне, — не удалось. И не удалось уже прочно, всерьез. Что это уже совершившийся факт. Что он уже вышел из периода, который можно было считать периодом трудной и неустроенной молодости, и прочно оказался в числе людей, состоящих при малых делах.

Последние два с половиной года перестроили многое. Был даже момент, когда казалось, что они изменили в корне проблематику удач и неудач. Мировые катастрофы вмещались в течение человеческих карьер, люди сместились со своих мест, нужное оказывалось ненужным. Люди, которым нечего (или мало) было что терять, испытывали даже своеобразную легкость среди смертельно тяжкого и страшного быта. Теперь им некуда было спешить с самыми трудными из своих дел, за промедление с которыми их в обычном быту неотступно мучила творческая совесть. Зависть бездействовала; они больше не чувствовали себя униженными, потому что чужие достижения рушились на глазах или теряли смысл. Казалось, что те, кто вернутся к жизни, вернутся минуя иерархию, слагавшуюся по мелочам, свободные от груза своих неудач, а может быть, и достижений, и многие еще со знаком выстоявших до конца и отстоявших страну.

По мере улучшения обстоятельств всё крепнет тяга к стабилизации. Все яснее, что всякий затянувшийся быт (даже быт с ежедневными артобстрелами) становится стабилизированным бытом. И людям, которым вначале казалось, что всё снимается с якоря и несется, — теперь, напротив того, кажется, что всё оседает на месте... И люди во что бы то ни стало, несмотря ни на что, даже против всякой очевидности, стремятся сделать свою жизнь обыденной.

Вместе с тем все яснее становится, что предпосылки общей жизни не изменились, вернее — изменяются в очень глубоком историческом смысле, пока еще не имеющем непосредственного отношения к быту. Продолжают разворачиваться потрясающие события, но люди уже знают развязку событий, и этого достаточно для того, чтобы события представлялись им временными; постоянное же представилось в том виде, в каком они его оставили или в каком оно их оставило. Все устремились опять к своему уровню. Все спешно разыскивают свои места в иерархии и боятся опоздать. Опять на очередь становятся задачи — творчества, труда, заработка и проч.; во всяком случае, ясное предвиденье этих задач.

Все это и многое другое уже существует, в искаженном еще, конечно, виде, частью усложненным, частью упрощенном. И многие вопросы, которые казались ненужными, наивными в свете происходящего или снятыми и разрешенными происходящим, — пришли опять. Есть разговоры трехлетней давности, которые могут быть продолжены. Люди еще не знают о том, что они претерпели глубинные исторические сдвиги сознания, вероятно, не сразу узнают, а пока что спешат найти потерянное место. Во всяком случае, для сорокалетнего человека это момент подходящий для подведения итогов своим неудачам и возможностям.

В сущности, все не удалось. В ранней молодости намечалась карьера, но сорвалась очень скоро и, вероятно, навсегда. У него нет социального положения, ни даже верного и достаточного заработка. Любовь обманывала всякий раз, как приходила. Вернее, в последние годы уже не обманывала, потому что он всякий раз знает, чем это кончается. Классическая триада — слава, любовь, деньги — не удалась.

Он перебирает самые реальные из возможных человеческих бедствий — страх смерти, болезнь, унижение, раскаянье, нищета, одиночество, неосуществленность творческих возможностей, скука (пустота). Примеривает их к себе. Страх смерти, быть может, притупился в нем как аффект. Но он не побежден мыслью. Он беден, он одинок, вероятно, непоправимо одинок. Он нажил раскаянье, такое, что его приходится все время вытеснять, чтобы оно не растерзало душу. Он чувствует себя униженным, со своими полузадавленными, полузапрятыми возможностями и внешним положением мелкого профессионала. Признание нескольких человек («лучших людей»)... но ведь это признание неизвестно чего, потому что ни несколько человек, ни он сам не могут проверить масштаб его достижений. Такие вещи проверяются не на «лучших людях», а на людях просто. И даже эти несколько

человек, знающих и понимающих и говорящих большие слова, все равно забывают об этом и занимаются своими делами, как если бы не было достижений О. Трудно помнить о невключенном в социальный контекст, социально нереализованном. Трудно относиться к человеку согласно его познаваемой скрытой ценности, а не согласно его видимой ситуации. Мы помним о ценности (порой и забываем), но поведение непроизвольно и непосредственно ориентируется на ситуацию. По отношению к человеку, не закрепленному официальной иерархией, возникает моральная фамильярность. Трудно самому, без помощи социального аппарата, устанавливать дистанции и масштабы относительно своих знакомых. Знание и понимание недостаточно, если оно не поддержано внешними признаками. Ибо внешние признаки воспринимаются постоянно и непроизвольно регулируют поведение и отношение, тогда как на внутреннем понимании нужно специально сосредоточиваться. При самых лучших намерениях никто не может относиться к «неведомому избраннику» как относится к общепризнанному. Поэтому пресловутая оценка избранных друзей — неполноценна и не может утешить самолюбие. Здесь количество переходит в качество.

Что касается скрытой творческой реализации — про себя, то это реализация, трудная нездоровой трудностью, искаженная, уязвленная, неполноценная; главное, недоступная проверке и поэтому отравленная недостоверностью. Это печальное творчество, не закаленное в столкновениях с современностью, не напряженное ожиданием славы или падения и всегдашней высокой торопливостью. Его никто не ждет, его куда не торопят. Поэтому оно отравлено убийственной для творчества формулой: «некуда спешить». И тщетно человек сам себе, сам для себя повторяет:

То ревность по дому,
Тревогою сердце снедая,
Твердит неотступно:
Что делаешь, — делай скорее.

Человеку может надоесть все, кроме творчества. Человеку надоедает любовь, слава, богатство, почести, роскошь, искусство, путешествия, друзья — решительно все. То есть все это при известных условиях может перестать быть целеустремлением — но только не собственное творчество. Этого не бывает, как не бывает, чтобы человеку надоело спать или утолять голод и жажду. Человек может объесться и испытать временное отвращение к пище, человек может переработаться и испытывать временное отвращение к умственному труду. Но целеустремление немедленно восстанавливается, поскольку творчество есть совершенно органическая, неотменяемая воля к личному действию, связанная с самой сущностью жизненного процесса. Утехи же самолюбия и проч. как раз принадлежат к надоедающим. Тут прежде всего нужно постоянное нарастание. Все достигнутое приедается очень быстро, кажется само собой разумеющимся, становится

одной из тех привычек, которые оборачиваются страданием только с потерей привычного. Кроме того, в отличие от непосредственных, неотменяемых, хронических, так сказать, переживаний, которые дают человеку любовь и творчество, — радости самолюбия опосредствованы. Это то, о чем надо умышленно помнить. И потому иногда это все вдруг теряет реальность, куда-то отодвигается, оставляя за собой пустоту и вопрос — а к чему оно, собственно? А что это, собственно, и что с ним делать? А стоит ли оно усилий и жертв? Счастливая любовь, семья, творческая реализация могут быть предпочтены — и очень резонно — славе. Но при отсутствии всяких благ — отсутствие благ самолюбия оказывается больнее всего. Отсутствие необычайно напрягает эти вожеления. Здесь вожеленными представляются даже мелочи, даже то, что по достижении оказывается совершенно пресным. Страсти этого порядка сильнее и разрушительнее всего в своей негативной форме. Ибо в негативной форме они оборачиваются унижением, которое человек переносит с трудом, о котором он помнит гораздо тверже и непривычнее, чем о собственной славе.

Один из жестоких конфликтов — это конфликт между творческой реализацией и реализацией житейской. Его переживают люди, в чьей жизни грубо перерезаны связи между творчеством и такими социальными категориями, как профессия, заработок, карьера. Они попадают в сеть противоречий. Они предаются упорно творчеству про себя, которое может никогда не пригодиться, может пригодиться через много лет, скажем, под конец их жизни, может пригодиться после их смерти, потомкам.

В первую возможность они не верят, она противоречит их интуиции, против нее восстает в них инстинкт самосохранения — ведь тогда чем была бы их жизнь?.. Но проверить социальную применимость своего творчества они бессильны, и оно отравлено этим бессилием. Вторая возможность их отчасти устраивает — я дождусь... докажу... увижу осуществление. Но что такое это осуществление в конце долгого пустынного пути? Не слишком ли поздно? Не слишком ли мало за десятки лет одиночества и обид? Быть может, это важнее сейчас как цель, как надежда и обещание, нежели как реальность. Что это как реальность? — непристойная радость старика, играющего игрушками, которых его лишали в детстве... Или последняя, самая горькая из обид — на то, что вожеленнейшее благо пришло слишком поздно, когда нельзя им стереть целую жизнь унижения, когда нет ни воли, ни сил наслаждаться, когда не с кем его разделить (в счастье и в горе страшно на этой земле быть одному!...). Но сколь горше конец тех, кто не дожидается этой последней обиды.

Это третья возможность, которая возмущает и дразнит их эгоизм. Что им за дело до этого издевательского посмертного признания?.. И в то же время они хотят сделать вещи, которые остаются. Перспектива забвения оскорбляет их еще больше перспективы запоздалого признания. Они понимают, что, совершив все земное, можно спокойнее ожидать конца, хотя обосновать это не могут. Мысль об исчезновении неотделима для них

от мысли — все пропадет, а если даже не пропадет, то останется недоделанным, и никто никогда не узнает того, что во мне было. Надо доделать и обеспечатить сохранность. И мысль о случайностях, которым подвергаются сейчас эти единственные экземпляры, по меньшей мере столь же тревожна, как мысль о личной опасности. Эту логическую путаницу психологически можно распутать.

Третьей возможности сопротивляется эгоистический человек, и к ней тянется социальный человек, который, хотя бы в подавленном виде, живет в каждом творце. Творящий знает инстинктом, что он сопряжен с бесконечно продолжающейся общей жизнью, что в ней условие творчества и мерило его ценностей. Пусть он эгоист, но он эгоист, существующий на особых жестких условиях, вне которых творчество прекращается. Его трагедия не в том, что он выше общей жизни или противостоит общей жизни — как думал о себе романтический человек, — но в том, что он от нее изолирован. Это тема Манделыштама.

Поздним вечером (но темно все равно с пяти часов), в комнате холодной и плотно зашторенной, в давящей тишине опустелого дома, под тупой стук отдаленной стрельбы, — О. думает об общей жизни упорно, с личным каким-то вожделением. — Нехорошо, нехорошо человеку быть одному. Странно человеку быть эгоистом. Если б только она, общая жизнь, захотела его взять, сообщить ему свою волю. Взять его таким, какой он есть, не обкорнанного, не урезанного, а со всем, что в нем есть и что он не может отбросить. Он прославил бы ее, он говорил бы о ней и повторял бы людям: смотрите, как страшно быть эгоистом. Никогда прежде не могли понять, до чего это страшно. Но она не берет, даже сейчас, когда позволяет за себя умереть. Она позволяет за себя умереть, но в остальном остается непроницаемой. В остальном она не допускает, и потому умирать за нее особенно трудно. Этот процесс ничем не украшен.

О. дергается — не стыдно ли, что я сейчас размышляю о самолюбии? В сущности, нет, потому что, я убедился, люди до конца не расстаются со своими вкусами, вожделениями, страстями. Со своим психическим строем они расстаются, вероятно, только в крайний момент катастрофического изменения сознания. Он служит делу войны, но по большому счету его не позвали и не пропустили, и он возвращается — с соответствующими изменениями — к комплексу, от которого его оторвало два года назад.

Да, унижение... а одиночество, а раскаянье, а страх, а ежесекундная возможность новых физических и душевных страданий...

О. дергается. Он борется, почти физически борется с этим наплывом. В конце концов, он живет, и пока он живет, это следует делать как можно лучше; в возможных пределах. Он живет и пока обладает кое-чем из того, что миллионы людей считают сейчас величайшим благом. Конечно, этот негативный метод повышения ценности жизни — философски несостоятелен, но он имеет педагогическое значение, автопедагогическое: метод внушения себе правильного отношения к вещам.

Из мысленно составленного списка человеческих бедствий он кое от чего избавлен. Он относительно здоров, он не бездомен, у него есть работа, есть еда, тепло и свет, в количестве, достаточном для того, чтобы думать о других вещах. Он одинок, но у него есть женщина — возможность отвлечения. И удивительнее всего, что, несмотря на неудачу, или, скорее, благодаря неудаче, у него есть высшее из доступных ему благ — время для творческой реализации, то есть для жизни. Это узловой пункт судьбы.

В эпохи более или менее отдаленные творцы, которым не удавалось, или не сразу удавалось, социальная реализация творчества, занимались в миру другим делом, отнюдь не имеющим к творчеству отношения. Спиноза шлифовал стекла, Руссо переписывал ноты (а впрочем, состоял более на иждивении у дам), Толстой, в период острого расхождения с литературной средой, жил помещиком, Иннокентий Анненский был директором гимназии... Теперь все иначе. Нельзя быть рантье или помещиком, надо служить. Трудно предположить, чтобы деятель гуманитарной культуры мог быть в то же время квалифицированным техническим или военным специалистом. Всякая же другая работа ставит человека в слишком тяжелые и невыгодные условия по сравнению с работой академической, литературной, театральной и т.п. Поэтому слишком велик соблазн заниматься той же профессией, хотя бы на низших ее ступенях.

Если различать две основные формы гуманитарной деятельности — творчество и профессию, то можно различить и две их основные разновидности — высшую и низшую. Тогда получается градация: 1) творчество (максимум) — в данных условиях нереализуемое; 2) творческая работа (специальные изыскания); 3) профессия в собственном смысле слова (высокое ремесло); 4) халтура. Есть еще, конечно, бесчисленное количество более мелких подразделений и оттенков, но это четыре главные ступени, определенные социально и психологически.

Каждый действующий в культурной области человек — простым или сложным образом соотносится с какой-либо из этих категорий. О. соотносится сложным образом, ибо он имеет отношение ко всем четырем, что ведет к величайшей путанице и повсюду обеспечивает неудачи.

Высшая ступень, как социальная деятельность, вообще исключена и закрыта. Ее носители так или иначе перестали существовать. Они существуют только под условием пребывания не на своем месте и терпимы в меру того, что действуют в других категориях.

Следующая инстанция — уже допускаемая и даже отчасти нужная. Не по существу, а по форме. В числе других нужно иметь академические ценности. И неумолимый опыт показал, что обеспечиваются они все же только людьми с некоторыми данными, хотя бы данными знания. Дарования здесь тоже оказались одним из неотъемлемых условий. А с допущением дарования приходится допускать и кое-что из тех приемов мысли, которые ему присущи. Конечно, в соответствующем оформлении и при соответствующей готовности дарования учесть обстановку. Эти люди признаны

обеспечивать форму, и к функционированию допускаются те из них, которые попали в иерархическую рубрику, закрепляющую за данной ступенью признаки звания, должностей, отличий. Остальные, не попавшие в рубрику, здесь не нужны. Они могут на этой ступени появляться случайно, спорадически (например, в связи с каким-нибудь юбилеем и т.п.), но их выталкивает обратно. И человек, который в юбилейный период фигурировал на видном месте, — уже через несколько месяцев не может достать даже плохонькую работу.

Следующая ступень как бы требует профессионального качества, но на практике она мало отличается от четвертой и незаметно в нее переходит. Об этом свидетельствует состояние редакций, гуманитарных кафедр, вещания и проч. Это не значит, что качество безразлично потребителям (только отчасти), главным образом оно безразлично администрации. На этой ступени разнородной, потому что здесь работают разные люди. И добросовестные профессионалы, и люди творческого дела, которых сюда привел заработок, и принципиальные халтурщики, и просто не достигшие рабочей квалификации. Требования аппарата обычно удовлетворяют последние и предпоследние. Остальные уже, собственно, излишество, а всякое излишество чревато хлопотами и осложнениями. Остальные бывают желательны при наличии хорошей иерархической марки, способной украсить аппарат.

Все эти четыре категории при совмещении, разумеется, мешают друг другу. Первая мешает всему остальному (она вообще мешает всему в жизни), потому что заставляет мучительно цепляться за время, вызывает раздражение, нетерпение, дурную торопливость или равнодушие к другим делам. В особенности творчество для себя мешает смежной области, области творческой работы (статус специалиста). Есть творческие люди практические, большого напора, большого упрямства, которые, невзирая на талантливость, прокладывают себе пути. Но на этом надо сосредоточить все усилия. Когда же человек принадлежит к двум творческим сферам, из которых одна абсолютно не реализуема, другая реализуема с величайшим трудом, то для нее он не может отрывать от высшей для него сферы деятельности всю потребную душевную энергию. Если уж вовне ничего не выходит, то он пытается сосредоточиться на самом главном. Наконец, первая сфера мешает второй, разрушая преданное и страстное отношение к работе второго плана; окрашивает ее оттенком скепсиса и дилетантизма, который улавливают и не прощают.

Вторая сфера мешает высшей великим соблазнам реализации. Не материальными благами и тщеславным успехом, какие могут дать обе низшие сферы, но своего рода творческой реализацией, да еще сопряженной с успехом и благами. Если при неудаче первая сфера вытесняет вторую, то при случайном успехе вторая мешает первой. Другим соблазном она мешает сфере профессиональной работы, соблазном незаконной реализации, протаскивания творческих элементов (хотя бы так), более сложных, более индивидуальных, чем нужно для хорошего прикладного труда.

Третья сфера мешает двум высшим, потому что забирает, крадет у них время. Хуже всего то, что она является подобием, пониженным действием того же порядка, и потому бесцельно расходует, притупляет, изматывает ту же нервную и мозговую силу. Притом она мешает и самой низшей сфере излишне добропорядочными навыками в работе, которые замедляют темп и вообще лишают халтуру единственного ее смысла — выгоды.

Халтура, со своей стороны, мешает смежной профессиональной сфере обратным образом — внося в работу недобросовестные навыки и приемы. Творческим сферам она мешает меньше, чем предыдущая ступень, потому что в ее пределах можно свободнее располагать временем; и потому, что это уже почти другая деятельность, почти уже не умственная и потому менее разрушительная для нервов и мозга.

О., к несчастью, принадлежит ко всем четырем сферам, и потому во всех четырех терпит поражение. Он принадлежит к первой сфере своим большим замыслом. И он лишен не только внешней материализации, но и возможности проверить степень внутренней удачи. Сомнения в печальном — неразрешимы.

О. принадлежит ко второй сфере своей работой историка, печатными трудами и проч. Но он не оформлен, не закреплен иерархически в этой сфере, и его принадлежность к ней понятна только настоящим специалистам, которые относятся к нему с уважением, но отчужденно. Человек талантливый, но что-то не то... Это они чувствуют, даже не зная, почему.

Он принадлежит к третьей сфере своими попытками найти систематический заработок и определенное место на шкале. Литературная работа по заданиям, лекции и т.п. Но он никак не может отнестись к самой проблеме заработка всерьез, без легкомыслия человека, глядящего на эти дела сверху вниз. Главное, он неудачник здесь потому, что что бы ни ждало его в этой сфере, он все равно будет воспринимать все как неудачу и унижение.

Неблагополучие в третьей сфере само собой толкает его в четвертую. У него есть кое-какая халтурная хватка, но для преуспевания там этого недостаточно. Преуспевающими халтурщиками бывают либо люди, специально и исключительно этим занимающиеся, либо люди, прочно оформленные на высших иерархических ступенях и которых поэтому встречают распростертыми объятиями и приготовленными деньгами, когда они спускаются в четвертую сферу, где их появление — марка, честь для администрации. О. — ни то ни другое. Он халтурщик испытанный, но случайный. Кроме того, ему лень, ему жалко времени. Главное, лень что-то придумывать. Но хуже всего, когда вдруг пробивается оттенок творческой заинтересованности — тогда халтура сразу теряет свой смысл, материальный и психологический.

Хотя для этого быта, быта приближающейся к концу войны, вообще характерны колебания и неясность, но многие и многие все же достаточно прочно опять прикрепились к той или иной сфере и адекватны своим местам. О. все время не помещается, и всегда вокруг него путаница. О его принадлежности к первой сфере не знает почти никто (в полной мере

даже никто), и это не отражается на его бытовом положении. Но достаточно, если он путается между прочими тремя сферами. Конечно, лучше, утешительнее для самолюбия, быть вполне непризнанным, находящимся вне иерархии, но нынче с этим не проживешь. Чем меньше признанности, тем больше неинтересного (для заработка) труда и тем хуже он оплачивается. Приходится закреплять за собой все, что возможно. О. — не социальный нуль, за которым может таиться все что угодно, но нечто для самолюбия гораздо более обидное — маленькая социальная величина. У него есть формально иерархические признаки (кандидат и т.п.), которые дают ему право занимать место среди профессионалов (третья сфера). По этим признакам его снабжают и допускают к работе, но допускают, собственно, не его лично, а его иерархическую принадлежность; все же, что он привносит сверх того от своих личных возможностей, оказывается на данном уровне лишним. И его в любой момент заменяют другим человеком примерно той же принадлежности, заменяют с полным равнодушием, даже не без удовольствия, потому что помещающийся, целиком укладывающийся в свое место человек удобнее; нет в нем этой неуловимой летучести. Поэтому в нижних сферах у него постоянное ощущение своей необязательности. Ему приходится добиваться, искать, просить мелкой профессиональной работы. Вместе с тем он по временам оказывается нужным во второй сфере, по крайней мере то, с чем ему туда удастся прорваться, встречает хороший прием и оценку. Не раз ему удавалось перепрыгнуть, далеко оставить позади тот уровень, на котором ему с трудом дается каждый шаг. Так было с его книгой, которой он сразу миновал многие промежуточные инстанции, многих вышестоящих людей. Так бывало не раз с его устными и печатными выступлениями. О нем печатали рецензии, ему звонили и слали телеграммы большие журналы, заказывая юбилейные статьи. Но все это никак не закрепляется иерархически и поэтому лишено связи, последовательности, преемственности; его выносит обратно. И репутация О., лишенная видимых признаков, никак не доходит до сознания тех, от кого зависит распределение функций и благ в низших сферах. «Руководящие товарищи», выступая на его докладе, называют его событием, а он в то же время не может добиться преподавательского места в захудалом вузе, места, которое уже гораздо ниже того незакрепленного, случайного, но все же положения, которое он занимает во второй сфере. Место — в лучшем случае принадлежит к третьей.

В связи с неким юбилеем О. приглашают, по рекомендации крупного специалиста, наряду с этим специалистом, выступить по радио. Он попал в профессорскую рубрику. К таким редакторы приходят на дом. И редактор два раза приезжает к нему для обсуждения. Проходит четыре года. За этот срок его статус отнюдь не набирает высоту. И через четыре года он к тому же редактору, в то же учреждение ходит за мелкой работой. Если редактор не забыл эпизода четырехлетней давности, то он, может быть, думает: то-то я был дурак... Не разобрался в чине.

1944

— Меня всегда поражает верность, точность вашего морального чувства. Должно быть, вы хороший человек.

— Хороший человек... Никоим образом. Впрочем, я мог бы быть хорошим человеком. Это не вышло. У меня в самом деле, с тех пор как я себя помню, было это, черт его знает откуда взявшееся, верное нравственное чувство; дар различения добра и зла. И все это пошло прахом. Я, видите ли, никогда не доверял интуиции, тем более своим интуициям. Я любил объяснять, и для себя лично я этого никогда не мог объяснить. Понимаете, я знал, что держу в руках должествование, что какой-то поступок безусловно правилен и вообще безусловно должен быть совершен. Но почему именно я должен его совершать — это как раз оставалось необъяснимым. Мне мешал не напор страстей, не соблазн... а вот эта непроясненность, необязательность. Но я в самом деле знал толк в добре. И, знаете, раз уж мы пошли на откровенные разговоры, — у меня по-настоящему была одна только эротическая мечта. Я хотел любить идеальную девушку. Девушку с ясным взглядом на жизнь, с честным и мужественным сердцем. Ну, конечно, при этом у нее должна была быть тонкая талия и очень хорошие зубы. Зубам я всегда придавал большое значение. Так вот, если бы я встретил такую девушку, я действительно полез бы для нее в бутылку. К счастью, я ничего подобного не встретил.

А человек я получился совсем не хороший. В моих возможностях все то зло, какое только способны породить равнодушие, лень, эгоизм, распущенность. Я, конечно, мирный интеллигент и потому мало способен ко злу, проистекающему из природной жестокости, из сознательной и рассчитанной воли к насилию. Но, уверяю вас, равнодушие и распущенность — достаточно мощные механизмы зла. Достаточно сильные, чтобы незаметно подвести человека к тихим домашним злодеяниям — незабываемым до конца. Блок где-то написал в дневнике, что есть такие вещи на совести, из-за которых человек уже никогда не сможет почувствовать себя молодым. Это одно из самых верных наблюдений над совестью. Я вас очень прошу — никогда не говорите мне, что я хороший человек и тому подобное. Это меня раздражает.

Очень многое сейчас у нас психологически окрашено тем, что в тылу большую часть социальных функций выполняют женщины. Женщины сравнительно редко руководят, но выполняют почти все. То есть в основном изменился самый состав, материал обыденной общественной жизни. Чтобы понять нашу тыловую и полуфронттовую жизнь, надо понять, учесть особенности женской реализации.

Утверждение и отрицание

Утверждение и отрицание бытия совершается в трех основных инстанциях — инстанция житейская, бытовая (окружающая действительность),

инстанция историческая и инстанция высшего смысла жизни. Только утверждение в последней инстанции обеспечивает подлинный органический оптимизм. Мышление XX века, за исключением последовательно социалистического, было склонно к отрицанию во всех трех инстанциях. Это был одновременно пессимизм солипсического мироощущения, исторического релятивизма и скепсиса и социальной неудовлетворенности. Нам, напротив того, было предписано утверждение во всех трех инстанциях. Для литературы, даже самой дрянной, это оказалось технически невозможным (не получается сюжет). Поэтому в первой инстанции, бытовой, писатели добиваются разрешения на крохотные отрицания, тут же покрываемые с избытком огромными утверждениями. Во второй и третьей инстанции у них, разумеется, все на местах.

Тверже всего утверждать я могу во второй инстанции, и особенно сейчас, в 43-м году, когда прояснились многие исторические, государственные, народные ценности. Когда многое зло, которому мы были подвержены, — оправдало себя. Когда столь многие блага, которых мы были лишены, — пошли прахом. Когда мы всеми нервами ощутили, куда гнет и куда заворачивает история. В первой инстанции мы скептики. В третьей инстанции мы поражены ужасной болезнью импрессионистического века — болезнью солипсизма. За нашим историческим сознанием, за нашим гражданским сознанием, за всем, что мы готовы утверждать и любить как социальные люди, — все равно, в самой глубокой и тайной глубине все равно стоит непонимание и страх изолированной души, брошенной в непостижимый и враждебный хаос. Все равно нет моста и не будет, чтобы перебросить его между третьей инстанцией и нашим историческим поведением, нашим социальным действием. Все равно хаос придется нести до конца как сущность души и как ее болезнь. Это проклятое наследство, еще тютчевское наследство. А наше историческое чувство — это живая связь с растущим веком, с веком, растущим нами, внутри нас.

С этой точки зрения литература может подразделяться на официозную, которая утверждает все от А до Z, тем самым утверждая абсолютную благодетельность власти, которой она служит; литературу декадентскую, которая отрицает социальное содержание, утверждая только переживание формы, то есть искусство; и ту настоящую литературу, которая утверждает в одних инстанциях и отрицает в других и даже диалектически утверждает и отрицает в пределах одной и той же инстанции.

Если нет в мире великих произведений, в которых ничто не отрицалось бы, то, возможно, нет и таких, в которых бы ничто не утверждалось. Одна из самых мрачных книг — это «Ярмарка тщеславия». Гуковский говорит, что из всех великих писателей мира — единственный оптимист Диккенс. Диккенс, в отличие от большинства настоящих писателей, начинает утверждать уже с первой инстанции. Конечно, это утверждение, сопряженное с отрицанием. Для Диккенса первая инстанция — это мир социального зла, но в то же время люди, многие из людей, населяющих этот

мир, — хорошие. И они способны к полноте житейского счастья, оформляемого в первой инстанции. У Диккенса люди несчастны по собственной вине или по внешним причинам, а вовсе не в силу изначальной невозможности быть счастливым (эта органическая невозможность — основная тема «Ярмарки тщеславия»). Оптимизм в большом искусстве — явление редчайшее. В чем его особая прелесть.

Русской литературе действительно никогда не было свойственно сплошное, во всех инстанциях, отрицание (флоберовски-мопассановский безвыходный и в безвыходности почти успокоенный пессимизм). Пушкину, с его историчностью, естественно было утверждать во второй инстанции. «Онегин» — очень мрачная история. Но эта мрачность нарушена утверждением Татьяны, «милого идеала», национального идеала. И это не какая-нибудь абстрактно-славянофильская девица-красавица; это национальный идеал в конкретнейшем социально-историческом воплощении: уездная барышня и светская женщина, облеченная чистотой, силой, правдой и презирающая соблазн. Это вторая инстанция исторически воплощенного народного духа, торжествующего над печальной эмпирикой невоплощаемой субъективной любви, над неразрешимыми противоречиями эгоистической личности. В «Медном всаднике» борьба двух инстанций — субъективно-бытовой и исторической и победа второй из них — проявлена и осознана до такой степени, что образует самый сюжет произведения. Третьей инстанции Пушкин касался редко; он подходил к ней через тему творчества и вдохновения, как бы считая, что ее законы не распространяются на бытие обыкновенного человека.

Тоголь с его страшной первой инстанцией все хотел и все не мог дойти до адекватного воплощения ценностей третьей инстанции. Лермонтов, одно из самых религиозных сознаний, прямо перенес борьбу утверждения с отрицанием в третью инстанцию, где демон у него борется с Богом. Для Достоевского все утверждения сосредоточены, конечно, в третьей инстанции. Толстой знал утверждения во всех трех. Он постиг вполне трагичность повседневной жизни, но в то же время создал святки и охоту у Ростовых в деревне, Наташу, пляшущую перед дядюшкой. Не знаю ничего равного этим страницам по силе жизнеутверждения. Толстой внушает своему читателю слепое доверие. Раз он так написал, значит действительно так бывает. Значит повседневная жизнь может быть безмерно прекрасна. В «Войне и мире» есть утверждение и во второй инстанции (могущество народного духа, единство народной воли), и, разумеется, в третьей. Установки Толстого менялись (хотя и не слишком резко), но в течение всей своей жизни он утверждал положительную силу любви и умиления, которые были для него истоком религиозного чувства.

Даже Чехов это еще не чистое отрицание. Чехов, казалось бы, отрицал во всех трех инстанциях. Но у него имелось некое противостоящее отрицаниям *подразумеваемое*. Все может измениться с изменением социального устройства, с установлением справедливости. Это та предпосылка эпохи,

которая позволила Шпенглеру утверждать, что все люди XIX века — независимо от их убеждений — были социалистами.

И вот, после всех этих сложнейших соотношений утверждения с отрицанием внутри и между инстанциями, — появилась литература с заданием утверждать неукоснительно. Это явление, в сущности, новое в мировой культуре. Совершенно напрасно сопоставлять его, скажем, с дидактикой XVII века. XVII век — это христианская культура, убежденная в том, что рай находится на небесах; а на земле все не может и не должно обстоять благополучно. Если оды воспевали и утверждали, то на то и существовал одический жанр; это вовсе не предрешало концепцию бытия в целом.

Другое дело, когда рай — или нечто к нему тяготеющее — объявлен существующим на земле и когда литература, как и все прочее, поставлена на службу абсолютной власти, взявшей на себя ответственность за насаждение этого рая. Так впервые возникло требование (невозможное на почве христианской культуры с ее понятиями греха, искупления, испытания...) безоговорочного утверждения во всех инстанциях, внутри всех инстанций.

Появился точный водораздел. Все, что принадлежит к данной системе, — хорошо и благотворно. Зло может проистекать только из враждебности или чуждости этой системе или из заблуждения и непонимания (это герой, который в конце исправляется). Этот участок отведен под отрицание. В пределах же системы все благополучно. Смерть благополучна — человек умер, но дело его живет; страдания благополучны — они закаляют человека; личные неудачи благополучны — человек преодолевает их общественно полезным трудом и т.д. Люди же, принадлежащие к системе, не только благополучны, но и хороши. Если у них есть недостатки, то это лишь подразумеваемые достоинства, так сказать, производные достоинства. Если старые придирчивы и ворчливы, то потому, что они радеют об общем деле. Если женщины агрессивны, то потому, что они блюдут устои. Если общественный работник грубоват, то это функция его честности. Если молодежь легкомысленна, то потому, что в ней кипит сил избыток. Если ребята шалят, то потому, что это живые, бодрые ребята, не слизняки какие-нибудь. Кроме того, недостатки нужны для симуляции «живого человека», для того, чтобы стала технически возможной какая-нибудь характеристика, как временные неблагоприятия нужны для того, чтобы стал возможным хоть какой-то сюжет. Но, будьте покойны, и недостатки, и неблагоприятия будут сняты до конца, и сняты в первой же инстанции.

Неправда, что великая гуманитарная мысль всегда была пессимистична. Напротив того, она всегда мучительно и неуклонно добивалась утверждения в инстанциях исторической концепции и философского миропонимания, то есть в инстанциях, оперирующих сверхличными ценностями, превышающими единичную человеческую судьбу, которая мыслилась как трагическая. Шопенгауэр с его тотальным пессимизмом был новшеством, исключением и именно потому огромным соблазном для людей конца XIX века. Недаром учение Шопенгауэра годами оставалось

незамеченным, пока в распадающемся субъективном сознании не созрела готовность к тотальному пессимизму. Но мировая культура никогда, за редчайшим исключением, не утверждала благополучия в первой жизненной инстанции (толстовские сцены охоты, святок — это только отдельные блики). Как культура христианская, она исходила из неизбежности земного зла; как культура революционно-социалистическая, она исходила из неизбежности социального зла в пределах данного социального устройства.

Все изменилось с появлением предпосылки разрешенности проблемы социального устройства. Первую инстанцию было предписано рассматривать впредь как область снимаемых и в основном снятых противоречий. И вот тут возникла неадекватность действительности, грандиозная, еще не бывавшая в мировом искусстве. Вернее, искусство, как интерпретация жизни, перестало существовать. Ибо в первой инстанции человек никогда не ощущал и не может ощущать себя благополучным. Только в последующих инстанциях может быть снята эта незатихающая тревога.

1943

Из всех человеческих вожеланий устремление к власти, к господству имеет самую богатую и дифференцированную синонимичку: властолюбие, честолюбие, самолюбие, тщеславие, гордость, надменность, высокомерие, самолюбование, самовлюбленность.

Разумеется, все это не тождественные, а различные категории самоутверждения, но занимательна сама дифференцированность исходной предпосылки.

Что есть пошлость... Пошлость — это, в сущности, искажение ценности, неправильное обращение с ценностью. Пошлость либо утверждает в качестве ценности то, что для подлинно культурного сознания не ценно, либо унижает ценное, либо ценности, выработанные в недоступной ей культурной среде, применяет не там и не так, как следует; вырывает их из органической связи. Пошлость не может быть там, где есть органическая связь ценностей, то есть культура. Поэтому народное сознание в своих интеллектуальных проявлениях не может быть пошлым; народное, фольклорное сознание в высшей степени выражает связь ценностей, органическую культуру. Пошлость свойственна промежуточным слоям, стремящимся паразитически овладеть высшей культурой своего времени, которая им недоступна. Пошлость особенно развивается в моменты идеологически неустойчивые, в моменты, когда разлагаются и слагаются идеологические формы, когда связь между идеями непрочна. Ибо тогда слишком много возможностей для применения фиктивных ценностей или для неверного применения подлинных ценностей. Страшно, когда носители и блюстители пошлости имеют власть искоренить все, что им не подходит.

Одно из самых основных и самых гибельных свойств пошлости — безответственность. Пошлость не нуждается в обосновании, в связи, в выводах из посылок и не понимает того, что поступок есть выбор и тем самым отказ от *другого*.

Почему на символистах (модернистах, декадентах), несмотря на высокую культурность, новаторство и проч., тяготело все же проклятие пошлости? Вероятно, объяснение этому — в интеллектуально-эстетической изолированности от общей социальной жизни.

Классицизм, романтизм, реализм неотделимы от ведущей философии, религии, науки, социальной идеологии своего времени, даже от его государственности, политики и военного духа. Поэтому их ценности и оценки проникнуты необходимостью и ответственностью. Символизм, напротив того, искусственно, в чужеродной среде, воссоздавал религиозные и философские ценности. Символисты никак не могли уйти от стилизации, то есть от вторичного, паразитического использования идей. Отсюда дух произвольности и произвола и угроза пошлости, тяготевшая даже над лучшими из них. Не говоря о худших.

Теоретически интеллигентам нравятся «простые души». Но на практике «простые души», если только они не принадлежат к сфере самобытного народного сознания (например, патриархально-крестьянского), не остаются в той сфере интересов, где могут правильно, адекватно оперировать ценностями.

В силу естественного и даже благородного стремления человека к тому, что он считает самым важным, они непременно заберутся в такую культурную сферу, где их представление о ценностях окажется искаженным и искажающим (пошлым). Что сразу отвращает от них интеллигентское сознание. В частности, на этом сокрушаются «неравные браки».

Четыре степени

Не следует представлять себе, что люди твердого гражданского или религиозного сознания ведут себя стопроцентно, что они, например, действительно не боятся смерти. Отнюдь нет. Но у них есть предел моральных устремлений, высокий моральный потолок, или, проще говоря, идеал. Они, даже творя зло, знают разницу между добром и злом. А это великая сила.

Можно установить четыре основные степени индивидуалистического или коллективистического (сверхличного) сознания (соотносительно поведения).

1. Бессознательно-эгоистическое. Обыватели в беспочвенные эпохи. Наивные шкурники. Весьма хрупкие существа, обреченные всем случайностям и, следовательно, всем страданиям.

2. Бессознательно-сверхличное. Человеческая масса крепких государственных, национальных, социальных, религиозных коллективов. Господство традиции, инерции, инстинкта, непосредственного внутреннего опыта.

3. Сознательно-эгоистическое. Исключительная принадлежность интеллектуальных кругов. В своем последовательном развитии приводит к декадентству со всеми его ужасами. Единственную пристойную форму этого жизнеощущения нашли еще древние. Это эпикуреизм, увенчанный философским самоубийством.

4. Сознательно-сверхличное. В предельной, последовательной форме это — религиозное сознание, не обязательно, впрочем, направленное на Бога.

С XIX века религиозное сознание (в особенности направленное на Бога) перестает быть ведущим. Но атеисты по-прежнему жаждут внеположных ценностей, ибо жаждут духовной деятельности, которая без внеположных ценностей невозможна.

Атеистическое сознание путем тяжелых исторических испытаний может прийти к следующему: все духовные, культурные ценности, которыми я пользуюсь, — внеположны, сверхличны, принадлежат общей жизни. Следовательно, я не только нерасторжимо связан с этой общей жизнью, но я всецело от нее завишу; следовательно, она выше, ценнее меня. За право пользоваться ее ценностями я — если не хочу быть паразитом, то есть существом неполноценным, — расплачиваюсь этим признанием со всеми вытекающими из него последствиями, со всеми возможностями жертвы, которая может быть от меня потребована.

Общая жизнь конкретно предстает человеку в виде народа, государства, родины, страдающего человечества, класса, исторического прогресса и т.д. Но абсолютность, непререкаемый смысл этих идей остаются для скептика недоказанными. Человек, соединяющий жажду духовной деятельности — всегда направленной на общезначимые ценности — со скепсисом, неизбежно окажется в положении принявшего условные «правила игры», притом налагающие на него предельные, иногда смертельные обязательства. Подобная концепция граничит с абсурдом, но скептический ум не в силах никакими ухищрениями этот абсурд опровергнуть. Он жертва эмпиричности своих представлений. Ибо эти относительно-абсолютные и условно-безусловные сверхличные ценности не даны ему, но постулируются им из неотъемлемых потребностей собственного сознания.

Такова первая ступень четвертого раздела. Пребывание на ней в достаточной мере неутешительно.

Исход (вторая ступень) — в найденной объективной достоверности сверхличного. Быть может, Толстой прав, утверждая, что единственная метафизическая достоверность — это любовь, снимающая все дальнейшие вопросы о смысле, о цели и т.д. Но для этого любовь должна быть именно метафизической сущностью, ибо в пределах психологических она ведь тоже является только жизненным *условием* или — хуже того — «обманом чувств».

Но там, где есть метафизическая достоверность любви, там начинается религиозное сознание, которое может иметь своим предметом не только Бога, но человечество, народ, социальную группу, родину, государство. Но мы, атеисты, знаем, что только Бог сообщает этому сознанию последнюю достоверность.

Если пределом для наивных эгоистов является наслаждение, для интеллектуальных эгоистов — созерцание, для людей религиозного мироощущения — любовь, то для скептиков, исповедующих относительно-абсолютные, условно-безусловные ценности, таким пределом является творчество.

Творчество есть свободное, целенаправленное, индивидуальное воздействие человека на мир, «я» на «не-я»; причем в итоге этого индивидуального воздействия в мире происходят целесообразные изменения, имеющие общие значения и принадлежащие общим связям. Это и есть та неодолимая, необъяснимая, извечная потребность, ради которой человек, понявший, что нет творчества вне связей общей жизни, принимает жесткие «правила игры». Но фетишизм творчества мучителен для каждого неизвращенного человека. Самоцельность творчества никогда не удовлетворит ум, ищущий последнего смысла вещей, не утолит сердце в его желании несомненного.

Лучшие умы XIX века сетовали по поводу отмирания органических жизненных форм в Европе. Но по сравнению с тем, что проявилось впоследствии, оказалось, что все это еще очень органично. Суть в том, что там на уже пустом в метафизическом смысле месте действовали традиции, инерции, инстинкты, предрассудки. Предрассудок — это и есть инерционная, опустошенная, застывшая оболочка некогда живого содержания.

Оказывается, предрассудок если не всегда легко искоренить, то все же гораздо легче, нежели нажать обратно. И вдруг этот обратный ход оказывается необходимым. Предрассудок — конец, омертвевший конец культурно-исторического процесса — оказывается его началом. Условности, правила, нормы восстанавливают административно, не заботясь об обосновании. Предрассудок — орудие, которое можно поспешно (впредь до рождения органических форм) выдвинуть против распоясавшегося эгоизма.

Много ли можно поднять этим рычагом? Может быть, и немало, если правила и условия, на первый случай, окажутся условием привилегированности или способом ее достижения. Все понимают недостаточность подобных средств. Но процесс этот может оказаться встречным. То есть он когда-нибудь, где-нибудь может встретиться с нормальным процессом развития органических жизненных форм.

Разумеется, призрачнейший из призраков — литература. Чуть то, что часто приходится слышать: индивидуальное мнение вовсе не обязательно; во

времена классицизма тоже была догма, единая точка зрения и предрешенность, и получилась великая литература. Это чушь потому, что литература классицизма выражала мировоззрение эпохи, потому что тогда люди так думали, а теперь так не думают.

В этой области двурядное бытие необыкновенно отчетливо: литература не только не выражение воззрения, но область совершенно условных значений, начисто отрезанных от реальности. Молодым писателям даже уже не приходится подвергать свое восприятие каким-либо операциям; они прямо так и концепируют вещи в двух рядах сразу — один для писания, другой для жизни вообще.

Вообще же литература не то чтобы плохая, но ее просто нет, как таковой, то есть как художественной деятельности. Есть особая форма государственной службы, отчего и возникает представление о нерадивом писателе, который мало — не плохо, а мало — пишет. Литературы нет потому, что отсутствует самый ее основной неотъемлемый признак — выражение миропонимания. Наша литература — явление небывалое и потому интересное своей социальной субстанцией. В этом плане ее когда-нибудь будут изучать.

У Б. есть теория, что поэты талантливы, если при всем том им что-то удастся сказать. Талантливые поэты есть, но когда их слушаешь, самого даже талантливого, уныло знаешь заранее, что стихов не будет, потому что нет поэзии. Это, собственно, значит, что нет стиля, то есть принципа выражения идей. Поэтому не может родиться новое смысловое качество; слова остаются поэтически не претворенными. Это либо житейское сырье, либо эстетические или идеологические стереотипы.

Отсутствие большого стиля характерно для всей эпохи, повсеместно. Это вообще падение гуманитарной культуры. Мы — это только наиболее проявленный случай, неприкровский. Там же, при свободе выражения — отсутствие новой принципиальной концепции человека. Там тоже нет ничего, кроме инерции высокой литературной культуры, которая здесь была насильственно прервана. Только отсутствие большого мирового стиля позволило прекратить искусство на нашем участке, иначе данная литература, невзирая ни на что, тяготела бы и прорывалась бы к большому стилю. Во всяком случае, было бы возможно появление больших ненапечатанных произведений. В настоящее время по отношению к такого рода произведениям у нас нет правильного критерия. Их принадлежность к другому ряду сама по себе производит столь сильное впечатление, что все дальнейшее уже неясно.

При такой ситуации чрезвычайно нелепо положение истории литературы, которая по инерции и в силу каких-то практически-просветительских потребностей разрослась в огромную область. Может быть, это эрзац литературы, ибо туда и, наоборот, оттуда может проецироваться проблематика не то чтобы современной литературы, но той постулируемой литературы, которая могла бы быть современной.

Почему и зачем эти девочки занимаются литературоведением, а не чем-нибудь другим (если у них не прямые педвузовские установки)? Некоторые, из интеллигентных семей, — в силу того, что учиться в вузе все равно полагается, а других способностей и интересов у них нет, кроме неопределенно-гуманитарных. Или по примеру родителей. Кроме того, в нынешнем году не удалось поступить в институт иностранных языков, а они хотели изучать английский язык (поветрие); для того и пошли в университет.

Потому были в отчаянии, когда их насильственно распределили по другим факультетам.

Смотрю на них со странным чувством: как они могут заниматься этим, если они никогда в своем внутреннем опыте не пережили, что такое литература, то есть чем может быть для человека литература. Мое поколение еще захватило последний краешек этого переживания, и потому оно последнее, для которого естественно было заниматься литературоведением (удивительно неприятное слово).

Сейчас для меня это уже неестественно и потому, что эта область сейчас тень от тени и в нее приходится с усилием вкладывать иные, прорывающие ее содержания. И потому что по ходу времени человек произвольно приходит к своему максимуму. И уже перед ним поставлен последний вопрос — хватит или не хватит сил на самое большое усилие. . . А приходится искусственно, может быть навсегда, задерживаться в области уже внутренне изжитой. Уже обидным, ненужным становится это комментирование чужого, это принудительное опосредствование, оно уже внутренне ненужно и переживается как заменитель других возможностей.

Не следует смешивать инстинктивное, физиологическое отвращение к смерти с волей к бессмертию, присущей человеку.

Именно воля к бессмертию сплошь и рядом подавляет защитный инстинкт, бросая человека в смертельную опасность. Когда человек хочет вечности, он, без сомнения, вовсе не хочет ни вечно вешать номерок, ни вечно ходить в кино, ни вечно ездить в дом отдыха. Бесконечность сама по себе не только не утешительна, но одна из самых ужасных идей, какие концепирует человеческий ум, — это идея бессмысленной бесконечности. Когда человек хочет вечности, то он, разумеется, вовсе не хочет вечного повторения разрозненных и преходящих мгновений своей жизни. Он, напротив того, хочет вечности, легко укладываемой в любое мгновение; вечности как внутреннего опыта, как непосредственного и непостижимого абсолюта. Основной признак, неотъемлемый атрибут абсолюта — бесконечность. Ибо абсолют должен мыслиться не только совершенно объективным, совершенно внеположным, но и совершенно изъятым из условий, определяющих единичное существование. Иначе абсолют окажется недостаточно убедительным, недостаточно абсолютным для единичного существования, стремящегося в нем раствориться. Только этот акт снимает

исконный вопрос о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни всегда был вопросом о связи между преходящими, умирающими мгновениями, о связи, непрерывно переживаемой и в любом мгновении присутствующей во всей своей полноте. Эта осмысляющая связь может быть только сверхличной, осуществляемой за пределами единичного сознания. Но если вечность — атрибут абсолютного смысла, то все единичное, конечное, преходящее адекватно для нас бессмысленному. Замкнутые в себе, бессвязные, непрерывно умирающие мгновения жизни представлялись всегда крайней, самой трагической бессмыслицей. Фраза: жизнь бессмысленна, потому что человек смертен, — логически несостоятельна. Справедливо другое — конечность единичного сознания, если оно не в силах преодолеть свою единичность, является самым крайним, логически самым ясным, психологически самым мучительным выражением бессвязности, бессмысленности бытия.

Толстой писал: «Если же человек боится, то боится не смерти, которой он не знает, а жизни, которую одну знает и животное и разумное существо его. То чувство, которое выражается в людях страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни...»

Самого атеистического человека, вовсе не занятого проблемой бессмертия души, может тяготить мысль о том, что дело, которое он делает, через сто лет окажется никому не нужным, что культура, к которой он принадлежит, через тысячу лет исчезнет с лица земли. Что за дело до этих сроков человеку, которому осталось прожить самое большее еще тридцать или сорок лет? Это в нем говорит органическое чувство связи. Это неистребимое стремление, наивное в своем эмпиризме, как можно ближе приблизиться к абсолюту, попытка овладеть абсолютом хотя бы негодным средством относительного увеличения меры времени. Этот загробный счет нужен ему сейчас, покуда он жив, на оставшиеся ему тридцать лет он нужен ему как мера относительной прочности творимого дела, как мера смысла и ценности.

На практике все, что мы воспринимаем, мы воспринимаем как имеющее значение и имеющее ценность (или как не имеющее ценности). Это первоначальные, ниоткуда не выводимые условия (формы) нашего интеллектуального и морального бытия. От них так же нельзя отделаться, как нельзя практически жить вне времени и пространства на том, например, основании, что пространство и время принадлежат не миру вещей, но познающему разуму человека.

Не знаю, можно ли объяснить, что такое ценность. Это известного рода благо. Но что такое благо? Тут мы доходим до вещей, всем без исключения известных из внутреннего опыта и потому дальше неразложимых и не поддающихся описанию.

Легче определить, чем отличается ценность от других видов блага, от непосредственного, например, наслаждения. Категория ценности рождается вместе с первыми проблесками социальности. Она не существует без социальности, как социальность не существует без нее. В отличие

от наслаждения, ценность не может быть определена из ощущений единичного биологически замкнутого организма. Она устанавливается за пределами индивида, и потому один из основных ее признаков — всеобщность; от абсолютной всеобщности до относительной общности тех или иных социальных категорий. Ценность — категория связи. Ее действие (в отличие от действия преходящего наслаждения) перманентно и протяженно. В этом смысле духовные ценности подобны материальным. Банковский билет лежит в вашем бумажнике, не теряя свою силу. И в каждое данное мгновение вы можете использовать, реализовать все вложенные в него возможности и потенции. Вы — обладатель ценности. Это состояние длящееся, и в то же время сама эта длительность, как особое переживание, содержится в каждом данном мгновении. Ценность — факт социальной памяти.

Реализация духовных ценностей происходит в скрещивании двух элементов. Это предельная всеобщность и внеположность общего и предельно личное к нему отношение. Человек утверждает себя в объективных, всеобщих ценностях и в то же время, присваивая себе эти объективные и всеобщие ценности, создает из них свою собственную ценность, автоценность (давно уже бытует негативное понятие неполноценности).

Здесь множество психологических вариаций, от практики эгоистов и честолюбцев до реального экстаза самоотвержения. Но замечательно, что никакой экстаз самопожертвования не снимает необходимости в личном переживании ценности. Индус, бросающийся под колесницу своего бога, хочет, чтобы колесница раздавила именно его; его не устраивает, если она раздавит кого-нибудь другого.

Но зачем бросаться под колесницу? Зачем вообще бросаться, если можно жить в свое удовольствие? Это древний разговор о том, что животные блага предпочтительнее духовных, что глупые люди будто бы счастливее умных, что хорошо быть свиньей и греться на солнце и проч. Это старый, фальшивый, кокетливый интеллигентский разговор (охотнее всего ведут его люди, которым не так уж от многого нужно отрекаться, чтобы прийти к вожделенному для них состоянию), этот разговор пора оставить. Если глупый человек страдает (будто бы) меньше умного, если животное страдает меньше человека, то растение страдает меньше животного, а камень совсем не страдает. Следовательно, речь тут идет не о жизни, а о смерти, о наиболее удобных переходных формах к смерти. И это понимали отрицавшие жизнь Шопенгауэр или Гартман. Но для разговора о жизни эта концепция не годится. Потому что приняв жизнь с ее законами, мы тем самым примем исходную предпосылку: человек стремится развить до предела все в нем заложенные возможности. Он не хочет быть свиньей, чтобы греться на солнце. Потому что инстинктивно он понимает, что не свинья, а именно он, человек, умеет греться на солнце; тогда как свинья, вероятно, глубоко безразлично — на солнце она согрелась или в хлеву.

40-е годы

Место в иерархии

После странного висения и раскачивания в безвоздушном пространстве стали совершаться процессы, очень важные и отчасти плодотворные, несмотря на присущие им шокирующие черты.

Один из них — образование привилегированных, процесс государственно важный и оздоровленный лежащим в его основе творчески-трудовым принципом. Здесь нельзя судить по паразитической гуманитарной области, которая фальшива в самой своей основе (симуляция гуманитарной культуры). В остальных областях, при всех возможных и неизбежных загибах и засорениях, принцип гораздо чище: офицер привилегированнее солдата, инженер — рабочего, профессор — студента и т.д. — только в силу больших знаний и умения. Наследственный момент сможет сыграть только ограничительную роль, роль предпосылки, облегчающей личные усилия, но не избавляющей от них. Так, по крайней мере, на ближайшие поколения. Это здоровый принцип трудового государства!

Шокирующие интеллигентское сознание стороны процесса состоят, во-первых, в том, что этот процесс восстановительный, после того как впервые было, казалось, достигнуто равенство, столь давно провозглашенное и остававшееся столь недостижимым. Жалко расставаться. Во-вторых, этот шокинг происходит от чрезвычайной наглядности, грубой осязаемости распределяемых благ, в свою очередь происходящей от их незначительности по сравнению с материальными благами буржуазного мира. По сравнению с этим миром, разница между обладающим и не обладающим благами бесконечно мала и потому в особенности грубо осязаема. В особенности это ощутимо при распределении благ не деньгами, а натурой. Несмотря на то что все понимают эквивалентное соотношение между деньгами и продуктами, психологическая разница между 1000 руб. и 500 руб. зарплаты никогда не будет столь обнаженной, как разница между 600 гр. и 400 гр. хлеба, ибо здесь откровенно взвешена человеческая жизнь, право на жизнь. Миллионер и квалифицированный рабочий, при желании, могут быть одинаково одеты. Но имеющий закрытый промтоварный распределитель и не имеющий — не могут быть одинаково одеты. Эта разница психологически грубее, обиднее откровенностью измерения пригодности человека, сравнительного права на жизнь, но по своей социальной сущности она неизмеримо меньше, преодолимее.

В-третьих, шокируют отношения, столь противоречащие духу мирового гуманизма и в особенности традиции русской культуры. Привилегированные люди русской культуры ели, конечно, устриц и икру, но при этом стыдились и каялись и оплакивали тех, кому не хватало хлеба. Большинство оправдывалось тем, что тут единичным самоотречением все равно не поможешь (рассуждения, возмущавшие Толстого), но что это дурно и стыдно — было моральной аксиомой. Материальная привилегированность являлась для них данностью, изначальным фактом и потому не являлась предметом реализации. Это не было интересно. Снизу еще мало кто

претендовал на равенство. Наоборот, надо было уговаривать и проповедовать равенство сверху. Для интеллигенции это и было актом отказа от низшего ради высшего, обеспечивающим моральное превосходство над неотказывающимися, — и поэтому подлинной реализацией.

Но представьте себе людей, прошедших через все унижения, людей которых уплотняли, вычищали, лишали... Главное, в привилегии которых снизу никто не верит (по крайней мере, не верили до последнего времени). Только барину интересно опрощаться, потому что только для барина это может стать этическим фактом. Ощущение же барства может существовать только, когда оно подтверждается отношением низших, их верой в то, что это действительно барин, человек другой породы. И хотя в сословном обществе нового времени всегда было много скептиков и наверху и внизу, но, вразрез доводам скептического ума (все из одного теста сделаны), крепкий инстинкт различия существует во всяком сословном и классовом обществе. Нынешние же прошли через период, когда их вовсе не различали или различали по признаку паразитизма и неполноценности. Они познали равенство на собственной шкуре, не то приятное равенство, в котором нужно убеждать, не то возвышающее душу равенство, к которому человек свободно приходит, внося в него пафос отречения, — но совсем другое. Они познали его в ужасающе наглядной, буквальной и осязательной форме: в очередях, трамваях, коммунальных квартирах, столовках. Оно предстало им толчками в бок, матом, язвительными замечаниями: «подумаешь, если трамвай не нравится, нанимайте такси», «ну-ка сдвинься», «папаша».

В свое время барину, интеллигенту, может быть, нравилось, если его назовут «папашей», ибо про себя он знал свое место в иерархии и, главное, знал, что все его знают. Это могло быть приятным знаком удавшегося опрощения, вообще фактом, совпадающим со свободной внутренней установкой. Теперь для него это — унижение, отрицание иерархии, хамство. Они вынесли из всего этого много ожесточения, безжалостности, собственного, встречного хамства. Они торопливо, жадно хватаются за все знаки различия, за все, что теперь должно их выделить, оградить. В этой связи пайки имеют чрезвычайное психологическое значение; для многих, уже отчаявшихся, — в основном даже психологическое. Несколько лет тому назад в дачном поселке, где были затруднения с хлебом, Г. как-то прибежал на пляж с радостным криком: «Хлеб будут давать только профессорам!» Что произвело тогда некоторый скандал, о чем говорили. Потом стало проще, хотя кричать об этом на пляжах, улицах и площадях все же не принято.

Но вот в писательской столовой имеется второй зал, для рационащиков, для баб, которые получают *другое*. Это не только никому не кажется стыдным, но напротив того, если низший зал испытывает к высшему нескрываемые чувства зависти и злобы (паразиты, хуже того — паразитки, ведь тоже всё бабы), то высший относится к низшему с нескрываемым недоброжелательством, главное, он боится быть ущемленным. Конечно, столовая меньше всего думает о нас, им нужно накормить всю Шпалерную улицу.

— Опять не хватило булочек. Понятно, обычная история, сначала все рационщикам, потом нам.

Писатели пользуются привилегией получать без очереди обеденные чеки. Чем больше очередь, тем больше удовлетворения. Это источник торжества над теми самыми, от которых пришлось столько натерпеться в очередях. И тут врагины бессильны, вынуждены признать, что те выше, признать иерархию. Особенно восхитительно, если какая-нибудь врагиня, не понимающая всей слабости своей позиции, начинает протестовать: «Тут никогда не достоинься, если так все будут со стороны подходить...» Эту реплику, что называется, бог послал. Следует торопливый, захлебывающийся заведомостью собственного торжества ответ:

— Если вам не нравится, кто вам мешает прикрепиться в другой столовой. Пожалуйста. Мы только рады будем, чем меньше, тем лучше.

Это говорит интеллигентка. В трамвае она не скажет: «Если вам не нравится, нанимайте такси». Не скажет, потому что это готовая осмеянная формула, которая, по ее мнению, неприлична. Но тут она инстинктивно находит ту же формулу на другом материале.

Следует ответ: «Сами рады бы в другом месте прикрепиться. Так вот приходится... Надоела ваша столовая...».

Но никакие ответы в данном случае не действительны. Они даже не вызывают охоту возражать. Их можно даже не замечать (не стоит связываться...). Или сказать: «Здесь не базар, привыкли заводить всюду склоки, не можете никак без этого обойтись». Сила и право на стороне писательницы. Буфетчица (всегда грубая и деспотическая, поэтому особенно приятно иметь ее на своей стороне, это тоже победа) закрепляет этот факт своим авторитетом:

— Вы не шумите. Я сама знаю, кому как давать.

Неприятно только, что в разговор вмешивается старуха В. и тоже считает нужным поддержать права: «Это столовая писательская. Чем меньше тут посторонних будет, тем для нас лучше». Старуха В. — не член Союза, она на учете профкома писателей, и даже это, в сущности, можно считать благотворительностью. Могла бы не вмешиваться. Ее вмешательство рождает смутное чувство неловкости. Если проанализировать это чувство, то оно окажется не проясненной до конца догадкой о том, что этот спор — в конечном счете склока между равными. Ведь между старухой В. и зарвавшейся рационщицей не такая уж разница.

Рационщики дают пищу чувству писательского превосходства терпеливым ожиданием. Они стоят с тем выражением мрачного терпения, которое бывает у женщин на приеме в больнице, в очередях у магазинов и тюрем.

Писательница: «Пожалуйста, режьте талоны на два пирога».

Рационщица: «Сегодня пирог?»

Писательница знает, что пирог сегодня «только для писателей», но отвечает: «да». Она считает, что отвечает так из деликатности, но не без злорадства ожидает дальнейшего.

Рационщица: «А что, всем дают?»

Тогда уже с раздражением (к чему, в самом деле, этот уравнивающе-хозяйственный разговор...): «Не знаю. Спросите в контроле. Как я могу знать, что вам дают, чего не дают». Это ответ, резко подчеркивающий дистанцию (не знаю и не интересуюсь), чем если сказать: «Вам пироги не дают».

Что же это — безобразия? Нравственное падение? Где великая русская традиция (сейчас читаю статьи Толстого 80-х годов)? Да, падение, а в основе всего — демократизм. В традициях было много душевно изнеженного и барского. Барским было и опрощение, и острая жалость (жалость всегда непонимание сверху, со стороны), и стыд за свои преимущества. А все вышеописанное — безобразное выражение, но выражение предпосылки равенства.

Люди, подвергающиеся опасности, считают себя вправе не скорбеть о погибших. Никто не упрекнет приехавшего с фронта в отпуск, если он веселится и не думает о мертвых. Все, и он сам, знают, что он имеет на это право. Точно так же люди, испытывающие лишения, в силу бессознательного, иногда сознательного расчета, избавляют себя от жалости. Это негласная сделка с совестью. Они рады тому, что заработали право не думать об этом (чего ради я тут расчувствовался, когда у меня отец умер от дистрофии).

Русская литература XIX века исходит жалостью. Ее создавали люди, как правило, не испытывавшие лишений. Некрасов всю жизнь не мог забыть того, что не ел досыта в юности. Денежная трагедия Достоевского известна всему миру. Но у Достоевского все-таки были шуба, и квартира, и даже поездки за границу. Лишения были уделом неинтеллектуальных, соотносительно — жалость была уделом интеллектуальных. Интеллектуальный человек, испытывающий настоящие лишения, настоящую, буквальную нищету — не ту, которая состоит в том, что человек проживает больше, чем имеет, или выплачивает долги и т.п., — был явлением ненормальным, спутывающим все представления, он сам не понимал свою позицию. Когда он стал явлением нормальным, он довольно скоро понял свою позицию — и перестал жалеть.

Удивительно мало жалости вокруг. Впрочем, она, быть может, и не нужна для правильной работы этого общественного аппарата. В отдельных случаях она встречается, конечно, но больше у людей архаического склада. Жалость в чистом виде — это неравенство. И вот в чистом виде она почти и не существует. Потому что люди использовали свои лишения как право не думать о чужих, хотя бы тягчайших. И потому что в этом деле совсем нет частной инициативы и личной ответственности. Отсюда: все равно нам ничего не сделать, пусть интересуются те, кому этим ведать надлежит и кто взял на себя ответственность. Вообще проблема не нашей компетенции.

И наконец, жалость вытесняет ущемленное самолюбие. Жалость — отношение силы к слабости. Жалеемый тем самым обезоружен, обезврежен. Необезоруженного, необезвреженного нельзя окончательно

пожалеть. Разумеется, человек может и пожалеть, когда соответствующее зрелище хлопнет его по лбу. Речь идет не об этом. Но об отмирании жалости как постоянного душевного состояния, как идеологии, что так характерно было для XIX века.

У Толстого в статье, посвященной ужасам городской жизни, есть история прачки. Прачка жила в ночлежном доме, безнадежно задолжала шесть гривен, ее выгнали зимой на улицу. Она побродила, посидела, вечером опять побрела к дому, по дороге свалилась, умерла.

Замечательны — шесть гривен. Как художник, знающий свое дело, Толстой отнюдь их не подчеркивает, но он понимает, какой в них эффект для читателя-барина, на которого рассчитана статья. Невообразимая ничтожность суммы, из-за которой загублена человеческая жизнь, до предела увеличивает дистанцию между читателем и героиней, доводит трагедию до ужасающей непонятности. А для жалости это необходимо. Чем сильнее непонимание, тем больше дистанция, — тем острее жалость.

Толстой описывает эту прачку в гробу: «Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое, бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное».

Жаль, страшно жаль. Но при жизни эта прачка из ночлежного дома не ходила же все с усталым и добрым лицом. Она могла и толкнуть соседку на кухне, и, в случае чего, покрыть матом. Но Толстого и его читателей это никак не могло коснуться; если бы и коснулось случайно, то бесследно бы отскочило, как нечто заведомо несоответствующее их установленному месту в иерархии. А вот от нынешних не отскакивает. Этим такие прачки крыли в коммунальных квартирах, толкали в трамваях, выпирали из очереди на дрова. Эти прачки не обезврежены.

А кто не вытасчит из себя жало уязвленного самолюбия, тот не увидит чужих страданий.

Писательница И. отправилась на дровяной склад договариваться о перевозке полученного метра дров. Пыталась договориться с двумя женщинами в полушубках. Разговаривала ласково, предложила хорошую плату. Тем не подошел район. Так как она все еще не отходила, то одна из женщин, обругав ее матерно, сказала: «Ну чего еще стоишь, мешаешь работать, сказано тебе...»

Писательница И. испытывает бессильную, непроходящую злобу. Потом она отправляется в редакцию, где ей говорят, что ее материал не пойдет, или что его нужно в третий раз переделывать, или что его уже переделал редактор, которому виднее, и т.п. Не худшая ли это обида? Но она не обижается, разве что совсем немножко. Все это выражено языком, который, по ее мнению, соответствует ее месту в иерархии. Она остается сама собой, в своем виде, соответствующем ее самосознанию. Но когда она идет на рынок с кошелкой и ей говорят, даже беззлобно, — «ты» или «ну,

чего задумалась, мамаша?» (почему мамаша? Она ведь совсем не старая) — она испытывает непоправимое оскорбление, деградацию, отвратительное чувство потери личности. Она для них — женщина с кошелкой, точно такая же, равная.

1943

С. в прошлом месяце каким-то зайцем прикрепилась к магазину одного высокого учреждения. Воспроизводит разговор в очереди на прикрепление. Дама в котиковом манто — соседке:

— С будущего месяца здесь обещают все это изменить. Все эти дополнительные карточки уберут отсюда. А то смотрите что получается — я стою и мой шофер стоит, сзади меня в очереди. У него дополнительная, и он стоит. И потом все время с ними сталкиваешься. Берут сто грамм масла, а время занимают, создают очереди.

У С. в передаче этой сцены есть своя подводная тема. Она принадлежит к тем, у кого в свое время был или мог быть шофер. С потерей примирало то, что его («моего шофера») вообще нет, неприятно, что появились другие — к этому вовсе не предназначенные, — у кого он есть.

Но интереснее тут другое. Любопытно, что мы еще демократичны, и пользуемся притом не буржуазно-демократическим, а социалистически-демократическим понятием равенства, то есть понятием, отрицающим неравенство не только сословное, но имущественное. И совершенно асоциальная птичка С. бессознательно пользуется тем же критерием (ведь в буржуазных условиях никого бы не удивило замечание дамочки), бессознательно имеет перед собой ту же норму равенства, за убыстряющимися отклонениями от которой все мы следим. Новая иерархия вовсе еще не совершившийся факт, а еще процесс, в достаточной мере противоречивый и осязаемый.

В закреплении новой позиции существенны два момента военного времени. Они резко протолкнули давно намечавшиеся изменения. Первое — это военная иерархия, которая сразу все прояснила. То, что вне ее было подхалимством, в ее пределах стало чинопочитанием. Содержание получило форму, красивую, правильную, молодежавшую, совместимую с честью и доблестью. Иерархия проецировалась в гражданский быт, где выглядит, конечно, иначе.

Вероятно, только на фоне военных ассоциаций возможен ректор Вознесенский, который кричит на студентов, если они перед ним не успели вскочить или снять шапку. К нему как-то пришла на прием (наниматься) преподавательница французского языка. В кабинете у него лежит дорожка. Она пошла мимо дорожки. Вознесенский сказал: «Вернитесь и пройдите по дорожке». Она вернулась и пошла по дорожке.

Второй определяющий момент — это иерархия снабжения. Ею все сказано *en toutes lettres*[#]. Она ежеминутно осязаема в быту,

[#] откровенно, напрямик
(фр.)

ее нельзя забыть. Наконец, она гораздо иерархичнее имущественного неравенства и по психологической своей сущности — ближе к неравенству сословному, кастовому и именно для него создает предпосылки. Ведь «ее шофер» может пойти в любой коммерческий ресторан, магазин, но в закрытый распределитель он пройти не может.

В послевоенное время (не сразу), когда решающая роль двух этих моментов отпадет, придется переходить к психологически более сложному расчленению общества. Тогда социальные категории могут опять оказаться чересчур сближенными. Мужьям все-таки проще — у них служебные отношения. Но где возьмут жены психологическую гарантию привилегированности — без прикрепления в разных магазинах. Не сомневаюсь, впрочем, что они найдут принцип различия. Все эти проблемы возникают именно потому, что у нас имущественная дифференциация, по сравнению с капиталистическими странами, ничтожна.

Как радовались профессора, особенно жены профессоров, когда прошел слух о том, что на Михайловской доцентов и кандидатов больше прикреплять не будут. Соображения о лучшем снабжении или о меньших очередях здесь были на заднем плане. Человек вовсе не так грубо утилитарен. Человек грубо утилитарен, только пока он простодушно голоден. Здесь же был крик души изголодавшихся по чувству привилегированности. В свое время «кающиеся дворяне», пресыщенные переживанием привилегированности и потому жаждавшие переживания святости, говорили: «Пускай секут! Ведь мужика же секут!» (Михайловский).

Поступки и побуждения

Толстой писал в знаменитой статье «Так что же нам делать?»: «То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я живу, нельзя, нельзя и нельзя, — это одно было правда».

Вот она, формула личной нравственной ответственности за социальное зло. Формула действительного гуманизма. Предпосылка жалости. Формула утраченная.

Толстовский морализм индивидуалистичен, опираясь в этом смысле на индивидуалистичность христианского учения о ценности каждой души и о спасении собственной души как главной жизненной цели. Практический вывод из статьи «Так что же нам делать?» — тот, что важно не помочь таким-то и таким-то бабушкам, а важно спасти свою душу, а спасший свою душу вносит в мир ту частицу любви, которая поможет людям. Спаси свою душу можно только положив ее за други своя. Но главное-то дело именно в собственной душе. Так индивидуализм возвращается с противоположного конца. Лучше самая маленькая помощь с жертвой, чем самая большая без жертвы — по мнению Толстого, таковая вообще не может быть нравственной, то есть единственно настоящей помощью. Мужик Семен, у которого шесть рублей «капиталу», дал нищему три копейки —

и помог. Человек с 600 000 никому не может помочь, хотя бы он раздавал сотни и тысячи. То, что эти сотни и тысячи, в отличие от трех копеек, все-таки могли каким-то людям облегчить жизнь, — отрицается, или берется под сомнение, или остается незамеченным. Все это неважно по сравнению с проблемой спасения души. Вообще важны не поступки, не результаты, не поведение, но моральное побуждение.

Оба плана не совпадают — разные побуждения могут приводить к однородным поступкам. И обратно. Господство побуждения над поступком — это загиб личного морализма. Двадцатый век приучен к обратному загибу. Проблематика моральных побуждений была съедена, с одной стороны, декадентством, а с другой — практическим социальным действием. Во втором случае это имело даже свое теоретическое обоснование. Предполагалось, что побуждения человека всегда эгоистичны, но что при переходе от побуждения к поступку, в силу разумно-эгоистического расчета, вносятся социальные коррективы. Конечно, это одна из тех теорий, которые не могут иметь влияния на общественную практику. Но они между собой характерно соотносились. Во всяком случае на первых порах государство не вдавалось в побуждения; оно жестко требовало определенного поведения.

Сейчас вопрос о личной морали как основе общественной встает в высшей степени и, вероятно, будет ставиться со все большей определенностью. Но пока что инерция всецело основана на обходе этой морали, на голом требовании гражданского поведения, *поступка*, пусть из эгоистических побуждений, регулируемых принуждением и наградой.

Я имею в виду, конечно, практику, а не фразеологию, пропускаемую мимо ушей. То, что называлось когда-то «хорошим поступком», личный, внутренний моральный акт, совершаемый про себя, ценный именно тем, что он совершается про себя как личное душевное дело, этот моральный акт не только не принимается в расчет, но, в сущности, даже не допускается, выталкивается. Ибо коллективу нужны не поступки, хранимые про себя, но хорошие поступки, образцово-показательные, прокламируемые и рекламируемые. Но это палка о двух концах, ибо жизнеспособному коллективу нужны люди доброй воли. И коллектив начинает это понимать. Но пока все устроено так, что ведется точный учет «хорошим поступкам», совершаемым в порядке общественной работы и общественной нагрузки. Учет, на предмет отчетности перед вышестоящими инстанциями, заметок в стенгазете, премий и т.п.

Один пример: Союз писателей берет шефство над госпиталем. Так как в Союзе писателей добиться какой-либо общественной работы почти невозможно за отсутствием обычного учрежденческого аппарата, регулирующего эту работу, то невозможно добиться и этого. К., у которой хватает времени прикреплять дополнительную карточку на другом конце города, потому что там якобы больше возможностей отоварить месячные талоны животным маслом, — говорит, что для дежурства в госпитале у нее нет времени: «Я не понимаю, почему, собственно, Лена В-а считает, что

ее эти дежурства не касаются. Какие у нее такие важные дела? Я занята не меньше ее».

Понятно, ей не столько жалко времени, сколько она боится, что посылают мелких. Если не посылают Инбер или Берггольц — это само собой, они действительно высший класс. Но почему Л. В. считает себя избавленной? Это так же обидно, как то, что В-а получает литер, а она нет. Именно в данной связи это особенно обидно. К. делает свое дело в тяжелых условиях, она искренне считает, что работает на войну, и уж во всяком случае сочувствует раненым бойцам. Но кто-то этим ведает, так пусть и дальше ведает. Личные «добрые дела» не являются предметом моральной реализации. Если в этой связи возникает реализация, то другая. Собрать материал для очерка, или — если пойти, то прочитать им что-нибудь свое (о фронте), рассказать что-нибудь. А каждый из них может рассказать в сто раз больше.

На этом фоне всякий шаг подвергается немедленному учету. Я провела в госпитале три часа. На другой день несколько человек в столовой хвалили меня за это. Руководитель профорганизации выражал свое удовольствие — вот человек никогда ни от чего не отказывается. Сказала и сделала. Редактор стенгазеты предложила написать заметку о моем опыте (трехчасовом) с призывом к другим писателям, на которых этот пример должен благотворно подействовать. Начальник отделения госпиталя выразил неудовольствие, что его со мной не познакомили. При втором посещении он пригласил меня в кабинет, расспрашивал о впечатлениях и сообщил, что вся шефская и т. п. работа точно учитывается путем записей в особую тетрадь, которая всегда лежит в кабинете. И всякий раз в эту разграфленную тетрадку обязательно записывать: читала газету, написала письмо, измеряла температуру, перестилала постель, провела беседу... И в особой графе подпись. Уныло мне стало.

Моральные побуждения со всей своей атмосферой выключены. Поступок же включается в серию рядов, в которых он имеет значение и интерес только в точно учтенном, документированном виде, претворяющем его в общественную нагрузку. Профорганизатор доволен, потому что он может сообщить, что у него налаживается шефская работа. Редактор газеты доволен, если у него появится требуемый материал. Начальник отделения доволен обогащающейся отчетностью о проводимой у него культурработе и, кроме того, учитывает, что писатели могут описать. Он даже знает, что писатели появляются в таких местах, потому что собирают материал. Это лестно.

Среди этих людей есть честные, хорошо работающие, искренне преданные, перенесшие много трудов и опасностей. Если они так бесстыдны, то потому, что утрачен смысл личного морального импульса. Самое понимание этого импульса.

Здесь суть, конечно, не в том, что собрались «злые люди», — люди ведь такие же, как всюду. А в том, что единичный, личный моральный опыт не является актом реализации. Для этого нет соответствующих связей, в которые он мог бы включиться.

О моральном инварианте

Существует инерция нравственных представлений и оценок. В дистрофические времена наблюдалось любопытное явление: люди, интеллигенты в особенности, стали делать вещи, которых они прежде не делали, — выпрашивать, утаивать, просить, таскать со стола в столовой кусочек хлеба или конфету. Но система этических представлений оставалась у них прежняя. А для интеллигента воровать было не столько грехом или преступлением, но скорее психологически невозможным актом, вызывающим отчуждение, брезгливость. И вот эта инерция продолжала действовать. Сунувший в рот конфету, которую оставила на столе знакомая ему бухгалтерша, мог в тот же день с искренним удивлением и осуждением говорить собеседнику: до чего все-таки у нас народ изворовался... и рассказывать по этому поводу анекдоты — вроде собственного случая с конфетой.

При этом в нем происходило некоторое психологическое раздвоение. Не то чтобы он, совершив зло, понимал, что оно зло, и каялся. Нет, побуждения, приводившие его к подобным поступкам, всякий раз представлялись ему столь непреодолимыми, таким стихийно-глубоким проявлением инстинкта жизни, что он не хотел и не считал нужным с ними бороться. Не то чтобы он в момент рассказа забывал о своем поступке или полностью вытеснял его из сознания — но он ощущал этот поступок как временный и случайный. Поступок не имел отношения к его пониманию жизни вообще и потому не мог отразиться на этических представлениях и оценках, выработанных всей его биографией. Он видит себя изнутри, и он видит свой поступок как отчужденный от его постоянной человеческой сущности. Другого же, своего знакомого, он не видит изнутри и воспринимает подобное его поведение в той этической связи, в которой оно обычно воспринимается. И потому про своего знакомого он с непритворным чувством непричастности и осуждения говорит, что тот «изворовался», или «одичал», или «попрошайничает».

В статьях об умственном и физическом труде Толстой производит прямой и потому, как ему кажется, неопровержимый расчет: «В сутках 24 часа, спим мы 8 часов, остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности посвящает на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сделает страшно много. Куда же деваются остальные 11 часов?»

Оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее».

Не будем вдаваться в вопрос о том, могла ли бы вообще существовать умственная деятельность (связь духовной культуры) при всеобщем, равномерном занятии натуральным хозяйством. Здесь интереснее психологическая сторона, бессознательная психология барина. Независимо от проповеди крестьянского труда и идеала натурального хозяйства, Тол-

стой требует от человека, предпринявшего дело морального возрождения, чтобы он прежде всего в любых условиях, и городских в том числе, делал все для себя сам: убирал комнату, готовил пищу, топил, доставал воду. (Толстой в Москве возил воду в бочке.) Сделав все это, он может, если уж не может иначе, предаваться своим пяти часам умственного труда.

Ведь это бессознательные представления человека, который может привезти воду для блага своей души, но может и не привезти, если, например, в этот момент к нему пришли толстовцы или духоборы и нельзя их не принять. И это рассуждения человека, который обслуживает себя в пределах готового домашнего хозяйства, налаженного чужими руками. Он привез воду, но кто-то достал бочку для этой воды, кто-то кормил лошадь, на которой ее возят. Он не думает, откуда взялся веник, которым он подметает свою комнату. Если бы он знал, как трудно, когда нужно об этом думать, когда все, что служит тебе, служит только ценой твоих личных усилий. Гений, понимавший все, этого так и не понял. А если дрова сырые и печку только нужно раздувать часами? Как же тогда с пятью часами умственного труда?

Ленинградская ситуация

Самое интересное в разрезе момента — это становление внутреннего согласия, очень трудное, с задержками, противоречивое, но несомненное. Как важно не упустить момент! К этому ведут и об этом свидетельствуют разные, отчасти противоречивые процессы. Все это означает, что появился моральный предел, которым не определяется целиком поведение, но к которому оно стремится и которым уже регулируются оценки. При этом моральные навыки, и формы осуществления остались в значительной мере прежними. Но происходит как бы внутреннее перемещение соков, под пустой некогда оболочкой как бы образуется постепенно соответствующее ей живое ядро. В этом процессе знаменательную и, как ни странно, плодотворную роль играет все тот же разрыв между побуждением и поступком. Побуждения людей, непосредственные, в основном эгоистичны. Это быстро не меняется, для того чтобы это могло измениться порывом — слишком давит и связывает привычный регламент. Они избегали жертвы, где могли, — в силу своих эгоистических побуждений. Но поступки, совершаемые ими принудительно, совпали с тем моральным пределом, который их сознание вырабатывало независимо от эгоистических побуждений. Эти поступки, совпадающие с их разумным пониманием должного, ретроспективно представляются им внутренне свободными, свободно выбранными, нравственно полноценными и разумно оправданными. Во всяком случае люди избавлены от жесточайшего страдания эгоистов — сознания ненужной жертвы.

Аберрация возможна именно потому, что они не привыкли задумываться над значением частного морального акта, что они не умеют осознавать и распознавать его и им интересоваться. Они подходят к себе так же,

как к ним подходит мир, с точки зрения конечных результатов, поступков, действий вовне. И с этой точки зрения оказывается, что они в основном делали то, что требовалось. Что их поведение по праву можно назвать стойким, мужественным, даже героическим. Ретроспективно они отбрасывают, вытесняют из своего поведения все, что в нем было от внутреннего малодушия, колебаний, уклонов, раздражения, и оставляют ту схему действия, свод результатов, которая попадает в печать, в списки награжденных и т.п. И это совершенно правильная схема. У человека образуется социальная, групповая автоконцепция (помимо личной), абстрактная, но верная. Идеальное представление о себе самом как члене коллектива. И это представление обязывает. От него, как бы в обратном порядке, развиваются подлинно сверхличные побуждения. Это навсегда заработанная ценность.

Процесс этот в первую очередь сказывается, конечно, на боевом коллективе. И на таком, например, коллективе, как ленинградцы. Изнутри трудно чувствовать себя героем (это особенно не в русском характере), пока человеку не объяснили, что он герой, и не убедили его в этом. В 1941–1942 годах было не до того, чтобы вслушиваться в объяснения. Сейчас оно дошло, люди поверили. Они уже устраняют из сознания, что колебались, что многие оставались в городе по внешним, случайным или личным причинам, что боялись и отчаивались, что месяцами интересовались только едой, что были злы, безжалостны или равнодушны, что прошли через самые унижительные и темные психологические состояния.

Они стирают в своем сознании побуждения и состояния и оставляют чистое действие, результат — беспримерное общее дело. Оборону Ленинграда, в которой действительно участвовали. И они правы. Ибо по каким бы причинам они ни остались, но они делали то, что нужно было городу; думая, как им казалось, только о еде, они в то же время работали; они боялись (меньше всего как раз боялись), но ходили по улицам и стояли на крышах; они бранились, но копали рвы. Казавшееся принудительным оказалось в конечном счете внутренне подтвержденным, актом общей воли.

Это приобретенная ценность, которая останется. Из нее будут исходить, на нее будут ссылаться. Слишком много будут ссылаться. Люди Большой земли уже раздражаются. Конечно, этим будут злоупотреблять, хвастать, что вообще свойственно человеку. Но лучше, чтобы он хвастал этим, нежели всякой дрянью.

Здесь твердо выработалась средняя норма поведения, которой, как всегда, бессознательно подчиняются средние люди. Потому что оказаться ниже этой нормы значило бы оказаться неполноценным. Что человек плохо переносит. Эта норма, например, не мешает склочничать, жадничать и торговаться по поводу пайков. Но она мешала — еще так недавно — сказать: я не пойду туда, куда меня посылают, потому что будет обстрел и я боюсь за свою жизнь. Такое заявление в лучшем случае было бы встречено очень неприятным молчанием. И почти никто не говорил этого, и — главное — почти никто этого не делал.

Ленинградская ситуация — одна из характерных групповых ситуаций, отправляющихся от всеобщей. Ситуация эта проходит через несколько стадий. Беру предпоследнюю. Ее основные слагаемые: обретенная ценность и желание извлечь из нее все, что возможно (блага, всеобщее признание и чувство превосходства).

Но трагедия уже потускнела, уже все всё начинают забывать, тема надоедает постепенно. Надо усиленно напоминать, вообще напрягаться вокруг нее. Кончился хаос, сдвинутый мир, небывалые вещи и чувства. Образовался быт, очень трудный, очень опасный, в сущности, неправдоподобный, — но стабилизированный, то есть такой, при котором люди могут отправлять свои человеческие функции, хотя бы и в сдвинутом виде.

И действительно, люди ели, спали, ходили на службу, ходили в театр и в гости. Все это, взятое вместе, и было то самое, что требовалось городу. Если только человек не испытывает острые физические страдания и не впадает в панику, то он непременно в любых длящихся условиях (даже в окопах, в тюрьме, в больнице) устраивает себе если и не нормальный, то во всяком случае стабильный быт; он применяется к условиям так, чтобы совершать свои основные человеческие отправления. Здесь много решал первоначальный момент предотвращения паники. Когда это совершилось, все остальное уже стало складываться неудержимо. И когда прошли острые физические страдания, из-под них выплыл сложившийся быт, который только со стороны казался странным. Быт изнутри, по ходу переживания, вообще не кажется странным, поскольку он есть применение обстановки к потребностям. Он стал однообразным, затрудненным, необычайно несвободным, во всем — в передвижениях, в возможности попасть туда-то в таком-то часу или вернуться домой. При этом твердо организованным, как нигде, что поражало всех посторонних. Организованность происходила отчасти оттого, что быт свелся к ограниченному числу элементов и их оказалась проще увязать между собой.

Преобладающие состояния: переживание ценности и беспокойство за ее сохранность, переживание страшного, трудного, исключительно, — ставшие привычными, преходящими рефлексам, которые не мешают всему остальному. Переживание скуки, временности, ожидания выхода из особой замкнутости и несвободы, соединенное с опасениями за то, что при возвращении к обыкновенной жизни утратится обретенное превосходство, с опасениями соперничества тех, которые ничего не испытали и придут занимать места. Таков предпоследний этап.

На последнем этапе эпопея отодвинулась еще дальше, и ценность ее охраняется теперь историческим пафосом. Чувство временности, ожидания возросло чрезвычайно, а с ним столкнулся страх перемен, скрещение, характерное для людей, долго находящихся в невозможных условиях, которые уже стали привычными. Отсюда подозрительное недоброжелательство к возвращающимся в город.

Групповая ситуация стоит за отдельными разговорами, частными и официальными. Она их питает и дает к ним ключ.

В человеке этом уже нет ничего — ни любви, ни жалости, ни гордости, ни даже ревности. По старой памяти он все это тонко понимает и потому может хорошо изображать, даже про себя изображать. То есть он знает в точности всю цепь побуждений и поступков, вытекающих из каждой эмоции. Для того чтобы воспроизведение этой цепи было не фальшивым, а искренним (у него оно совершенно искреннее), нужны какие-то основания. И эти основания у него есть. Это как бы бледные отражения этих эмоций в его сознании, как бы тени, отбрасываемые эмоциями и скользящими по его сознанию.

Едва ли не меньше еще в нем чувственных импульсов. В сущности, в нем осталась только творческая воля. Столь упорная, что она осуществляется в самых невозможных условиях. Если бы действие этой воли прекратилось, трудно даже представить себе, как и чем такой человек мог бы продолжать существовать.

На улице встреча с Антониной (Изергиной). Рассказывает о том, как на днях они с Ахматовой в помещении Тюза получили медаль.

— Ее покрыли громом аплодисментов. Громом! Она здорово все-таки популярна. Она умеет себя держать. Какое у нее было лицо — величественное, строгое, задумчивое...

— Вдохновенное...

— А что в это время могло быть у нее на уме — только одно...

Что она как раз перед тем увидела меня и соображала, как бы со мной сговориться устроить у вас блины...

Старики дикие и веселящиеся

NN говорит:

— Глядя вокруг, иногда со страхом думаю — вот мне тоже предстоит одинокая старость. Неужели я тоже лет через пятнадцать (если буду жив...) буду скучать и вследствие этого по вечерам в темноте-мокроте пробираться в гости.

Утешаюсь тем, что с годами во мне явно возрастает физическая лень, нелюдимость и привычка к месту. Вообще, начиная с известного возраста, для человека естественно — быть дома (если его не призывают дела или прямые интересы).

Конечно, со временем мне угрожает попасть в разряд диких стариков, кончающих в полной изоляции. Впрочем, это много лучше, нежели попасть в разряд стариков, скучающих и веселящихся.

Бывший проработчик

Он не говорит сейчас и не делает ничего дурного (в данный момент это не нужно), но лицо это ужасающе выразительно. В нем то прямое соотношение между чертами, выражением и предполагаемой в этом человеке черной душой, которое давно уже отрицается всей психологической литературой, и, в качестве устарелого и мелодраматического, оно как бы выведено за пределы житейской реальности. Но вот мы видим это самое: действительно бегающие глаза в припухлых мешках, костистое лицо, обтянутое зеленоватой кожей; острый нос, узкий рот. Тягуче-равнодушные интонации, которые всегда кажутся наглыми, даже когда они не могут быть наглыми; например, когда речь идет о высоких материях и инстанциях. Словом, это столь примитивное и устарелое (вышедшее из употребления) соотношение между постулируемым содержанием и формой, что оно сбивает присутствующих с толку.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ **И ОФИЦИАЛЬНАЯ** **АВТОБИОГРАФИЯ** **Л.Я. ГИНЗБУРГ**

<1> ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Л. ГИНЗБУРГ **(КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК)**

В настоящее время усиленно работаю над докторской диссертацией, посвященной проблемам русской психологической прозы¹.

Работаю над статьей о мемуарной и политической прозе Герцена.

За время войны появились в печати следующие мои работы, не считая нескольких газетных заметок.

1. Лирика Лермонтова. «Литературное обозрение». М. 1941. № 12.
2. «Герой нашего времени». Вступительная статья к «Герою нашего времени». Гослитиздат Л. 1941.
3. Великий русский поэт (Державин) — «Ленинград». 1943. № 10.
4. Державин — «Костер». 1943. № 6.
5. Лучший поэт революции (Маяковский) под псевдонимом Л. Яковлева — «Ленинград». 1943. № 10.
6. Адмирал Лазарев и его ученики — «Костер». 1942. № 11–12.
7. Адмирал Макаров — «Ленинград». № 11–12.
8. О романе Толстого «Война и мир» — «Звезда». 1944. № 1.
9. Город Пушкина — «Ленинград». 1944. № 2*.

Отдельно предлагаю отчет о работе для радиовещания.

14. 3. 1944.

Лекторская работа

В настоящее время в качестве постоянного лектора Лектория горкома ВКП(б) веду лекторскую работу по пропаганде русской художественной литературы.

Мои основные темы — русские классики, в частности, русская классическая литература в применении к проблемам сегодняшнего дня. Например, «Война в изображении Льва Толстого», «Денис Давыдов — поэт и партизан», «1812 год в русской художественной литературе» и т.д.

Выступаю постоянно в госпиталях, воинских частях, на заводах.

Укажу некоторые наиболее ответственные лекторские выступления за последнее время:

* [В другом отчете:] № 6–7.

Вступительное слово к юбилейному пушкинскому вечеру для сотрудников НКВД (от Бюро пропаганды худ<ожественной> лит<ературы> Союза писателей).

Две лекции о Гончарове для постановочного коллектива пьесы «Обрыв» (по роману Гончарова). Помещение Михайловского театра.

Лекция о Герцене в Университете марксизма-ленинизма при Лектории Горкома ВКП(б).

Лекция «Народность в русской литературе» в стационаре Лектория Горкома ВКП(б). И др.

Укажу основные моменты работы на радио

В разное время вела циклы передач: «Чтение и продолжение», «Военный очерк», «Русские классики», «Слава русского оружия», «Литературно-музыкальные передачи» (литературный текст) и т.д.

По радио за время войны передавались написанные мною

I Очерки: «Адмирал Нахимов»

«Адмирал Лазарев и его ученики» (напечатано)

«Адмирал Макаров» (напечатано)

(в настоящее время заканчиваю для журнала «Костер» и Детского отдела Ленрадиокомитета очерк «Великие флотоводцы Ушаков и Нахимов»)

«Суворов»

«Капитан Скотт»

«Державин» (напечатано)

«Некрасов и русский народ»

«Рылеев»

«Петр Великий в творчестве Пушкина»

«Героические поэмы сербского и черногорского народа» и др.

II Вступительные слова — к произведениям Л. Толстого, Жуковского, Тургенева, Даля, Загоскина, Мордовцева, Кукольника и др.

III Композиции: «Идея защиты родины рождает героев»

«Украина»

<2> ГИНЗБУРГ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА **ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА ВРЕМЯ** **ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

Дополнительная информация: По представлению Союза писателей была награждена медалью «За оборону Ленинграда»².

Публикации

<...>

«Адмирал Ушаков» — «Костер». 1944. № 5

«Адмирал Нахимов» — «Костер». 1944. № 6

«Герцен и французская демократия» — заказано и принято ВОКСом для французской прессы.

«Герцен — создатель „Былого и дум“» — печатается в журнале «Звезда». 1945. № 2.

С начала войны была связана с Радиокomiteетом в качестве постоянного автора. Авторскую работу для литературно-драматического и детского отделов Радиокomiteета продолжаю и в настоящее время. С января 1942 г. по май 1943 г. состояла ответственным редактором Литературно-драматического отдела радиокomiteета.

Число литературных радиопередач, на которыми я в той или иной форме работала, достигает нескольких сотен.

В качестве редактора циклы <...>

Очерки

<...>

«Поэт русской старины» о А.К. Толстом. «Поэты пушкинской поры». О Крылове, Грибоедове, Багрицком и пр.

Литературно-музыкальные композиции (Литературный текст) «Украина», «Кавказ», «Героические традиции Красной армии», «Моряки не отступают», «Слава русского оружия», «Ленин в поэзии народов Советского союза», «Сталин в народном творчестве», «Сталинские соколы», «На поле Куликовом» и др.

Лекции. Выступления на вечерах Союза писателей, посвященных творчеству Баратынского, Герцена, Тынянова, Ахматовой (вступительное слово к творческому вечеру Ахматовой).

Научная работа: В 1943 г. мною написана работа о «Войне и мире» Толстого. В сокращенном виде в журнале «Звезда». На эту тему делала доклады в Ленинграде в Союзе писателей и в Толстовском музее в Москве, где была в командировке в июне 1944 г.

В настоящее время я работаю над книгой о Герцене, включенной в план Гослитиздата на 1945 г.

С декабря 1944 — докторант Ин-та литературы Академии наук СССР. Тема дисс: «Герцен и русская литература середины 19 века».

<3> АВТОБИОГРАФИЯ

ГИНЗБУРГ ЛИДИИ ЯКОВЛЕВНЫ

Родилась в 1902 г., в г. Одессе. Мой отец, инженер Я.М. Гинзбург, умер в 1910 г.³ Я воспитывалась на иждивении моего дяди и отчима инженера-химика М.М. Гинзбурга, работавшего на предприятиях пищевой промышленности (умер в 1934 г., в Детском селе). Моя мать Р.Д. Гинзбург — пенсионерка — умерла в 1942 г. в Ленинграде.

В 1920 г. я окончила в Одессе среднюю школу. В 1922 г. поступила в Ленинграде на словесное отделение Высших Государственных Курсов Искусствоведения Государственного Института истории искусств, которое окончила в 1926 г.

В 1926–1930 годах состояла научным сотрудником Государственного Института истории искусств и в те же годы, в качестве ассистента, на словесном отделении Высших Государственных курсов искусствоведения Института

истории искусств читала ряд курсов и вела семинары по истории русской литературы.

С 1930 по 1934 г.* преподавала на Рабфаке Института Гражданского воздушного флота, также в Высшей школе профдвижения (в должности доцента).

С 1932 г. занимаюсь лекторской работой. Работала по поручению ленинградских Городских и областных лекториев и Сектора художественной пропаганды Союза советских писателей. По поручению Сектора работы с начинающими писателями ССП вела литературные кружки на заводе «Красный Треугольник», на Оптико-механическом заводе и на других предприятиях.

С 1935 г. состою членом Союза советских писателей (на учете в Ленинградском отделении ССП). Печатаюсь с 1926 г. и имею свыше 50-ти** печатных работ***. Среди них работы, посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова, Белинского, Герцена, Л. Толстого. Принимала участие в работе «Библиотеки поэта», издательства «Советский писатель».

В 1940 г. при Ленинградском Государственном университете защитила, в качестве кандидатской диссертации, монографию «Творческий путь Лермонтова», в том же году изданную Гослитиздатом.

**** Во время Великой Отечественной войны безвыездно оставалась в Ленинграде. С начала 1942 г.***** по май 1943 г. работала штатным редактором Ленинградского Радиокomiteта; с мая 1943 г. — внештатным редактором. В качестве постоянного сотрудника Литературно-драматического отдела Ленрадиокomiteта продолжала работать до конца войны. Во время войны выполняла задания Союза советских писателей по чтению лекций в воинских частях и госпиталях.

По представлению Союза советских писателей награждена — в июне 1943 г. медалью «За оборону Ленинграда»; в апреле 1946 г. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»*****.

С 1944 г. по декабрь 1947 г.***** состояла в докторантуре Института литературы Академии наук ССР.

В 1944–1946 гг. состояла в должности доцента Института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии

* [В Автобиографии 2:]

1931–1935; [в Автобиографии 3:] 1931–1934.

** [Вписано:] ста (с мелкими)

*** [В Автобиографии 3:]

Принимала и принимаю участие в ряде коллективных историко-литературных начинаний. В работе «Библиотеки поэта» (в Б.П. мною изданы три книги), в подготовке академического издания сочинений Пушкина, в написании Истории русской литературы и Истории русской критики, издаваемых Академией Наук ССР, и Истории русской журналистики и критики, изданной Ленинградским Государственным университетом им А.А. Жданова.

**** [В Автобиографии 1.]

С начала 1930-х гг. систематически принимала участие в работе Ленинградского Радиокomiteта, в качестве автора литературных и историко-литературных передач Литературно-драматического и Детского отделов

***** [В Автобиографии 2:]

С января 1942; [в Автобиографии 3:] С конца 1941.

***** [В ответах на вопросы для справочника «Писатели Ленинграда» Гинзбург упоминает другие свои медали: «XXX лет победы в Великой Отечественной Войне», «В память 250-летия Ленинграда», «Ветеран труда».]

***** [В Автобиографии 3:]

по январь 1948 г

художеств и на факультете теории и истории искусств читала курсы по истории русской литературы и русских эстетических учений.

В 1948–1950 гг. на Филологическом факультете Ленинградского Государственного университета имени А.А. Жданова читала специальные курсы и вела спецсеминар (творчество Лермонтова и Герцена), работая на почасовой оплате.

В 1947–1950 гг.* состояла доцентом кафедры литературы Карело-финского государственного университета. В звании доцента утверждена Высшей аттестационной комиссией в 1949 г. Ушла из К-ФГУ ввиду невозможности для меня переехать из Ленинграда в Петрозаводск на постоянное жительство. Работая в Петрозаводске, являлась членом редакционной коллегии «Ученых записок» Карело-финского Государственного университета, действительным членом Республиканского общества по распространению научных и политических знаний.

С 1950 г. являюсь действительным членом Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.

В последние годы работаю над творчеством Герцена. Ленинградским отделением Гослитиздата принята к печати моя книга о «Былом и думах» Герцена. Принимаю участие в подготовке тридцатитомного академического издания сочинений Герцена. Мною подготовлена большая часть текстов и написана большая часть комментариев первого тома этого издания (вышел в 1954 г.). Являюсь рецензентом пятого и шестого томов. Составила комментарий к ряду произведений, входящих в седьмой том. Принимаю также участие в подготовке текста и комментировании избранных сочинений Герцена, издаваемых Гослитиздатом.

Участвую в посвященном Герцену–Огареву трехтомнике «Литературного наследства».

Книга о «Былом и думах» написана на основе диссертации «Творчество Герцена в 1830–1850-х годах»**; работа над этой диссертацией в настоящее время закончена, и она может быть представлена мною на соискание степени доктора филологических наук.

15 апреля 1955.***

* [В Автобиографии 2.]

С осени 1947 занимаю должность доцента (принята по конкурсу).

** [В Автобиографии 2.]

«Герцен и русское литературное движение 1830–1850-х годов».

*** [Позднейшая приписка:]

В 1957 выпущена Гослитиздатом монография «„Былое и думы“ Герцена». В 1958 защищена в качестве диссертации.

ЭМИЛИ ВАН БАСКИРК **ЛИЧНЫЙ** **И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ** **В БЛОКАДНОЙ ПРОЗЕ** **ЛИДИИ ГИНЗБУРГ**

Читателю «Записок блокадного человека» предоставляется возможность воплотиться в одинокого интеллигента, с трудом передвигающего тело по городским поверхностям или подслушивающего разговоры окружающих в бомбоубежищах и хлебных очередях. Даже описывая свои собственные воспоминания и ощущения, Л.Я. Гинзбург выделяет в них наиболее универсальные аспекты блокадного существования. Она отказалась от повествования от первого лица, предпочтя выдвинуть в центр фигуру «суммарного и условного» героя. Продолжая давнюю традицию русской прозы, представленную, в частности, «Героем нашего времени» и «Записками из подполья», Гинзбург описывает своего героя как «типичного представителя» социальной группы: «Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммарный и условный (поэтому он именуется Эн), интеллигент в особых обстоятельствах» (с. 311).

Работая над «Записками...», Гинзбург широко использовала свои наблюдения над окружающими — текст повествования воспроизводит (почти в буквальном смысле этого слова) реальные высказывания реальных людей. Книга, которая предлагается вниманию читателей, полна непосредственными свидетельствами ее упорного стремления документировать и исследовать психологические установки и поведенческие реакции блокадников (см., в особенности, «Слово», «Записки 1943–1945 годов» и вторую часть «Записок...»). В то же время Гинзбург вложила в портрет типичного блокадника и итоги многолетней рефлексии над собственными меняющимися на протяжении блокадных лет физиологическими ощущениями, переживаниями, восприятием города. Чем настойчивей Гинзбург повторяет, что ее повествование собрано из рассказов различных людей и что опыт Эн не совпадает с ее собственным, тем отчетливей у читателя создается впечатление, что она имплицитно признает существование в тексте автобиографического измерения.

В ранних черновиках произведения, известного сегодня как «Записки блокадного человека», Гинзбург пыталась отделить себя от героя

с помощью разнообразных нарративных рамок. Так, например, в наброске 1960-х годов она сделала между двумя разделами текста следующую вставку:

Два нижеследующих психологических эпизода рассказаны были мне двумя людьми, ничего не знавшими друг о друге. Оба эпизода изложены мною условно (первый — кратко, второй — пространно) в виде связно построенных признаний. Они изложены мною, и потому, вероятно, эти повествования приобрели сходство друг с другом и со всем прочим, что написано мною о блокаде¹.

Деля эту запись, Гинзбург хотела предстать перед читателем в качестве своего рода опосредующего звена, воспроизводящего свидетельства, принадлежащие различным и незнакомым между собой людям. Потом она отказалась от этой уловки, может быть убедившись, что герои обоих эпизодов (составивших, соответственно, очерк «Оцепенение» и первую часть «Записок блокадного человека») слишком похожат друг на друга. В еще более ранних блокадных набросках, сделанных в 1940-е годы, оба они к тому же носят одно и то же имя Оттер, которое в прозе Гинзбург имеет отчетливые автобиографические коннотации. Но в последней редакции «Записок блокадного человека» Гинзбург сохранила ту же нарративную стратегию — ее автобиографический опыт оказался распределен между многочисленными героями, центральным из которых стал «суммарный» интеллигент Эн, в которого она вложила и некоторые свои наблюдения над окружающими.

Вопрос о жанре «Записок...» во многом определил их восприятие читателями, познакомившимися с повествованием по первой, сокращенной, публикации 1984 года в журнале «Нева». Многие предпочли обратить внимание на одни аспекты текста в ущерб другим и зачислили «Записки...» в разряд мемуарной литературы. Даже самые беллетризованные фрагменты этого повествования историки традиционно рассматривают в качестве источника сведений о жизни в блокадном Ленинграде, в частности об изменении гендерных ролей, читательских практиках и способах приготовления пищи². Несомненно, такого рода эффект «документальности» также входил в намерения Гинзбург «показать... блокадное бытие», и она могла бы быть довольна подобным признанием исторической цен-

1 О различных версиях этой записи и ее месте в композиции ранних редакций «Записок блокадного человека» см. статью «„Записки блокадного человека“: история текста» в наст. изд., с. 550–551.

2 Синтия Симмонс и Нина Перлина используют книгу Гинзбург в качестве главного примера, на котором они основывают свое понимание авторе-

презентации блокадной женщины (*Simmons C., Perlina N. Writing the Siege of Leningrad: Women's Diaries, Memoirs, and Documentary Prose. Pittsburgh, 2002. P. xxxi*), Лиса Киршенбаум показывает, как воспоминания Гинзбург соответствуют свидетельствам других очевидцев (*Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995. Cambridge, 2006 P. 27–29, 42–43, 46, 182*).

ности своих свидетельств. Однако в то же время, как показывает, в частности, процитированное нами вступление, Гинзбург писала свои «Записки...», прежде всего, как художественное произведение. Своего рода процесс беллетризации заключался для нее в таком просеивании и генерализации автобиографического опыта, который позволил бы ему обрести репрезентативность. Именно это делало ее свидетельства столь привлекательными для историков.

«Записки...» побуждают читателя воспринимать их одновременно и как автобиографию, и как художественную прозу. В настоящей статье речь пойдет о жанровом эксперименте Гинзбург, как он реализовался в написанных в 1940-е годы первых набросках произведения, ставшего потом известным как «Записки блокадного человека», а также в других своих прозаических опытах того же времени. Ее техника письма включала в себя вырезание и переклеивание фрагментов текста, перенос текстовых массивов из одного сочинения в другое. Пожалуй, наиболее отчетливое представление о техниках фикционализации опыта, к которым прибегает Гинзбург, можно получить, сравнив сходные описания из новообнаруженного «<Рассказа о жалости и о жестокости>» и печатной версии «Записок...», давно известной читателю.

Прежде чем обсуждать работу Гинзбург над «Записками...», полезно напомнить об обстоятельствах, обусловивших их восприятие первыми читателями как произведения по преимуществу мемуарного жанра. Прежде всего публикация «Записок...» в советской печати во многом стала возможной благодаря успеху «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, вышедшей со значительными цензурными купюрами в Москве в 1979 году, но не разрешенной к публикации в Ленинграде вплоть до 1984 года³. Целью авторов было познакомить читателей с «подлинным» опытом блокадников, и их труд представляет собой историческое исследование жизни в условиях блокады, осуществленное на основании многочисленных интервью, проведенных авторами в 70-е годы и дополненных отрывками из дневников и писем блокадных лет. На этом фоне «Записки...» при всем их несходстве с «Блокадной книгой» также были восприняты как воспоминания уцелевшего блокадника, сумевшего собрать аналогичные свидетельства современников⁴. Подобно исследованию Гранина и Адамовича, «Записки...»

3 «Блокадная книга» вышла в Москве в 1979 и 1982 годах. Как пишет А. Блюм, она была отвергнута всеми ленинградскими журналами (см. Блюм А. Как это делалось в Ленинграде: Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, 1953–1991. СПб., 2005. С. 167). Подробную историю репрезентации блокады в литературе, музейных экспозициях и мемориальных сооружениях см.: *Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad. 0* формах неофициаль-

ной, групповой и личной, памяти о блокаде см.: Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / Под ред. М.В. Лоскутовой. М., 2006. 4 В рецензии И. Грековой (Е. Вентцель) книга Гинзбург прямо связывается с трудом Д. Гранина и А. Адамовича. «Не так давно мы прочли замечательную „Блокадную книгу“ А. Адамовича и Д. Гранина — потрясающий свод дневников, документов и живых свидетельств <...> И вот перед нами еще одно произведение,

подрывали многие официальные мифы, подчеркивали моральную проблематичность многих сторон блокадного опыта и освещали повседневный быт ленинградцев.

Не в меньшей степени чем литературный фон на восприятии книги сказала репутация самой Гинзбург. Несмотря на то что к моменту первой публикации «Записок...» ей было почти 82 года, для многих читателей она являлась «новым именем» — именно таким курьезным образом она была обозначена в оглавлении журнала.

Между тем Лидия Гинзбург писала прозу всю жизнь, начиная с 1920-х годов, когда она создала свои первые записные книжки. Однако на протяжении шести десятилетий ее прозаические опыты скапливались в ящиках ее письменного стола. Все эти годы она зарабатывала на жизнь литературоведческими исследованиями и успела опубликовать более ста научных работ. На первых порах ее проза не могла не оказаться в тени ее обширного научного наследия. До сегодняшнего дня многие рассматривают ее в первую очередь как ученого. Впрочем, для другой части читателей Гинзбург (в том числе и для составителей настоящей книги), склонных придавать большее значение ее прозе, ее литературоведческие работы оказываются интересны едва ли не прежде всего как скрытая рефлексия прозаика по поводу собственного творчества, которая может служить своего рода ключом к ее эстетическим принципам и ее литературным источникам от Руссо до Герцена, Толстого и Пруста⁵.

Гинзбург внимательно следила за откликами на «Записки...», которые сразу же приобрели значительную популярность в России и были переведены на многие иностранные языки⁶, и, возможно, пыталась угадать будущую читательскую реакцию на появление в печати других своих неопубликованных произведений:

Литературоведение ходит за мной по пятам. Любопытно, что обрывки моей прозы, поступающие в печать, сразу определяют по принадлежности. Тынянов во цвете лет из литературоведа стал романистом — это понятно. Но когда на девятом десятке пожизненный литературовед вдруг начинает изъясняться прозой, этого просто не замечают. Есть, конечно, заметившие; многие из них были подготовлены, зная, что я пишу также в стол.

казалось бы, на ту же тему, но написанное совершенно в другом ключе. Это „Записки блокадного человека“...» (Грекова И. Проза ученого // Октябрь. 1985. № 2. С. 203–205).

5 Говоря об эссе Пруста о Толстом, Гинзбург заметила: «Вероятно, главное здесь для Пруста — скрытая самохарактеристика (как это часто бывает при оценке писателя писателем), стремление проецировать на

Толстого собственную концепцию соотношения чувственной конкретности и „интеллектуальной конструкции“» (Гинзбург 1997. С. 370).

6 Голландский перевод появился в 1988 году (переводчик Ян Роберт Браат). Два английских — в 1990-м (Джералд Микелсон и Маргарет Уинчелл) и 1995-м (Алан Майерс). Французский перевод был опубликован в 1988-м (Кристьян Буржуа), шведский — в 1999-м (Карин Грельц).

Е.С. Вентцель из числа заметивших, высоко ценящих, но и она поместила рецензию на «Записки блокадного человека» под заглавием «Проза ученого»⁷. Каверин написал мне о поразительной физиологической точности, «не мешающей, как это ни странно (курсив мой) художественности восприятия».

Особенно настойчиво стремление зачислить это произведение по части мемуаров, несмотря на очевидную немемуарность ведущего персонажа. Еще на днях на собрании Секции критиков и литературоведов Нинов назвал «Записки» мемуарно-документальной прозой. Назвать это просто прозой противоречило бы общественному статусу автора.

2.10.85⁸

Как показывают многие ее размышления, Гинзбург с болезненной отчетливостью представляла себе, в какой степени социальный статус и публичный образ автора определяют восприятие им написанного (и наоборот), и потратила много сил и времени на подробный анализ этого механизма. Она видела, как ее репутация литературоведа и возраст побуждают читать ее прозу как мемуарную, не позволяя увидеть в ней «просто прозу». Отзыв Каверина мог вызывать у нее беспокойство, поскольку имплицитно ставил под сомнение столь важную для нее мысль о художественном потенциале «научной точности». Интересно, что среди обстоятельств, определивших восприятие ее книги, Гинзбург не упомянула «гендерный фактор» — между тем он также мог существенно сдвинуть жанровые ожидания читательской публики в сторону «мемуарности»⁹.

Как читаются «Записки блокадного человека» сегодня? Понимаем ли мы их как мемуары, историческую беллетристику, эссеистику или опыт в каком-то гибридном жанре, еще не получившем своего названия? Вопрос этот может быть распространен на всю прозу Гинзбург, сочетающую в себе различные жанровые и дискурсивные модусы. Эта проза так плохо поддается жанровым определениям именно потому, что при всех признаках автобиографического письма она совершенно лишена характерной для этого типа повествования сосредоточенности на личности автора. Дело здесь не только в том, что Гинзбург фокусирует свое внимание на других.

7 См. примеч. 4

8 Текст, находящийся в папке с машинописными записями 1970–1980-х годов, как и все остальные цитаты из неопубликованных записей и сочинений Гинзбург за исключением специально оговоренных случаев приводятся по: ОР РНБ. Ф. 1377 (фонд находится в обработке).

9 Записи Гинзбург и рассказы ее друзей свидетельствуют о том, что она хотела, чтобы ее произведения сопоставлялись

с книгами ее литературных учителей — Вяземского, Толстого, Пруста и Герцена, но не с воспоминаниями таких ее современниц-мемуаристок, как Надежда Мандельштам, Лидия Чуковская и Нина Берберова. Скептические отзывы Гинзбург о воспоминаниях Н. Берберовой и Н. Мандельштам см.: *Гинзбург 2002* С. 273 («Перечитываю N .» — оригинальная машинописная редакция этой записи 1980-х годов позволяет установить, что речь идет о Н. Берберовой), 421 (о «Второй книге» Н.Я. Мандельштам)

Важнее, что и тогда, когда она говорит о своем собственном опыте, она сознательно отодвигает его сугубо индивидуальное (раритетное¹⁰) измерение, уделяя основное внимание чертам, общезначимым в историческом и социальном отношении¹¹.

В процитированном высказывании Гинзбург называет свои произведения «просто прозой», прибегая к категории достаточно неопределенной, чтобы она подошла и для художественной, и для документальной литературы. Это нарочито туманное обозначение напоминает о ее устойчивой привычке называть свои сочинения «записками» — в подражание Герцену, именно таким образом охарактеризовавшему «Былое и думы»¹². В сборнике «Человек за письменным столом» многие свои «записки» она поместила в раздел «эссе», отделив их от «воспоминаний» и «повествований»¹³. Жанровое определение «повествование» представляет особый интерес — именно так называется в книге раздел, в который (наряду с тремя другими текстами — «Возвращение домой», «Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли») вошли «Записки блокадного человека».

В этих несколько более обширных сочинениях отчетливо присутствует своего рода «романический» аспект. Есть свидетельства, что Гинзбург первоначально планировала свести ранние редакции некоторых или всех этих «повествований» в единое произведение¹⁴. Характеризуя их жанровую природу, она отмечала: «... вещи, которые я ощущаю и определяю как повествования, — это что-то стоящее между романом, повестью и эссеистикой»¹⁵.

Границы между документальной (мемуары, дневники, автобиографии, письма) и художественной (романы) литературой Гинзбург рас-

10 В одной из своих записных книжек Гинзбург, например, пишет: «Что касается меня, то, при всем моем здравомыслии, и я оказываюсь в некоторых отношениях чересчур раритетным человеком для литературы» (записная книжка 1928 года: ОР РНБ. Ф. 1377. Ед. хр. 26 Л. 59)

11 Гинзбург 2002. С. 60. Подробней об этом см.: Ван Баскирк Э. «Самоотстранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л.Я. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 261–281.

12 О намеренных неточностях Герцена Гинзбург пишет в книге «О психологической прозе» (Гинзбург 1977. С. 247).

Термин «записки» также связан с традицией «записных книжек». Образцом для Гинзбург в этом жанре был Вяземский.

13 В неопубликованной записи 1974 года Гинзбург называла «О психологической прозе» своей единственной книгой. По-

видимому, «книга» была для нее еще одним расплывчатым жанровым обозначением опыта «промежуточной литературы». «Все же „О психологической прозе“ — единственная моя книга, к которой я действительно хорошо отношусь. Потому что это моя единственная книга. А „Лирика“ — это еще литературоведение. Хорошее, но литературоведение. То, чего я не хочу. А оно не отпускает; должно быть и не отпустит — пока смогу работать».

14 В бумагах Гинзбург сохранилось несколько планов, сводящих ее «повествования» в единое целое. Ряд из них находится в папке «Дом и мир», другие — на внутренней стороне задней обложки записной книжки «1943», еще некоторые — на разрозненных листах среди рукописей блокадного времени. Большая часть этих планов относится к 1930–1940-м годам.

15 Из интервью с Людмилой Титовой (Смена. 1988. 13 ноября).

сматривала как подвижную и исторически детерминированную. В то же время она считала необходимым исходить из интенции автора. В книге «О литературном герое» она утверждала, что автобиография, предложенная автором читателю в качестве романа, должна читаться как роман. С ее точки зрения, несложный текстовый маркер, вроде вымышленного имени, способен переместить произведение всецело в беллетристическую сферу — например, именно такую функцию выполняет, с ее точки зрения, имя Стефана Дедалуса в «Портрете художника в юности» Джойса или имя Багрова в «Семейной хронике» Аксакова¹⁶. Напротив того, большая часть писем, дневников и мемуаров ориентирована (вне зависимости от меры достоверности сообщаемых там сведений) на воспроизведение подлинного опыта автора, поэтому читатель, по мнению Гинзбург, имеет право поверять сообщаемые ему сведения внетекстовым материалом. Существуют также тексты, прежде всего псевдоавтобиографические романы от первого лица, сознательно спутывающие жанровые ожидания читателей.

В «Записках блокадного человека» само появление вымышленного Эн вроде бы выводит текст из автобиографической сферы. И в то же время противоречащая этой тенденции установка на подлинность проявляется и в артикулированном намерении Гинзбург приобщить нас к реальности блокадного существования, и в периодическом переводе повествования в первое лицо, и в дословном совпадении фрагментов текста с отрывками из литературоведческих работ автора¹⁷. Вместо сотворения полноценного романного мира, населенного вымышленными героями, она пытается создать «вторую действительность» с помощью анализа и рефлексии¹⁸. Гинз-

16 См.: Гинзбург 1979. С. 11–12. Идеи Гинзбург во многих отношениях соответствуют концепциям современных ученых, стремящихся определить природу различия между художественным и документальным повествованиями (вроде психоаналитических записей З. Фрейда). Доррит Кон (со ссылкой на Роберта Шолеса) дает лапидарную формулировку одной из мыслей Гинзбург, по которой документальная литература обладает высокой степенью референциальности и предполагает процедуру верификации со стороны читателя: «Референциальное повествование верифицируемо и незавершено, в то время как неререференциальное — неверифицируемо и завершено» (см.: *Cohn D. The Distinction of Fiction. Baltimore, 1999. P. 16*). Решающим фактором для Гинзбург, и для Кон оказывается авторское намерение, которое они выявляют на основе соответствующих текстовых маркеров, т. е.

использования местоимений первого или третьего лица, реальных или вымышленных имен персонажей и проч.

17 Теория диалога, изложенная в «Записках..» (с. 335), в слегка измененном виде вошла в ее книги «О психологической прозе» (1977), «О литературном герое» (1979) и статью «Устная речь и художественная проза» (Семиотика устной речи: Лингвистическая семантика и семиотика. Вып. II. Тарту, 1979). См.: *Зорин А. Проза Л.Я. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века // Новое литературное обозрение 2005. № 76. С. 54–55.*

18 То же стремление характерно, по мнению Гинзбург, для герценовских мемуаров: «„Былому и думам“ присущ огромный эпический размах повествования, но в этом произведении между объективным миром и авторским сознанием нет средостения фабулы. Вместо „второй действительности“, со спрятанным в ее недрах автором, — прямой разговор о жизни, авторские

бург начала использовать этот подход в 20-е годы, когда, сомневаясь в исторической жизнеспособности художественного вымысла, она искала свой путь в мир литературы, центром которого были для нее Шкловский и Пруст. Она чувствовала в себе склонность к автобиографическому жанру, ограниченную, однако, целым рядом препятствующих этой склонности факторов: природной сдержанностью, отсутствием интереса к собственным интимным переживаниям и более выраженным желанием писать о других¹⁹. Идея выдумывать персонажей и населять ими вымышленный мир не привлекала ее: «Выдуманные люди и ситуации <...> внушают мне некоторое отвращение»²⁰. Именно за способность преодолеть «поддельную реальность персонажей» Гинзбург ценила Пруста, заменившего претензию изображать жизнь передачей размышлений о жизни²¹. Мемуарная форма привлекала ее большим приближением к «реальности», но отталкивала неизбежная фальшь разговора о времени, «охлажденного воспоминанием»²². Отсюда стремление Гинзбург писать не беллетристику и не мемуары, но нечто, находящееся между ними, для чего почти невозможно было найти определение: «Если бы — не выдумывая и не вспоминая — фиксировать протекание жизни... <...> В переводе на специальную терминологию получается опять не то: роман по типу дневника или, что мне все-таки больше нравится, — дневник по типу романа»²³.

Есть глубокая ирония в том, что писатель, отвергавший мемуары из-за свойственного им описания уже отошедшего времени, оказался вынужден полвека ждать публикации своей прозы. Эта задержка сказалась не

суждения, открыто и непосредственно направленные на жизненный материал» (Гинзбург 1977 С. 249)

19 «Я совершенно лишена этой возможности (писать свою биографию. — Э.В.Б.); отчасти из застенчивости, которую можно было бы преодолеть, если бы это было нужно; отчасти из соображений, которые, вероятно, не нужно преодолевать» (Гинзбург 2002. С. 400). Запись сделана в записной книжке 1928 года, в рукописи она связана с другой записью, напечатанной самой Гинзбург и посвященной той же теме, — «В литературе меня не занимают раритеты...» (Там же. С. 60–61).

20 Из набросков, связанных с «Заметками о прозе» (ок. 1934). В этой же подборке набросков есть запись с зачеркнутой фразой: «Есть форма рассказа, в широком понимании, — то есть выдуманной истории, — невозможная сейчас, потому что неизвестно зачем и как выдумывать».

21 В 1933 году Гинзбург писала: «Удовлетворительнее всего Пруст, потому что

у Пруста вместо изображения человека — изображение размышлений о человеке. Нет поддельной реальности персонажей. Вместо якобы объективных диалогов — экспериментальные образчики речи; не изображаемой, но цитируемой — при комментарии психологическом, социологическом, почти лингвистическом» (записная книжка 1933 года: ОР РНБ. Ф. 1377. Ед. хр. 39. Л. 20).

22 Ср: «Если объективному повествованию угрожает условность пространства, то для повествования мемуарного — опасность скорее в ложном времени. Время, охлажденное воспоминанием... отодвинутое от человека. И самый человек — тоже, может быть, ложный, или, по крайней мере, двусмысленный; ведь неизбежно, как он переживает жизнь — как теперь или как тогда. Быть может, для нашей жажды реального нужна динамика историческая и вместе с тем поступательная» (Гинзбург 2002. С. 142).

23 Там же.

только на репутации «Записок...», но и на самом повествовании, которое Гинзбург пришлось неоднократно перерабатывать. При первой публикации она стремилась избежать впечатления, что книга написана в 1980-е годы, и выставила под текстом тройную дату: 1942–1962–1983²⁴. Оставалось неясным, когда именно были созданы те или иные фрагменты текста и имеет ли авторская датировка реальный или символический смысл.

В позднейшем интервью Гинзбург подробней охарактеризовала намеченные ею этапы своей работы над текстом: «В 1942 году, когда стало полегче, я начала записывать факты, разговоры, подробности блокадной жизни — заготовки для неопределившейся еще будущей работы»²⁵. Рукописи, которые публикуются в настоящем издании, свидетельствуют, что, помимо начавшейся в 1942 году фиксации «фактов, разговоров и подробностей», Гинзбург еще и написала начерно (скорее всего в 1943–1945 годах) «<День Оттера>» — вполне целостное, хотя и незавершенное и неотделанное повествование об одном суммарном дне из жизни блокадника весны-лета 1942 года. Тем не менее композиционное оформление текста Гинзбург относит к 1960-м годам, давая понять (хотя и не утверждая этого прямо), что обобщенный герой, определяющий структуру повествования, также возник в эти годы:

В 1962 году я, наконец, связала свои заготовки в единое повествование. Для повествования не обязателен вымысел, обязательна структурность, организация материала. В данном случае организация достоверных и точных фактов открыла дорогу вымыслу — в виде условного и суммарного героя, нужного для скрепления и развертывания материала²⁶.

В 60-е годы Гинзбург переименовала Оттера в Эн, перестроила и сократила свои первоначальные наброски и переработала свои философские размышления, соотнеся их с вошедшими в моду идеями французского экзистенциализма. В своем интервью Гинзбург не раскрывает, в чем заключалась ее работа над текстом в 1983 году, пояснив лишь, что с появлением возможности опубликовать «Записки...», открывшейся после выхода «Блокадной книги» Гранина и Адамовича, она осуществила окончательную редактуру.

В архиве Л.Я. Гинзбург сохранилось повествование, которое публикуется здесь под названием «Рассказ о жалости и о жестокости». Фрагменты, составляющие это произведение, находились в папке вместе с черновиком «За-

24 Тройная датировка появилась при публикации в «Неве» в 1984 году. При последующих публикациях Гинзбург не меняла дат, хотя и вносила в текст изменения при подготовке сборников «Человек за пись-

менным столом» (1989) и «Претворение опыта» (1991).

25 Из интервью с Г. Силиной (Литературная газета. 1986. 15 января)

26 Там же.

блуждения воли» и ошибочно принимались за один из вариантов этого текста. Вероятней всего, о существовании этого произведения никому не было известно²⁷. Параллели к «<Рассказу...>» можно найти в «Записках...», но существенных пересечений между обоими повествованиями нет. Вероятно, Гинзбург не ввела эту историю в свой публичный рассказ о блокаде, поскольку опасалась всего, что могло хотя бы отчасти выглядеть как исповедь или не соответствовать ее представлениям о подобающем «охвате изображаемого»²⁸. Эп, составной герой «Записок...», был для нее, скорее, окном в мир других, своего рода ступком блокадных впечатлений и ощущений, чем автобиографической проекцией.

«<Рассказ о жалости и о жестокости>» посвящен психологической драме, разворачивающейся в маленькой блокадной семье. Оттер, человек средних лет, и живущая с ним «Тетка» яростно ссорятся, пока тетка умирает от дистрофии. Имя «Оттер», вероятно, представляет собой транслитерацию французского «l'autre» (другой) или, возможно, «l'auteur» (автор)²⁹ и обозначает своего рода *alter ego* Гинзбург, которая постоянно использовала его (в основном в аббревиатурах От. и О.) в своих автобиографических сочинениях 1930–1940-х годов³⁰. Оттер время от времени появляется и в записных книжках, в том числе в эссе «Неудачник» (в ранней редакции — «Итоги неудач»), содержащем многочисленные реалии автобиографического характера³¹.

Ретроспективное повествование «<Рассказа...>» хотя и ведется от третьего лица, в действительности исходит из точки зрения Оттера. Он пытается разобраться в собственном душевном состоянии после смерти тетки, чтобы разорвать парализующую его цепь чувства вины и раскаяния, и в результате воссоздает детальную картину своих отношений с теткой в последние месяцы ее жизни. Все это напоминает психологический анализ, где Оттер выступает в роли собственного психотерапевта. В этом анализе герой (или автор) не пользуется концептуальным аппаратом фрейдизма,

27 Никто из друзей Гинзбург, у которых мне довелось брать интервью, не знал о существовании этого произведения. Лидия Яковлевна была вообще очень скупа на подробности о своих домашних обстоятельствах. Так, например, даже ее близкому другу и распорядителю ее архива Александру Кушнеру не были известны имена ее родителей.

28 Гинзбург 1977. С. 204.

29 См.: Зорин А. Проза Л.Я. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века. С. 64; Ван Баскирк Э. «Самоотстранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л.Я. Гинзбург С. 273

30 С явной проекцией на «Войну и мир» Толстого Гинзбург озаглавила большое

произведение, которое она собиралась написать или в которое планировала свести большинство своих повествований, — «Дом и мир».

31 См., например, упоминание о работе героя над юбилейными статьями (с. 174), в которых угадываются две статьи Гинзбург о Лермонтове, написанные в 1941 году к столетней годовщине его смерти: «Лирика Лермонтова» (Литературное обозрение. 1941. № 12. С. 50–61) и «Герой нашего времени» (Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / Под ред. Б.М. Эйхенбаума. Л., 1941. С. 207–229). Кандидатская диссертация Гинзбург «Творческий путь Лермонтова» была опубликована отдельной книгой в 1940 году.

скорее он ближе к посттравматической терапии, предложенной на рубеже веков французским психиатром Пьером Жане³². В то же время свойственные Оттеру аналитизм и рефлексия начисто исключают какую-то возможность «клинического отрицания» (denial) собственных проблем и жизненной ситуации, часто свойственного пациентам, подверженным посттравматическому синдрому.

Упорное стремление Оттера восстановить полную картину случившейся трагедии сообщает повествованию сюжетную динамику, которая не нарушается философскими отступлениями. Сравнительно с «Записками...» и в еще большей степени с «<Днем Оттера>» повествование развивается быстро — даже навязчиво возвращаясь к одним и тем же сценам и темам, Оттер пытается выйти из-под их власти, вырваться из круга овладевших им эмоций.

Несмотря на все попытки Гинзбург избежать автобиографизма повествования, в частности за счет введения в его смысловой центр вымышленного персонажа, читатель, знакомый с обстоятельствами ее жизни, не может не проецировать их на текст «<Рассказа...>».

Сама Гинзбург неизменно была подчеркнуто сдержанной во всем, что касалось ее личной жизни, однако ее племянница (дочь брата) Наталья Викторовна Соколова, которая и сама была писательницей, сохранила для нас многие подробности жизни Лидии Яковлевны в своей яркой и откровенной «семейной хронике»³³. Целый ряд деталей «<Рассказа...>» находит в написанной ею семидесятистраничной биографии Гинзбург документальное подтверждение.

Прежде всего воссоздадим в памяти фабульную канву «<Рассказа...>». У его старшей героини, «Тетки», есть два племянника, старший V. и Оттер, а также внуки. Поскольку дети тетки в тексте не упомянуты, приходится предположить здесь своего рода проговорку — понятно, что детям племянников она приходилась бы двоюродной бабушкой. (Другой такой проговоркой, по-видимому, является отчаянная жалоба тетки: «всё материнство проклятое».) V. описан в «<Рассказе...>» как «человек устной культуры», живущий вне блокадного Ленинграда и время от времени посылающий туда деньги. Однако ответственность за тетку всецело лежит на Оттере. Во время блокады они живут вместе, и полное несходство характеров служит

32 См. с. 53, где Оттер сам определяет себя в третьем лице как «психолога»: «В затмении злобы и эгоизма он (психолог!) не хотел понять...» О трактовке травмы у Жане см.: *Kolk B. van der, Hart O. van der. The Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma // Trauma: Explorations in Memory / Ed. by C. Caruth. Baltimore, 1995. P. 158–182.*

33 Лидия Гинзбург, родня, знакомые: Материалы к биографии: РГАЛИ. Ф. 3270 (Соколова). Оп 1 Д. 27 Наталья Соколова опубликовала два фрагмента своей автобиографии — «Драматург дергает занавес» и «Гимн формалистов» (Вопросы литературы. 1994. № 5. С. 285–292).

одним из катализаторов их бесконечных ссор. Оттер испытывает постоянное раздражение из-за безответственности, легкомыслия и асоциальности тетки, дамы из разорившейся буржуазной семьи.

В характере тетки отчетливо угадывается прототип — Раиса Давидовна Гинзбург (урожденная Гольденберг), мать Лидии Яковлевны, скончавшаяся в ноябре 1942 года в Ленинграде от последствий дистрофии³⁴. Раиса Давидовна выросла в состоятельной еврейской семье, разорившейся примерно ко времени ее брака с Яковом Моисеевичем Гинзбургом³⁵. Она никогда не работала, жила сначала на иждивении мужа, химика, успешно трудившегося в винокуренной индустрии, после его смерти в 1909 году — на иждивении его брата, Марка Моисеевича (ум. 1934), продолжившего после смерти Якова Моисеевича вести его лабораторию, а после революции работавшего, по словам Н. Соколовой, «по специальности на государственной службе»³⁶, и, наконец, в последние годы жизни — на иждивении своих детей Виктора и Лидии³⁷. Наталья Соколова считала, что именно легкомыслие составляло главную черту характера ее бабушки: «Главное в бабушке Раюшке — она была легкая. Бабушка-бабочка. Бабушка-мотылек»³⁸. Контраст между личностями матери и дочери производил на окружающих комическое впечатление. Как написала Соколова: «Один из Люсиных друзей сказал про Раису Давидовну и Люсю: Курица высидела орлиное яйцо»³⁹.

Брат Гинзбург Виктор Типот (р. 1893) был на десять лет старше сестры. (Его ставший фамилией псевдоним происходил от английского прозвища «начальник».) Он был преуспевающим драматургом, примерно в 1922 году перебравшимся из Одессы в Москву. Во время действия рассказа у него были дочь (Наталья Викторовна) и маленькие внуки⁴⁰. Судя по письмам, временами, откликаясь на настояния сестры, он посылал деньги матери.

34 В тексте «<Рассказа...>» тетка еще жива поздним летом 1942 года, а время ее смерти не обозначено. В бумагах Гинзбург сохранилась квитанция на перевод 800 рублей, посланных 22 декабря 1942 года Натальей Викторовной (Атой) Соколовой из Чистополя, где она находилась в эвакуации, с запиской «Люся (Люсей называли Лидию Яковлевну ее родственники и близкие. — Э.В.Б.), дорогой друг, узнали о смерти бабы, очень это грустно. И так трудно прошли посл. месяцы ее жизни. Надеемся, что ты здорова. Написала бы хоть пару слов о себе. Мама шлет привет Ата» В официальной автобиографии Гинзбург писала: «Моя мать Р.Д. Гинзбург — пенсионерка — умерла в 1942 г. в Ленинграде» (см. с. 503). Месяц ее смерти указан в изд. «Блокада, 1941–1944: Книга памяти СПб, 1999. Т. 6

35 РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Д. 27. Л. 2–4

36 Там же. Л. 3.

37 Там же. Л. 2–6, 43

38 Там же. Л. 6

39 Там же.

40 У Натальи Викторовны был сын Алексей от ее первого брака с Константином Симоновым. Затем она вышла замуж за Павла Илларионовича Соколова, который погиб на фронте. Ее второй сын Павел Павлович Соколов родился в эвакуации в Чистополе (см. вступление к автобиографии Соколовой в РГАЛИ). Перед началом войны Типоты строили дачу во Внуково под Москвой, где Р.Д. Гинзбург жила незадолго до начала блокады. Запись ее разговора с дочерью об этой даче см. на с. 115 наст. изд.

Однако основные заботы о Раисе Давидовне приходились на Лидию Гинзбург. С начала 1930-х годов мать жила у нее в коммунальной квартире на канале Грибоедова (д. 24, кв. 5)⁴¹.

В бумагах Соколовой еще немало соответствий тексту «<Рассказа...>»⁴² и других повествований Гинзбург. Так, в «Заблуждении воли» речь идет о чувстве вины и раскаянии, вызванном смертью родственника, в описании которой узнаются обстоятельства кончины в 1934 году в Царском Селе Марка Моисеевича Гинзбурга, дяди и (если не *de jure*, то по крайней мере *de facto*) отчима Лидии Яковлевны⁴³. После публикации повествования Наталья Соколова задала Гинзбург вопрос о прототипе героя. В ответном письме Гинзбург писала: «В „Заблуждении“ действительно присутствует дядя Марк. Кроме тебя, нет уже, вероятно, никого, кто мог бы об этом догадаться. Но, конечно, там многое трансформировано и домыслено»⁴⁴. Подтвердив, что прототипом Старика был ее дядя, Гинзбург одновременно подчеркивает процесс творческого преобразования материала, полагая, что биографический фон повествования трансформирован и изменен в нем до неузнаваемости. Может быть, такая убежденность в этом служила для нее необходимым психологическим условием публикации.

То, что «<Рассказ...>» остался неопубликованным, по-видимому, делает вопрос о намерениях, или, как говорила Гинзбург, «установке» автора, неразрешимым. Однако в свете известных фактов биографии Гинзбург многие особенности этого произведения подталкивают читателя к автобиографическому истолкованию.

41 Ее домашний адрес подтверждается справочником «Весь Ленинград, 1935» (Л., 1935). В мемуарах Соколовой говорится, что Гинзбург перевезла мать и отчима в Царское Село в 1931 году. Хотя мы не знаем, где именно жила Раиса Гинзбург в 1931–1934 годах (по мнению Соколовой, она проводила большую часть времени в Ленинграде, в то время как Марк Моисеевич жил в Царском Селе), несомненно, что по крайней мере с 1934 года, после смерти М. Гинзбурга, она жила с дочерью. Дом на канале Грибоедова был около 1970 года расселен и отдан под железнодорожные кассы, что вызвало переезд Гинзбург на улицу Шверника (2-я Мурунская). Об обстоятельствах переезда см.: *Кумпан Е.А.* Вспоминая Лидию Яковлевну // *Звезда*. 2002. № 3. С. 143–149; то же: *Кумпан Е.А.* Ближний подступ к легенде. СПб., 2005. С. 76–88.

42 Еще одна биографическая параллель к тексту «<Рассказа...>» связана с судьбой

сестры Раисы Давидовны Любы, пережившей войну. По свидетельству Соколовой, она была непривлекательна и так и не вышла замуж — ср. чувство превосходства, которое испытывает тетка по отношению к своей незамужней сестре (см.: РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Д. 27. Л. 8). Разговор о «жертвах», которые принесла Тетка ради племянников, напоминает диалог Гинзбург с матерью, приведенный Соколовой (Там же. Л. 6). И, наконец, описание, которое дает Соколова Марку Гинзбургу, человеку, по ее мнению, мягкому и слабому, соответствует характеристике Старика из «Заблуждения воли» и «<Рассказа...>» как «человека слабого напора» (Там же. Л. 24–25).

43 О смерти дяди/отчима Гинзбург в Царском (тогда Детском) Селе см. с. 503 наст. изд. В «Заблуждении воли» Оттер/Эн постоянно ездит на электричке в пригород. 44 РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Д. 27. Л. 25.

Динамика взаимозависимости, неистовая напряженность отношений, злора, трагизм восприятия, как кажется, куда больше подходят дочери, переживающей смерть матери, чем племяннику, лишившемуся тетки. Отчетливый автобиографический подтекст делает систематичность и тщательность анализа, которому Гинзбург подвергает столь болезненную для нее тему, еще более поразительными. В то же время исповедальный характер «<Рассказа...>» приглушен переводом повествования в третье лицо и его факционализацией через фигуру главного героя, «Оттера». Гинзбург явно стремилась избежать публичного самообнажения по образцу «Исповеди» Руссо. Она не только не опубликовала «<Рассказ...>» сама, но и не подготовила его к публикации, хотя сохранение рукописи в архиве явно предполагало возможность ее посмертного обнаружения.

Впрочем, вне зависимости от того, насколько читатель окажется способным противостоять соблазну автобиографического прочтения «<Рассказа...>», он все равно в состоянии оценить его литературные достоинства, в том числе силу, с которой использован здесь художественный потенциал мотивов раскаяния, представляющего собой, по словам Гинзбург, «один из самых мощных механизмов воображения и памяти»⁴⁵, и жалости с ее экспрессивной выразительностью и цепкостью к деталям⁴⁶. Многие мучительные подробности, сохраненные памятью Оттера, — драгоценный кусочек жира, раздавленный на полу, сгоревшая до углей банка консервного мяса, маленькое мертвое тело на письменном столе — так же неумолимо оседают в памяти читателей. Даже если «<Рассказ...>» и не получил окончательной отделки (что заметно, например, в сдвигах нарративной перспективы во вступительном абзаце), его кольцевая композиция, оформленная упоминаниями телеграммы соболезнования, полученной Оттером от V. в начале и в конце, выглядит четкой и продуманной, а повторы и возвращения ясно мотивированы терзающим повествователя чувством вины. Гинзбург работала над планами и набросками «<Рассказа...>», и фрагмент одного из них сохранился в ее архиве.

Речь в «<Рассказе...>» идет не только о раскаянии, но и о драме поисков идентичности, обостренной чудовищностью блокадного существования. Гинзбург задается вопросом, может ли безрелигиозный человек,

45 Гинзбург 2002. С. 584.

46 Она пишет о соотношении раскаяния и искусства: «Предметы раскаяния, так же как и предметы истории или искусства, одновременно принадлежат настоящему и прошлому (если б они не входили в настоящее, раскаяние не было бы так мучительно; если б они не принадлежали прошлому, оно не было бы так непоправимо). Раскаяние — один из самых мощных механизмов воображения и памяти, выра-

бывающий представления, подробные, необратимые, ужасные именно тем, что когда-то представляемое было в нашей власти» (Там же) — и жалости и искусства: «Подобно трагическому, комическому, возвышенному, жалкое перестраивает для себя материалы действительности, пользуясь притом откровенно эстетическими приемами. Жалость действует выбором, символами, аналогиями и в особенности подробностями — складкой на шее, выпавшим зубом, прорехой...» (Там же. С. 586).

без веры в абсолютные ценности остаются «верным себе» в отсутствие свидетелей. Может ли интеллеktуал XX века, русский *интеллигент*, своего рода типичным образцом которого оказывается Оттер, вести себя человечно с членами своей семьи, если его не поддерживает ни сильная любовь, ни отчетливое чувство долга? «<Рассказ о жалости и о жестокости>» оказывается *трагедией рационализма*. Именно умение Оттера выстроить образ тетки, его писательская зоркость в понимании ее характера и обуславливают его слепоту. Созданные им статические представления о ее личности мешают ему понять страдания тетки и заметить перемены, сигнализирующие о приближении смерти. Раздражение, владеющее Оттером и делающее его жестоким, вызвано также и его стремлением сохранить хотя бы малую толику сил для литературного творчества — тем, что Гинзбург в другом месте назвала «рабочим эгоизмом»⁴⁷. Свойственное Оттеру ясное понимание природы этих парадоксов только делает его боль еще более пронзительной.

«<День Оттера>» — другое повествование Гинзбург, написанное в годы блокады, не схож с «<Рассказом...>» ни по теме, ни по сюжету, ни по интонации. В центре этого произведения тот же главный герой, но по большей части Гинзбург говорит здесь о других сторонах блокадного опыта. Понятно, что предполагать безусловную тождественность Оттеров из разных повествований оснований не больше, чем, скажем, приравнять друг к другу персонажей, которых один и тот же автор в разных произведениях обозначает повествовательным «Я». И все же герой «<Дня Оттера>» сохраняет основные черты характера своего предшественника и, прежде всего, его склонность к поиску рационалистических объяснений всему происходящему. Он не пережил никакой семейной трагедии — повествование здесь организовано по принципу «одного дня» из жизни героя — нарративной модели, имеющей богатую историю, включающую, в частности, «Историю вчерашнего дня» Л. Толстого и рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», опубликованный в 1962 году (см. с. 453). «<День Оттера>» несомненно покажется знакомым тем, кто читал «Записки блокадного человека», так как он послужил основой описания блокадной жизни Эн в позднейшем повествовании. С «<Рассказом...>» «<День Оттера>» и «Записки...» объединяет тема еды, неразрывно связанная для Оттера с воспоминаниями о тетке.

В «<Дне Оттера>» присутствие тетки лишь обозначено. Она здесь предстает в качестве потребителя скудных благ — пищи, тепла и воды, — которые удастся добыть племяннику. Никакого конфликта с племянником у нее нет, а когда для Гинзбург оказывается необходимым убрать ее со сцены, одновременно сохранив ей жизнь, она прибегает к любопытной

47 Выражение «рабочий эгоизм» взято из очерка Гинзбург середины 1970-х годов «Собрание», где она описывает людей созидательного типа: «Личные свойства

людей этого типа могут быть притом самыми жесткими. Даже должны быть, потому что неизбежен самозащитный рабочий эгоизм» (Гинзбург 2002 С. 364)

фигуре умолчания. Зимой 1942 года, пристроив свою родственницу в больницу, герой перебирается жить в здание Радиокomiteта, в котором он слухит: «Самое худшее время для От<тера> наступило тогда, когда объективно наступили уже лучшие времена (так было со многими). Он тогда получал уже 400 грамм хлеба. Тетка тогда находилась в больнице, а сам он переселился в учреждение, потому что дома было уже много ниже нуля» (с. 243). В тексте «<Рассказа...>» тетка стремится в больницу, но Оттер отказывается ее туда положить, а после ее смерти он не в состоянии решить, насколько правильным было это его решение (с. 52). В позднейшем интервью Гинзбург говорила, что она стала жить в Доме радио только после смерти матери: «После смерти матери (она не выдержала голода) поселилась в Доме радио <...>. Дома — мороз, тьма, глухая тишина, а здесь вокруг люди, и это очень важно психологически»⁴⁸.

И в «<Рассказе о жалости и о жестокости>», и в «<Дне Оттера>», и в первой части «Записок блокадного человека» действие происходит весной — летом 1942 года, в период, который Гинзбург постоянно называет «передышкой». Это временное совпадение заставляет нас обратить особое внимание на то, что художественные миры «Записок...», «<Дня Оттера>» и «<Рассказа...>» несовместимы друг с другом. В этом свете более понятными становятся постоянные напоминания Гинзбург, что ее Эн — это условный персонаж, а «Записки...» в целом — художественное произведение. При всех автобиографических компонентах, легко различимых в характере Эн и Оттеров обоих повествований 40-х годов, разность их жизненного опыта вынуждает относиться к ним как к вымышленным героям.

Если искать во всех этих трех повествованиях автобиографическую проекцию, придется признать и наличие в них художественного вымысла — хотя бы в форме умолчаний. Возможно, что подчеркивание Гинзбург вымышленности Эн и в заметке 1985 года, и в интервью 1986-го вызвано ощущением той этической ответственности за полноту правды, которую принимает на себя автор мемуаров.

Работая в 1960-е годы над текстом, который позднее станет известен как «Записки блокадного человека», Гинзбург опиралась на написанные ею в годы блокады повествования и фрагменты, вошедшие в настоящее издание. Что касается описаний повседневной жизни блокадника, Гинзбург в переработках 1960-х, 1970-х, 1980-х годов по сути дела ничего не добавила (хотя многое сократила) к тому, что было написано ею раньше на основе непосредственных впечатлений.

Как уже говорилось, целью «Записок...» было воссоздать «общую жизнь» блокадников в ее многомерности, выбрав для примера одного из них — типичного ленинградского интеллигента. Для этого Гинзбург потребовалось еще сильнее отстранить и дистанцировать автобиографические элементы повествования, чем это было сделано в «<Дне Оттера>».

48 Из интервью Г. Силиной.

В целом «Записки блокадного человека» дают более широкую и гетерогенную картину жизни в блокадном Ленинграде, чем «<День Оттера>». И все же, если выделить здесь то, что относится к описанию типичного дня Эн, или «блокадного человека», как его иногда более обобщенно называет автор, совпадения с более ранним текстом будут очень обширными. Сходны и характеры героев — оба представляют собой традиционную фигуру повествователя-мужчины обычной сексуальной ориентации (перемена пола автобиографического героя позволяет Гинзбург описывать гомосексуальные любовные отношения как гетеросексуальные⁴⁹). Если имя Оттер имеет какое-то значение, будь то «автор» или «другой», то Эн (N) — это стандартное обозначение анонима, но ни то, ни другое имя не является собственным (отсутствие собственного имени — характерная черта автобиографии от третьего лица)⁵⁰. Оттер и Эн ведут сходную жизнь, весьма напоминающую известные обстоятельства жизни автора. Биографическая информация о них минимальна, но известно, что оба служат редакторами в ленинградском Радиокомитете, причем эта должность существенно повысила их социальный статус, оба они в то же время являются непризнанными, но ощущающими свое призвание писателями. Они идут по городу теми же маршрутами, которыми Гинзбург должна была добираться из своего дома на канале Грибоедова в Радиокомитет или столовую Союза писателей. Как и автор, они выбрасывают ведра с нечистотами в Фонтанку и ждут трамвая на кольце за Казанским собором.

Некоторые из отчетливых автобиографических деталей опущены в окончательном тексте «Записок...», но они еще присутствовали в промежуточных версиях 60-х годов. Так, например, и Оттер, и Эн пытаются найти время, чтобы писать, но основная тема творчества — «становление и крах индивидуалистического сознания» — обозначена только для Оттера. Эта проблематика волновала Гинзбург на протяжении нескольких десятилетий. Мы также знаем о Гинзбург, что до войны она, как и Оттер, боролась с полнотой, поздно вставала (иногда после полудня) и содержала домработницу. Применительно к Эн все эти подробности опущены. Вероятно, Гинзбург считала, что чем больше она очищает фигуру повествователя от биографической конкретики, тем сильнее она придает его опыту общеплокадные черты. Надо сказать, что и в целом ее метод конструирования квази-автобиографических персонажей состоял в отборе социально и исторически значимых черт, подчеркивающих функциональные особенности характера и психологии типичного интеллигента.

49 О соотношении личного опыта Л.Я. Гинзбург и ее подхода к изображению гомосексуальной любви в литературе см.: Ван Баскирк Э. «Никто не плачет над тем, что его не касается»: Четвертый «Разговор

о любви» Лидии Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 154–168. 50 Об этом см.: *Lejeune Ph. Autobiography in the Third Person // On Autobiography / Ed. by P.J. Eakin, trans. K. Leary. Minneapolis, 1989. P. 31–52.*

Наиболее ощутимая разница между блокадным существованием Эн и самой Гинзбург состоит в том, что, в отличие от Оттера из редакции 1940-х годов, Эн живет один. Тетка здесь вообще не упоминается. Соответственно, нет и никаких намеков на домашнюю трагедию, пережитую героем. Возможно для того, чтобы компенсировать эту смысловую лакуну, Гинзбург ввела в текст несколько специально посвященных проблематике «<Рассказа о жалости и о жестокости>» фрагментов, которых не было в «<Дне Оттера>». В «Записках...» говорится, что чувство вины и раскаяния было такой же неотъемлемой частью блокадного опыта, что и телесные проявления дистрофии. Переживания, которые в «<Рассказе...>» составляли уникальное достояние Оттера, осмыслены здесь как едва ли не универсальные. Гинзбург описывает сложную динамику жертвенности, раздражения и физического отвращения, бесконечный цикл «грубости, раскаяния, жестокости, жалости». Забота об иждивенцах была в жизни блокадников последним проявлением социальности, с уходом близких одиночество, отягченное чувством вины, становилось абсолютным. Некоторые детали «<Рассказа...>» возникают в тексте «Записок...» в эпизодах, связанных с второстепенными персонажами, и в сюжетно незавершенных фрагментах, сосредоточенных, в основном, в конце первой части. Наиболее полный из них — короткий очерк истории отношений некоего О. и его старшей сестры, воспроизводящий коллизию отношений Оттера и тетки. (Гинзбург определила этот эпизод формулой «рассказ о жалости и о жестокости», использованной нами в качестве заглавия обнаруженной рукописи.) О., человек рационального и систематического склада, тяжело переживает те жертвы, которые ему приходится приносить ради сестры, служащей источником хаоса и беспорядка в его жизни, и ведет себя по отношению к ней грубо и жестоко.

В тексте «Записок...» есть и еще пассажи, отсылающие к «<Рассказу...>», и все они связаны с едой и эмоциональным переживанием этой темы. На одном примере мы можем выявить приемы «нейтрализующей редактуры», которые использует Гинзбург, перенося те или иные фрагменты из одного текста в другой. Существуют три версии одного и того же эпизода — первая появляется в «<Рассказе о жалости и о жестокости>», вторая (насколько мы можем восстановить хронологию блокадного творчества Гинзбург) в «<Дне Оттера>», третья — в опубликованной редакции «Записок блокадного человека». В «<Рассказе...>» этот эпизод возникает в конце повествования, когда снабжение семьи значительно улучшается и Оттеру удается принести домой шоколад и масло, но уже угасающая тетка оказывается неспособна их съесть. Суть описания состоит в том, как еда, источник наиболее сильного эмоционального переживания блокадного времени, оказывается неразрывно связана для Оттера с памятью о тетке:

Инерция возни с едой не покидала его. Выдали шоколад и масло. Это было обидно, потому что ее любимое. Он по привычке не хотел терять вкусовые

ощущения. Она лежала тут, умирая. А он устроил какую-то смесь из масла и шоколада и намазывал ее на хлеб, которого было много, больше, чем когда бы то ни было. Он ел, и его терзала тоска. Это было самое острое ощущение тоски и горя, которое он испытал в связи с этой смертью. Еда, переживания еды были тесно ассоциированы с ней, и вот это кончилось, и кончился интерес, человеческий интерес еды; осталось что-то мрачное и животное. И в то же время ему казалось, что еда заглушает тоску, физически забывает ее, залепляет ее эта пища, проходящая вглубь куда-то туда навстречу сосущей тоске. Он жевал и глотал, а тоска подымалась навстречу. Это была печальнейшая минута из всех в эти дни пережитых (с. 56).

«<День Оттера>» содержит сходное описание связанной с процессом еды травмы, усиливающейся по мере того, как улучшающееся снабжение отодвигает голод все дальше в прошлое. Эта травма представлена здесь как всеобщая, смерть тетки не упоминается, а «первый период облегчения», по-видимому, служит обозначением времени, когда Оттер уже не должен был заботиться об иждивенце и жил на радио:

Люди страстно захотели есть. Они ели, недостаточно, но все-таки ели, и не могли насытиться. Когда Оттер впоследствии вспоминал зиму, он в основном припоминал не голод, не еду, а всевозможные маски, психологические оборотней голода; хроническую болезнь, перерождение психики. И все это было менее унижительно и животно, чем то, что происходило с ним в первый период облегчения. Он прилагал все усилия к тому, чтобы съесть две-три-четыре каши. В удачные дни он сгребал в одну тарелку три каши, чтобы казалось, что ее много. И приходил в отчаяние от того, что ее все-таки мало. Что нельзя сесть перед миской с пятью-шестью-десятью кашами. Он не только стал думать об этом, после того как долго вообще ни о чем не думал, но им овладела маниакальная сосредоточенность мысли (с. 245).

Маниакальная и дегуманизирующая фиксация на еде, «животное» отношение к ней и уединенный процесс потребления пищи сближают этот эпизод с процитированным фрагментом из «<Рассказа...>». Однако, в отличие от «<Рассказа...>», здесь не фигурируют другие люди, речь идет только об отношении Оттера к еде и о его внутренних проблемах. Между тем в «Записках блокадного человека» упоминание нескольких тарелок каши обрастает новыми подробностями. Характерным образом это переживание отдано здесь не Эн, а безымянной женщине с радио, «обмотанной платками»:

— А у меня мать умерла, — остановила она проходившего мимо малознакомого человека, — каша вот по ее талонам... Такая тоска, невероятная. И ни за что не проходит. Думала — какое счастье съесть сразу три каши, четыре каши... Не получается, не хочу... Глотаю и глотаю, потому что тоска, она

там глубоко, внутри: мне все кажется — станет легче. Эта каша, жижа опустится туда, вниз, придавит тоску, обволокнет ее, что ли. Ем, ем, а тоска не проходит (с. 348).

Гинзбург прямо пишет о горе дочери после смерти матери, однако то, что в «<Рассказе...>» было психологической интроспекцией Оттера, здесь переведено в регистр повседневной речи. Болезненный личный опыт вложен в уста анонимной сослуживице, добровольно делящейся своими травматическими переживаниями с «малознакомым человеком», чей голос уже неотличим для читателя от множества других голосов блокадников, звучащих со страниц этого документального повествования. Переделывая «<День Оттера>» в «Записки блокадного человека», Гинзбург добавила сюда существенные детали из «<Рассказа о жалости и о жестокости>», тщательно приглушая в то же время неистовую страсть отношений Оттера и тетки. Переживание муки оказалось отделено от опыта главного героя, и болезненный самоанализ превратился в захлебывающийся безымянный монолог.

Анализ трех блокадных повествований Гинзбург позволяет выявить подспудное напряжение между автобиографизмом и художественным вымыслом. Во всех этих произведениях Гинзбург стремилась уйти от автобиографичности, «фикционализируя» текст с помощью вымышленных персонажей и композиции жизненных впечатлений. Двигаясь в этом направлении, она освобождалась от подробностей, слишком тесно связанных для нее с ее уникальными житейскими коллизиями. Таким образом, она рассчитывала приблизиться к воплощению коллективного опыта, что должно было придать ее рассказу историческую репрезентативность. Стремление говорить об исторически значимом оставляло ей большую долю свободы в выборе эмпирического материала для своих повествований и способов его подачи. По-видимому, Гинзбург опробовала различные стратегии письма, которые позволили бы ей рассказать о чувстве раскаяния, связанного со смертью матери. Ее подход к этой теме отражал, с одной стороны, ее понимание вины и ответственности, а с другой — ее отказ от исповедальных жанров.

Чтобы понять, как представляла себе Гинзбург этическую проблематику, возникающую на пересечении автобиографического и историографического повествования, полезно сравнить практику ее работы с творческими принципами Герцена, который служил для нее одновременно литературным образцом и предметом исследования. Глубокое влияние герценовского историзма отразилось и в «Записных книжках» Гинзбург, и в ее повествованиях⁵¹.

51 О связи творчества Гинзбург с традицией Герцена и о заразительности восходящего к Гегелю герценовского историзма см. *Паперно И* Советский опыт, автобио-

графическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С 102–127.

Как и Гинзбург, Герцен пережил семейную катастрофу, совпавшую с катастрофой исторической — поражением европейских революций 1848 года. В эту пору ему довелось пережить роман своей жены с Георгом Гервегом, ее смерть при родах и гибель матери и сына при кораблекрушении. Испытывая чувство вины за судьбу жены и за свое поведение по отношению к ней при известии о ее измене, он решил написать подробный рассказ о своей семейной драме. В отличие от Гинзбург, семейные обстоятельства Герцена были уже при его жизни известны всей Европе, хотя его исповедь и была опубликована только после смерти писателя. Как известно, желание Герцена запечатлеть обстоятельства своей домашней трагедии вызвало к жизни весь его автобиографический роман — «Былое и думы», грандиозное по своему размаху повествование, в котором он предстал перед читателем в качестве представителя своего поколения и своего класса⁵².

Как исследователю творчества Герцена Гинзбург приходилось размышлять о соотношении его семейной драмы с его историографией. Она начала работать над творчеством Герцена в годы войны и в послевоенные годы завершила докторскую диссертацию о его мемуарах. В главе о «Былом и думам» в «О психологической прозе» Гинзбург анализирует соотношение между разделом воспоминаний, известным нам под редакционным названием «Рассказ о семейной драме», и герценовским историческим нарративом⁵³. Она использует фразу Герцена «кто мог пережить, должен иметь силу помнить»⁵⁴ для интерпретации его моральной философии, по которой поведение человека в частной жизни сказывается на его политической деятельности и значимо для ее понимания⁵⁵. Гинзбург показывает, как Герцен стремится избегать прямого самоутверждения, описывая свои благородные поступки, а разоблачая Георга Гервега, играющего в его рассказе роль главного злодея, он трактует столкновение

52 О причинах, по которым Герцен не стал публиковать свой «Рассказ о семейной драме», см. статьи Ирины Паперно и Ульриха Шмида: Russian Literature 2007. Vol. LXI. № 1/2. Во вступлении к этому выпуску журнала И Паперно прослеживает историю публикации документов о личной драме Герцена (см. след. примеч.) По мнению Шмида, Герцен воздержался от публикации «Рассказа...» из-за начала своего романа с Натальей Тучковой-Огаревой (Ibid. P. 75).

53 «Рассказ о семейной драме» был впервые полностью напечатан в 1919 году в пятой части «Былого и дум» под заголовком «Париж — Италия — Париж (1847–1852)» (Герцен А.И. Полное собрание сочинений

и писем / Под ред. М.К. Лемке. Пг., 1919. Т. XIII) Под заголовком «Рассказ о семейной драме» этот текст был опубликован в 1956 году (Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. Т. 10). К 1960-м годам, когда Гинзбург работала над книгой «О психологической прозе» и рукописью «Записок блокадного человека» («Блокада»), это название было уже общепринятым. Таким образом, формула «Рассказ о жалости и о жестокости» могла быть навеяна Герценом.
54 Гинзбург 1977. С. 267.

55 «Человек отчитывается перед историей не только в своем участии в „гуртовых событиях“, но и в своей „домашней жизни“, душевной жизни. „Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить“, — сказал Герцен» (Там же).

героев скорее как идеологическое, чем как личное. Автобиографический герой Герцена представляет молодую Россию, а его оппонент — мелкобуржуазный Запад⁵⁶.

В «<Рассказе о жалости и о жестокости>» Гинзбург прибегает к аналогичному ходу. Недостатки характера тетки оказываются связаны с чертами дореволюционной буржуазии, а Оттер оказывается представителем новой, постреволюционной и атеистической русской интеллигенции. При всей своей способности к жестокому самоанализу и бескорыстному самопожертвованию Оттер вовсе не выглядит положительным героем, моральные основания его поведения выглядят шатко и он часто ведет себя жестоко и эгоистично. И все же Оттер соответствует герценовскому складу личности — основу морального поведения составляет для него последовательность, внутренняя связь поступков. Тетка раздражает его тем, что для нее значим только непосредственно переживаемый момент. Созданная Герценом модель, возможно, сказала и в повествовании Гинзбург о ее семейной драме. Совпадают даже некоторые мелкие детали — так, например, охватывающее Оттера после смерти тетки чувство потери семьи и дома похоже на данное Герценом описание своих чувств после смерти жены⁵⁷.

Свою монографию о Герцене Гинзбург писала, пережив смерть отчима и матери. Возможно, что ее анализ драмы Герцена проливает свет и на ее собственную работу над «<Рассказом ...>» и «Записками блокадного человека». В рассказе Герцена Гинзбург обнаруживает подавленную и ушедшую на дно тему раскаяния⁵⁸. Эта подводная тема и определяет, как полагает Гинзбург, замедленность и детальность описания смерти Натальи, с помощью которого он рассчитывает преодолеть владеющее им раскаяние и чувство вины. По словам Гинзбург, «изображение смерти жены — попытка замедленным воспоминанием. Герцен заставляет себя всматриваться в непрерывно движущийся ряд мучительных подробностей; восстановление их, повторное переживание становится своего рода нравственным долгом, творческим искуплением вины»⁵⁹.

В отличие от Герцена, Гинзбург больше пишет в «<Рассказе о жалости и о жестокости>» о вине и раскаянии, о раздражении в отно-

56 Там же. С. 266–267.

57 Гинзбург пишет об Оттере. «С этой смертью он потерял последний остаток молодости. Он потерял постоянную основу быта, тягот-ившую его, раздражавшую его, но твердую пребывающую частицу семейственности, которая переживала любовные связи и разрывы и сохраняла за бытом форму» (с. 20). Эта же мысль повторяется позднее: «Да, он потерял остатки молодости и остатки человечнос-

ти, быт и дом» (с. 22). Эти суждения напоминают воспоминания Герцена о днях после смерти Натальи: «Дома у меня больше не было. С отъездом детей последняя печать семейной жизни отлетела — все приняло холостой вид» (Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 10 С. 303).

58 «Есть скрытая, только прорывающаяся наружу тема раскаяния» (Гинзбург 1977. С. 267).

59 Там же

шениях с теткой, чем о процессе ее умирания. «Творческое искупление вины» оказывается здесь прямым и непосредственным, хотя и достигается с помощью самоотстранения и фикционализации. В то же время потребность в «замедленном воспоминании» реализуется в «<Дне Оттера>» и «Записках...», где о смерти тетки вообще ничего не говорится. Хотя герой этих повествований и не размышляет об утрате и не анализирует собственное горе, он настойчиво припоминает и пытается восстановить все детали, связанные с едой. Оттер из «<Дня...>» мечтает растянуть процесс приготовления и потребления пищи и удержать каждое его мгновение: «Он не мог остановить мгновенье» (с. 257). Эн из «Записок...» охвачен тем же желанием: «Он хотел и не мог сказать мгновению: „Verweile doch! Du bist so schön! [Остановись! Ты так прекрасно!]“» (с. 357).

Герценовский подтекст позволяет увидеть внутреннюю связь между ролью памяти в «Записках блокадного человека» и стремлением дать себе отчет в совершенном зле, проявившемся в «<Рассказе о жалости и о жестокости>». Последний абзац из главы о Герцене из «О психологической прозе» может служить самым лучшим автокомментарием и к «Запискам...», и к «<Рассказу...>», и к «Заблуждению воли»:

Деянием и познанием снимаются страдания, вина, неудача — из этого убеждения возник первоначальный замысел «Былого и дум» (впоследствии разросшийся в огромное полотно общественной жизни). Задуманное произведение — не только месть и искупление, но также и акт художественного познания, спасающий прошлое для будущего, превращающий прошлое в историю и в искусство. Это чувство прошедшего, которому творческий человек *не имеет права* дать исчезнуть бесследно, этот историзм в самом детальном, самом личном его проявлении соотносен с герценовским чувством истории как общего прошлого, живущего в общем сознании⁶⁰.

Согласно Гинзбург, вина, страдание и раскаяние, овладев памятью, способствуют возникновению исторического сознания. Связь между раскаянием и процессом литературного творчества была намечена ею еще в написанном за сорок лет до книги «О психологической прозе» «Заблуждении воли»: «И за все, что хотели исправить и не исправили, мы несем вину, как творец за несозданное творение»⁶¹. В обоих произведениях сформулирована уверенность в искупительной силе литературного творчества. Поскольку именно творчество оказывается в значительной степени ответственным за эгоизм и слепоту Оттера, оно становится одновременно и грехом, и искуплением греха.

В «Записках блокадного человека» Гинзбург вновь вспоминает наставление Герцена — «кто мог пережить, должен иметь силу помнить».

60 Гинзбург 1977. С. 267–268.

61 Гинзбург 2002. С. 584.

Черновой план, сохранившийся в архиве, свидетельствует о том, что она собиралась использовать это высказывание в качестве эпиграфа⁶². Она прямо связывает вину и раскаяние с литературным творчеством: «Вот мы и блюдем закон забвения, один из краеугольных в социальной жизни; наряду с законом памяти — законом истории и искусства, вины и раскаяния» (с. 323). Блокадные сочинения Гинзбург показывают возникновение творческого импульса из чувства вины.

Мысль Гинзбург, согласно которой «<Рассказ о семейной драме>» стал для Герцена зародышем, из которого выросли «Былое и думы», получила общее признание. Однако она пошла дальше. С ее точки зрения, Герцен «спас прошлое», создав и опубликовав сочинение, воплотившее его представления о памяти и истории и оставив свой трагический личный опыт недоступным для публики. С ее точки зрения, писатель, даже политически активный интеллигент, вовсе не обязан выносить свои душевные переживания на суд публики, если он сумел внутренне творчески переработать свое чувство вины так, чтобы оно помогло ему найти более общезначимые формы выражения собственного опыта.

Именно по этому пути пошла сама Гинзбург. Она написала историю собственной семейной трагедии, которая осталась неопубликованной и только теперь становится доступной читателю (не стоит забывать, что в течение многих десятилетий Гинзбург не была уверена, что вообще какие бы то ни было ее повествования когда-нибудь будут опубликованы). В «Записках...» подспудная страсть, одушевлявшая «<Рассказ...>», укрыта от читательского глаза и заметна только в общих рассуждениях о вине и раскаянии, проиллюстрированных неуверенными и запинаящимися анонимными репликами. Гинзбург сохранила в «Записках...» следы своей личной драмы, но рассеяла их по тексту, затушевав их автобиографическую значимость и представив как отражение множества домашних трагедий своих современников, вместе с ней переживших блокаду.

Гинзбург непосредственно восприняла герценовский историзм, но развила его в ином жанре и иной повествовательной манере. Если Герцен говорил о себе как об исторической личности от первого лица, то у Гинзбург ее историческое бытие стало предметом остраненного и аналитического рассмотрения. Переведя повествование в третье лицо, Гинзбург подвергла его намеренной фикционализации, включив в него лишь некоторые функционально значимые стороны своей личности и судьбы и минимизировав конкретные биографические детали. Даже описывая сравнительно небольшой отрезок блокадного времени, она населила его многочисленными полуавтобиографическими персонажами, которым раздала отдельные фрагменты своего опыта. При этом Гинзбург исходила как из своего пони-

62 Набросок 1960-х годов на обороте одной из страниц «<Дня Оттера>»

включает в себя три запланированных эпиграфа высказывание Герцена и цитаты из стихов Некрасова и Олейникова

мания исторической значимости тех или иных деталей, так и из устойчивого нежелания заниматься созданием собственного образа.

Работая над текстом, Гинзбург старалась выработать сдержанный эмоциональный тон, особенно в трактовке таких взрывоопасных тем, как вина и раскаяние. В ходе многочисленных переработок она стремилась преобразить личный опыт в общий, исторический. «Записки блокадного человека» — это палимпсест, в нижнем слое которого приоткрываются следы куда более личного повествования. Рукописи 1940-х годов позволяют и увидеть приглушенный автобиографизм ее прозы, и понять природу ее настойчивых попыток преодолеть инерцию мемуарного жанра.

АНДРЕЙ ЗОРИН **«...ДОДЕЛАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ»**

В архиве Л. Я. Гинзбург сохранились две тетради, озаглавленные «Слово» и «1943». В первую из них вложено еще значительное количество набросков и записей военного времени, сведенных с записанным в тетради текстом в едином плане, который был составлен много позднее, или в 1960-е, или, что более вероятно, в 1980-е годы. Такой же план существует и для «1943». Именно в соответствии с этими планами печатаются оба сочинения в настоящем издании. Впрочем, решившись частично опубликовать «1943» в сборнике «Претворение опыта», вышедшем в свет уже после ее смерти, Гинзбург вновь полностью перекомпоновала текст.

Более или менее очевидно, что Гинзбург вела записи в обеих тетрадях параллельно в одно и то же время, с 1943 года примерно до конца войны, тем самым отделяя их как друг от друга, так и от набросков и черновиков своих повествований о блокадном опыте, которые публикуются здесь под названиями «<Рассказ о жалости и о жестокости>» и «<День Оттера>». Существенно упрощая, можно, пожалуй, сказать, что если «1943», подобно большинству записных книжек Гинзбург, состоит из микроэссеистики, то «Слово» представляет собой результат наблюдений автора над окружающими ее людьми или, говоря точнее, над тем, как человек воплощается в своей речевой практике, будь то дружеская беседа, обмен репликами в очереди, выступление на заседании или литературное творчество.

С этим различием может быть связан тот факт, что в конце жизни лишь одно из этих сочинений показалось ей хотя бы отчасти пригодным для публикации¹. Впрочем, само составление плана тетради «Слово» может служить свидетельством того, что Гинзбург в последний период жизни обдумывала возможность напечатать и «Слово», возможно в более или менее отдаленном будущем, в более или менее переработанном виде. В любом случае ретроспективный взгляд из 1960-х или из конца 1980-х годов мало что говорит о значении этих тетрадей для автора в период активной работы над ними. Сказать определенно, мыслились ли они в ту пору как самостоятельные произведения или как заготовки для более крупных вещей, сейчас невозможно.

Гинзбург вела записные книжки всю жизнь, без малого семь десятилетий. Не случайно темой ее первой историко-литературной работы стал классический образец этого жанра в русской литературе — «Старая записная книжка» Вяземского. Стремление Вяземского «создать закончен-

¹ *П.О.* С. 83–134.

ные словесные конструкции, не убивая и не пролитературивая факта»², было для Гинзбург в формалистский период ее творчества в высшей степени привлекательным. По ее словам, «в своей совокупности бессвязные отрывки „Записных книжек“ (Вяземского. — А.З.) почти монументальны — это своего рода большая форма малого жанра»³.

По мере отхода Гинзбург от формализма и смещения фокуса ее творческих интересов с литературоведения на прозу литературная задача такого рода перестает ее удовлетворять. В заметке 1933 года она назвала записные книжки «литературой импотентов», несовместимой с присущей великим писателям «потребностью творить миры»⁴. Разумеется, такая потребность вовсе не была для нее равносильна признанию высшей ценности художественного вымысла. «Герои, встающие и садящиеся, и раскуривающие папиросу, и думающие словами, которые придумал автор»⁵, были для нее художественно исчерпаны Толстым. Достоинство романа как жанра состояло для Гинзбург не в «выдумке», но «в принципе ретроспективного охвата», подразумевающего «последнее слово автора, полноту авторского суждения, охватывающего данный участок действительности»⁶. Несколькими позднее Гинзбург внесла в свои рассуждения известные коррективы:

Я неправильно определила динамику романа как ретроспективную; она и ретроспективная и поступательная в то же время. Потому что в охвате конечного понимания должно уложиться не только все случившееся, но и все могущее, имеющее случиться⁷.

Однако разработанная Гинзбург практика письма, основанная на непрерывном размышлении о происходящем вокруг и о собственном меняющемся и расширяющемся опыте, противилась «последнему слову автора», тому, что Бахтин называл «завершением» и рассматривал как основополагающий принцип эстетического оформления языкового и житейского материала. «Великий роман в духе Пруста», как в беседе с И.З. Серманом охарактеризовал Г.А. Гуковский произведение, над которым Гинзбург работала во второй половине 1930-х годов⁸, так и остался ненаписанным. Ее постоянно сносило назад к фрагментам, очеркам и записям.

В своей прозе Гинзбург постоянно искала «подход, который годился бы для понимания исторического процесса и для понимания

2 Гинзбург Л. Вяземский // Вяземский П. А.

Старая записная книжка. Л., 1929. С. 42

3 Гинзбург Л. Вяземский — литератор // Русская проза / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926. С. 131.

4 См. подробнее: Ван Баскирк Э. «Никто не плачет над тем, что его не касается». Четвертый «Разговор о любви» Лидии Гинз-

бург // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 155.

5 Гинзбург 2002. С. 142

6 Записная книжка VIII (1933): ОР РНБ Ф 1377. Ед. хр. 29.

7 Разные записи 20–30-х годов. ОР РНБ Ф 1377

8 Serman I. Writer — Researcher // Canadian American Slavic Studies 1985 (Summer)

Vol. 16, № 2. P. 88.

судьбы отдельного человека как человека социального»⁹. Скорее всего, в этих поисках она опиралась на психологическое учение Альфреда Адлера, прославленного ренегата венской психоаналитической школы, создателя так называемой индивидуальной психологии, согласно которой универсальный импульс человеческих действий составляет не фрейдовское «либидо», а «стремление к превосходству».

У нас нет данных, чтобы точно сказать, в каком году Гинзбург познакомилась с работами Адлера. В 1976 году она рекомендовала И. Паперно, работавшей над книгой о Чернышевском, «в первую очередь, посмотреть работы Адлера (он-то и выдумал „комплекс неполноценности“), который в анализе доминирующими сделал социальные мотивы. Он отверг заранее заданные сексуальную и бытовую ситуации детства»¹⁰.

По мнению Адлера, все психологические явления можно объяснить взаимодействием между стремлением индивида к превосходству и социальными законами. На пересечении этих сил и строится психологическое единство личности, в центре которого находится ее «идеальный образ себя» (*Personlichkeitideal*), служащий неосознанным ориентиром, или, в терминологии Адлера, «фиктивной целью» ее действий и намерений¹¹.

В записях Гинзбург военных лет отразились в значительной мере сходные психологические представления. Аналогом адлеровского «стремления к превосходству» служит в ее системе представлений о человеке «самоутверждение», ставшее основным инструментом ее психологического анализа (см. фрагмент «Синонимика самоутверждения» в записной книжке «1943»). Однако как испытывать превосходство, так и самоутверждаться человек может только по отношению к окружающим, поэтому он, как говорится в последнем эссе из этой же записной книжки,

утверждает себя в объективных, всеобщих ценностях и в то же время, присваивая себе эти объективные и всеобщие ценности, созидает из них свою собственную ценность, автоценность — предел человеческих волеустремлений (негативное понятие неполноценности давно уже бытует в науке) (с. 149).

«Адлерианский» характер этого анализа бросается в глаза. Здесь и «предел человеческих волеустремлений» — очевидная параллель к «фиктивной цели» человека, и «автоценность», т.е. идеализированное представление человека о себе, сформулированное на основе интериоризированных им общественных ценностей, — адлеровский «*Personlichkeitideal*».

9 Цит по Устинов Д. <Вступительная заметка к Гинзбург Л.Я. Стадии любви> // Критическая масса 2002. № 1. С. 34.

10 Письмо от 14 марта 1976 года из личного архива И. Паперно, которой я при-

ношу искреннюю благодарность за разрешение процитировать этот фрагмент.

11 Подробней об этом см.: Зорин А. Проза Л.Я. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века // Новое литературное обозрение. 2006 № 76. С. 49–52.

Именно автоценность постоянно отстаивает человек перед собой и другими в повседневном поведении, в любви, в профессиональной сфере и в бытовых разговорах. Разумеется, соответствие автоценности реальной жизненной практике человека никогда не может быть полным, поэтому Гинзбург чаще пользуется термином «автоконцепция», который также включает в себя более или менее изоциренный набор «оправдательных понятий», объясняющих неизбежный разрыв между «автоценностью» и действительным положением вещей.

Помимо адлеровской «индивидуальной психологии», Гинзбург в своих построениях опиралась на теоретические модели русского формализма. Она пыталась использовать идеи своих учителей, Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума, за пределами «литературного ряда» — при анализе характеров и, в особенности, речевой практики окружавших ее людей. Реализованная автоконцепция переживается ее носителем и его ближайшей средой, становится «ощутимой» в его облике, поступках и высказываниях. Для этого практический «материал», предлагаемый действительностью, должен быть организован в соответствии с выстраиваемой (или, по выражению Гинзбург, «построяемой») им конструкцией собственной личности. Разумеется, сопротивление материала может оказаться непреодолимым, тогда конструкция ломается, а автоконцепцию приходится менять, приводя ее в хотя бы относительное соответствие с обстоятельствами.

Тыняновская выучка помогла Гинзбург придать своим психологическим гипотезам историческое измерение. «Человек не может выдумать для себя несуществующую форму поведения, но он может выбрать свой исторический характер из моделей, заготовленных историей»¹². При этом он выбирает то, что в наибольшей степени соответствует сложившимся условиям его жизни и давлению среды, его собственному биологическому темпераменту, усвоенной системе норм и представлений, т.е. тому, что составляет его «доминантную установку». Во все века история неминуемо обновляет репертуар ролей и автоконцепций, однако в XX веке, и в особенности в России-СССР, эти изменения приобрели небывало быстрый и катастрофический характер. Война и блокада поставили особенно страшный эксперимент и над адаптивностью личности, и над ее резистентностью. Гинзбург начала обдумывать итоги этого эксперимента еще до его окончательного завершения.

Работая в 30-х годах над так и оставшимся ненаписанным большим произведением, которое должно было называться «Дом и мир»¹³, Гинзбург в своих набросках поделила его персонажей на «действующие лица» и «проходящие лица». Центральный раздел написанной в 1943–1945 годах тетради «Слово» получил название «Проходящие характеры». Здесь возникает галерея друзей и знакомых, окружавших повествователя в пору,

12 Гинзбург 2002. С. 351.

13 См.: Ван Баскирк Э. «Никто не плачет над тем, что его не касается» С. 156–159

когда, едва пережив самые страшные месяцы, люди только начали выбираться из дистрофического морока. Потеряв родных и близких и не до конца отойдя от пережитых лишений, жители опустевшего, наполовину вымершего города вновь осваивали забытые навыки социальной жизни. Людям, почти вытесненным голодом и холодом из сферы социального в мир борьбы за физическое выживание, теперь приходилось «наново ориентироваться — и искать форм самоутверждения». По мысли Гинзбург,

... человек самоутверждается всегда, за исключением тех случаев, когда страдание или страх настолько сильны, что оставляют ему только волю к избавлению от страдания и страха. Это мы видели, хотя и в сфере голода и насыщения человек находил возможность реализации. Но самая проблема реализации, ее необходимость была приглушена. Для многих это даже служило удобным предлогом к внутренней праздности. Но теперь приходится снова самоопределяться при крайне трудных условиях, когда утрачены все заменители и фикции (с. 60).

Одним из «проходящих характеров» оказывается А.О., бывший сослуживец Гинзбург по Институту истории искусств, в годы блокады работавший вместе с нею в ленинградском Радиокomitee. Гинзбург подробно прослеживает его психологическую эволюцию на разных этапах советской истории. В 20-е годы, когда «это еще было можно и еще продолжалась инерция русского модернизма», он реализовывал «декадентскую автоконцепцию с надрывом, с опустошенностью, с легким демонизмом». Потом, когда «оказалось, что все это решительно не влезает в установившуюся к 30-м годам действительность»,

декадентский демонизм переформировался в цинизм и осознанную беспринципность <...> с автоконцепцией неудачника, матерого халтурщика, зарывшего свой талант <...> и оправдательным понятием ситуации (иначе не проживешь!) (с. 74–75).

Блокадная дистрофия сломала и эту конструкцию. Однако, полуоправившись от голодной травмы и чувствуя свою неполноценность как «невоюющего мужчины», А.О. перерабатывает ее в новую

надрывную автоконцепцию (неудачник, сломленный и т.д.), которая позволяет ему и сейчас числить себя среди избранных, наделенных внутренней жизнью, имеющих «психологию». Но эту автоконцепцию приходится теперь старательно прятать. <...> О своих книгах, бытовом коллекционерстве, привязанности к вещам он говорит как о маниях. Ему нужна эта маниакальность как признак особенности, некоторой, хоть маленькой, избранности (чужачество), как эрзац утаенной автоконцепции и глухой намек на загнанную в глубину «психологию» (с. 75–76).

Психологическая модель, разработанная Гинзбург, позволила ей социологизировать и историзировать даже самые интимные переживания. Так, она анализирует душевное состояние своей приятельницы, потерявшей после дистрофии женскую привлекательность:

...ей не за что ухватиться. <...> Осталась одна дистрофия, и то в виде остатков. И вот за эти остатки она хватается как за единственное содержание жизни и возможность реализации. Это оправдательное понятие для пустоты и для преждевременного женского крушения. Это крушение смягчается тем, что оно болезнь — значит, может быть, и нечто временное? — и притом *всеобщая* болезнь. Это крушение сублимируется тем, что оно социальная трагедия.

А раз так, то дистр<офическое> состояние, перерабатываясь в автоконцепцию, всячески утверждается и подчеркивается. Так как она эстетическая натура, то подчеркивание идет не за счет разговоров о еде и т.п., но за счет того, что дистр<офия> убила в ней высшие духовные потребности, а также интерес к изяществу быта. Все это проникнуто сильнейшим дифференциальным ощущением. Подразумевается: как велика и глубока трагедия, если я, такая возвышенная, дошла до этого состояния. Такова подводная тема ее разговоров (с. 60).

Столь беспощадный разбор душевной жизни людей, попавших в жернова всемирно-исторической трагедии, может произвести шокирующее впечатление. Сама Гинзбург в «<Рассказе...>» назвала свое творчество «жестоким». Возможно, именно поэтому Гинзбург никогда не пыталась публиковать никаких фрагментов из «Проходящих характеров». Следует, однако, иметь в виду, что разговор об окружающих составлял лишь периферийную часть тотального психологического анализа Гинзбург, в центре которого неизменно оказывался полуавтобиографический персонаж, носивший в 40-е годы несколько странноватое имя Оттер, или, сокращенно, От.¹⁴ Наиболее ярким примером такого свирепо-отстраненного самоанализа может служить «<Рассказ...>».

Во фрагменте из «Слова» «Разговор у зубного врача» Гинзбург описывает свою беседу с крупным литературным функционером. В этом, едва ли не единственном, случае она даже почти не прибегает к помощи Оттера, поскольку фрагмент открывается достаточно редкой для нее формой глагола первого лица: «Сижу...» Ничего хоть сколько-нибудь саморазоблачительного в ходе этого разговора не произносится, однако, выявляя подспудные пружины своих реплик, автор не колеблется дважды определить их как «холуйское удовольствие».

14 Подробней об этом см. Ван Баскирк Э. «Самоотстранение» как этический и эс-

тетический принцип в прозе Л. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 81 С. 273–275

Важней, впрочем, другое обстоятельство. Фундаментальное социо-психологическое открытие, сделанное Гинзбург в годы блокады, состояло в том, что в кардинально изменившихся условиях сами мотивировки и импульсы, руководящие человеком, в сущности, остаются прежними, разве что, в соответствии с упростившимся блокадным бытом и системой отношений, они резче проявляются и становятся доступней наблюдению. Как с предельной отчетливостью сформулировала это Гинзбург в одном из своих черновых набросков, в «пограничных» условиях блокады

люди функционируют согласно своему основному характеру, только в проясненном и гиперболическом виде. <...> На новом материале они сохранили все свои функциональные формы и импульсы — тщеславия, корысти, эротических интересов и пр. (в той мере, в какой их не подавила дистрофия).

Таким образом, блокадная катастрофа лишь обнаруживает внутреннее устройство человека и общества. На протяжении всей жизни Гинзбург пыталась докопаться до пружин этого устройства. Правила социальной иерархии и статусного устройства общества оказываются особенно наглядными, когда они выстроены вокруг доступа к самому элементарному жизненному благу — еде. Точно так же жесткие нормы и «предельная несвобода» военного времени только выявляют механизмы государственного насилия и социального принуждения, позволяя яснее увидеть извечную логику действий Левиафана — так, следуя Гоббсу, Гинзбург называла современное государство. Пытаясь постичь эту логику, она отнюдь не ощущала себя непримиримым врагом Левиафана. Напротив того, Гинзбург упорно и почти безнадежно искала ему оправданий.

На протяжении всей жизни Гинзбург оставалась человеком устойчиво «безрелигиозного сознания». При этом она, опять-таки следуя Гоббсу и в отличие от большинства материалистов XVIII–XIX веков, с глубоким скептицизмом относилась к человеческой природе. Соответственно, позитивные этические ценности не могли быть для нее ни врожденными, ни санкционированными свыше. Они всецело задаются социумом. В одной из разрозненных записей 1943 года Гинзбург выразила свою мечту о «мудром общественном устройстве», которое связало бы «общие и личные цели». В условиях разрыва между ними

общее отрывается от личного и существует в виде бессодержательной официальной фразеологии. А поведение человека становится эгоистически-эмпирическим со всеми страшными последствиями эгоизма — пустотой, беззащитностью перед «страшным миром», параличом воли (с. 132).

Разумеется, собственный социальный опыт Гинзбург 30-х годов не располагал к оптимизму. Советское общество до основания разрушило

все принятые системы моральных норм и ценностей. Любые возможности для ее личного «самоутверждения» также оказались начисто заблокированными. Она, в сущности, еще не успела начать работу над своим главным писательским трудом, как он сразу же определился как социально «нереализуемый», обрекающий ее на статус маргинала, особенно нестерпимый для человека, принадлежавшего к слою, понимавшему «свой труд и творчество <...> как участие в культуре страны, коллектива». По словам Гинзбург, «конфликт произошел не на отрицании основ, а на предельности требований государства» (с. 293).

Война и блокада дали Гинзбург, как и многим ее современникам, шанс найти задним числом оправдание той «крайней и грубой форме», в которой государство предъявило требования своим гражданам поверить в осмысленность истории.

Оставшись в блокадном городе, Гинзбург ценой неимоверных лишений «завоевала социальную применимость». Служба в Радиокomitee дала ей не только возможность выжить, но и чувство «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», воспетое Пастернаком в строках, которые Гинзбург любила цитировать. Круг ее служебных обязанностей носил вполне стандартный, идеологически-бюрократический характер, но в условиях блокады и такая деятельность приобретала высшую оправданность. Опираясь на проделанный Толстым в «Войне и мире» анализ поведения москвичей во время и после оккупации Москвы Наполеоном, Гинзбург увидела в отчаянном, иногда животво-эгоистическом противостоянии ленинградцев голоду и холоду всемирно-исторический смысл. Из последних сил борясь за жизнь, они выполняли свое предназначение — отстоять город. Мотивы и импульсы поведения оставались прежними, но, включенные в новую социальную связь, они изменили свое содержание.

Более того, впоследствии, в силу неизбежной «ретроспективной аберрации», эти мотивы и импульсы вытеснялись из памяти, а героическое содержание поведения в ней закреплялось.

У человека образуется социальная, групповая автоконцепция (помимо личной), абстрактная, но верная. Идеальное представление о себе самом как представителе коллектива. И это представление обязывает. От него, как бы в обратном порядке, развиваются подлинно сверхличные, коллективистические побуждения. Это навсегда заработанная ценность (с. 188).

Возникновение групповой автоконцепции «ленинградцев» — современная наука назвала бы это становлением идентичности — было для Гинзбург одной из составляющих более широкого процесса превращения понятия «родины» в «действительное, реально переживаемое». По словам Гинзбург, комплекс ценностей, заложенных в этом понятии,

развязывает первичные и неистребимые инстинкты и волеустремления человека — ненависть, любовь, властолюбие, стремление к превосходству, собственничество, — но при этом лишает их солипсической замкнутости, угрожающей человеку пустотой и вырождением» (с. 134).

Речь идет о процессе социализации «неистребимых инстинктов», придания им позитивного исторического содержания. Мучительно искавшая путь от эгоистического индивидуализма XX столетия к новой «аскетической гражданственности», она внимательно присматривалась к возможностям, которые, казалось, приоткрывала история.

Впрочем, даже из этих цитат очевидно, что при всех надеждах, которые возлагала Гинзбург на происходящее патристическое одушевление, оно с самого начала вызывало у нее немалую тревогу. Приблизительно в то же время и на том же листе, на котором сделана приведенная запись, она набрасывает другой фрагмент с характерным заглавием «Казенный оптимизм», в котором отразились ее обеспокоенность «горячкой накопления национальных <...> ценностей» и осторожная надежда, что эта горячка не зайдет слишком далеко:

Если это на сегодняшний день, если это военная агитация, то все в порядке. Но если оно укрепитя, то будет иметь для культуры последствия более разительные, чем все предыдущее. Ибо даже соц<иологизм> был тупым и обуженным, но все-таки методом мысли. С его помощью нельзя было сделать большого. Но что-то можно было сделать. В этом же случае мысль будет исключена во всех ее методологических формах, в применении к любому материалу. <...> И все-таки иногда мне кажется, что так не будет. Просто потому, что окажется очевидным, что одним повторением слов: гениальное, родное, великое, народное — совсем уж решительно ничего нельзя сделать (с. 134–135).

Неуверенное «и все-таки иногда мне кажется...», конечно, бессильно перечеркнуть смертельную точность сделанного прогноза. Даже радуясь возможности и способности ощущать вместе с другими «подступающее к горлу» чувство родины, Гинзбург была обречена понимать, что при всей ее готовности к гегельянскому «примирению с действительностью» ей вряд ли придется рассчитывать на то, что сама действительность соизволит с нею примириться.

Уже в конце 1943 года в новогоднем эссе «Итоги неудач», известном сейчас под позднейшим заглавием «Неудачник», Гинзбург изображает своего *alter ego* От. неизбывно одиноким и отторгнутым «общей жизнью», которая «позволяет за себя умереть, но в остальном остается непроницаемой».

Сталинское государство готовилось торжествовать победу и все в меньшей степени было склонно считаться с чувствами своих граждан.

Административная рутина неуклонно возвращалась к привычным формам. В мае 1943 года Гинзбург была переведена с должности штатного редактора Радиокomiteта во внештатные. Скорее всего, это было связано с начинавшейся антисемитской кампанией. 16 апреля из Радиокomiteта «по пятому пункту» среди других сотрудников были уволены непосредственные начальники Гинзбург Я. Бабушкин и В. Гурвич¹⁵. 6–7 августа того же года Гинзбург присутствовала на заседании в Союзе писателей, где услышала, по крайней мере в речи одного из выступавших, отчетливый шовинистский подтекст:

В нем <...> происходит наглядный процесс развязывания инстинктов. Никакая кл<ассовая> б<орьба> не могла дать этой органической потребности в заушательстве такие смачные формы, какие ей дает патр<иотизм>, р<ас>овость и т.п. Здесь открываются просто безграничные возможности для компенсации собств<енной> неполноценности (с. 88).

Заслуживает внимания частичное совпадение этой фразеологии с той, которая чуть позже была употреблена в «Этике ценностей». Вероятно, в тот момент Гинзбург еще питала известные надежды на то, что развязанные инстинкты могут быть хотя бы до некоторой степени социализованы с помощью «мудрого общественного устройства». Дальнейшее развитие событий не оставило от этих надежд ни малейшего следа.

По-видимому, в конце 1944 года было написано эссе «Еврейский вопрос». Здесь Гинзбург попыталась описать драму внутреннего самоопределения, с которой русская интеллигенция еврейского происхождения с особой остротой столкнулась с началом почти открытой дискриминации по национальному признаку. В этом эссе она с одинаковой решимостью отвергла два противоположных, но наиболее распространенных варианта поведения в такой ситуации — своеобразную гордость отверженностью, с одной стороны, и стремление к мимикрии и отказу от своей этнической идентичности — с другой. Ее позиция состояла в твердом и последовательном согласии с навязанной ей участью, но без попыток ее героизации и превращения в «автоценность». Она готова была с достоинством нести тяготы, связанные с собственным еврейством, но наотрез отказывалась искать в нем источник утешения:

...вынужденная неслиянность — неполное слияние — с духовной родиной, с сознательно принятой и утверждаемой культурой — это несчастная случайность рождения, от которой, тем не менее, не только нельзя увиливать, не только нельзя маскировать ее, но нужно ее нести со всей прямоотой и честностью, ибо только это избавляет от двойного унижения (с. 192).

15 См.: Рубашкин А. Две стороны медали // Звезда 2005. № 5. С. 214.

Такой подход — сочетание принятия своего маргинального статуса с отказом от какой бы то ни было его романтизации — определял отношение Гинзбург и к ее положению лесбиянки в гомофобном обществе¹⁶, и к роли не имеющего постоянного места работы человека в крепостническом государстве, и, что было для нее самым главным, к судьбе автора, пишущего без надежды увидеть свои произведения опубликованными.

Из всех испытаний, уготованных ей временем, более всего Гинзбург тяготилась вынужденной герметичностью главного дела своей жизни. Ее не удовлетворяло «признание нескольких человек („лучших людей“), потому что <...> такие вещи проверяются не на „лучших людях“, а на людях просто» («Итоги неудач»). Не исключено, что какое-то время она мечтала, что катастрофы войны и блокады в конечном счете откроют ее прозе дорогу к читателю, но эти иллюзии быстро развеялись. С тем большим вниманием постороннего, но жизненно заинтересованного в происходящем наблюдателя она вглядывалась в литературную жизнь тех лет, пытаясь применить к ней и ее участникам выработанные приемы своего социопсихологического анализа¹⁷.

Одной из первых Гинзбург пришла к ставшему впоследствии общепринятым выводу, что советская литература не имеет исторических precedентов и, по сути дела, вообще выходит за пределы мировой литературной традиции. При этом она вовсе не была склонна сводить дело к банальным запуганности, корысти или лицемерию пишущих, но предложила существенно более сложную интерпретацию этого явления:

У писателей, вернее у тех, кого следовало бы называть не писателями, а печатающимися, оказалось начисто перерезанным сообщение между действительностью и писанием. Писание — это область совершенно условных формулировок и материалов, и, вступая в нее, они всякий раз выключали свой жизненный опыт (с. 101).

Литература, выведенная за грань индивидуального и социального опыта своих создателей, перестает существовать в тех формах и в той функции, в которой она прежде была известна человечеству, превращаясь в «область совершенно условных значений, начисто отрезанных от реальности». Однако именно в этой точке имманентная динамика сталинского официоза вступала в противоречие с исследованными Гинзбург антропологическими и социологическими закономерностями, отменить которые оказалось не под

16 См. подробней *Ван Баскирк Э.* «Никто не плачет над тем, что его не касается». С. 160–164

17 См. подробней *Зорин А.* Из предыстории изучения социалистического реа-

лизма (В. Ходасевич и Л. Гинзбург о советской литературе) // *Varietas et Concordia: Essays in Honour of Pekka Pesonen* / Ed. by B. Hellman, T. Huttunen, G. Obatnin Helsinki 2007 (= *Slavica Helsingiensia*, 31). P. 322–337.

силу даже коммунистическому государству. Снятие, ослабление или даже стабилизация уровня репрессивного контроля фатально приводили к тому, что механизмы самоутверждения возобновляли свою работу:

Для переживания автоценности им (советским писателям. — А.З.), в силу их профессиональной принадлежности, необходимо ощущать себя в известной мере творящими. Они не могут обойтись без возвышающих иллюзий, <...> им захотелось нечто действительное сказать об этой действительности. Либо такое, что они, в меру своего разума, увидели и испытали в ней, либо такое, что в самом деле может заинтересовать или тронуть читателя. Конечно, все это в самой малой дозволенной мере, совместимой с печатанием и процветанием, но все же <...> постепенно и из разных импульсов сложилось поползновение сказать немножко правды. Они развращены печатанием, привилегированностью, поощрением, и ни в коем случае не хотят со всем этим расстаться. Поэтому им кажется, что правду можно сказать немножко, что выражение жизненного опыта можно совместить с выполнением директив. Они наслаждаются превосходством над прочими своими собратьями, которые <...> ограничиваются одним выполнением директив. Но они не знают при этом, <...> что презирать, в сущности, некого и не над кем испытывать чувство превосходства. Потому что каждый собрат по профессии точно так же хочет того же самого и точно так же хочет чувствовать себя выше других и испытывать к ним чувство презрения (с. 103–104).

Соответственно, даже вполне официальные писатели оказываются заинтересованы в том, чтобы с «пробиванием» их произведений в печать возникали сложности, позволяющие им реализовать свою автоконцепцию творческих и независимых людей и испытать чувство превосходства перед братьями по перу. Такого рода сложности становились своего рода формой признания их литературных достоинств.

В очерке «Разговор о Симонове» Гинзбург отмечает, что, по существу, каждый из действующих в литературе писателей «гордится какой-нибудь своей смелостью и свободой». Формула эта исключительно характерна для исторического мышления автора. «Смелостей и свобод» много, как много различных автоконцепций, позволяющих их носителям испытывать чувство превосходства над братьями, и эти «смелости и свободы» являются достоянием и своеобразной привилегией тотально закрепощенных людей. По мысли Гинзбург, «в условиях абсолютной несвободы очень трудно и очень легко быть смелым. Ибо все есть смелость, каждое неотрегулированное дыхание есть смелость».

Мысль о трудности быть смелым в условиях тоталитарной тирании не требует пояснений. Но Гинзбург идет дальше. Стремясь регламентировать каждый шаг, каждый поступок и каждую мысль, государство превращает любое, даже иллюзорное, отклонение от абсолютного стандарта

в поступок, в творческий акт. Такое отклонение, естественно, должно быть чрезвычайно незначительным, чтобы «не вспугнуть благополучия», или, как, впрочем, и сам стандарт, может быть даже вовсе фиктивным. Интенсивность «дифференциального ощущения» зависит не от абсолютных масштабов нарушения канона, но от субъективного переживания значимости такого нарушения сравнительно с аналогичными попытками собратьев по перу. Разумеется, распространенность подобного переживания несколько подрывает его ценность как ресурса для ощущения собственного превосходства. Соответственно, логика борьбы за самоутверждение настоятельно требует дискредитации аналогичных претензий коллег:

Смелость наших писателей это — в разных степенях — всегда одно и то же: подразумеваемое несоответствие с неким заданным стопроцентным образцом. <...> Так получается непрерывная оглядка на предельный образ и кокетство его нарушением. Игнорировать этот образ как недействительный никому из них не приходит в голову, ибо игнорирование его грозит уже настоящей внутренней свободой, которая равносильна невозможности печататься. Но эту кокетливую оглядку они превосходно чувствуют друг в друге, и друг в друге она их раздражает (с. 82–83).

Совершенно понятно, что этот анализ принадлежит человеку, полностью находящемуся за пределами советской литературы, и никаких цензурных послаблений «короткой оттепели», как точно назвала 1943–1945 годы М. Чудакова¹⁸, заведомо не могло хватить для того, чтобы литературные эксперименты Гинзбург могли оказаться хотя бы отчасти приемлемы для печати. И все же импульс, который задали советскому обществу военные потрясения, существенно интенсифицировал ее писательскую работу. Даже в условиях нового окостенения режима, похоронившего ее надежды на какую-то бы то ни было «социальную применимость» своего писательского труда в обозримом будущем, она продолжала верить, что в конечном счете «многое изменится, но не очевидным образом, изменится путем глубинных исторических сдвигов сознания, видимые результаты которых еще должны созреть» («Итоги неудач»). Трудно сказать, какую именно историческую перспективу и какой глубины изменения имела в виду Гинзбург. Но она продолжала работать на будущее сосредоточенно, упорно и с безусловной верой в свое предназначение:

Надо доделать и обеспечить сохранность. И мысль о случайностях, которым подвергаются сейчас эти единственные экземпляры, по меньшей мере столь же тревожна, как мысль о личных несчастьях (с. 168).

18 Чудакова М.О. Избранные работы. Т. I: Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 384.

Тем не менее многому из задуманного и начатого ею в 1940-е годы суждено было надолго, а в некоторых случаях и навсегда, остаться недоделанным. В «мрачное семилетие», от ждановских постановлений 1946 года до смерти Сталина, творческая активность Гинзбург резко идет на спад. В существующих сборниках ее прозы эти годы не представлены ни одной строкой, а следующий раздел открывается эссе 1954 года «О старости и об инфантильности», посвященном категории «гражданской старости», которая определяется

сознанием нереализованности возможностей вместе с сознанием, что их своевременная реализация упущена навсегда. <...> Таинственные ростки будущего, листья, которые складываются в стол, теперь не более чем следы павших замыслов¹⁹.

Лидии Яковлевне Гинзбург предстояло прожить еще три с половиной десятилетия, наполненных трудом и свершениями. Она дождалась и запоздалого, но бесспорного признания, сначала как литературовед, а потом и как прозаик. Но творческий подъем, пережитый ею в самые трудные годы жизни, так и остался беспрецедентным в ее писательской судьбе. Прерванный историей в кульминационной точке, он не получил окончательного воплощения. Мы не знаем, в какой мере Гинзбург удалось «обеспечить сохранность <...> единственных экземпляров» и что из написанного ею утрачено. И все же до нас дошла целая россыпь более или менее оформленных черновиков, заготовок, записей, набросков, фрагментов. Под этой обложкой им, наконец, суждено обрести свое литературное бытие.

¹⁹ Гинзбург 2002. С. 190.

«ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА»: ИСТОРИЯ ТЕКСТА

«Записки блокадного человека» — безусловно, самое известное произведение Л.Я. Гинзбург, определившее ее репутацию как прозаика. В то же время текст «Записок...» в том виде, в котором он дошел до читателя и, в частности, напечатан в наиболее полном на сегодняшний день издании «Записные книжки. Воспоминания. Эссе»¹, вовсе не представляет собой какой-то завершенной, окончательной редакции, но, напротив того, сложился во многом под влиянием возникавших у автора возможностей для публикации.

Первоначальная публикация «Записок...» в журнале «Нева» (1984. № 1) содержала только текст, известный сегодня как «Часть первая». Раздел «Вокруг „Записок блокадного человека“» был опубликован в 1989 году в сборнике «Человек за письменным столом» (ЧПС) в качестве своего рода приложения к основному тексту, а «Часть вторая» появилась в посмертно вышедшем в 1991 году сборнике «Претворение опыта» (ПО). При этом итоговый текст отражает не только многолетнюю работу автора над литературным воплощением своего блокадного опыта, но и давление исторических обстоятельств и цензурных ограничений. Длинный ряд переделок и перекроек текста был в значительной степени вызван стремлением Гинзбург донести до читателя важные для нее мысли и фрагменты даже за счет стройности и последовательности произведения в целом.

В 1984 году при первой, сокращенной, публикации «Записок...» в «Неве» Гинзбург поставила под текстом тройную дату: «1942–1962–1983». В 1986 году в интервью «Литературной газете» она наполнила эту хронологию биографическим содержанием:

... В 1942 году, когда стало полегче, я начала записывать факты, разговоры, подробности блокадной жизни — заготовки для неопределившейся еще будущей работы. Сейчас я удивляюсь тому, как могла это делать. Как удивляюсь, что, например, могла тогда притащить на саночках, поднять на четвертый этаж и распилить большое бревно.

Прошло двадцать лет. Трудно было возвращаться «в блокаду», да и разные дела отвлекали. В 1962 году я наконец связала свои заготовки в единое повествование. Для повествования не обязателен вымысел, обязательна структурность, организация материала. В данном случае организация достоверных и точных фактов открыла дорогу вымыслу — в виде условного и суммарного героя, нужного для скрепления и развертывания материала.

¹ Гинзбург 2002

Прошло много лет. Появилась «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина <...> «Блокадная книга» послужила толчком, побудила меня представить рукопись в «Неву». В 1983 году я сделала последнюю обработку. Отсюда в конце три даты: годы 42–62–83².

Эта датировка отражает кульминационные моменты работы Гинзбург над текстом, однако нуждается в некоторых уточнениях и конкретизации. Материалы архива Гинзбург, переданные А.С. Кушнером в 1990 и 2006 годах в Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (РО РНБ. Ф. 1377), в основном позволяют восстановить историю работы Гинзбург над ее главным произведением, продолжавшейся без малого полвека и завершившейся лишь со смертью автора.

Еще в октябре 1941 года Гинзбург должна была принять участие в задуманном В. Орловым, Л. Рахмановым и Евг. Рыссом сборнике «День осажденного города», в котором предполагалось дать развернутую панораму повседневной жизни в Ленинграде. За Гинзбург была закреплена глава об одном дне жилого дома номер 18 на Моховой улице³. Вполне возможно, что этот замысел мог отразиться потом в «<Дне Оттера>», выстроенном по принципу «день блокадника» и содержащем размышления о восприятии домов в прифронтовом городе, подвергающемся бомбежкам и обстрелам.

Работу над прозой о блокаде Гинзбург начала во второй половине 1942 года. Однако служебные обязанности, необходимость заботиться о матери, чье здоровье стремительно ухудшалось, и неизжитая голодная травма еще не позволяли Гинзбург сосредоточиться на литературном творчестве. Скорее всего в тот период она ограничивалась записью разговоров окружающих и отдельными набросками. Как явствует из их содержания, большинство разговоров, составивших основу фрагмента «Учреждение», вошедшего в окончательной публикации во вторую часть «Записок», были записаны в августе–сентябре 1942 года, хотя часть зафиксированных там диалогов, как и диалоги из фрагмента «Столовая», относятся к лету 1943-го⁴.

2 Из интервью с Г. Силиной: Литературная газета. 1986. 15 января

3 См.: Голоса из блокады: Ленинградские писатели в осажденном городе.

(1941–1944) / Сост. З. Л. Дичаров. СПб.: Наука, 1966. С. 150. Среди других авторов сборника «День осажденного города», упоминаемых Гинзбург, — Е. Каралина (глава о скорой помощи) и О. Кузнецова (глава об Институте переливания крови).

4 Стенографические записи повседневных разговоров составляли важную часть подготовительной работы Гинзбург. Эти записи делались с самыми разными целями — иногда они должны были служить заготов-

ками для тех или иных повествований или эссе, иногда материалом для теории устной речи и человеческого поведения. Неизменный интерес Гинзбург к этой проблематике, по-видимому, особенно обострился в 1940-е годы. Многие примеры такого рода интереса можно найти в настоящей книге, сохранились и другие незавершенные эссе и наброски, один из которых называется «Словоупотребление». Все эти записи размывают дистанцию между ранними вариантами «Записок блокадного человека» и другими произведениями Гинзбург, как, например, «Проходящие характеры», «Слово», эссе «Казенный оптимизм» и проч.

Эта ситуация изменилась после смерти матери Гинзбург в конце 1942 года (см. комментарий к «Рассказу о жалости и о жестокости») и, по-видимому, вынужденного перехода Гинзбург с должности штатного редактора Радиокомитета во внештатные редакторы в мае 1943-го. Ее систематическая работа над повествованием о блокадном опыте начинается, вероятно, в 1943 году и идет с исключительной интенсивностью параллельно с созданием других произведений, включенных в настоящее издание, — «Рассказ о жалости и о жестокости», записной книжкой «1943» и тетради «Слово».

По-видимому, контуры будущего произведения или, скорее, будущих произведений оставались поначалу неясными для самого автора. Она фиксировала разговоры, которые слышала или в которых принимала участие, писала более или менее крупные отрывки, описывала характеры действующих лиц. Оформлению повествований предшествовало создание более или менее развернутых планов, на основании которых должны были монтироваться готовые фрагменты. Как свидетельствуют эти планы, форму «одного дня» из жизни блокадника Гинзбург нашла на сравнительно раннем этапе работы над текстом. В ранних планах появляется и изображение круга — графической метафоры безысходности блокадных дней.

Потом часть текста, композиция которого была более или менее установлена, переписывалась, часто с пробелами и пометами в местах для еще не написанных вставок. Процедура перекомпоновки и доработки могла повторяться неоднократно, составлялись новые планы, отдельные отрывки менялись местами, страницы перекладывались, разрезались на части, перенумеровывались и т.п.

Понятно, что при такой технике письма практически невозможно сколько-нибудь достоверно установить последовательность работы автора над текстом, тем более что сохранившиеся наброски и черновики не датированы — за исключением датированного 29 марта 1943 года фрагмента «Страх и нейтрализующий его голод и проч. Усталость», который в настоящем издании помещен в раздел «Записи и фрагменты, связанные

По свидетельству племянницы Гинзбург Н.В. Соколовой, «Люся называла это „моя работа скрытой камерой“, „моя скрытая съемка“. <...> Она записывала тишком разговоры людей — важное и неважное, буквально все подряд, не отбирая и не корректируя. Снял человек телефонную трубу и сказал: „Алло! Алло!“ — в записи появляется „Алло! Алло!“ Бросил человек недоконченную фразу: „Идите вы ко всем.“ — появляется „Идите вы ко всем.“. “ Ничего от себя, ничего сверх сказанного, коряво так коряво, неграмотно

так неграмотно, никакой грамматической коррекции, причисывания. Записывала в кафе, на почте, на трамвайной остановке, в гостях, в редакции, где угодно. <...> Получалась, как правило, удивительная иллюзия жизненности... Такая работа „скрытой камерой“ есть во второй половине „Записок блокадного человека“ <...> Выдумывать, сочинительствовать задним числом Люся себе не позволяла» (РГАЛИ Ф. 3270. Оп. 1 Ед. хр. 27. Л. 58) Ср.: *Paperno / Beyond Literary Criticism // Canadian American Slavic Studies 1985 (Summer) Vol. 16. № 2. P. 185.*

с „<Днем Оттера>“. Тем не менее сохранившиеся материалы довольно отчетливо распадаются на несколько массивов.

1. Очерк «Оцепенение», в сильно переработанном виде вошедший впоследствии в раздел «Вокруг „Записок блокадного человека“». По-видимому, он начал писаться несколько раньше других частей повествования. В рукописи очерк не озаглавлен, но ссылка на него именно с этим названием есть в написанном в 1943 году разделе «Проходящие характеры» из тетради «Слово».

2. Повествование о дне блокадника, которое в настоящем издании публикуется под названием «<День Оттера>» (об истории этого названия см. ниже). Эта рукопись разделена на три части. Первая часть описывает утро полуавтобиографического героя до сборов на работу, вторая посвящена его рабочему дню, а третья — вечеру после окончания работы.

Первая часть состоит из разделов «Пробуждение», «Тело», «Домашние дела», «Первое соприкосновение с городом и едой» (названия некоторых из них были вписаны в рукопись в 1960-е годы, а их нумерация в рукописи осталась несогласованной). Вторую часть составили разделы «Сборы», «Учреждение», «Торопливость», «Трамвай», «Обед», «Промежуток <1>», «Промежуток <2>» и «Круг», получившие номера с 1-го по 8-й. Разделы «Последнее возвращение домой», «Ужин», «Порыв» и «Отход ко сну» были объединены в третью часть с номерами со 2-го по 5-й. Первый раздел третьей части не обнаружен. Возможно, это место должно было принадлежать обозначенному в одном из планов фрагменту «Второй заход в учреждение».

3. Записи разговоров, сделанные в 1942–1943 годах и вошедшие как во вторую часть «Записок» в разделы «Учреждение» и «Столовая», так и в описание обстрела и очереди, включенное в окончательной редакции в первую часть.

4. Развернутые характеристики некоторых персонажей «Записок...» и других произведений Гинзбург.

5. Ряд отрывков, написанных в 1940-е годы и первоначально не входивших в обнаруженный нами текст «<Дня Оттера>», но введенных автором в переработанном виде в текст повествования на более позднем этапе. Наиболее крупную часть этих отрывков составляют наброски размышлений, которые Гинзбург планировала включить в «<День Оттера>» в качестве «Теоретического раздела».

В состав настоящего издания включены написанные в 1940-е годы редакции «Оцепенения», первой, второй и третьей частей ранней редакции «Записок» («<День Оттера>»), а также примыкающих к этому повествованию фрагментов и набросков, составивших раздел «Записки и фрагменты, связанные с „<Днем Оттера>“». Несмотря на то что значительная часть этих текстов с некоторыми изменениями вошла потом в окончательную редакцию, мы приняли решение представить этот этап работы Гинзбург над своим произведением в максимально полном виде, отражающем первоначальные представления автора о композиции и общем облике блокадного повествования.

От отдельной публикации записей разговоров мы решили воздержаться, поскольку они, по существу, не отличаются от версии, напечатанной в окончательном тексте «Записок...», за исключением некоторых сокращений в самих записях и комментариях к ним, которые Гинзбург делала, скорее всего, в 1960-годы. Эти черновые наброски (ЧН) в целом ряде случаев сохранили подлинные имена и инициалы участников этих бесед, измененные при позднейшем редактировании. Тем самым они позволяют идентифицировать прототипы многих персонажей «Записок». Мы приводим их в качестве разночтений к тексту второй части.

Характеристики персонажей, не включенные Гинзбург в состав книги, здесь не печатаются, поскольку их связь с «Записками...» остается неясной.

Итак, основная часть текста, позднее получившего название «Записки блокадного человека», была создана уже в 1940-х годах. Однако выстроить на его основе завершённое произведение автору на этом этапе не удалось. Неизвестно, когда именно Гинзбург прекратила работу над рукописью. Насколько можно судить по сохранившимся в ее архиве материалам, в 1946–1954 годах она даже не вела работу над записными книжками. Возможно, окончательно определившаяся «социальная нереализуемость» ее замыслов блокировала их окончательное оформление. В эти годы Гинзбург пишет докторскую диссертацию о «Былом и думах» Герцена, работает доцентом Карело-Финского государственного университета в Петрозаводске (1947–1950).

Возобновление работы над произведением о блокаде, датированное Гинзбург 1962 годом, скорее всего связано со второй волной оттепели, начавшейся после XXII съезда КПСС и сделавшей возможной публикацию таких произведений, как «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. Можно предположить, что успех солженицынской повести и ее кратковременное официальное признание могли подать Гинзбург надежду на публикацию «Записок...». Ее замечания в «Преамбуле» к новой версии блокадного повествования на злободневные тогда политические темы — о вьетнамской войне или о человеконенавистнических высказываниях Мао — были попыткой найти то, что она позднее называла «точками совместимости»⁵, т.е. круг вопросов, по которому она могла вполне искренне высказываться, не расходясь существенно с официальной точкой зрения. С интеллектуальной проблематикой первой половины 60-х годов связана и развернутая полемика Гинзбург с французским экзистенциализмом, популярным в ту пору в среде московской и ленинградской интеллигенции.

«Преамбула», позднее в сокращенном и переработанном виде под заглавием «Записи в дни блокады» вошедшая в раздел «Вокруг „Записок блокадного человека“», была отчасти переработана из готовившегося для

⁵ Гинзбург 2002 С. 281

«<Дня Оттера>» «Теоретического раздела», отчасти написана наново. При работе над другими частями своего произведения Гинзбург опиралась на рукописи 40-х годов, впрочем, довольно существенно отредактированные. Одна из значимых правок — перемена имени героя с характерного для 40-х годов Оттера на знакомого современным читателям Эн. На рукописи «Отрезков блокадного дня» 40-х годов Гинзбург делает помету: «День От<тера> — Эн», на основании которой мы сочли возможным дать первоначальной редакции повествования заглавие, под которым она здесь публикуется.

Еще более существенной была композиционная переработка рукописи — в новой редакции Гинзбург стремилась как можно дальше отойти от формы «одного дня» из жизни блокадника, определившей нарративную структуру «<Дня Оттера>». Вполне вероятно, что она стремилась избежать параллелей с «Одним днем Ивана Денисовича», которые неизбежно возникли бы у читателей 60-х годов, чтобы ее повествование, написанное задолго до рассказа Солженицына, не воспринималось бы как развитие заложенной им традиции.

Завершая черновую рукопись «Преамбулы» к «Запискам...» и сравнивая описанный ею день блокадника с «Историей вчерашнего дня» Толстого, Гинзбург, в частности, с немалой долей горечи написала:

За ту четверть века, что ~~черновики~~ ~~черновые варианты~~ заготовки этого дня лежали в моем письменном столе, — появился у него непосредственный предшественник «Один день Ивана Денисовича» (с. 453).

Посетовав на «подмененный» литературный процесс, Гинзбург довольно скептически отозвалась о солженицынской повести, хотя и признала ее общественную значимость. Во второй половине 60-х годов, уже в пору травли Солженицына, Гинзбург сняла негативные суждения об «Одном дне Ивана Денисовича», но сохранила упоминание о том, что у «...произведений, десятками лет созревающих и распадающихся в письменных столах, за это время появляются предшественники, столь же естественно, как у печатной литературы преемники»⁶.

Впрочем, к этому времени Гинзбург в основном отказалась от формы «одного дня». Соответственно, поменялось и заглавие повествования. Вместо «Дня Оттера — Эн» оно стало называться «Блокада».

Свое первоначальное оформление новая редакция получила (возможно, еще до перемены названия) в рукописи «Блокады» (БР), а затем в машинописных редакциях ПМ (первая машинопись), МЧИ (машинопись части II) и ВМ (вторая машинопись).

6 РГАЛИ. Ф. 3270 Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 15.
См. оба варианта окончания «Преамбулы»
в разделе «Фрагменты, не вошедшие

в «Вокруг „Записок блокадного человека“»
на с. 452–453 наст. изд.).

БР, ПМ и *ВМ* включают в себя «Преамбулу», примерно соответствующую разделу «Записи в дни блокады» из окончательной редакции, и промежуточную редакцию текста, позднее ставшего известным как первая часть «Записок блокадного человека». При этом значительные фрагменты как *БР*, так и *ПМ*, не обнаружены. *ВМ* дошла до нас полностью.

Хронологически *ВМ* отделяет от *ПМ* небольшой промежуток. Так, содержащееся в *ПМ* хронологическое указание: «на днях президент Джонсон...» заменено в *ВМ* на «недавно президент Джонсон...» (с. 427). Это упоминание позволяет условно датировать окончание второго этапа работы над рукописью временем не позднее 1968 года, т.е. года, когда истекли президентские полномочия Л. Джонсона, вероятнее всего, в 1965 г.⁷ Фрагмент «Оцепенение», получивший в 60-е годы подзаголовок «Признания уцелевшего дистрофика», занимает в тексте «Блокады» отдельное место. В этой редакции Гинзбург делает попытку отделить повествователя «Оцепенения» от героя «Записок» и потому переводит текст «Оцепенения» в написанный от первого лица.

Два нижеследующих психологических эпизода рассказаны были мне двумя людьми, ничего не знавшими друг о друге.

Оба эпизода изложены мною условно (первый — кратко, второй — пространно) в виде связно построенных признаний. Они изложены мною, и потому, вероятно, эти повествования приобрели сходство друг с другом и со всем прочим, что написано мною о блокаде⁸.

По замыслу автора, очерк должен был занять место «между первой и второй частями» повествования. Скорее всего, под «первой частью» здесь подразумевается «Преамбула», а под второй частью — то, что мы сегодня знаем как «Часть первую» «Записок блокадного человека». Именно эти два раздела составили итоговую для 60-х годов редакцию *ВМ*, получившую заголовок «Блокада».

Что же касается собственно раздела, известного сегодня как «Часть вторая», то Гинзбург, скорее всего, сравнительно рано поняла, что напечатать его будет невозможно. По свидетельству Г.Д. Муравьевой, Гинзбург считала вторую часть повествования недоработанной. Соответственно, она осталась за пределами новой редакции, сохранившись в *МЧИ*, куда вошли фрагменты «Сборы», «Учреждение», «Торопливость», «Трам-

7 См. с. 572 наст. изд., примеч. 2.

8 Запись, хранящаяся в ОР РНБ, сделана на отдельном листе бумаги. Более поздняя версия записи сохранилась в РГАЛИ, где она предшествовала очерку «Оцепенение»: «Между первой и второй частями: признания уцелевшего дистрофика. Два последующих психологических эпизода рассказаны были мне двумя людьми.

Этот психологический эпизод реконструирован мною (от первого лица) на основе рассказа одного из блокадных людей о своем блокадном опыте. Он реконструирован мною и потому, вероятно, по способу повествования стал похож на все прочее, что здесь мною написано» (Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 1).

вай», «Обед», «Промежуток» и «Вечер». Сравнительно с *ЧН* здесь отредактированы, как правило в сторону сокращения, авторские комментарии к записанным разговорам.

По мере окончания оттепели и устроения цензурного режима в середине и второй половине 60-х годов становилось ясно, что и другие разделы блокадного повествования Гинзбург в принципе не могут появиться в подцензурной печати. Принятое автором в начале 70-х годов решение переплести находившиеся в ее распоряжении экземпляры *ВМ* (один из них был переплетен перепечатававшей его И.И. Подольской) зафиксировало статус *ВМ* как окончательной на тот момент редакции книги и ее «самиздатский» характер. По свидетельству И. Паперно, выполнявшей в 1973–1975 годах для Гинзбург некоторые секретарские обязанности, Лидия Яковлевна продолжала работу над текстом и в эти годы.

Распространения в самиздате эта машинопись не получила, вероятно, из-за осторожной позиции, занятой Гинзбург, опасавшейся преследований со стороны властей⁹. В 1960–1970-е годы ей удается опубликовать свою научную трилогию: «О лирике» (1964, 2-е изд.: 1974), «О психологической прозе» (1971, 2-е изд.: 1977), «О литературном герое» (1979) и сборник статей и воспоминаний «О старом и новом» (1982), где также появились фрагменты из ее записных книжек¹⁰.

Не исключено, что именно упрочившийся статус Гинзбург как литературоведа облегчил публикацию первой части ее блокадного повествования в журнале «Нева». Для этого издания в 1983 году Гинзбург осуществила еще одну переработку рукописи, отразившуюся, в частности, в корректуре журнальной публикации. Она сделала несколько небольших сокращений автоцензурного характера, отредактировала текст, а главное, дополнила его фрагментами из не предполагавшихся в то время к публикации частей книги. Так, сюда из второй части вошли целиком «Трамвай» и почти полностью «Промежуток», а также несколько важных для автора философских рассуждений из «Преамбулы». Специально для публикации в «Неве» было написано новое начало повествования о чтении в блокадном Ленинграде «Войны и мира» Толстого. Не исключено, что этот фрагмент должен был послужить своего рода «цензурным прикрытием» для публикации, однако несомненно он отражал позицию автора и в неизменном виде вошел во все последующие перепечатки¹¹.

9 Ср.: Кумпан Е.А. Ближний подступ к легенде. СПб., 2005. С. 66

10 Примерно в то же время небольшой фрагмент «Записных книжек» был напечатан в журнале «Новый мир» Гинзбург Л. Человек за письменным столом. По старым записным книжкам // Новый мир 1982 № 6. С. 235–245

11 Р. Густафсон обратил внимание на сходство этого фрагмента с началом статьи Гинзбург «О романе Толстого „Война и мир“» (1944), где она, в частности, писала: «В дни Великой Отечественной войны мы читаем „Войну и мир“, как ее еще никогда не читали с небывалой сосредоточенностью, с ощущением беспрестанно возникающих аналогий, с на-

Финал опубликованного в 1984 году текста, начиная со слов «Круг — блокадная символика замкнутого в себе сознания», в МЧП завершал вторую часть «Блокады». Кроме того, заголовок «Блокада» к этому времени был уже «занят» одноименным официозным романом А.Б. Чаковского. Для публикации Гинзбург дала своему повествованию ставшее окончательным название: «Записки блокадного человека», найдя своего рода компромисс между сугубой партикулярностью первого заголовка («День Оттера — Эн») и предельным универсализмом второго («Блокада»). Формула «Записки блокадного человека», с одной стороны, фиксирует ориентацию автора на воплощение индивидуального опыта, а с другой — передает этот опыт от полуавтобиографического Оттера условно-обобщенной фигуры «блокадного человека».

Надо сказать, что итоговое название «повествования» оставляет открытым вопрос, кто именно скрывается под определением «блокадный человек» — Эн, автор или некий обобщенный персонаж, который часто заменяет Эн. Гинзбург завершает первую часть словами: «написать о круге — прорвать круг <...> В бездне потерянного времени — найденное», но она, в отличие от Пруста, так и не вложила перо в руки своего героя (речь от первого лица, иногда возникающая в тексте «Записок...», явно не принадлежит Эн). В то же время «Отрезки блокадного дня», напечатанные позднее в составе раздела «Вокруг „Записок блокадного человека“», завершаются описанием посетившего Эн «возбуждения мыслей, как будто пытающихся освободиться», которое может быть истолковано как возобновление его литературной работы.

Публикация «Записок...» на год опередила начало перестройки, за которым последовали постепенное ослабление цензуры, а после 1989 года практически полное снятие цензурных ограничений. Нарастающий во второй половине 80-х годов интерес к ранее запретным произведениям сделал возможной публикацию значительной части прозы Гинзбург. Новые издания «Записок блокадного человека» появляются в составе сборников Гинзбург «Литература в поисках реальности» (1987) и «Человек за письменным столом» (1989).

В ЛПР Гинзбург вернула в текст некоторые (не все) фрагменты, ранее снятые, в том числе, вероятно, по цензурным соображениям. Работа в этом же направлении была продолжена (снова не до конца) в ЧПС — в последнем и своего рода итоговом прижизненном издании прозы Гинзбург. В ЧПС она также дополнила первую часть «Записок» некоторыми ранее не печатавшимися фрагментами рукописи, составившими раздел «Вокруг „Записок блокадного человека“». Сюда вошло эссе «Записи в дни блокады», представляющее собой сокращенный, сравнительно с *ВМ*,

пряженной потребностью проверить свой опыт творчеством величайшего из реалистов» (Звезда. 1944. № 1 С. 125; см

Gustafson R. F. Lidia Ginzburg and Tolstoj // Canadian-American Slavic Studies. 1994. Vol. 28 № 2/3. P. 210

вариант «Преамбулы», а также очерк «Оцепенение» и цикл «Отрезки блокадного дня», составленный из фрагментов «Торопливость», «После обеда» и «Вечер», ранее входивших во вторую часть повествования.

При этом отрывки из «Преамбулы» и второй части, ранее включенные в первую, остались на местах, определившихся еще при публикации «Записок...» в «Неве». По-видимому, Гинзбург, которой во время подготовки *ЧПС* было уже больше восьмидесяти пяти лет, собиралась завершить на этом публикациию «Записок». Однако в 1989 или в 1990 году Н.М. Кононову удалось уговорить ее напечатать три оставшихся неопубликованными фрагмента второй части: «Сборы», «Столовая» и «Учреждение». Они увидели свет в подготовленном им сборнике «Претворение опыта», вышедшем в 1991 году уже после смерти Гинзбург. (В этом сборнике под заголовком «Записи 1940-х годов» была также напечатана часть ранее не публиковавшейся записной книжки «1943».) Эти три фрагмента напечатаны в *ПО* под заглавием «Записки блокадного человека. Часть вторая» с кратким вступлением, специально написанным для этого издания. На этот раз правка Гинзбург — вероятно, в связи с состоянием ее здоровья в последние месяцы жизни — была минимальной и, по сути дела, свелась к достаточно непоследовательной замене имен и инициалов действующих лиц, упомянутых в *МЧИ*, на условные обозначения.

Полный свод перемещений фрагментов текста от редакции *ВМ* и *МЧИ* к итоговому тексту «Записок блокадного человека» см. в нижеследующей таблице. В крайних (слева и справа) колонках таблицы приводятся разделы, где находится соответствующий фрагмент в тексте «Записок блокадного человека» и «Блокады». В примыкающих к ним колонках — номера страниц: для «Записок» — по тексту настоящего издания, для «Блокады» — по тексту *ВМ* и *МЧИ*. Каждый фрагмент обозначен или заголовком, или начальными словами, а также буквой кириллического алфавита. Чтобы обнаружить, где тот или иной фрагмент из «Записок...» находился в тексте «Блокады», нужно найти соответствующую букву в правой части таблицы.

Таким образом, как уже говорилось выше, итоговая версия «Записок блокадного человека» в том виде, в котором они известны читателю, не носит завершенного характера, особенно если учитывать не до конца доработанную и во многом спонтанную публикацию второй части. Кажется, что более логичной и стройной выглядит композиция 60-х годов, в том виде, в котором мы можем судить о ней по *ВМ* и *МЧИ*. «Преамбула» содержала своего рода философское эссе о социальной природе ценностей и тупиках эгоистического сознания, особенно отчетливо выявленных блокадной катастрофой. В первой части речь шла о психологии и социологии голода, вторая часть представляла собой детальное воспроизведение мелких отрезков блокадного дня и блокадных разговоров.

Вместе с тем возвращение к этой редакции в настоящем издании не представляется возможным, сколь бы соблазнительными ни выглядели текстологические аргументы в пользу такого решения.

ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА

БЛОКАДА

Часть	Страницы (наст. изд.)	Фраза или <i>Заголовок</i>	Ссылка	Ссылка	Фраза или <i>Заголовок</i>	Страницы (ВМ и МЧП)	Часть
		В годы войны люди... (введение)					
	311	Мне нужно было...	А	П	Не следует думать...	1	
	313	Ремарк...	Б	Е	В блокадном Ленинграде...	4	
	314	Сейчас начинается лето...	В	Р	В целом люди проявили ..	11	
	322	Тянется...	Г	Б	Ремарк...	41	
	323	Быть может...	Д	С	Камю с его предупреждением...	43	Прембула
I	328	В блокадном Ленинграде .	Е	Г	В обстановке блокады < .> Тянется..	45	
	331	Люди с Большой земли...	Ж	Т	Сначала всем казалось, <...> интеллигентам хотелось	47	
	339	Зимой трамвай...	З	А	Мне нужно было...	1	
	341	И вдруг тревога ..	И	В	Сейчас начинается лето .	6	
	345	Мания еды...	К	Д	Быть может ..	27	I
	358	Круг — блокадная символика... (конец)	Л	Ж	Люди с Большой земли...	41	
	359	<i>Сборы</i>	М	К	Мания еды...	64	
II	359	<i>Учреждение</i>	Н	У	<i>Оцепенение</i>		Между I и II
	398	<i>Столовая</i>	О	М	<i>Сборы</i>	1	
Вокруг «Записок блокадного человека»	423	Не следует думать...	П	Н	<i>Учреждение</i>	2	
	424	В Ленинграде в целом люди проявили...	Р	Ф	<i>Торопливость</i>	107	
	430	Камю с его < .> предупреждением .	С	З	<i>Трамвай</i>	110	
	431	Интеллигентам хотелось...	Т	Х	<i>Обед</i>	114	
	433	<i>Оцепенение</i>	У	О	Сейчас (в отличие от зимы) в столовой уже разговаривают... (<i>Обед</i>)	117	II
	438	<i>Торопливость</i>	Ф	Ц	<i>Промежуток</i>	179	
	439	После трамвая... (<i>Торопливость</i>)	Х	И	Сегодня Эн заходит в подъезд... (<i>Промежуток</i>)	185	
	440	<i>После обеда</i>	Ц	Ч	<i>Вечер</i>	196	
	441	<i>Вечер</i>	Ч	Л	Круг — блокадная символика (<i>Вечер</i>)	204	

Как уже было отмечено выше, ряд исправлений, внесенных в текст публикации в «Неве» в 1984 году, скорее всего по цензурным соображениям, был снят в ЛПП и ЧПС, в то время как многие другие были сохранены. При этом во второй половине 1988 года, когда готовился к печати сборник ЧПС, серьезных ограничений цензурного характера для такого рода публикаций уже не оставалось. Сейчас невозможно сказать, была ли эта практика порождена реликтовыми опасениями, сохранившимися у автора или редакторов, недосмотрами или творческой волей. Кроме того, параллельно с вынужденными сокращениями и перекомпоновкой текста Гинзбург осуществляла серьезную работу по его совершенствованию. Вероятно, значительные сокращения, сделанные именно в ЧПС при публи-

кации «Прембулы», были вызваны тем, что те или иные мысли, казавшиеся Гинзбург важными в 60-е годы, утратили для нее актуальность в 80-е или нашли свое более адекватное выражение в других фрагментах ЧПС.

Само название «Записки блокадного человека», неразрывно связанное в сознании сегодняшнего читателя с именем Гинзбург, строго говоря, принадлежит только последнему варианту книги. Кроме того, при публикации полного сохранившегося текста ранней редакции предпочтительней поместить рядом с ним не промежуточную версию, но окончательную редакцию, наиболее далеко отстоящую от варианта 40-х годов.

Есть здесь и еще одно, менее очевидное, соображение. Сама техника письма Гинзбург противится идее окончательного, канонического текста. Скорее, мы имеем дело с принципиально незавершенным произведением, работа над которым не могла быть окончена, а была лишь прервана смертью автора.

Поэтому мы приняли решение сохранить в настоящем издании редакцию, установившуюся в ЧПС и ПО, отразив в то же время основные разночтения между последней версией текста, с одной стороны, и рукописью БР и машинописными редакциями ПМ, ВМ и МЧИ, с другой, за исключением частных исправлений, носящих сугубо стилистический характер.

Для подготовки настоящего издания были использованы рукописи:

Фонд Л.Я. Гинзбург в ОР РНБ (Ф. 1377): 1. Рукопись «Блокады» (БР); 2. Первая машинопись «Блокады» (ПМ); 3. Машинопись Второй части «Блокады» (МЧИ); 4. Экземпляр Второй машинописи (ВМ) с вырванной «Прембулой» и несколькими вложенными в него разрозненными машинописными страницами (фрагмент о вшах) с минимальной авторской правкой; 5. Рукопись «Оцепенение (признания уцелевшего дистрофика)»; 6. Корректурa первой части «Записок блокадного человека» для публикации в «Неве» с авторской правкой и замечаниями корректора; 7. Отдельные планы и отрывки на разных бумагах, найденные нами в разных частях архива.

Фонд племянницы Гинзбург Н.В. Соколовой в РГАЛИ (Ф. 3270): 1. Прембула, озаглавленная «[Психология личности в блокадном Ленинграде]», 1960-е годы (Оп. 1. Ед. хр. 79); 2. Машинопись фрагмента «Оцепенение», озаглавленного «Между первой и второй частью: Признания уцелевшего дистрофика», 1970-е годы, а также Первая часть «Записок...» (Оп. 1. Ед. хр. 81).

Экземпляр ВМ из личного архива И.И. Подольской.

ЭМИЛИ ВАН БАСКИРК
АНДРЕЙ ЗОРИН

<РАССКАЗ О ЖАЛОСТИ И О ЖЕСТОКОСТИ>

В 1960-е годы в рукописи, называвшейся тогда «Блокада» и опубликованной 20 лет спустя под заглавием «Записки блокадного человека», Гинзбург рассказала «историю О.». Герой был вынужден взять к себе старшую сестру, находившуюся «уже в необратимо дистрофическом состоянии». <...> Его раздражали ее все возрастающая бесполезность и жертвы, которые он ей принес и продолжал приносить. И с грубостью, удивлявшей его самого, он говорил ей об этом. Но тут же рядом существовал другой пласт сознания, и в нем очевидность, что без сестры молчание было бы окончательным, невероятным. <...> Дистрофическая сестра была объективирующей средой, аудиторией, оценивающей успех — концентраты и сухари, полученные согласно довольно высокому положению в иерархии. Но к блокадной истории О. я еще вернусь. К рассказу о жалости и о жестокости» (см. с. 352–353 наст. изд.). Публикуя «Записки...» в 1980-е годы, Гинзбург сняла упоминание о намерении вернуться к этой истории. Видимо, понимала, что сил на это уже не осталось.

Сегодня мы знаем, что О. (Оттер), наряду с Эн, — одно из условных обозначений автора, которым Гинзбург особенно часто пользовалась в 1930–1940-х годах. Рассказ, к которому она собиралась вернуться, был подробным описанием блокадной смерти. Во время блокады автору довелось стать непосредственным свидетелем кончины близкого человека. Ее мать, Раиса Давидовна Гинзбург, умерла в Ленинграде в конце 1942 года.

Тема смерти всегда была одной из центральных в прозе Гинзбург. Ей посвящены два ее «повествования», написанных с середины до конца 1930-х годов, — «Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли». В последнем речь идет о кончине Старика — персонажа, который вобрал многие биографические черты дяди и отчима автора — Марка Моисеевича Гинзбурга, взявшего на себя после смерти отца Лидии Яковлевны, Я.М. Гинзбурга, попечение о вдове брата и ее детях. М.М. Гинзбург умер в Детском Селе в 1934 году. На периферии «Заблуждения воли» возникает и фигура Тетки. Подробный анализ характера этого персонажа был дан Гинзбург в набросках к большому повествованию «Дом и мир», над которым она работала в предвоенные годы. Смерть Тетки стала темой «<Рассказа о жалости и о жестокости>», где в истории ее отношений с двумя племянниками — Оттером и V. (или В.) — отразились обстоятельства жизни Р.Д. Гинзбург и ее детей — Лидии Яковлевны и Виктора Яковлевича Типота, жившего в годы войны с семьей в Москве (подробнее об этом см. в статье Э. Ван Баскирк в наст. изд.).

«<Рассказ о жалости и о жестокости>» написан вскоре после смерти Р.Д. Гинзбург, скорее всего в 1943 или 1944 году, определенно, как явствует из текста, до окончания войны. Сохранившийся набросок, содержащий диалог между героями «<Рассказа...>», сделан, вероятно, ранней осенью 1942 года (см. «Разговор с теткой» из «Фрагментов, связанных с тетрадью „Слово“»).

Рукопись «<Рассказа...>» написана частью карандашом, частью чернилами в нескольких школьных тетрадях без обложек, которые без соблюдения порядка были сложены в один переплет с рукописью «Заблуждения воли». Судя по незначительному количеству исправлений, текст переписан с черновика, от которого осталось только 11 страниц на голубой промокательной бумаге, пронумерованных цифрами 1–11. Сохранившийся фрагмент черновика начинается фразой: «Еще одна аберрация, самая главная» — и заканчивается кратким планом финала повествования, следующим за фразой: «Отгер боялся для нее проблесков сознания». Два фрагмента, по несколько тетрадных строчек каждый, вырезаны, но не заменены другим текстом. В одну из тетрадей вложены два отрывка со вставками, но место для них в рукописи не указано и поддается лишь предположительному определению.

- 1 Конфеты из жмыха, блокадный деликатес.
- 2 Из стихотворения А.А. Блока «Голос из хора» (1910–1914).
- 3 Листья кормовой капусты.
- 4 Отсылка к повествованию Гинзбург «Мысль, описавшая круг» (конец 1930-х), посвященному проблеме смерти, и, возможно, к повествованию «Заблуждение воли» (конец 1930-х), впоследствии опубликованному ею как «Вариация к теме „Мысли, описавшей круг“».
- 5 Норма в 125 грамм хлеба в день для иждивенцев действовала с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, норма в 200 грамм — с 25 декабря по 11 февраля 1942-го. Однако в первой половине января хлеб даже по этим нормам выдавался нерегулярно.
- 6 Вероятно, Гинзбург имела в виду отослать здесь читателя к своему неоконченному повествованию

- «Дом и мир», над которым она работала в 1930-е годы. Об этом замысле см.: «Никто не плачет над тем, что его не касается»: Четвертый «Разговор о любви» Лидии Гинзбург / Подгот. текста, публ. и вступит. статья Э. Ван Баскирк // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 154–168.
- 7 Условное имя возлюбленной Отгера в 1930-х годах. Подробное описание ее характера дано Гинзбург в набросках ее повествования «Дом и мир». Ср. также: *Гинзбург 2002*. С. 246–248; «Никто не плачет...». С. 154–168.
 - 8 Служащим, прикрепленным к ведомственным столовым, некоторые продукты выдавались *без выреза*, т.е. без изъятия талона.
 - 9 Этот эпизод описан в «Заблуждении воли» (см.: *Гинзбург 2002*. С. 602).

СЛОВО <(ТЕТРАДЬ 1943–1944 ГОДОВ)>

В тетрадь входят записи, сделанные Гинзбург в 1943–1944 годах. Ее состав и композиция сложились позднее, вероятно, в 1980-е годы, когда были написаны два почти идентичных плана «Слова» как единого цикла записей военного времени:

<I> Тетрадь «Слово»

I. Разговор с т<еткой> — Блокада — в блокадные диалоги

2. В-цы

Персонажи: сестра Н., Н., Т., Н.К. в кач<естве> третьей собеседницы

Сестра — рефлексия. Рассужд<ение> о возвращении к интересному

О масле и хлебе

Сюжет — возвращ<ение> дистрофиков к жизни

Н. — трагедия потери функции

Сюжет: женщины (самоутв<ерждение>) и мужчины (неполн<оценность>)

Н.К. и Н.П. — сильный напор, самоутв<ерждение>, неоязнь смерти

(обобщение)

Начать с обобщения

Сюжет — жизнелюбие и неоязнь смерти

А<рсений> О<стровский> сюжет — самоутв<ерждение> женщин

и неполноценность штатских невоюющих мужчин. Незаметное поведение

Характер остававшихся и возвращающихся

Разговор у зубного врача

О<льга> Б<ерггольц> и М<акогоненко>

Разговор о Симонове

Заседание

Состояние литературы

<II> Блокада. И война.

Характеры и разговоры

Т.

В-цы. —

Т.Р. —

Н.К. —

Н. Пап. +?

Арс. О. +?

Разговор у зубного врача

О.Б. и М.

Заседание на исходе войны

Состояние литературы на исходе войны.

Заглавие «Проходящие характеры» повторено в тетради в начале четырех разделов («Посещение В-цов», «Н.К.», «Н. Паперная», «А.О.»), чтобы под-

черкнуть их принадлежность очерку как целостному произведению, входящему в состав «Слова». Текст «Проходящих характеров» написан в переплетенной тетради. Остальные части «Слова» написаны на разрозненных страницах, вложенных в ту же тетрадь, в основном, без пагинации. Часть страниц утеряна. Начало фрагмента «Заседание на исходе войны» и окончание статьи «Состояние литературы на исходе войны» хранились отдельно в другой папке и введены в текст «Слова» по содержанию. Название фрагмента «<Разговор у зубного врача>», напечатанное в угловых скобках, принадлежит публикаторам. В рукописи Гинзбург он назывался «Образец обязательного разговора, сопровождающего совместное вынужденное безделье. Типический случай — ожидание у зубного врача».

Фрагменты, входящие в «Слово», могут быть датированы по содержанию. «Проходящие характеры» — 1943 год, «<Разговор у зубного врача>» — весна 1944-го, «О<льга> Б<серггольц> и М<акогоненко>» и «Разговор о Симонове» — 1944-й, «Заседание на исходе войны» — август 1943-го, «Состояние литературы на исходе войны» — 1944-й.

Учитывая содержание «Слова», можно предположить, что Гинзбург не планировала его прижизненную публикацию, по крайней мере в полном объеме. Вероятно, поэтому работа осталась незавершенной. Тетрадь носит черновой характер, а инициалы, которыми обозначаются персонажи, остаются несогласованными между собой.

Текст тетради «Слово» печатается здесь в композиции, установленной по приведенным выше планам. Последовательность страниц фрагментов, не входящих в «Проходящие характеры», восстанавливается по содержанию. В отдельных случаях она носит предположительный характер.

1 Возможно, речь идет о магазине «Букинист» на Литейном проспекте, 59, старейшем букинистическом магазине Петербурга-Ленинграда.

2 См. наст. изд., с. 283–291.

3 *Тат.* здесь обозначает не старшую сестру В-ц (Тату), а персонажа, выше обозначенного как Р. Она же фигурирует ниже как *Ри*, *Т*, *Т.Р.* Ср.: Гинзбург 2002. С. 394.

4 *Н.К.* вставлено здесь в скобках, чтобы отличить этого персонажа от Н. (Нины), младшей сестры В-ц из предыдущего раздела, также принимающей участие в воспроизведенном ниже диалоге.

5 Цитата из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина («Письмо Онегина к Татьяне»).

6 Ср. замечание из дневника Н.Н. Пунина от 25 сентября 1941 года: «Странно мне, что Аня так боится: я так привык слышать от нее о смерти, о ее желании умереть» (Звезда. 1994. № 1. С. 99). В одном из набросков планов блокадных записей Гинзбург фигурировал раздел: *А.А.*

7 *А.М. Флит* (см. указатель имен).

8 «На страже Родины» — газета Ленинградского военного округа.

9 *А.О.* — персонаж, фигурирующий выше как *Арс*, *Ар*. В позднейшем, вероятно написанном в 1960-х годах, изложении этого раздела Гинзбург пишет: «...отблеск бывшей линии. *Арс*. Много молчит. Осторожное скольжение. Не то всерьез, не то треп или дразнит.

Вкоренившиеся навыки темного человека. Тип слушающий. С удовольствием о фотографической аппаратуре (она о хозяйственной аппаратуре). Вообще о проявлениях своей особенности. Это отблеск автоконцепции. Когда-то он тоже молчал, поддразнивал, говорил скользкие (sic!). Подразумевалось многозначительность, изломанность, азарт».

10 Ср. наст. изд., с. 96.

11 Вероятно, аллюзия к названиям сборника стихов Б.Л. Пастернака (1932) и романа Л.Н. Толстого (1899) соответственно.

12 Шрот — концентрированный корм. В шротах содержится до 1,5% жира, несколько больше белка и клетчатки, чем в жмыхах.

13 *О., Ом., Оттер* — одно из стандартных автообозначений Гинзбург в записных книжках и повествованиях 1930–1940-х годов.

14 К.А. Федин приехал в Ленинград 10 марта 1944 года. Вскоре его «Свидание с Ленинградом» было опубликовано в «Новом мире» (1944. № 4–5). Это упоминание, в сочетании с разговором о погоде, позволяет датировать фрагмент концом марта — началом апреля 1944 года.

15 Вероятно, имеется в виду пленум правления Союза писателей (см.: Литература и искусство. 1944. 12 февраля).

16 Г.И. Мирошниченко в 1942–1943 годах работал над «Историей первого гвардейского минно-торпедного авиационного полка».

17 Киноповесть О.Ф. Берггольц и Г.П. Макогоненко «Они жили в Ленинграде» была напечатана в «Знамени» в 1944 году (№ 1–2).

18 «Первая инстанция» в словопотреблении Гинзбург — житейская, бытовая сфера. Ср. очерк «Инстанции утверждения бытия» (наст. изд., с. 149).

19 Ср. статью «Состояние литературы на исходе войны» (наст. изд., с. 100).

20 «Когда же сражений умолкнут раскаты / И каждый к жене зашептит, / В тот день я, быть может, поплачу, солдаты, / По-женски поплачу навзрыд» — из стихотворения О.Ф. Берггольц «Песня о жене патриота» (Ленинград. 1945. № 9).

21 Возможно, имеется в виду передача «Письма с фронта и на фронт», ежедневно выходившая по ленинградскому радио.

22 «С тобой и без тебя» (1942) — цикл стихов К.М. Симонова, посвященных В.В. Серовой.

23 Творческое совещание ленинградских писателей состоялось 6–7 августа 1943 года. К этим же дням относится и настоящий очерк. Официальный отчет об этом событии ср.: Ленинградская правда. 1943. 10 августа.

24 Речь идет о Т.Г. Паюсовой. Ср. запись в дневнике О.Ф. Берггольц от 20 августа 1942 года: «Через горком должна идти моя книжка — через Паюсову, а муж Паюсовой Решетов, уж он, конечно, наговорит такого, что книжка будет признана „вредной“, „любованием зимними трудностями и т.д.“» (Звезда. 1990. № 6. С. 174).

25 О содержании доклада, сделанного ею 6 августа 1943 года, В.М. Инбер записала в дневнике: «В своем докладе я говорила о том, что каждое новое общественное явление встает перед нами, писателями, сначала в общих очертаниях, без деталей, почти без рельефов. Это нечто вроде острова, видимого с корабля. Но чем ближе мы подходим к нему, тем явственнее различаем, что это — целый материк. Тем детальнее мы его видим. (Здесь я цитировала тех, которые, на мой взгляд, задержались на этой первоначальной „безрельфной“ фазе

в изображении войны. И не пошли дальше.) Говорила я и о „недоброй“ инерции, которая порой развивается в нас с быстротой сорных трав и побуждает писать о том, что нами уже освоено. В то время как наш читатель уже опередил нас и ждет другого. Шла речь о чистоте языка, о композиции, о выборе темы, о редакции, об умении переделать то, что подлежит переделке. Недаром же сказано, что „Аполлон — это бог помарок“. Редко, слишком редко ощущаем мы в целом ряде вещей присутствие этого „бога“.

На следующий день, 7 августа, состоялось обсуждение доклада. По словам Инбер, «наше писательское совещание закончилось в громах и молниях (литературных)» (Инбер В. Почти три года: Ленинградский дневник. Л.: Советский писатель, 1946. С. 227–229). Его отредактированный конспект см.: Литература и искусство. 1943. 28 августа.

26 Роман Е.И. Катерли «Некрасов» был опубликован в «Звезде» в 1943 году (№ 4–6; № 4 подписан в печать 8 октября 1943 года) после переработки. В декабре 1944 года подвергнут официальной проработке за снижение образа великого русского поэта. В «Звезде» (1943. № 5–6) опубликованы два рассказа А.Я. Кучерова. Рассказа, упомянутого в выступлении Т. Г. Паюсовой, среди них нет.

27 Речь идет о «Кратком курсе истории ВКП(б)» И.В. Сталина.

28 Вероятно, речь идет о коллективном сборнике «Песни истребителей» (1942).

29 «Новой» Гинзбург называет националистическую фразеологию в противовес «старой», марксистско-ленинской.

30 Обращения к жителям Москвы, распространявшиеся А.Ф. Рас-

топчиным в 1812 году. Написаны лубочным, псевдопростонародным стилем.

31 Эта цитата была приведена в статье А.А. Прокофьева «Народ на войне», посвященной военному фольклору (Ленинград. 1945. № 15–16).

32 Постановление Ленинградского горкома КПСС «Об ошибках в журнале „Звезда“» появилось 23 апреля 1943 года. В соответствии с ним В.А. Мануйлов был освобожден от обязанностей члена редколлегии журнала.

33 Рифма из последних строк стихотворения В.В. Маяковского «Муссолини» (1923).

34 Аллюзия на пародийный «Проект о введении единомыслия в России» Козьмы Пруtkова (1859).

35 Ср.: «На одном диспуте двадцатых годов Шкловский сказал своим оппонентам: У вас армия и флот, а нас четыре человека. Так чего же вы беспокоитесь?» (Гинзбург 2002. С. 327).

36 «Третья инстанция», по Гинзбург, религиозная, «вторая» — историческая (ср. наст. изд., с. 149–152).

37 Речь идет о романе В.К. Кетлинской «В осаде» (1947).

38 Берг — герой «Войны и мира», рассказывавший всем, как он, раненный в бою в правую руку, взяв шпагу в левую.

39 О.Ф. Берггольц была арестована в декабре 1938 года, освобождена в июле 1939-го.

40 Из «Февральского дневника» О.Ф. Берггольц.

41 См. примеч. 20.

42 «Исповедь сына века» — название романа французского писателя А. де Мюссе (1836). Возможно, Гинзбург имеет в виду какую-то раннюю версию «лирической автобиографии» О.Ф. Берггольц «Дневные звезды» (опубл. 1959).

«ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕТРАДЬЮ «СЛОВО»»

В настоящий раздел вошли наброски, тематически и композиционно связанные с тетрадью «Слово». Первый набросок, «Разговор с теткой», по одному из планов должен был открыть тетрадь, однако Гинзбург размышляла о том, чтобы перенести его в «Блокаду» — так в редакции 1960-х годов называлось повествование, впоследствии получившее название «Записки блокадного человека». Этот набросок, судя по содержанию и бумаге, на которой он написан, был сделан при жизни Р.Д. Гинзбург (скончавшейся в декабре 1942 года), после увольнения Г.П. Макогоненко из Радиокomiteта 25 июля 1942-го, но до наступления холодов. Запись «Разговор с Н.Л.» (собеседница автора фигурирует в «Слове» под инициалом Н.) сделана в декабре 1943 — январе 1944 года после ранения Т.А. Роболи; записи «Удивительное открытие, сделанное у Тат.» и «Т.» — вероятно, в январе-феврале 1944-го по горячим следам визита автора в больницу. Фрагмент «Л<оги>ка отсутствия страха» написан в конце 1943 года или в 1944-м, безусловно после того, как были написаны фрагменты «Н.К.» и «Н. Паперная», вошедшие в состав «Слова».

1 Речь идет о Н.А. Ходзе, сменившем Г.П. Макогоненко на посту ведущего литературно-драматической редакцией Радиокomiteта.

2 Дачное место под Лугой, где любила отдыхать ленинградская интеллигенция (ср.: *Гинзбург 2002*. С. 286).

3 Пушкин и Павловск были освобождены 24 января 1944 года.

4 Т.А. Роболи (см. указатель имен).

5 По карточкам с литерами А и Б. продукты выдавались по повышенной норме.

6 Цитата из шуточного стихотворения А.С. Пушкина «Она тогда ко мне придет...».

7 Имеются в виду сестры Воронеж, проживавшие по адресу: Невский проспект, 82.

«ЗАПИСИ 1943–1945 ГОДОВ»

В раздел вошли разрозненные, частью незаконченные или не полностью сохранившиеся записи, сделанные Гинзбург в 1943–1945 годах. Записи «Этика ценностей. Тоталитарность и эгоизм», «Казенный оптимизм», «Запись на обороте „Казенного оптимизма“» сделаны на одном листе примерно в одно время, скорее всего осенью 1943 года. Датируются по упоминанию заявления маршала Бадольо о капитуляции Италии, сделанного 8 сентября 1943 года.

Запись «<Заметки о пацифизме>» не поддается определенной датировке, но, судя по содержанию, могла быть сделана примерно в то же время. Составившая фрагмент «Человека с размахом» запись разговора с Г.П. Макогоненко, по-видимому, сделана по горячим следам, т.е. после

увольнения Макогоненко из Радиокomiteта 25 июля 1942 года и до начала решающего наступления Красной армии на Ленинградском фронте 12 января 1944-го. Упоминание о «полтора годах» стабилизации позволяет, скорее, датировать его концом 1943 года. Записанный разговор происходит в здании Радиокomiteта. Набросок «Интеллектуальные эгоисты, переставшие думать» написан летом 1945 года, датируется по упоминанию Юбилейной сессии Академии наук, проходившей с 15 июня по 3 июля 1945 года. Участники сессии переехали в Ленинград 28 июня 1945 года. Был вложен в сложенный лист тетрадной бумаги, на котором позднейшим почерком Гинзбург написано: «Сделать».

1 См. «Американские заметки» Ч. Диккенса (1842; гл. XVII).

2 Имеется в виду Первая мировая война.

3 После ввода немецких танков в Тулон 27 ноября 1942 года адмирал де Лаборд отдал приказ затопить размещенный там французский флот. Всего было потоплено 77 кораблей.

4 28–30 августа 1941 года, после того как 27 августа немцы захватили Таллин, Балтийский флот удалось с боями перебазировать в Кронштадт.

5 Номер «Правды» с именем Б.М. Эйхенбаума в списке награжденных орденом Трудового Красного Знамени вышел 16 июня 1945 года.

6 Имеется в виду стихотворение А.К. Толстого «Порой веселой мая...» (1871), в котором изложен рецепт борьбы с нигилистами («Чтоб русская держава / Спаслась от их затеи, / Повесить Станислава / Всем жокаам на шеи!»).

7 Цитата из пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор»: «Чему смеетесь? — Над собой смеетесь!»

8 Ресторан, находившийся на углу Садовой улицы и улицы Ракова, к которому были прикреплены сотрудники Радиокomiteта.

9 Речь идет о церемонии Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, в котором участвовала рота кинологов с собаками.

10 *Revue des études slaves* — ведущий французский славистический журнал того времени.

11 18 июня 1945 года С.С. Прокофьеву была вручена золотая медаль Английского филармонического общества.

12 Спектакль по роману А. Дюде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872).

13 Особторг — сеть магазинов, открывшихся в больших городах в 1944 года, товары продавались там по коммерческим ценам.

1943

<(ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1943–1946 ГОДОВ)>

Записная книжка представляет собой переплетенную тетрадь, заполненную с двух концов. В начале тетради записаны фрагменты 1–29 (кроме 11), в конце — последняя фраза фрагмента 29 и фрагмент 30. (Нумерация принадлежит составителям книги.) Фрагмент 11 записан на отдельных листах и вложен в тетрадь. Записная книжка включает в себя записи 1943–1946 годов. Заглавие «1943» вписано на первую страницу на позднейшем этапе, возмож-

но, в 1960-х годах, когда Гинзбург работала над «Записками блокадного человека», или в 1980-х, когда она пересматривала записную книжку для публикации в *ПО*. Вероятно, в то же время были пронумерованы страницы 1–83. Судя по почерку, в 1960-х годах были пронумерованы страницы, содержащие фрагменты 1–29, и был составлен план записной книжки, озаглавленный «Последняя тетрадь». Вошедший в план фрагмент 11, переписанный Гинзбург в 1980-х годах, был вложен в соответствующее место, а страница, на которой он был записан, получила номер 12а. В тетрадь также вложены эссе «Постепенное, поочередное уничтожение разных видов искусства» и «<О морали>».

Первым из записной книжки в 1987 году был опубликован фрагмент 12, в сильно переработанном и сокращенном виде вошедший в состав *ЛПП* в качестве статьи, озаглавленной «Литературные современники и потомки» и датированной 1946 годом. Однако к этому времени можно отнести лишь окончательное оформление текста. Упоминание (не вошедшее в итоговый текст) «войны, переживаемой нами», свидетельствует о том, что запись делалась не позже весны 1945 года. В состав *ЧПС* вошли фрагменты 1, 4 (переработанный), отрывок из эссе «О морали» (переработанный) и маленький отрывок фрагмента 13. Фрагменты 1, 13 и отрывок из эссе «О морали» были напечатаны в разделе «Конец 1930-х годов», 4 — в разделе «Записи 1950-х — 1960-х годов». Эта мистифицирующая хронология, вероятно, объяснялась тем, что Гинзбург первоначально не планировала публиковать весь цикл записей военных лет и включила некоторые из них в состав других разделов.

В 1991 году, уже после смерти Гинзбург, цикл «Записи 40-х годов» был опубликован в составе *ПО*, подготовленного Н. Кононовым. В записной книжке сохранилась осуществленная Гинзбург в последний год жизни правка для этого издания и вписанные почерком Кононова новые заглавия ряда фрагментов. В *ПО* вошли фрагменты 6, 7 (с заглавием «Утверждение и отрицание» и датой «1943»), 8, 9 (разделенный на три отдельных фрагмента), 10, 13 (с заглавием «Неудачник» и датой «1944»), 15 (сокращенный, разделенный на три фрагмента, первый с заглавием «Четыре степени»), 16 (разделенный на три отдельных фрагмента с заглавиями «Место в иерархии», «Поступки и побуждения», «О моральном инварианте»), 17, 18 (с заглавием «Ленинградская ситуация»), 19, 23–25 (с заглавием «Старики дикие и веселящиеся»), 27 (с заглавием «Бывший проработчик»), 30 (с датой «40-е годы»). Порядок фрагментов в *ПО*, сравнительно с записной книжкой, существенно изменен.

Текст цикла «Записи 40-х годов» в *ПО* несомненно был авторизован Гинзбург и должен быть положен в основу публикаций ее литературного наследия. Этот текст публикуется во второй части настоящего издания (см. с. 454–497). Поскольку его задача — представить читателям творчество Гинзбург военного времени, мы сочли возможным опубликовать записную книжку по рукописи без учета правки, внесенной почти полвека спустя, даже в тех случаях, когда эта правка явно улучшает текст в стилистическом

отношении, придавая ему законченный характер. Текст записной книжки печатается здесь в соответствии с упомянутым выше планом «Последняя тетрадь», откуда взяты названия фрагментов, печатающиеся в угловых скобках. Фрагмент 30, не вошедший в план, печатается без заголовка. Фрагменты 2, 3, 5, 11, 14, 20–22, 26, 28, 29 публикуются впервые. В архиве Гинзбург сохранилась подготовленная в последние годы жизни правленая машинопись фрагментов 6, 9, 13, 15, 16, 18–27. Фрагмент 21 в записной книжке озаглавлен «Девять пудов» (почерк Н. Кононова).

1 Покорский — персонаж романа И.С. Тургенева «Рудин» (1855), прототипом которого был Н.В. Станкевич. Эти размышления Гинзбург нашли свое продолжение в ее книге «О психологической прозе» (*Гинзбург 1977. С. 69–71*).

2 Речь идет о стихотворении Ф.И. Тютчева «О чем ты воешь, ветер ночной» (начало 1830-х).

3 Гинзбург не совсем точно излагает мысль О. Шпенглера, который в своей книге «Пруссачество и социализм» (1920, рус. пер. 1922) характеризовал социализм как свойство немецкого духа, присущее всем подлинным немцам и только немцам.

4 Фрагмент написан позднейшим почерком Гинзбург, однако он несомненно воспроизводит более раннюю запись, сделанную в конце войны. Именно на это время приходится активное общение Гинзбург с О.Ф. Берггольц и Г.П. Макогоненко, и именно в это время оба ее собеседника активно занимались «беллетристикой». В последние годы жизни Гинзбург воспроизвела характеристику, данную ее творчеству Макогоненко, с куда большим сочувствием: «Свою прозу я всегда представляла себе как скрещение анализа с лирикой (рационалистический импрессионизм, — сказал когда-то один из слушателей „Возвращения домой“). Если убрать рационалистичность, получится слюна. Если убрать эмоцию, получится наукообразие.

Но как сохранить это двоящееся единство противоположных начал?» (*ЧПС. С. 346*).

5 Речь идет о статье Н.В. Шелгунова «Философия застоя»: «Еще счастье, что граф Толстой не обладает могучим талантом, что он живописец военных пейзажей и солдатских сцен. Если б к слабой опытной мудрости графа Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятья, которое следовало бы на него обрушить» (*Дело. 1870. № 1. С. 28*).

6 Фактическая ошибка, исправленная в позднейшей редакции. Пушкин пытался опубликовать «Медный всадник», но не сумел этого сделать по цензурным соображениям.

7 Вероятно, ошибка. П.А. Вяземский был страстным поклонником Вагнера. Скорее всего, Гинзбург имеет в виду А.И. Герцена, писавшего: «Россия, как „Zukunftsmusik“, хороша для будущего» (*Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М.; Л., 1960. Т. 20. С. 361*). Zukunftsmusik (*нем.* музыка будущего) — термин, которым Вагнер обозначал свои произведения.

8 Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...» (1832).

9 Цитата из стихотворения А.А. Блока «Ну что же? Устало заломлены слабые руки...» (1914).

10 Из статьи Л.Н. Толстого «О жизни» (1886).

- 11 Перифраз строк «Предрас- судок — он обломок / Древней прав- ды...» из стихотворения Е.А. Бара- тынского «Предрассудок» (1841).
- 12 В записи, вошедшей в раздел «Конец 1930-х годов», Гинзбург противопоставляет «умиленное отношение к дворянину богатого „полубарчонка“ Герцена — отчужденному отношению к низ- шим по социальному статусу, свойственному „нищему“ Белин- скому» (ЧПС. С. 162).
- 13 Рационщики — лица, чьи продуктовые карточки отоварива- лись в ведомственных столовых.
- 14 Из статьи Л.Н. Толстого «Так что же нам делать?» (1882–1885).
- 15 Из статьи Л.Н. Толстого «Жизнь в городе» (1885).
- 16 Из статьи Л.Н. Толстого «Так что же нам делать?».
- 17 Имеется в виду речь Сталина на торжественном заседании 6 нояб- ря 1944 года, посвященном 27-й го- дощине Октябрьской революции, где «советский патриотизм», кото- рый «имеет своей основой не расо- вые или националистические пред- рассудки, а глубокую преданность и верность народа своей советской Родине, братское сотрудничество тру- дящихся всех наций нашей страны», противопоставлялся «человеко- ненавистнической расовой теории» и «звериному национализму» фашистов. В речи подчеркивалось сотрудничество с союзниками по антифашистской коалиции и отсутствовал акцент на особых заслугах русского народа.
- 18 Герой рассказа «Хорь и Кали- ныч» (1852) из книги И.С. Тургенева «Записки охотника».
- 19 Из очерка А.И. Герцена «Гоф- ман» (1836; *Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М.; Л., 1954. Т. 1. С. 63*).
- 20 «Кающийся дворянин» — формула из цикла очерков Н.К. Ми- хайловского «Вперемежку» (1876), «Пусть секут, мужика же секут» — из его же «Литературных заметок 1880 г.». Гинзбург, вероятно, заимст- вовала обе цитаты из статьи Б.А. Кистяковского «В защиту права (Интеллигенция и правосознание)» из сборника «Вехи» (1909).
- 21 «Если буду жив», известная аббревиатура из дневников Л.Н. Толстого.
- 22 Вероятно, имеется в виду статья Н. Балтийского «О свободе и ответственности печати», поме- щенная в журнале «Новое время» (1945. № 23–24). Статья посвящена состоянию печати за границей, прежде всего в Великобритании и США. Ср. в настоящем фрагменте рассуждение Гинзбург о необходи- мости критики в литературном быту СССР, «чтобы ничем не отли- чаться от до <революции> и за <границы>».
- 23 Речь идет о дискуссии «Ленин- градская тема в современной лите- ратуре», состоявшейся в Ленинград- ском отделении Союза писателей 17–18 апреля 1945 года. А.А. Про- кофьев выступал с вступительным и заключительным словом (см.: *Известия. 1945. 19 апреля*).
- 24 Имеется в виду до революции и за границей.
- 25 На *Тучковой набережной* (набе- режная Макарова) находился Пуш- кинский дом, на *улице Воинова* — Союз писателей.
- 26 В 30-е годы советские рабочие и служащие должны были «вешать номерки» при явке на работу. С по- мощью этой процедуры контроли- ровалось время их пребывания на рабочем месте.
- 27 Из статьи Л.Н. Толстого «О жизни» (1886).
- 28 И.М. Тронский поменял свою фамилию с Троицкий на Тронский в 1938 году, после ареста своего брата Исаака Моисеевича Троицкого.

29 Степень кандидата филологических наук была присуждена И.М. Тронскому в 1938 году постановлением Совнаркома. Докторскую диссертацию на тему

«История античной литературы» он защитил 11 ноября 1941 года в Ленинграде уже во время блокады. Какую именно историю имеет в виду Гинзбург, неизвестно.

<ДЕНЬ ОТТЕРА>

Судя по характеру использованной бумаги, почерку и некоторым косвенным свидетельствам в самом тексте, «повествование» написано в 1943–1945 годы, скорее всего, после очерка «Оцепенение». Первая часть состоит из нескольких фрагментов, сведенных в два блока. Первый из них состоит из 12 нумерованных страниц, страницы второго, начинающегося разделом «Утром выход за покупками», пронумерованы последовательно с 1 по 27. Текст написан синими чернилами и простым карандашом на листах в клетку, вырванных из разных тетрадей. Часть заголовков вписана позднее. Нумерация разделов в рукописи не устоялась, т.е. раздел 3 («Тело») следует за разделом 1 («Пробуждение»), а за ним идут разделы 2 («Домашние дела») и вновь 3 («Первое соприкосновение с городом и едой»). Вторая и третья части написаны на таких же листах и теми же чернилами, что и первая часть, только заключительный фрагмент раздела 6 второй части («Промежуток») — простым карандашом. Раздел 7 второй части носит то же название «Промежуток», вписанное позднее. Первый раздел третьей части в тексте отсутствует, возможно, он вообще не был написан. На первой странице второй части почерком Гинзбург 60-х годов вписано заглавие: «День От<тера> — Эн», отражающее смену условного обозначения главного героя в ходе переработки текста.

1 Памятник архитектуры XVII века в Пскове. Принадлежали торговому человеку С.И. Поганкину.

2 Затемнение, т.е. прекращение освещения города в ночное время, призванное препятствовать действиям авиации противника, вводилось в Ленинграде в декабре 1939 — марте 1940 года во время советско-финской войны и с 22 июня 1941 по 15 апреля 1945 года во время Великой Отечественной войны.

3 В целях светомаскировки в подъездах домов, уличных фонарях, машинах и трамваях были установлены синие лампочки. Считалось, что с самолетов в темное время суток синий цвет почти неразличим.

4 Тюлька — мелкая черноморская рыба, блокадный деликатес.

5 Заколечные, т.е. присланные с Большой земли, из-за кольца блокады.

6 Дуранда — см. примеч. 1 к «<Рассказу о жалости...>».

7 Брандebuры — узоры на одежде в виде петель, сделанные из шелкового шнура.

8 Цитата из стихотворения Б.Л. Пастернака «Столетье с лишним — не вчера...» (1931).

9 См. примеч. 8 к «Записям 1943–1945 годов».

10 Первая строка из стихотворения А.А. Блока (1908).

<ОЦЕПЕНИЕ>

Очерк написан не позднее 1943 года попеременно красными чернилами и карандашом, в основном на бумаге, использовавшейся в записной книжке «Слово». На первой странице варианты заголовков: «Голод. День. Соприкосновение с миром». Четыре первые страницы позднее отделены от текста, вероятно для включения в часть I «Записок блокадного человека», а страницы начиная с 5-й, со слов: «Он, кажется, понял, наконец, соседа по рабочему столу», перенумерованы заново. На 5-й (по новой пагинации — 1-й) странице вписан новый заголовок — «Оцепенение». Под этим названием отрывок упоминается в записной книжке «Слово». Часть страницы 4 первоначальной пагинации утрачена. Раздел «Блаженство болезни» написан на другой бумаге и присоединен позднее. Рукопись сохранила следы интенсивной правки 1960-х годов, в частности, последовательного перевода повествования из третьего лица в первое. Печатается без учета этой правки, отразившейся в тексте раздела «Вокруг “Записок блокадного человека”».

1 Цитата из баллады Н.М. Олейникова «Чревоугодие» (1932).

2 Цитата из тома 2 поэмы Н.В. Голя «Мертвые души».

<ЗАПИСИ И ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С «ДНЕМ ОТТЕРА»>

Ряд фрагментов, связанных общими рассуждениями о «крахе индивидуалистического сознания», посвящен теме, тесно связанной для Гинзбург с фигурой Оттера, полуавтобиографического персонажа ее главного блокадного повествования. Датируются временем работы над ДО, т.е. 1943–1945 годами. Фрагмент, публикующийся под цифрой <I>, написан фиолетовыми чернилами на длинных разлинованных листах и относится к несколько более раннему периоду. Он публикуется здесь, поскольку тематически связан с этим разделом. Фрагменты, публикующиеся под цифрой <II>, написаны на той же бумаге и тем же карандашом, что и начальные разделы первой части ДО, и, вероятно, представляют собой наброски «Теоретического раздела», предусмотренного в некоторых планах повествования. Раздел не был закончен, и в дальнейшем Гинзбург неоднократно меняла композицию текста, разрезая страницы и нумеруя фрагменты по нескольким различным системам. Установить окончательный порядок фрагментов не представляется возможным. В публикации они отделяются друг от друга знаком*.

1 Левиафан — библейское чудовище. После появления трактата Т. Гоббса «Левиафан, или материя, форма

и власть государства церковного и гражданского» (1651) стало условным обозначением государства.

2 Гинзбург имеет в виду последнюю (504) максиму из книги Ф. де Ларошфуко «Максимы и моральные размышления» (1665): «Самые смелые и самые разумные люди — это те, которые под любыми благовидными предложениями стараются не думать о смерти. Всякий, кому дове-

лось узнать ее такой, какова она в действительности, понимает, что она ужасна» (ср.: Гинзбург 2002. С. 550).

3 Начальник отдела — Г.П. Макогоненко, преемник — Н.А. Ходза.

4 См. «Воспоминания» Л.Н. Толстого (1903–1905).

ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Первая часть «Записок блокадного человека» впервые опубликована в журнале «Нева» (1984. № 1). Печатается по последней прижизненной публикации в *ЧПС*. Разночтения по рукописям и машинописям 60-х годов приводятся в постраничных примечаниях. Подробнее об истории создания и публикации «Записок блокадного человека» см. статью «„Записки блокадного человека“: история текста» в наст. изд., с. 545–556.

Вторая часть «Записок блокадного человека» впервые опубликована в *ПО*. Печатается по *ПО*. Разночтения по *МЧИ* и *ЧН*, в основном связанные с осуществленной Гинзбург шифровкой инициалов персонажей, даются в постраничных примечаниях.

1 Поганкины палаты — см. примеч. 1 к «<Дню Оттера>».

2 У дома Гинзбург на канале Грибоедова находилось трамвайное кольцо маршрута № 36.

3 Из «Былого и дум» А.И. Герцена (часть V, глава «Сон»).

4 Бадаевские продовольственные склады сгорели в результате бомбардировки 8 сентября 1941 года.

5 Речь идет о романе К. Гамсуна «Голод» (1890).

6 Речь идет о максиме 68 из «Максим и моральных размышлений» Ф. де Ларошфуко (1665): «Трудно дать определение любви; о ней можно лишь сказать, что для души — это жажда властвовать, для ума — внутреннее сродство, а для тела — скрытое и утонченное желание обладать, после многих околичностей, тем, что любишь».

7 Из стихотворения Н.А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

8 Из стихотворения Б.Л. Пастернака «Столетье с лишним — не вчера» (1930). Название «Заодно с порядком» получил позднейший очерк Гинзбург, посвященный взаимоотношениям интеллигенции и власти в 1930-е годы.

9 См. примеч. 8 к «Записям 1943–1945 годов».

10 Е.П. Петров погиб 2 июля 1942 года.

11 «Васька из Ужовки» — рассказ Л.С. Ленча.

12 Я.Л. Бабушкин был уволен из Радиокomitета 16 апреля 1943 года за еврейское происхождение. Погиб в 1944-м.

13 Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича была исполнена в Ленинграде 9 августа 1942 года.

14 Скорее всего речь идет о Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества, занимавшемся, в частности,

- организацией фронтовых актерских бригад во время блокады.
- 15 Г.П. Макогоненко был уволен с должности главного редактора литературной редакции Радиокомитета 25 июля 1942 года. Ср. запись в дневнике О.Ф. Берггольц за этот день (Звезда. 1990. № 6. С. 170).
- 16 Скорее всего речь идет о стихотворении «Найди врага и уничтожь» (Ленинградская правда. 1942. 11 августа); см. также его стихотворения «Они ждут!» («Твой дом сожжен, твоя седая мать...» [Там же. 1942. 4 сентября]) и «Мать» («Совсем одна на утреннем рассвете...» [Там же. 1943. 6 апреля]).
- 17 Парафраз строк из стихотворения В.А. Жуковского «Вспоминание. О милых спутниках...» (1821).
- 18 Строка из одноименного романа П.И. Чайковского на слова А.Н. Плещеева. Использовано В.В. Маяковским в стихотворении «Сергею Есенину» (1925).
- 19 Горлит — Городское управление по делам литературы и издательств. Осуществляло функцию идеологической цензуры.
- 20 Парафраз строки из стихотворения А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?..» (1830).
- 21 «Звезды» — сборник стихотворений Е.А. Вечтомовой (1943).
- 22 «Последний из Удэге» — незаконченный роман А.А. Фадеева (1929–1940).
- 23 «Балтийцы в боях» — сборник Политуправления Краснознаменного Балтийского флота (Л., 1942). Литературный монтаж по его материалам прошел по радио 27 июля 1942 года.
- 24 «Музыкантская команда» — пьеса Д. Дэлея (Л.С. Любашевского) (1935).
- 25 Н.П. Шигорина с триумфом сыграла роль Верочки в спектакле Александринского театра «Месяц в деревне» (1916) по пьесе И.С. Тургенева. Роль Беляева играл П.И. Лешков.
- 26 Имеются в виду сотрудники музыкального отдела Радиокомитета.
- 27 Речь идет о рассказе П.А. Павленко «Завещание», впервые опубликованном в составе цикла «Простые рассказы» в газете «Красная звезда» 23 апреля 1943 года.
- 28 Речь идет о переговорах У. Черчилля и И.В. Сталина в Москве, проходивших 12–15 августа 1942 года.
- 29 Международный (ныне Московский) проспект — одна из основных фронтовых магистралей. Проспект заканчивался на линии фронта.
- 30 Орден Отечественной войны I степени был присужден Н.С. Тихонову 1 июня 1943 года.
- 31 Ц.О. — Центральный орган, т.е. «Правда». Одновременно в «Ленинградской правде» и «Правде» в конце 1942 — первой половине 1943 года были опубликованы шесть статей Н.С. Тихонова. Скорее всего здесь речь идет о статье «Город русской славы», вышедшей 27 мая в обеих газетах (в «Правде» — под заглавием «Ленинград»).
- 32 В мае 1942 года в Ленинграде было введено трехразовое рационное питание в столовых по продовольственным карточкам.
- 33 Из поэмы А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830).
- 34 Митинг памяти А.С. Пушкина состоялся в музее-квартире Пушкина на Мойке в день рождения поэта 6 июня 1943 года. В своем выступлении на митинге Вс. Вишневский сказал: «Пушкин, уже смертельно раненный, приподнялся и выстрелил по врагу — ненавидя его. Таким мы ощущаем поэта сегодня — здесь, в его городе, который не сдается врагу и упорно дерется. Пушкин — это бессмертный образ героя!» (Вишневский Вс.Н. Дневники военных лет. М., 1974. С. 196).
- 35 Имеется в виду Литературный музей М.Ю. Лермонтова в здании бывшего Николаевского кавалерийского училища (Лермонтовский проспект, 54).

ВОКРУГ «ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Впервые в ЧПС. Печатается по ЧПС. Существенные разночтения по рукописям и машинописям 1960-х годов (ПМ, ВМ, МЧИ, РГАЛИ) приведены в постраничных примечаниях, наиболее крупные составили отдельный раздел «<Фрагменты, не вошедшие в «Вокруг „Записок блокадного человека“>>» (см. ниже).

- 1 Повесть Б.Ш. Окуджавы «Будь здоров, школяр!», опубликованная в альманахе «Тарусские страницы» (1961), была подвергнута официальной проработке за «пацифистские настроения». Альманах был изъят из обращения.
- 2 Установить точный источник этой цитаты пока не удалось. Из известных выступлений президента Л. Джонсона она ближе всего подходит по смыслу к его речи «Мир без завоеваний», произнесенной в Университете Джона Хопкинса 7 апреля 1965 года (см.: Public Papers of the Presidents of the United States: Lyndon B. Johnson, 1965. Washington, DC, 1966. Vol. I. Entry 172. P. 394–399).
- 3 Возможно, речь идет о словах из статьи А.А. Блока «Ирония» (1908): «Какой декадент, какой позитивист, какой православный мистик поймет всю обнаженность этих моих слов».
- 4 Гинзбург цитирует слова Ж. Жиано по воспоминаниям И.Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960–1965, книга IV, раздел 32).
- 5 Из стихотворения О.Э. Мандельштама «Ленинград» (1930).
- 6 Из баллады Н.М. Олейникова «Чревоугодие» (1932).
- 7 Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (1870).
- 8 Из стихотворения А.А. Блока «Май жестокий с белыми ночами!...» (1908).

<ФРАГМЕНТЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «ВОКРУГ „ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА“>>

Основной текст этого раздела печатается по ВМ, разночтения — по машинописям ПМ и РГАЛИ — приведены в сносках.

- 1 В книге «О психологической прозе» Гинзбург цитирует письмо Ю.Ф. Самарина Герцену конца 1850-х годов, где говорится, «что нравственно поступающим атеистам непременно присуща бессознательная религиозность и что Герцен сам с религией еще „не расквитался на чистоту“» (Гинзбург 1977. С. 393; Гинзбург цитирует письмо по журнальной публикации: Русь. 1883. № 1. С. 38).
- 2 Из стихотворения Б.Л. Пастернака: «Ты в ветре, веткой пробу-ющем...» (1917).
- 3 Теория, согласно которой личность, помимо «чистого я», включает в себя «эмпирическое я», состоящее

из всего, что человек считает своим: дом, близких, дела, репутации и т.д., — изложена в главе 12 трактата У.Джеймса «Психология» (1892).

4 Неточная цитата из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (см. о ней: *Гинзбург Л.Я.* «Былое и думы» Герцена. Л., 1957. С. 103–104).

5 См. об этом: *Гинзбург 1977.* С. 397–398.

6 Гинзбург приводит цитату из посмертно изданной книги Ф. Ницше «Воля к власти», составленной его сестрой на основе незавершен-

ных набросков (кн. 2 «Критика прежних высших ценностей», С. 260).

7 В «Мыслях о религии и других предметах» Б. Паскаля (опубл. 1669) много афоризмов, выражающих приведенную Гинзбург идею. См., например, фрагмент 205 «О развлечении».

8 Проблема самоубийства занимает центральное место в четвертой книге трактата А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819).

ЗАПИСИ 1940-Х ГОДОВ **В РЕДАКЦИИ 1980-Х**

Раздел печатается по ЛПП, ЧПС и ПО. Историю текста см. с. 564–566.

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ **И ОФИЦИАЛЬНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ** **Л.Я. ГИНЗБУРГ**

В архиве Гинзбург сохранились два варианта «творческих отчетов» о работе в военные годы. Первый, рукописный, отчет написан в 1944 году, второй, машинописный, в 1945-м. Точное назначение отчетов неизвестно. В настоящем издании во втором отчете выпущены названия публикаций, циклов радиопередач и очерков Гинзбург, совпадающие с приведенными в первом отчете. Сокращения, сделанные нами в случаях повторений, обозначены угловыми скобками. Текст печатается с сохранением орфографии и пунктуации автора.

В бумагах Гинзбург сохранился также конверт с четырьмя официальными автобиографиями, написанными между 1950 и 1955 годами, и ответами Гинзбург на вопросы для справочника «Писатели Ленинграда» (после 1975 года). Две первые, написанные от руки, автобиографии относятся к 1949/1950 учебному году, когда Гинзбург еще работала в Петрозаводске, третья, машинописная, датирована ноябрем 1950 года, четвертая, тоже рукописная, написана в 1955-м. Здесь публикуется последняя и наиболее полная автобиография; существенные разночтения по трем ранним вариантам (*Автобиография 1–3*) оговорены в постраничных примечаниях.

1 О докторской диссертации Гинзбург см. ниже в официальной автобиографии. Ее монография о проблемах русской психологической прозы вышла только в 1971 году (2-е изд.: *Гинзбург 1977*).

2 Гинзбург получила эту медаль в июле 1943 года.

3 Яков Моисеевич Гинзбург умер 14 декабря 1909 года в возрасте 45 лет. См.: *Вестник винокурения*. 1909. № 20; некролог см.: Там же. 1910. № 6. С. 62–67.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Автобиография 1–3	Ранние варианты официальных автобиографий Л.Я. Гинзбург 1949 — первой половины 1950-х годов
БР	«Блокада», рукопись (черновая рукопись 1960-х годов)
ВМ	Вторая машинопись «Блокады» (последняя редакция «Блокады» 1960-х годов, без второй части. Переплетена в 1970-е годы)
Гинзбург 1977	<i>Гинзбург Л.Я.</i> О психологической прозе / 2-е изд. М.: Художественная литература, 1977 (1-е изд.: Л., 1971).
Гинзбург 1979	<i>Гинзбург Л.Я.</i> О литературном герое. Л.: Советский писатель, 1979.
Гинзбург 2002	<i>Гинзбург Л.Я.</i> Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002.
ДО	«<День Оттера>» (рукопись 1943–1945 годов)
ЛПР	<i>Гинзбург Л.Я.</i> Литература в поисках реальности. Л.: Советский писатель, 1987.
МЧП	Машинопись, Часть вторая (машинопись второй части «Записок блокадного человека» 1960-х годов)
ПМ	Первая машинопись «Блокады» (сделана на основе БР, с поправками автора)
ПО	<i>Гинзбург Л.Я.</i> Претворение опыта. Рига: Авотс, 1991.
ЧН	Черновые наброски ко второй части «Записок блокадного человека» (рукопись 1940-х годов. Содержит записи разговоров в учреждении и столовой и их анализ)
ЧПС	<i>Гинзбург Л.Я.</i> Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Советский писатель, 1989.
«1943»	Записная книжка 1943–1946 годов (заглавие «1943» было вписано автором на первую страницу на позднейшем этапе)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ИНИЦИАЛОВ И ПСЕВДОНИМНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- А. (Аст). 421
А. 401
 см. Брандт Л.В.
А. 240
 см. Гофман В.А.
А.А. 71, 139, 195, 197, 299
 см. Ахматова А.А.
А.И. (Анна Ив.) 415, 416
Ал. Ив. 371
 см. Розен А.И.
Александр Ильич 262, 264, 380, 385
 см. Отгер
Александров Александр Данилович
(1912–1999), профессор математики,
академик АН СССР, в 1952–1964 гг.
ректор Ленинградского государственного
университета 414
Анна Михайловна, соседка Гинзбург
на канале Грибоедова, д. 24 27, 51
Анна Михайловна 261, 361
 *см. Польская А.М.
Анненский Иннокентий Федорович
(1855–1909), поэт, в 1893–1896 гг.
директор 8-й петербургской
гимназии, в 1896–1906 гг. директор
Императорской Николаевской
Царскосельской гимназии 170, 467
А.О. 73
 см. Островский А.Г.
Ар. 68, 74, 75, 77
 см. Островский А.Г.
Арсен 62
 см. Гулианц А.Л.
Арсений 374
 см. Островский А.Г.
А.С. 207, 461
 см. Кулишер А.С.
Ахматова Анна Андреевна
(1889–1966), поэт 71, 139, 195, 197, 298,
299, 496, 503
 см. также А.А.
Б. 262, 361, 384
Б. 84, 112
 см. Берггольц О.Ф.
Б. 73
 *см. Богданов-Березовский В.М.
Б., Б.Б. 116, 123, 129, 191, 204, 242, 479
 см. Бухштаб Б.Я.
Б., Бк. 146
 *см. Берков П.Н.
Бабушкин Яков Львович (1913–1944),
начальник отдела музыкального
вещания Радиокomiteта.
Инициатор исполнения 7-й сим-
фонии Д.Д. Шостаковича в блокад-
ном Ленинграде 9 августа 1942 г.
и создания Городского (Блокадного)
театра. В апреле 1943 г. по секретной
директиве ЦК ВКП(б) о чистке
идеологических учреждений был
уволен из Радиокomiteта. Погиб на
фронте 207, 367, 368, 397
 см. также Яша
Багрицкий (Дзюбин) Эдуард
Георгиевич (1895–1934), поэт,
знакомый Гинзбург 503
Байрон Джордж Гордон Ноэль
(Byron George Gordon Noel,
1788–1824), английский поэт 412

Указатель составлен ко всем текстам
Л.Я. Гинзбург за исключением инициалов
и псевдонимных обозначений персонажей

из первой части «Записок блокадного
человека». Знаком * помечены предпо-
ложительные расшифровки.

Баратынский (Боратынский)
Евгений Абрамович (1800–1844),
поэт 503
Батюшков Константин Николаевич
(1787–1855), поэт 99
Б.Г. 368
 см Битнер Г.В.
Белинский Виссарион Григорьевич
(1811–1848), литературный критик
155, 159, 179, 198, 454, 457, 504
Белый Андрей (Бугаев Борис
Николаевич, 1880–1934), поэт,
прозаик, критик, стиховед 304
Бер. 399
Берггольц Ольга Федоровна
(1910–1975), поэт, драматург,
прозаик и публицист. Была
арестована в 1938 г. за «связи
с врагами народа», освобождена
в 1939 г. В блокаду почти ежедневно
вела радиопередачи, позднее
вошедшие в ее книгу «Говорит
Ленинград» (1946). Колоссальную
популярность в блокадном
Ленинграде приобрела прочитанная
Берггольц на радио поэма
«Февральский дневник» (1942).
После смерти второго мужа,
Н.С. Молчанова, в блокаду
в 1942 г. вышла замуж за
Г.П. Макогоненко 80, 81, 83, 84, 87, 93,
97, 111–113, 138, 155, 185, 195, 296, 302,
362, 491
 см также Б., О.Б.
Берк. 146
 *см. Берков П.Н.
Берков Павел Наумович
(1896–1969), литературовед,
библиограф, книговед, источниковед,
историк литературы. С 1933 г. был
научным сотрудником ИРЛИ,
ученым секретарем группы по
изучению литературы XVIII в.
В 1941–1944 гг. находился
в эвакуации в Киргизии. С 1945 г.
профессор ЛГУ 146
 см также Б., Б.К., Берк.
Бетховен Людвиг ван (Beethoven
Ludwig van, 1770–1827), немецкий
композитор 423

Бирс Гвиннет Амброс (Bierce
Ambrose Gwinnett, 1842–1914),
американский писатель 401
Битнер (Ермакова-Битнер) Гали
Вильгельмовна (1915/6 — после
1973), литературовед, дочь
редактора и издателя «Вестника
знания» В.В. Битнера, ученица
Г.А. Гуковского. В 1942 г. редактор
отдела литературно-художественного
вещания Радиокomiteта 75, 120, 130,
147, 306, 364–374, 378, 381, 385–398
 см также Б.Г., Гали, Г.Б., П.В.
Бл. 146
 см Блок К.
Блок Александр Александрович
(1880–1921), поэт 155, 167, 396, 428, 442,
464, 471
Блок Камилл (1865–1949),
французский историк и архивист
левого направления. Член делегации
французских ученых, прибывшей
в СССР на юбилейную сессию
АН СССР в 1945 г. 146
 см. также Бл.
Бм (БМ) 140–147, 200
 см. Эйхенбаум Б.М.
Богданов-Березовский Валериан
Михайлович (1903–1971),
композитор, музыковед,
в блокадные годы председатель
правления Ленинградского
отделения Союза композиторов
СССР, заведующий музыкальным
отделом Театра им. Ленинского
комсомола, лауреат премии за
лучшую военную песню, выступал
в концертах в госпиталях 73
 см. также Б.
Болдырев Александр Николаевич
(1909–1993), востоковед-иранист.
В 1942 г. главный редактор
и переводчик редакции
иновещания Радиокomiteта.
Уволен в апреле 1943 г. 411
Бор. 402, 403
Борин 374–377
 см. Горин И.А.
Брандт Лев Владимирович
(1901–1949), детский писатель,

автор книг «Белый турман» (1941), «Браслет-2» (1949). Был арестован в 1937 г. Во время войны был на Ленинградском фронте 401

см. также А.

Бр-ман 198

*см. Брискман М.А.

Брискман Михаил Аркадьевич (1904–1975), библиограф, литературовед, зав. отделом комплектования Публичной библиотеки. В 1945 г. опубликовал библиографический указатель «В борьбе с немецкими захватчиками: Краткий указатель художественной литературы» 198

см. также Бр-ман

Бухштаб Борис Яковлевич (1904–1985), историк русской литературы, текстолог, книговед, библиограф. Друг Гинзбург. Входил в круг младоформалистов.

В 1926–1942, 1944–1946 гг. сотрудник Государственной публичной библиотеки. С июня 1942 по сентябрь 1944 г. был в эвакуации в Омске 116, 123, 129, 191, 204, 242, 479

см. также Б., Б.Б.

Бялый Григорий Абрамович (1905–1987), литературовед, с 1939 г. профессор кафедры русской литературы ЛГУ, научный сотрудник ИРЛИ. Автор книг о В.М. Гаршине, И.С. Тургеневе, А.П. Чехове. В блокаду был эвакуирован из Ленинграда в Саратов 140, 146

В. 109, 142

В. 181, 475

см. Вентцель Ф.Ф.

В. 240

см. Гофман В.А.

В. 37

см. Типот В.Я.

В. 261, 360

см. Ярмагаев В.С.

Вагнер Вильгельм Рихард (Wagner Wilhelm Richard, 1813–1883), немецкий композитор 161, 458

Валентина Николаевна 368

см. Елисеева В.Н.

Валя 375

Варбанец Наталья Васильевна (1916–1987), историк книги, библиограф. В 1938–1982 гг. сотрудник Отдела редкой книги Государственной публичной библиотеки. В войну, будучи студенткой филологического факультета ЛГУ, ушла из университета работать в госпитале. Возлюбленная Л.Н. Гумилева 296

см. также Ната

Вас. (В) 118

Васильев Сергей Александрович (1911–1975), поэт. В 1935 г. был замечен М. Горьким. В годы войны военный корреспондент. Автор поэм «На Урале» и «Москва за нами» (обе 1942), стихов о войне 94

В.В. (Ябл.) 366, 385

см. Яблонская В.В.

Вентцель Фаина Филипповна (1870–1967), писательница, автор пьес, переводов, воспоминаний. Ее мемуары о Н.Г. Гарине-Михайловском и М. Горьком опубликованы в журнале «Звезда», (1943. № 5–6) 181, 485

см. также В.

Вера 365

Вересов Александр Израилевич (1911–1991), очеркист, автор детских исторических романов, сборников рассказов «Мужество» (1942), очерков «На боевых рубежах Ленинграда» (1942), воспоминаний «Солдаты сто девятой» (1963) 95

Вета 68

см. Долуханова Е.И.

Вечтомова Елена Андреевна (1908/9–1989), поэт, публицист, переводчик. В 1941 г. нештатный военный корреспондент газеты «На страже Родины». Автор стихов «Молодежь Ленинграда» (1941), «Звезды», «Твой сын», «Как сегодня счастлив Ленинград», «Сыну» (все 1943). В 1941–1945 гг. сотрудничала

с Радиокomiteетом, выпускал сборники «Женщины города Ленина», «Комсомол Ленинграда», «Мужество», «Они сражались за Ленинград». В 1943–1944 гг. заведующая сектором пропаганды ЛО ССП. Была замужем за поэтом Ю.А. Инге, погибшим в 1941 г. при Таллинском переходе кораблей 185, 372, 401, 491
см. также Л.В. (Лена В-а)
В.И. 93, 97–100, 302
см. Инбер В.И.
Виталий 146
В-й 74
Витя 115
см. Типот В.Я.
Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951), драматург, прозаик. В годы блокады корреспондент «Правды». Возглавлял оперативную группу писателей при Политуправлении Балтфлота. В 1942 г. вместе с драматургом А.А.Кроном и поэтом В.Б. Азаровым написал пьесу «Раскинулось море широко» о балтийских матросах. Премьера спектакля состоялась 7 ноября 1942 г. в Городском (Блокадном) театре на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии 86–89, 415
В.М. 371, 372, 380, 388
см. Гурвич В.М.
Вознесенский Александр Алексеевич (1989–1950), экономист, в 1941–1947 гг. ректор ЛГУ, в 1948–1949 гг. министр просвещения РСФСР; брат Н.А. Вознесенского, председателя Госплана СССР. В 1949 г. оба брата были арестованы по «ленинградскому делу» и расстреляны 146, 196, 488, 489
Войтинская (Войтинская-Левидова) Надежда Савельевна (1886–1965), переводчик, прозаик, художник. Училась живописи в Петербурге, Франции, Италии, Германии, Швейцарии. В 1916 г. окончила историко-филологический

факультет Высших женских (Бестужевских) курсов, в 1924 г. отделение теории искусства ГИИИ. В блокаду заведовала Бюро литературных выступлений ЛО ССП. В 1943 г. опубликовала в журнале «Ленинград» статью «Художники-балтийцы» о деятельности группы художников при Политуправлении Балтфлота, созданной в начале 1942 г. с целью запечатлеть образ города-героя. Дочь — А.Л. Левидова (1914–2002) 401, 402, 417
см. также Н.С.
Володя 144, 146, 147
Воробьева Татьяна Ивановна (1914–?), в блокаду старший диспетчер передач в Радиокomiteете 376, 378–380
см. также Таня
Воронец Нина Львовна (1901–?), знакомая Гинзбург, в молодости играла в театре, в 30-е годы из-за дворянского происхождения долго не могла устроиться на работу, впоследствии служила в Управлении по делам архитектуры Ленинграда. Дочь Н.Л. Воронец — Нина (род. 1929) 60–62, 66, 67, 115–121, 130
см. также Н., Н.В., Нина, Н.Л.
Воронец Татьяна Львовна (1899–?), сестра Н.Л. Воронец 61–64
см. также Т., Тата
В.С. 264, 384
см. Ярмагаев В.С.
В-ц, сестры Воронец: Ольга (1897–?), Мария (1898–?), Татьяна (1899–?) и Нина (1901–?), дочери минного офицера крейсера «Светлана» Л.В. Воронца, погибшего в 1905 г. в русско-японскую войну 60
см. Воронец Н.Л., Воронец Т.Л.
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), поэт, критик 161, 458
Г. 413
Г. (Гит.) 403
*см. Гитович С.С.
Г. 484
см. Гуковский Г.А.

Гали 75
см Битнер Г.В.
Гамсун Кнут (Hamsun Knut, 1859–1952), норвежский писатель 346
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906), писатель 421
Гартман Эдуард (Hartmann Eduard von, 1842–1906), немецкий философ, последователь философии Шопенгауэра и «философии тождества» Шеллинга. В своем сочинении «Философия бессознательного» (Die Philosophie des Unbewussten, 1869) Гартман противопоставлял естественно-научному материализму мистический идеализм, а идею социального прогресса — пессимистический взгляд на историю 203, 482
Г.Б., в рукописи также Г.Бт, Бт 120, 364, 373
см. Битнер Г.В.
Герасимова Тина Яковлевна, корректор журнала «Звезда», жена главного редактора Ленинградского отделения Гослитиздата П.Ф. Герасимова (1878–1949) 64
см. также Т.Я.
Герман Юрий Павлович (1910–1967), прозаик, драматург, киносценарист. В годы войны служил на Северном флоте военным корреспондентом ТАСС и Совинформбюро, написал повести «Далеко на Севере» (1943), «Студеное море» (1943) 78
Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, публицист 179, 195, 298, 323, 428, 431, 445, 448, 502–505
Гёте Иоганн Вольфганг (Goethe Johann Wolfgang von, 1749–1832), немецкий писатель 159, 357, 457
Гинзбург Марк Моисеевич (ум. 1934), дядя Л.Я. Гинзбург 503
Гинзбург (урожд. Гольденберг) Раиса (Рахиль) Давидовна (1867 — ноябрь 1942), мать Л.Я. Гинзбург 503

Гинзбург Яков Моисеевич (ум. 1910), отец Л.Я. Гинзбург 503
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф (Hitler [Schicklgruber] Adolf, 1889–1945), с 1921 г. фюрер национал-социалистической партии Германии, с 1933 г. рейхсканцлер Германии 135, 211, 344, 451
Гитович Александр Ильич (1909–1966), поэт, переводчик. В 1941–1947 гг. военный корреспондент фронтовой газеты «Капитан». Руководитель семинара молодых поэтов при Ленинградском отделении Союза писателей «Молодое объединение», куда входили В. Лифшиц, В. Шефнер и др. Автор сборника «Фронтвые стихи» (1943) 97
Гитович Сильва Соломоновна (1913–1974), жена поэта и переводчика А.И. Гитовича. Работала в Ленинградском отделении Союза писателей 403
см. также Г. (Гит.)
ГЛ. 419
*см. Оттер
Гнедич Татьяна Григорьевна (1907–1976), поэт и переводчик, более всего известна переводами английской поэзии, в частности «Дон Жуана» Байрона. В 1942–1943 гг. работала военным переводчиком. В 1944 г. была арестована, приговорена к 10 годам лагерей, реабилитирована в 1956 г. 413–416
см. также Ч.
Гоббс Томас (Hobbes Thomas, 1588–1679), английский философ и государственный деятель, автор трактата «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) 427
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель 151, 473
Гольдин Александр Моисеевич, в 1942 г. секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ, в 1945 г.

заведующий отделом пионеров
ЦК ВЛКСМ 364
Гончаров Иван Александрович
(1812–1891), писатель 502
Горбатов Борис Леонтьевич
(1908–1954), прозаик, публицист,
военный корреспондент. Его
повесть «Непокоренные» (1943)
печаталась в «Правде» (Сталинская
премия, 1946) 83
Горин (Гершен-Горин) Иосиф
Александрович (1911–1961), актер,
чтец и режиссер редакции
литературно-драматического
вещания Радиокomiteта. В октябре
1942 г. вместе с И. Зонне поставил
в Городском (Блокадном) театре
спектакль по пьесе К. Симонова
«Русские люди» 374–377
см. также Борин
Городецкий Борис Павлович
(1896–1974), историк литературы,
заведующий сектором пушкино-
ведения ИРЛИ, в 1940-е годы
заместитель директора ИРЛИ 144
Горький Максим (Пешков Алексей
Максимович) (1868–1936), писатель
401, 414, 421
Гоухберг Фанни Николаевна
(1909 — после 1947), музыковед,
в 1928–1929 гг. училась на курсах
искусствоведения при ГИИИ,
в 1929–1932 гг. в Ленинградской
консерватории на факультете
музыковедения. В 1932–1937 гг.
музыкальный редактор,
в 1940–1944 гг. ответственный
редактор музыкального отдела
Радиокомитета. Принимала участие
в организации исполнения
7-й симфонии Д.Д. Шостаковича
в блокадном Ленинграде в 1942 г. 367
см. также Фани, Ф.Н.
Гофман Виктор Абрамович
(1899–1942), лингвист,
литературовед, друг и соученик
Гинзбург по ГИИИ. Преподавал
на ораторском отделении
ленинградского Института живого
слова и в Рабочем литературном

университете им. М. Горького. Умер
в блокаду в январе 1942 г. 240
см. также А., В.
Гр. (Грв., Гурв.) 362
см. Гурвич В.М.
Грибоедов Александр Сергеевич
(1795–1829), драматург, дипломат
134, 503
Григорий Александрович 180
см. Гуковский Г.А.
Григорьев 379, 380
см. Островский А.Г.
Гриша 139, 150, 171, 205–207
см. Гуковский Г.А.
Груздев Илья Александрович
(1892–1960), публицист, критик,
литературовед, кинодраматург,
участник группы «Серапионовы
братья». Автор книг о Горьком.
В 1940–1941 гг. ответственный
редактор журнала «Звезда». В годы
блокады часто выступал на радио,
выезжал на Балтийский флот.
Публицист газеты «Ленинградская
правда». Автор книг «Балтийские
истребители» (1942), «Родная
земля» (1944) 388
Гуковский Григорий Александрович
(1902–1950), литературовед, член
кружка младоформалистов, друг
Гинзбург. В 1949 г. был арестован,
умер в Лефортовской тюрьме
в Москве. С 1934 г. и до ареста был
старшим научным сотрудником
сектора XVIII в. ИРЛИ, в 1939–1943
и 1945–1947 гг. заведовал кафедрой
истории русской литературы ЛГУ,
в 1942–1944 гг., находясь
в эвакуации, исполнял обязанности
декана филологического факультета
ЛГУ. 139, 150, 171, 180, 205–207, 298, 473,
484
см. также Г., Григорий
Александрович, Гриша
Гуковский Матвей Александрович
(1898–1971), историк, искусствовед,
брат Г.А. Гуковского. В 1943–1945 гг.
проректор ЛГУ. С начала войны
начальник штаба трудовой
повинности и оборонных работ.

В конце 1941 г. ему была поручена организация эвакуации ЛГУ в Саратов. По возвращении из эвакуации с декабря 1944 г. работал по совместительству хранителем в Эрмитаже. В 1949 г. был уволен из ЛГУ и Эрмитажа, арестован, осужден на 10 лет лагерей. После снятия судимости в конце 1954 г. и возвращения в Ленинград в начале 1955 г. был зачислен на должность зам. зав. отдела истории западноевропейского искусства Эрмитажа 143

см. также Матвей

Гулианц Арсен Леонович (1890 — январь 1942), муж Н.Л. Воронец 62, 66, 118, 120

см. также Арсен, Л.

Гурвич Валериан Моисеевич (1911–1992), в 1939 г. старший редактор, в 1940 г. зам. начальника и ответственный редактор, в 1943 г. зам. начальника отдела литературно-драматического вещания Радиокомитета. В мае 1944 г. был уволен из Радиокомитета вслед за Я.Л. Бабушкиным 362–364, 371, 372, 380, 381, 388

см. также В.М., Гр.

Д. 407

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), поэт, генерал, создатель партизанского движения в русско-французской войне 1812 г. 501

Даль Владимир Иванович (1801–1872), ученый, писатель, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» 502

Данте Алигьери (Dante Alighieri, 1265–1321), итальянский поэт 220, 319

Державин Гавриил Романович (1743–1816), поэт 501, 502

Десницкий Василий Алексеевич (1878–1958), литературовед. В молодости закончил Нижегородскую духовную семинарию, впоследствии стал

заметным деятелем большевистского подполья. С 1921 г. был «красным профессором». Работал в Ленинградском пединституте, ИРЛИ. Редактировал журналы «Вестник просвещения», «Вопросы педагогики», «Литературная учеба», «Учебные записки педагогического института им. Герцена», серии сборников «А.М. Горький: Материалы и исследования» и «Архив А.М. Горького». Автор ряда книг и статей по истории русской и зарубежной литературы XVIII–XX вв., литературоведению 142–146

см. также Отец Василий Джеймс Уильям (James William, 1842–1910), американский психолог и философ, брат писателя Генри Джеймса. Его книга «Принципы психологии» (Principles of Psychology, 1890) в русском переводе вышла в 1922 г. под названием «Психология» 447

Джонсон Линдон (Johnson Lyndon, 1908–1973), президент США (1963–1969) 427

Диккенс Чарлз (Charles Dickens, 1812–1870), английский писатель 132, 150, 472, 473

Динзе Ольга Николаевна (1905–?), в 1942 г. редактор отдела литературно-драматического вещания 366

см. также Ольга Николаевна Дм. 207

*см. Дымщиц А.Л.

Добролюбов Николай Алексеевич (1836–1861), литературный критик, публицист 198

Довженко Александр Петрович (1894–1956), кинорежиссер, сценарист 81

Долуханова (Дмитриева) Елизавета Исаевна (1904–1938), друг Гинзбург, жена театрального художника В.В. Дмитриева. Дом сестер Е.И. и Э.И. Долухановых

в Ленинграде часто посещали
В.В. Маяковский, Н.М. Олейников,
Ю.Н. Тынянов и др. 4 февраля 1938 г.
Е.И. была арестована, 28 июня
расстреляна в Ленинграде 68

см. также Вета

Долуханова Эрсели (Селли)
Исаевна (1901–1974), сестра
Е.И. Долухановой, соседка Гинзбург
по коммунальной квартире на
канале Грибоедова, д. 24. В 1920-х —
первой половине 1930-х жена
М.А. Гуковского. В 1960–1968 гг.
заведовала секцией французского
языка кафедры романской
филологии ЛГУ 195, 196, 488

см. также С.

Достоевский Федор Михайлович
(1821–1881), писатель 86, 87, 132, 151,
163, 182, 445, 451, 460, 473, 486

Дудин Михаил Александрович
(1916–1993), поэт, фронтовик,
корреспондент фронтовых газет,
в начале блокады был в Ленинграде.
Автор стихотворных сборников
«Фляга», «Военная Нева» (оба 1943),
«Дорога гвардии», «Костер на
перекрестке» (оба 1944),
«Переправа» (1945), слов

к популярным песням 97, 368

Дымшиц Александр Львович
(1910–1975), критик, литературовед.
В 1941–1950 гг. служил в армии,
был политработником на
Ленинградском и Прибалтийском

фронтах, вышел в отставку в звании
подполковника. Во время войны
входил в группу писателей при
Политуправлении Ленинградского
фронта, был членом Правления
Ленинградского отделения
Союза писателей, председателем
секции критики, консультантом
по марксистско-ленинской учебе.
Работал старшим научным
сотрудником ИРЛИ.

В литературных кругах считался
одиозной фигурой 194, 195, 207, 297,
368

см. также Дм.

Е.А. 300, 386

Евгений 379

см. Островский А.Г.

Евл. 412

Елисеева Валентина Николаевна
(1889–?), в 1942–1943 гг. заведующая
личным отделом, и.о. начальника
отдела кадров Радиокomiteта 368

см. также Валентина Николаевна
Е.М. 403

см. Каралина Е.М.

Е.Р. 368

см. Малкина Е.Р.

Ергольская Татьяна Александровна
(1792–1874), троюродная тетка
Л.Н. Толстого 308, 358

Жионо Жан (Giono Jean, 1895–1970),
французский писатель, обвинялся
в сотрудничестве с вишистским
режимом 430

Жуковский Василий Андреевич
(1783–1852), поэт 99, 502

Журба Павел (Скрипников
Пантелеймон Терентьевич)
(1895–1976), ленинградский
писатель. В 1941–1943 гг. инструктор
политотдела 1-й Кировской дивизии
народного ополчения, участвовал
в боях на Ленинградском фронте.
Автор сборника рассказов «Друзья»
(1942), биографической повести
«Рядовой Александр Матросов»
(1949) 405, 406, 416–419

см. также С.

З. (З.А., Зина, Зинаида
Александровна) 366, 368–371, 377–387,
393–398

см. Малкина Е.Р.

З. 404

см. Кузнецова О.И.

Загоскин Михаил Николаевич
(1789–1852), писатель, драматург,
автор исторических романов 502
Зильберштейн Илья Самойлович
(1905–1988), литературовед,
искусствовед, коллекционер.
Инициатор и один их главных
редакторов серии «Литературное

наследство». В 1940-х годах старший научный сотрудник ИРЛИ 144

см также И.С.

Зонне (Зонненшейн) Исай Соломонович (1898–1953), актер, режиссер. В годы войны режиссер Городского (Блокадного) театра, штатный режиссер Радиокomiteта. В октябре 1942 г. вместе с И.А. Гориным и актерами Радиокomiteта и Театра драмы им. Пушкина поставил спектакль по пьесе К. Симонова «Русские люди» 374, 377, 381, 392

И. 406–410, 412–416

см. Привалова Е.П.

И. 183, 487

*см. Инбер В.М.

И. 200

см. Тронский И.М.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель, в начале 1920-х годов участник объединения «Серапионовы братья», автор многих революционных повестей, в том числе повести «Бронепоезд 14-69» (1922) 415

Ив. Мих. 371

см. Широков И.М.

Изергина Антонина Николаевна (1906–1969), искусствовед, хранитель немецкого искусства в Эрмитаже, жена директора Эрмитажа, академика И.А. Орбели 195, 496

Ильф Илья Арнольдович (1897–1937), писатель, соавтор Е.П. Петрова 367

И.М. 252

см. Тронский И.М.

Инбер Вера Михайловна (1890–1972), поэт, прозаик. В блокаду находилась в Ленинграде, сотрудничала с Радиокomiteтом. Автор сборника стихов «Душа Ленинграда» (1942) и поэмы «Пулковский меридиан» (1943), блокадных дневников «Почти три года» (1946). Была замужем

за профессором медицины И.Д. Страшуном 88, 93, 94, 97–100, 107, 108, 183, 185, 302, 370, 396, 416, 487, 491

см. также В.И., И.

Иосиф Моисеевич 206

см. Тронский И.М.

И.С. 144

*см. Зильберштейн И.С.

К. 145, 367, 368

К. 78

*см. Каверин В.А.

К. 185, 362, 363, 365, 368, 491

см. Каралина Е.М.

К. 95

см. Кратт И.Ф.

К. 90

см. Кучеров А.Я.

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989), прозаик, драматург, сценарист. Во время войны был корреспондентом газеты «Известия» 78, 79

см. также К.

Кам. 395

см. Макогоненко Г.П.

Камю Альбер (Camus Albert, 1913–1960), французский писатель, автор романов «Посторонний» (1942), «Чума» (1947), трактата «Миф о Сизифе» (1942) и др. 430, 451, 452 Кар. 185

см. Каралина Е.М.

Каралина (Каралина-Введенская, Коралина) Елена Михайловна (1908–1990), писательница, автор рассказов. В блокаду сотрудничала с Радиокomiteтом, публиковалась в журнале «Звезда» и «Ленинград». В июле 1942 г., после утверждения списка подлежащих эвакуации ленинградских писателей, ходатайствовала об оставлении ее в блокадном Ленинграде. Автор главы о работе скорой помощи в коллективной книге «День осажденного города» 185, 301, 362, 363, 402, 403, 491

см. также Е.М., К., Кар., Кор., Х.К.

Карасев Леонид Павлович (1904–1968), драматург, автор пьес «Иду на таран» (1942), «Сестры» (1944). Был военным корреспондентом в Финскую кампанию. В 1943–1945 гг. рядовой в войсках Внутренней обороны Ленинграда. В 1942–1943 гг. директор ленинградского Дома писателей им. В.В. Маяковского 94, 95

Катерли Елена Иосифовна (1902–1958), прозаик, журналист. В 1920-е годы работала на заводе, потом занялась журналистикой, много писала о жизни фабрик и заводов. Первые заметки подписывала псевдонимом Рабкор Елка. В годы войны писала для фронтовой прессы. Автор романа «Некрасов» (1943) 90

Катя 366
см. Малкина Е.Р.

Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976), прозаик. В блокадном Ленинграде занимала руководящие должности в идеологической сфере. В сентябре 1941 г. была утверждена ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей. За роман «В осаде» (1947) о героической обороне Ленинграда награждена Сталинской премией (1948) 81, 106–111 К.К. 378
см. Миронов К.К.

К.М. 81
см. Малкина Е.Р.

Коварский Николай Аронович (1904–1974), литературовед, сценарист, кинокритик. В 1920-х годах входил в круг младоформалистов, работал в ГИИИ. В 1941–1946 гг. преподавал в ВГИКе 125, 126

Кожевников Вадим Михайлович (1909–1984), писатель, сценарист. В войну был военным корреспондентом газеты «Правда». Автор сборников «Рассказы о войне» (1942), «Март — апрель» (1942), «Любимые товарищи» (1943) 83

Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954), прозаик, драматург. Автор пьес «Когда я один» (1934), «Чекисты» (1939), «Остров великих надежд», «Золотой обруч», «Преступление на улице Марата» (все 1945, совместно с А.Б. Мариенгофом) и др. В войну был эвакуирован в Пермь 94

Колесников 365

Колпакова Наталья Павловна (1902–1994), фольклорист, исследователь и популяризатор народной поэзии. Из дворянской семьи. Отец Павел Петрович (ум. в 1939 г.) был инженером-архитектором. В 1921–1924 гг. училась на Высших курсах ГИИИ, которые окончила со званием научного сотрудника 1-го разряда (аналог современного кандидата наук). В блокаду оставалась в Ленинграде. До эвакуации университета в феврале 1942 г. работала на филологическом факультете, затем в библиотеке Володарского райкома КПСС и Ленинградском отделении Союза писателей. Выпустила сборник «Частушки Ленинградского фронта» (1943). Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 67, 71, 124, 130
см. также Н.К., Н.П.

Константин Константинович 373, 378
см. Миронов К.К.

Кор. 301, 362, 402, 403
см. Каралина Е.М.

Косторский Сергей Васильевич (1898–?), в 1945 г. докторант ИРЛИ 145
см. также Кс.

Кратт Иван Федорович (1899–1950), прозаик, журналист, автор сборников рассказов «Закон жизни» (1942), «Труженики войны» (1944) и повести об обороне Ленинграда «Суровый берег» (1947) 95
см. также К.

Кри. 146

Крылов Иван Андреевич
(1769–1844), баснописец, драматург
503

Кс. 145

*см. Косторский С.В.

Кузн. 402, 403

см. Кузнецова О.И.

Кузнецова Ольга Исааковна
(1901–1948), детская писательница,
автор детских научно-популярных
книг о природе «Враг под
микроскопом», «Враги и друзья
среди растений», повести
«Юннаты», очерков для детского
ежегодника «Глобус», журнала
«Костер». В войну сотрудничала
с детской редакцией Радиокomiteта,
журналом «Костер». Автор главы
о работе Института переливания
крови в коллективной книге
«День осажденного города»
402–404

см. также З., Кузн., Оля

Кукольник Нестор Васильевич
(1809–1868), поэт, драматург 502

Кулишер Анна Семеновна
(1888–1961), переводчик
французской литературы.

В литературных кругах славилась
остроумием, эксцентричностью
поведения 207, 461

см. также А.С.

Куприн Александр Иванович
(1870–1938), писатель 401

Курзнер Павел Яковлевич
(1886–1948), начинал как оперный
певец (бас) в Мариинском театре,
после внезапной потери голоса стал
драматическим артистом. Снимался
в кино, выступал на эстраде как
чтец-декламатор. В 1942 г. актер-
чтец Радиокomiteта, выступал
с бригадой артистов на Ленин-
градском фронте 375, 376

см. также П.

Кутузов (Голенищев-Кутузов)
Михаил Илларионович (1745–1813),
полководец 162, 459

Кучеров Анатолий Яковлевич
(1907–1968), литературовед,

прозаик, в войну журналист на
Ленинградском фронте. Автор
повести «Служили два товарища»
(1954) 89, 90

см. также К.

Кушнер Александр Семенович
(р. 1936), поэт, друг Гинзбург 453
Кьеркегор Серен (Søren Kierkegaard,
1813–1855), датский философ,
предшественник экзистенциализма
451

Л. 301

Л. 384, 388

см. Отгер

Л. 405, 406

см. Попова Л.М.

Л., родственники мужа Н.Л. Воро-
нец 118

см. Гулианц А.Л.

Лазарев Михаил Петрович
(1788–1851), флотоводец, адмирал,
мореплаватель, в 1813–1814 гг.

совершил кругосветное
путешествие, с 1834 г. командовал
Черноморским флотом 501, 502

Ларин Сергей Васильевич
(1912–1987), владимирский
писатель, автор рассказов и очерков

о родном крае. В 1920-е годы жил
в Москве, посещал литературные
студии «Вагранка» и «Искра».

Вернулся во Владимир в 1937 г.,
находился на партийной
и советской работе. В годы войны
был назначен комиссаром
партизанских баз. С 1950 г.
сотрудник местной газеты
«Призыв», затем ответственный
секретарь редакции, заместитель
редактора 364

Ларошфуко Франсуа (de La Roche-
fouscaul Francois, 1613–1680),
французский мыслитель, моралист
299, 356, 399, 424

Л.В. (Лена В-а) 491

см. Вечтомова Е.А.

Лебедев-Полянский Павел
Иванович (настоящая фамилия
Лебедев; псевдоним Валериан

Полянский, 1881/1882–1948), критик, литературовед, академик АН СССР (1946). С 1922 по 1931 г. организатор и первый начальник Главлита, в 1937–1948 гг. директор ИРЛИ 145

см. также Пав. Ив.

Левоневский Дмитрий Анатольевич (1907–1988), поэт, критик, журналист. В военные годы работал в дивизионной газете «Сталинское знамя», был заместителем главного редактора журнала «Ленинград» Б.М. Лихарева 92, 93

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) политический, партийный и государственный деятель 503

Леночка 205

см. Эйзенгардт Е.И.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт 151, 160, 412, 415, 423, 473, 501, 504, 505

Лешков Павел Иванович (1884–1964), заслуженный артист РСФСР. Играл в Александринском театре. Один из создателей Городского (Блокадного) театра. В 1943 г. арестован, в 1944 г. из-за истощения «сактирован» и выслан в Бежецк. Работал в театрах Кирова, Омска, Тюмени (1951–1953). Умер в Ленинградском доме ветеранов сцены 382, 383

Линдер Макс (Linder Max, наст. имя и фам. Габриель Левьель [Gabriel Leuvielle], 1883–1925), французский киноактер-комик. Ч. Чаплин называл себя его учеником 412

Липецкая 367, 370, 371, 383, 390–396, 401
см. Яблонская В.В.

Лифшиц Владимир Александрович (1913–1978), поэт, прозаик, драматург. Входил в группу поэтов «Молодое объединение» при Ленинградском отделении Союза писателей под руководством А.И. Гитовича. В 1941 г. ушел в народное ополчение. Автор поэтических сборников «Следы на

снегу» (1941), «Плечом к плечу» (1942), «Клятва» (1944) и др. 97, 98
Лихарев Борис Михайлович (1906–1962), поэт, журналист. С конца 1944 по 1946 г. главный редактор журнала «Ленинград». В войну входил в группу писателей при Политуправлении Ленинградского фронта, был ответственным секретарем Ленинградской писательской организации, работал в газете «На страже Родины» 93, 96, 98
Л.М. Сиг (Сис.) 128
Лузанов Донат Матвеевич (1893–?), актер-чтец, участвовал в выступлениях фронтовых бригад в блокадном Ленинграде и на Ленинградском фронте 415
Ляля 38, 242, 271–272, 279

М. 148, 362

М. 83, 84, 137, 247, 249, 368, 369, 416

см. Макогоненко Г.П.

М. 394

см. Миронов К.К.

М. 77–79

см. Мирошниченко Г.И.

М. (Мих.) 413, 414, 416

*см. Михайлова А.Н.

Мак. 414, 415

см. Макогоненко Г.П.

Макаров Степан Осипович (1849–1904), флотоводец, полярный исследователь, кораблестроитель. Погиб в русско-японскую войну 501, 502

Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1986), литературовед, специалист по русской литературе XVIII в., профессор ЛГУ, муж О.Ф. Берггольд. В 1941–1942 гг. заведующий литературно-драматической редакцией ленинградского Радиокomiteта. Уволен 25 июля 1942 г. за политическую ошибку. С августа 1942 по 1944 г. военный корреспондент при Политуправлении Балтийского флота 80,

81, 83, 84, 87, 115, 137–139, 155, 195, 207, 247, 249, 300, 368, 369, 394, 395, 414–416, 424

см. также Кам., М., Мак., Мк., Юра
Максименков Олег (1922–1941) 423

см. также Олег

Максимович Алексей Яковлевич (1906 или 1908–1942), литературовед, краевед, художник. Участвовал в подготовке полного собрания сочинений Н.А. Некрасова. В 1928 г., будучи студентом ГИИИ и сотрудником ИРЛИ, был арестован как член религиозно-философского общества «Воскресенье», приговорен к пяти годам заключения. Заключение отбывал в Соловецком концлагере. В 1931 г. освобожден и выслан на оставшийся срок в Котлас. В середине 1930-х годов вернулся в Ленинград; работал в Пушкинском доме. Умер от истощения в блокаду в марте 1942 г., похоронен на Серафимовском кладбище 297, 431

Малкина Екатерина Романовна (1899–1945), литературовед, критик, библиограф, ученица Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова и В.М. Жирмунского в ГИИИ, исследователь творчества В. Маяковского, А. Блока, Н. Гумилева, автор работ о советской поэзии 1930–1940-х годов. В блокаду жила в Ленинграде, работала в Союзе писателей, в газетах, выступала с лекциями в госпиталях. С марта 1942 г. редактор литературно-драматической редакции Радиокomiteта. В ночь с 31 декабря 1944 на 1 января 1945 г. была убита в собственной квартире (обстоятельства убийства не выяснены) 81, 84, 207, 366, 368–371, 377–387, 393–398

см. также Е.Р., З., Зина, Катя, К.М.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт 466

Мануйлов Виктор Андронникович (1903–1987), литературовед, специалист по русской литературе

ХІХ в. В 1930-х годах под руководством Б.М. Эйхенбаума участвовал в подготовке академического издания сочинений М.Ю. Лермонтова. В блокаду был уполномоченным Президиума Академии наук СССР по ИРЛИ. С небольшой группой оставшихся в Ленинграде сотрудников ИРЛИ обеспечивал сохранность здания и его рукописных и музейных материалов 95, 96, 146, 415, 416

Мао Цзэдун (1893–1976), китайский государственный деятель, лидер Коммунистической партии Китая, председатель КНР 426, 427

Маркс Карл Генрих (Marx Karl Heinrich, 1818–1883), немецкий социолог, экономист и политический деятель 86, 451

Мария Лазаревна 233

см. Тронская М.Л.

Матвей 143

см. Гуковский М.А.

Мат. 420

см. Матюшина О.К.

Матюшина Ольга Константиновна (1885–1975), художница, писательница, жена художника М.В. Матюшина. Автор книги о блокаде «Песнь о жизни». Жила в деревянном доме на улице профессора Попова, 10, в котором при жизни М.В. Матюшина бывали многие знаменитые художники и писатели. В блокаду дом спас от разбора на дрова Вс. Вишневский (теперь Музей петербургского авангарда) 420

см. также Мат.

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт 96, 97, 163, 415, 460, 501

М.Б. (Ис.Т.) 280

см. Тронский И.М.

Мейлах Борис Соломонович (1909–1987), литературовед, специалист по русской литературе ХІХ в., сотрудник ИРЛИ. С начала 1942 г. до конца войны был

в эвакуации в Ташкенте. Лауреат Сталинской премии (1948) за монографию «Ленин и проблемы русской литературы конца XIX — начала XX века» 142–146

Мери Р. 369

см. Рид М.

Мещанинов Иван Иванович (1883–1967), лингвист, археолог, с 1934 г. академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР 147

М.И. 66

Мионов Константин Константинович (1897 — после 1961), в блокаду артист и режиссер Городского (Блокадного) театра, сотрудник литературно-драматической редакции Радиокomiteта, один из ведущих передачи «Письма с фронта и на фронт» 373, 374, 376, 378, 394

см. также К.К., Константин Константинович, М.

Мирошниченко Григорий Ильич (1904–1985), прозаик, очеркист, секретарь парторганизации Ленинградского отделения Союза писателей, зам. начальника оперативной группы писателей при Балтийском флоте, начальник литературного отдела в газете «Краснознаменный Балтийский флот». Автор повестей о летчиках Балтийского флота, в том числе «Бесстрашные балтийцы» (1941). Его повести «В первом гвардейском полку» (1942) и «Гвардии полковник Преображенский» (1943) читались в блокаду по радио 77–79

см. также М.

Михайлова Анна Николаевна (1904–1968), литературовед, научный работник отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки. Из семьи священника. Окончила аспирантуру ИФЛИ. В блокаду продолжала работать в библиотеке, писала кандидатскую диссертацию,

выступала с лекциями в подшефном госпитале, публиковала статьи в журналах «Ленинград» и «Звезда» 413, 414, 416 см. также М.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904), публицист и критик, теоретик русского народничества 197, 489 Мичурин-Самойлова Вера Аркадьевна (1866–1948), актриса Александринского театра, народная артистка СССР. В блокаду выступала в концертах, спектаклях «Театра у микрофона». Сталинская премия (1943) 377

Мк. 81, 394, 415

см. Макогоненко Г.П.

М.Л. 37, 48, 50

см. Тронская М.Л.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), государственный и партийный деятель, в 1941 г. нарком иностранных дел, 22 июня в радиобрешении к советскому народу официально объявил о начале войны 209, 312

Мопассан Ги де (Maupassant Guy de, 1850–1893), французский писатель 473

Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905), писатель, историк, автор исторических романов 502 Муся 406, 408, 410

см. Уинкот М.

Н. 115

Н. 61, 62, 66, 67

см. Воронец Н.Л.

Н. 401, 406–412, 416–419

см. Хмельницкая Т.Ю.

Н.А. 364

см. Ходза Н.А.

Наполеон I Бонапарт (Napoléon Bonaparte, 1769–1821), французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики, император 148, 162, 459

- Ната 296
*см. Варбанец Н.В.
- Наташа 378–386
- Наташа (Нат. Вас.) 406, 414
- Нахимов Павел Степанович (1802–1855), флотоводец, адмирал, герой обороны Севастополя 502, 503
- Н.В. 386
см. Преображенская Н.В.
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878), поэт 90, 182, 486, 502
- Николай Павлович 373
см. Янкевский А.И.
- Нина (Надя) 364, 369, 370, 388, 394
см. Преображенская Н.В.
- Нина 60
см. Воронец Н.Л.
- Ницше Фридрих Вильгельм (Nietzsche Friedrich, 1844–1900), немецкий философ, поэт 449
- Н.К. 67–69, 71, 130
см. Колпакова Н.П.
- Н.Л. 115–119, 121
см. Воронец Н.Л.
- Н.Н. 374
см. Преображенская Н.В.
- Н.П. 124, 130
*см. Колпакова Н.П.
- Н.Р. (Н.П.) 364, 365, 369, 370, 386–397
см. Преображенская Н.В.
- Н.С. 401, 402, 417
см. Войтинская Н.С.
-
- О. 78
- О. 367, 370, 375, 384, 391, 394, 407, 408, 410, 462–471
см. Оттер
- О.Б. 87, 302, 362
см. Берггольц О.Б.
- Огарев Николай Платонович (1813–1877), поэт, общественный деятель 505
- Окуджава Булат Шалвович (1924–1997), поэт, бард, прозаик, автор повести «Будь здоров, школяр» (1961) 423
- Олег 423
см. Максименков О.
- Олейников Николай Макарович (1898–1937), поэт 286, 434
- Ол. С. 109
- Ольга Николаевна (Нина Николаевна, Н.Н.) 373, 397, 398
- Оля 403
см. Кузнецова О.И.
- О.Н. 366
*см. Динзе О.Н.
- Орлов Александр Александрович (1889–1974), артист эстрады, оперетты, кино. В блокаду артист театра Музкомедии. Первый и бессменный исполнитель роли боцмана в знаменитом «блокадном» спектакле по пьесе В. Вишневского, А. Крона и В. Азарова «Раскинулось море широко» (1942) 363
- Орлов Владимир Николаевич (1908–1985), литературовед, автор книг о Блоке. В блокадные годы много сотрудничал с Радиокомитетом 147
- Ося 378
*см. Островский А.Г.
- Островский Арсений Георгиевич (1897–1989), литературовед, переводчик с украинского и белорусского языков, в 1932–1951 гг. редактор серии «Библиотека поэта». В 1942 г. заведующий фонотекой и редактор литературного отдела Радиокомитета. В январе 1943 г. назначен на должность редактора отдела детского вещания 68, 73–77, 207, 373–375, 378–380
см. также А.О., Ар., Григорьев, Евгений, Ося, Покровский
- Отец Василий 142–146
см. Десницкий В.А.
- Оттер, условное самообозначение автора, которым Гинзбург пользовалась в 1930–1940-х годах
см. также Александр Ильич, Г.Л., Л., О., Эн, N
-
- П. 375
*см. Курзнер П.Я.
- П. (Павл.) 385
см. Павленко П.А.

- П. (Пап.) 71, 400, 401
см. Паперная Н.Н.
- П. (П-а) 91, 94
см. Паюсова Т.Г.
- П-ми 192
- Пав. Ив. 145
см. Лебедев-Полянский П.И.
- Павленко Петр Андреевич (1899–1951), писатель и деятель культуры сталинской эпохи, депутат Верховного Совета СССР, лауреат четырех Сталинских премий I степени. В 1942 г. опубликовал сборник рассказов и заметок «Путь отваги» 385
см. также П.
- Паперная Нина Николаевна (1902–1989), литератор, радиожурналист, в блокаду сотрудник детской редакции Радиокomiteта. Была замужем за писателем-сатириком А.И. Флитом, работавшим в военные годы в газетах «На страже родины», «Красный балтийский флот» и др. 71–73, 130, 400, 401
см. также Н.П., П., Пап.
- Папковский Борис Васильевич (1908–1950), литературовед, сотрудник Гослитиздата. Составитель антологии «Русские поэты о родине» (1943), автор брошюр о М.Е. Салтыкове-Щедрине, Н.Г. Чернышевском (1943) и др. 92, 94, 98
- Паскаль Блез (Pascal Blaise, 1623–1662), французский математик, физик, литератор и философ 450
- Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт 359, 446
Пд. 260, 262
- Паюсова Татьяна Георгиевна, в блокадные годы зав. сектором культуры ленинградского горкома ВКП(б), в 1946 г. зав. кафедрой политэкономии Ленинградского инженерно-строительного института, жена поэта А.Е. Решетова 87, 89–91, 93, 94
см. также П. (П-а)
- П.В. 364–374, 378, 381, 385–397
см. Битнер Г.В.
- Петр I (1672–1725), русский царь с 1689 г., император с 1721 г. 502
- Петр Петрович 416
- Петров 374
- Петров Евгений Петрович (наст. фамилия Катаев) (1903–1942), писатель, соавтор И.А. Ильфа. Погиб 2 июля 1942 г. в авиакатастрофе, возвращаясь из Севастополя в Москву 301, 362, 367
П.И. 408
- Пиксанов Николай Кирьякович (1878–1969), литературовед, текстолог, фольклорист, публицист, библиограф, член-корреспондент АН СССР (1931). В 1932–1944 гг. зав. архивом, зав. рукописным отделом, зав. отделом новой русской литературы ИРЛИ, в 1942–1944 гг. также профессор Среднеазиатского государственного университета (Ташкент) 140
- Пильняк Борис Андреевич (1894–1938), прозаик, автор романа «Голый год» (1922) 389
- Пиндар (ок. 518 — 442 или 438), древнегреческий поэт 430, 451
П.О. 410
- Покровский 375
см. Островский А.Г.
- Польская Анна Михайловна (1906–?), журналист, работала на радио с 1938 г., в 1942 г. (до эвакуации) редактор отдела агитации и пропаганды Радиокomiteта 261, 361
см. также Анна Михайловна
- Попов 396
- Попова Людмила Михайловна (1898–1972), поэт. Училась на Высших государственных курсах искусствоведения при ГИИИ. В 1942 г. вступила в Красную армию. В 1942–1945 гг. служила в политотделе 13-й воздушной армии ВВС. Автор поэм о летчиках «Счастье летать» (1941), «Крылья жизни» (1943), «Соколиный мир» (1944),

сборника очерков «Шесть соколов» (1942). Выступала на радио и призывных пунктах 405, 406

см. также Л.

Пор. 92

Преображенская Надежда Вениаминовна (1903–?), работала артисткой, преподавателем, токарем на литейно-механическом заводе.

С 1942 г. редактор литературно-драматической редакции Радиокомитета. Была замужем за детским писателем и очеркистом А.А. Экком, в блокаду служившим в истребительном батальоне войск НКВД и военным корреспондентом газеты «За Родину» и погибшим на фронте в 1943 г. 364, 365, 369–371, 374, 386–397

см. также Н.В., Нина, Н.Н., Н.П., Н.Р.

Привалова Екатерина Петровна (1891–1977), литературовед, библиограф, специалист по истории детской литературы XVIII–XX вв. Из семьи народных учителей.

Окончила историко-филологический факультет Высших женских (Бестужевских) курсов. Преподавала в Ленинградском пединституте.

В годы блокады после эвакуации института перешла на работу в Государственную публичную библиотеку на должность главного библиографа. В марте 1942 г.

защитила кандидатскую диссертацию по детской литературе, написала книгу «Героизм русского народа в пословицах и поговорках», отмеченную газетой «Правда» как ценное пособие «для политико-просветительской работы в частях Красной Армии» 406–416

см. также И.

Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971), поэт. Из крестьянской семьи. В 1922–1930 гг. работал в ВЧК–ГПУ. Во время войны входил в писательскую группу при Политуправлении Ленинградского фронта, публиковался в армейской

печати, выступал перед бойцами Ленинградского, Волховского и Северного фронтов. Писал агитстихи, стихотворные фельетоны, песни, частушки. Поэма «Россия» (1944) была отмечена Сталинской премией (1946) 93, 94, 98, 99, 195, 197
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор. В июне 1945 г. награжден золотой медалью Английского филармонического общества 147

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 150, 151, 155–159, 178, 281, 374, 396, 409, 412, 415, 423, 454–457, 473, 502, 504

Пушкин Василий Львович (1766–1830), поэт, дядя А.С. Пушкина 412

П.Ф. 30

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед, этнограф, академик Петербургской АН (1898) 140

Р. 117–119, 408

Р. 65–67

см. Роболи Т.А.

Р. 424

см. Розен А.Г.

Р. 433

см. Тронский И.М.

Р.А. 366

Ремарк Эрих-Мария (Remarque Erich Maria, 1898–1970), немецкий писатель, автор романа «На западном фронте без перемен» (1929) 137, 313

Решетов Александр Ефимович (1909–1971), поэт. Родился в крестьянской семье. В войну был военным журналистом на Карельском фронте. Автор поэтических сборников «Ленинградская доблесть» (1942), «В строю» (1943), «Сторона родная» (1946) и др. Жена Т.Г. Паюсова, в военные годы заведующая сектором культуры ленинградского горкома ВКП(б) 84, 87, 88

Ри 66

см Роболи Т.А.

Рид Джон (Reed John, 1887–1920), американский журналист, коммунист, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) 369

Рид Мэри (Reed Mary, 1901–1971), американская журналистка. Будучи студенткой Гарвардского университета, записалась в марксистский кружок, где познакомилась со своим однофамильцем Джоном Ридом, в честь которого назвала своего сына. В 1927 г. приехала в СССР как корреспондентка американских коммунистических газет *New Masses*, *Worker* и *Nation*. До 1934 г. работала в Москве переводчицей при Коминтерне, затем рецензентом при Издательстве иностранной литературы. Сын Джон вступил в комсомол, работал сварщиком на Ленинградском заводе им. Кирова, умер в декабре 1941 г. от истощения. Мэри была эвакуирована по «Дороге жизни» по личному распоряжению А. Фадеева. В пути ее сняли с эвакопоезда, арестовали по обвинению в шпионаже, отправили в лагерь, а через шесть лет на спецпоселение в Рязанскую область. Реабилитирована в 1956 г. Умерла в Доме творчества писателей в Переделкино 369

см. также Мери Р.

Роболи Татьяна Альфредовна (1892–1972), литературовед. В 1920-х годах сотрудник ГИИИ, в блокаду зам. зав. отделом систематизации Публичной библиотеки. 22 декабря 1943 г. была тяжело ранена при обстреле Ленинграда, потеряла ногу 65–67, 69, 115, 116, 118, 120–131

см. также Р., Ри, Т., Т.А., Тат., Т.Р.

Розен Александр Германович (1910–1972), прозаик, очеркист, автор повестей и рассказов о Ленинградском фронте, в том

числе сборников «Три повести» (1945) и «Полк продолжает путь» (1947). В 1942–1943 гг. многие из его повестей передавались по ленинградскому радио 300, 371, 424 см. также Р.

Ростопчин (Растопчин) Федор Васильевич (1763–1826), государственный деятель, писатель, во время войны 1812 г. автор патриотических воззваний («растопчинских афиш»), получивших широкую известность благодаря своему простонародному слогу 93

Рудный Владимир Александрович (1913–1984), прозаик, сценарист. В войну корреспондент газеты «Красный флот». Автор очерков о морях. В 1942–1943 гг. по ленинградскому радио передавался цикл передач по его исторической повести «Непобежденный Гангут» (1942) 388

Руссо Жан-Жак (Rousseau Jean-Jacques, 1712–1778), французский мыслитель, представитель французского Просвещения, реформатор педагогики, писатель 148, 170, 467

Рывина Елена Израилевна (1910–1985), поэт. Училась на Высших курсах искусствоведения и на литературном отделении ЛГУ. С 1931 г. работала в газете «Смена», печаталась в газетах «Комсомольская правда», «Резец», «Юный пролетарий», «Смена», «Ленинградская правда». В годы войны корреспондент газеты «На защиту Ленинграда». С 1942 г. работала в Политуправлении Ленинградского фронта. Выпустила сборники стихов «Лирика» (1942), «Слово ленинградки» (1943) 113, 406

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1825), поэт-декабрист 502

С. 376

С. 195, 196, 488

*см. Долуханова Э.И.

С. 405, 406, 416–419

см. Журба П.

Самойлов Георгий Ильич, актер театра и кино, заслуж. артист РСФСР (1957). В 1925 г. окончил Ленинградский театральный институт, был артистом академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр), также играл в спектаклях Театра комедии, БДТ, Ленинградского театра Ленинского комсомола. Во время блокады много сотрудничал с Радиокomiteeом 376, 378

Сартр Жан-Поль (Sartre Jean-Paul, 1905–1980), французский философ-экзистенциалист, писатель, драматург и эссеист 451

Саянов Виссарион Михайлович (1903–1959), поэт, прозаик, публицист, с 1942 по конец 1944 г. ответственный редактор журнала «Ленинград», с конца 1944 по 1946 г. главный редактор журнала «Звезда». В 1941–1945 гг. в Политуправлении Ленинградского фронта, корреспондент фронтовых газет. Автор книг «Летчики-гвардейцы», «Артиллеристы-гвардейцы», «Суворов» (все 1942), «В боях за Ленинград. Записки военного корреспондента» (1943) 84, 93

Симонов Константин Михайлович (1915–1979), поэт, прозаик. В 1920-х годах был женат на племяннице Гинзбург Наталии Типот (Соколовой). В войну находился в действующей армии в качестве собственного корреспондента газет «Красная Звезда», «Правда», «Комсомольская правда», «Боевое знамя». Его любовная лирика времен войны (сборники «Лирический дневник», «С тобой и без тебя», «Фронтовые стихи», все 1942) пользовалась огромной популярностью 81–83, 373

Скотт Роберт Фалкон (1868–1912), капитан, английский морской

офицер, один из первооткрывателей Южного полюса 502

Скрипиль Михаил Осипович (1892–1957), литературовед, специалист по фольклору и древнерусской литературе. В годы блокады (1941–1942) работал под Ленинградом, был начальником пожарной бригады ИРЛИ. В годы эвакуации в Казани (1942–1945) ученый секретарь ИРЛИ. В 1945 г. защитил докторскую диссертацию «Опыты изучения древнерусской историко-бытовой повести».

С 1945 по 1954 г. старший научный сотрудник Отдела древнерусской литературы и и.о. ученого секретаря ИРЛИ 140

Слонимская Ида Исаковна (Дуся) (1903–1999), жена М.Л. Слонимского 80

Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), писатель. В 1920-е годы член группы «Серапионовы братья», в 1934–1954 гг. член правления Союза писателей СССР. В 1941-м эвакуирован из блокадного Ленинграда 94

См. 142

Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971), писатель. В 1941–1945 гг. военный корреспондент «Правды», Совинформбюро и Главполитуправления военно-морского флота. За сборник фронтовых очерков и рассказов «Морская душа» (1942) награжден Сталинской премией (1943) 93

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008), писатель 453

Сонечка 368

Спиноза Бенедикт (Барух) (Spinoza Benedictus de, 1632–1677), нидерландский философ 170, 467
Спиридонов Василий Спиридонович (1878–1952), литературовед, профессор Ленинградского пединститута. В годы блокады выступал с публичными лекциями о русской литературе 414

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953), политический, партийный и государственный деятель 101, 503
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), философ, критик, поэт 148
Степанов В., актер, ученик И.С. Зонне. Играл в пьесе Д. Деля «Музыкантская команда» в постановке ЛенГЮЗ'а 1935 г. В 1942 г. исполнитель роли Сафонова в спектакле по пьесе К. Симонова «Русские люди», поставленном театральным агитвзводом Ленинградского дома Красной Армии им. С.М. Кирова 381
Степанов Николай Леонидович (1902–1972), литературовед, соученик Гинзбург по ГИИИ, участник семинара Б.М. Эйхенбаума и кружка младоформалистов. В годы войны в эвакуации. После 1947 г. профессор Московского пединститута 124, 125
Страхов Николай Николаевич (1828–1896), критик, философ 155, 454
Суворов Александр Васильевич (1729–1800), полководец 502
Сурков Алексей Александрович (1899–1983), поэт. Во время войны военный корреспондент газет «Красноармейская правда» и «Красная звезда», автор сборников стихов «Дороги ведут на Запад» (1942), «Солдатское сердце» и «Стихи о ненависти» (оба 1943), «Песни гневного сердца» и «Россия карающая» (оба 1944). В 1944 г. главный редактор «Литературной газеты» 83

Т. 63, 64

см. Воронец Т.Л.

Т. 67, 115, 116, 120–130

см. Роболи Т.А.

Т. 354

см. Тронский И.М.

Т. 366, 396

см. Ходза Н.А.

Т.А. 122

см. Роболи Т.А.

Таня 376, 378–380

*см. Воробьева Т.И.

Тат. 66, 121, 122

см. Роболи Т.А.

Тата 62, 63

см. Воронец Т.Л.

Тевелев Матвей Григорьевич (1908–1962), прозаик, сценарист, драматург. Печатал рассказы в журналах «Звезда», «Знамя». Автор (совместно с С. Полоцким) сценария фильма «Варежки» (1942), пьесы «Навстречу эскадре» (1943) 368
Теккерей Уильям Мейкпис (Thackeray William Makepeace, 1811–1863), английский писатель 150, 473

Теребилова (Тереб.) 375

см. Теребинская Н.В.

Теребинская Наталья Владимировна (1904–?), в 1942 г. редактор радиопередач для детей «„Костер“ по радио», ответственный редактор журнала «Костер» 375

см. также Теребилова

Тимофеев (Тимофеев-Еропкин)

Борис Николаевич (1899–1963), поэт, автор сатирических стихов и басен для детей. В 1920 г.

сотрудничал в РОСТА. В блокаду вступил в содружество «Боевого карандаша», писал тексты к военным плакатам. С 1944 г. печатался в журнале «Крокодил» 74, 96–98

Типот (Гинзбург) Виктор Яковлевич (1893–1960), брат Л.Я. Гинзбург.

Драматург, театральный режиссер, сценарист, один из авторов

либретто к опереттам «Свадьба в Малиновке» (1937), «Девичий переполох» (1945), «Вольный ветер» (1947). Прозвище «Типот» от англ.

tea pot (чайник) получил в юности от своих друзей. В студенческие годы вместе с сестрой участвовал в домашних любительских спектаклях. В 1918–1922 г.

руководитель, автор, режиссер, актер и конферансье Одесского

театра миниатюр «Крот» («Конгрегация рыцарей острого театра»). В его труппу входили Р. Зеленая, В. Инбер. В 1922 г. переехал в Москву, работал автором и режиссером в кабаре «Нерыдай». В 1924–1927 гг. организатор и художественный руководитель Московского театра сатиры, в 1928–1930 гг. возглавлял московский Театр обозрений Дома печати. В 1920-е годы сотрудничал с «Синей блузой». В 1930–1931 гг. возглавлял эстрадный отдел Центрального театра Красной Армии. В 1938 г. один из создателей Московского театра миниатюр. В годы войны в эвакуации на Урале, писал эстрадные номера для фронтовых бригад. В 1942 г. в Челябинске поставил театрализованное представление «Народные мстители» с участием молодежного джаза под управлением М. Южного. В 1944 г. вернулся в Москву, работал для эстрады 19, 37, 38, 42, 45, 59, 115

см. также В., Витя, V

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт, публицист, общественный деятель. В блокаду работал как журналист, выступал на радио, возглавлял группу писателей при Политуправлении Ленинградского фронта. Произведения этого периода — поэма «Киров с нами» (1941), сборник стихов «Огненный год», «Ленинградские рассказы», очерки «Ленинград принимает бой» (все 1942) 93, 94, 97–100, 368, 405
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), поэт, драматург, прозаик 141, 503
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель 86, 99, 151, 155–162, 170, 174, 176, 179, 181–184, 187, 201, 281, 299, 308, 311, 322, 335, 358, 399, 424, 425, 438, 445, 453, 454, 456–459, 467, 473, 477, 481, 484, 486, 487, 489, 490, 492, 493, 501–504

Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед, сотрудник ИРЛИ с 1921 г., профессор ЛГУ с 1942 г. Основные труды по стиховедению, поэтике, стилистике, текстологии, пушкиноведению, французской поэзии 413

Т.Р. 69

см. Роболи Т.А.

Тр. 379, 382, 388

см. Ходза Н.А.

Тронская Мария Лазаревна (1896–1979), литературовед, специалист по немецкой литературе. Жена И.М. Тронского, друг Гинзбург с юношеских лет 37, 48, 50, 233

см. также Мария Лазаревна, М.Л. Тронский (Троцкий) Иосиф Моисеевич (1897–1970), филолог-классик, профессор ЛГУ, друг Гинзбург. В 1942–1944 гг. в эвакуации в Саратове 200, 206, 252, 280, 354, 433, 461

см. также И., Иосиф Моисеевич, М.Б., Р., Т., Z.

Троцкий Исаак Моисеевич (1903–1937), историк, декабристовед, ученый секретарь Историко-археографического института АН СССР, преподаватель исторического факультета ЛГУ Брат И.М. Тронского. В 1936 г. был арестован, сидел в Соловецком лагере, расстрелян в ноябре 1937 г. 206
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 148, 160, 195, 416, 458, 502

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), литературовед, прозаик, критик, переводчик. Учитель Гинзбург по ГИИИ.

Умер в Москве в декабре 1943 г., вернувшись из эвакуации 123, 134, 503

Тютчев Федор Иванович (180–1872), поэт 150, 437, 472

Т.Я. (Тина) 64

см. Герасимова Т.Я.

У. 113

У. (В.В.) 385

см Яблонская В.В.

Уинкотт Леонард Джонович (Wincott Leonard, 1907–1983), английский моряк, коммунист, в 1934 г. переехал в СССР, жил в Ленинграде, в 1940-е годы печатался как прозаик в журнале «Звезда», в блокаду был принят в Ленинградское отделение Союза писателей. Арестован в 1946 г., 10 лет провел в лагере, в 1960-х годах вернулся в Великобританию 406, 408, 410–412

Уинкотт Муся, жена Л. Уинкотта, умерла от истощения в блокаду 406, 408, 410

см. также Муся

Уланова Галина Сергеевна (1909/1910–1998), балерина 90

Ушаков Федор Федорович (1745–1817), флотоводец, адмирал 502

Фани 367

см. Гоухберг Ф.Н.

Федин Константин Александрович (1892–1977), прозаик. Во время войны написал пьесу «Испытание чувств» (1942), рассказы-очерки, вошедшие в циклы «Несколько населенных пунктов» (1943) и «Свидание с Ленинградом» (1944) 78, 79

Флит Александр Матвеевич (1891–1954), писатель-юморист.

В блокаду писал для газет «На страже Родины», «Красный Балтийский флот», для ленинградского радио и «Окон ТАСС». Автор сатирических книг «Шрапнель» (1942), «Битые козыри» (1943, в соавторстве с М. Дудиным) 73

Флобер Гюстав (Flaubert Gustave, 1821–1880), французский писатель 473

Ф.Н. 367

см. Гоухберг Ф.Н.

Фр. 120

*см. Франковский А.А.

Франковский Адриан Антонович (1888–1942), переводчик, редактор Гослитиздата и издательства «Academia», в 1921–1923 г. секретарь Философского общества. Перевел на русский язык романы М. Пруста, Д. Свифта, Л. Стерна и др. Умер в блокаду в феврале 1942 г. 120

см. также Фр.

Францев Георгий Павлович (1903–1969), академик, обществовед, партийный деятель. С 1944 г. зав. сектором культуры Ленинградского горкома ВКП(б), директор Ленинградского отделения Института истории АН СССР 147

Фрейд Зигмунд (Freud Sigmund, 1856–1939), австрийский врач и психолог 68, 424

Х (Хохлова) 413

Х., **Хд.** 369, 376

см. Ходза Н.А.

Хайдеггер Мартин (Heidegger Martin, 1889–1976), немецкий философ-экзистенциалист 445, 451

Хемингуэй Эрнст Миллер (Hemingway Ernest Miller, 1899–1961), американский писатель 135, 137, 431

Х.К. 362

см. Каралина Е.М.

Хмельницкая Тамара Юрьевна (1906–1997) см. литературный критик, переводчик, литературовед, ученица В. Шкловского, Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума 401, 406–412, 416–419

см. также Н.

Ходза Нисон Александрович (1906–1978), прозаик, сотрудник Радиокомитета с 1939 г. В 1942 г. начальник отдела и главный редактор вещания для школьников. С сентября 1942 г., после увольнения Г.П. Макогоненко, был назначен на пост заведующего литературно-драматической редакцией 91, 92, 300,

364, 366, 367, 369, 374, 376, 379, 382, 388, 396, 424

см. также Н.А., Т., Тр., Х., Хд.

Хор. 144, 145

Ч. 413–416

см. Гнедич Т.Г.

Чаплин Чарли (Charles Spencer Chaplin, 1889–1977), американский актер и кинорежиссер 412

Чернецкий Семен Александрович (1881–1950), композитор, автор маршей, военный дирижер 375

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, общественный деятель 163, 198, 458

Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (Churchill Winston Leonard Spenser, 1874–1965), английский государственный деятель, оратор и писатель, в 1940–1945 и 1951–1955 гг. премьер-министр Великобритании 387

Четвериков Борис Дмитриевич (1896–1981), поэт, прозаик, драматург, автор блокадной поэмы «Ленинград». В годы войны корреспондент на Ленинградском фронте, в 1944–1945 гг. работал в Радиокomiteте, руководил студией при Доме писателей. В апреле 1945 г. арестован, осужден на 10 лет. Дело прекращено «за отсутствием состава преступления» в 1956 г. 79, 80

Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель 151, 269, 440, 473

Ш. 123

Ш. (Рина Ш.) 420, 421

Шаргородский Тимофей Исаевич (1896 — после 1953), заместитель директора Пушкинского дома в 1943–1950 гг., потом инженер Ленинградской конторы Центракадемнаба 140

Шигорина (Соболева) Нина Петровна (1892–1970), актриса Александринского театра

в 1913–1917 и в 1921–1954 гг. С 1943 г. режиссер-педагог 382, 383

Широков Иван Михайлович (1899–1984), в 1942 г. председатель Радиокomiteта. В 1945–1946 гг. секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) по пропаганде. Постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г. был снят с должности 371

см. также Ив. Мих.

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), литературовед, писатель, критик, киновед и киносценарист, учитель Гинзбург по ГИИИ. Сын Никита, гвардии ст. лейтенант, был убит в бою в Восточной Пруссии в феврале 1945 г. 103, 139

Шопенгауэр Артур (Schopenhauer Arthur, 1788–1860), немецкий философ 152, 203, 450, 474, 475, 482

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор. 9 августа 1942 г. в блокадном Ленинграде в Большом зале филармонии состоялся концерт, на котором Ленинградский симфонический оркестр под управлением К. Элиасберга исполнил 7-ю симфонию Шостаковича 170, 432

Шпенглер Освальд (Spengler Oswald, 1880–1936), немецкий философ 151, 474

Щеголева-Альтман Ирина Валентиновна (1906–1993), жена историка П.П. Щеголева (1903–1936), впоследствии жена художника Н.И. Альтмана (1889–1970) 68

Эйзенгардт Елена Исаковна (1930–1958), дочь И.М. Троицкого, приемная дочь И.М. и М.Л. Тронских 205

см. также Леночка

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959), литературовед, учитель

Гинзбург. В 1918–1949 гг. преподавал в ЛГУ, одновременно в 1920–1931 гг. в ГИИИ, с 1935 г. сотрудник ИРЛИ. Сын Дмитрий ушел добровольцем на фронт в июле 1941 г., пропал без вести в октябре 1942 г. 139–147, 199, 200
см. также Бм, Б.М.

Эльпорт (Эльпорт-Мозес)
Елизавета Игнатьевна (1904 — после 1977), поэт, автор популярных романсов и песен. Писала концерны, фельетоны, инсценировки для Ленгосэстрады. В войну сочиняла песни и концерны для ансамбля Балтфлота, сотрудничала с Радиокomiteетом. В 1942 г. была принята в Союз писателей, а в 1953 г. исключена из него решением секретариата Ленинградского отделения Союза писателей как автор, «творчество» которого не имеет «самостоятельного художественного значения» 399
Эн. 208

см. Отгер

Юра 369

см. Макогоненко Г.П.

Яблонская Вера Викторовна (1898–1969), актриса, чтец. Дочь редактора журнала «Русская мысль» В.А. Гольцева, жена В.П. Яблонского, актера МХАТ-2. В 1920-е годы работала в студии Вахтангова в Москве. В блокаду актриса-чтец Радиотеатра, много выступала с концертными бригадами 134, 366–368, 370, 371, 383, 385, 390–396, 401
см. также В.В., Липецкая

Янкевский Александр Иванович (1902–1978), актер Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, заслуженный артист РСФСР. В блокаду актер Радиокomiteета. С июля 1942 г. на время болезни К.К. Миронова назначен главным режиссером Радиокomiteета. В 1943–1944 гг. штатный режиссер литературно-драматического комитета. Зимой 1942 г. поставил и исполнил цикл передач по «Педагогической поэме» А. Макаренко 373, 377, 378, 381–385, 392, 393

см. также Николай Павлович, Ярцев

Ярмагаев Владимир Серафимович (1895–1973), актер и режиссер Радиокomiteета, организатор передач отдела литературно-драматического вещания, играл в Городском (Блокадном) театре, впоследствии художественный руководитель Ленинградского радио 261, 264, 360, 376, 384

см. также В., В.С., Ярмолинский

Ярмолинский 376

см. Ярмагаев В.С.

Ярцев 377, 378, 381–385, 392, 393

см. Янкевский А.Л.

Яша 397

см. Бабушкин Я.Л.

N. 117

N. 148, 185, 191, 194

см. Отгер

V. 19, 38, 42, 45, 59

см. Типот В.Я.

Z. 461

см. Тронский И.М.

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ ПРОХОДЯЩИЕ ХАРАКТЕРЫ

Редактор Елена Шумилова
Корректор Елена Елочкина
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва
Пятницкая улица, 41
телефон / факс (495) 951 6050
e-mail info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
<http://www.novizdat.ru>

Подписано в печать 1 ноября 2010 года
Формат 70x100/16
Гарнитуры Helios, Minion
Объем 48,37 условных печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ № 12

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, Библиотечная улица, 11



9 785983 701435



ПРОХОДЯЩИЕ ХАРАКТЕРЫ
ЛИДИ ЯКОВЛЕВНЫ ГИНЗБУРГ
ПРОЗА ВОЕННЫХ ЛЕТ
ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Проходящие характеры... – первое научное издание прозы Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–1990), выдающегося русского писателя, мыслителя и историка литературы. В сборник вошли ее «повествования», эссе и записные книжки военных лет, ставших самым плодотворным периодом ее литературной деятельности. Большая часть собранных здесь произведений публикуется впервые, включая рассказ о блокадной смерти, почти семьдесят лет остававшийся неизвестным даже самым близким автору людям, ранний вариант «Записок блокадного человека», размышления о советской литературе, статью о самосознании русского интеллигента еврейского происхождения в условиях нарастающей антисемитской кампании и многое другое. Нет сомнения, если бы проза Гинзбург военных лет стала достоянием читателя тогда, когда она была написана, наши представления об истории русской литературы второй половины XX века были бы радикально иными.



НОВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО